М·А·Алданов

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

М·А·Алданов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 6

Москва
Издательство «Правда»
1991

84 Р1
45 А

Составление и общая редакция
А. А. Чернышева

Иллюстрации художника
В. Н. Лосева

А $\frac{4702010201-2471}{080(02)-91}$ 2471-91
5-253-00486-6

© «Огонек» (Составление. Историко-литературная справка. Иллюстрации). 1991.

Самоубийство

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Чете Рихтеров был указан в Брюсселе сборный пункт: квартира Кольцова. Этот же адрес был дан и другим участникам съезда. Но консьержка, находившаяся со вчерашнего вечера в состоянии полного бешенства, объявила, что больше ни одного «саль рюсс» [1] в дом не пустит: пустила четырех, входят как к себе, шумят, кричат, довольно!

Хозяин квартиры был очень смущен и даже взволнован: боялся, что гость рассердится. Кольцов кричал, что этого так не оставит, что будет жаловаться властям (не сказал: полиции), что обратится к бельгийской социалистической партии. Однако Рихтер не рассердился и высказался против жалоб: он всю жизнь боялся консьержек; говорил, что быть с ними в добрых отношениях обязательно для каждого революционера.

— ...Да ничегошеньки ваша бельгийская партия сделать не может, если б даже и согласилась. Нельзя ли нам приютиться в помещении съезда?

Кольцов развел руками еще более смущенно.

— Никак нельзя, Владимир Ильич. Это помещение просто амбар для муки! Им было очень, очень совестно, они страшно извинялись, но ничего другого не оказалось!

— Не оказалось? — с усмешкой спросил Рихтер. Это был невысокий, коренастый лысеющий человек с высоким лбом, с рыжеватыми усами и бородкой, в дешевом, чистом, без единого пятнышка синем костюме с темным галстухом, концы которого уходили под углы двойного воротничка. Глаза у него были чуть косые и странные. Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили; впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом

---

[1] «Грязный русский» (*франц.* sale russe).

и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем: «Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся: узкие, красно-золотые, зрачки точно проколотые иголочкой, синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура, сходство необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду: спросил меня — это меня-то! — какой я «фХакции».— Ленин сильно картавил, но не на придворный, не на французский, не на еврейский лад; почему-то его картавость удивляла всех, впервые с ним встречавшихся.— Что ж делать? Не оказалось. Утешимся же тем, что им очень, очень совестно. Ищите для нас, товарищ Кольцов, помещеньице в каком-либо отельчике подешевле, но в чистеньком. А консьержку оставьте в покое, не то она и вас выживет.

То, что гость не рассердился, успокоило Кольцова: он боялся Ленина еще больше, чем Ленин боялся консьержек. Кого-то отрядили караулить других участников съезда. Объявил, что все-таки позвонит по телефону,— назвал имя видного бельгийского социалиста:

— Он во всяком случае пригодится, очень любезный человек,— сказал Кольцов.

— Валяйте, звоните. Пусть устроил бы скидку. Но с первых слов успокойте его, а то сей субъект подумает, что мы у него просим денег.

Вид Надежды Константиновны показывал, что она недовольна: не для нее, конечно (о себе она редко думала), но для вождя партии могли обо всем позаботиться заранее и не заставлять его ждать с вещами на улице. Она вдобавок видела, что Володя устал и нездоров: еще не так давно в Лондоне его мучила «зона».— «Неужто начнется опять!» — думала она с ужасом. Была и сама утомлена, однако, это не имело никакого значения. Желчные шутники в партии, подражавшие Плеханову, говорили, что Ленин женился на ней из принципа «чем хуже, тем лучше», и называли ее «миногой». Впрочем, ее скорее любили: при несколько суровом и гордом виде, она была не зла, не тщеславна, ни к каким званиям и должностям не стремилась, хотя по своим заслугам на некоторые, не очень важные, звания имела бы права. «Коротки ноги у миноги, чтобы на небо лезть».— Надежда Константиновна никуда не лезла и никому не завидовала. Она была женой Ленина и этого было достаточно. Во всем мире, кроме ближайших родных, одна она его называла «Володей». Даже люди, бывшие с

ним на «ты» (их всего было два или три человека), называли его «Владимир».

— Этот съезд очень важен... Он собственно представляет собой Учредительное собрание партии, Первый съезд не идет в счет,— сказала она второстепенному (только с «совещательным») делегату, занимавшему ее разговором.

Кольцов побежал в соседнюю лавку: «Не звонить же от этой злой бабы!»

— Подумайте, сам товарищ Ленин остался без пристанища! — сказал он по телефону. Бельгийский социалист не знал, кто такой Ленин, но отнесся вполне сочувственно. В первую минуту в самом деле опасался, что русские эмигранты, почти все бедняки, чего доброго попросят у него денег!

— Вот что, я сейчас же позвоню в «Кок д'Ор»,— сказал он.— Хозяин этой гостиницы член партии и мой приятель, он верно сделает и скидку для русских товарищей. Вы можете туда прямо проехать с товарищем Лениным, которому, пожалуйста, передайте привет.

Кольцов вернулся и сообщил всем новый адрес. Ленин, как ему показалось, предпочел бы, чтобы другие участники съезда остановились не в той же гостинице, что он.

— Я вас провожу, Владимир Ильич.

Нанял извозчика. Ленин сказал было, что можно было бы поехать на трамвае. Кольцов объявил, что в трамвай такого чемодана не возьмут. Чемодан, видавший виды на долгом веку, был в самом деле объемистый. Ленин сам его дотащил до дрожек, хотя старался отобрать у него Кольцов.

— Почему же будете нести вы? Я покрепче вас,— сказал Ленин нетерпеливо, и, несмотря на все протесты Кольцова, сел на неудобную переднюю скамейку, предоставив ему место рядом с женой. Она была этим не очень довольна: «Володя уступает место Кольцову!» Кольцов же не мог не оценить: «Вот чего не сделал бы Плеханов!»

По дороге разговор не клеился. Надежда Константиновна еще гневалась, хотя и меньше.

— Судьбы нашей партии зависят от того, кто будет ее главным руководителем. И потому очень важен каждый голос на съезде,— сказала она.

Муж оглянулся на нее с неудовольствием. Предполагалось, что вопрос о руководителе не имеет никакого значения. Она тотчас это поняла и немного смутилась.

— Я еще точно не знаю соотношения сил,— уклончиво ответил Кольцов. «Будет, конечно, голосовать с Мартовым!» — сердито подумал Ленин.

— Соотношение сил уже известно,— сказал он как бы равнодушно.— «Совещательные» не в счет, будет тридцать три делегата с одним голосом и девять двуруких. Из всей компании пять бундовцев, три рабочедельца, четыре южнорабоченца, шесть болота, остальные искряки.

— Искряки-то искряки, но вполне ли надежно их искрянство? — вставила Надежда Константиновна.— Ведь Мартов тоже искряк.

Ленин опять оглянулся на нее с досадой и что-то пробормотал.

— А какую позицию вы окончательно решили занять в отношении бундовцев? — поспешил перевести разговор Кольцов.

— Прямо в зубы их бить не буду, но отношение будет архихолоднейшее. Пусть Бунд, наконец, выявит свою личину! Во всяком случае в Феклу ни одного из этой компаньицы не возьмем, пусть идут к черту! Ту се ке вуле, мэ па де са [1],— сказал Ленин. Он часто вставлял в разговор и в письма слова на неправильном французском, немецком или на латинском языке. «Феклой» называлась редакция «Искры».

— Они и не претендуют на это,— сказал Кольцов обиженно. Он смутно — и совершенно неосновательно — подозревал Ленина, как и Плеханова, в некотором скрытом антисемитизме.— Просто они маленькие люди с ограниченным кругозором. Я говорю только о тех, которые будут на съезде.

— Что маленькие, это не беда. («Ты сам гигант»,— насмешливо подумал Ленин.) — Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Но они хотят федерацийки, чтобы быть единственными представителями еврейского пролетариата. Фигу им под нос вместо федерации!

— А если они уйдут со съезда?

— Скатертью дорога,— сказал Ленин и подумал, что если бундовцы уйдут, то у Мартова будет пятью голосами меньше при выборе редакции «Искры». «Непременно раньше поставить вопрос о Бунде»,— решил он.

Извозчик подъехал к гостинице. Кольцов хотел заплатить.

— У вас, Владимир Ильич, верно еще и нет бельгийских денег?

— Есть деньги, разменяли на вокзале,— сказал Ленин. Он жил скудно, берег каждую копейку, но не любил, чтобы

[1] Все, что хотите, только не это (*франц.* Tout ce que vous voulez, mais pas de ça).

за него платили другие, особенно бедные люди, как Кольцов.

Комнатка в гостинице оказалась недорогая (хозяин в самом деле сделал скидку) и довольно уютная. В ней были и письменный стол, и даже полка для книг,— очень полезные вещи: съезд должен был длиться не меньше месяца. На полке лежали разрозненные номера иллюстрированных журналов.

— Я разберу вещи. Да и работа есть,— сказала Надежда Константиновна, взглянув на Кольцова. Она знала, что мужу отравляют жизнь разговоры: он и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Женеве просил товарищей приходить к нему пореже, если не было дела.

— А мне надо бежать,— поспешно сказал Кольцов, тоже не очень хотевший с ними разговаривать; разговор мог стать неприятным.

— Бегите,— с готовностью согласился Ленин.— Здесь как? Надо хозяину показать паспорта?

— Не надо, никакой прописки не требуется,— объявил Кольцов. Он хотел было добавить, что Бельгия почти такая же свободная страна, как Швейцария, но не добавил: это замечание не понравилось бы вождю партии. Многие находили, что Рихтер — он же Н. Ленин, Тулин, Петров, Ильин, Старик, Ульянов — уже важнейший из вождей. Еще недавно он был главой того, что называлось шутливо «Тройственным союзом»: Ленин — Мартов — Потресов. Такой же Тройственный союз был и в старшем поколении: Плеханов — Аксельрод — Засулич. Но, как ни у кого в Европе не было сомнений в том, что в настоящем Тройственном союзе всем руководит Германия, так и у социал-демократов признавалось, что главные среди шести — это Ленин и Плеханов. Остальные четверо, при всех их качествах, были как бы тайными советниками революции при двух действительных тайных. Впрочем, теперь положение изменилось: разделение шло по другой линии, борьба намечалась преимущественно между Лениным и Мартовым.

— Я значусь Рихтером, и письма к вам будут приходить на имя Рихтера. Все передавайте ей или мне, только, пожалуйста, без всякого замедления,— сказал Ленин. Несмотря на отсутствие в нем чванства, в его голосе послышался приказ.— А что, этот амбар отсюда далеко?

— Нет, недалеко, Владимир Ильич. Хотите взглянуть? Они мне дали ключ.

— Какие любезные! Если недалеко, пойдем. Ты ведь, Надя, тем временем разберешь вещи?

— У меня работы на час, если не больше. Можешь, Володя, не торопиться. И купи чего-нибудь к чаю, хлеба, ветчины. Сыр и сахар я привезла.

В амбаре было темновато и сыро. Когда они вошли, во все стороны рассыпались крысы. У стен лежали груды кулей с мукой. Впереди, против входа, стояли стол и за ним два стула, а перед ними несколько рядов некрашеных скамеек. Ленин вдруг расхохотался веселым заразительным смехом. Кольцов смотрел на него со сконфуженной улыбкой.

— Да, неказистый зал. Мы завтра все проветрим и постараемся достать хоть стулья. Что ж делать, ничего другого не оказалось.

— Для себя они, небось, нашли бы помещеньице получше, а? — говорил Ленин, продолжая хохотать.— А уж если б, скажем, международный конгресс, то сняли бы какой-нибудь отельчик вроде «Бристоля» или «Империала» или там «Континенталя». Это для дрекгеноссов-то, а? — Так он часто называл тех иностранных, особенно германских, социал-демократов, которых не любил.— За амбар гехеймраты [1] с Каутским им набили бы морду, а, Кольцов? И то сказать, оговорочка: гехеймраты всех стран платят чистыми деньжатами. Только с нами, с «саль рюсс», можно не считаться.— Он, наконец, перестал смеяться и вытер лоб чистым белым платком.— Ничего, товарищ Кольцов, со временем будут считаться и с нами, уж это я вам обещаю!.. А чей же это милый амбарчик? Мука с крысами, а? Мы крыс вывели бы, да заодно и таких хозяйчиков. Но вы не конфузьтесь, вы не виноваты, что нет деньжат. А вот товарища Плеханова предупредите, насчет крыс-то. А то он очень разгневается... Дайте, посидим, передохнем,— сказал он. Достал из кармана прочтенную в поезде аккуратно сложенную газету, накрыл ею скамейку и сел.

— Почему же именно Георгий Валентинович рассердится? Вы ведь не рассердились, Владимир Ильич,— сказал Кольцов, тоже садясь.

— Как же вы сравниваете, а? Во-первых, он председатель. Будет говорить торжественное слово, верно что-нибудь воскликнет, а тут вдруг пробежит крыса и испортит «восклицание», разве хорошо, а? Притом он смертельно боится крыс. Вообще слишком многого боится. А в-третьих, он генерал, из помещичьих сынков. Не весьма впрочем из важных. Вот Потресов тот действительно генеральский

---

[1] Тайные советники (*нем.* Geheimrat).

сын и давно забыл об этом, а у Георгия Валентиновича родной брат где-то исправником, не велика фря!.. Увидите, он явится на открытие съезда в визитке, или как у них там эта длиннополая штучка называется,— сказал Ленин и на всякий случай повторил ходивший в партии рассказ о том, как в свое время Плеханов, отправляясь в Лондоне на свидание с Энгельсом, купил и надел цилиндр.

Говорил он якобы благодушно. Когда-то был почти влюблен в ум, таланты и ученость Плеханова, затем разочаровался и разошелся с ним. Писали они друг другу то «дорогой», то «многоуважаемый», то без всякого обращения, очень сухо и враждебно. Недавно порвали было личные отношения, потом их возобновили. Теперь же должны были действовать заодно, в полном союзе. Все же при случае не мешало ввернуть словечко и о Плеханове. Перед этим съездом лучше было бы ввернуть что-либо о Мартове, но он не нашел ничего подходящего, хотя бы вроде визитки или цилиндра.

Кольцов слушал без улыбки. Он был очень корректен, не любил сплетен, да и не раз уже слышал рассказ о цилиндре Плеханова. В партии его уважали как полезного человека и старого революционера,— он был когда-то народовольцем, близко знал брата Ленина, затем в эмиграции стал социал-демократом, но выполнял преимущественно черную работу. Партию любил всей душой, почти как семью: в них, в семье и партии, был смысл его жизни. В вожди он не метил и нигде не назывался даже «видным» (а это было гораздо меньше, чем «известный»). Нежно любил Аксельрода, Веру Засулич, Мартова, Потресова и тщательно скрывал, даже от самого себя, нелюбовь к Плеханову и особенно к Ленину, которого он с ужасом считал человеком аморальным и способным решительно на все. Кольцов знал, что Ленин хочет стать партийным диктатором. Это было недопустимо, и он своего мнения не скрывал; но политических споров с Лениным в меру возможного избегал и при них съеживался: так на него действовали безграничная самоуверенность этого человека, его грубые отзывы о товарищах, его презрительный смешок и больше всего шедший от его глазок волевой поток. «Ох, дубина!» — подумал Ленин, внимательно на него глядя.

Он вдруг стал необычайно любезен. Одна из его особенностей заключалась в сочетании презрительного равнодушия к людям с умением их очаровывать в тех случаях, когда они были нужны ему или партии. Очень многие товарищи его обожали, искренно считали добрым, милым,

благожелательным человеком. Он был «Ильич»; Плеханов никогда не был «Валентинычем».

Изменив тон, он стал называть Кольцова по имени-отчеству, спросил о семье, о делах, о планах. Затем перешел к съезду. Как ни незначителен был Кольцов, не мешало повлиять и на него. Иногда Ленин часами вдалбливал свои мысли в голову двадцатилетним малограмотным людям, особенно если они были рабочие, и делал это с большим успехом.

— ...Да, будет у нас здесь драчка, Борис Абрамович,— сказал он якобы с грустью.— Вначале дела пойдут менее важные: Бунд, равноправие языков, потом программа. Тут споры, конечно, будут, но сговоримся. Главное же, как вы понимаете, это устав и выборы, в частности выборы редакции «Искры».

— Я стою за прежнюю редакцию в ее полном составе из шести человек,— поспешно сказал Кольцов. Лицо у Ленина дернулось, но он тотчас сдержался и даже взял Кольцова за пуговицу. («Тоже никогда не сделал бы Плеханов».)

— Послушайте, Борис Абрамович, ведь вы разумный человек,— сказал он. Хотел было сказать: «вы умный человек», но язык не выговорил.— Разве можно работать при такой редакции? Ведь это не редакция, а какая-то семеечка! Вдобавок, почтеннейший Аксельрод за три года ни на одном ровнехонько заседании не был. Сей муж занят своим кефиром или кумысом или черт его знает, чем он занят. Из него, а паки из Засулич давно песок сыплется...

— Помилуйте, Владимир Ильич! Вере Ивановне всего пятьдесят два года!

— Неужели? Я думал, им по сто пятьдесят два. В «Искре» все делали Мартов и я, всю работу, и идейную, черную. Вы знаете, что мы теперь с Мартовым на ножах, но я предлагаю ему конкубинат [1]: он, Плеханов и я. Прелесть что за журнальчик создадим!

Кольцов печально покачал головой.

— Товарищ Мартов в трехчленную редакцию не войдет. Он считает, что это было бы неэтично в отношении трех остальных редакторов. И я с ним согласен... Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый,— сказал он мягко. Лицо Ленина исказилось бешенством. У него покраснели скулы.

---

[1] Сожительство (*лат.* concubinatus).

— Ну, еще бы! Это все у вас говорят: «Ленин, де, нетерпимый». Ерунду говорите, товарищ Кольцов! И партия не дом терпимости!

— У нас может образоваться нечто вроде бюрократического централизма, а это очень нежелательно. Не скрою от вас, в партии уже говорят о вашем «кулаке», я, конечно, этого не думаю, но я...

«Но я болван»,— мысленно закончил за него Ленин. Он действительно находил необходимым «кулак» и именно свой. Понимал, что Мартов в самом деле откажется, а Плеханов в работу вмешиваться не будет: будет только давать теоретические советы.

— Ваши «этические» соображения мне совершенно не нужны и не интересны! Вы можете оставить их при себе! — сказал он с яростью. Встал и быстро направился к выходу. Кольцов грустно поплелся за ним.

Надежда Константиновна сидела за единственным столиком комнаты на ее единственном стуле и что-то писала, морща лоб. Перед ней лежали листки бумаги. Она зашифровывала письмо. Всегда делала это добросовестно, усердно и даже, несмотря на привычку, восторженно-благоговейно. Теперь у нее были угрызения совести: в Женеве не успела зашифровать и отправить письмо, написанное Лениным позавчера одному кружку на Волге. Не было ни одной свободной минуты: надо было и накормить мужа, и купить билеты, и уложить вещи, книги, бумаги, и к кому-то с его порученьями забежать (она не просто ходила к людям, а всегда забегала). В поезде зашифровывать было очень неудобно, да и опасно: могли обратить внимание. Теперь оглянулась на мужа с виноватым видом.

— Я думала, Володя, что ты придешь позже. Я через пятнадцать минут кончу. Но могу и отложить, если тебе очень хочется чаю. Ты что купил?

— Пиши, я подожду,— сказал он, хмуро на нее взглянув. Письма нужно было зашифровать в Женеве, но если уж не успела, то можно было здесь и отложить на день, ничего в мире от этого не произошло бы. Впрочем, почти никогда на жену долго не сердился. Любил ее или, по крайней мере, очень к ней привык; быть может, только ей одной во всем свете верил вполне, во всем, без тени сомнения. Она была предана ему именно «беззаветно». Теперь ее усталое, рано поблекшее лицо, с бесцветными влажными глазами,

с гладко зачесанными жидкими волосами, было особенно некрасиво. Он чуть вздохнул.

— Хороший амбар? Такое невнимание к тебе... К нашей партии! Хорош и Кольцов!

— Очень хорош. Лучше субъектов не бывает, на выставку послать! — сказал он сердито и осмотрелся в комнате. Она была чистая, рукомойник сносный, на подвижном шесте висели два полотенца. «У нас в Симбирске все было бы в таком отельчике загажено и проплевано». Умыться было невозможно: мыло было в чемодане. «Потом... Ох, устал, ничегошеньки не могу». Он и думал на странном языке, частью волжском, частью калужском, очень особом и чуть шутовском, с разными уменьшительными, уничижительными, грубо-насмешливыми словами. Взял с полки иллюстрированные журналы и прилег на кровать, неудобно свесив с нее ноги в залатанных, но чистых башмаках.

На обложке была изображена королева Виктория. Журнал весь был заполнен изображениями скончавшейся королевы, от ее детских лет до смертного одра. Королева на коленях молилась у гроба Наполеона I во Дворце Инвалидов; рядом, с взволнованными исторической сценой лицами, стояли ее муж, императрица Евгения и Наполеон III. В Лондоне герольды в пышных костюмах объявляли на площади о вступлении на престол нового короля. Плакали какие-то индусы в тюрбанах. Плакали английские социалисты. Плакал Сток-Эксчендж. Эдуард VII встречал на вокзале Вильгельма II. В фельдмаршальских мундирах, сплошь покрытых орденами, они ехали верхом за гробом. Были изображены разные покои Осборнского дворца, в котором королева скончалась. Дворец был не из великолепных, но роскошь покоев раздражала его еще больше, чем вид плачущих социалистов. «Ничего, дождутся! Все они дождутся!»

«Долгое царствование этой старейшей из коронованных особ Европы займет великое место в истории»,— читал он.— «Старик Дизраэли украсил ее корону новым драгоценным алмазом: британская королева стала императрицей Индии. Она очень дорожила этим своим титулом и даже среди своих служителей дала видное место индусам... Царствованием Виктории заканчивается в истории, по крайней мере, в Европейской, период бурь. Хотя из-за глубокого траура в Лондоне теперь не было политических бесед, все сошлись на том, что настал, наконец, для человечества период мира, общего благоденствия и прогресса на

началах свободы». («Экое однако дурачье! Пора бы им в желтые домики»,— думал он, читая с искренним наслаждением.) «Лучше всего свидетельствует об этом общая скорбь Европы. Отметим в частности то, что германский император своим неподдельным горем на похоронах завоевал все английские сердца. Газеты сообщали, что при его отъезде к нему на вокзале подошел простой британский рабочий, поклонился и сказал «Thank you, Kaiser!» [1] (Ленин непристойно выругался). «Ничто не могло красноречивее передать чувства английского народа, чем эти простые слова простого человека. Стоявший рядом с императором король Эдуард VII так пояснил их своему коронованному гостю: «Так же, как он, думают они все, каждый англичанин. Они никогда не забудут твоего приезда на похороны моей матери». Оба монарха были глубоко растроганы. Скажем и от себя, что если в нашей маленькой стране сердца людей и не вибрировали совершенно в унисон с сердцами британскими, то все же Осборнская трагедия нашла и у...»

— Бундовцы уйдут и черт с ними! — неожиданно сказал Ленин. Надежда Константиновна на него оглянулась, впрочем без особого удивления: знала его манеру думать вслух, вдобавок читая о совершенно другом.

— Разумеется, пусть уходят, хотя в принципе это и нежелательно. Ты не можешь... Партия не может согласиться на федеративное начало, в этом все искряки согласны, даже мартовцы согласны,— ответила она.

«Sans vibrer à l'unisson» [2],— пробормотал он и опять уткнулся в журнал. Больше текста не было, а из иллюстраций только фотография композитора Верди, скончавшегося одновременно с Викторией, да еще две свадьбы: вышла замуж голландская королева Вильгельмина и женился Поль Дешанель. «Какой еще к черту Дешанель, будь он трижды проклят?» — подумал он. Впрочем, теперь бундовцев и мартовцев ненавидел, пожалуй, больше, чем Дешанеля и обеих королев.

У него был нехороший день, один из тех дней депрессии, изредка повторявшихся всю его жизнь. Он и в эти дни твердо верил в свои силы, которые считал огромными (в чем, к несчастью для мира, не ошибался), но думал, что до революции не доживет, «Зона» давала себя чувствовать, нервы были расстроены, почти как в прошлом году в

---

[1] «Спасибо, император!» (*англ., нем.*)
[2] «Не колеблясь в унисон» (*франц.*).

Лондоне; сам чувствовал на лице измученное выражение; — на людях его снимал, товарищи не должны были считать его усталым человеком, но жена в счет не шла. Его всегда утомляла дорога, неприятная близость каких-то никому не нужных, неизвестно зачем живущих людей. Раздражали его и разные чудеса капиталистической техники, гигантские сооружения, вокзалы, подъемные краны, водокачки. Это была их техника, свидетельствовавшая о могуществе врагов. Все больше думал, что если они сами себе не перережут горла, то справиться с ними будет трудно, почти невозможно. Между тем шансов на войну было немного. «Не доживу! От какой-нибудь зоны могу околеть за год до революции». Из всех его мыслей эта была самой ужасной.

Ему надо было еще поработать перед съездом, выправить приготовленные им проекты резолюций; но бумаги были в чемодане, жена продолжала занимать столик. Он с досадой взял другой номер журнала, с более свежей обложкой. На ней ему опять бросилось в глаза слово «Королева».— «Третья!.. Нет, это совсем не то!» — радостно подумал он. Толстая дама в светлом платье, с широкой совершенно плоской шляпой стояла под руку с опиравшимся на саблю коренастым усатым военным. Это были королева Драга и король Александр, совсем недавно убитые в Белграде. Позади них почтительно держалась свита. Фотография была снята за несколько дней до убийства. «Весь мир содрогнулся от ужаса, узнав о трагической кончине короля Александра и королевы Драги. Только сербы обрадовались этому убийству...» В свите были и люди, погибшие 11-го июня с королем, и люди, принимавшие участие в убийстве. «Это так, это как водится... Все как на подбор, морды тупые и гордые, все опираются на саблю, как он». В краткой статье сообщалось, что темной ночью десятки офицеров ворвались в конак, вышибли топором двери, зачем-то бросили в первой комнате бомбу. От взрыва во дворце погасло электричество. При свете захваченных предусмотрительно огарков убийцы пробежали через ряд комнат, ворвались в спальню и там никого не нашли. «Полтора часа они по всему дворцу искали короля и королеву, заглядывали под диваны, все рубили топором и саблями. Александра и Драги не было! Наконец, первый адъютант короля, генерал Лазарь Петрович, указал им дверь в гардеробную комнату, где несчастные жертвы провели полтора часа в мучительной моральной агонии...»

Он разыскал на обложке Лазаря Петровича. «Ну, еще

бы! На вид самый почтенный из всех, просто воплощение респектабельности! Такие и нужны». Затем внимательно просмотрел фотографии, дело было интересное. Были комнаты с опрокинутыми, изрубленными стульями, длинный тяжелый топор, гардеробный шкап с отворенными дверцами, с торчавшими платьями, окно, из которого было выброшено на цветник тело Драги. «Тяжело раненная королева вскочила с пола, рванулась к этому окну и закричала. Люди слышали только один крик, страшный, пронзительный крик! Убийцы бросились на нее».— «Так, так, тон гуманно-сочувственный, а дальше верно будут гадости об этой самой Драге»,— подумал он и радостно засмеялся, убедившись, что угадал.

На другой фотографии был изображен конак (журнал видимо щеголял этим словом). Дворец был небольшой. «На Зимний не похож, да там и охрана не такая». Он не сочувствовал этим заговорщикам, которые убили одного короля, чтобы тотчас посадить на его место другого. Но многое в них ему нравилось, хотя социал-демократия не признавала террора. «Да, эти дали тон начавшемуся веку, а никак не то лондонское дурачье с кретином: рабочим. Не очень видно «заканчивается в истории период бурь». Он бросил журнал и вернулся к своему плану действий на съезде. Обдумывал, как шахматист, разные комбинации.

Лучше всего было бы, конечно, если б единоличным редактором «Искры» стал он, а в Центральный Комитет вошли, кроме него, еще три-четыре человека из его подручных. У него всегда были «окольничьи»,— люди, называвшиеся так потому, что на церемониях находились около московских царей. Но он знал, что это на съезде пройти не может. «Начнется вой: «диктатура!». Буду, разумеется, отрицать, с тремоло в голосе а ла Троцкий». Перебирал разных товарищей по съезду. Почти все были люди незначительные. Многие были хорошие люди, но это не имело никакого значения. Моральными качествами людей он интересовался мало; вдобавок, так называемый хороший человек не очень отличался от так называемого дурного. В своих письмах (раз сам назвал их «бешеными») осыпал грубой бранью и врагов, и единомышленников, и полуединомышленников, и бывших единомышленников, Струве называл «Иудой», Чернова «скотиной», Радека «нахальным наглым дураком», Троцкого «шельмецом», «негодяем», «сим мерзавцем»; «подлейшим карьеристом»; говорил о «трусливой измене» Плеханова, о «поганеньком, дряненьком и самодовольном лицемерии» Каутского, о «подлой

трусости» своего друга Богданова, говорил даже о «подлостях» Мартова, недавно ближайшего из друзей; его в душе до конца жизни считал благородным человеком и даже по-своему «любил». В совокупности большая часть социал-демократов составляла его партийное хозяйство, и к своему хозяйству он относился заботливо, как владелец к предприятию. Из людей вообще когда либо живших он боготворил Карла Маркса, которого никогда не видел; писал, что в Маркса влюблен и ни одного худого слова о нем спокойно не выносит. Позднее в Петербурге говорили, будто он «обожает» Максима Горького,— бывший Иегудиил Хламида очень этим гордился. Действительно, в своих письмах Ленин не называл его ни негодяем, ни мерзавцем: назвал только «теленком». Как «политического деятеля» ни в грош его не ставил. Книги же его хвалил, хотя и без горячности. Как-то в разговоре с ним, «прищурив глаза» (по-видимому, насмехаясь над творцом литературных босяков), восторгался Львом Толстым: «Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

Разумеется, главную свою задачу на съезде он видел в том, чтобы стать хозяином партии. Соперников в сущности не было. «Плеханов быть главой партии не может. Он примадонна, слишком тщеславен, слишком rechthaberisch [1], всего боится и во всем колеблется. Пусть открывает съезд, это с полным нашим удовольствием. Будет стоять на трибуне в длиннополом наряде, конечно, со скрещенными ручками, у него всегда скрещенные ручки, не то Наполеон, не то Чаадаев,— ох, надоело. Будет сыпать цитатами; и тебе Дидро, и тебе Ламеттри, и тебе Герцен. Никак не мог быть соперником и Мартов. «Слишком щепетилен, слишком нервен, вечно волнуется так, точно сейчас упадет в обморок, разве вожди бывают такие!» Об Аксельроде или Засулич и говорить серьезно не приходилось. В последнее время в партии начал выдвигаться молодой эмигрант Лев Бронштейн, обычно подписывавшийся «Н. Троцкий». В обычае было менять не только фамилии, но и имена. Так было и в литературе. Алексей Пешков уже прогремел в России под псевдонимом Максима Горького. Троцкий хлестко писал, прекрасно говорил, бросал чеканные восклицания не хуже, чем Плеханов, и явно старался выйти в вожди; однако у него не было армии, хотя бы полагавшегося минимума из трех — четырех человек. Его все терпеть не могли; от него не просто веяло тщеслави-

[1] Неуступчив *(нем.)*.

ем, как от Плеханова: он был весь воплощенное тщеславие. «Мартов ему покровительствует и хочет провести его в Феклу. Никогда не пройдет. Георгий Валентинович наложит вето, уж он-то его совершенно не выносит. И мне надоел со своим мефистофельским видом. Этот вид очень культивирует, особенно когда при деньжатах. А когда их нет, тотчас впадает в тоску...»

— Кончила! — радостно объявила Надежда Константиновна.— Теперь будем пить чай!

— Вот и хорошо.

Она достала чайник, который всегда возила с собой по разным странам, взглянула на мужа и на цыпочках вышла из комнаты. Он продолжал думать о съезде. Настоящая борьба должна была произойти лишь в конце, при обсуждении устава, при выборах редакции и Центрального Комитета. Знал, что до того депрессия у него совершенно пройдет. Обычно ей на смену приходил период необычайной, кипучей деятельности. В сотый раз подсчитывал соотношение голосов. Ему было известно, что многие социал-демократы в России с неудовольствием и с насмешками относятся к тому, что называли «эмигрантской склокой», «сварой», «грызней». Этих товарищей он считал уже совершенными дураками: они просто ничего не понимали. Действительно вся его жизнь в эмиграции была сплошной «склокой». Ею заполнены и многочисленные томы его по форме скучнейших произведений (у него не было литературного дарования). Но, быть может, он — и только он — уже тогда понимал, что в этой склоке зародыш больших исторических явлений: были две партии, а для революции ему нужна была одна,— разумеется, под его единоличной и неограниченной властью: партия окольничьих.

— Разрешили вскипятить воду и дали чашки,— сказала Крупская, вернувшись с подносом.— Тут в Бельгии тоже пьют чай в чашках! Их стаканы от кипятку и полопались бы. Ну, посмотрим твои покупки. Верно переплатил? И, пожалуйста, не сердись, Володя, что я не успела зашифровать в Женеве. Это моя вина. Ты не сердишься?

— Не сержусь,— рассеянно ответил он.

— Письмо страшно важное! Отлично ты им написал.

II

Аркадий Васильевич Рейхель не слишком охотно принял предложение Ласточкиных приехать к ним из Парижа в Монте-Карло. Ему не хотелось отрываться от работы в

Пастеровском институте и от привычных условий жизни. Люда решительно отказалась ехать с ним.

— Нечего мне у них делать, и вовсе я им не нужна, да и мне они не нужны. И зовут они меня, так сказать, «за компанию» с тобой,— говорила она.

— Мне неприятно вводить их в лишние расходы.

Рейхель жил на средства своего двоюродного брата. Они были дружны. Ласточкин по природе был щедр, а с тех пор, как разбогател, охотно дарил деньги даже чужим людям. Ему казалось совершенно естественным, что его молодой кузен, талантливый биолог, еще нуждается в его помощи. Спор между ними сводился к тому, что Аркадий Васильевич соглашался принимать только двести рублей в месяц, а Дмитрий Анатольевич предлагал ему гораздо больше. «Состязание в благородстве между двумя сверхджентльменами»,— иронически, как почти всегда, говорила Людмила Ивановна. Она тоже была бескорыстна. Двухсот рублей было вполне достаточно при их скромной жизни, но Люда находила, что спорить не стоит и даже несколько смешно: уж если брать деньги у Ласточкина (это и ей было не совсем приятно), то совершенно все равно, брать ли двести или, например, четыреста. Как раз две недели тому назад, перед своим отъездом из Москвы за границу, Дмитрий Анатольевич прислал экстренную сумму, с очень милым и деликатным письмом: «...Надеюсь, вы на меня не рассердитесь,— писал он,— но ведь ты, Аркаша, не станешь меня уверять, будто ты мог кое-что отложить в запас. И Тане и мне совестно отрывать тебя от лаборатории, да уж очень нам хочется увидеть вас обоих в Монте-Карло, мы больше года не виделись, а в Париж мы на этот раз заехать не можем: и туда, и назад едем прямо через Вену. Умоляем вас, приезжайте, хотя бы на две недели. К тому же, ты ведь можешь рассматривать и эти деньги, как «долг», уж если ты такой гордый чудак и не желаешь понять, что после жены и сестры ты для меня самый близкий человек на свете. Когда ты через год вернешься в Москву, ты легко найдешь хорошо оплачивающуюся работу. У нас теперь ученые институты растут как грибы. Итак, приезжайте непременно и телеграфируйте, на какой день приготовить для вас комнату».

Люда настояла на том, чтобы Рейхель принял приглашение. Она не прочь была пожить две недели в Париже без него.

— Как же я им объясню, что ты со мной не приехала?

— Объясни, как тебе угодно. Можешь сказать, что у меня очень много работы перед партийным съездом в Брюсселе.

— Это у них восторга не вызовет.

— Я давно примирилась с тяжкой мыслью, что проживу свой век, не вызывая восторга у московских буржуа.

— Если ты не поедешь, то надо вернуть Мите хоть половину его денег.

— Деньги занимают слишком много места в твоей психике. Но, пожалуй, верни. Если же он не примет, то отдай мне для партии.

— Партия занимает слишком много места в твоей психике.

— Хорошо сравнение! Впрочем, делай как хочешь.

Вышел холодок, вероятно, пятидесятый по счету в их жизни за последний год. Ссоры не было, но у обоих скользнула мысль, что было бы не так страшно и расстаться. У Рейхеля любовь и вообще не занимала большого места в жизни, и он этим немного гордился.

В назначенный для его отъезда день оба встали очень рано. Умывшись, Аркадий Васильевич положил туалетные принадлежности в потертый, с оторванной ручкой, не запиравшийся чемодан. По выработанной Людой конституции, вещи всегда укладывал он. Все уложил с вечера. Так как поездка была «для отдыха», он взял с собой лишь немного книг,— в других случаях книги составляли его главный груз. Тем не менее туалетные принадлежности еле вошли, он с трудом стянул ремни. Люда с досадой смотрела на его высокую, нескладную, чуть сутуловатую фигуру, на мыло, зубную щетку, эликсир, завернутые в газетную бумагу, на чемодан, купленный в Москве на толкучем рынке: все-таки хорошо было бы иметь приличные дорожные вещи, за которые не было бы стыдно перед носильщиками.

— Если ты не желаешь казаться оборванцем, то купи, наконец, хороший мэдлеровский чемодан! — нередко говорила она. Так провинциальные журналисты иногда в передовых статьях писали: «Если Англия не желает опуститься до уровня второстепенной державы, то...» Аркадий Васильевич так же мало желал казаться оборванцем, как Англия опуститься до уровня второстепенной державы. Все же он хорошего мэдлеровского чемодана не покупал,— «устроимся в Москве, станем на ноги, тогда и купим».

Люда провожала его на Лионский вокзал. Перед уходом из дому простилась со своей кошкой Пусси, поцеловала ее и поговорила с ней на кошачьем языке. Рейхель толь-

ко вздыхал. Эта кошка отравляла ему жизнь, рвала и пачкала мебель, вскакивала за обедом на стол, интересовалась его тетрадями. Как всегда, они не рассчитали времени и приехали за полчаса до отхода поезда.

— Я говорила тебе, что слишком рано едем! Что теперь здесь делать!

— Напротив, это я говорил, что слишком рано едем. Но тебе незачем оставаться на вокзале, поезжай домой или куда тебе нужно.

Она осталась, хотя знала, что разговаривать не о чем и незачем. Аркадий Васильевич купил билет третьего класса, обстоятельно расспросил в кассе, подан ли уже поезд и на каком пути он стоит, затем для верности спросил о том же контролера при выходе, еще у кого-то на перроне, прочел надпись «Париж — Вентимилиа», осведомился у кондуктора, идет ли этот вагон в Монте-Карло без пересадки, и втащил чемодан в вагон. Люда шла за ним.

— Кулька с провизией в сетку не клади, положи на скамейку,— сказала она.— Посидим на перроне, здесь душно.

— А не стащат чемодана?

— Хоть бы какой-нибудь дурак нашелся, который тоже приехал бы на вокзал за час. Его можно было бы попросить, чтобы он присматривал. Нет, никто на твой драгоценный чемодан не польстится.

На перроне они заняли места на скамейке. Оба поглядывали на вагон, не выскочит ли вор с чемоданом. Рейхель с наслаждением закурил папиросу.

— Первая из пяти, полагающихся по моему правилу в день.

— У тебя на все правила! Разве так нужно жить человеку, да еще в двадцать девять лет?

— По-моему, именно так, и в двадцать девять лет, и в семьдесят девять... Все-таки Митя и Таня огорчатся и обидятся, что ты не приехала.

— А я совершенно уверена, что не огорчатся и не обидятся. Твоя Татьяна Михайловна и не так жаждет меня видеть. Помимо прочего, я не жена — просто, а «гражданская». Это к ее герцогскому стилю и не идет, они ведь в Москве теперь принадлежат к так называемому «лучшему» обществу. А ей надо быть особенно осторожной, потому она еврейского происхождения, хотя и крещеная...

— Их общество не «так называемое», а в самом деле лучшее: цвет московской интеллигенции. И в нем о происхождении никто не думает,— сказал Рейхель без убеждения в голосе: он недолюбливал евреев.

— Нет, к сожалению, думают везде, кроме нашего революционного круга.

— Вспомнила однако именно ты, хотя ты принадлежишь к «революционному кругу».

— Я, конечно, пошутила. Но Татьяну Михайловну я действительно не люблю и не понимаю, почему это надо скрывать? Как тебе должно быть давно известно, я вообще привыкла называть вещи своими именами.

— На вокзальном перроне можно и не говорить о твоей глубочайшей философии жизни.

— А в гостях у Ласточкиных я чувствую себя как свергнутый южноамериканский диктатор, укрывшийся в чужом посольстве: может быть, хозяева мне и рады, а вернее, они желают, чтобы я поскорее уехала. Со всем тем, я ничего против них не имею. Дмитрий Анатольевич очень хороший человек, он в буржуазии белая ворона.

— То-то и есть, что ты всю буржуазию не любишь.

— Любить и не за что. Конечно, есть исключения. Дмитрий Анатольевич хоть понимает очень многое, он из лучших представителей своего класса и поэтому...

— Какой там класс! — сказал Рейхель, не дослушав.

— Да, да, знаю, никаких классов нет, и социологию вообще кто-то выдумал, а есть только биология,— сказала Люда пренебрежительно.— Но вот что, если тебе там будет приятно, то посиди в Монте-Карло несколько лишних дней. Я все-таки и сама поехала бы, если б не партийная работа. Так и скажи Дмитрию Анатольевичу, непременно скажи. Он наверное много мог бы рассказать о настроениях среди московских рабочих. Как это Татьяна Михайловна не заезжает на этот раз в Париж, к своему Ворту? — насмешливо спросила Людмила Ивановна. Она впрочем и сама, несмотря на скромные средства, одевалась недурно. Умела заказывать и покупать все недорого, сама, без парикмахера завивала волосы щипцами и «притиралась» (не принято было говорить: «красилась»). На ней и теперь, с утра был элегантный синий жакет с модной длинной расширявшейся книзу юбкой. Люда говорила некоторым знакомым, что «признает и абсолютную красоту, и условную красивость». Впрочем, такими изречениями не злоупотребляла.— Смотри: Джамбул! — вдруг сказала она и радостно закивала хорошо одетому человеку, вышедшему из туннеля с двумя молодыми дамами (Люда быстро-внимательно их оглядела). Этот человек тоже радостно ей улыбнулся, снял шляпу и, что-то сказав дамам, подошел к Люде. Лицо у него было красивое — «из тех, что называют породистыми,

а глаза и губы из тех, что называют страстными или чувственными. На лбу следы шрама. Что еще за субъект?» — с неудовольствием подумал Аркадий Васильевич.— Какая неожиданная встреча! Вы не знакомы: Рейхель. Джамбул.

— Очень приятно познакомиться. Я о вас слышал... Да, очень приятная неожиданность.

Он говорил с кавказским акцентом. Его дамы окинули Людмилу Ивановну не очень дружелюбным взглядом, прошли дальше и остановились у выхода.— Вы уезжаете?

— Нет, я его провожаю. Да наденьте же шляпу... Откуда вы?

— Из Фонтенбло. Что Ленин?

«Значит, и этот из их компании»,— с еще большим неудовольствием подумал Рейхель.

— Ильич? Ничего, все благополучно.

— Это нехорошо, человек не должен жить благополучно,— сказал, смеясь, Джамбул.— Готовится к съезду?

— Готовится. А что вы? Получили мандат?

— Помилуйте, от кого? Но я все-таки приеду.

— Мы вам устроим совещательный голос.

— Не надо мне никакого голоса. Не люблю трюков. Не люблю и голосовать.

— Ось лихо! У меня у самой будет только совещательный.

— Вы другое дело... У вас отличный вид. Еще похорошели. И так элегантны,— сказал он. Был всегда очень вежлив и подчеркнуто любезен с дамами; но любезность точно бралась им в какие-то кавычки. Кое-кто находил ее «нахальной». «Глаза у этой Люды красивые, хоть «ложно-страстные»,— определил Джамбул.

— Мерси. Меня обычно бранят товарищи за то, что я стараюсь не походить на чучело вроде Крупской. А вот вы одобряете. Долго ли пробудете в Париже?

— Еще не знаю. Разрешите к вам зайти?

— Буду искренно рада. Вы всегда так интересно рассказываете.

Рейхель зевнул демонстративно. Джамбул на него взглянул и простился, опять вежливо подняв шляпу над головой.

— Кто такой? — спросил Аркадий Васильевич.— От наружности впечатление: не дай Бог ночью встретиться в безлюдном месте.

— Ну вот, ты так всегда! Говоришь, что я не люблю буржуазию, а сам все больше ненавидишь революционеров. С годами ты станешь черным реакционером!.. Он

очень мне нравится. Красивый, правда? И вдобавок, геркулес, хоть только чуть выше среднего роста. Интересный человек. О нем рассказывают легенды! Говорят, он с кем-то побратим! Ты знаешь, что это такое? Один разрезывает у себя руку, другой выпивает кровь, и с тех пор они братья до могилы!

— Я не знал, что этот обычай принят у марксистов,— сказал саркастически Рейхель.— С кем же он побратим? С Лениным или с Плехановым?

— Дурак! С кем-то на Кавказе. И еще у него, кажется, была там американская дуэль, если только люди не врут.

— Наверное врут и с его же слов. Всех перевешать! — сказал рассеянно Аркадий Васильевич. Он часто ни к селу, ни к городу произносил эти бессмысленные слова; впрочем произносил их довольно мирно.

— Сейчас всех своими руками перевешаю.

— Как ты его назвала? Джамбул?

— Это, конечно, псевдоним. Он не то осетин, не то ингуш, или что-то в этом роде, во всяком случае мусульманин. Обе дамы красивые. Ведь у мусульман разрешается многоженство? — спросила, смеясь, Люда.

— И какой учтивый, это у нас редкость... Ну, вот, кричат «En voitures!»[1] Садись поскорее. Я тебе в кулек положила сандвичи, пирожки, яблоки. С голоду не умрешь. А то выброси кулек за окно и пойди в вагон-ресторан, я непременно так сделала бы. Ну, счастливого пути, Аркаша!

Они поцеловались.

— До свиданья, милая. Пожалуйста, помни, что, несмотря на страдания пролетариата, надо каждый день и завтракать и обедать. Не экономь на еде, лучше умори голодом проклятую кошку...

— Типун тебе на язык!

— «Нехай вина сказытся». Говорю в подражание тебе. Ты такая же украинка, как я. Или как римский папа. Умоляю тебя, не работай ни на кошку, ни на партию, нехай и вина сказытся.

— Отстань, нет мелких,— сказала Люда. У нее тоже были бессмысленные присказки.— Как это я еще тебя терплю?

— Грозное «еще».

— Сердечный привет Дмитрию Анатольевичу. Так и быть, кланяйся и его герцогине. И не забудь исполнить мою просьбу о Морозове.

— Исполню, но с проклятьями.

---

[1] «По вагонам!» *(франц.)*

Как только Рейхель вошел в вагон, Людмила Ивановна направилась к выходу. Заключительной части вокзального ритуала, с воздушными поцелуями после отхода поезда, она не соблюдала. Своей быстрой энергичной походкой — всегда казалось, что она бежит,— прошла к киоску, купила газету, подумала, что возвращаться домой не стоит, они жили далеко, в меблированных комнатах около Пастеровского института, а часа через полтора у нее было назначено деловое свидание в центре города. «Разве выпить здесь чашку кофе?»

В кофейне она просмотрела газетные заголовки, большие и малые. О предстоявшем в Брюсселе съезде русских социал-демократов нигде не упоминалось. «Разумеется! Если б еще мы были жоресистами, тогда все же писали бы. Но мы настоящие революционеры, а они о революции думают как о прошлогоднем снеге».

К ней подошел котенок. Люда ахнула от восторга и заговорила по-кошачьи: «Бозе мой, Бозе мой, мы такие симпатицные, мы хотели бы выпить молоцка!» Вылила остаток молока на пол, котенок слизнул и ушел. Она обиделась. «Пора и мне уходить. Взять с собой газету? Не стоит. Пусть лучше гарсон прочтет, ему и это будет полезно для развития классового сознания. К какому классу принадлежат гарсоны?.. Аркаша верно уже погрузился в свой ученый хлам...»

Она еще называла его «Аркашей»; в третьем лице, в разговорах со знакомыми, говорила «Рейхель». «Неподходящее было дело»,— думала Люда, разумея их связь, длившуюся уже более двух лет. Думала, однако, без сожаления: вообще над своими поступками размышляла недолго и почти никогда ни о чем не сожалела. «Сошлись, ну и сошлись. Он верно про себя имеет для этого какое-нибудь физиологическое объяснение: тогда очень долго не имел женщин, что ли? Можно и разойтись. Я отлично сделала, что отказалась пойти с ним в мэрию.

Людмила Ивановна с самого начала сказала Рейхелю, что стоит за полную свободу.— «Это, кажется, проповедует ваша товарищ Коллонтай... Как кстати о ней говорить: «ваша товарищ» или «ваш товарищ»?

— «Мне все равно, кто что проповедует! Я живу своим умом. И ничего нет остроумного в насмешках над словом товарищ!» — «Да я нисколько и не насмехаюсь. Товарищи есть даже у министров. Я впрочем никогда не понимал, как это цари ввели такой фамильярный чин. «Виц» был гораздо естественнее».— «Хорошо, но возвращаясь к

делу, я тебя честно предупреждаю: если ты мне надоешь, то...» — «А почему тебе не сказать: «если я тебе надоем, то»? — «Совершенно верно. То в обоих случаях мы миролюбиво расстанемся». Теперь думала, что Рейхель очень порядочный человек, но слишком сухой и скучный. «Не умный и не глупый. Ну, пусть поживет по-буржуазному и немного отдохнет от моих обедов, с герцогиней Ласточкиной, née Kremenetzky» [1]. Люда уверяла, что умеет готовить только бифштекс и самую простую из тридцати французских яичниц.— «Да еще теоретически знаю, как варят борщ,— говорила она знакомым,— но он требует много времени, а Рейхель не замечает, что ест. Надежда Константиновна стряпает не лучше меня и за обедом вдобавок изрекает глубокие истины. Недаром Ильич любит пообедать в ресторанчике и тогда становится очарователен». Она обожала Ленина и недолюбливала Крупскую.

Аркадий Васильевич в самом деле тотчас углубился в книгу научного журнала. Мысленно подверг критике каждое положение работы известного ученого и признал ее неубедительной. Радостно подумал о своем собственном исследовании. Оно шло прекрасно. «Верно вызовет шум. Но получить кафедру будет все же не так легко, как говорит Митя. Он просто этого не знает. Конечно, скажут: «Нет, молод, пусть поработает лаборантом». Идти в лаборанты ему очень не хотелось. «Разве Митя действительно достанет деньги и на институт? Вот было бы хорошо! Но и тогда верно скажут, что молод!» В последний год единственным его желанием было стать директором лаборатории, совершенно самостоятельным во всех отношениях. Главным препятствием была его молодость. «Дадут тогда, когда силы, творческие способности уменьшатся. Как глупо, как нелепо!»

На соседей по вагону он еле взглянул. У него была особенность: запоминал чужие лица только после довольно продолжительного знакомства, а случайных знакомых никогда при новой встрече не узнавал. Этот физический недостаток его огорчал, и он старался развивать свою зрительную память. Люда часто называла его пренебрежительно «гелертером» [2], и это его раздражало. «Ну да. если человек занимается наукой и не интересуется социал-демокра-

---

[1] «Урожденная Кременецкая» *(франц.)*.
[2] Ученый (*нем.* Gelehrte).

тическими съездами и бабьими финтифлюшками, то значит «гелертер»! На самом деле даже непохоже. Меня действительно не интересуют средние люди, но только средние. Когда я был в университете, мне хотелось написать монографию о Роджере Бэконе. Даже материалы стал изучать»,— сказал он как-то Люде.— «А кто такой Роджер Бэкон? Спрошу Ильича, что он думает о Роджере Бэконе».— «Да твой Ильич, может быть, о нем сам не слышал. Ты у меня спросила бы, я рассказал бы тебе в свободное время».— «Ильич не слышал! Нет вещи, которой Ильич не знал бы. И уж извини, его мнение меня интересует больше, чем твое».— «В этом я ни минуты и не сомневался!» — Это было их общее выражение, всегда произносившееся обоими с некоторым вызовом.

Соседи мешали ему сосредоточиться на ученой работе. Всего больше раздражал его пассажир, спавший против него со странно заложенными позади головы руками. «Нормальный человек так спать не может, да и незачем утром спать. И ноги он вытянул довольно бесцеремонно, точно я не существую». Кто-то в отделении достал из мешочка еду, другие оживились и сделали то же самое. Рейхель отложил журнал и развернул свой кулек. «Позаботилась Люда!.. Собственно я ничего не могу поставить ей в вину, кроме ее проклятой революционности. Но я знал, что она революционерка, следовательно не могу упрекать ее и в этом. До сих пор не могу понять, зачем я ей тогда понадобился. Мало ли у них этаких Джамбулов. Впрочем, не хорошо так думать, это не по-джентльменски». Он выбросил за окно пустой кулек, опять с досадой взглянул на спящего человека и углубился в журнал.

III

На вокзале в Монте-Карло поздно вечером его встретил Ласточкин. Татьяна Михайловна была не совсем здорова.

— ...Нет, решительно ничего серьезного, просто немного простужена. У нас здесь были и холодные дни, погода все менялась, а Таня легко простуживается. Сейчас ее увидишь, она нас ждет. Ну, как ты? Вид у тебя усталый. Переработался? За год ты еще похудел. Брал бы пример с меня.

— Да, ты немного полнеешь. Ты стал еще больше похож на Герцена,— сказал Аркадий Васильевич.— Люда шлет сердечный привет вам обоим.

— Не говори мне о Люде, я не хочу о ней слышать! Какое безобразие, что она не приехала! Что это за довод, будто она очень занята! Мы ее год не видели.

— Скоро мы вернемся в Москву.

— Да, но это не резон. Так хорошо провели бы с ней время в Монте-Карло... Хорош и ты! Приехал в третьем классе! Просто беда с вами... У тебя нет ничего в багажном вагоне?

— Ничего нет, я приехал налегке. В этом чемодане только белье, перемена платья и смокинг. Я ведь знаю, что в вашей гостинице смокинг необходим.

— Совершенно необходим. А из-за этого третьего класса ты опоздал к обеду. Мы и то удивились, узнав, что ты приезжаешь поздно вечером, есть лучшие поезда. ...Porteur! [1] — закричал Дмитрий Анатольевич.

— Собственно и носильщик не нужен. Мой чемодан не тяжелый, легкий.

— Быть может, ты хочешь пешком тащить чемодан и в гостиницу? Всегда ты был чудаком и останешься им до седых волос... Не спрашиваю тебя о работе, знаю, что она идет прекрасно. Ты будущий наш Пастер!

— Не произноси всуе имя Пастера,— сказал Рейхель, впрочем довольный. Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, он не находил предмета для разговора.— А как твое здоровье? Что одышка?

— Пока очень легкая. Верно, слишком много ем и пью. Ты не можешь себе представить, что творилось в Москве, особенно в пору праздников! На Новый год мы помимо того, что должны были разослать сотни поздравительных карточек и десятки подарков, еще...

— На редкость нелепый обычай! Я никому карточек не посылаю. Только даром люди тратят время и причиняют знакомым неприятность.

— Совершенно с тобой согласен, но не я этот обычай выдумал... А помимо этого, завтраки, обеды, ужины следовали один за другим — и какие! Мой врач уже грозит, что летом сошлет меня в Мариенбад!.. Вот извозчик, садись...

— А отчего вы не взяли с собой Нину? — спросил в коляске Рейхель

— Ни за что не хотела поехать. Знаешь, она теперь погрузилась в архитектуру.

---

[1] Носильщик! *(франц.)*

— Да, ты писал. Странное занятие для женщины! Если б ты хотел выстроить себе дом, поручил ли бы ты это дело даме? Но чем же ей архитектура мешала поехать с вами?

— Вот, поди ж ты, мешала! — ответил весело Ласточкин.— Теперь на Воздвиженке строится великолепное палаццо... Нет, не палаццо, а «палаты». Они у нас все, и купцы, и аристократия, помешались на русском стиле. Архитектор с немецкой фамилией строит... Как по-немецки «палаты»? Скажем, «палатен», «echt Russisch»[1]. Я ей выхлопотал разрешение следить за постройкой. Нина очень увлечена и проводит там целые дни.— Он знал, что его сестра не поехала с ними за границу не поэтому: просто не хотела им мешать и вводить их в расходы. «Так же щепетильна, как Аркадий. Оба чудаки»,— подумал он, хотя и сам на их месте поступал бы точно так же.— А отчего женщине не быть архитектором? Не бойся, я не произнесу тирады в защиту женского равноправия и не сошлюсь на Софью Ковалевскую. Но я очень рад увлечению Нины. Это гораздо лучше, чем ждать, пока какой-нибудь холостяк удостоит ее внимания. Мне всегда было жаль девушек, у которых нет другого дела, как ждать появления жениха и тщательно это скрывать. Или, еще, гораздо хуже, смотреть, как для нее *травят* жениха родные.

— Да, ты прав,— сказал Рейхель.— Какое прекрасное место Монте-Карло! И какой воздух!.. Этот сад, кажется, прозван «Садом самоубийц»? Здесь будто бы кончают с собой люди, проигравшиеся в притоне? — спросил он. Ласточкин поморщился.

— Вероятно, такие случаи очень редки. Никогда не мог понять, почему люди кончают с собой. Жизнь так прекрасна! Да еще расставаться с ней только потому, что не стало денег! Их очень легко наживать.

— Ну, не очень легко.

— Ты просто не пробовал. Если я вдруг потеряю состояние, которого у меня десять лет тому назад и не было, то я вздохну, сообщу Тане, она тоже вздохнет, а вечером пойдем в оперу, особенно если будут «Мейстерзингеры», это наша любимая, от нее веет радостью жизни. А на следующее же утро опять примусь за работу, и думаю, что скоро у меня опять появятся деньги. Впрочем, не сочти это за хвастовство или за излишнюю самоуверенность.

— Ты «победитель жизни», как, кажется, пишут романисты. Я уверен, ты со временем станешь одним из бога-

---

[1] «Подлинно русский» *(нем.)*.

тейших людей России,— сказал Аркадий Васильевич. Он был лишь немногим более завистлив, чем другие люди; завидовал только прославившимся биологам и не завидовал богачам; но в тоне его скользнуло что-то неприятное. Ласточкин на него взглянул.

— На это пока очень непохоже,— смеясь, сказал он.— Вот мы и приехали.

Татьяна Михайловна ждала их в салоне роскошного номера. Ей было еще далеко до того возраста, когда человек уже не может быть вполне здоровым, когда люди начинают подумывать, от чего умрут, начинают соблюдать режим и следить даже за чужими болезнями. Но вид у нее был очень утомленный. Как всегда, она была хорошо и просто одета. Рейхель постарался запомнить ее пеньюар: «Люда будет спрашивать. И ни под какую герцогиню Таня не подделывается. Ей от природы свойственна редкая благожелательность к людям,— думал Аркадий Васильевич с недоумением: он сам был совершенно лишен этого свойства. «Никогда никому, ни одного неприятного слова не говорит». Это было верно. Самой основной чертой в Татьяне Михайловне была, как шутил ее муж, ее редкая «лойяльность»: «никогда, например, не забывает хотя бы небольшой услуги, оказанной ей людьми, и уж этим людям верна до гроба».

Она расспрашивала Рейхеля об его работе. об их жизни в Париже, мягко попеняла, что он не привез с собой жену. «Моя работа ее совершенно не интересует, Люду она не любит, между тем она очень правдива. Странно».

— Привезли с собой «талисман», Таня,— сказал он, показывая на фотографию Дмитрия Анатольевича, стоявшую на столике в углу. Татьяна Михайловна засмеялась. Она обожала мужа. У них детей не было. Рейхель знал, что это было единственное горе их жизни. Это тоже очень его удивляло.

— Привезла, хотя оригинал находится тут же... Должно быть, вы очень проголодались, Аркадий? Хотите, мы закажем ужин сюда в номер, чтобы вам не переодеваться,— сказала она, скользнув взглядом по его потертому пиджачку с засыпанным перхотью воротничком.

— Какой там ужин! Я в вагоне очень плотно поел, Люда мне отпустила всего точно на полк солдат. Но вы не бойтесь, Таня, у меня есть смокинг, и я завтра же его к обеду надену. Правда, не очень элегантный. Я его купил в «Бон-Марше» готовым за сто франков. Спешно понадобился для парадного обеда.

Ласточкин благодушно улыбался. «Аркаша всегда говорит такие вещи точно с вызовом!» Рейхель помнил, что еще в ту пору, когда они оба были бедны и он покупал подержанное платье, его старший кузен заказал себе костюм за тридцать пять рублей «из настоящего английского материала»,— об этом почтительно говорили в их городке. Теперь Дмитрий Анатольевич одевался превосходно. В Петербурге заказывал костюмы у Сарра, а в последние годы кое-что заказывал в Лондоне у Пуля, к которому получил необходимую рекомендацию. Он умел хорошо носить даже сюртук, самый безобразный из костюмов.

Улыбалась и Татьяна Михайловна.

— Узнаю вас, Аркадий. Когда вы вернетесь в Москву, мы вами займемся. У нас и ученые хорошо одеваются. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей...» Но что же вы будете теперь делать, друзья мои? Не сидеть же вам весь вечер с бедной больной... Нет, нет, я этого не потерплю. Разве пойдете в Казино? Не пугайтесь, играть совершенно не обязательно. Но и там нужен смокинг.

— Со мной пустят и без смокинга. Меня уже знают, достаточно оставил тут денег! — сказал Ласточкин.— Так ты решительно не пойдешь с нами, Танечка?

— Нет, поздно, я лягу, немного болит голова. Аркадий извинит меня, завтра обо всем как следует поговорим.

— Ну, что, как тебе нравится этот притон? — спросил Дмитрий Анатольевич, когда они, походив по раззолоченным залам, уселись за столик в кофейне. Рейхель предпочел бы вернуться в гостиницу и тотчас лечь спать: был утомлен дорогой и привык ложиться рано. Но ему казалось, что его двоюродному брату очень хочется поговорить. «Вероятно, об умном. В Москве Митя имеет репутацию «прекрасного передового оратора». Ох, недорого стоят все их легко приобретаемые общественные ярлычки»

— Да я здесь раз был два года тому назад. Разумеется, ни одного сантима тут не оставил. Не понимаю этого удовольствия. Эти груды золота на столах, эти искаженные лица игроков, которые старательно делают вид, будто им, при их богатстве, совершенно все равно. Неужели и ты, Митя, здесь много проиграл?

— Нет, не очень много. А если говорить правду, то в Москве теперь идет гораздо более крупная игра, чем в Монте-Карло. Один из Морозовых, Михаил Абрамович,

одну ночь проиграл миллион рублей табачному фабриканту Бостанжогло.

— Миллион рублей!

— Так точно. Ты не можешь себе представить, что такое нынешняя Россия. Мы все читали о разных Клондайках и Трансваалях, где люди быстро наживали огромные состояния. Так вот, наша милая старая Москва теперь почище всяких Клондайков. Наши богачи и живут так, как американские миллиардеры: по телеграфу, не глядя, покупают имения, виллы, чуть ли не заказывают экстренные поезда или отдельные вагоны. Это глупо, но наряду с этим они делают и очень хорошие, полезные дела.

Он заказал напитки и стал с увлечением рассказывать о Москве, о росте русской промышленности, о создающихся громадных богатствах, о больших частных пожертвованиях. Говорил он так хорошо, что и Аркадий Васильевич заслушался, хотя мало интересовался ростом русской промышленности. «Очень способный человек Митя, даже талантливый, но тоже кое в чем странный. Грюндер? [1] Нет, какой он грюндер? Скорее поэт»,— подумал Рейхель, у которого поэт был едва ли лучше «грюндера». Он впрочем любил своего двоюродного брата; любил бы еще больше, если б не был вынужден жить на его деньги. «И манера речи у него необычная, уж очень всех и все уважает»,— думал Рейхель, почему-то вспомнив одного своего собрата, который никогда не говорил «Гёте» или «Леонардо да Винчи», а всегда «великий Гёте», «гениальный Леонардо да Винчи», и даже современников называл и за глаза по имени-отчеству: не «Мечников», а непременно «Илья Ильич Мечников».

— В известном анекдоте об Англии,— сказал Дмитрий Анатольевич,— британского помещика иностранцы спрашивают, почему в Англии такие превосходные луга, площадки для игр, для цветов. «Это очень просто,— отвечает помещик.— Надо только ухаживать за ними семьсот лет». Кажется, все восторгаются этим ответом. А я удивляюсь: хорошо было бы человечество, если б ему нужно было семьсот лет для устройства хороших лужаек и площадок! У нас теперь все создается со сказочной быстротой и тем не менее с любовью, со знанием дела, с размахом. Через четверть века Россия будет самой процветающей страной мира! — говорил Ласточкин.— Что было бы с ней уже теперь, если б была конституция, хотя бы куцая! Но она ско-

---

[1] Основатель (*нем.* Gründer).

ро будет. Самодержавие идет к концу. Конечно, теперь промышленники первенствующее сословие России, а никак не дворянство, не понемногу исчезающий помещичий класс, на который самодержавие опиралось. Ты улыбаешься?

— Признаюсь, я не умею думать в категориях сословий. По-моему, «первенствующее сословие» это интеллигенция, какова бы она ни была по паспорту.

— В этом, конечно, большая доля правды, но интеллигенция была бы бессильна без мощи торгово-промышленного капитала. Он ее поддерживает и выдвигает. Да он с ней и сливается. Вот ты мечтаешь о биологическом институте в Москве. Я чрезвычайно этому сочувствую и сделаю все для осуществления этого дела. Но кто даст деньги? Не правительство, оно не очень этим занято. Деньги дадут именно московские богачи и без всякой для себя выгоды. Просто из любви к культуре и по сознанию общественного долга. Пора перестать судить о них по пьесам Островского или Сумбатова. Поверь мне, я ведь их знаю лучше, чем писатели: я с ними годами работаю. Между ними есть истинно культурные люди. Я ничего не идеализирую. Есть тут, как везде, и снобизм, и тщеславие, и соперничество купеческих династий, все это так. У бояр было местничество, в маленькой степени оно есть и у нынешних тузов, они твердо помнят, кто когда вышел в большие люди, просто Рюриковичи и Гедиминовичи! Но главное их соревнование теперь, к счастью, в культурных делах. Первые из всех, кажется, Морозовы. Ты о Савве Тимофеевиче слышал?

— Не только слышал, но даже хотел о нем с тобой поговорить.

— Ты думаешь, что именно к нему надо обратиться за деньгами для института? Это так. Я именно его имею в виду, по крайней мере для почина. Видишь ли, на него может подействовать большое общеизвестное имя. Уж он такой человек. На славу падок. Был необыкновенно увлечен Максимом Горьким... Ты как к нему относишься?

— К Горькому? Никак. Да я почти ничего из его шедевров не читал и читать не буду. Не удивляйся. Я не прочел и четверти произведений Гёте, не все прочел у Вирхова, у Клод-Бернара, так стану ли я тратить время на сокровища Горького?

— О нем и о Савве Морозове теперь больше всего и говорят у нас в Москве.

— Это делает Москве большую честь. Что ж, Люда находит, что Горький много выше Льва Толстого. Как же, ведь Горький — *наш!* Дальше она несет свою обычную ерунду о пролетариате и о классовой борьбе... Впрочем, я и к Толстому, которого ты боготворишь, отношусь довольно равнодушно. Читал недавно его письма. До того, как он «просветлел», кое-что было интересно, но с тех пор, как он стал ангелом добродетели, адская скука. А что он несет о науке! Уши вянут!

— Тебе видно чувство благоговения вообще не свойственно! Толстой — величайшая национальная гордость, а ты его ругаешь! Неужели тебе не совестно?

— Нет, не совестно... А как продается твоя брошюра «Промышленный потенциал Донецкого бассейна»?

— Да это и не брошюра, просто доклад, который я не так давно прочел и даже не собирался печатать. Приятель-экономист без меня предложил издательству, где он сам печатается. Недавно он мне с огорченьем сказал, что продается неважно,— ответил Дмитрий Анатольевич. «Едва ли один писатель очень огорчается оттого, что неважно продаются книги другого писателя»,— подумал Рейхель. Ласточкин немного помолчал.— Аркадий, можно с тобой поговорить о твоих интимных делах?

— Пожалуйста.

— Скажу тебе правду, ни Таня, ни я не понимаем, почему вы с Людой до сих пор не узаконили отношений. Ведь могут быть осложнения, особенно когда будут дети.

— Люда не хочет детей. И не хочет законного брака. Говорит, что она против вечных отношений и отнюдь не уверена, что наши с ней отношения вечны.

— Не может быть!

— Так она говорит, и я с ней готов согласиться.

— Как странно! Но ведь ты ее любишь?

— Конечно, люблю,— сказал Рейхель холодно.

— Еще раз прости, что я об этом заговорил... Так возвращаюсь к Морозову. На него, по-моему, подействовало бы имя Мечникова. Ведь ты с ним хорош?

— С Мечниковым? Да, я его знаю. Мы не одного направления в науке.

— Ого! Не одного направления? Так направления есть и в биологии? И у тебя уже есть в ней направление? Это отлично. Но как ты думаешь, если б в Москве создался институт, Мечников согласился ли бы вернуться в Россию и стать его главой?

— Не думаю. Он слишком связан с Парижем, с Пастеровским институтом. Впрочем, я не знаю,— сказал Аркадий Васильевич, нахмурившись, старший кузен смотрел на него с благодушным недоумением. «Неужели Аркаша надеется, что он сам в свои годы может стать директором?»

— Ты мог бы быть его помощником или заведующим одним из отделений,— поспешно сказал он.

— Дело не во мне. И я вообще в данном случае имел в виду не институт.

— Что же другое?

— Видишь ли, за границей известно, что Савва Морозов дает большие деньги и на политические дела...

— Действительно дает. Сколько с него перебрал на это Горький, и сказать тебе не могу. Притом на политические дела разного направления. Конечно, в пределах левого лагеря, о правых Морозов и слушать не стал бы. Он дает деньги и либералам, и социалистам всех оттенков. Между нами говоря, я думаю, что он и не очень разбирается в политических вопросах. Однако при чем же тут ты? Ведь ты политикой не интересуешься?

— Я совершенно не интересуюсь, но Люда, как тебе известно, интересуется. Она социал-демократка. У них теперь идет борьба фракций. Скоро состоится какой-то съезд, и Люда надеется, что во главе партии станет ее вождь, некий Ленин.

— Он не некий. Я о нем слышал. Говорят, выдающийся человек.

— Люда просто на него молится и всегда о нем рассказывает разные чудеса, мне и слушать надоело. Ты впрочем и сам сочувствуешь социалистам. Так вот, Люда тебя просит: не мог ли бы ты посодействовать тому, чтобы этот Савва дал партии деньги?

— Да он и так дает. Говорят, через какого-то Красина.

— И о нем слышал от Люды. Тоже, кажется, процветающий социалист?

— «Тоже» относится ко мне? Не протестуй, я не обижаюсь. Да, я признаю, что в учении социалистов есть немалая доля правды. Я и сам, случается, даю им деньги. Знаю, что в этом есть доля смешного. «В Европе сапожник, чтоб барином стать,— Бунтует, понятное дело.— У нас революцию сделала знать,— В сапожники, что ль, захотела». Ты скажешь, какая же мы знать? И ты будешь прав. Твой отец был аптекарем, а мой бухгалтером. Вот и еще довод, чтобы помогать нуждающимся людям. Я как могу и помогаю, — сказал Ласточкин и немного смутился,

вспомнив, что помогает и своему собеседнику.— Но я дал себе слово, что Таня и я не умрем бедняками. Мне повезло, теперь, пожалуй, я и сам вхожу в «первенствующее сословие». Правда, социалисты именно хотят все у нас отнять, но...

— Не у «нас»: у меня ничего нет.

— Но шансов у них на это немного. В их партию, конечно, я не пойду, хотя бы потому, что во многом с ними расхожусь, и потому, что это не мое призвание. Я здесь читал их газетки без малейшего восторга. Уж если мы с тобой об этом разговорились, то добавлю, что как люди, просто как люди, они в большинстве мне не симпатичны. Это не только мое наблюдение. Ты знаешь, как умна Таня. Она моя жена, я могу быть к ней пристрастен, но я говорю искренно. Она и умом, и своей «добротой по убеждению» — не знаю, как определить эту ее черту иначе,— замечает очень, очень многое.

— Она прекрасная женщина.

— «Прекрасная женщина»,— повторил Ласточкин, видимо недовольный таким определеньем.— Таких женщин мало на свете. Я всем обязан ей. («Чем это?» — подумал Рейхель.) Не говорю о мелочах. Мы когда-то жили на тысячу рублей в год, теперь проживаем около сорока тысяч, и хоть бы что в ней изменилось! Но во всем, во всем она постоянно меня изумляет, особенно своим простым, разумным подходом к жизни, тонкостью и «незаметностью» своих суждений о людях. Если есть женщина, совершенно не желающая ничем «блестеть», то это именно она. Между тем, она умнее множества блестящих женщин.

— Не люблю «блестящих» людей вообще, а особенно блестящих женщин, с их утомительными разговорами, мнимым умом и сомнительными талантами.

— Ну, уж это слишком,— сказал с некоторым недоуменьем Дмитрий Анатольевич.— Мы почему заговорили о Тане?.. Да, так, видишь ли, мы теперь часто бываем в самых разных слоях общества. Зовут нас иногда в аристократические салоны, часто бываем и в обществе левых наших интеллигентов, настроенных почти революционно или даже вполне революционно. И Таня как-то мне сказала: «Разумеется, хорошие и плохие люди есть везде, это общее место, но мне кажется, что всего больше симпатичных, привлекательных людей теперь именно в среде либеральной русской буржуазии: она добра именно от своей удачливости».

— Ты однако только что говорил об ее снобизме и местничестве,— сказал Рейхель. «Ну, эта мысль Тани еще не так свидетельствует о тонкости ее ума! Митя в нее влюблен и теперь как в пору их женитьбы»,— подумал он.

— Где этого нет? Есть и у левой интеллигенции. Все познается по сравнению. Буржуазия и жертвует больше, чем все другие. Разумеется, я хочу сказать, больше пропорционально.

— По-моему, ты себе несколько противоречишь.

— Может быть. Ты кстати видел ли людей, которые себе никогда не противоречили бы? Я что-то таких не знаю... «Кающиеся дворяне» у нас были, «кающиеся буржуа» есть сейчас, но кающихся революционеров как будто нет. Ах, как жаль, что Люда не приехала,— сказал он со вздохом,— я с ней поспорил бы. Разумеется, я не отказываюсь исполнить ее желание. Однако нельзя же просить Морозова сразу о двух вещах: и о биологическом институте, и о деньгах на социал-демократическую партию.

— Тогда, разумеется, проси об институте.

— Ясное дело. Но я не могу отказать Люде. Знаешь что, у Саввы Тимофеевича есть молодой племянник, некий Шмидт, уж не знаю, как в их ультрарусскую семью попал человек с немецкой фамилией. Этот Шмидт самый настоящий революционер. Я его знаю. Хороший человек. Он далеко не так богат, как Морозовы, но все-таки деньги у него большие и он их раздает щедро. Я с ним поговорю о просьбе Люды и думаю, что он мне не откажет... Странная семья эти Морозовы, особенно Савва Тимофеевич. У меня к нему, не знаю, почему, очень большая симпатия, мне даже самому совестно: ведь, в конце концов, независимо от его достоинств, главная его сила в огромном богатстве. Если б он был беден, люди им интересовались бы неизмеримо меньше.

— Даже совсем не интересовались бы,— вставил Рейхель.

— Он очень странный человек. Вот ты упомянул о самоубийцах,— опять поморщившись, сказал Ласточкин.— Близкие к нему люди рассказывали мне, что самоубийство у него любимая тема разговора!

— У Морозова-то? Значит, он с жиру бесится.

— В нем есть потемкинское начало. Я где-то читал, будто князь Потемкин однажды за ужином сказал что-то вроде следующего: «Все у меня есть! Хотел иметь миллионы — имею! Хотел иметь великолепные дворцы — имею! Хотел иметь сильных мира у моих ног — имею! Все

имею!» Сказал — и вдруг с яростью и с отчаяньем рванул со стола скатерть с драгоценной посудой, разбились фарфор и хрусталь! Так и Морозов имеет решительно все и, в отличие от Потемкина, от рождения. Должность князя Таврического была все же не синекура,— сказал с усмешкой Дмитрий Анатольевич,— а Савва Тимофеевич только дал себе труд родиться сыном, внуком, правнуком богачей. Ну, хорошо, бросим это... Скажи, а Люда не влопается в историю? Ты говоришь, съезд. На нем могут быть и секретные агенты полиции. Вдруг ее арестуют на границе, когда вы вернетесь в Россию, а? Стоит ли рисковать?

— Я ей все это говорил сто раз. Но Люда упряма как осел,— сказал Рейхель. Дмитрий Анатольевич поморщился.

— Правда, волка бояться — в лес не ходить. Но с твоей точки зрения, политика вообще ерунда, ведь так? Ты мне когда-то говорил, что единственное важное дело в жизни — это биология и что величайший в мире человек — Пастер.

— И правду говорил. То есть *настоящий* Пастер, а не католик с мистикой и метафизикой. А по-твоему, кто величайший?

— Не знаю. Но не беспокойся, я не отвечу: Савва Морозов,— весело сказал Ласточкин.

— И на том спасибо.

— Разве ответишь на такой вопрос в одной фразе?.. Недалеко отсюда есть площадь, с которой Сантос-Дюмон недавно совершил свой знаменитый полет. Он продержался в воздухе почти две минуты!

— Так он, что ли, великий человек? Это просто акробатия.

— Не говори! Это зародыш чего-то очень большого. Я читал его интервью. Он взял себе девиз из Камоэнса: «Por mares nunca d'antes navigata». Кажется, так? Я по части литературы швах, хотя стараюсь следить.

— Я и не стараюсь. А что это значит?

— «Плыть по морям, по которым никто еще никогда не плавал». Прекрасный девиз, так надо бы и всем нам, грешным.

Он заговорил о воздухоплаваньи с еще большим увлечением, чем прежде о хозяйственном росте России. Рейхель слушал теперь несколько недоверчиво.

— Если б я был очень богат, то попытался бы создать в России воздухоплавательную промышленность!

— Очень уж ты увлекаешься, Митя,— сказал Аркадий Васильевич.— А что, кстати, твоя пишущая машинка?

Ласточкин вздохнул. Он был по образованию инженер-механик и составлял в свободное время проект пишущей машины, с русским и латинским шрифтами,— первой русской пишущей машины, которой в честолюбивые минуты хотел дать свое имя.

— Подвигается, но уж очень медленно, у меня так мало времени,— ответил он и учтиво-холодно поклонился появившемуся на пороге кофейни очень элегантному, красивому человеку. Тот, чуть прищурившись, наклонил голову и, окинув кофейню взглядом, вышел.

— Кто это? — спросил Аркадий Васильевич.— Не сам ли принц монакский? Уж очень королевский вид.

— Не принц, но граф. Это австрийский дипломат, с которым мы познакомились в поезде, когда ехали сюда из Вены. И имя у него шикарное: граф Леопольд Берхтольд фон унд цу Унгарсшитц. Очень высокомерный человек. Вся эта каста еще думает, что призвана править Европой. На самом деле прошло или проходит ее время, и слава Богу,— сказал Дмитрий Анатольевич.— А то она непременно довела бы Европу до войны. И не по злой воле, а просто по наследственному злокачественному легкомыслию.

— Ну, и у нас есть люди такого типа. Даже в интеллигенции. Почти все русские, которых я встречаю в Париже, германофобы. Между тем немецкая наука теперь первая в мире.

— Никакой войны больше не будет. Это было бы слишком чудовищно глупо.

— Да, может, потому и будет, что чудовищно глупо.

— Уж ты хватил! Я начисто отрицаю пессимизм и мизантропию. Они только мешают жить и работать.

— Мне нисколько не мешают,— возразил Рейхель.

IV

Этому человеку не везло в молодости. Он довольно долго жил в нищете. Социалисты в ту пору говорили и даже думали, что таков «принцип буржуазии»: не давать пролетариям возможности выходить в люди. Разумеется, никогда у правящих классов такого принципа не было. Во все времена они старались привлекать к себе отдельных способных людей из низов и позднее ими хвастали. И лишь чистой случайностью надо считать то, что очень небогатая, мало смыслившая в политике буржуазия, мирно управлявшая делами в Довии, в Форли, в Предаппио, не обратила внимания на этого молодого человека. Вдобавок,

семья его была хоть и крестьянская, но старая, жившая в этих местах столетья, а сам он был, при тяжелом и буйном характере, человек чрезвычайно способный, и ум у него был живой, и руки были золотые; он имел какой-то школьный диплом, и уже тогда немного владел иностранными языками. Некоторые земляки считали его не совсем нормальным. В школе он был груб с товарищами, особенно с теми, у которых были состоятельные родители, вечно дрался, однажды пустил чернильницей в учителя. Учился же недурно: вышел первым по итальянской литературе и по музыке.

Девятнадцатилетним юношей он переселился в Лозанну. Его там считали политическим эмигрантом, но это было неверно. Получив на родине место школьного учителя, он скоро признал, что учить маленьких детей для него дело неподходящее; государство щедро оплачивало его труд 56-ю лирами в месяц; стоило попытать счастья в других странах; а ему вдобавок очень хотелось путешествовать, видеть новое, иметь приключения.

Однако в Швейцарии в первое время пришлось ему уж совсем туго. Он развозил по лавкам в тележке вино, работал, как полагалось, одиннадцать часов в сутки, получал по тридцать два сантима в час, порою ночевал в сорном ящике. Случалось, просил милостыню, стучал в окна и грубо требовал хлеба,— иногда и получал. Впоследствии сам рассказывал, что как-то, увидев в пустом саду двух закусывавших на скамейке английских туристок, насильно отобрал у них хлеб и сыр (может быть, и привирал).

Он находил время для чтенья. Читал без разбора, но преимущественно серьезные книги: Ницше, Штирнера, Нордау, Кропоткина. Странным при его характере образом подпадал под влияние чуть ли не каждого знаменитого автора. Прочел «Коммунистический Манифест» и объявил себя марксистом. Где-то раздобыл медаль с изображением Карла Маркса и всегда ее при себе носил. Впрочем, называл себя и анархистом. Скоро он стал встречаться с революционерами и с революционерками. Всегда нравился женщинам, даже до времени своей мировой славы. С одной не повезло.

Жить ему хотелось страстно, необычайно, много более жадно, чем хочет жить громадное большинство людей. И аппетит у него был волчий. Он часто останавливался у окон дорогих ресторанов, смотрел, как едят и пьют туристы, заглядывался на хорошо одетых дам. Говорил товарищам: «Как я ненавижу богачей! О, проклятая нищета!

Сколько же времени мне еще придется все это терпеть!» По вечерам делал то, что полагалось делать настоящим эмигрантам, пока с годами им это не надоедало: посещал митинги, слушал заезжих ораторов, Жореса, Бебеля, Вандервельде. Они говорили дело и говорили хорошо, но ничего особенного в их ораторском таланте он не находил: сам мог бы сказать не хуже, да вопрос не в том, как говорить, а важно, *кто* говорит: одно дело, если знаменитый член парламента, а другое — если эмигрант в лохмотьях. У Жореса хоть голос был особенный, медный, громоподобный, а у других и этого не было. Расспрашивал о них. Многие социалисты вышли из настоящей богатой буржуазии: им было нетрудно выбраться в люди. Правда, Бебель будто бы был в молодости рабочим, но выдвинулся тогда, когда еще почти никакой конкуренции не было. «Ученые? Едва ли, разве только опять-таки Жорес, а Бебель и знает не больше, чем я. Сыты, хорошо одеты, живут именно как буржуа. И только я один голодаю и не выхожу в люди!» — с все росшей ненавистью думал он.

Больше всего он ненавидел бы Бога, если б не знал с мальчишеских лет, что никакого Бога нет; ему объяснили старшие товарищи: об этом серьезно и говорить нельзя. Решил раз навсегда все объяснить всем. В Лозанну приехал из Рима для религиозной пропаганды, для диспутов с неверующими, пастор Талиателли. Такие диспуты происходили тогда нередко, особенно в Париже. Знаменитый анархист Себастиан Фор ездил по Франции с одной и той же лекцией: «Двенадцать доказательств того, что Бога не существует».

Фор был превосходный оратор, его лекции неизменно собирали огромную толпу, и возражать ему приходили ученые, красноречивые священники. В Лозанне же все было гораздо скромнее, публика состояла из простых людей, они спорить не умели, хотя, быть может, религиозными вопросами интересовались; часть их аплодировала священникам, часть безбожникам. В этот день, 7 сентября 1903 года, никто из оппонентов не пришел, и слушатели после лекции уже вставали с мест, когда кто-то из публики сказал:

— Я прошу слова!

И даже не сказал, а прокричал с такой силой и резкостью, что все насторожились; выходившие люди остановились у дверей. На трибуну поднялся бледный человек в лохмотьях, с худым, изможденным лицом, с густой щетиной на щеках, с блестящими черными глазами, с выдаю-

щимся подбородком. Он был похож немного на Паганини, немного на Бонапарта и очень этим гордился. Его голова была бы интересна и Рембрандту, и Лафатеру.

— Меня здесь никто не знает,— громко, отчетливо сказал он, откинув назад голову.— Зовут меня Бенито Муссолини. Я итальянский эмигрант, чернорабочий. Я долго говорить не буду, скажу только несколько слов. Но для этого мне необходимы часы, а у меня часов нет, они мне не по карману. Не даст ли мне кто-либо свои?

Публика смотрела на него с недоумением, его действительно никто не знал. Слушатели не спешили исполнить его желание,— вдруг и не отдаст? Пастор с улыбкой протянул ему свои часы. Он поблагодарил.

— Теперь без пяти минут одиннадцать,— еще громче и отчетливее сказал он.— Я утверждаю, что никакого Бога нет! И приведу только одно доказательство. Даю вашему Богу, уважаемый пастор, пять минут времени. Если он существует, то пусть поразит меня за богохульство...

И, подняв глаза к потолку, обращаясь к Богу, прокричал грубую брань.

Публика молча с изумлением смотрела то на него, то на пастора.

— Как видите, нет Бога! — с торжеством сказал он через минуту. Знал, что пять минут ждать нельзя: пропадет эффект. Положил часы на стол и сошел с трибуны.

Эффект оказался большой. Пастор Талиателли взволнованно вызвал его на большой, серьезный диспут. Он принял вызов. Диспут действительно скоро состоялся. О Муссолини заговорили, публики пришло много, его речь против религии была напечатана каким-то издательством.

С той поры он особенно острой нужды не знал. Начал писать в революционных изданиях, они что-то платили, хотя и очень немного. Писал статьи богохульные и статьи политические об итальянских и русских делах. Когда царь должен был приехать с визитом в Италию, Муссолини напечатал статью о «зловещем палаче с берегов Невы». Много позднее, всего лет за десять до своего прихода к власти, написал восторженную статью об убийстве Столыпина и призывал к цареубийству. Выступал на маленьких собраниях, говорил о «социалистическом фагоцитозе», сходном с «фагоцитозом физиологическим», который открыл русский ученый Метцников (то есть Мечников). Получил от рабочих карточку на бесплатные обеды. Коекакие гроши присылала из Италии мать. Таким образом мог жить, хотя и скудно.

Разумеется, вскоре после его смерти, были, с оглаской на весь мир, напечатаны сенсационные документы, «неопровержимо доказывавшие», что Муссолини был в то время тайным агентом политической полиции. Так было, в силу комического «закона истории», и с другими диктаторами или полудиктаторами после их смерти (о Троцком это еще при его жизни доказывали два очень осведомленных — каждый по-своему — человека); только о Ленине этого не говорили и не писали: уж слишком было бы глупо. На самом деле никогда Муссолини тайным агентом полиции не был. Напротив, очень рано, еще в Швейцарии, попал под надзор двух полиций.

Швейцарские власти скоро его выслали. Он был и польщен, и раздражен. «Выслали как бешеную собаку, чтобы не заразила»,— позднее говорил он. Высылка на родину была для него опасна, хотя и не из-за политики он в свое время не явился к отбыванию воинской повинности, был объявлен дезертиром и заочно приговорен к году тюрьмы. Но, как обычно во всех почти странах, действия полиции не отличались большой осмысленностью. Швейцарские жандармы грозно надели на Муссолини наручники и довезли его до границы, там наручники сняли и строго-настрого приказали ему идти дальше. Он вернулся в Лозанну и «перешел на нелегальное положение». Впрочем, по случаю рождения наследника итальянского престола, дезертирство подпало под амнистию, и Муссолини вернулся на родину.

В Италии он отбыл воинскую повинность, опять был учителем, женился, писал революционные и кровожадные статьи. Написал и какой-то роман. Писал очень быстро, в четверть часа статью или главу романа. Имя теперь у него было, хотя еще и небольшое,— на митингах его иногда по ошибке называли «товарищ Муссолино». Он восхищался Маратом, но восхищался и Наполеоном. Часто повторял наполеоновские слова «Революция это идея, доставшая для себя штыки». Эти слова он позднее выбрал девизом для своей газеты «Пополо д'Италиа». Штыков у него пока не было, идея же была, впрочем, чужая и довольно распространенная. Он был членом социалистической партии.

Партийная аристократия его недолюбливала: «Способный человек, но мегаломан: все о себе!» Муссолини ее совершенно не выносил, как ненавидел и всех демократических правителей: везде, под видом народоправства, правят два десятка людей. Они делят между собой портфели, по-

стоянно сменяют друг друга, ничем друг от друга не отличаются, все друг друга ненавидят, и все между собой на «ты», как каторжники. Хоть были бы очень умны и способны! И этого нет! «Где им до меня!» — Действительно у него не так давно состоялся публичный диспут с самим Вандервельде. Оба умели и говорить и орать, оба знали цену аудитории. Спор был о религиозном вопросе. Вандервельде — почему-то с шуточками — защищал полную свободу всех религий. Муссолини — с поддельным, вероятно, бешенством — в самых ужасных, непечатных выражениях ругал Христа, апостолов и христианское ученье. Голос у него был громче, чем у Вандервельде; еще больше было и напористости.

Он часто переезжал из одного города в другой. Случались с ним разные скандалы; в ту пору он еще пил вино, но пьяницей никогда не был. Питался капустой и редиской. Теперь обычно был бодр и жизнерадостен. Одевался уже лучше, отпустил себе черную бородку. Играл на скрипке, с ней расставался неохотно. Громко и с чувством декламировал на память стихи Кардуччи, особенно «дьявольские». Занимался атлетикой, развивал в себе физическую силу: очень полезна для политического деятеля.

Как-то он задержался в Милане. Возвращаясь под вечер домой, зашел в библиотеку и взял наудачу книгу Макиавелли. О нем много слышал и гордился тем, что этот знаменитый мыслитель был итальянец; правда, говорили о нем не только хорошее: «проповедовал коварство».

Книга потрясла его. В ней все было так ясно, так понятно,— как только ему самому все это не приходило в голову! «Да, да, люди неблагодарны, переменчивы, скрытны, трусливы и жадны. Все ставят себе одну цель: славу и богатство. И не достаточно ли взглянуть на лица Бебеля или Вандервельде, чтобы понять: все они думают только о своей славе, а никак не о счастье человечества. Какой же вывод делал из всего этого гениальный итальянец, живший несколько веков тому назад и так верно понимавший людей?»

«Правитель должен заботиться о том, чтобы никогда у него не вырывалось хоть единое слово, не проникнутое указанными добродетелями. Глядя на него, слушая его, люди должны думать, что он так и дышит добротой, искренностью, гуманностью, честью, особенно же религией — это важнее всего другого. Ибо все видят, кем ты кажешься, и лишь немногие понимают, кто ты такой на са-

мом деле, да и эти немногие не смеют восстать против мнения большинства. К тому же, в действиях людей, особенно правителей,— их к суду не привлечешь,— важен только результат. Вульгарную массу всегда обольщает видимость и дело, а вульгарная масса это и есть мир... Не должен умный правитель исполнять свои обещания, если исполнение ему вредно и если больше не существуют условия, при которых он эти обещания дал. Этот мой совет был бы без сомнения дурен, если б люди были хороши, но так как они дурны и так как сами они, конечно, не исполнили бы своих обещаний, то почему ты был бы обязан держать твое? К тому же, разве правитель не найдет всегда доводов, чтобы разукрасить неисполнение своих обещаний?.. Александр VI только и делал, что обманывал, ни о чем другом он и не думал и всегда имел для этого случай и возможность. Никогда не существовало другого человека, который с большей уверенностью говорил бы одну вещь, подкреплял бы ее большим числом клятв и был бы меньше им верен, чем он. Обман удавался ему всегда, ибо он в совершенстве знал это дело...»

«E ad mondo non e se non vulgo» [1],— повторял он мысленно. Он плохо помнил, что именно делал папа Александр. «Кажется, убивал людей. Это ни к чему. Сам Макиавелли думал, что казней должно быть возможно меньше. Обман совершенно другое дело». Теперь жалел, что в Лозанне произнес богохульную речь. «Разумеется, Бога нет, но лучше говорить, что Бог существует, или молчать об этом. Правда, Карл Маркс поступал иначе, и он тоже был великий человек, хотя и не итальянец. Но он жил в другое время». Ему теперь казалось, что он нашел нечто общее в Марксе и в Макиавелли, не только в их характере,— оба, конечно, не любили людей, но и в их философском отношении к миру. Оба говорили о том, что *есть*, а не о том, чего бы им хотелось. Маркс говорил о борьбе между классами, а Макиавелли о борьбе между людьми. «И может быть, хозяином мира будет тот, кто их сумеет объединить...»

Его волненье все усиливалось. «Да как же люди, за исключением очень немногих, так лживо и лицемерно говорят об этой книге! Коварство? Какое глупое, комическое слово! Это самая настоящая правда жизни! В малом *все* это делают и либо старательно это скрывают, либо сами не замечают, что гораздо хуже! А если это де-

[1] «Обратиться к миру не значит к толпе» *(итал.)*.

лать в *большом*, то успех обеспечен. Теперь обеспечена моя карьера! И неправда, будто этот великий человек был пессимистом. Пессимисты — трусы, это ругательное слово, а он был гений. Ему не везло в жизни? Но это объясняется только тем, что он о своих идеях заботился больше, чем о себе. Да и разве ему не везло? Он своими идеями добился бессмертной славы, а я добьюсь ее своими делами. И это еще лучше: человек всегда важнее, чем его мысли. Теперь, пока, самый верный путь: социализм, революция. А там дальше будет видно».

Утром он рано вышел на прогулку, не сиделось дома. Хотел еще раз все обдумать,— при быстрой ходьбе многое и в мыслях становилось гораздо яснее. Погода была прекрасная, солнце и ветерок,— такая погода, при которой все кажется возможным и даже легким. Было воскресенье, искать работы не приходилось. Решил осмотреть Милан; знал его не слишком хорошо, а в своей стране, ему теперь казалось, надо знать *все*. У него было радостное сознание, что случилось нечто очень важное, меняющее его жизнь.

«Да, это так, как я понял вчера,— думал он.— Я теперь вижу и ошибку Маркса. Он исходил из предположения, будто люди руководятся своими интересами. Отсюда и его классовая борьба. Она, конечно, есть, но очень большого значения не имеет... А еще какой-то француз,— кажется, Декарт? — в основу жизни клал разум. И оба они ошибались: люди руководятся не разумом и не интересами, а страстями и вековыми инстинктами. Надо пойти еще дальше, чем пошел Макиавелли. Да, надо раз навсегда понять, что человек ничего не смыслит, что он не может вести себя согласно требованиям разума, часто не понимает своих собственных интересов, еще чаще им не следует. Он думает сегодня одно, завтра противоположное, и ему тоже можно и нужно говорить сегодня одно, а завтра совершенно другое. Он даже и не заметит. Лишь бы только образованное дурачье ему не напоминало и не разъясняло, и уже по одному этому не следует давать свободу образованному дурачью. Свобода может быть только у больших людей, желающих прожить свою жизнь как следует. А это надо делать умеючи и осторожно, иначе сорвешься в самом начале и отправят в тюрьму или в каторжные работы, как того убийцу в русском романе. Он по глупости убил старушку для каких-то сотен лир. Да и этого он не сумел как следует сделать... Вот этот собор, это тоже сила и даже большая, хотя все-таки не очень большая.

Зачем я тогда нес вздор пастору? Людей одинаково можно уверить и в том, что Бог есть, и в том, что Бога нет. А это надо делать в зависимости от многих обстоятельств»,— думал он, проходя по Piazza del Duomo.

Церкви, музеи, все старое ему мало нравилось, картин существует слишком много, не запомнить даже имен художников, кроме самых знаменитых, да и те ни к чему. Все же он заглянул в Собор, все начинали с него осмотр города. Гид, показывавший его туристам, сообщил, что три окна — самые большие в мире. Это было приятно, но удовольствие уменьшалось от того, что они были работы какого-то французского мастера.

У Брера он увидел конную статую Наполеона I. Лошадь была уж очень пышная, таких не бывает, особенно в походах. А на лицо императора он смотрел с восхищением: тоже великий человек и во всяком случае по крови итальянец. Затем повернул назад, прошел мимо театра Скала,— чуть ли не самый знаменитый оперный театр в мире — итальянский. Ему не очень хотелось побывать на спектакле, но его раздражили цены на афише,— нельзя было бы пойти, хотя бы и хотелось. Вошел в галереи Виктора-Эммануила, и тут его раздражение перешло в бешенство, памятное ему по первым дням Лозанны. Хотелось купить все,— начать бы вот с этого костюма в 169 лир! Тогда с ним и в партийном комитете говорили бы иначе. У богатых людей — «cupidi di guadagno» [1]— есть и фраки, и смокинги, и сюртуки!

Из галерей он направился в неисторические кварталы города. Новым, хозяйским взглядом замечал неустройство, грязь, неподстриженные кусты, потускневшую краску домов, беспорядок в движении трамваев. Вышел на Piazzale Loretto и почувствовал голод и усталость. Справа от Корсо Буэнос-Айрес была кофейня, но, очевидно, дорогая. Столики террасы были накрыты чистенькими скатертями, хорошо одетые люди пили и ели что-то необыкновенно вкусное. На висевшей у входа раскрашенной карте было блюдечко с мороженым разных цветов, с фруктами, с ягодами, с вафлями. Узнал, что это называется «Coppa Ambrosiana» [2].

Теперь знал, что будет у него и Coppa Ambrosiana, и все другое. Но раздражение от этого не проходило. В дешевенькой лавочке он купил хлеба и кусок горгонцолы. Где-то присел на скамейке, позавтракал и осмотрелся

---

[1] «Жадных до прибыли» *(итал.)*.
[2] «Чаша с амброзией» *(итал.)*.

как следует. Посредине площади — и даже не посредине, а как-то неровно — сбоку — была жалкая растительность,— а можно было бы тут устроить прекрасный садик. И дома тоже были несимметричные, грязно-желтых цветов, только бездарные люди могли выстроить такие здания. Один дом, на углу Корсо Буэнос-Айрес, выходил на площадь стеной без окон,— дурачье! Около этого дома было странное строение все из железа с огромным *крюком*. Он долго на него смотрел,— зачем тут крюк? Солнце розовыми лучами освещало на доске афишу с надписью крупными печатными буквами: «Evitate rumori inutili» [1].

V

Люда приехала в Брюссель 30 июня, в самый день открытия съезда. Рейхель дал ей на поездку полтораста рублей. Она всегда очень ценила его щедрость и джентльменство в денежных делах. Знала, что у него у самого осталось мало; сначала говорила, что возьмет только сто, но согласилась: ей писали, что съезд может затянуться.

— Деньги, конечно, даром выброшены, вся твоя поездка совершенная ерунда, но бери полтораста,— говорил Аркадий Васильевич.— А то можешь остаться без гроша, да еще в чужом городе. У всех товарищей, вместе взятых, впредь до социальной революции не найдется и ста рублей, да они тебе все равно и не дали бы.

— Отстань, нет мелких.

Опять был проделан ритуал проводов, и опять оба вздохнули с некоторым облегченьем после отхода поезда. Все же на этот раз Люда на прощанье поцеловала Рейхеля почти с нежностью, чего с ней очень давно не было. Ей вдруг стало его жалко. «Бедный сухарь! Он не виноват, что такой. Но и я не виновата. Ох, тяжело с ним...» Ей все больше казалось, что скоро в ее жизни произойдет перемена.

Поезд пришел в Брюссель в первом часу, а съезд открывался в два. Времени для поисков гостиницы было мало. Люда остановилась в первой у вокзала, приличной и не слишком дорогой. Комната стоила всего три франка в день; внизу была общая гостиная, где можно было бы принимать людей. «Вдруг кто-нибудь зайдет». Она привела себя в порядок, надела другое платье, хорошее, но не самое лучшее. Не было времени и для завтрака, выпила

---

[1] «Не шумите» *(итал.)*.

только чашку кофе, съела сандвич. «И так опоздала! Обедать будем верно все вместе с Ильичом, с Мартовым, быть может, и с Плехановым. Наконец-то увижу и Плеханова!» — радостно подумала Люда. В Женеве она его не встречала: хотела было зайти познакомиться или, вернее, представиться, но ей сказали, что он, должно быть, ее не примет, к нему попасть не так легко, жена оберегает его покой.

Она не знала города, пришлось нанять извозчика,— «только на первый раз, потом буду пользоваться трамваем». Номер дома дала не тот, что значился в ее бумажке, а к нему близкий: «Неловко приезжать как барыня». Подошла к указанному номеру пешком и остановилась в недоумении: «Какой-то амбар! Не ошибка ли? Не может быть, чтоб съезд был в амбаре?» Слышала, что на социалистических конгрессах обычно вывешиваются у дверей красные флаги. Никаких флагов не было, но у открытых ворот висел лист бумаги с надписью чернилами по-русски. Наверху было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а в средине крупными неровными буквами «Съезд Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Прочла это с радостным волнением. Ворота были отворены, прохожие удивленно заглядывали в амбар, Люда тоже заглянула, увидела стол и стулья и нерешительно вошла. Недалеко от входа стоял знакомый: Кольцов. Лицо у него было торжественное. Он ласково с ней поздоровался.

— Добро пожаловать. Садитесь, где хотите. А то можете еще погулять. Съезд откроется с маленьким опозданием,— сказал он и тотчс обратился к кому-то другому. Ее окликнул знакомый голос.

— Людмила Ивановна! Как поживаете?

Она ахнула: Джамбул.

— Как я рада! Где вы сидите? Можно подсесть к вам?

— Разумеется, можно и должно. Но лучше выйдем пока в кулуары. Здесь очень душно.

— А где кулуары?

— Кулуары — это улица,— невозмутимо ответил он.

— Да, странное помещение! Ах, как я рада, что встретила вас! Конечно, выйдем.

На улице они весело поболтали.

— Получили совещательный голос, Джамбул?

— Нет никакого, даже самого тоненького, голоска.

Я «гость». То есть, Ильич мне сказал, что я могу приехать, я и приехал. Если выгонят, то я зарыдаю и уеду.

Люда расхохоталась.

— Представьте, я в таком же положении! Ильич давно обещал мне устроить совещательный, но, верно, забыл. А разве могут выгнать?

— Чего на свете не бывает. Едва ли. А то мы потребуем с вашего Ильича возмещения убытков... Вот он, Ильич. Я его уже видел.

Из амбара в «кулуары» выбежал Ленин. Люда радостно ему улыбнулась. Он приветливо с ней поздоровался, но по рассеянности назвал ее Людмилой Степановной. Это чуть ее резнуло, особенно потому, что слышал Джамбул. Ленин пробежал дальше, кого-то отвел в сторону и заговорил с ним.

— Кажется, съезд начнется с опозданием?

— Да, уже три четверти третьего,— сказал Джамбул.— Когда начнется, это неважно, а вот когда кончится сегодняшнее заседание? Я тороплюсь.

— Это досадно. Я думала, пообедаем вместе.

— Я взял комнату с пансионом. Там обедают в шесть. Но главное, до того надо осмотреть Sainte Gudule.

— Какую еще Sainte Gudule? Это церковь?

— Знаменитая. Впрочем, лучше пойду в воскресенье утром. На меня всегда сильно действует богослужение.

— Это неожиданно.

— У них орган, говорят, один из лучших в мире. Церковь очень историческая. Кажется, одиннадцатого столетия.

— Нельзя по-русски сказать «очень историческая».

— Я не русский. И, к сожалению, в Турции немного отвык от русского языка.

— Разве вы были в Турции?

— Был довольно долго, у отца.

— Ваш отец живет в Турции?

— Давным-давно. У него там усадьба. Я его очень люблю, и он меня любит. При отъезде дал мне много денег и подарил вот эту штуку.— Джамбул вынул массивные золотые часы, надавил пуговку, крышка отскочила. На его лице выразилась наивная, простодушная, почти детская радость. Он поднес часы к уху, послушал и положил их назад в жилетный карман, опять с удовольствием щелкнув крышкой.— Идут не минута в минуту, а секунда в секунду. Отец когда-то купил в Константинополе. Это Брегет... Помните у Пушкина? «Пока недремлющий Брегет — Не прозвонит ему обед».

— Кажется, сейчас начинаем! Люди входят.

— Да, приехал наш именитый председатель.

С извозчичьих дрожек сходил человек в сюртуке. Люда тотчас его узнала: Плеханов! К нему на улицу поспешно вышел Кольцов. Плеханов довольно холодно с ним поздоровался и неторопливо направился к воротам. Люди ему кланялись. Джамбул отвернулся.

— У него интересное лицо! И выправка почти военная. Я сама из военной семьи и замечаю.

— Не люблю его. Теоретиков вообще не люблю. Ленин гораздо лучше, хотя и он тоже теоретик.

Раздался звонок. Они вошли в амбар. Плеханов со скрещенными руками стоял за столом. Рядом с ним сидел стенографист. Около стола Кольцов радостно-торжественно звонил в колокольчик.

Когда все заняли места, Плеханов объявил съезд открытым и сказал краткое приветственное слово,— сказал, как всегда, хорошо. Очень повысив голос, произнес: «Каждый из нас может воскликнуть и, может быть, не раз восклицал словами рыцаря-гуманиста: «Весело жить в такое время!» Эти слова были покрыты рукоплесканиями, впрочем не очень бурными, не «переходившими в овацию». Часть собравшихся в амбаре делегатов вообще не аплодировала, и вид у нее был довольно угрюмый. Аплодировал Ленин и еще сильнее Люда, иногда на него поглядывавшая.

— А вот я ни разу не восклицал словами рыцаря-гуманиста и даже отроду не слышал о них,— сказал шепотом Люде Джамбул.— А вы слышали?

— Во всяком случае я всегда думала именно это!

— А отчего собственно нам должно быть так весело? Как будто ничего особенно радостного для нас в мире не происходит?

— Будьте спокойны, произойдет.

— Что же именно?

— Вы отлично знаете, что именно: революция. И, пожалуйста, бросьте ваш скептицизм. Если вы скептик, то не надо было сюда приезжать и вообще соваться в революцию. Прекрасно говорил Плеханов, с очень большим подъемом.

— Не люблю, когда говорят с подъемом. По-моему, это актерская игра. Вот Ленин говорит без подъема.

— Не всегда.

— А сейчас с подъемом прочтет доклад о проверке мандатов Гинзбург, он же Кольцов. Этот едва ли устроит революцию, а?

— Зато Ильич устроит!

— Уж если кто, то действительно он. Но вы дружески посоветовали бы ему поторопиться. Я не желаю долго ждать. Как вы думаете, нельзя ли теперь опять уйти в кулуары?.. Что вы смотрите на меня с негодованием, точно я вам сделал постыдное предложение?..

— Я не знала, что вы такой весельчак, Джамбул. Пожалуйста, не мешайте слушать.

— Молчу, молчу. Больше не скажу ни слова до пяти часов. В пять я испарюсь. Кажется, так говорят: «испарюсь»?

Плеханов действительно был избран председателем par acclamation[1]. Но угрюмая часть зала опять восторга не проявила. Люде было обидно, что Ильич избран лишь вице-председателем, притом одним из двух, с каким-то совершенно неизвестным ей делегатом. «Нет, это естественно: Плеханов много старше, он был основателем партии».

После длинного доклада о проверке мандатов Джамбул посмотрел на часы.

— Хотите испариться вместе со мной? — тихо спросил он.

— Нет, не хочу!

— Дальше сегодня будет такая же веселая материя. Шашки джигиты выхватят позднее, и пойдет кровавый бой.

— Почему вы знаете?

— Я уже все знаю, расспрашивал кое-кого еще вчера вечером. И, знаете, кто будет общим bête noire[2]? Вот этот делегат, видите, сидит впереди с краю. Это бундовец, кажется, его зовут Либер или как-то так. По-моему, очень тихенький человечек, совсем его громить не надо. Да еще вон тот, какой-то Акимов, он не бундовец и даже не еврей. Им обоим эти звери Плеханов и Ленин хотят сообща устроить погром, при благосклонном участии своих лютых врагов Мартова и Троцкого... А вы будете выступать?

— Я об этом не думала!.. Разве гости имеют право?

— А вы выступите без права. Ну, Гинзбург вас выведет за волосы, что за беда? Осмотрите по крайней мере Брюссель.

---

[1] Без голосования *(франц.)*.
[2] Объект нападок *(франц.)*.

— Да перестаньте вы шутить, Джамбул... Я вас так называю, потому что не знаю вашего имени-отчества.

— У меня нет имени-отчества или оно такое мудреное, что вы и не повторите. Но если вы меня смеете называть Джамбул, то я вас буду называть Люда.

— Неужели вы действительно уйдете до конца?

— Я на все способен! Вы меня еще не знаете. Я способен даже на это!

— Сегодня, верно, будет общий товарищеский обед.

— Такая буйная оргия действительно возможна. От такого отчаянного сорванца, как Гинзбург, все станется! А где вы завтра завтракаете? Хотите, позавтракаем вместе?

— Пожалуй... Да ведь вы в пансионе?

— Готов для вас пожертвовать пятью франками.

Хотя они говорили тихо, на них с неудовольствием оглядывались соседи. Джамбул приложил палец к губе и скользнул к выходу. «Очень он милый. И остроумный»,— подумала Люда. Она стала внимательно слушать.

VI

Бельгийская полиция чинила всякие затруднения съезду и даже, как писал не очень ясно один из видных социал-демократов, «приняла свои меры». Скоро было решено перенести съезд в Лондон, несмотря на лишние расходы и на потерю времени. Это еще усилило общую нервность и раздражение. Отправились из Бельгии в Англию не все вместе; да и бывшие на одном пароходе избегали разговоров друг с другом или старались не говорить о партийных делах.

В Лондоне, напротив, полиция делегатам не препятствовала, лишь приставила к помещению городового на случай, если бы был нарушен порядок. Впрочем, он на улице не нарушался. Только мальчишки с радостными криками ходили по пятам за особенно живописными «проклятыми иностранцами».

Съезд длился долго и прошел очень бурно. Социал-демократы разделились на две фракции. Одни назвались «большевистами», другие «меньшевистами» (несколько позднее стали говорить о «большевиках» и «меньшевиках»). Но и революционерам в России эти обозначения были вначале не совсем ясны, тем более, что участники съезда, которые, с Лениным во главе, получили большинство голосов по важному вопросу о редакции «Искры», ос-

тались в меньшинстве по столь же важному делу об уставе. Вдобавок, соотношение сил, то есть голосов, скоро после съезда изменилось. Предпочитали говорить о ленинцах и мартовцах. Очень многие всю ответственность за раскол возлагали на Ленина. «На втором съезде российской социал-демократии этот человек со свойственными ему энергией и талантом, сыграл роль партийного дезорганизатора»,— писал вскоре после того Троцкий.

Протоколы Второго съезда были опубликованы в Женеве. Вероятно, они были очень смягчены. Одну речь Ленина авторы сочли возможным воспроизвести лишь с некоторым сокращением. Во всяком случае, того, что обычно называется «атмосферой», протоколы не передают, да это и не входило в задачу авторов. Правда, в скобках иногда отмечались: «всеобщее движение», «протесты» и даже «угрожающие крики». На одном из заседаний сам Ленин попросил секретаря занести в протокол, сколько раз его речь прерывали. Другой делегат просил отметить, что «товарищ Мартов улыбался». На 27-ом заседании съезд покинули бундовцы, на 28-ом — акимовцы. Страсти все раскалялись. «Они» (меньшевики) все еще руководятся больше всего тем, как оскорбительно то-то и то-то на съезде вышло, до чего бешено держал себя Ленин. «Было дело, слов нет»,— говорил в частном письме Ленин тремя месяцами позднее.

Он выступал с речами, заявлениями, оговорками, поправками сто тридцать раз. По некоторым вопросам терпел поражения, и от этого его бешенство еще усиливалось. Но главная цель была достигнута: для устройства революции создалась *его* фракция, которая должна была со временем превратиться в *его* партию.

Никто на Западе на это событие не обратил ни малейшего внимания: оно было газетам совершенно не интересно. Вследствие стечения бесчисленных случайностей событие стало историческим — в гораздо большей степени, чем все то, о чем тогда писали газеты. Могло и не стать. Разумеется, и сам Ленин не предвидел всех неисчислимых последствий своего дела. Как ни странно, был как будто немного смущен партийным расколом. Другие предвидели очень мало; некоторые прямо говорили, что ничего не понимают в причинах раскола, и переживали его как душевную драму: разочаровались в Ленине, скорбели о партии.

Люда не пропустила ни одного заседания. Вначале не все понимала, потом освоилась и волновалась с каждым

днем больше. Страстно аплодировала Ленину, восхищалась его ораторским талантом. Действительно, он был *настоящим* оратором: достигал речами своей цели. Троцкий ей не понравился, хотя она «восклицания» вообще любила. При его столкновении с Либером Джамбул, сидевший рядом с ней, шепнул: «Сцепились нервные евреи».

Джамбул, к ее огорчению, бывал в Брюсселе на заседаниях не часто. Говорил о съезде по-прежнему иронически, да и действительно часто недоумевал:

— Главный бой ожидается об уставе. Ради Бога объясните, если понимаете, в чем я впрочем сомневаюсь: не все ли равно, будет ли там «личное участие» или «личное содействие», зачем они только по-пустому ссорятся? — спрашивал он Люду.

— Неужели вы не видите? Это имеет огромное значение,— отвечала она, хотя и сама не совсем понимала, почему этот вопрос так важен.— Но еще важнее то, чтобы Ильич ужился с Плехановым.

— Пусть их обоих называют «великими государями», как царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Впрочем, те отчасти именно из-за этого рассорились... Обожаю историю, особенно русскую и восточную.

— История интересна только в освещении экономического материализма. Да вы верно ее не знаете, Джамбул.

— Плохо. Но зато больше ничего не знаю, как, впрочем, и вы.

Разговор с Джамбулом, часто по форме грубоватый, развлекал Люду и нравился ей. Без него на съезде было бы скучно, тем более, что ни с кем другим из участников съезда она близко не познакомилась.

Люда условилась с Джамбулом ехать в Англию вместе. На пароходе они сидели рядом на палубе. Немного боялась, что заболеет, но море было совершенно спокойно.

— ...Вот видите, и вы решили пробыть на съезде до конца. Я ни минуты в этом и не сомневалась,— сказала Люда.

— Еду больше для того, чтобы увидеть Англию. Давно хотел.

— Неправда, не только для этого. Что вы вообще делали бы в жизни, если б не занимались революционной деятельностью?

— А правда, что я тогда делал бы? — спросил он простодушно, точно впервые задавая себе этот вопрос.—

Но какая же на вашем съезде революционная деятельность?

— То есть, как «какая»! Самая настоящая.

— Даже не похоже,— сказал он, засмеявшись.— Один Ленин настоящий человек. А все остальные — Деларю.

— Что за Деларю?

— Разве вы не помните? Это запрещенная баллада Алексея Толстого. Ужасно смешно. Вот вчера напали и слева и справа на того бедного бундиста, а он только приятно улыбался на обе стороны. Совсем Деларю:

«Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил.
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа»...

Он читал забавно, с выразительной комической мимикой. Люда смеялась.

— Баллада остроумная, но при чем тут съезд? Сами же вы говорили, что мы на съезде слишком много ругаем друг друга.

— Да дело не в ваших отношениях друг с другом. Но вы и правительство приглашаете на чашку чаю в три часа. И вот, поверьте мне, это скоро кончится. На Кавказе уж наверное скоро не останется ни одного Деларю.— Лицо у него стало вдруг очень серьезным.— Пойдет совсем другая игра. Надеюсь, и у вас в России тоже.

— Какая же?

— Много будете знать, скоро состаритесь. Вот с Лениным я поговорю, если будет случай.

— А мне не скажете? — обиженно спросила она.

— Не скажу. Это не бабьего ума дело.

— Грубиян! Где вас учили? И какой вы социал-демократ, если вы против «баб»!

— Напротив, я в высшей степени за баб. И даже за их равноправие. Но против их участия в революции. У нас на Кавказе революционерок очень мало.

— Кавказ отсталая страна. А если же вы хотите поговорить с Ильичом наедине, то он верно назначит вам свидание только после окончания съезда. Теперь у него более важные дела.

— Сколько же надо будет ждать до окончания этого несчастного съезда? По-моему, они перестанут здороваться уже через неделю, а недели через две — три произойдет раскол.

— Типун вам на язык! Подождем — увидим. Пока можете осматривать Лондон. Найдете и здесь разные Гюдюли,— сказала Люда. Он поморщился.

В Лондоне он стал бывать на заседаниях чаще. Страсти разгорались. Это его веселило. Ему нравилось бешенство Ленина в спорах, то, что у него лицо часто искажалось яростью: он точно готов был своими руками задушить противника. Но окружавшие Ленина, всегда голосовавшие с ним люди показались Джамбулу ничтожными. «Только с ним и можно здесь разговаривать о деле».

Накануне закрытия съезда он пригласил Люду во французский ресторан. Она приняла приглашенье с радостью. «Жаль, что он не серьезный человек, а то я, чего доброго, в него влюбилась бы. Куда же он дел тех своих двух дам?»

Они много выпили и еще повеселели.

— Я «склонен к чувственному наслаждению пьянства»,— как говорит кто-то у Пушкина. Мне случалось выпивать за вечер три, а то и четыре бутылки вина. У нас на Кавказе есть вековой обычай. Когда у князя рождается сын... Почему вы улыбаетесь, Люда?.. Ах, да, эти ваши вечные русские шуточки: «На Кавказе все князья»... «Если у кавказца есть сто баранов, то он князь», да?

— Вы тоже князь, Джамбул?

— Нет, хотя мой отец производит наш род чуть не от Полиоркета.

— Кто такой Полиоркет?

— Древний македонский принц. Один его потомок будто бы переселился на Кавказ и там принял Ислам, очень хорошо сделал. Впрочем, в Македонии всегда было самое смешанное население, не только христианское: были осетины, сербы, болгары, цинцары, греки, евреи, цыгане.

— Не называть ли вас «Джамбул Полиоркетович»?

— Полиоркет был действительно герой. По-гречески его прозвище, кажется, значило: «Покоритель городов».

— Это хорошо: «покоритель городов». Вы тоже покоритель городов. И верно сердец?.. Я все стараюсь понять, что вы за человек, и пришла к выводу, что вы романтик революции!

— Я очень простой человек,— сказал Джамбул, довольный.— Вы и представить себе не можете, какой я простой! Первобытный... Вы английский язык знаете?

— Нет.

— Я тоже не знаю. Но знаю, как и вы, слово «хобби». У серьезных людей есть главное дело, и есть «хобби», то есть дело второстепенное, развлечение. А вот я не серьезный человек. В моей жизни: политика и женщины, но что из них у меня «хобби», а что главное, ей-Богу, сам не знаю.

— Примем к сведению. Кстати, фиолетовый шрам у вас на лбу — это от главного или от хобби?

— Это не ваше дело,— ответил он, улыбаясь. Был вообще учтив, с дамами особенно, и употреблял грубоватые выражения как бы в кавычках: произносил их так ласково, что рассердиться было невозможно.

— Я заметила, что этот шрам у вас бледнеет и обесцвечивается, когда вы волнуетесь.

— Вы необыкновенно наблюдательны. Только я никогда не волнуюсь.

— Вот как?.. Ну, хорошо, вы над всем насмехаетесь. Какие же ваши собственные идеи? Едва ли вы испытали сильное влияние Маркса?

— Действительно, едва ли, хотя бы уж потому, что я почти ничего его не читал.

— Так кто же оказал влияние на ваше мышленье?

— На мое «мышленье»? — переспросил он с комически-испуганной интонацией.— Я и не знал, что занимаюсь «мышленьем». Кто оказал влияние? Дайте подумать... Руставели, «Тысяча и одна ночь», летописи царя Вахтанга Шестого, Майн-Рид, Купер, Лермонтов, балет, передвижники, гедонисты... Да, я гедонист.

— Какой еще гедонист! И что за каша!.. Но вы не кончили. Какой же на Кавказе вековой обычай?

— Когда у кавказца рождается сын, то отец закапывает в землю бочку лучшего вина. Ее выкапывают к совершеннолетию сына. Ах, какое вино! Какой аромат!.. Вот мы с вами здесь пьем бордо...

— И какое!

— Но где ему до кахетинского!

— На Кавказе ведь все «самое лучшее в мире», правда?

— Не говорю все, но очень многое. Начиная с природы. Мне на прославленные швейцарские виды просто

смешно смотреть, так им далеко до наших. И люди у нас по общему правилу хорошие.

— Это правда. Я очень люблю кавказцев. Ильич тоже их любит.

— Будто? По-моему, никого не любит ваш Ильич.

— «Мой» Ильич? Значит, он не ваш?

— Я отдаю ему должное. Конечно, выдающийся человек и со временем станет совершенным типом революционера.

— Со временем?

— Возьмите, Робеспьер, Дантон, Марат были революционерами три-четыре года, а до того были черт знает кто. Ленин же будет им всю жизнь. По-моему, он уже теперь второй революционер в мире.

— Вот как! А кто первый?

— Первый: Драгутин.

— Какой «Драгутин»? Отроду о нем не слышала.

— Обычно он остается в тени, но о нем еще много будут говорить в мире. Больше, чем об Ильиче.

— Да кто он? Что он сделал?

— Между прочим, организовал недавно в Белграде убийство короля Александра. К несчастью, они заодно убили Драгу. Этого я им простить не могу. Женщин не убивают, хотя бы они были королевами. Но мы говорили не о Драгутине, а о Ленине. Все же он на этом нелепом съезде слишком ушел в мелочи.

— Да он шел от победы к победе!

— Разумеется, он может подарить Мартову халат. Когда турецкий султан в прежние времена брал крепость, он дарил побежденному противнику халат, вероятно, в насмешку. Только к чему эта победа? Что он теперь будет делать? Ленин, а не султан. Издавать журнальчики? Да и на это верно не хватит денег. Ваше правительство будет очень довольно:

«Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно,
Хвать друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах, в страшных болях
На кресло сесть!
Меж тем злодей отнял на антресолях
У Дуни честь...»

— Очень похож Ленин на Деларю!

— Я отдаю ему должное. Конечно, он выдающийся человек. Но он еще не созрел.

Люда расхохоталась.

— Однако, вы нахал порядочный! Ильич не созрел?

— Или, скорее, не созрело все движение в России. Я еще и не знаю, останусь ли социал-демократом.

— Вот тебе раз! Неужто пойдете к эсерам с их народнической жвачкой!

— Не сваришь каши с русскими вообще. Кажется, так говорят: «не сваришь каши»? Что я вам говорил? Ведь у вас произошел полный формальный раскол.

— Во-первых, это неправда, а во-вторых, не «у вас», а «у нас».

— Я нерусский да и социал-демократ, повторяю, сомнительный.

Полного формального раскола не произошло. Но многие из участников съезда уже в самом деле не раскланивались, и общее настроение было подавленное. Плеханов произнес заключительное слово и поздравил всех с результатами работы.

— Он, должно быть, насмехается? — спросил Люду Джамбул.

— И не думает насмехаться! Работа все-таки дала большие результаты. Как-никак, теперь у нас есть и программа, и устав.

— Именно «как-никак». Вы примкнете к большевистам или к меньшевистам?

— Я иду за Ильичом. Но, вопреки вашему карканью, раскола нет и не будет. Сегодня все вместе едем на могилу Карла Маркса. На Хайгетское кладбище.

— Едем,— уныло согласился Джамбул.— Вы его читали?

— Многое.

— Знаю, что он был кладезем мудрости. А иногда думаю, что у нас люди были интереснее.

— Может быть, тот Кота Цинтсадзе, о котором вы рассказывали? — насмешливо спросила Люда.— Нельзя человеку серьезно называться «Котой».

— Ладно, ладно,— ответил Джамбул. Теперь несколько обиделся он, к большому удовольствию Люды.— А что мы будем делать на могиле? Петь «Интернационал»? Или служить панихиду? Тогда пусть Троцкий наденет ермолку и плащ, евреи в синагогах всегда носят плащи.

— Вы бывали и в синагогах?

— Бывал. Я вам говорил, что на меня действует всякое богослужение, особенно если оно древнее. Разумеется, наше мусульманское самое лучшее.

— В этом я ни минуты не сомневалась... Будете делать на могиле Маркса то же, что другие.

— Буду смотреть на Троцкого и повторять его благородные жесты. Я уверен, что и он, и Плеханов в Париже ходили в театр смотреть Мунэ-Сюлли. Только у того жесты выходят лучше.

VII

Иоганнес Росмер, владелец Росмерсгольма, был несчастен в своей семейной жизни и не очень счастлив в жизни общественной. По рождению он принадлежал к баловням судьбы, но он потерял веру в общественные устои. Как говорил консервативный ректор Кролль, «Росмерсгольм с незапамятных времен был своего рода священным очагом, поддерживавшим порядок, закон, уважение ко всему, что установлено и признано лучшими членами общества». Росмер порвал с традицией предков, это и было одной из главных причин его несчастной жизни.

«Росмерсгольм», с его символом белых коней, был любимым произведением Морозова, но кое-что он читал не без досады. Многое в жизни Росмера совпадало с его собственной жизнью, однако, не все. «Верил ли я в традиции моих предков? Когда же я с ними порвал? Каковы мои «белые кони»? Даже внешняя обстановка не очень похожа». Драма Ибсена разыгрывалась в родовой усадьбе Иоганнеса, в гостиной, обставленной в старом норвежском стиле, с портретами предков на стенах. Пять поколений предков, создателей огромного богатства Морозовых, были и у Саввы Тимофеевича, но он их портретов у себя на стены не вешал.

Дом на Спиридоновке был построен талантливым архитектором на месте родового дома Аксаковых. Обстановка была не только более роскошной, но и более «стильной», чем могла быть у прежних владельцев усадьбы или у Росмеров: Морозов купил ее у какого-то лорда и перевез из Англии в Москву. Люди, этого не знавшие, насмехались над ее «аляповатостью». «Конечно, не насмехались бы, если б я был князь или граф». Громадное большинство людей, и парвеню, и аристократы ничего в искусстве не понимают. «Да, дураки верно говорят «купчик». Сам Чехов насмехался над моим «безвкусием», над фрачными ла-

кеями. Добрые люди так мне рассказывали. Может, и врали. Точно дело во фраках! Все мы живем угнетением других людей, и Чехов тоже, и сам это отлично понимает, он умнее и Немировича, и Максима. Да и он о моем безвкусии не говорил бы, если б я был князь. Впрочем, и в самом деле, незачем было покупать мебель английского аристократа»,— думал Савва Тимофеевич, с досадой оглядывая свой кабинет. «Это, тот говорил, подлинный Ризнер». А что он сам смыслил в Ризнерах? Верно и он в этой мебели чувствовал себя почти таким же чужим, как я? А я сюда точно попал по ошибке. «Спальная, сказал, «Victorian».[1] Слово значит немного: за царствование Виктории должно было смениться несколько стилей». Об архитектуре и мебели он немало прочел или просмотрел, когда строил свой дом. «Скоро девять часов, пора на завод. А то поехать раньше к грабителю?» — подумал он, разумея знаменитого врача.

В плохие минуты он находил, что все в мире продается, что, со своим огромным богатством, он может купить что и кого угодно — вопрос только в цене. При нем действительно наживались и перед ним лебезили очень многие. В другое же время Морозов признавал, что даже этих многих нельзя называть продажными в точном смысле слова: «*Настоящей* продажности в России, особенно в интеллигенции, мало: есть общественное мнение, есть моральная граница, через которую переходить почти невозможно и даже невыгодно... Просто не первого сорта людишки». По своей работе он постоянно встречал и людей первого сорта. Эти перед ним не лебезили и на нем не наживались; разве только, когда отдавали ему свой труд, то получали несколько больше, чем их труд стоил. Впрочем, при всей своей щедрости, он бывал требователен и слишком уж переплачивать не любил. Если у него просили чересчур много, в нем пробуждались наследственные инстинкты дельца; его быстрые, бегающие и при этом многое замечающие глаза останавливались, он становился очень нелюбезен, даже иногда грубоват.

Как Ленин, Морозов вообще очень плохо верил людям, но, в полное отличие от Ленина, всего меньше верил в себя и себе. Всю жизнь будто бы стремился к освобождению России, но иногда думал, что в сущности освобождение России ему не так нужно: сам он был почти во всем совершенно свободен. Всю жизнь он говорил, что

[1] «В викторианском стиле» *(англ.)*.

страстно любит искусство, но про себя сомневался — если не в своей любви к искусству, то в своем его понимании; природный ум заменял ему культуру. Сомневался и в том, что искусство хорошо понимают другие, в их числе и многие присяжные знатоки. «Ибсен хотел сказать...» А почем ты знаешь, что он хотел сказать? Может, и вообще ничего не хотел, а просто писал, как все писатели и писателишки, как Максим, который длинно и скучно мне говорил о глубоком смысле своего «Фомы Гордеева», между тем это чепуха с выдуманными и плохо выдуманными, неправдоподобными купцами...» Савве Тимофеевичу все больше казалось, что в нем сидит какой-то другой человек, за него говорящий и во многом ему совершенно чужой. «Все не так, все не так!» — неясно думал он в последние годы, знал только, что нервы у него совершенно издергались, что он, как будто без причины, боится воображаемых, даже неправдоподобных, несчастий, что в сущности он ничего особенно не хочет, что жить ему все тяжелее с каждым днем. «Жизнь не удалась... Впрочем, кому же она по-настоящему удалась, когда есть умиранье, смерть?» Да еще он знал, что душой всегда, хоть не так уж напряженно, искал добра и смысла жизни; но добра нашел немного, а смысла жизни не нашел никакого.

К тому, что он обозначал словами «не так», он относил и Художественный общедоступный театр. Теперь этот театр существовал почти исключительно на его средства, он выстроил и новое здание в Камергерском переулке. Деньги дал по своей собственной инициативе, сам их первый предложил; давно стал в театре своим человеком, давал советы о пьесах, о подробностях постановки, о распределении ролей; все выслушивалось внимательно и с интересом; режиссеры и артисты успели оценить его чутье. Но про себя он иногда думал, что, например, Станиславский, состоятельный человек, мог бы и не получать жалованья, мог бы даже сам давать на дело свои деньги. Никогда этого не говорил, но думал, что артисты в большинстве гораздо менее образованные люди, чем он сам (он много читал и знал наизусть «Евгения Онегина»). «Пьесам Немировича грош цена, да и пьесы самого Максима немногим лучше».

Савва Тимофеевич в последний год болел, хотя как будто и не опасно. Был еще далеко не в том возрасте, когда чуть ли не главные мысли человека сосредоточиваются на починке разрушающегося понемногу тела. Врачей вообще не любил. Почти машинально называл их грабителями.

Отлично знал, что они бедных часто лечат бесплатно и что было бы очень странно, если б они брали мало денег с богачей. Свое нездоровье он приписывал в значительной степени расстройству нервов: неврастения усиливала болезнь, болезнь усиливала неврастению. Теперь ему нужно было повидать трех докторов по разным специальностям, и ни один из них к нему на дом приехать не мог; у всех в кабинетах были сложные приспособления, особенно у терапевта, который умел по новому способу просвечивать людей при помощи не так давно открытых Рентгеном лучей. «Видит тело насквозь. Хорошо, что хоть души не просвечивает».

Раз в неделю он ездил в Орехово-Зуевскую мануфактуру (в Москве ее называли несколько иначе, похоже и совершенно непристойно, но это относилось преимущественно к заводам «Морозовых-«Викулычей»). Проводил там два дня, а то и три. В этот день ему уезжать не хотелось, был в особенно плохом настроении духа. «Хоть бы дождь пошел...» Савва Тимофеевич чувствовал себя бодрее в дурную погоду. В поезде он просмотрел газету,— скука. Подумал, что все редакторы газет, верно, либо циники, либо очень незлобивые, благодушные люди: слишком много ерунды и пошлости каждый из них принимает и печатает, зная, что это ерунда и пошлость.

Постройки на его заводах, в отличие от других в городке, были новые, каменные, очень хорошие. Таковы были и дома, выстроенные им для рабочих с лекционными залами, с театром,— другие фабриканты только пожимали плечами, а иногда в разговорах о нем многозначительно постукивали пальцем по лбу. На улицах все ему кланялись. Это было и приятно и нет: «Все-таки кланяются больше моему богатству, чем мне. Если б у меня не было капиталов, кто бы я был? И люди перестали бы ко мне шляться, что было бы впрочем очень хорошо».

В сортировочной он взглянул на новую партию хлопка, она была не «fine», а только «good» [1]. «Что ж, для Азии и это необходимо». Ему очень хотелось чтобы русская хлопчатобумажная промышленность вышла с четвертого места на первое; азиатский рынок имел огромное значение. Затем он побывал в других колоссальных зданиях. Общее благоустройство заводов, порядок, чистота, доставляли ему удовлетворение. Рабочие кланялись почтительно-ласково; одни служащие спрашивали: «Как пожи-

[1] «Высшего качества», «хорошего» (*англ.*).

ваете, Савва Тимофеевич?», другие: «Как изволите поживать?»

В одной из мастерских он остановился у машин, которые главный инженер предлагал заменить новейшими, хотя и эти были выписаны из Англии не очень давно. Он знал свое дело для владельца хорошо. Говорил, что «знает у себя каждый винт». Это было очень преувеличено; инженеры порою чуть улыбались, когда он спорил с ними о технических делах. Но названия машин и их назначение действительно были ему известны. Спросил о машинах и старших рабочих. Их мнение очень ценил. С ними он говорил ласково, почти как с равными, и на их языке. Думал, что владеет им в совершенстве, как либеральные, да и не только либеральные, помещики думали, что в совершенстве владеют крестьянским языком. Рабочие любили и ценили его простоту в обращении, заботу об их интересах, то, что он к свадьбам дарит деньги, принимает на свой счет похороны, помогает вдовам; знали, что он женат на красавице «присусальщице», еще не так давно стоявшей за фабричным станком. Он первый ввел одиннадцатичасовой рабочий день; ввел бы, пожалуй, и десятичасовой, но знал, что тогда Никольская мануфактура едва ли выдержит конкуренцию с такими же огромными предприятиями, в частности с теми, что принадлежали Викулычам и Абрамычам.

В Москве издавна ходили шутливые преувеличенные рассказы о распрях между разными ветвями морозовской династии, впрочем довольно обычных в больших семьях. К другим династиям, даже наиболее старым, тоже имевшим по несколько поколений богатства, к Бахрушиным, Рябушинским, Щукиным, Третьяковым, Найденовым Морозовы относились чуть свысока, хотя и роднились с ними; к новым же, вроде Второвых, относились и просто иронически.

После недолгого совещания с управляющим расчет инженера был признан правильным, и новые машины заказаны, хотя это означало большой расход: на машины Морозов денег не жалел; русская техника должна была сравняться с западной.

Затем он позавтракал в одной из столовых с главными служащими. Обед был не такой, как у него дома,— вместо его любимого рейнского вина пили калинкинское пиво,— но и не такой, как в других столовых фирмы. Везде все было чисто, свежо, сытно, однако администрация не могла не считаться с рангом обедавших. Так и он сам,

при всем желании, не мог держать себя одинаково со всеми. В столовой тон разговора был демократический. Тем не менее все тотчас замолкали, когда владелец раскрывал рот. Он все время чувствовал неловкость,— точно *играет*, почти так же похоже, как Станиславский играл доктора Штокмана или Москвин царя Федора Иоанновича. Этих *своих* артистов он прежде особенно любил, нередко угощал их ужинами, радовался их обществу, восхищался ими и думал, что уж очень, просто до удивления, они непохожи в частной жизни, один на царя, другой на норвежца. «Тем больше, конечно, их заслуга».

В столовой поговорили о политике, поругали правительство, коснулись и промышленных дел Один из видных служащих говорил «смело, всю правду в глаза»,— вроде как Яков Долгорукий Петру Великому. Савва Тимофеевич слушал со слабой улыбкой; думал, что и этот служащий играет, только у него свое амплуа.

Погода стала хуже. Морозов почувствовал прилив энергии и решил тотчас вернуться в Москву: на заводах было еще скучнее, чем дома, да в сущности и нечего было делать. Он понимал, что от его присутствия большой пользы нет, что мастерские работали бы точно так же, если б он их и не обходил. Сказал главному управляющему, что должен побывать у врача, но про себя решил, что сегодня ни к одному из врачей не пойдет: «Только наводят тоску, и все, конечно, запретят и никакой пользы не будет».

Со стены очень просто обставленного кабинета на правнука хмуро смотрел основатель династии, Савва Васильевич. Администрация давно заказала его портрет обладавшему воображением художнику. «Верно обо мне думает нехорошо: в кого ты, голубчик, пошел? От нас отстал, к другим не пристал. Черт тебя знает, что ты за человек!..» Морозову захотелось поскорее уехать. Он вспомнил, что по делу надо побывать у очень высокопоставленного лица. «К нему следовало бы надеть сюртук? Ничего, обойдется». Сунул в ящик письменного стола револьвер: к этому лицу являться с револьвером в кармане было неудобно.

Во дворце все было ему неприятно: пышность, мундиры, охрана; но все это производило и на него некоторое впечатление. Хотя он имел репутацию революционера, высшие власти (до 1905 года) были с ним любезны; не хотели ввязываться в истории с владельцем заводов, на которых были заняты десятки тысяч рабочих. По выраже-

нию лица у чиновника, взявшего его карточку, можно было увидеть: сила приехала к силе. Высокопоставленное лицо приняло его тотчас, не в очередь. С ним, как впрочем и со многими высокопоставленными людьми, Морозов говорил опять по-другому: старым, деланно-купеческим языком, с обилием «слово-ериков»,— ни один богатый купец в Москве давно так не говорил. В Риме старая знать, разные Гаэтани, Колонна, Орсини, да и сам король говорили между собой всегда на народном римском диалекте, но у них это выходило естественно; у Саввы Тимофеевича якобы купеческая речь звучала странно, и он сам не знал, означает ли его «слово-ерик» повышенное или пониженное уважение к собеседнику.

Высокопоставленное лицо тотчас исполнило его желание и лишь про себя подумало, что левому социальному реформатору не полагалось бы иметь дворец и ездить на кровных рысаках. Впрочем, Савва Тимофеевич и сам часто думал о себе то же самое. «Умный все-таки монгол!» — сказало адъютанту высокое лицо. Морозов был и по крови чисто русский, но вид у него в самом деле был скорее монгольский. Сердцеведы недоброжелательно говорили, что он в делах готов раздавить человека, называли его глаза «хищническими» и «безжалостными», приписывали ему разные изречения, подходившие Сесилю Родсу или коммодору Вандербильту. В действительности, он никого не «давил», был в делах честен и никак не безжалостен. Напротив, был скорее добр, хотя и не любил людей, даже тех, кому щедро помогал.

Вернувшись домой, он переоделся: при осмотре машин чуть запачкал концы манжет. «Переоделся не до визита к нему, а после»,— с некоторым удовольствием подумал Савва Тимофеевич. На Спиридоновке его в этот день еще не ждали. Жены и детей не было дома. В гардеробной костюм, белье, обувь не были приготовлены. Камердинер все принес с виноватым видом. «Виноват в том, что «барин» передумал и вернулся раньше, чем сказал».

Ему было совестно и перед прислугой, как перед рабочими и служащими на заводах. Но он сам себе отвечал, что с такими упреками совести можно спокойно прожить долгую жизнь. Раздражали его и самые слова «гардеробная», «камердинер». Костюм у него был даже не от Мейстера, недорогой, и белье не голландского полотна, а простое: ему было не совсем ясно, почему одевается он дешево, тогда как дом, мебель, лошади стоят огромных денег. Но он не понимал в своей жизни и более важных вещей.

Отпустил камердинера, одевался всегда без чужой помощи. Перекладывая вещи из одних брюк в другие, вспомнил, что револьвер остался на заводе. «Не забыть в следующий приезд». Не имел ни малейших оснований опасаться какого бы то ни было нападения, но револьвер под рукой всегда его успокаивал: что бы в жизни ни случилось, выход есть.

Савва Тимофеевич перешел в кабинет, сел в неудобное стильное кресло перед стильным письменным столом и открыл лежавшую на столе книгу Ибсена. Впрочем знал, что долго читать нельзя будет. С пятого часа начинали появляться посетители, приезжавшие к нему на дом не по коммерческим делам.

Обычно люди «хотели посоветоваться об одном общественном деле». Он давно к этой формуле привык; отлично знал, что посетителям, чаще всего очень известным людям, нужны никак не его советы, а его деньги. Отказывал редко, хотя и уменьшал суммы по сравнению с теми, которые назывались искавшими его совета людьми: понимал, что если всем будет давать, сколько просят, то от его огромного богатства с годами ничего не останется. Для себя эти люди почти никогда денег не просили и о себе даже не упоминали. Тем не менее, это часто выходило и «для себя»; говорили, например, о деньгах на совершенно необходимый обществу журнал, но не говорили, что будут получать в журнале жалованье или гонорар. Этим он обычно давал не слишком крупные суммы и пояснял иронически, что если они у других соберут «много больше-с», то и он от себя добавит сколько надо. Знал, что у других много больше никак не соберут.

Одним из посетителей был в этот день инженер Красин, с которым его познакомил Максим Горький, горячо его рекомендовавший. Этот инженер с первого же знакомства очень понравился Савве Тимофеевичу. Он и говорил прекрасно. Морозов вообще находил, что самые лучшие ораторы в России не адвокаты,— их он называл «краснобаями», а умные и образованные деловые люди, да еще офицеры генерального штаба. Красин просил денег в пользу левой группы социал-демократической партии. Он изложил ее взгляды, немного применяясь к психологии богатого промышленника, который, слава Богу, дает деньги на революцию. При первой встрече Красин в него всматривался с немалым интересом. Был искренний революционер, но так же искренне любил деньги. Хотел бы быть главой революционного правительства, но недурно было

бы также стать королем промышленности. Он изучал богачей и для борьбы с ними,— как молодой Веллингтон ездил во Францию учиться у французов военному делу.

Морозов слушал его внимательно, с легкой улыбкой.

— Так-с. Это я все знаю-с, сказал он. Уже слышал о партийном расколе.— Это взгляды Ленина-с. Вполне с оными согласен. Зоркий человек-с. Извольте, дам, но много не дам-с.

— Сколько можете, хотя на вас мы очень надеемся,— ответил Красин, тоже несколько озадаченный сочетанием «слово-ерика» с осведомленностью в партийных делах, почти никому еще в Москве неизвестных.

— Дело обстоит так-с: дохода у меня в год шестьдесят тысяч целковых. Треть уходит на мелочи-с, на благотворительные дела-с. Треть трачу на себя, а двадцать тысяч готов ежегодно давать вам. Больше не могу-с.

Красин смотрел на него изумленно. Он не ожидал такой большой суммы, но не ожидал и того, что Морозов серьезно, глядя ему в глаза, будет говорить о шестидесяти тысячах своего дохода (причем из них сразу предложит третью часть). Москвичи говорили, быть может, преувеличивая, что одна Никольская мануфактура приносит в год несколько миллионов чистой прибыли. Впрочем, Савва Тимофеевич и не надеялся, что Красин ему поверит. Назвал эту цифру, сам не зная, почему.

Еще меньше он знал, зачем вообще дает деньги крайним революционерам. Назвал Ленина «зорким человеком», но никак не мог сочувствовать революционеру, которому, по слухам, не сочувствовало громадное большинство социалистов. Его собственное настроение было неопределенно левое и романтическое, как в «Росмерсгольме». Но, в отличие от Иоганнеса Росмера, он не слишком верил в близость счастья на земле.

Гость поблагодарил и с улыбкой немного поторговался. Сошлись на двух тысячах в месяц. Любезно поговорили и о другом. Разговор, не совсем случайно, коснулся электрического освещения. В Москве рассказывали, что это освещение составляет у Морозова пункт легкого умопомешательства. Он ведал им и в Художественном театре и в доме на Спиридоновке и в своих имениях: сам лазил по лесенкам, работал над проводами, переодевшись в рабочее платье (что ему шло, как Горькому косоворотка). Красин знал толк и в электричестве, говорил об его великом будущем так же увлекательно, как до того об идеях Ленина, вставлял разные «дифференциальные лампы Си-

менса», «вольты», «уатты» и даже «фарады». О вольтах и уаттах Савва Тимофеевич знал, но что такое фарады, совершенно не понимал. Несмотря на полученное им образование, ученые слова на него производили впечатление, как и на Максима Горького. Гость его очаровал. С тех пор Красин к нему ездил нередко и, перед тем, как просить денег для партии, говорил об электрическом освещении и о новейших заграничных усовершенствованиях. Деньги получал неизменно.

Последним просителем был Дмитрий Ласточкин, в последнее время очень выдвинувшийся в деловом мире Москвы.

К нему Савва Тимофеевич относился тоже очень благожелательно и высоко его ставил: был на двух его докладах, прочел его брошюру о хозяйственном росте России. Понравилось ему и то, что Ласточкин не воспользовался принятой формулой и прямо с самого начала сказал: приехал просить денег.

— Это так-с, за иным, ко мне, купчине, и не приезжают-с,— сказал, улыбаясь, Савва Тимофеевич. Ответная улыбка Ласточкина показала, что он оценил слово «купчина» и не считает нужным и возражать на такую шутку. Он изложил план создания биологического института в Москве. Морозов слушал внимательно и с интересом.

— Да ведь, кажется, что-то похожее у нас уже существует,— сказал он.

— Не совсем похожее,— ответил Дмитрий Анатольевич и с несколько меньшей ясностью изложил, в чем заключалось новое в его проекте. Рейхель писал ему из Парижа письма, однако подробной объяснительной записки не представил, хотя Ласточкин сам ставил ему сделанный Морозовым вопрос.

— Так-с. В какую сумму обошлось бы дело-с?

— Я знаю, что одному человеку, даже такому, как вы, Савва Тимофеевич, поднять это дело было бы трудно, но мы рассчитываем на ваш почин, зная...

«Зная вашу отзывчивость»,— закончил про себя Морозов и перебил его:

— Смету привезли-с?

— Я ее представлю вам очень скоро,— ответил Ласточкин, с досадой подумав, что, вследствие халатности своего двоюродного брата, начал разговор не деловым образом.— Мы хотели сначала выяснить ваше общее, принципиальное отношение к вопросу.

— Кто это: мы-с?

— Этим делом очень интересуется *также* Мечников,— сказал нерешительно Дмитрий Анатольевич.— Знаете, Илья Ильич Мечников, наш знаменитый биолог, создатель теории фагоцитоза.— Морозов, к его облегчению, не попросил пояснений к слову «также», и одобрительно кивнул головой.

— Знаю-с. Что-то и о фагоцитозе читал... Кажется, обещает нам продлить жизнь? Может, и врет-с, да и незачем человеку очень долго жить,— пошутил он.— Что ж, идея института интересная. Но без записки и сметы, вы сами понимаете, и говорить невозможно. Дело не в сумме, поднять я и один мог бы-с. Клинический городок Морозовы подняли. А знать все надо в совершенной точности-с.— Ласточкину он не сказал о шестидесяти тысячах своего дохода: в разговоре с московским деловым человеком это было бы слишком глупо.— Представьте записку, прочту-с. И, разумеется, передам ученым людям на рассмотрение. Скорого ответа не ждите-с: эксперты спешить не любят.

Он подумал, что этот проситель, инженер по образованию, не может быть лично заинтересован в создании биологического института. Бывали все-таки и просители совершенно бескорыстные. Стал еще любезнее и, прекратив деловой разговор,— лишних слов не любил,— спросил о музыкальных вечерах, иногда устраивавшихся в доме Ласточкиных:

— Слышно, интересные вечера-с.

— Мы с женой оба очень любим музыку. Не приедете ли как-нибудь и вы, Савва Тимофеевич? — предложил Дмитрий Анатольевич. Посещение Морозова считалось в Москве большой честью и поэтому Ласточкин пригласил его сдержанно: «Еще подумал бы, что зазываю».

— При случае охотно-с. Люблю и я, хотя и не большой знаток.

Ласточкин вспомнил о просьбе Люды, но решил ее пока не передавать: «Не сразу же лезть с двумя просьбами». Вдобавок, ему теперь показалось особенно глупым просить богача о деньгах на социальную революцию. Он взглянул на часы и простился. Был доволен первыми результатами своего ходатайства, не очень ему приятного. «Больше ничего Аркаша для начала и ожидать не мог бы, тем более, что записки не составил, сметы не прислал, а с Мечниковым верно еще и не поговорил!»

«Твое понимание мира облагораживает, Росмер. Но... но... Оно убивает счастье»,— говорила Ребекка Вест. «Счастья у него было действительно немного. Как у меня»,— думал Савва Тимофеевич. Ни его жена, ни его любовницы нисколько на Ребекку не походили, и никакой затравленной Беаты в его жизни не было. «Да и сам я все-таки какой же Росмер! Все-таки пьеса замечательная. По дрянному переводу и судить нельзя. Так и Гёте, и Шекспиром лживо восхищаются люди, не читавшие их в подлиннике. Если б я был немцем и прочел «Евгения Онегина» по-немецки, то сказал бы, «очень средняя поэма». А о Лермонтове тем более сказал бы. Какие это биографы врали, будто Лермонтов «искал смерти». И о других поэтах говорят то же самое. Коли б в самом деле искали, то очень скоро нашли бы, дело нехитрое». В последний год он читал главным образом те литературные произведения, в которых были самоубийства. И ему по-прежнему было не вполне ясно, почему Росмер покончил с собой. «Может, просто по литературным соображениям автора-с,— подумал он, по инерции пользуясь «слово-ериком» и в мыслях.— Вот и Лев Николаевич по литературным соображениям в «Записках маркера» придумал самоубийство для Нехлюдова, а через много лет, когда понадобилось, его воскресил...» Толстого Савва Тимофеевич и мысленно называл по имени-отчеству. Горького в последнее время в разговорах со знакомыми сухо называл «Максимом», или «Алексеем», а то даже и «господином Горьким».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В западной Европе в 1903-4 годах почти все еще было тихо и спокойно. Такие времена называются в истории «периодами процветания». Разумеется, процветало не все европейское население. Но и обездоленным людям в ту пору жилось лучше, чем когда бы то ни было прежде. Отношения же между главными государствами были либо превосходные, либо хорошие, либо — в худшем случае — корректные. Монархи обменивались визитами и во дворцах или на яхтах произносили дружеские, радостные, бодрые тосты. Министры очень вежливо отзывались в парламентских речах о политике других стран и даже в тех случаях, когда бывали ею не очень довольны, давали это понять лишь намеками и чрезвычайно осторожно: одно невежливое слово неизбежно вызвало бы очень серьезные неприятности.

Больших войн давно не было. Но скорее всего именно поэтому некоторые государственные люди уже начинали скучать. Разумных причин для войны не было, как их впрочем не было в истории почти никогда. Основной причиной возможного столкновения считалось в ученых книгах и в передовых статьях экономическое соперничество между Англией и Германией; в связи с ним газеты говорили, что Англия не может допустить увеличения германской экономической мощи и военного флота. За океаном быстро рос не такой соперник для обеих стран: скоро Соединенные Штаты своей промышленностью, богатством, могуществом далеко превзошли Англию и Германию вместе взятые. Однако о войне Европы с Америкой и позднее никто не говорил, кроме совершенных дураков. Такая война, просто по непривычке, не возникала в сознании политических деятелей, ученых экономистов и даже самых воинственных газетчиков. Вдобавок, американские правители редко встречались и почти не соперничали с европейскими. И главное, они неизмеримо меньше интересовались тем, что по существу и определяло политику правителей

Европы: злосчастной идеей *престижа,* наделавшей столько бед человечеству.

При всем законном желании «заглянуть в корень вещей» трудно найти хоть какую-либо общую идею или сколько-нибудь прочный интерес во внешней политике главных европейских держав того времени. В 1901 году Чемберлен предложил Германии заключить англо-германский военно-политический союз. Это предложение показалось немецкому министерству иностранных дел столь важным и заманчивым, что к Вильгельму, находившемуся тогда в Гомбурге, был специально послан с запросом граф Меттерних. Идея императору понравилась. Он искренне любил свою бабку, королеву Викторию. Ее преемника Эдуарда VII, правда, недолюбливал, но его брата, герцога Коннаутского, любимого сына Виктории и хранителя ее традиций, считал в числе своих ближайших друзей. Император — и не он один среди монархов — признавал европейскую политику отчасти как бы семейным делом. Все же он задал вопрос: «Союз против кого?» Из Лондона пришел немедленно ответ: «Против России, так как она хочет овладеть Индией и Константинополем». Это объяснение, тоже больше по семейным обстоятельствам, понравилось императору меньше. Он велел ответить, что его связывает тесное родство с домом Романовых, личная дружба с царем и вековое братство по оружию с Россией. Таким образом из английского предложения ничего не вышло. Император в обществе своего друга Эйленбурга посетил в Мюнхене инкогнито известную гадалку и спросил ее, может ли он положиться на одного своего русского друга (разумел Николая II). Гадалка ответила, что вполне может. Это успокоило Вильгельма.

Его и много позднее (до выхода его воспоминаний) очень высоко ставили в мире. Незнакомые с ним люди часто писали об его необыкновенном уме, талантах, образовании. Правда, фельдмаршал Вальдерзее говорил, что император почти ничего не читает и вообще почти не работает, а любит только охоту, церемонии и болтовню. Особенную рекламу ему делали его приближенные, страстно подкапывавшиеся друг под друга в борьбе за его милость. «Все они кусаются, дерутся, ненавидят и обманывают один другого. У меня все больше укрепляется чувство, что я живу в доме умалишенных»,— писал один из них.

Какие именно умалишенные изменяли настроение и принципы Вильгельма, мы не знаем. Но ориентация германской внешней политики внезапно изменилась. Теперь

канцлер Бюлов при личном свидании запросил короля Эдуарда, не согласилась ли бы Великобритания заключить с Германией военный союз. При английском дворе раболепства, грызни, гадалок, «дома умалишенных» не было, и политику делали преимущественно министры. Однако, обиделось ли британское правительство за первый отказ или по другой, непонятной простому разуму, причине, на этот раз ответило отказом оно.

Английская политика, «строящаяся на долгие десятилетия вперед», тоже изменилась. Король ответил, что отношения между Англией и Германией превосходны, в мире все совершенно спокойно, и что он в военном союзе никакой надобности не видит.

Несчастьем для Европы было и то, что почти все секретные и несекретные соглашения строились главным образом на взаимном обмане, причем каждое правительство обманывало и своих союзников. В 1907-ом году новый русский министр иностранных дел Извольский посетил Вену. Его осыпали знаками внимания, он был принят Францем-Иосифом, получил большой крест ордена св. Стефана и установил дружеские отношения с Эренталем. Извольский хотел добиться для русского черноморского флота прохода через проливы. После Крымской войны проливы были закрыты для военных судов всех стран. В течение полувека, особенно после Берлинского конгресса, в Петербурге были в общем довольны этим соглашением, защищавшим все русское черноморское побережье от возможного, в случае войны с Англией, нападения британского флота. Один из русских государственных людей говорил в 1897 году: «Нам нужен швейцар в турецкой ливрее, Дарданеллы ни в каком случае не должны быть открыты: Черное море — русское mare clausum» [1]. Затем то, что считалось выгодным преимуществом, было признано непереносимым злом.

Извольский хотел поднять престиж России, уменьшившийся после войны с Японией; о своем еще не создавшемся личном престиже он, разумеется, не говорил. Этот остроумный, раздражительный человек считал себя много выше других министров иностранных дел,— позднее своего французского собрата называл «человеком универсальной некомпетентности», что, конечно, тому вскоре стало известным. В деле о проливах была очень заинтересована Австро-Венгрия, и он готов был дать ей «компенсацию»:

[1] Внутреннее море (*лат.*).

соглашался на то, чтобы она присоединила к себе и формально Боснию и Герцеговину, фактически ею захваченные еще тридцать лет тому назад. Он желал бы, чтобы право прохода через проливы было предоставлено только русскому военному флоту, но в крайнем случае соглашался и на то, чтобы его получили все державы.

Эта мысль чрезвычайно понравилась барону Эренталю. Было устроено секретнейшее совещание. Граф Берхтольд предоставил для него свой великолепный замок в Моравии Бухлау. Никто другой приглашен не был. Совещание состоялось 15 сентября. Решено было не вести стенограммы: все по памяти запишет Извольский и представит Эренталю свою запись. Странным образом русский министр очень долго записи не представлял и, быть может, кое-что забыл. Так, по крайней мере, утверждал Эренталь. Не было записано и то, когда именно будет объявлено о присоединении Боснии-Герцеговины к Австро-Венгрии. Извольский узнал о нем на станции Мо из газет, подъезжая к Парижу, где его ждало письмо Эренталя. Из права прохода русских судов через проливы ничего не вышло. Он пришел в ярость и возненавидел Эренталя, которого с той поры считал и в письмах называл «неджентльменом». Вся дальнейшая его политика определялась ненавистью к Австрии.

Несколько меньше, чем Извольский, но все же были раздражены германское и итальянское правительства. С ними Эренталь не счел нужным предварительно посоветоваться, хотя они были союзниками. Так и несколько позднее при свидании царя с Виктором-Эмануилом в Раконидже, Извольский и Титтони, заключая важное соглашение, тщательно скрыли его от своих союзников. Впрочем, через несколько дней после этого соглашения Титтони заключил другое, с Австро-Венгрией, прямо противоречившее первому и столь же тщательно скрытое от России.

Австрия со времен похода принца Евгения в начале восемнадцатого столетия считалась главным другом сербов, их защитницей от турок. При Обреновичах, несмотря на захват Боснии и Герцеговины, отношения между обеими странами были самые лучшие. Дело было впрочем не столько в последовавшей перемене сербской династии, сколько в том, что сербы из малого и слабого народа стали не столь малым и слабым. Как в разное время и другие государства, они теперь мечтали об объединении всех людей их национальности,— предвидеть Сталинское объединение не могли. И в 1908 году превращение неофици-

ального захвата Австрией Боснии-Герцеговины в официальное присоединение, принесшее Эренталю графский титул, вызвало у сербов необычайное негодование.

Все это, как известно, позднее привело к сараевскому убийству, к мировой войне и к крушению монархии Габсбургов. Эренталь давно умер, с графским титулом и с сознанием своих великих исторических заслуг перед родиной. Через несколько лет и от его дела, если не считать прямо его делом катастрофическую войну и гибель Австро-Венгрии, не осталось ровно ничего. Тем не менее серьезные историки, и австрийские и иностранные, в своих трудах расточают похвалы его уму, талантам и даже гениальности. Он в известный исторический период стяжал себе весьма краткое «бессмертие» верной, по духу чисто спортивной, службой австрийскому престижу. В нем видели нового Меттерниха, это очень ему нравилось, и он не сердился на самые враждебные статьи, если только в них его сравнивали с Меттернихом. В общем, его настроение было приблизительно такое же, как у громадного большинства правителей Европы: войны, разумеется, не надо, но не будет большой беды, если война возникнет: ведь войны были всегда. Неизмеримо хуже было бы «Derogierung an Prestige» [1].

Жизнь при дворах везде была, хотя и не очень спокойная, но веселая и пышная. Вильгельм II все чаще переходил от одного настроения к другому. Он болел и порою думал, что болен опасно. Ему вырезали полип в горле. Император предполагал, что это не полип, а рак: от рака умерли его отец и мать. Относился к этому предположению мужественно. Иногда (вероятно, думая о смерти) он произносил миролюбивые речи, порою прекрасные, говорил, что войны никому не нужны; в частных беседах утверждал, что больше всего хотел бы сближения и тесной дружбы с Францией. К нему приезжали друзья из второстепенных французских политических деятелей. Один из них, Жюль Рош, обожал Гёте и всегда носил с собой экземпляр «Фауста». Это приводило императора в восторг. Были у него и русские и английские друзья, правда, не носившие «Фауста» в кармане, и их он тоже уверял, что только и желает общего мира. Уверял довольно искренне. Но нередко произносил воинственные, даже почти бешеные речи, вызывавшие панику в Европе, впрочем обычно недолгую. Сенсация, производившаяся каждым его

[1] «Падение престижа» *(нем.)*.

выступлением, была большой радостью его жизни. Ему однако было далеко до некоторых позднейших диктаторов: этим было душевно необходимо, чтобы о них — дожил! мог ли прежде и мечтать! — говорил весь мир. Политиковеденье уж совсем прочно стало важным отделом психиатрии, которому следовало дать обозначение: «комплекс Моссаде».

Этого у германского императора быть не могло. Как большинство государственных людей, Вильгельм II просто сам не знал, чего хочет. Он был живым доказательством того, что место красит человека гораздо чаще, чем человек красит место. Несмотря на некоторую его общую даровитость и на немалую способность к эффектам, к позам, к рекламе, никто в мире не обращал бы на него внимания, если б он не был германским императором.

Исключение среди государственных деятелей составлял Франц-Иосиф. Он слышать не хотел ни о какой войне. Однако все знали, что в Вене идет глухая борьба между императором и наследником престола, которого поддерживали важные австрийские сановники и генералы. Исход борьбы не мог быть предугадан; предполагалось, что исходом будет кончина престарелого императора. Многие думали и писали, что с ней вообще кончится империя Габсбургов.

Австро-Венгрия, приблизительно с 1906 года, оказалась главным центром европейской большой политики. В ее военном могуществе люди сомневались, в России ее называли «лоскутной империей», а на западе — «вторым больным человеком Европы» (первым издавна считалась Турция). Но «Балль Платц», «намерения Вены», «политика Эренталя», «воинственные замыслы эрцгерцога Франца-Фердинанда» заполняли телеграммы министров иностранных дел и послов, ежедневно упоминались в статьях главных газет Европы.

Главой военной партии в Австрии признавался наследник престола, эрцгерцог Франц-Фердинанд. Его почти все считали черным реакционером, ненавистником славян и сторонником войны — разумеется, «превентивной» — с Сербией и Россией. С этим, однако, вышла много позднее странная история. На полях доклада об его убийстве Вильгельм II написал собственноручно: «Эрцгерцог был лучшим другом России. Он хотел возродить Лигу Трех Императоров». Когда в Германии произошла революция, записи императора на докладах были напечатаны. Эти слова вызвали у историков недоумение. Вильгельм не имел

основания лгать в таких записях и никак не мог предвидеть, что они со временем будут опубликованы. С эрцгерцогом он был связан тесной дружбой, часто с ним встречался и совещался наедине, должен был лучше, чем кто-либо другой, знать его самые тайные политические замыслы. Возник спор, не разрешенный окончательно и по сей день.

Еще значительно позднее появились в печати разные бумаги Франца-Фердинанда. Они как будто не оставляют сомнения в том, что никакой войны он не хотел, что в этом вопросе был совершенно согласен с Францем-Иосифом, с которым расходился чуть ли не во всем другом. Выяснилось также, что он стоял за дружбу и союз с Россией, видел в них оплот против революции, что он преклонялся перед самодержавными русскими императорами, что славян он очень любил — гораздо больше, чем венгров,— что хотел превратить двуединую монархию в триединую (с третьей, славянской частью), и обеспечить полное равноправие для всех своих будущих подданных. В его бумагах найден был даже проект манифеста, предусмотрительно им составленный на случай внезапной кончины Франца-Иосифа и провозглашавший коренные либеральные реформы в отношении национальных меньшинств. «Он был настоящим другом хорватов и сербов в Боснии»,— пишет, как будто с некоторым недоумением, новейший английский историк, самый ученый из всех занимавшихся той эпохой. Ненавидел эрцгерцог только итальянцев, которым не прощал конца светской власти пап. «Один из самых загадочных людей нашего времени»,— говорят теперь и некоторые другие историки. Слухи о том, будто у эрцгерцога были секретные соглашения с Вильгельмом о войне, оказались совершенной легендой. Особенно много зловещих рассказов ходило об их последнем свидании в Конопиште, великолепном имении Франца-Фердинанда. Говорилось, что на этом свидании была окончательно решена война. Теперь доказано, что и речи о войне там никакой не было: эрцгерцог пригласил к себе императора преимущественно для того, чтобы показать ему свои розы, считавшиеся лучшими в мире. Да еще хотел сделать удовольствие своей морганатической жене: она очень любила Вильгельма. В Вене на обедах у Франца-Иосифа ее сажали ниже самых молодых эрцгерцогинь. В Потсдаме же все германские принцы сидели за общим столом, а отдельный, особенно почетный, стол ставился для нее, для эрцгерцога, императора и императрицы.

Вероятно, в суждениях о намереньях и настроениях Франца-Фердинанда все были правы: он тоже менял их довольно часто. Как бы то ни было, еще за год до войны ее по-настоящему никто, кроме полоумных, не хотел,— и все к ней бессознательно мир подталкивали, совершенно не подозревая о том, на кого в действительности работают. Видели это ясно лишь очень немногие государственные люди Европы (в их числе двое русских: Витте и Дурново). Лишь в последние недели прямо повели дело на войну Вильгельм, граф Берхтольд, Конрад фон-Гетцендорф и некоторые другие.

Так называемые секретные соглашения заключались в Европе часто, и печать видела в тайной дипломатии очень большое зло: она требовала, чтобы все совершалось под контролем общества. На самом деле одна из главных бед тайной дипломатии уж скорее заключалась в том, что она не была тайной: ее секреты очень быстро разглашались; министры не умели держать язык за зубами и даже не хотели этого: им было необходимо, чтобы их меттерниховские победы становились по возможности скорее известными всему миру. Иначе к ним и стремиться не стоило: уйдешь с должности, нечем будет похвастать, в лучшем случае будет слава у потомства, которое никого из них по-настоящему не интересовало; да и то, потомство еще может приписать заслугу преемнику, обычно противнику и сопернику. Старательно и успешно работали также репортеры,— и в Европе того времени не было ни одного секретного соглашения, которое скоро не стало бы «достоянием общественного мнения». «Общественное мнение» смыслило в иностранных делах еще гораздо меньше, чем министры. Почти в каждом соглашении одна сторона как будто выигрывала больше, чем другая, и другую начинали бешено ругать ее собственные газеты, не меньше ругая — хотя и с признанием ума и хитрости,— противную сторону. Начиналось столкновение разных общественных мнений, и раскалялись национальные страсти.

К началу 1895 года забота об избежании «Derogierung an Prestige» совершенно овладела умом канцлера Бюлова. Ему вдобавок очень хотелось получить княжеский титул. Этот титул давался редко и только за исключительные заслуги. Исключительную заслугу можно было себе устроить. Момент был благоприятный: Россия была занята войной на Дальнем Востоке, европейское равновесие нарушилось в пользу Германии. Французское правительство, в котором были и русофилы и англофилы и да-

же германофилы, все больше старалось прибрать к рукам Марокко. Эта нищая страна, почти ничего не обещавшая метрополии кроме немалых жертв людьми и деньгами, была еще гораздо менее нужна Германии, чем Франции: Вильгельм сам это говорил и писал. Но в будущее почти все европейские государственные люди заглядывали разве лишь на несколько месяцев, да и то в большинстве случаев неудачно. Между тем престиж для германской империи и княжеский титул для Бюлова можно было приобрести быстро.

Ранней весной император для отдыха решил предпринять путешествие по Средиземному морю. Морские поездки всегда действовали на него успокоительно, а он, при крайней своей нервности, очень в этом нуждался. Руководитель огромного пароходного общества Баллин, «друг императора», с полной готовностью предоставил роскошный пароход «Гамбург» и сам, по своей инициативе, посоветовал взять с собой побольше сановников. Это было для общества превосходной рекламой. Среди приглашенных были антисемиты, недолюбливавшие еврея Баллина, но и они от приятного, бесплатного путешествия в обществе Вильгельма не отказались. Предполагалось отправиться сначала в Лиссабон, затем в Неаполь. Совершенно неожиданно Бюлов потребовал, чтобы император по дороге высадился в Танжере и произнес там энергичную речь в защиту независимости марокккского султана.

Вильгельм II в ту пору очень любил канцлера (которого несколько позднее стал ненавидеть). Этот очень образованный блестящий человек, прекрасныи оратор, считавшийся (вместе с Клемансо) лучшим causeur-ом[1] Европы, неизменно при каждой встрече его очаровывал. Вдобавок, он считал Бюлова как бы своим учеником и во всяком случае своим созданием. С прежними главами правительства ему было скучновато, а с ним никогда. Император раза два — три в неделю приезжал в гости к канцлеру и долго с ним болтал о новостях, о сплетнях, о государственных делах. Часто оставался у него то завтракать, то обедать. Бюлов как бы случайно приглашал к столу посторонних людей, ученых, писателей, артистов, которых Вильгельм в других дворцах встретить не мог. Эти встречи были императору приятны, он много говорил об искусстве и даже о разных науках. Профессора иногда недоумевали, но слушали с восторженным вниманием. Сво-

[1] Острослов (*франц.*).

дил канцлер Вильгельма с крупными промышленниками, с еврейскими банкирами. Император был очень богат, хотя и не так богат, как русский царь или как Франц-Иосиф (это его раздражало). Кроме большого цивильного листа, у него было больше 90 тысяч гектаров собственной земли, много собственных замков и денег. Он уважал богатство и был очень любезен с Швабахами, Фридлендерами, Симмонсами.

Предложение Бюлова и озадачило Вильгельма, и было ему вначале очень неприятно. Гимназистам было бы ясно, что речь в Танжере поведет к большим неприятностям, а может быть, и к войне. Немного раньше или немного позднее император наверное отнесся бы к плану канцлера с восторгом. За два месяца до того, принимая в Берлине бельгийского короля Леопольда II, он в последний день перед обедом сказал наедине королю, что принадлежит к школе Фридриха Великого и Наполеона I, что он не уважает монархов, считающихся не с одной Божьей волей, а с министрами и парламентами, что он шутить с собой не позволит, что Фридрих начал Семилетнюю войну с вторжения в Саксонию, а он начнет с вторжения в Бельгию, причем обещал королю в награду за доброе поведение несколько французских провинций. Король от ужаса за обедом ничего не ел и почти не разговаривал со своей соседкой императрицей. «Император говорил мне вещи ужасающие!» — только сказал он перед отъездом на вокзал.

Однако в марте 1905 года Вильгельму никакой войны не хотелось, и он отнесся к плану поездки в Танжер очень неодобрительно. Сказал канцлеру, что визит вреден и опасен, так как марокккский вопрос заключает в себе слишком много зажигательного материала: «zu viel Zündstoff». Бюлов не отставал, ссылаясь все на то же: на престиж Германии. Он и сам не хотел войны или думал, что ее не хочет, но любил «finassieren» [1] и беспрестанно повторял приписываемые Бисмарку слова: «Надо всегда иметь на огне два утюга». Хорошо зная императора, соблазнял его и эффектом. Речь в Танжере император должен был сказать, сидя верхом на коне. Дело было подробно разработано в тайных переговорах с марокккским султаном. Были приготовлены лучшие лошади султанской конюшни. Вильгельм уступил и, в сопровождении большой свиты, выехал в Танжер.

---

[1] Лукавить, хитрить (*франц.* finasser).

Море было беспокойное, пароход сильно качало, император чувствовал себя не очень хорошо. По дороге он опять начал колебаться: нужно ли ехать? вдруг, как это ни маловероятно, выйдет война? Помимо прочего, она означала бы конец дружбы с царем, быть может и с другими монархами; гвардия, вероятно, вся погибла бы, армия сильно пострадала бы, все пришлось бы восстанавливать сначала,— каких денег это стоило бы? Правда, почти все его предки вели войны, и странно было бы ни разу за все блестящее царствование не повоевать. Большая дипломатическая, а тем более военная, победа чрезвычайно увеличила бы престиж. С другой стороны, были еще разные причины для колебаний. Танжер был гнездом анархистов, можно было ждать покушений или хоть враждебной демонстрации. Капитан, качая головой, говорил, что в такую погоду причалить к берегу в Танжере невозможно, его величеству придется отплыть с парохода на лодке, а она, при сильных волнах, может и опрокинуться, или же всех вода обольет с головы до ног.

Эффект мог пропасть. Император колебался все больше. Из Лиссабона он по телеграфу известил канцлера, что решил в Танжер не ехать. Пришла ответная телеграмма с мольбами, убежденьями, почти с угрозами: можно ли не считаться с мнением германского народа? Германский народ ни о каком Танжере и не слышал, но как было не поверить Бюлову? За час до высадки император сказал Кюльману: «Я не высажусь!» — и высадился.

Лодка его не опрокинулась, арабский жеребец, хотя и взвивался на дыбы, но дал на себя сесть, и фотографии вышли чрезвычайно удачными. Правда, революционеры орали. Вильгельм II, по его словам, произнес речь «не без любезного участия итальянских, испанских и французских анархистов, жуликов и авантюристов». В возбуждении и чтобы проявить независимость, он даже отступил от приготовленного канцлером текста и сделал свое слово еще более «энергичным». Впечатление во всем мире было сильнейшее. В демократических странах все негодовали, газеты вышли с огромными заголовками: в Танжере брошена бомба! Германские генералы (впрочем, не все) наслаждались. Трудно сказать, кого император называл «авантюристами»,— себя и Бюлова, разумеется, к ним никак не причислял. Но верно еще больше наслаждался, читая газеты, Ленин: шансы на войну увеличиваются.

Все обошлось очень хорошо. Войны не произошло. Французский министр иностранных дел Делькассе, после

бурного правительственного заседания, подал в отставку. Престиж Франции понизился, престиж Германии вырос. Канцлер получил княжеский титул.

В своих воспоминаниях Бюлов изобразил себя крайним миролюбцем, с негодованием издевался над своим преемником Бетманом-Гольвегом, который по глупости и неосторожности довел в 1914 году Германию и весь мир до катастрофы. В действительности, и его собственная ценная идея очень способствовала приближению войны, как и тому, что Англия выбрала второй утюг и — без восторга — перешла на сторону Франции и России. Бюлов понимал значение своих действий не лучше, чем Бетман-Гольвег, Эренталь, Делькассе, Извольский. Все они бессознательно направляли Европу к *самоубийству* и к торжеству коммунизма,— тоже, конечно, не вечному, но оказавшемуся уже очень, очень долгим.

II

Незадолго до возвращения из Парижа в Россию Люда вспомнила, что у нее просрочен паспорт. На границе могли выйти неприятности.

— Как же мне быть? — с досадой спросила она Аркадия Васильевича. Он после защиты диссертации в Сорбонне стал доктором парижского университета и был хорошо настроен. Даже не подчеркнул, что у него все бумаги всегда в порядке, и всего один раз напомнил, что «давно ей это говорил»:

— Паспорт у каждого должен быть исправен.

— Да, да, ты говорил. И, конечно, русский человек состоит из тела, души и паспорта, это давно известно. Все же бывают и отступления. Вот у тебя, например, есть паспорт, есть тело, но нет души.

— О том, есть ли у меня душа, мы как-нибудь поговорим в другой раз.

— Я уверена, что нет.

— В том, что ты в этом уверена, я ни минуты не сомневался, но дело не в моей душе, а в твоем паспорте. Помни, что мы едем в Россию через две недели.

— Что ж, ты можешь отлично поехать и без меня. Я и вообще не знаю, вернусь ли я.

— Пожалуйста, не пугай меня и не уверяй, будто ты хочешь стать эмигранткой. Ты уже давно скучаешь по России. Гораздо больше, чем я.

— Это немного, потому что ты совсем не скучаешь. Была бы у тебя где-нибудь своя лаборатория, а все остальное в мире совершенно неважно.

— Разумеется, твоя деятельность, в отличие от моей,— имеет для мира огромное значение. Но возвращаюсь к делу: ты завтра же пойдешь в наше консульство...

— Как же! Непременно! — сказала Люда, раздраженная словом «пойдешь».— Как это я пойду в императорское консульство?

— Так просто и пойдешь или поедешь на метро. Если б ты в свое время сделала мне честь и повенчалась со мной, то вместо тебя мог бы пойти я. Но ты мне этой чести не сделала, поэтому ступай в «императорское консульство» сама. Может быть, там тебя не схватят, не закуют в кандалы и не бросят в подземелье. Правительство не так уж напугано вашей революционной деятельностью. Я думаю, что и твой Ильич может беспрепятственно вернуться, и оно от этого тоже не погибнет.

— Разумеется! Ты всегда все отлично знаешь!

— Ты мне сама говорила, что он преспокойно получает деньги, которые посылают ему его родные из России легально по почте, или через банк, по его настоящему имени: Николай Степанов.

— Он не Николай и не Степанов, а Владимир Ульянов, и ты отлично это знаешь.

— Да я сам видел у тебя на его брошюрке: Николай Ленин.

— Псевдоним «Николай Ленин», а имя «Владимир Ульянов».

— Довольно глупо. Впрочем, мне недавно какой-то жидоед сказал, будто он и не Ленин, и не Ульянов, а Пинхас Апфельбаум.

— У тебя очаровательные знакомства. Ильич никогда евреем не был. Он великоросс и кстати дворянин.

— Очень рад слышать. Но в консульство завтра же пойди.

Люда и сама понимала, что ей пойти в консульство придется. Она действительно нисколько не собиралась становиться эмигранткой. Уже начинала скучать во Франции. Особенно скучны были две недели, проведенные ими в Фонтенбло. Аркадий Васильевич и сам не любил уезжать из Парижа, но его работа была кончена, и он считал отдых необходимым им обоим: о здоровье Люды заботился почти так же, как о своем. Они сняли комнату в дешевом пансионе. Ни души знакомых не было. По два

раза в день гуляли в лесу. Он различал деревья, умел даже определять их возраст или, по крайней мере, знал, как это делается, объяснял Люде (которая никаких деревьев, кроме берез, не знала), наслаждался законным отдыхом и даже предложил остаться на третью неделю. Люда решительно отказалась: в таких поездках был особенно приятен лишь момент возвращения в Париж.

Впрочем, на этот раз была разочарована и возвращением. Члены партии в большинстве разъехались. Центром партийной работы стала Швейцария, где жили Ленин и Плеханов. Там же находился временно Джамбул. О нем Люда вспомнила с некоторой ей самой плохо понятной досадой. Тем не менее при этом у нее неизменно выступала на лице улыбка. Ей очень хотелось побывать в Женеве, перед отъездом в Россию; следовало бы получить от Ильича инструкции. Но было совестно брать у Рейхеля деньги на поездку, хотя он их дал бы по первому ее слову. Хорошо было бы заработать франков сто. Однако зарабатывать деньги Люда совершенно не умела.

В Фонтенбло она от скуки читала три получавшиеся там газеты, все консервативные; пансион был bien pensant [1]. Люда иногда заглядывала в передовые статьи «Temps», что ей казалось пределом и скуки, и человеческого падения. Пробегала светский отдел «Фигаро». Снобизма у нее не было, но звучные имена герцогинь и маркиз ей нравились. Дня за два до их возвращения ей в хронике бросилось в глаза: M. Alexis Tonychev. Она радостно ахнула: «Конечно, он! Я давно слышала, что он служит в парижском посольстве». Газета называла его имя в списке гостей на приеме, впрочем не очень важном, не у герцогов, а у банкиров, покровительствовавших новейшему искусству,— их имя упоминалось в светской хронике довольно часто. Теперь Люда подумала: «Вот кто может мне помочь в деле с паспортом. Прийти в консульство без протекции, будут бюрократишки ругаться. Но он, верно, о моем существовании давно забыл?»

С Тонышевым она лет шесть тому назад встретилась в Петербурге на балу в пользу недостаточных студентов. Их познакомила курсистка, брат которой отбывал воинскую повинность. Тонышев был дипломат, попал на бал по просьбе этой курсистки, был с ней очень любезен, а с Людой еще больше, танцевал с обеими и хорошо танцевал. С той поры Люда его не видела, но в душе надеялась, что он никак ее не забыл.

[1] Благомыслящий *(франц.)*.

На следующее утро она, одевшись как следует, поцеловав кошку, отправилась в посольство. Революционеры говорили, что где-то поблизости от посольства помещается и русская политическая агентура. Люда осмотрелась и вошла с любопытством. Спросила, не здесь ли принимает Алексей Алексеевич Тонышев, и узнав, что здесь, взволнованно написала на листке бумаги: «Людмила Никонова». Через минуту ее пригласили в его кабинет. Из-за стола поднялся элегантно одетый человек лет тридцати или тридцати пяти. «Ну да, он, я сейчас же узнала бы!» Тонышев ее не помнил, хотя ее лицо показалось ему знакомым. «Очень хороша собой! Кто такая и где я ее встречал?» — спросил он себя и наудачу поздоровался как со знакомой,— не спросил: «чем могу служить?» Когда Люда о себе напомнила, он радостно улыбнулся и стал очень приветлив.

— Что вы! Разумеется, узнал вас тотчас. Вы нисколько не изменились.

— Вы тоже не изменились. Даже монокля не носите, хотя и дипломат, и даже, я слышала, известный дипломат. Мне недавно попалось ваше имя в хронике «Фигаро» и даже без de.— Он удивленно на нее взглянул.— Там, у этих банкиров, чуть не все другие гости были с de.

— Очень скучный был прием. Но картины у них прекрасные.

— А я к вам по делу, Алексей Алексеевич. Видите, я помню ваше имя-отчество. А вы моего наверное не помните: Людмила Ивановна.

— Вас тогда и нельзя было называть по имени-отчеству. Вам было лет шестнадцать, это был верно ваш первый бал? — сказал он с улыбкой.— Какое же у вас дело? Разумеется, я весь к вашим услугам.

— Оно небольшое и скорее зависит от консульства, чем от посольства.— Объяснила, что просрочила паспорт и хочет его продлить.

— Действительно, вы правы,— сказал он.— Продление паспорта зависит от консульства.

— Но я там никого не знаю.

— Личное знакомство тут и не требуется. Надо только объяснить причины. Вы почему просрочили? По нашей русской халатности?

— Отчасти и поэтому, но были еще другие причины. Не скрою от вас, я чуть колебалась, возвращаться ли мне теперь в Россию или нет. Видите ли, я левая. Консульская братия упадет в обморок.

Он немного поднял брови.

— Вы хотели стать эмигранткой?

— Не то, что хотела, но одно время думала и об этом. Теперь раздумала.

— И отлично сделали, что раздумали. Надеюсь, за вами ничего худого не значится?

— «Худого» ничего. По крайней мере на мой взгляд.

— Это, конечно, очень дипломатический ответ. Скажу вам правду, я плохо знаю, какие формальности необходимы в таких случаях. Там наверное есть списки неблагонадежных лиц,— сказал он, не разъясняя слова «там».— Но так как ничего «худого» за вами нет, то вы, наверное, ни в каких списках не значитесь, и я не вижу, почему консульство могло бы не продлить вам паспорта. Быть может, впрочем, они пожелают предварительно запросить Петербург. Если хотите, я могу справиться.

— Я была бы вам чрезвычайно благодарна. Надеюсь, это вас не скомпрометирует!

— Я тоже надеюсь,— улыбаясь, ответил он.— Сообщите мне ваш телефон.

— У меня нет этого инструмента.

— Неужели еще есть счастливцы, живущие без телефона? Тогда я вам напишу.

— Вы очень меня обяжете,— сказала Люда и записала свой адрес. Он смотрел на нее с любопытством. «Разумеется, революционерки такие не бывают»,— подумал он. Никогда ни одной революционерки не видел.

Тремя днями позднее под вечер Люда готовила несложный обед. Рейхель, долго учившийся в Германии, предпочитал всем блюдам бифштекс с яйцом. Говорил, что еще любит русские котлеты. Однако котлеты требовали труда и времени, да еще вдобавок «плевали жиром со сковороды», и Аркадий Васильевич получал их редко, лишь в знак особой милости. Люда работу на кухне терпеть не могла; надевала, стряпая, белый халат и завязывала волосы платком. Сама в еде была неприхотлива и вполне удовлетворялась бифштексом. На хозяйство тратила пять франков в день. Прислуги у них не было, но она держала меблированную квартирку в чистоте.

Работа была уже кончена, когда на улице протрубил автомобиль, к некоторому удивлению Люды. Автомобилей тогда еще было не так много и в Париже, а в их тихом квартале они почти не появлялись. Люда подошла к окну:

«Тонышев! К нам!..» Она поспешно сняла передник, сорвала с головы платок, осмотрела комнату, бывшую у них кабинетом, столовой и гостиной. Все было в порядке. Кухней не пахло. Послышался звонок. Она быстро осмотрелась в зеркале — «прическа не смялась» — и отворила дверь. Тонышев, в легком пальто, в шелковом шарфе, в цилиндре, радостно улыбаясь, просил извинить его:

— Не очень помешал? Незваный гость хуже татарина.

— Нисколько не помешали. Я очень рада.

— Я только на несколько минут.

— Да почему «на несколько минут»? Я совершенно свободна и страшно вам рада. Снимите пальто, положите цилиндр хоть на этот стул... Пойдем в гостиную.

— Ваше дело с паспортом в полном порядке.

— Неужели? Тогда я рада еще больше. И очень, очень вам благодарна. Усаживайтесь.

— Я собирался вам написать, как было условлено, но сегодня суббота, вы получили бы письмо только послезавтра, или же вас завтра утром разбудил бы пневматик. А я получил в консульстве ответ только часа два тому назад. Поэтому я позволил себе к вам заехать.

— Да вы точно оправдываетесь! Это так любезно и мило с вашей стороны.

— Разумеется, вам надо будет побывать в консульстве лично. Это займет не более получаса. Они где-то навели справку, и оказалось, что никаких препятствий нет. Видите, не так страшен черт, как его малюют.

— Особенно, когда есть к черту и протекция.

— В самом деле я за вас у черта поручился,— сказал он, смеясь.— Пожалуйста, не подведите меня.

— Не обещаю, не обещаю. Пеняйте на себя, что поручились. Но вас, наверное, не повесят, разве только сошлют в каторжные работы,— весело говорила Люда.— Вот что, чаю я вам не предлагаю, не время, но хотите портвейна? Я выпила бы с вами.

— Если вы так добры.

Люда вышла на кухню. Там у них был графин с банюильсом, который она выдавала за портвейн, угощая некомпетентных гостей. «С ним это верно рискованней, но ничего, сойдет... Какой элегантный!» Подумала, что Рейхель вернется из лаборатории не раньше, чем через час. Это было кстати.

Тонышев тем временем осмотрелся, стараясь по обстановке определить, кто такая Люда. «Замужем? Курсистка? Едва ли». Взглянул на лежавшие на столе книги: «Что де-

лать?» Это хуже.— Имя автора «Н. Ленин» было ему неизвестно. «Но ведь «Что делать?» это Чернышевского?» Другая книга была успокоительней: роман Поля Бурже. Рейхель недавно купил ее; кто-то из товарищей по Пастеровскому институту сказал, что в этом романе выведен un prince de la science[1]. Это выражение понравилось Аркадию Васильевичу, но, прочтя роман, он подумал, что выведенный prince de la science очень мало похож на настоящих ученых.

Поль Бурже давал тему для начала разговора: от него легко было перейти к более модным писателям, к Марселю Прево, к Анатолю Франсу, к Киплингу, еще легче к модным курортам, к Трувилю, Веве или Остенде. По обстановке квартиры Тонышев видел, что о модных курортах говорить не надо. С красивыми женщинами он предпочитал начинать разговор с литературы или с живописи. Говорил достаточно хорошо для светского человека, хотя и не слишком блистательно; было именно приятно, что он не старается блистать, как профессиональный causeur. Он много читал, преимущественно тех авторов, при чтении которых надо было «делать поправку на их время».

О легком похождении с этой новой своей знакомой он и думал, и нет. Старался запрещать себе мысли, казавшиеся ему не очень благородными. Иногда это ему удавалось. Но, еще прощаясь с Людой в посольстве, он сказал себе, что собственно в таких похождениях ничего неблагородного нет, да и как же без них жить человеку, не собирающемуся стать монахом?

— Боже, как отстал этот человек! Я встречал Бурже в обществе. Он живет идеями начала прошлого века и вдобавок влюблен в аристократию, хотя сам Monsieur Bourget tout court[2]. Да и по таланту где ему до Эмиля Золя! Вот кто был герой. Мне так жаль, что он не дожил до реабилитации Дрейфуса.

К удивлению Люды, оказалось, что Тонышев недолюбливал антидрейфусаров и правых. Она сочла возможным ругнуть не так давно убитого Плеве. Ильич министров обычно называл непристойными словами. Люда их никогда не произносила, и Плеве назвала просто негодяем. Тонышев тоже отозвался о нем резко.

— Я благодарю Бога, что служу по ведомству иностранных дел. У нас такие люди невозможны!

---

[1] Ученый муж *(франц.)*.
[2] Всего-навсего господин Бурже *(франц.)*.

— И вы довольны службой?

— В общем доволен. Это интересная жизнь. Я побывал в разных столицах. Особенно мне было интересно пожить в Константинополе. Теперь мой несравненный Париж. Однако я скоро его покину. Меня переводят в Вену.

— Вот как? — спросила Люда с огорчением. «Но какое мне до него дело?» — рассердившись на себя, подумала она.— Это повышение?

— По должности повышение. Вена тоже красивый город. Интересно будет взглянуть и на их закостенелый двор, с этикетом пятнадцатого века. Вдобавок, Австро-Венгрия теперь центральный географический пункт мира, по крайней мере в дипломатическом отношении. Я не люблю швабов, но...

— Каких швабов?

— Я хотел сказать: немцев. Но австрийцы в частности наши противники. Что ж делать, «la verité a des droits imprescriptibles» [1], как говорил Вольтер. Необходимо приглядываться. Да и независимо от этого, я люблю новые места, новых людей, люблю наблюдения. Когда уйду на покой, напишу мемуары, как все уважающие себя дипломаты.

— Куда же вы уйдете на покой?

— У меня в Курской губернии есть имение. Не очень большое, но оно дает мне возможность сносно жить,— сказал он, чтобы иметь возможность спросить и ее о том, кто она.

— Родовое имение?

— Нет, не родовое. Я не «столбовой»,— весело сказал он.— Имение купил отец и выстроил там дом, не «в стиле русского ампир», а просто удобный дом с проведенной водой, с ванной комнатой. Я очень люблю свое имение, хотя сельского хозяйства не знаю. Каждое лето там бываю и всегда чувствую, что и у меня, кочевника-дипломата, есть свой дом. А какая там охота!

— Вы охотник?

— Горе-охотник. Впрочем, почему же «горе»? Я охотник настоящий и стреляю в лет недурно.

— Но что же все-таки делать в деревне, кроме писания мемуаров? Охота — развлеченье, нельзя же только развлекаться... Вы женаты?

— Нет, не женат,— ответил он. Теперь был случай спросить ее, замужем ли она. Но Люда предупредила вопрос:

---

[1] «Правда имеет неписаные права» *(франц.)*.

— Будете скучать? Я никогда в деревне не жила. Мой отец и дед были военные, жили в городах. «Вот как. Я думал, она колокольного происхождения: Никонова»,— подумал Тонышев в чужих привычных словах; сам был к вопросам происхождения равнодушен.— У нас никакого имения не было.

— Нет, скучать не буду. Я нигде никогда не скучаю. Буду охотиться, ездить верхом. Я недурно езжу, отбывал воинскую повинность в кавалерии. «Не сказал «в гвардии»,— подумала Люда.

— Ведь вы, кажется, служили в кавалергардском полку или в лейб-гусарском?

— О, нет, эти полки были бы мне и не по карману. Я служил вольноопределяющимся в лейб-гвардии драгунском, второй дивизии. И я не очень люблю военную службу,— ответил он. Кошка вспрыгнула ему на колени. Он ее погладил и похвалил. Это тоже понравилось Люде. Рейхель в таких случаях сгонял кошку с ругательствами и проклятьями.

— Вы в Париже давно?

— Третий год. Какой очаровательный город, правда?

Они еще поговорили о Париже, о театрах, особенно о выставках. Люда в театрах бывала не часто, выставками мало интересовалась, но с честью поддерживала рзговор. «Однако, для царского дипломата он очень образован!» — думала она.

— Я особенно люблю Париж ранней весной, когда еще сиверко,— сказал Тонышев. «Сиверко»! Надо запомнить».

— Представьте, я тоже. Обожаю Булонский лес. Какая красота! Я и Петербург обожаю, но там Булонского леса нет.

— Вы мне даете мысль,— нерешительно сказал Тонышев.— Надеюсь, вы не сочтете ее дерзостью? Что, если бы мы поехали в Булонский лес и там пообедали в одном из этих чудесных ресторанов? Вспомним и Петербург, где мы познакомились. Ведь мы, выходит, старые знакомые!

Люда смотрела на него озадаченно. «Очевидно, думает «завести интрижку»? Никакой «интрижки» ему не будет, но почему же отказываться? Он сам, кажется, смутился. Это у него вышло экспромтом, без «заранее обдуманного намерения». Отчего бы и нет? Обед Аркадию готов, отлично пообедает и без меня. Сказать ему об Аркадии? Нет, успеется»

— Спасибо, это очень милое приглашение. С удовольствием принимаю. Сейчас и поедем? Тогда я пойду переоденусь. Вы подождете меня минут десять?

— Разумеется. Сколько вам угодно! — радостно ответил он.

Люда вышла в спальную и написала записку: «Аркаша, обед готов. Разогрей бифштекс, положи немного масла на сковороду. Пиво в буфете. За мной неожиданно заехал этот Тонышев и еще неожиданнее пригласил на обед!!! Не ревнуй. А если и ревнуешь, то все-таки накорми кошку не позже восьми. Ее печенка за окном в кухне. С паспортом все в порядке. Он очень любезен. Не паспорт, а Тонышев. Доброго аппетита. Л.» Ее платья были в шкафу в спальной. Она выбрала подходящее.

Тонышев тем временем перелистывал «Что делать?». Опять подумал: «Это хуже». Но какое мне дело до ее взглядов? Она очень мила. Хорошо встречать самых разных людей. Уж если решил быть в жизни «наблюдателем»... Бисмарк дружил с Лассалем».

III

Люда подумала, что и этот ресторан, и переполнявшая его публика живут эксплуатацией рабочего класса. Но сильных угрызений совести не почувствовала. Все тут, столики с белоснежными скатертями, мягко и уютно освещенные лампочками с одинаковыми абажурами, туалеты дам, так не походило на дешевенькие грязноватые ресторанчики, в которых они иногда обедали с Рейхелем, обсуждая цену каждого блюда. По привычке Люда и тут взглянула на правую сторону обеих карт, но никаких цен не нашла.

— Вы любите шампанское, Людмила Ивановна? — спросил Тонышев.— Я не люблю, это у меня какая-то аномалия. Но здесь есть превосходное красное бордо. С вашего разрешения, мы с него начнем: вместо рыбы я вам предложил бы лангусту, а ее отлично можно запивать и красным вином. Вообще все эти правила гастрономов очень условны и часто казались мне неверными.

— А вы гастроном? И знаток вин? — спросила Люда, беспокойно вспомним о банюильсе.

— Нет, просто люблю хорошо поесть. Гастрономам плохо верю, а уж тем знатокам, которые говорят, что различают год вина, не верю совершенно.

По тому, как он заказывал обед и как ел, Люда видела, что еда занимает немалое место в его жизни. «И без ри-

совки человек»,— думала она. Ей понравилось, что после красного вина он заказал только полбутылки шампанского, очевидно не боясь потерять уважение лакея. «Джамбул тоже не рисуется, но он полбутылки не заказал бы».

— Я ведь пить не буду, а вы целой бутылки не выпьете,— пояснил Тонышев.

— Без вас и я не буду пить,— сказала Люда. Ей очень хотелось шампанского.

— Тогда выпью бокал и я.

Разговор он вел очень приятно, слушал внимательно, говорил о себе в меру. Ее спрашивал только о том, о чем можно было спрашивать при первом знакомстве: любит ли она импрессионистов, что думает о Дебюсси, предпочитает ли Малый театр Александринскому?

— О Художественном я вас не спрашиваю. На нем у нас коллективное умопомешательство. Театр хороший, и артисты есть талантливые, но нет гениальных артистов, как Давыдов. Он величайший актер из тех, кого я видел, а я видел, кажется, почти всех. Да и актрис таких, как Ермолова или Садовская, у них нет. Книппер или Андреева, если говорить правду, артистки средние. И ничего не было уж такого умопомрачительного в постановке «Федора Иоанновича». Не говорю о Станиславском, он большой талант. Но Немирович-Данченко мало понимает в искусстве: достаточно прочесть его собственные пьесы, это просто макулатура, и вдобавок макулатура à clef:[1] выводил своих знакомых!

— Ось лихо!

— Вы не украинка ли? По вашему говору не похоже.

— Нет, я коренная великоросска. Но я обожаю украинцев! И еще кавказцев, особенно осетин, ингушей. Малорусского языка я и не знаю, но ужасно люблю вставлять украинские слова, обычно ни к селу, ни к городу, как только что. И ругаться чудно умею. Вы не верите? «Щоб тебя пекло, да морило!..» «Щоб тебя, окаянного, земля не приняла!..» «Щоб ты на страшный суд не встал!..»

— Да это все великорусские слова плюс «щоб». Так и я умею,— сказал Тонышев. Обоим было весело.

— А вы говорите «сиверко». Разве вы вологодский? Или где это у нас так говорят?

— Нет, это моя мать была родом из северо-восточной России, и у нас в семье осталось это слово. А я родился в Петербурге.

---

[1] Списанная с натуры (*франц.*).

— Я тоже.

— Но возвращаюсь к театру. Я когда-то видел в Киеве малороссийскую труппу. Они тоже ставили макулатуру, такую же, как та, что преобладала и в наших столичных театрах. Но как ставили и как играли! Заньковецкая могла дать нашей Комиссаржевской «десять очков», как говорится в Чеховской «Сирене».

Люда горячо вступилась за Комиссаржевскую:

— Я ее обожаю! — сказала Люда. Она по-особенному произносила это слово: «Аб-ба-жаю!».— Комиссаржевская *наша*, она понимает чаянья нашего времени. Божественная артистка!

— Едва ли «божественная». Конечно, и она очень талантлива, хотя тоже мало смыслит в литературе.

— Уж очень вы строгий судья, Алексей Алексеевич! Да вы сами не пишете ли?

— Только докладные записки. Правда, веду дневник.

— Вот как! О чем же?

— Не о мировых проблемах. Просто о том, что вижу и слышу. И, разумеется, только для себя.

— Так говорят все авторы дневников, а потом печатают. Но вы любите литературу?

— Чрезвычайно. Имею библиотеку тысячи в две томов. Я немалую часть своего дохода трачу на книги и на переплеты. У меня слабость к переплетам, есть даже работы самого Мишеля.

— Но ведь как дипломат вы часто переезжаете. Неужели все с собой перевозите?

Он вздохнул.

— Вы попали в больное место. Да, перевожу и книги, и обстановку. Я думал, что в Париже пробуду долго, и устроился прочно. Нашел квартиру с собственным садиком в Пасси, где еще мало кто живет. На отделку потратил все свои сбережения, даже влез в долги магазинам. Теперь, конечно, все уже выплатил. Так вот, переезжай в Вену!

— Хорошая у вас квартира?

— Не сочтите за хвастовство: чудесная! И картины есть. Поверите ли вы, что я купил Сезанна за сто франков? А он по гению равен величайшим художникам Возрождения. Отчего бы вам не взглянуть? Сделайте одолжение, побывайте у меня.

«Однако! — подумала Люда.— Темп берет уж очень быстрый! Даром стараешься!»

— Как-нибудь с удовольствием.

— Отчего же «как-нибудь»? Поедем ко мне хоть сегодня, отсюда,— предложил он и сам опять смутился. «Прямо мопассановский вивер[1] с гарсоньерками!» — подумала она. Другому ответила бы: «Отстань, нет мелких».— Вот и отдадите мне визит,— пошутил Тонышев.— Или вы по вечерам не выходите?

«Это значит: «Или вы замужем?» — перевела она его вопрос. Ей не хотелось говорить ему о Рейхеле, особенно об их гражданском браке; в своем кругу она об этом сообщала новым людям с первых слов, но там на это никто не обращал внимания.

— Отчего не выхожу? В самом деле можно было бы куда-нибудь еще поехать после обеда. Разве в театр?

— В театр уже поздно.

— Значит, вы меня сегодня «вывозите»? Если так, то знаете что? Мне давно хочется взглянуть на ночной Париж. Вы его видели?

— Разумеется, видел. Но Монмартр с его кабачками уж очень банален. Хотите побывать на «Bal d'Octobre»?

— Какой «Bal d'Octobre»?

— Это одна из самых популярных трущоб Парижа. Я всюду бывал: и у Fradin и в «Ange Gabriel», и в «Le Chien qui fume»[2]. «Bal d'Octobre» самая жуткая. Не пугайтесь, никаких убийств там не бывает, есть много апашей, но сидят и полицейские. Туда ездят наши великие князья. Недаром в Париже все такое теперь называется «la tournée des Grands Ducs»[3]. Только туда в одиннадцатом часу ехать еще рановато. И уж на минуту мне все равно пришлось бы заехать домой. Переодеваться ни вам, ни мне не нужно, а вот мой цилиндр там был бы принят недружелюбно.

— Ваш цилиндр не только в трущобах, но и на мою консьержку, верно, произвел сильное впечатление,— сказала Люда.— «Где наша не пропадала! Вернусь к часу. Аркадий беспокоиться не будет, привык».

— Я и сам не люблю этот странный головной убор. Ничего не поделаешь, все носят.

— Не в моем ученом квартале,— сказала она. Говорила бессознательно в единственном числе: «*Мой* квартал, *моя* консьержка». «Так она ученая? Надеюсь, хоть не медичка?» — подумал он.— Но вы были верно еще элегантней в мундире. Вы имеете придворное звание? — спросила Люда. «Точно я ему все учиняю допрос! Тогда необходимо

---

[1] Прожигатель жизни (*франц.* viveur).
[2] «Собака, которая курит» (*франц.*).
[3] «Прогулка великих князей» (*франц.*).

сказать хоть что-либо и о себе». Ей не хотелось говорить и о том, что она социалистка.

— Никакого придворного звания не имею... Вы верно меня считаете человеком из романа какого-нибудь Болеслава Маркевича? — спросил он, засмеявшись.— Это неверно. Уж если говорить на политическом жаргоне, то я просто либерал, разве с легким уклоном в сторону... Как сказать? Не славянофильства, а в сторону нашего покровительства балканским странам с целью объединения славян. Видите, я жаргон знаю. И, само собой, я сторонник введения в России конституции. Мы к этому и идем со времени убийства Плеве.

— Значит, вы сочувствовали его убийству? — насмешливо спросила Люда.

— Я не могу сочувствовать убийствам, как не могу сочувствовать и казням. Но если говорить совершенно искренне, то мое первое чувство, когда я узнал о смерти Плеве, была радость.

— Довольно неожиданно для царского дипломата.

— Мне самому было совестно, да что ж делать, это было именно так. Вы говорите: «царский дипломат». Да, я царский дипломат и монархист. Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что убийству Плеве рады были многие «царские дипломаты». Он, помимо прочего, был одним из главных виновников этой бессмысленной и несчастной войны с Японией. Дипломат по самой своей природе не должен стоять за войну... Не должен, хотя часто стоит. По-моему, наша единственная задача, даже наше ремесло, в том, чтобы предотвращать войны. Офицеры другое дело, хотя и из них немногие сознаются, что в глубине души хотят воевать... А вы очень левая? — весело спросил он.

— Очень. Но я не хочу говорить о политике.

— Признаться, и я не хочу. Понимаю, что мы во взглядах не сходимся. Не все ли равно, каких вы взглядов, если...

— Если что? — спросила Люда. «Вот теперь для него прекрасный случай сказать какую-нибудь галантерейность о моем уме или о моем очаровании»,— подумала она.

— Если можно говорить о чем угодно другом, о том, что людей не разъединяет,— докончил он. Люда смотрела на него чуть разочарованно. Ее несколько разочаровали и его либеральные взгляды. Почему-то с самого начала она его представила себе «холодным аристократом»; между тем он на «холодного аристократа» не походил, и ей было досадно расстаться со своим представлением. «Уж не про-

сто ли бесцветная личность? Впрочем, симпатичный. В старости верно будет носить великолепную окладистую бороду à la... Не знаю à la кто»... И это его испортит. Он недурен собой».

— Шампанское очень хорошее. Вы обещали выпить бокал,— сказала она.— За что же? Давайте выпьем как запорожцы: «щоб нашим ворогам було тяжко»!

— За это не могу. Я не запорожец — и не революционер. У меня нет врагов.

— Это скорее печально: значит, у вас мало темперамента.

— Выпьем «щоб нам було хорошо».

— Что-ж, можно и так.

Квартира у Тонышева была небольшая, всего в три комнаты, действительно очень хорошая. «Ему никак нельзя сказать, что я люблю все красивое. Мебель, разумеется, стильная, но лучше об этом не говорить: можно и напутать». Свойственное ей чутье подсказывало ей, *как* приблизительно надо с ним говорить. В кабинете у среднего из трех окон стоял большой письменный стол с покатой крышкой.

— Вы верно видели в Лувре похожее бюро, принадлежавшее Людовику Пятнадцатому,— сказал он.— Разумеется, то неизмеримо лучше, но и мое недурное, мне посчастливилось купить на редкость дешево! Я был просто счастлив в тот день!

Люда поддерживала разговор осторожно. Подходя к картинам, старалась незаметно прочесть подписи и очень хвалила, особенно картины новых художников. Это видимо доставляло ему удовольствие, хотя он сразу огорченно заметил, что его гостья мало смыслит в искусстве. У длинной стены были шкапы с книгами. На столах лежали разные издания в дорогих переплетах. «Верно, если капнуть чаем, он сойдет с ума от горя...» На шкапах стояли бюсты Пушкина, Тургенева, Чайковского. «А этот кто? Кажется, поэт Алексей Толстой? Он-то почему»?

— Сколько у вас книг! Завидую,— сказала она. Тонышев улыбнулся.

— Помните у Гоголя обжору Петра Петровича Петуха. Каждый из нас на что-нибудь Петух, если можно так выразиться. Он на еду, я на книги. А вы на что Петух?

— Ни на что,— подумав, ответила Люда с досадой.— У вас на шкапу Пушкин и Чайковский. Я очень люблю их сочетание «Евгений Онегин» моя любимая опера.

— Хоть тут мы с вами вполне сходимся.

— Не удивляйтесь, в искусстве я люблю не только революционное.

— И слава Богу!

— А вы играете на рояле?

— В молодости учился.

— «В молодости»! Значит, теперь вы «стары»?

— Мне тридцать три года, Людмила Ивановна. Все главное уже позади. На что новое может надеяться тридцатитрехлетний человек? Ведь это уже почти старость, а? Играть же я перестал, когда впервые услышал Падеревского. Сделалось совестно, что я смею играть на рояле. Тогда начал интересоваться живописью.

— Почему кстати у вас эта вещь над диваном в двух экземплярах?

— Это мой трюк! — сказал Тонышев.— Та, что слева, это моей работы: подделка под сангину восемнадцатого века. А рядом оригинал. Не удивляйтесь, подделывать нетрудно. Я нашел в лавке старьевщика очень старую бумагу, подверг ее действию дыма, чуть обжег где-то концы, намалевал и ввожу в заблуждение знакомых. Кажется, похоже?

— Очень похоже! Так вы умеете и «малевать»? Вы, я вижу, эстет?

— Знаю, что так называются не одаренные творческими способностями люди и что быть «эстетом» очень гадко.

— Я этого и в мыслях не имела!

— Будто?.. В эту трущобу ехать еще рановато. Посидим немного у меня. Я вас ничем не угощаю?

— Помилуйте, после такого обеда!

«Никаких мопассановских намерений у него, очевидно, и не было. Просто хотел мне показать свои сокровища. Ну, и слава Богу! Да я, конечно, и не допустила бы»,— подумала Люда.

Она действительно никогда никаких похождений не имела, и порою сама этому удивлялась: «Все-таки несколько «страстных слов» мог бы из себя выдавить. Джамбул был предприимчивее, хотя и с ним не было ничего. Там просто помешал Съезд! Очень он добивался, но уехал из Лондона без большого сожаленья. Правда, на прощанье поцеловались. Он сказал, как будто даже с угрозой: «Мы скоро встретимся», но, должно быть, думал: «Не хочешь —

не надо, найду другую». Где же мы встретимся? «Писал он из Женевы довольно мило»,— вспоминала Люда с улыбкой. Думала о Джамбуле и поддерживала разговор с Тонышевым. «Этот царский дипломат по-своему тоже мил, но он чужого мира, и какое же сравнение с Джамбулом»!

— ...А вы скоро переезжаете в Вену?

— Сначала должен еще съездить в Россию. Побываю на Певческом мосту, увижу начальство, сослуживцев. Надо людей посмотреть...

— И себя показать? — спросила Люда. «На Певческом мосту»! Конечно, чужой мир!

— И себя показать, совершенно верно.

— Вы в Москве не будете?

— Только несколько дней, проездом в имение. Я в Москве почти не имею знакомых. А вы в России будете скоро?

— Очень скоро! В Москве остановлюсь у родных, у Ласточкиных,— ответила Люда, не уточняя «родства».— Может быть, слышали? Дмитрий Анатольевич Ласточкин? Его в Москве все знают. У них музыкальный салон, они очень гостеприимны, тотчас вас, конечно, позовут, послушаете хорошую музыку.

— Я был бы чрезвычайно рад.

— Позвоните с утра, я буду вас ждать. Номер найдете в телефонной книге. Они будут вам очень рады... А все-таки не пора ли нам ехать в этот ваш Bal d'Octobre? Почему оно так называется?

— Не знаю, в самом деле странное название. В нем есть что-то зловещее.— Тонышев посмотрел на часы.— Да, теперь уже можно. Я сейчас надену более подходящую шляпу,— сказал он, вышел и тотчас вернулся в другом пальто, впрочем тоже элегантном, держа в руке мягкую шляпу и другую палку.

— Это палка с лезвием внутри, но вы не беспокойтесь. Апаши там театральные... Едем.

У Люды екнуло сердце, когда она увидела полицейского в тускло освещенной комнатке около входной двери, над которой снаружи красными буквами горело одно слово «Бал». Из залы доносились звуки вальса, смех, гул. Полицейский хмуро оглядел новых посетителей. Они явно принадлежали к знакомой и малопонятной ему породе искателей сильных ощущений. Он буркнул, что палки надо

оставлять в раздевальной. Тонышев поспешно отдал палку сидевшей в каморке мрачной старухе.

— Еще не составили бы протокола за незаконное ношение оружия,— сказал он Люде. Видел, что она взволнована, и пожалел, что привез ее в такое место.

В зале со сводчатым низким потолком было накурено и очень душно. Почти все грязные, не покрытые скатертями деревянные столики были заняты плохо одетыми, полупьяными людьми. За одним из столиков с тремя пустыми бутылками два человека спали, опустив головы в каскетках на скрещенные на столике руки. Спавший около них бульдог залаял было на вошедших, но раздумал и снова положил голову на лапы. В средине зала в небольшом круге танцевала одна пара: молоденькая, миловидная, пьяная женщина и мужчина в блузе, с папиросой в зубах. «Апаш! Куда мы попали! Хорошо, что там ажан!.. Все женщины без шляп!» — еле дыша, подумала Люда. Впрочем, у стены сидела компания туристов, в ней дамы были в шляпах. Рядом с ними был свободный столик. Тонышев и Люда направились к нему. Публика их провожала насмешливыми взглядами. Кто-то зафыркал, кто-то зааплодировал, все же большого интереса они не вызвали. Тонышев заказал абсент подошедшему к ним сонному человеку, тоже очень похожему на апаша.

— Вот это и есть «ночной Париж»,— сказал негромко Тонышев Люде. Видел, что она очень взволнована.— Вы удовлетворены?

— Удовлетворена.

— Будьте спокойны, с нами ничего случиться не может.

— Я совершенно спокойна!.. Так это и есть апаши?

— Во всяком случае подонки общества. Тут и ночлежка. Кажется, двадцать сантимов за ночь, а «с женщиной за франк». Я по крайней мере сам видел такую надпись на домах страшной средневековой рю де Вениз.

— Не может быть!

— Забавно, что здесь играют сентиментальный вальс из «Фауста». Знаете ли вы, что в двух шагах от этой трущобы в Сент-Этьен-дю-Мон похоронены Паскаль и Расин? В этом есть некоторый символизм, правда? Вершины и низы рядом. Так, у подножья Синая ведется теперь торговля опиумом и гашишем.

Люда с жадным любопытством смотрела на все в зале. Танцевавшая женщина вдруг вскрикнула, грубо выругалась и ударила по руке своего партнера. Он обжег ее лицо

папиросой. Все засмеялись, смех перешел в хохот, бульдог опять залаял. Еще две пары пошли танцевать.

— Вы не жалеете, что пришли?

— Не жалею. Надо увидеть и это.

— Пожалуй, хотя особенно необходимости я в этом не вижу.

Лакей налил им абсента.

— Два франка. Деньги вперед,— сказал он умышленно грубым тоном. Знал, что и это производит впечатление на посетителей трущоб: «чем грубее с этими болванами говорить, тем больше они оставляют на чай».

— Эти страшные социальные контрасты! После того ресторана и вашей музейной квартиры этот притон «с женщиной за франк»! — сказала Люда. Ей было очень не по себе и не хотелось начинать в притоне умный разговор, но нельзя было и молчать. Она залпом выпила абсент.— Вот с такими явленьями мы и боремся.

— Кто мы?

— Социалисты. Я социал-демократка.

— Я не знал, что вы боретесь с этим. Что же вы можете тут сделать?

— Создать такие общественные условия, при которых никому не надо будет продаваться.

— Я с этим совершенно согласен,— сказал Тонышев. «Уж очень obvious [1] то, что она говорит. Мы с ней и люди разных миров»,— подумал он.— То есть, согласен с этой общей целью. Но это, по-моему, дело медленного совершенствования нравов. Тут религия гораздо важнее, чем самые лучшие партии.

— Какая уж религия! Я атеистка.

Он вздохнул.

— Боюсь тогда, что вы будете несчастны, как три четверти нашей левой интеллигенции. Последствие атеизма: человек не может быть счастлив.

— Это в политике можно и нужно думать о последствиях, а в философии, в религии они ни при чем.

Он тоже подумал, что глупо и даже неприлично говорить в притоне о Боге. «Très russe!» [2] — сказал себе он и хотел свести разговор к шутке:

— Вот вы социал-демократка, но признайтесь, вы рады, что внизу сидит полицейский... Не гневайтесь. Мне так хотелось бы, чтобы вы были счастливы, Людмила Ивановна... Как кстати ваше уменьшительное имя?

---

[1] Очевидно *(англ.)*.

[2] «Очень по-русски!» *(франц.)*

— Люда.
— Вы так молоды. Можно вас называть Людой?
— Можно.

К ним подошла, держась за щеку, женщина, которую только что обожгли. Она была совершенно пьяна. Тонышев смотрел на нее с тревогой, а Люда с ужасом.

— Милорд, можно к вам подсесть?.. Нельзя? Тогда угости меня, здесь недорого,— сказала она. Тонышев поспешно сунул ей деньги. Женщина отошла, с ненавистью взглянув на Люду.

— Вы расстроены? Если хотите, пойдем?

Люда, отвернувшись от него, вдруг достала носовой платок и поднесла его к глазам. Он смотрел на нее растерянно. «Что с ней? Надо поскорее увести ее. Еще может случиться истерика! Вот не ожидал!» — подумал он. В конце зала около пианино кто-то вынул фотографический аппарат и навел его на публику. Послышались крики и брань. Апаш рванул аппарат из рук фотографа. Говорившая по-английски компания туристов сорвалась с мест и направилать к выходу. Поднялся сильный шум. Упала и разбилась бутылка. Залаял бульдог. У пианино началась драка.

— Они правы, что уходят. Это, верно, полицейский фотограф. Пойдемте и мы,— поспешно сказал Тонышев и поднялся первый. Люда встала, не отвечая и не отнимая от глаз платка. Он все больше жалел, что привел ее сюда. За дверью полицейский, неторопливо шедший в зал, окинул искателей сильных ощущений еще более угрюмым взглядом и что-то пробормотал. Старуха отдала Тонышеву пальто и шляпу, с любопытством поглядывая на Люду.

На улице им протянул руку с шапкой дряхлый старик, его поддерживала женщина, тоже очень старая. Люда открыла сумку и дала старику свою единственную золотую монету. Тонышев смотрел на нее все более растерянно. Он тоже что-то дал старику.

— Мы найдем извозчика у церкви, это налево,— сказал он. С минуту они шли молча.

— Извините меня, я глупо разнервничалась,— сказала, наконец, Люда.

— Это вы меня, ради Бога, извините. Совсем не надо было нам сюда ездить.

— Отчего же?

Они нашли извозчика.

— Нет, верно, фотограф был не из полиции, она и без того всех их знает. Должно быть, просто любитель или ре-

портер,— сказал Тонышев.— Да он и не успел нас снять. У него тотчас вышибли аппарат.

— Да, вышибли аппарат... А хотя бы и снял, мне совершенно все равно.

Тонышев решительно не знал, о чем говорить. У крыльца ее дома он сказал:

— Когда я могу быть у вас, Люда?

— *Будем* вам очень рады. *Мы* обычно принимаем по воскресеньям, но можно и в любой будний день, только предупредите... И еще раз спасибо за вечер,— сказала она и отворила дверь ключом. Тонышев смотрел на нее с недоумением... «Так она замужем? И сообщила об этом под занавес! И социал-демократка! И так дешево-гуманно расплакалась в притоне!» — думал он разочарованно; сразу потерял к Люде интерес.

IV

Спор был о том, примут ли работу. Автор говорил, что никогда не примут. Его друг отвечал, что могут принять. Они часто спорили. Впрочем, Эйнштейн видел, что Бессо, инженер по образованию, понимает в его теории не очень много.

— По-моему, могут напечатать,— говорил Бессо, впрочем, старавшийся не слишком обнадеживать своего друга: думал, что, если работу не примут, то это будет для него очень тяжелым ударом.— Ты когда ее доставил?

— Тридцатого июня. Если бы приняли, то уже появилась бы,— отвечал со вздохом Эйнштейн.

— Разве непринятые рукописи не возвращаются? Ведь это не газета!

— Вероятно, возвращаются.

— Но почему же ты думаешь, что не примут?

— Потому, что я никто; не ученый, не профессор, не приват-доцент, один из двенадцати служащих Патентного бюро. Кроме того, ты ведь знаешь, что это за работа. Ее понять не так легко.

— Не так легко, так пусть и потрудятся. И там в редакции сидят не фельетонисты, а Друде, Рентген, Кольрауш, Планк!

Эйнштейн только вздыхал.

— Они скажут, что это глупая шутка. Как французы говорят, une fumisterie — с трудом выговорил он французское слово.— Я и сам иногда так думаю: может быть, теория относительности это именно fumisterie?

— Ну, я не Рентген, но я никак этого не думаю! — бодро отвечал Бессо.— Увидишь, напечатают хотя бы как парадокс.

Жили Эйнштейны в Швейцарии очень бедно, берегли каждый франк, принимали мало, ни в какое швейцарское общество не вошли. Только Бессо бывал у них чуть не каждый вечер. Он недолюбливал Милеву. У нее и вид был всегда суровый, говорить с ней ему было трудно. Она была сербка. Училась математике, но муж с ней о науке никогда не разговаривал, да и вообще разговаривали они не часто. Быть может, Эйнштейн и сам не знал, почему на ней женился. А она уж наверное плохо понимала, зачем вышла замуж за этого скучного немецкого еврея, который вечно рассказывал несмешные анекдоты, зарабатывал в Патентном бюро 3.500 франков в год, одевался Бог знает как и брился без щетки обыкновенным мылом, растирая его на щеках и подбородке рукой. Милева обычно к ним и не выходила, только подавала им бутылку пива и оставшуюся от обеда баранину,— он почти всегда ел баранину да еще колбасу. По воскресеньям Бессо приходил днем. Они сидели у окна и любовались, поверх веревки с сушившимся бельем, видом на Юнгфрау. Иногда Эйнштейн пиликал на скрипке. Иногда говорили о политических делах. Он высказывал очень левые и совершенно неинтересные мысли,— Бессо грустно думал, что Альберт ничего в политике не понимает. Иногда говорили и о литературе. Альберт восхищался Толстым:

— Ах, какой замечательный, полезный писатель! И какой хороший человек! Жаль, что не любит науку и не получил математического образования. Впрочем, я тоже мало понимаю математику.

— Это неожиданная новость. Что же ты тогда понимаешь?

— Может быть, и ничего,— соглашался Эйнштейн.— Какой я математик? Я и таблицу умножения помню плохо. Ни одной гимназической задачи я никогда не мог решить. В школе я считался тупым и отсталым мальчиком.

Бессо умилялся его скромности. Ему казалось, что Альберт гений, хотя и смешной чудак. Другие знакомые не считали Эйнштейна гением. Знали, что экзамена в Политехническую школу он не выдержал: удивил экзаменаторов своими математическими познаньями, но ничего не знал в ботанике, в зоологии, почти не владел иностранными языками. Ему предложено было сначала пройти курс в швейцарской коммунальной школе, где преподавание было

предназначено для детей. Ничем особенно не выделялся он позднее и в Политехникуме, и после окончания курса. Более способным к физике иностранцем считался Фридрих Адлер (будущий убийца графа Штюрка). Позднее оба были кандидатами на университетскую кафедру по физике, и ее предложили Адлеру, а не Эйнштейну. Несмотря на доброту и благодушие Альберта, некоторые товарищи его не любили, не выносили его шуточек и называли его циником,— как будто менее всего подходило к нему это слово. Искренне его любил, по-видимому, только Бессо. Он, собственно, первый и оценил теорию относительности. Но, при своем латинском уме, все же не очень увлекался «тевтонскими глубинами». По забавному стечению обстоятельств Эйнштейн очень долго, уже будучи мировой знаменитостью, считался воплощением немецкого духа в науке. Его поклонник, тоже знаменитый физик Вин, по политическим взглядам немецкий националист, говорил лорду Рутерфорду, что по-настоящему понять Эйнштейна может только германский ученый. Рутерфорд поднимал брови не столько обиженно, сколько изумленно: «Is that so?» Никак не думал, что в физике есть вещи, которых он понять не может. Очень скоро после этого, при Гитлере и даже раньше, Эйнштейн был объявлен воплощением антинемецкого духа.

И, наконец, пришла эта тетрадь в светло-коричневой обложке, десятая тетрадь «Annalen der Physik», за 1905 год, перешедшая в историю науки, вероятно, навсегда или на очень долгое время. Там на третьем месте в оглавлении значилось: «Zur Electrodynamik bewegter Körper», von A. Einstein [1]. Он очень обрадовался и даже позвал Милеву. Та тоже обрадовалась: может быть, из ее болвана и выйдет какой-нибудь толк? Вечером, как всегда, пришел Бессо, узнал новость и обнял своего друга:

— Это я тебе предсказывал? Теперь о твоей работе говорит весь мир!

Работа была им тотчас прочтена вслух, и он делал вид, будто все понял. Растрогался еще и оттого, что в конце Альберт выразил «благодарность» своему другу М. Бессо. Прочитав слова: «Wir wollen diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden Prinzip der Relativität genannt werden wird) zur Voraussetzung erheben» [2], он многозначительно под-

---

[1] «К проблеме аэродинамики движущихся тел». А. Эйнштейн *(нем.)*.

[2] «Мы хотим это предположение (содержание которого станет в последующем называться принципом относительности) сделать исходной посылкой» *(нем.)*.

нял палец. В этот день были выпиты две бутылки пива, а после них Альберт что-то играл на скрипке,— от волнения еще хуже, чем обычно.

На следующий день он принес в Патентное бюро тетрадь в светло-коричневой обложке. Товарищи корректно его поздравили, хотя и не без некоторого недоумения: «Лучше бы этот юный, одетый как нищий, иностранец больше занимался патентами». Он зарабатывал свой хлеб добросовестно, но в самом деле интересовался патентами очень мало. Больше в бюро о работе не говорили. Вопреки предсказанию Бессо, не говорил о ней и «весь мир».

Однако через некоторое время пришло письмо из редакции: секретарь — тоже с некоторым скрытым недоумением — сообщал ему, что его работой чрезвычайно заинтересовались три знаменитости: Анри Пуанкаре, Ван'т Гофф и Гендрик Лоренц. Спрашивали: кто такой этот А. Эйнштейн? где преподает?

Он был очень доволен. Тщеславия у него никогда не было ни малейшего; в этом отношении он был редчайшим исключением среди людей. Но честолюбие было, хотя и честолюбивые мысли тревожили его не часто: просто для них у него никогда не было времени; он всегда думал; когда думал о физике и математике, очень мало людей в мире могло с ним сравниться по глубине и своеобразию; когда писал о другом, особенно о политике, было совестно слушать; так это было банально. Был он редким примером ограниченной гениальности.

Свою работу он прочел раза два еще в печатном виде, хотя знал ее почти наизусть, и отчасти в связи с ней, отчасти как будто и без связи, ему приходили мысли странные, уж совсем необыкновенные. Иногда в разговорах чуть дразнил ими своего друга. Тот иногда сердился,— был очень нервным человеком. Его звали Микеланджело, и это имя вечно давало повод для шуток, тоже его раздражавших. Порою Эйнштейн изумлял его разными своими, еще смутными идеями, которые могли изумить не одного Бессо.

— Что такое в геометрии «пи»? — спрашивал Эйнштейн как будто не своего друга, а самого себя.— Знает каждый школьник, а это совсем не так просто.

— Не понимаю, зачем считать сложными самые простые вещи,— отвечал Бессо, настораживаясь при новых «тевтонских глубинах».— «Пи» это отношение окружности к диаметру: три запятая, один, четыре, один. пять, девять... Я в гимназии заучил это число до пятнадцатого знака.

— Напрасно терял время. «Пи» не есть постоянная величина.

— «Пи» не есть постоянная величина? Чего только вы, немцы, не измышляете!

— Это очень просто, но объяснять долго, и я не умею. Или возьми понятие времени. Мы им и в науке и в жизни пользуемся постоянно. Но ведь время может сжиматься и расширяться.

— Может сжиматься и расширяться? Время?

— Ну, да. Вообще надо переменить все, чему учат в гимназиях и университетах. Механика Ньютона неверна и закон сохранения материи Лавуазье тоже неверен. Они оба ошибались.

— Ньютон и Лавуазье ошибались? — спрашивал Бессо уже с раздраженьем. Как он ни любил своего друга, все же находил несколько странным, что этот молодой человек опровергает Ньютона и Лавуазье.— Они ошибались, а ты не ошибаешься?

— Они были великие, гениальные люди. Разумеется, я ни в какое сравненье с ними не могу идти, но это так. Они упростили мир и многого не приняли во внимание. Их понятие о массе было слишком простое. Скоро можно будет кстати превращать массу в энергию.

— Да мы это, слава Богу, давно знали и без тебя. Если сжечь вот этот стол, то тепло можно превратить в работу, например в электрический ток.

— Я имею в виду совершенно другое. Я имею в виду атом,— говорил Эйнштейн со вздохом.

— Вильгельм Оствальд вообще отрицает существование атомов.

— Он чудак. Атом такая же реальность, как этот стол.

— И много энергии ты надеешься из него извлечь?

— Очень много. Страшно много. Так много, что можно будет переделать жизнь на земле. Можно будет облагодетельствовать человечество, мы все станем богачами.

— Это было бы, конечно, очень кстати. У тебя верно нет сейчас и ста франков?

— Кажется, Милева говорила, что осталось двадцать пять. Но это так: через сорок или пятьдесят лет не будет предела богатству человечества. Все будут свободно размышлять и радоваться друг другу.

— Это, конечно, возможно. Только вот что, дорогой мой, ты совершенно уверен, что ты в своем уме? Извини меня, я дружески спрашиваю. Неужели Пуанкаре, король ученых, одобряет всю твою... все твои мысли.

— Я ему в подметки не гожусь, но я не думаю, чтобы он мог одобрять *все*. Да я еще почти ничего и не сказал.

— Пожалуйста, смотри за собой: как бы ты с сжимающимся временем не попал в...

V

Дмитрий Анатольевич просыпался, без будильника, всегда ровно в семь. Ему полагалось перед ванной проделывать гимнастические упражнения, но он их проделывал довольно редко и жаловался жене на непреодолимую лень. Татьяна Михайловна знала, что он работает целый день, не видела большой пользы в гимнастике и была недовольна предписаньями врача мужу. Врач требовал, чтобы Ласточкин ел возможно меньше. Она понимала, что требованье разумно, но знала, что Митя очень любит есть, и за обедом все его угощала. «Ты ведешь меня прямо к кондрашке!» — говорил весело Дмитрий Анатольевич.— «Помилуй, какая кондрашка в твои годы! И от мяса не полнеют. Право, возьми еще ростбифа. Кажется, он сегодня очень хорош, именно такой, какой ты любишь». Ласточкин, хотя и с угрызеньями совести, соглашался: он и сам не верил, что у него может быть апоплексический удар.

В свое время он составил себе «расписание». На большом листе бумаги выписал сверху горизонтально дни недели, сбоку вертикально часы дня и отметил, что должен делать каждый день в такой-то час. Было указано даже время для чтения новых книг. Расписание было подробное. Он показал его жене, но та отнеслась к затее ласково-иронически:

— Если б я не знала, что ты очень умен, Митя, я подумала бы, что в тебе есть и некоторая ограниченность. Разве можно жить по расписанию? — сказала она.— Да никогда всего и включить нельзя.

Татьяна Михайловна имела на мужа такое влияние, что он скоро бросил бумагу в корзину. Однако старался и без расписания вносить в свою жизнь возможно больше порядка и точности; так, аккуратно записывал все свои доходы и главные расходы; никаких заседаний никогда не пропускал и на них не опаздывал; настаивал, чтобы завтрак и обед подавались в точно определенное время.

В этот июньский солнечный день, ровно в восемь часов утра он уже не в халате, а в прекрасном, тщательно выглаженном сером костюме, с такими же по цвету галстуком и носками, вышел в столовую и с удовлетворением окинул

взглядом накрытый белоснежной скатертью стол. Калача и масла на столе не было, но врач разрешил икру, и Татьяна Михайловна ежедневно ее покупала у Елисеева «свежей получки, прямо из Астрахани». Уже был соединен со штепселем небольшой серебряный электрический самовар,— не принятая в Москве новинка. Дмитрий Анатольевич любил все новое и находил странным, что самовары остались такие же, какие были чуть не при Петре Великом; пора бы, где можно, освобождать прислугу от лишнего труда.

Не любил он только домов новой московской стройки, и лет пять тому назад, когда стал много зарабатывать, снял в старом доме поместительную квартиру с большими высокими комнатами, с толстыми стенами, с голландскими печами; произвел в ней капитальный ремонт, устроил вторую ванную, для жены. Татьяна Михайловна была в восторге. Она проводила в горячей воде часа полтора в день. Об этом уже Дмитрий Анатольевич говорил ей: «Чрезвычайно вредно, ты просто себя губишь!», и она тоже этому не верила. «Собственная ванна — это единственная роскошь, которая действительно доставила мне радость!» — сказала она мужу и тотчас поправилась, заметив огорчение на его лице: «Ну, не единственная, конечно, но самая главная». На стене был шкапчик красного дерева; поставили туда борную кислоту, бертолетовую соль, новейшие лекарства против головной боли, антипирин, фенацетин. Эта домашняя аптека увеличивала уютность их благоустроенной жизни: есть на случай и борная кислота.

В парадных и в других комнатах тоже все было очень хорошо. Старую мебель, оставшуюся от времени бедности, снесли на чердак: Дмитрий Анатольевич предлагал раздарить ее знакомым из богемы, но Татьяна Михайловна не согласилась: с этой мебелью было связано прошлое. Как ни счастлива она была теперь, пожалуй еще лучше было прежде, когда они молодоженами покупали за дешевку шкапы, столы, стулья. Чуть было не прослезилась, когда на чердак относили маленький письменный стол Дмитрия Анатольевича, купленный когда-то за девять рублей у Сухаревой башни: помнила и лицо, и фамилию старьевщика, помнила, какая была в тот день погода, как Митя был доволен покупкой.

В доме не было ни старинного серебра, ни золоченой через огонь бронзы, ни мореного дуба,— Дмитрий Анатольевич даже не знал, что это собственно такое. Он не очень любил бар, очень не любил людей, прикидывавшихся

барами, и старательно избегал в устройстве квартиры того, что могло бы казаться «аристократическими претензиями». Но все было хорошее, прочное, удобное. «У нас стиль культурных, сознательных парвеню»,— говорила, смеясь, Татьяна Михайловна. С «аристократической претензией» случайно вышла лишь вторая гостиная: необычная, круглая, затянутая атласом: Нина просила, чтобы ей разрешили устроить эту комнату по ее плану: «Будет как в Мальмезоне у Жозефины, но ведь Жозефина не была природной королевой, и Мальмезон это не Версаль и не Трианон, успокойся, Митенька». Просто у нее был хороший вкус. И не беда, что никто теперь атласом стен не затягивает, ведь уж если на то пошло, то и круглых комнат почти ни у кого нет, и это не посягает на твой модерн, на твои электрические штучки»,— весело говорила она брату. Дмитрий Анатольевич выписывал разные новые приборы: любил и умел их устанавливать, разбирать, чинить. В далекой, ненужной комнате он даже устроил себе механическую мастерскую, но уже с год ее гостям не показывал: его пишущая машинка не подвигалась. Все в доме сверкало чистотой и, несмотря на размеры комнат, вся квартира была уютной. Она была создана на заработки Ласточкина, это особенно умиляло его жену. Говорила, что чувствует себя дома «как за каменной стеной»,— «точно тебе в других местах грозит какая-то опасность»,— недоумевала Нина.

На электрическом приборе поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев всегда пользовались китайские богдыханы,— Татьяна Михайловна дразнила мужа этим чаем, и его самого называла богдыханом. Лежала на столе и утренняя почта. Ласточкины получали московскую и петербургскую газеты, а также те четыре толстых журнала, которые читали все образованные люди в России. Получались и «сверхъестественные издания», как их называла Татьяна Михайловна. Они выписывали «Орловский Вестник», потому что Дмитрий Анатольевич был родом из Орла, «Харьковскую Речь», так как его жена родилась в Харькове, «Фигаро», чтобы «следить за Парижем», международный финансово-экономический журнал,— полезно просматривать,— и уж совершенно ни для чего не нужные «Известия Московской Городской Думы» и «Земскую Неделю». Второй год выписывали также «Правду». Этот ежемесячный журнал «ставил себе задачей быть неизменным выразителем интересов рабоче-

го класса и проводником той его идеологии, которая во всех странах была ему всегда надежным компасом и служила залогом побед». Ласточкин подписался потому, что попросил Максим Горький:

— В нем, понимаете, участвует цвет мирового социализма и цвет русской литературы! — сказал он с силой, увеличивавшейся от говорка на «о». Дмитрий Анатольевич, в отличие от всех недолюбливавший этого знаменитого писателя, думал, что он говорит так нарочно,— «мог бы давно отучиться!» Удивляло его и то, что Горький говорил: «Бе́рлин», «Жо́рес» с удареньями на первом слоге.

Покупали Ласточкины и много новых книг, русских и иностранных. Прочесть все это очень занятому человеку было почти невозможно; Дмитрий Анатольевич стыдился, что покупает и не очень читает; так делали и чуть ли не все люди его круга. Впрочем, Татьяна Михайловна читала почти все. В отличие от мужа, и разрезывала книги не без удовольствия. Они лежали в порядке на круглом столе гостиной, пока не убирались в книжные шкапы и не заменялись другими.

Ласточкин пробежал письма; старался всегда отвечать в тот же день или хоть в первый свободный вечер (свободных вечеров у них было не более одного-двух в неделю). На этот раз письма были либо печатные, разные циркуляры банков и промышленных предприятий, либо не требовавшие ответа. Это было приятно. Он развернул «Русские Ведомости». Особенно любил и уважал эту газету, знал ее редакторов, они бывали у него, и он бывал у них. Но в последнее время газета чуть его раздражала,— не направлением, а необыкновенным спокойствием (которое впрочем составляло часть направления); это спокойствие в обществе называли «академическим» люди, не знавшие академий. Сам Ласточкин, при страстности своего характера, и прежде, и особенно теперь, никак спокойным быть не мог. Правда, и тон «Русских Ведомостей» несколько изменился последнее время, однако меньше, чем тон других газет: никогда они столь смелыми не были. Ясно было, что надвигаются важные, а может быть грозные события. В разных местах России, особенно на Кавказе, происходили беспорядки, убийства, грабежи. Их приписывали то социалистам-революционерам, то анархистам, то, как писали газеты, «уголовным элементам». Многие говорили и о работе новой партии или фракции большевиков. Это слово было еще непривычно; москвичи думали, что так называется революционная партия, которая требует еще больше, чем другие.

Одни в московской интеллигенции тайно или открыто сочувствовали этим делам, другие считали их неизбежным последствием правительственной политики, третьи просто разводили руками и своего мнения не высказывали. Обо многом газеты еще писать не могли. В обществе сообщались невероятные слухи: надвигается революция, царь должен будет отречься от престола в пользу одного из великих князей (назывались разные имена) или же уйдет вся династия Романовых, и на престол будет посажен князь Долгоруков. Этот либеральный князь был москвич, слух был приятен московскому патриотизму, но вызывал у некоторых и недоумение: «Как же так? Вчера был свой брат, пили чай у него на Колымажной, а завтра называй его «ваше величество»! Да и почему он? Мало ли в России князей?»

Ласточкин, впрочем, не верил слухам и не знал, радоваться ли им или нет. Он был и левее и правее своих друзей. Умеренные люди теперь возлагали главную надежду на Витте: он один, при своем необыкновенном уме и государственном опыте, может спасти Россию. Другие резко возражали: Витте просто карьерист без убеждений, да и незачем *спасать* от революции: она стала единственным выходом из трясины. К удивлению Дмитрия Анатольевича, большинство его знакомых были или казались настроенными очень радостно, как прежде давно не были. Он этого радостного оживления не чувствовал. Война, падение Порт-Артура, Цусима понемногу уменьшили то, что он сам шутливо называл своим «неизлечимым оптимизмом». Он больше не говорил о сказочном росте русской промышленности и о необычайном расцветании России. Промышленность продолжала расти,— быть может, из-за войны росла даже еще быстрее,— все улучшались и его личные денежные дела, он стал членом правления еще двух обществ. Татьяна Михайловна убеждала его этого не делать:

— Митенька, зачем нам еще деньги? Ты больше отдыхал бы. Помни, что говорит доктор!

— При мне один человек, гораздо богаче меня, в ответ на вопрос, зачем ему еще деньги, сказал: «В Америке говорят: «A little more to make enough» [1]. А я хочу не только денег,— смеясь, отвечал Дмитрий Анатольевич. Однако новая неожиданно ему открывшаяся противоположность между государственным развалом и его личным благосостоянием была ему неприятна.

---

[1] «Еще немножко, чтобы было достаточно» (*англ.*).

Прежде он знал очень многих в Москве, теперь уже знал всю Москву, то есть главных профессоров (университет преобладал в московской общественной жизни), известнейших политических деятелей, а также наиболее шумевших писателей. Знал их сложные личные и общественные отношения, это было важно. Бывал с женой в московских либеральных салонах, преимущественно у людей из делового мира, у «Варвары Алексеевны», у «Маргариты Кирилловны»,— этих двух дам из Морозовской династии москвичи обычно и за глаза называли по имени-отчеству, без фамилии. Дворцы промышленных династий удивляли его. Иногда Дмитрий Анатольевич шутливо убеждал сестру не строить, когда она станет знаменитым архитектором, ни венецианских, ни готических, ни других замков: «строй простой дом». Был раз на приеме и в правом по направлению салоне,— туда Татьяна Михайловна пойти решительно отказалась, да и сам он принял это приглашение неохотно; хозяин был с ним необычайно любезен и осыпал его любезностями,— как прежде Плеве говорил комплименты Михайловскому или Милюкову. Бывал Ласточкин — без жены — на разных политических совещаниях, у Новосильцовых, у Долгоруковых. Там ему стало известно и о готовящемся важном событии.

Действительно, в газете на самом видном месте было сообщено: Государь принял во дворце делегацию общественных деятелей. Эта делегация была задумана в Москве. Была выработана петиция на высочайшее имя. «Ваше Императорское Величество,— говорилось в ней,— в минуту величайшего народного бедствия и великой опасности для России и самого престола Вашего мы решаемся обратиться к вам, отложив всякую рознь и все различия, нас разделяющие, движимые одной пламенной любовью к отечеству. Государь, преступным небрежением и злоупотреблениями Ваших советников Россия ввергнута в гибельную войну. Наша армия не могла одолеть врага, наш флот уничтожен и, грознее опасности внешней, разгорается внутренняя усобица. Увидав вместе со всем народом Вашим все пороки ненавистного и пагубного приказного строя, Вы положили изменить его и предначертали ряд мер, направленных к его преобразованию. Но предначертания эти были искажены и ни в одной области не получили надлежащего исполнения. Угнетение личности и общества, угнетение слова и всякий произвол множатся и растут. Вместо предуказанной Вами отмены усиленной охраны и административного произвола полицейская власть

усиливается и получает неограниченные полномочия и подданным Вашим преграждается путь, открытый Вами, дабы голос правды мог восходить до Вас. Вы положили созвать народных представителей для совместного с Вами строительства земли, и слово Ваше осталось без исполнения доныне, несмотря на все грозное величие совершающихся событий; а общество волнуют слухи о проектах, в которых обещанное Вами народное представительство, долженствовавшее уничтожить приказный строй, заменяется сословным совещанием. Государь, пока не поздно, для спасения России, во утверждение порядка и мира внутреннего, повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для сего равно и без различия всеми подданными Вашими. Пусть решат они, в согласии с Вами, жизненный вопрос государства, вопрос о войне и мире, пусть определят они условия мира, или, отвергнув его, превратят эту войну в войну народную. Пусть явят они всем народам Россию не разделенную более, не изнемогающую во внутренней борьбе, а исцеленную, могущественную в своем возрождении и сплотившуюся вокруг единого стяга народного, пусть установят они в согласии с Вами обновленный государственный строй. Государь! В руках Ваших честь и могущество России, ее внутренний мир, от которого зависит и внешний мир ее, в руках Ваших держава Ваша, Ваш престол, унаследованный от предков. Не медлите, Государь. В страшный час испытания народного велика ответственность Ваша пред Богом и Россией».

Дмитрий Анатольевич принимал участие в обсуждении петиции, но не очень большое участие: ее составляли люди гораздо более известные, чем он. Ласточкин входил в московскую и даже во всероссийскую общественность, однако, входил в нее преимущественно, как «представитель торгово-промышленного класса»,— по неписаному рангу это было все-таки чуть ниже, чем профессор, публицист или общественный деятель-просто. Он всей душой сочувствовал петиции, но кое-что в ней ему не нравилось. Не нравился слезливо-торжественный стиль: «Тот же казенный слог, только обратный». Не нравилась некоторая неискренность: составители петиции, он знал, не думали, что государь так ненавидит «приказный» строй и что все его предначертания были кем-то искажены. Не нравилось и заверение, будто народные представители могут, если захотят, превратить войну с Японией в «войну народную», установить «мир внутренний» и сплотить Россию вокруг какого-то «единого стяга народного».

Преувеличенной ему казалась и гражданская скорбь авторов петиции. Тут, впрочем, он себя никак от них не отделял. «У нас у всех,— думал Дмитрий Анатольевич,— есть личные, практические, прозаические дела, они для нас важнее политических, пожалуй и никак с теми не вяжутся. Можно ли много думать о своих имениях, о дивидендах, о гонорарах и одновременно о стяге народном?» В последнее время Ласточкин стал еще правдивее с собой, чем был прежде, и, быть может поэтому, еще противоречивее. Приятели говорили, что он полевел; между тем к возможной революции он относился гораздо мрачнее, чем большинство участников московских совещаний. Не очень одобрял он и состав отправившейся к царю делегации. В нее входили четыре князя, один граф, один барон, несколько нетитулованных родовитых дворян и больше не было почти никого. Он понимал, что это вышло более или менее случайно, но считал отсутствие крестьян, промышленников, купцов очень досадным, непростительным упущением.

В газете была напечатана и речь, сказанная государю фактическим главой делегации, князем Сергеем Трубецким. Дмитрий Анатольевич лично знал этого профессора и, как все, очень его почитал. Речь до некоторой степени пересказывала петицию, но по форме была значительно мягче. Ласточкин догадывался, что она была сказана хорошо, с искренним волнением и должна была произвести сильное впечатление. Он и сам был взволнован, точно ее слышал; но думал, что лучше было бы сказать то же несколько иначе. «Ну, что ж, сказано, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего не выйдет ничего».

На третьей странице был еще некролог второстепенного публициста. Дмитрий Анатольевич пробежал его рассеянно, очень мало знал умершего. «Писатель, если только он — Волна, а океан — Россия»... «Этот крест он нес на своих плечах, нес стойко и мужественно сквозь терновник, густо заполнивший путь русской публицистики»... «И лишь под конец, сквозь мрак реакции, мелькнул и для него, как для всего русского общества, первый проблеск рассвета...» Зачем так преувеличивать? Какой он нес крест? И еще каков будет этот «проблеск»? — думал он с легкой досадой.

Вода в самоваре вскипела, он всполоснул чайник кипятком и насыпал чаю. «Я тоже делаю что могу, но никакого креста не несу, и нельзя его нести за серебряным самоваром. Он, как и я, никогда, вероятно, не был ни в тюрьме, ни в ссылке, иначе в некрологе об этом упомянули

бы. Едва ли Россия будет счастливой страной, если мы все не освободимся от фраз и преувеличений».

Было в газете небольшое сообщение о каком-то самоубийстве. Покончил с собой совершенно неизвестный ему человек; причиной была неудачная любовь. Дмитрий Анатольевич, почти никогда не читавший заметок о преступлениях, если только они не были уж очень сенсационными, сообщения о самоубийствах читал неизменно и всегда изумлялся. «Даже из-за любви никак не следует кончать с собой»,— с недоумением подумал он и теперь.

Он просмотрел и петербургскую газету, и финансовый журнал. На бирже не играл, но имел немало выигрышных билетов, русских и иностранных. Уже года три собирался продать некоторые ценности и на вырученные деньги купить небольшое имение. Татьяна Михайловна очень это поддерживала. Она мало интересовалась делами и ничего в них не понимала. В акции верила плохо, особенно с тех пор как бывавший у них профессор-экономист сказал за обедом, что на бирже «нездоровое оживление», которое рано или поздно должно плохо кончиться. За покупку имения под Москвой она стояла больше потому, что было бы хорошо возможно чаще увозить туда мужа для отдыха. Они осмотрели несколько имений,— не подходили. В одном был прекрасный дом, построенный каким-то графом в начале прошлого столетия. Однако покупать «графскую подмосковную» им обоим было совестно. В это близкое к Москве имение они съездили на своих рысаках, в этом тоже было что-то «нестерпимо графское», очень не понравившееся обоим. И оказалось, что нужно было бы вместе с домом купить триста десятин земли, а о земле Татьяна Михайловна и слышать не хотела: отношения с крестьянами только ухудшили бы здоровье Дмитрия Анатольевича, особенно с тех пор как начались аграрные беспорядки. Должности Ласточкина в торговых и промышленных предприятиях не были синекурами, он немало получал по каждой жалованья, но, в случае его смерти, вдове никакой пенсии не полагалось, и никто из богачей, имевших с ним дела, о ней даже не подумал бы. «Если в самом деле оживление «нездоровое», или если произойдет революция, то и Таня, и Нина, и Аркаша останутся без средств»,— говорил себе Дмитрий Анатольевич. Он застраховал жизнь на большую сумму и успокоился: такой революции, при которой страховые общества не исполнили бы обязательства, всетаки не представлял себе,— никогда таких нигде не было.

Накануне был розыгрыш одной из лотерей. Ласточкин

всегда аккуратно просматривал выигравшие номера и обычно весело говорил жене и сестре: «Зато в следующий раз выиграем непременно». Так и в это утро, перейдя в кабинет, он достал из ящика список своих билетов и стал сверять. Вдруг сердце у него чуть забилось. «Неужели!.. Не ошибаюсь ли?! Нет, так и есть! Выиграл восемь тысяч!»

Сумма была невелика. Все же Дмитрий Анатольевич обрадовался чрезвычайно,— потом было даже несколько совестно вспоминать. Дело было даже не в деньгах, а в том, что и тут повезло,— во всем везет. Он хотел было разбудить жену и сообщить ей о выигрыше, но раздумал: «Незачем, Таня даже не обрадуется, она совершенно равнодушна к деньгам,— разумеется, пока их достаточно,— с благодушной улыбкой подумал он.— Сообщу, когда вернусь домой, с подарками им обеим. Может, и Люде купить подарок? Нет, Аркаша еще обидится. Ох, тяжело с ним».— Рейхель и Люда недавно приехали из Парижа, остановились у Ласточкиных, но скоро переехали в «Княжий двор».

Дмитрий Анатольевич вернулся домой раньше обычного, с футляром от Фаберже. Купил большую черную жемчужину в платиновой оправе. В магазине кольцо ему очень понравилось оригинальностью, но уже у подъезда дома ему пришла мысль: вдруг *черная* жемчужина означает дурную примету! С ним уже раз был такой случай: привез жене букет из хризантем, она мягко ему попеняла,— хризантемы часто кладутся на гроб! Ласточкин чуть было не вернулся к ювелиру. «Нет, Фаберже не стал бы у себя держать драгоценности с мрачными предзнаменованиями». Все же поднялся к себе несколько смущенно.

Татьяна Михайловна сидела в гостиной за роялем. Разучивала новое произведение Метнера, которого только начинали ценить знатоки. Она следила за музыкой и хотела разобраться в новом композиторе. Метнер ей понравился.

Она обрадовалась выигрышу и еще больше вниманию мужа. К драгоценностям была довольно равнодушна, имела их немного и просила Дмитрия Анатольевича их ей не покупать. Кольцо показалось ей необыкновенно красивым. Горячо поцеловала мужа. Он сразу вздохнул свободно: «Нет, приметы, что за вздор!»

— Как ты мил, Митя!.. А Нине ты что купил?

— Ей книги, знаю, что будет довольна. Кстати, уже привезли?

— Федор сказал, что принесли пакет для барышни. Он положил в ее комнату. Я и не видела. Люде и Аркаше тоже купил?

— Думал купить, но ведь они, чудаки, не примут?

— Аркадий верно не примет и еще насупится. Но отчего же не принять Люде? Ей лучше что-либо по туалетной части. Например, горжетку. У нее после Парижа мало вещей для нашей зимы.

— Тогда купи ты, я ничего ни в каких горжетках не понимаю.

— Это святая истина. Как ты говоришь, «поставь ее перед совершившимся фактом». Сколько ты ассигнуешь, богдыхан?

— Сколько будет нужно.

— Я куплю, а передашь, конечно, ты. Она меня не жалует.

— Дорогая, это неверно.

— Тебе отлично известно, что это верно. Но ты еще не знаешь, что тебя ждет! Милый, дорогой, добренький, подари мне пятьсот рублей для одного бедного пианиста. Он еще неизвестен, но очень талантлив. Теперь заболел чахоткой, денег, конечно, ни гроша. Кит Китыч, дай!

— Кит Китыч в первую же минуту решил, что даст своей жене десятину, то есть восемьсот рублей, на всякие ее темные дела. Кажется, твои древние предки в Палестине давали одну десятую? — сказал весело Ласточкин.

— Помнится, даже одну седьмую. Но десятой вполне достаточно. И, разумеется, ты должен купить подарок и себе. Или я тебе куплю на твои деньги. Знаешь что? Я куплю тебе пейзаж Левитана, который тебе так понравился.

— Вот еще! За него просили две тысячи.

— Это будет подарок нам обоим. И это помещение капитала. И не каждый день выигрываешь в лотерею! Идет?

— Идет. Вот мы уже и разбазарили большую часть выигрыша.

— Так и надо. Видно, «подмосковной» не купим и на этот раз. Ты очень щедрый, Кит Китыч.

— Если так, то надо еще раз поцеловать Кит Китыча.

— Это, пожалуй, можно.

В гостиную вошла сестра Ласточкина Нина, очень миловидная блондинка, с небольшим, почти треугольным лицом, просто и прекрасно одетая. Нина радостно поздоровалась с братом и поцеловала Татьяну Михайловну, что регулярно делала при каждой встрече и при каждом расста-

вании. Они нежно любили одна другую. Узнав о выигрыше, бросилась брату на шею.

— Как я рада! Тебе во всем везет!

— Не сглазь, Ниночка. Посмотри, что́ Митя мне купил по этому случаю!

Нина ахала и восторгалась, примеряла кольцо на свой палец, потребовала, чтобы Таня тотчас его надела и носила «не по парадным случаям, а всегда!» Дмитрий Анатольевич ласково на них смотрел. Он тоже очень любил свою сестру. Их называли самой дружной и счастливой семьей в Москве.

— Как ты догадываешься, Митя и тебе купил подарок.

— Не может быть! Что? Что? Покажи!

— Он у тебя в комнате. Довольно грузный, не поднимешь,— сказал Ласточкин. Они пошли в комнату Нины. Эта комната тоже, как круглая гостиная, выделялась в квартире Ласточкиных. Нина одна из первых в Москве решила, что совершенно не нужно «единство стиля». В ее большой красивой комнате все было самых разных стилей и эпох. Были и старинные вещи, и новые, подлинные и хорошие подделки, все было расставлено умышленно несимметрично, и тоже несимметрично, сбоку, рядом с полочками для статуэток, висела на стене недурная огромная копия известной картины Жигу: «Леонардо да Винчи умирает в Фонтенбло в объятиях короля Франциска I»,— Татьяна Михайловна говорила, что у этой картины есть один недостаток: Леонардо умер не в Фонтенбло, и король при его смерти не присутствовал.

Дмитрий Анатольевич развязал и вынул из обертки и толстого складчатого картона кучу книг. Это было многотомное, иллюстрированное, в великолепных переплетах, английское издание истории архитектуры всех времен и народов. Восторгу Нины не было конца.

— Я именно об этом издании долго мечтала! Но оно стоит так дорого! Ах, как я тебе благодарна, Митенька! И тебе, дорогая моя! — говорила она, опять целуя обоих.

— Мне-то за что? Я и не знала, что это такое. А у тебя найдется в шкафу место для этой махины?

Они втроем занялись обсуждением места. Нина решила, что поставит Гнедича и словарь на нижнюю полку, а на их место «это чудо».

— Сегодня же после обеда начну читать! И не читать, а изучать! Вы не можете себе представить, как мне это нужно!

— После обеда нельзя. У нас винт, и ты должна быть четвертой, Ниночка, без тебя второго стола не будет.

— Винт, так винт. Обожаю винт! Люда придет? Или она бойкотирует карты?

— И карты, и нас,— сказала Татьяна Михайловна.

— Что ты говоришь, Таня? — возразил Дмитрий Анатольевич.— Просто они очень заняты.

— Чем бы это? Аркадий, допустим, наукой, а Люда чем? Освобождением России?.. Кстати, сегодня у нас борцов за идеалы не будет?— спросила Нина. Она так называла политических деятелей, собиравшихся в их доме.

— Не будет,— ответил Дмитрий Анатольевич, с легким неудовольствием. Он не любил хотя бы и безобидных насмешек над тем, что никакой иронии не заслуживало.

VI

Нина в самом деле любила винт, как любила теннис, крокет, верховую езду, театр. Она была не менее жизнерадостна, чем ее брат. Но ей казалось, что карты все-таки удовольствие стариковское (хотя играли в винт и гимназисты). В последний год она часто себя называла «старой девой». Это пока говорилось и принималось как шутка; однако, она понимала, что скоро ее будут так называть и всерьез.

Еще недавно она училась на курсах. И теперь ей жилось не худо, но тогда было еще веселее. Кружок молодежи, к которому она принадлежала, мало интересовался политикой, то есть, не участвовал в сходках, демонстрациях, беспорядках. Она и ее друзья неопределенно сочувствовали целям сходок и демонстраций, но в тюрьму никто из них не попадал; никто даже и не желал приобрести «тюремный стаж» и «ореол мученичества», для которого, впрочем, было вполне достаточно очень непродолжительного пребывания под арестом или же высылки из Москвы. Но в подписках в пользу заключенных принимали участие почти все и в ее группе.

Ласточкин был рад, что его сестра не занимается политикой. Он и сам ею не занимался в свое студенческое время, и хотя ни тогда ни теперь этого не говорил, но думал, что громадное большинство учащейся молодежи предпочитало бы обходиться без демонстраций, высылок и арестов; это было неудобно, ввиду «чуткости» и «свободолюбия», давно за учащейся молодежью признанных и утвержденных общественным мнением. Дмитрий Анатольевич не вы-

носил скептических мыслей; однако, иногда ему казалось, что самый идеализм студентов и курсисток очень преувеличен газетным клише: чрезвычайно многие из них думают о карьере гораздо больше, чем люди пожилые и — тоже по клише — «очерствевшие». «Да это и естественно, нам уж и поздно что бы то ни было выбирать». Впрочем, крайностей Ласточкин тоже ни в чем и нигде не любил, и ему было бы приятно, если б его сестра больше интересовалась общественными вопросами. Он ей давал книги Струве, Туган-Барановского, Железнова. Она послушно прочла, но, как всегда откровенно, сказала брату, что они не очень ее заинтересовали,— «что ж делать?» Нина часто говорила «что ж делать?» или «ничего не поделаешь». Дмитрий Анатольевич с торжеством приносил домой заграничное нелегальное «Освобождение» и всем в нем восторгался. Татьяна Михайловна читала и сочувствовала. Нина сочувствовала, но не читала.

Ее особенностью было очень простое, уж слишком простое, отношение к жизни. Про себя Татьяна Михайловна думала, что Нина не может быть ни очень счастлива, ни очень несчастна. «Кто-нибудь тяжело болен,— ну, что ж, тяжело болен: надо лечиться; а если умрет, ничего не поделаешь, все умрем, и ничего тут страшного нет». Нина говорила, что нисколько не боится смерти. Ей очень хотелось выйти замуж, но она думала, что не будет катастрофы, если и не выйдет. Требованья предъявляла разумные и не очень большие. О богатстве не мечтала,— лишь бы только сносно жить. «Ведь все равно я знаю, что Митя и Таня, если понадобится, будут нам помогать и будут делать это с радостью, хотя, конечно, было бы лучше обойтись без этого». Еще меньше она мечтала о «знатности» жениха: «Уж это совершенная ерунда, и нисколько мне это не нужно, и неоткуда этому взяться в нашем кругу. Был бы просто умный, порядочный человек и любил бы меня хотя бы и не так, как Митя обожает Таню, но любил бы. Во всяком случае надо иметь свои интересы и свое занятие».

Лет до двадцати двух жизнь Нины была чуть не сплошным праздником. Раза три в неделю она с друзьями бывала в Большом, в Малом, в Художественном театрах. Так как среди друзей преобладали небогатые молодые люди и барышни, то билеты обычно брались на галерку,— иногда по очереди приходилось для этого простаивать ночь в ожидании открытия кассы. Это только увеличивало общую радость от спектаклей. Нина была немного влюблена в Собинова, но не очень. В кружке все были влюблены в кого-ли-

бо из знаменитых артистов,— это никак не мешало частным романам: все знали, что Лена влюблена в Качалова и в Петю, а Петя в Книппер и в Машу. Нину очень любили, за ней молодые люди ухаживали, но по-настоящему в нее не был влюблен никто.

В те дни, когда в театры не ходили, собирались по вечерам друг у друга. Особенно охотно собирались у Ласточкиных: у Нины большая комната с мягкой удобной мебелью. Хозяин и хозяйка иногда заходили на минуту — «пожать руку» — и тотчас исчезали. Зато присылали превосходное угощение. Ужинов Нина у себя почти никогда не устраивала, так как далеко не все другие могли бы это себе позволить, а надо было по возможности соблюдать бытовое равенство. Но к чаю Федор, которого все в кружке ласково называли по имени-отчеству, приносил в изобилии бутерброды, торты, печенье, даже ром и коньяк, имевшие особенный успех. Из комнаты до поздней ночи доносились веселые голоса, хохот, иногда музыка (у Нины было *свое* пианино, в дополнение к бехштейновскому роялю гостиной). Хозяева прислушивались издали, но входить не смели. Татьяна Михайловна не очень и хотела бы этого: с грустью чувствовала большую разницу в возрасте. А Дмитрий Анатольевич охотно посидел бы с молодежью, если б не знал, что от его присутствия и от разговоров, особенно на общественные темы, она тотчас «скиснет». Слушали издали декламацию и игру на пианино. Нина и ее друзья играли много хуже, чем Татьяна Михайловна. Порою она морщилась.

— Право, лучше бы этот Петя не играл, а читал свои стихи,— говорила она мужу,— Никогда этого не могла понять: ведь как будто и поэзия, и музыка должны были бы быть основаны на одном и том же: на слухе. Между тем почти все московские кавалергарды поэзии ничего в музыке не смыслят. А о слабых поэтах, об армейских, они сами презрительно говорят: «Ему на ухо слон наступил». Или есть два слуха?.. Нина запела арию Ленского. Что за идея петь теноровую партию!

— Обязана: влюблена в Собинова.

— Ох, Собинов поет это лучше.

— Не спорю,— сказал Дмитрий Анатольевич и негромко подтянул баритоном свою любимую фразу: «Благословен и день за-бот, Бла-го-сло-вен и тьмы — приход...» День забот это так, а тьмы приход не за что благословлять,— сказал он и поцеловал жену.

— Это за что?

— Так. Ни за что. За то, что ты понимаешь музыку в сто раз лучше, чем они.

— Прошло наше с тобой время... Впрочем, нет, нисколько не прошло.

Оба радовались тому, что у Нины такая радостная, приятная жизнь и что они этому способствовали «Было бы *все-таки* гораздо лучше, если б она в кого-нибудь без памяти влюбилась, как я когда-то в Митю»,— огорченно думала Татьяна Михайловна.— «И если б в нее кто-нибудь влюбился, хотя бы и не без памяти. Чего-то ей не хватает». Выражение sex appeal еще не было выдумано, но она никогда его и мысленно к Нине не применила бы.

Когда Нина кончила курс, ее жизнь стала менее радостной. Многие из ее друзей разъехались, все куда-либо устраивались, стали встречаться реже. Нина давно все обсудила, свои вкусы, влеченья, силы, обсудила и практические вопросы и, больше по методу исключения, остановилась на архитектуре. Решила заняться ей очень серьезно и поступила на постройку. Теперь с увлечением говорила о Палладии и о Жолтовском.

Ласточкины присматривались к молодым людям, которые могли бы быть хорошими женихами, но зазывать их в дом не умели. «Все родители это делают для дочерей, и ничего плохого тут нет, а вот у нас с Таней не хватает на это уменья»,— огорченно думал Дмитрий Анатольевич. Он относился к сестре скорее как отец, чем как брат. Нина понимала, что ее родные беспокоятся о ней с каждым годом все больше, ценила это и недоумевала. «Во-первых, ничего они тут *искать и устраивать* не могут. Конечно, сама барышня может. Лена, например, *ищет* уже несколько лет, и я нисколько ее не осуждаю. От ее родителей я давно ушла бы, на ее месте я тоже «искала» бы и даже не скрывала б это: все равно скрыть нельзя. Но, во-первых, и Лена пока ничего не устроила, а во-вторых, мое положение другое: и нужды никакой нет, и я нежно люблю Таню и Митю». Часто от этих мыслей Нина прямо переходила к мыслям о своей работе. Она много читала: романы, стихи, книги об искусстве, делала выписки, старалась вдуматься, понять, запомнить. Мысли интересовали ее меньше, чем здания, картины, виды природы, гораздо меньше, чем люди; но любопытство у нее оставалось такое же, как в пятнадцать лет.

Вела она и дневник. «Говорят, люди записывают свои переживания неискренне и всей правды не высказывают?» — думала она с некоторым недоуменьем: сама записывала правду и не видела, что могла бы скрывать. «Разве только уж очень, очень немногое...»

VII

Из проекта биологического института ничего не вышло.

Тотчас после своего первого разговора с Морозовым, Дмитрий Анатольевич, не заезжая домой, сгоряча послал своему двоюродному брату телеграмму, написанную по-русски французскими буквами: «Милый Аркаша спешу обрадовать точка имел сейчас беседу саввой тимофеевичем точка отнесся более чем сочувственно сказал может поднять дело один точка просит прислать записку смету письмо мечникова точка куй железо пока горячо пришли все поскорее точка надеюсь дело шляпе мы страшно рады сердечно поздравляем обоих обнимаем митя». Ласточкин любил подробные телеграммы. Но уже по дороге домой он немного пожалел, что написал слишком радостно: «Аркаша подумает, что все решено и что деньги есть!» Ему было также совестно, что написал «мы», тогда как Татьяна Михайловна даже еще и не знала об ответе Морозова. И в самом деле, когда он, вернувшись домой, сообщил о нем жене, она сказала:

— Ну, от этого до института еще очень далеко. Конечно, хорошо, что Савва Тимофеевич не ответил отказом. Он мог и сразу отказаться или обещать каких-нибудь десять — пятнадцать тысяч. Надеюсь, ты все-таки не слишком обнадежил Аркадия?

— Нет, не слишком, да он и сам поймет, что такие дела сразу не решаются,— нерешительно ответил Дмитрий Анатольевич. «Таня, как всегда, права»,— подумал он. Татьяна Михайловна по смущенному виду мужа догадалась, что он в телеграмме сказал больше, чем следовало, но не хотела его огорчать вопросами.

От Рейхеля на следующий день пришла телеграмма: «благодарю обнимаю». (Люда не согласилась на «обнимаем»). Затем долго ничего не приходило. «Верно, весь ушел в записку и смету. Но мог бы все-таки написать и письмо»,— думал Ласточкин. В конце месяца пришло страничек десять, написанных пером рукой Рейхеля. Это были одновременно и записка, и смета. Ласточкин прочел все с раздражением. «Записка малопонятна и неубедительна, а смета совершенно детская! Как же я мог бы исправить или дополнить, когда я ничего в этих делах не смыслю?» Он добавил все же полстраницы о том, сколько должен стоить участок земли (об этом Аркадий Васильевич не написал ни слова), затем попросил секретаршу переписать на машин-

ке в четырех экземплярах и послал Морозову лучший из них.

Ответа долго не было. Это могло считаться неблагоприятным симптомом. Через некоторое время Дмитрий Анатольевич справился по телефону и узнал, что дело передано на рассмотрение экспертов. Савва Тимофеевич высказался критически о смете и был несколько менее любезен, чем при первом разговоре об институте. Позднее, при случайной встрече, он добавил, что эксперты дали сдержанный отзыв: большой надобности нет в институте, который только конкурировал бы с уже существующими научными учреждениями.

— Неужто-с записку писал сам Мечников? Ох, уж эти ученые-с,— сказал он, и в его голосе послышалась как будто легкая насмешка. «Верно, ему доложили, что я стараюсь для двоюродного брата»,— подумал Ласточкин, с очень неприятным чувством. Морозову в самом деле кто-то это сказал предположительно, и Савва Тимофеевич в сотый раз подумал, что совершенно бескорыстных людей почти не существует.

— Нет, записку писал не Мечников.

— Так-с. Помнится, вы говорили-с, будто он интересуется. Ну, что ж, надо повременить с институтом-с. Да и времена наступают в России трудные-с. Может, скоро все останемся без штанов-с.

— Я этого никак не думаю, но это уж скорее был бы довод, чтобы создать институт теперь, пока штаты есть,— ответил Дмитрий Анатольевич, принужденно улыбаясь. Морозов тоже улыбнулся и заговорил о другом.

«Разумеется, это чистый отказ!» — подумал Ласточкин и еще раз пожалел о своей телеграмме. «Ну, что ж, я сделал все что мог. И отчасти виноват, конечно, Аркаша. Очевидно, он даже не обратился к Мечникову!».

Он написал Рейхелю, немного все же смягчив ответ Морозова: сказал, что Савва Тимофеевич хочет подождать, что надежда не потеряна и что свет на нем клином не сошелся. На это письмо никакого ответа не последовало. В следующем же письме Аркадий Васильевич больше и не упомянул об институте, точно никогда никакого разговора не было. «Конечно, обиделся, но чем же я виноват!» — огорченно сказал себе Дмитрий Анатольевич.

Остановились они в Москве у Ласточкиных, прожили с неделю, затем, несмотря на все протесты хозяев, переехали в «Княжий двор», где нашли дешевенькую комнату. Ни малейшей ссоры не было. Татьяна Михайловна проявляла

к ним всяческое внимание. Она по природе не была так гостеприимна, как ее муж, и в душе огорчалась, что гостей у них бывает слишком много; ей было приятнее всего с мужем вдвоем, но она знала, что ему гости доставляют удовольствие, и исполняла все его желания, даже им не высказывавшиеся. У них часто обедало и пять и десять гостей, обедали нередко и люди, которые их на обеды почти никогда не звали;,с этим они оба совершенно не считались. «Мите что, ему работать не надо,— думала она тоже благодушно,— он наивно, как все мужчины, думает, что если есть прислуга, то для хозяйки обед на десять человек никакого труда не составляет».

Люда, со своим нелюбезным характером, с не очень вежливой манерой разговора, была ей не совсем приятна, но Татьяна Михайловна это чувство в себе подавляла без большого усилия и просила ее остаться у них: «Вот Аркадий скоро получит место, тогда снимете квартиру и переедете, зачем «Княжий двор»?»,— говорила она. Но они решительно отклонили приглашение.

Рейхели приехали почти без денег, и опять Дмитрий Анатольевич не без труда заставил своего двоюродного брата принять некоторую сумму: «Ведь ты мне отдашь со временем и это, мне просто стыдно говорить о таких пустяках!» Ласточкину и прежде было совестно, что он настолько богаче Аркадия Васильевича. Теперь, из-за неудачи с институтом, его смущение еще усилилось. Он пробовал об этом заговорить.

— Все-таки Савва Тимофеевич еще не сказал своего последнего слова, и я надеюсь, что...

— Если б этот толстосум, твой Савва Тимофеевич, хотел дать деньги, то он давно дал бы,— перебил его Рейхель.— Я завтра же начну искать должности в учебных заведениях.

— Я всячески тебе помогу, поговорю с разными знакомыми профессорами,— сказал Дмитрий Анатольевич. Он действительно побывал у двух профессоров. Сведенья тоже оказались не очень утешительными. Рейхелю обещали должность штатного приват-доцента, и то лишь с начала учебного года. Должность была без жалованья, с необязательным курсом, и часовой гонорар, при небольшом числе слушателей, мог приносить лишь гроши. Место в лаборатории предоставили тотчас. Аркадий Васильевич осмотрел ее. Она была довольно убогая, даже по сравнению с парижскими, тоже не слишком роскошными. Он немедленно начал работать.

Рейхель почти сожалел, что приехал в Москву. В Париже они, имея двести рублей в месяц, жили вполне сносно: их знакомые, молодые ученые, работавшие в Пастеровском институте, были в большинстве беднее их. В Москве они, через Ласточкиных, оказались в обществе состоятельных людей. С московским гостеприимством их все стали звать к себе, а они, в свою меблированную комнату, не могли приглашать никого. У Люды нерасположение к богатым людям еще усилилось.

Отношения с Ласточкиными у них оставались корректными. Бывали у них раза два — три в неделю. Если хозяев не было дома, Рейхель уходил в кабинет и читал «Фигаро»; просматривал даже литературный отдел, хотя знал о французских писателях и интересовался ими так мало, как если б они жили на Новой Гвинее. Люда тоже заглядывала в эту газету, внимательно изучала отдел мод, просматривала и светскую хронику, читала о приемах у разных маркиз,— с презрением, но читала. Приходили они к Ласточкиным больше потому, что им вдвоем было уж слишком скучно. Иногда ездили с ними в оперу, в Художественный театр. Общество Ласточкиных им не очень нравилось: деловые люди, поэты, музыканты.

— Они музыкой угощают купчин, а тем лестно, потому антиллигенция,— говорила Люда Аркадию Васильевичу.

— Ты просто завидуешь их богатству,— ответил он.

— Ну, как же, еще бы! Неужели ты думаешь, что я поменялась бы с твоей Таней!

— Думаю, что поменялась бы.

— Я впрочем ни минуты не сомневалась, что ты это думаешь!

Стычки между ними еще участились. Единственное утешение Рейхель находил в лабораторной работе. Его диссертация не вызвала того шума, на который он надеялся. Но теперь у него была новая идея, и она должна была заинтересовать мир биологов.

VIII

В сентябре 1905 года статс-секретарь Сергей Юльевич Витте, после заключенного им в Портсмуте мира с Японией, выехал обратно в Европу на пароходе Гамбург — Америка.

Во всех странах заключенный им мир был признан успехом России и приписан его уму и дарованиям. Осо-

бенно популярен Витте стал в Соединенных Штатах, где общественное мнение сочувствовало японцам. В Нью-Йорке он охотно принимал всех, кто хотел его видеть, выражал большую радость по случаю приезда в Америку, давал интервью, позволял себя фотографировать не только репортерам, но и простым любителям, вообще вел себя чрезвычайно просто и этим немедленно всех к себе расположил: ждали приезда чопорного царского сановника в мундире и орденах, окруженного множеством явных и тайных полицейских агентов; приехал же простой человек в штатском платье, ездивший и гулявший по городу без спутников, крепко пожимавший руку машинистам и кучерам, обменивавшийся рукопожатием с кем угодно (к вечеру у него от рукопожатий неизменно болела рука и он смазывал ее оподельдоком).

От охраны он вообще отказался. В первый же день его из посольства предупредили, чтобы он не ездил в еврейские кварталы Нью-Йорка, во избежание враждебных демонстраций, а то и покушения. Он немедленно поехал на Ист-Бродвей, там останавливал прохожих, называл свое имя и по-русски или на дурном английском языке расспрашивал их, не из России ли они, давно ли и как устроились, хорошо ли им живется. Заводил разговор и об еврейском вопросе, причем высказывал либеральные мысли. При этом говорил искренне или почти совсем искренне. У него было жадное любопытство и даже некоторое общее расположение к людям,— за исключением государственных людей: их он в громадном большинстве терпеть не мог. В серьезных же дипломатических переговорах держался очень гордо. С первых же слов объявил, что в случае неуступчивости японцев Россия будет продолжать войну и одержит со временем победу, что ни о какой контрибуции с ее стороны не может быть и речи. Мысль о контрибуции приводила его в бешенство; патриотом был всегда неподдельным. «Никогда Россия никому контрибуций не платила и теперь не заплатит»,— говорил он.— «Но ведь другие страны платили».— «Другие страны не Россия! Не заплачу и кончено!» Этот вопрос был самым главным. Японцы требовали 1.200 миллионов иен. «Хорошо, тогда будем воевать дальше, увидим, чья возьмет». Его уверенный тон и напористость речи действовали на всех. Впрочем, русским приближенным он сам говорил, что война проиграна, что продолжать ее нельзя. «Но разбита не Россия, а наши порядки и мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы». Все думали, что переговоры

кончены. Одна парижская газета обратилась к Рокфеллеру с просьбой: не заплатит ли он из своих средств японцам эти 1.200 миллионов ради спасения мира? Рокфеллер не заплатил. Не заплатил и Витте.

С инструкциями из Петербурга он мало считался. Говорил, что не привык получать наставления. На одну телеграмму министра иностранных дел графа Ламсдорфа ответил «может быть, не совсем деликатно». Приближенным объяснял, что в России реакционеры теперь «дрожат за собственное пузо», а либералы «больны умственной чесоткой». Полагался только на себя, не очень считался с советами Теодора Рузвельта, так что президент предпочитал помимо него телеграфировать царю о необходимости уступок. Довел также до сведения президента, что если на общем завтраке с японцами будет предложен тост за микадо раньше, чем за царя, то он, Витте, «не отнесется к этому спокойно».— Рузвельт произнес тост «за обоих монархов».

Газеты везде теперь писали о Витте больше, чем о каком-либо другом человеке на земле. Он становился мировой фигурой и с гордостью думал, что это очень давно не выпадало на долю русских государственных людей. Под конец своего пребывания в Соединенных Штатах Витте стал так популярен, что и политические симпатии от японцев перешли к России. На параде военной школы в его присутствии будущие американские офицеры, позабыв о присутствовавших японцах, прошли церемониальным маршем с пением русского гимна. А на богослужении, при выходе из церкви огромная толпа неожиданно запела «Боже царя храни», и люди совали в карманы Витте подарки на память, кто безделушки, а кто и драгоценные камни.

Измучен он был необычайно. Сказались его тяжелые болезни, он плохо спал, втирал в грудь кокаин и все это тщательно скрывал: должен был производить впечатление богатыря. Про себя он думал, что жить ему недолго, что лучше было бы уйти на покой. Но большие умственные силы в нем оставались. Ему казалось, что он один может спасти Россию от хаоса. Смутно считал, что к хаосу идет и Западная Европа, несмотря на ее процветание и внешнее спокойствие: европейские правители тоже шутят с огнем и едва ли не ведут мир к гибели по своему легкомыслию, слепоте и внутренней несерьезности, сочетающейся с глубокомысленным видом.

Некоторые поклонники и даже враги считали Витте гением. Витте был воплощением здравого смысла; именно

это и делало его среди его собратьев необыкновенным человеком. Он обо всем, даже об аксиомах общепринятой политической мудрости, судил здраво и попросту. Часто впрочем себе и противоречил, всегда с необыкновенной самоуверенностью. Кроме gros bon sens,[1] умерявшегося властолюбием, его отличали нежелание и неумение быть справедливым к другим: в неудачах неизменно бывали виноваты его враги. Как ни осыпали его лестью, он себя гением не считал и даже несколько сомневался в существовании гениев,— разве какой-нибудь Гаус или Толстой? — да и тех он принимал больше на веру: свою университетскую математику давно забыл, а романов читал мало. Во всяком случае уж среди государственных людей он был самый замечательный и часто недоумевал: как другие не видят того, что ему так ясно?

На обратном пути его нервное расстройство еще усилилось. Дела на пароходе было мало, репортеров не было, можно было стесняться гораздо меньше. Витте, как прежде Бисмарк, был несдержан на язык. К нему подходили пассажиры, знакомились, приносили поздравления. Он со всеми разговаривал, теперь просто болтал,— впрочем больше тогда, когда дело шло о предметах не слишком важных. Он старался (не очень) говорить всем приятное, но это не всегда удавалось. В беседах с американцами искренне хвалил Соединенные Штаты, но добавлял, что, по-видимому, среди американцев много настоящих грабителей: «В Нью-Йорке с меня за номер, правда, из шести комнат и в лучшей гостинице, брали по триста восемьдесят рублей в сутки, везде в Европе было бы втрое дешевле. А за обед с человека, притом за дрянной обед, я платил по тридцать рублей с персоны!» — «Но ведь вы, конечно, платили из государственных денег?» — «А это еще как сказать! Мне казна отпустила двадцать тысяч рублей, и я уже доложил вдвое больше своих. Может, вернут, а может и забудут». Немцам объявлял, что всю жизнь стоял и будет стоять за мир и добрые отношения с Германией, но это не легко: немцы куда менее культурны, чем французы или англичане. Знакомясь с людьми семитического облика, хвалил евреев за деловитость и ругал русских министров-антисемитов: «Просто дурачье! Они же требуют войны и присоединения к нам Галиции и Позена. Очевидно, им нужно, чтобы в России было еще больше евреев, а по-моему, и так совершенно достаточно!» — говорил он. «И немцев, и поляков тоже больше, чем нужно».

[1] Изрядный здравый смысл *(франц.)*.

Во Франции, завтракая с президентом Лубэ, он сказал, что считает антиклерикальную внутреннюю политику французского правительства вредной и бессмысленной. С русским послом еле разговаривал. Беззастенчиво уверял и соотечественников, и даже иностранцев, что этот старик выжил из ума и защищает не русские, а французские интересы «под влиянием парижских красавиц». Еще беззастенчивее отзывался о русском после в Англии,— этот просто получает деньги от англичан. Витте сплетням верил охотно, а дурным сплетням верил почти всегда, особенно когда речь шла о политических деятелях. Их он ругал просто по долгой привычке, не слишком заботясь о правде, совершенно не стесняясь в выражениях, не боясь наживать себе врагов. Злой язык и природная грубоватость больше всего вредили его карьере.

В Париже он немедленно побеседовал с журналистами. Тотчас повидал и богачей. Чужое богатство почитал еще больше, чем Вильгельм,— вышел из небогатой среды. Но и большинство богатых людей он считал дураками, ничего в политике не понимавшими и тоже совавшимися в государственные дела. От разговоров же с политическими деятелями, особенно о Танжере и о франко-германских отношениях, он пришел в ярость: играют с огнем, ведут свою страну к катастрофе, как вели к ней Россию разные Плеве, Алексеевы, Безобразовы.

Витте и сам был карьеристом; личные цели и интересы в политике были совершенно естественным и неизбежным явлением. Но они становились преступлением, когда сочетались с недомыслием, а то и попросту с глупостью. Все эти Танжеры были не только ненужны, но чрезвычайно вредны и опасны. Он был рад уходу Делькассе: этот министр видимо подготовлял французский реванш,— а потом начнут готовить немцы, у каждой державы есть за что реваншироваться, то есть отвечать одной бессмысленной и преступной войной на другую. Витте находил, что прежде всего необходимо прочное и полное примирение Франции и Германии. Рувье нравился ему больше. Этот министр, очень недурно устроивший свои личные денежные дела, знал толк и в государственных финансах (что Витте особенно ценил); но и Рувье, очевидно, не решался сказать, что надо навсегда прекратить и разговоры о каких бы то ни было войнах.

Особенно же раздражали Витте разговоры о дипломатическом триумфе германского канцлера. Газеты об этом писали почти как об его собственном триумфе. «Только я

заключил *мир*, а Бюлов получил княжеский титул за совершенно бессмысленное дело, грозящее общей катастрофой!» Впрочем, он сам хотел стать графом — и тут, по его расчету, германский канцлер мог пригодиться.

Его ждали в Париже приглашения: побывать на обратном пути в Россию у английского короля и у германского императора. Эти приглашения он принял бы охотно: был настоящим убежденным монархистом и ко всем монархам чувствовал природное расположение, хотя и думал, что ни один из них ничего в политике не понимает. Ответил, что должен запросить разрешения царя. Знал, что во всяком случае царь, очень в ту пору раздраженный против Англии, не разрешит ему повидать Эдуарда VII. «А жаль. Удалось бы повлиять на англичан. Может быть, в Лондоне удалось бы повидать новое, новых людей. Верно, тоже незначительных. Повидать Вильгельма, впрочем, разрешат».

Он читал в Париже русские газеты, которых давно не видел. Почти все писали о нем так лестно, как никогда не писали прежде. Пробегал все, что относилось к внутреннему положению России. Оно было очень тревожно. Значительная часть сановников стояла за решительную суровую борьбу с начавшимся революционным движением. Намечалась отправка в места, где происходили беспорядки, особо уполномоченных генералов, известных твердым характером. «Как бы ни были сильны эксцессы,— читал он в либеральном издании,— мы никак не думаем, что целесообразна борьба с ними всеми средствами, per fas et nefas[1]. К тому же надо твердо помнить, что эксцессы происходят с обеих сторон. Устроители «патриотических» расправ однако взысканиям не подвергаются. Благосклонно кое-кем приветствуются и бессмысленные сказки о японских миллионах, которыми, якобы, подкуплены либералы. Можно ли, после небывалого в нашей истории военного поражения, серьезно думать, что нужна революционная или иноземная пропаганда для возбуждения общего недовольства страны! В Цусимском бою четыре могучих броненосца, «Император Николай», «Орел», «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», сданы неприятелю. Официально сообщается, что контр-адмирал Небогатов и командиры этих судов, по возвращении из плена, будут преданы суду по 279-ой статье военно-морского устава о наказаниях, карающей людей не *исполнивших* своих обязанностей по долгу присяги и согласно требованиям воинской чести. Но кто же

---

[1] Дозволенными и недозволенными (*лат.*).

назначил на важнейшие должности людей, очевидно, не обладающих элементарными военными и человеческими качествами? Кто отправил на гибель всю эскадру Рожественского? Теперь сама газета «Чего изволите», так настойчиво требовавшая отправления балтийской эскадры на Дальний Восток и так долго выражавшая полную уверенность в ее победе, с неслыханным цинизмом сообщает, что ей было хорошо известно, что эта эскадра победить не может. Оказывается, доблестно погибший в Цусимском сражении командир броненосца «Александр III» Бухвостов откровенно и определенно говорил редактору этой почтенной газеты, что эскадра обречена на гибель и что ни малейших шансов на победу у нее нет! Столь же продумана и новая затея правительства. Нет, не очень помогут в борьбе с охватившим всю страну волнением missi dominici [1] с карательными отрядами».

Витте не очень верил в искренность пишущих людей, но либеральным публицистам верил несколько больше, чем реакционным, и признавал совершенно правильным многое в их утверждениях. Теперь ему вдобавок было по пути с умеренными либералами. Они явно возлагали на него большие надежды. «Главный деятель портсмутской конференции статс-секретарь С. Ю. Витте возвращается теперь в Россию триумфатором,— читал он.— Нисколько не умаляя — и не преувеличивая — личных заслуг и дарований нашего знаменитого статс-секретаря, показавшего себя в Портсмуте и выдающимся дипломатом-психологом, мы однако думаем, что его сейчас на Западе чествуют и восхваляют не столько за прошлую и настоящую его деятельность, сколько за его вероятную будущую роль, за его положение единственного серьезного кандидата на пост руководящего министра Российской империи». Слова «и не преувеличивая» его раздражили. «Еще хорошо, что сами пока не лезут в «руководящие министры»! Скоро, конечно, полезут. Они, правда, немного лучше, чем какие-то missi dominici, о каких они пишут на своем профессорском языке».

Он понимал, что в одном во всяком случае газеты правы: на Западе его в самом деле все считают будущим главой русского правительства. Так думал и он сам, но еще немного колебался, соглашаться ли. Не лучше ли отойти в сторону? В душе однако знал, что в сторону не отойдет. Занимать должность главы русского правительства в 1905 году было опасно, но он был смелым человеком. Ви-

---

[1] Посланцы господни (*лат.*).

дел, что в России неизбежен конец самодержавного правления, хотел себя связать с большим историческим делом, и понимал, что очень скоро восстановит против себя всех, и правых, и левых. С либералами еще можно было поладить, хотя он их вождей во главе с Милюковым называл «свихнувшимися буржуазными революционерами». Но реакционеры с давних пор были с ним связаны злой взаимной ненавистью. «Скоро поднимут вой! Мир заключен, затеянная ими безумная война кончена, теперь можно будет во всем винить меня».

Кроме приглашений к Вильгельму и к Эдуарду, он получил в Париже телеграмму от германского канцлера: Бюлов тоже изъявлял желание повидать его и приглашал в Баден, где временно находился на отдыхе. Эта телеграмма разозлила Витте. Бюлова он все-таки ценил несколько выше, чем других государственных людей: называл его человеком не очень умным, но даровитым, и, главное, образованным. Сам он свои познания заимствовал преимущественно из газет и разговоров с учеными людьми; но именно поэтому высоко ценил образование в других. С германским канцлером он часто беседовал, особенно прошлым летом в Нордернее. Бюлов в разговорах беспрестанно цитировал писателей, философов, поэтов (знал на память огромное количество стихов на разных языках). Это было в первые дни знакомства интересно; но скоро он потерял интерес к своему утомительно-блестящему собеседнику. Вдобавок, он цитатами отвечать не мог, а разговор надо было вести на более высоком уровне, чем обычно. Образованна была и графиня. В Нордернее расспрашивала его о декабристах и восторгалась Львом Толстым. О Толстом Витте ей сказал, что романист он действительно гениальный (может быть, в самом деле, «Войну и мир» или «Анну Каренину» прочел), но философия его просто детская. А о декабристах разговора не поддержал, так как о них не знал почти ничего. Про себя считал их благородными дураками: «Это в России-то начала прошлого века затеяли либеральную революцию! Хороши были бы, если бы их восстание удалось! И финансы бы оказались замечательные!»

Приглашение Бюлова показалось ему и непринужденным по форме. «Если б не Цусима, не стал бы меня вызывать к себе в Баден». Но канцлер мог выхлопотать для него у Вильгельма цепь Красного Орла, высший германский орден. Это и само по себе было бы приятно, а главное, тогда государю пришлось бы пожаловать ему графское досто-

инство,— нельзя наградить меньше, чем немцы. Впрочем, таковы были у него не определенные мысли, а нечто среднее между мыслями и инстинктом. Немного поколебавшись, он принял среднее решение: любезно ответил, что был бы очень рад повидать Бюлова в Берлине, а приехать в Баден при всем желании не может: спешит с докладом к царю.

Канцлер действительно приехал в Берлин. Они вдвоем очень приятно пообедали в знаменитом ресторане Борхардта. Говорили друг с другом в шутливом тоне. Оказалось, что Вильгельм примет гостя в своем охотничьем замке Роминтен, недалеко от русской границы. Бюлов и Витте оба любили поговорить. Посплетничали обо всех,— кого только оба не знали? Несколько более сдержанно, но и не слишком почтительно, высказались каждый о своем монархе. Витте вспомнил, что когда-то выхлопотал Вильгельму у царя чин адмирала русского флота. «Не скрою, это было не так легко. Ваш кайзер стороной дал мне понять, что был бы этому отличию очень рад. Он обожает разные мундиры, я просто никогда этого не мог понять. Другое дело ордена: они даются за настоящие заслуги, как, например, ваш Красный Орел». Больше ничего не сказал, но канцлер про себя подумал: «A bon entendeur salut [1]. Отчего бы и нет?» Занес в память и об адмиральском мундире. Был верноподданнически предан Вильгельму (вдобавок, и всем ему обязан), но подобные факты запоминал и впоследствии, без чрезмерной преданности, к слову сообщил в своих воспоминаниях.

Действительно, приехав в Роминтен, Витте узнал, что император жалует ему цепь Красного Орла. Был очень доволен, этот орден жаловался обычно принцам крови. Собственно и графский титул был самому Витте не так уж нужен. Ему нужны были власть и — в меньшей мере — деньги. Но он знал, что жене будет очень приятно стать графиней. И, главное, придут в бешенство другие сановники, его враги и конкуренты.

После великолепия русского двора Витте не могли поразить ни берлинский, ни потсдамский двор. Его удивила скромность Роминтенского охотничьего замка и уклада жизни в нем. Замок был обыкновенный двухэтажный деревенский дом с очень просто убранными чистенькими комнатами. Так же прост был завтрак. Император и немногочисленные гости были в охотничьих костюмах, вели себя

---

[1] Имеющий уши да слышит (*франц.*).

как приятели. До перехода в столовую Вильгельм сидел на ручке кресла Эйленбурга,— Витте подумал, что это было бы невозможно при русском дворе; понимал, что на него хотят подействовать фамильярностью, простотой, даже скромностью, вообще Вильгельму никак не свойственной. За завтраком император рассказывал не очень смешные истории и анекдоты, обращался преимущественно к русскому гостю. Это тоже было приятно. Как у большинства людей, у Витте отношение к человеку почти всегда в значительной степени определялось тем, как этот человек относился к нему. Вильгельм был с ним чрезвычайно ласков и любезен. За это можно было забыть обо многих его политических делах, даже о поездке в Танжер.

Все же он не мог упустить случая. Были важные государственные интересы; они шли впереди наград, вернее, тесно с ними переплетались; но ни за какие титулы, ордена, деньги Витте не стал бы вести политику, ставящую себе целью войну. Он решил поговорить с императором серьезно, без шуток и анекдотов,— так, как собирался вскоре поговорить с царем: думал, что от этих двух людей теперь больше всего зависят судьбы мира. В Роминтене он был в ударе, как на особенно важных заседаниях при переговорах с японцами. Там была откровенная борьба, здесь борьба скрытая, но, быть может, в историческом плане еще гораздо более важная. И он за завтраком от общего ничтожного разговора чувствовал все росшее нетерпение.

После завтрака Витте попросил у Вильгельма разрешения поговорить с ним наедине. Они беседовали больше двух часов. По словам Эйленбурга, голоса звучали «bald lebhafter, bald schwächer» [1]. Вероятно, слово «lebhafter» относилось преимущественно к русскому гостю. Записи беседы не осталось, но кое-что сохранилось в воспоминаниях разных лиц, очевидно спрашивавших позднее императора.

Для начала Вильгельм осторожно заговорил о внутреннем положении России. Витте крепко ругнул «анархистов». Социалистические теории интересовали его еще меньше, чем другие, он в них не разбирался, да и не хотел разбираться, и называл анархистами всех революционеров вообще. Ругнул он и «свихнувшихся либералов»,— серьезно думающих, что за ними есть какая-то сила в народе, тогда как народ к ним совершенно равнодушен и сметет их в случае революции в первые же дни. Говорил и тут, как почти всегда, искренне: «анархистов» терпеть не мог;

---

[1] «То громче, то тише» (*нем.*).

их тоже считал в лучшем случае благородными дураками, а в худшем — прохвостами.

Вильгельм слушал с сочувственной улыбкой. Ему говорили о радикализме этого русского государственного деятеля, а он недолюбливал радикалов, даже иностранных. Затем Витте стал еще более злобно ругать русское правительство, и улыбка стерлась с лица императора: правительства, даже иностранные, ругать не следовало; как и его дед, он всегда в душе завидовал самодержавной власти царей.

— Затеяли, ваше величество, безобразную, никому не нужную, преступную войну. Правда, объявила ее Япония. В Токио, верно, тоже есть достаточно дураков и сумасшедших. Но главные виновники это наши жулики-концессионеры, разные аферисты и проходимцы, а также политика Плеве, господина *Вячеслава* Плеве (он иронически подчеркнул имя убитого министра). Ваше величество, верно, не знаете, что Плеве родом из немцев и в ранние годы назывался Вильгельмом, затем их семья ополячилась, и он стал Вацлавом, потом семья обрусела и он оказался Вячеславом,— говорил Витте, беспорядочно перескакивая с одного предмета на другой; в увлечении не подумал даже, что в беседе с германским императором не следовало бы неодобрительно отзываться о немецком происхождении Плеве.— Вы о нем спросите вашего канцлера, князь Бюлов биографию этого господина знает. Да я это только к слову говорю,— поправился он,— дело, разумеется, никак не в его происхождении. Ну, хорошо, затеяли войну. Командующим армией назначен Куропаткин, это ничего, недурной генерал, хоть воли у него никогда не было. Он не хотел войны с Японией и вяло, как они все, говорил это Плеве, а тот ему в ответ: «Вы не знаете внутреннего положения России. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Хорошо, а? Вот и удержал!

Император привык к тому, что сановники часто терпеть не могут друг друга; но они обычно это скрывали, по крайней мере от него. Этот же без стеснения говорил вещи поразительные. Бюлов изумленно рассказывал, что, случайно встретившись с ним в Тиргартене в день убийства Плеве, Витте еще издали ему радостно закричал: «Приятное известие! («Une bonne nouvelle!»): только что убит Плеве!».

— Да, войну вели неудачно,— осторожно сказал император. Он желал победы России, но ее поражение не очень

его огорчало.— Ваше командование оказалось не на должной высоте.

— Можно сказать, что не на должной высоте! Ну, хорошо, назначили Куропаткина, а над ним адмирал Алексеев! Этот уж совершенная находка: главнокомандующий и наместник Дальнего Востока. Так-с, значит, два командующих. Вы Алексеева знаете, ваше величество? Полное ничтожество! Он и на лошадь сесть не может! Я два года тому назад был в Порт-Артуре и, как шеф пограничной стражи, устроил ей смотр. Разумеется, сел на коня. Я, хоть и штатский человек, а верхом езжу недурно. Как же в мундире на смотру быть не на коне? Явился естественно и Алексеев, ведь главнокомандующий, правда? Только он пеший. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается, он отроду не ездил верхом, приближенные так, с улыбочками, мне и объяснили: ездить не умеет, боится лошадей. Хорош главнокомандующий миллионной армией, а? Да и это еще бы куда ни шло! Только он и о военном деле не имел никакого понятия. Вот так, с двоевластием, и начали войну! Остальное вы знаете. Россия очень могущественная страна, не дай Господи никому с нами воевать,— на всякий случай добавил он, вспомнив, с кем говорит.— А только эту войну мы позорно проиграли. Слава Богу, слава Богу, что мне удалось выпутать Россию, с потерей только половины Сахалина. Не очень он нам нужен этот каторжный Сахалин, слава Богу, земель у нас достаточно...

— Ваша заслуга велика,— вставил слово Вильгельм, слушавший его с все увеличивавшимся любопытством. Но перебить Витте было нелегко даже императору.

— Я тоже думаю, что велика, это так. Я по ночам не спал, все боялся, что упрутся японцы. Вот и увидите, как меня в Петербурге отблагодарят, я наперед знаю. Так вот, что же теперь? Я, ваше величество, всю жизнь был сторонником самодержавия, не лежит у меня душа к конституциям. Да что же нам делать? Разве можно сохранить самодержавие без подходящего самодержца, при совершенно расшатанном государстве? Все страны перешли к конституционному правлению. По складу моей души, по моим семейным традициям, мне любо неограниченное самодержавие, да что в том, когда его больше в России никто не хочет, кроме горсти разных предводителей дворянства, придворных, полковников от котлет? Пусть это человеческое заблуждение, но надо понять, что таков ход истории. Верно, это исторический закон, что в настоящее время должны править представители народа, хоть они ничего в го-

сударственных делах не смыслят. Эту линию я и буду вести, если меня сразу не выгонят: «Заключил мир, ну, и ступай ко всем чертям!..» Потом выкинут все равно. Им еще, правда, нужен большой внешний заем, а кому, кроме меня, в Европе дадут деньги? Поведу, поведу эту линию, Бог мне судья,— говорил Витте, точно убеждая себя самого.— Только где взять людей для этой самой конституции? Придется звать либералов, других нет, не Трепова же брать? Он честный человек, но в душе полицеймейстер. Из старых только один человек есть, Дурново, он умница и знает дело. Знает дело, знает дело,— повторял он, задумавшись.

Вильгельм заговорил о внешней политике, упомянул о свидании в Биоркэ с царем: там положено начало тесному сближению между Германией и Россией. Витте слушал его рассеянно. Давно прошло то время, когда его могло по существу интересовать мнение монархов, да собственно и громадного большинства людей вообще.

— Да, тесное сближение это очень хорошо,— сказал он, не дослушав.— Тесное сближение между всеми странами, а для начала между Россией, Германией и Францией. Главное это, чтобы никому ни с кем больше не воевать! Это самое главное, ваше величество! Иначе все династии погибнут. А следовательно надо прекратить и дурацкие вооружения.— Вильгельм взглянул на него очень холодно.— Именно они главным образом и мешают населению всех стран возможности безбедно жить, а это только на руку анархистам. От вооруженного мира народы страдают не менее, нежели от войны. Разве европейские страны могут себе позволить такие дикие, непроизводительные, бессмысленные расходы? Европа, это я еще лет восемь тому назад говорил вашему величеству, когда вы изволили беседовать со мной в Петербурге, Европа и вообще дряхлеющая старушка: подурнела, пожелтела, морщины, выпадают зубы, еле дрыгает ногами, бывшая красавица. Да и прежде красавицей она была сомнительной. Об ее величии со временем будут вспоминать, как мы вспоминаем о величии Древнего Рима. С той разницей, что римляне хоть знали, чего хотят. Ерунды хотели, мирового владычества, но знали, чего хотят, а мы и этого не знаем. А тут еще колониальные авантюры с подрыгиванием, тоже решительно никому не нужные, кроме генералов и спекулянтов. Вот мне в Париже уши прожужжали о Марокко, на вас жаловались, ваше величество, уж вы не гневайтесь. Очень жаловались на Германию и, быть может, не без основания, хоть и они

сами ничем не лучше, демократические господа французы. Им Марокко так же нужно, как вам,— говорил он, не обращая внимания на то, что лицо у Вильгельма стало ледяным. Несмотря на свою привычку ко двору, Витте совершенно не был придворным человеком и с королями, даже с императором Николаем, даже с Александром III разговаривал, не стесняясь в выраженьях.

Он долго говорил, что необходимо прочное и вполне искреннее дружеское соглашение между мировыми державами. Но, взглянув на императора, подумал, что весь разговор был ни к чему: этот человек тоже в главном ничего не понимает. «Неврастеник!» Витте знал, что государственные деятели в большинстве неврастеники вследствие самых условий их жизни и работы. Вильгельм был одним из самых могущественных неврастеников в мире: «Может, очень может погубить себя,— это бы еще ничего,— но с собою и весь мир!» У него пропала охота к продолжению разговора. Голоса стали «schwächer».

Еще немного поговорили о предметах незначительных. Концом разговора Вильгельм остался доволен. «Es war grossartig» [1],— говорил своим приближенным император. Перед обедом министр двора принес в комнату гостя цепь Красного Орла, да еще портрет Вильгельма в золотой рамке с собственноручной надписью: «Portsmouth — Biorkö — Rominten.— Wilhelm Rex».

Теперь графский титул был почти обеспечен. Слово «Биоркэ» в надписи немного удивило Витте. Он в Биоркэ не был и текста договора не знал. В Петербурге узнал от графа Ламсдорфа и рассвирепел:

— Вот так штука! Мы до сих пор были обязаны защищать Францию от Германии, а теперь обязались защищать Германию от Франции! Хорошо, очень хорошо! Этот договор надо немедленно уничтожить! Я так прямо и скажу государю императору при следующем же свидании.

Но первым свиданием на яхте «Штандарт» он был растроган. Государь в самых милостивых выражениях благодарил его за успешное выполнение в Портсмуте данного ему тяжелого поручения, сказал, что получил от германского императора письмо, в котором тот восторженно о нем отзывается. Сообщил, что возводит его в графское достоинство. Витте растроганно благодарил и поцеловал царю руку.

На следующий же день его в реакционных кругах про-

---

[1] «Это было великолепно» *(нем.)*.

звали «графом Полу-Сахалинским». Он сам любил забавные шутки, но был очень зол. Немного его утешили очевидная ярость врагов и то, что, узнав о пожалованном ему титуле, Муравьев заболел черной меланхолией.

IX

Семь духов

Владыки гор, ветров, земли и бездн морских,
Дух воздуха, дух тьмы и дух твоей судьбы —
Все притекли к тебе, как верные рабы,—
Что повелишь ты им? Чего ты ждешь от них?

Манфред

Забвения.

Первый дух

Чего — кого — зачем?

Манфред

Вы знаете. Того, что в сердце скрыто.
Прочтите в нем — я сам сказать не в силах.

Дух

Мы можем дать лишь то, что в нашей власти:
Проси короны, подданных, господства
Хотя над целым миром,— пожелай
Повелевать стихиями, в которых
Мы безгранично царствуем,— все будет
Дано тебе.

Манфред

Забвенья — лишь забвенья.
Вы мне сулите многое,— ужели
Не в силах дать лишь одного?

Дух

Не в силах.
Быть может, смерть...

Манфред

Но даст ли смерть забвенье?

На вечерах у Ласточкиных обычно собиралось человек двадцать пять или тридцать. Хозяева одинаково были рады всем, не считались с известностью гостя, всем говорили приятное, всех кормили и поили на славу. Татьяна Михайловна говорила Люде, что меняет состав гостей, так как

всех одновременно принимать не может. «Надо было бы звать сто человек, если не больше, стулья еще можно бы взять напрокат, но не оказалось бы места в зале и особенно в столовой».— «А вы купили бы особняк где-нибудь на Поварской»,— сказала Люда.— «Ни за что! Митя так любит нашу квартиру, и я люблю»,— ответила Татьяна Михайловна, редко отвечавшая на колкости и совершенно не понимавшая, зачем люди их говорят. Она всегда в разговорах с Людой делала вид, будто колкостей не замечает.

Мелодекламация не вошла в моду в Москве. Настоящие музыканты ее не признавали. На вечерах Ласточкиных она устраивалась в первый раз: известный драматический артист читал «Манфреда» под шумановскую музыку. Среди гостей преобладали артисты, профессора, политические деятели. Писателей Татьяна Михайловна немного остерегалась: уж очень много пьют. «Ну, напиться может кто угодно, даже профессор»,— возражал Дмитрий Анатольевич.

Впрочем, и он писателей, особенно поэтов, звал к себе менее охотно, чем других. На вечере у одной из Морозовых слышал чтение молодого Андрея Белого, ничего не понял, был немного испуган и к себе его не позвал. Не очень понравились Ласточкину и вполне понятные стихи, как революционные в политическом и художественном отношении, так и необычайно удалые, народные, *«кондовые»*. Ему казалось, что эти литераторы выбрали свою поэзию как самый легкий путь к скорому успеху и затем приобрели к ней профессиональный интерес. По его наблюденьям, главное у них заключалось в желании непременно изобрести что-то *новое*, еще никем не использованное. Один из них хвастал, что свое стихотворение написал небывалым размером (дал сложное название), который нигде в литературе до него не встречался. Дмитрий Анатольевич говорил жене, что именно вследствие этой погони за новизной они очень похожи один на другого. «Идет игра в лотерею известности. Многие выигрывают — очень ненадолго. Собственно, они все должны были бы ненавидеть друг друга. Но, кажется, этого нет: отношения скорее благодушные, каждому из них было бы без других очень скучно... Может, я и вообще несправедлив к ним. Что ж делать, я ни одному их чувству не верю, не верю искренности хотя бы одной их строчки... Ты наверное моих мыслей не одобряешь?»

Татьяна Михайловна в самом деле не одобряла. «Всякому делу надо учиться, а ты, Митенька, этому не учился. Если ты не знаешь, например, что такое пеон четвертый,

то и судить о поэзии нельзя».— «А по-моему, можно, хотя я не знал даже того, что они, проклятые, нумеруются!» — «Ну, а уж насчет «искренности», то тут уж я просто не понимаю, как можно судить, искренен ли поэт или нет? Всякого человека надо считать искренним, пока не доказано обратное. А эти, что читали на вечере, уж во всяком случае поэты талантливые».— «Способные — да, даровитые, может быть, а очень талантливые, не думаю. И по-моему, настоящую литературу губят именно книги — «так себе», никак не хорошие, но и никак не плохие»,— нерешительно возражал Дмитрий Анатольевич.

В Москве литературные салоны были в большей моде, чем музыкальные. Ласточкин у себя устроил музыкальный, понимая, что такой у него выйдет лучше. Музыку он любил *всякую*, но хоть умел отличать хорошую от плохой. Татьяна Михайловна вообще была против устройства «салона»; несмотря на свое общее расположение к людям, больших приемов не любила: почти всегда бывает скучновато, не то, что когда соберутся пять или шесть друзей. Однако все их знакомые что-то у себя устраивали, надо было платить приглашеньями за приглашенья; она подчинилась желанью мужа и старалась, чтобы приглашенные скучали возможно меньше, хорошо ели, хорошо, но в меру, пили. На их большие приемы, в дополнение к их собственному повару, приглашался еще клубный: Ласточкин находил, что если один повар готовит больше, чем на десять-двенадцать человек, то ужин не может быть хорошим. На этот раз клубный повар был новый, Татьяна Михайловна не была в нем уверена и немного беспокоилась, особенно за «бэф Строганов». С улыбкой вспоминала очень скромные ужины в Харькове у воспитывавшей ее небогатой, бережливой тетки. Родителей она потеряла в раннем детстве, тетка тоже давно умерла, и из родных у нее оставался только двоюродный брат, теперь петербургский помощник присяжного поверенного. Ее муж очень его не любил, и они, бывая в столице, не всегда даже заезжали к нему с визитом.

Дмитрий Анатольевич волновался много больше, чем жена, но по другой причине. Этот вечер несколько отличался от их обычных: после ужина Ласточкин предполагал экспромтом устроить обмен политическими мненьями и сказать краткое вводное слово (о чем не предупредил жену). Надеялся, что артисты, поужинав, уйдут: у каждого из них обыкновенно бывало по несколько приглашений в день, и везде, несмотря на тревожное время, пили шампанское. Артисты, конечно, для политических бесед не годи-

лись,— «могут только нести чушь». Но профессора и политические деятели очень годились, хотя были второстепенные: первостепенные уехали в Петербург: «переговорить с графом Витте».

Всеобщая забастовка кончилась, прогремел на весь мир манифест 17-го октября, Витте стал главой правительства. Радость была необычайная. Правда, за манифестом последовали в провинции погромы евреев и интеллигенции, вызвавшие общее негодование. Все сходились на том, что это последние действия черной сотни: на прощанье мстит за свое полное и окончательное крушенье.

Поддался общему восторженному настроению и Дмитрий Анатольевич.

— Вот меня нередко попрекали чрезмерным оптимизмом,— говорил он; при всей своей искренности, забыл, что его оптимизм ослабел в последние месяцы.— А вот вышло все-таки по-моему. Увидите, какой расцвет скоро настанет! После десяти лет свободного строя Россия станет первой страной в мире. Да, большой, очень большой человек Витте!

Татьяна Михайловна совершенно с ним соглашалась. Люда спорила. Вернее, начала спорить приблизительно через неделю после манифеста: московская партийная организация получила письмо от Ленина. Он говорил, что революция только началась, что он возвращается в Россию для ее углубления, называл Витте черносотенцем. Люда стала говорить то же самое, но из снисходительного отношения к взглядам Дмитрия Анатольевича смягчала отзыв о председателе совета министров.

— ...Дался вам этот Витте! И он, конечно, скоро уйдет или будет свергнут начавшейся революцией. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти,— говорила она, не зная, что эту популярную в истории русской публицистики шиллеровскую фразу повторял в Петербурге, приписывая ее Шекспиру, сам Витте в переговорах с либералами. Грозил им своей отставкой и предупреждал, что ему на смену очень скоро придут совершенно другие люди.

Рейхель не обрадовался ни манифесту, ни приходу к власти графа Витте и почти одинаково ругал правых и левых. Дмитрий Анатольевич только разводил руками: «Спорить можно с консерваторами, но нельзя спорить с человеком, совершенно равнодушным к политической жизни. В сущности, ты нигилист, Аркаша!» — говорил он.— «Уж я не знаю, кто я такой, только ничего хорошего не будет».— «Почему не будет? На предельный пессимизм тоже

отвечать нечего. Разумеется, мы все умрем, а может быть, через миллион лет кончится и наша планета, хотя нет никаких причин это утверждать. Но жить надо так, точно мы будем существовать вечно!» — «Не вижу ни малейших оснований»,— говорил Аркадий Васильевич.

Поэма Рейхелю не нравилась. «Говорят, «верх гениальности»! Вздор. Любой из наших доморощенных сочинит не хуже... Там, в первом ряду справа расселись толстосумы, всех перевешать. И морды какие самодовольные. Они готовы осчастливить Россию, но царь, по своей отсталости, не предлагает им портфелей. А за их пятипудовыми дочерьми увиваются идейные присяжные поверенные; идейность это хорошо, но идейность с миллионным приданым еще лучше. Люда с кем-то «высоко держит знамя». Разумеется, социал-демократическое, хотя она так же охотно и так же случайно могла стать социал-революционеркой... Нина делает вид будто слушает Тонышева. Только вчера его сюда затащила Люда, и вот он уже у них на вечере!»

Тонышев накануне обедал у Ласточкиных и всем, кроме Рейхеля, очень понравился. После его ухода Дмитрий Анатольевич расспрашивал о нем Люду, а вечером говорил о нем наедине с женой:

— Очень милый человек. Кажется, он нравится Нине?

Татьяна Михайловна засмеялась.

— Я, как толстовский Алпатыч, на три аршина под тобой вижу. Да, и мне показалось, что он Нине понравился. В самом деле, он был бы для нее отличной партией.

Дмитрий Анатольевич смущенно улыбнулся.

Нина внимательно слушала. Стихи и музыка казались ей прекрасными. Она любила музыкальные вечера в доме брата. Политические же разговоры слушала плохо. Накануне за обедом Люда резко отозвалась о царе. Тонышев тотчас замолчал.

— Я с вами не согласна,— сказала Нина.— У царя прекрасные, истинно человеческие глаза. Таких я у революционеров не видела.

— А где собственно вы революционеров видели, Нина?

— Видала. Они иногда к Мите заходят.

— Значит, вы судите о политике в зависимости от «глаз»?

— Да, сужу и в зависимости от глаз. Человек с такими глазами не может быть злым. А это и в политике главное.

— Я с вами согласен, Нина Анатольевна,— с жаром сказал Тонышев. Люда рассмеялась. Татьяна Михайловна тотчас перевела разговор.

Манфред

Но все равно,— душа таить устала
Свою тоску. От самых юных лет
Ни в чем с людьми я сердцем не сходился
И не смотрел на землю их очами;
Их цели жизни я не разделял,
Их жажды честолюбия не ведал,
Мои печали, радости и страсти
Им были непонятны...

«Да, да, и это тоже обо мне сказано, быть может еще больше, чем монологи Росмера»,— думал Морозов. Он не читал «Манфреда» и еще не понимал смысла поэмы. «Или он скрывает какое-либо преступленье?.. Что же ему дает эту власть над людьми? Мне — Никольская мануфактура, а ему будто бы духи и наука? Какие духи? А о науке он и сам говорит, что это «обмен одних незнаний на другие». Все равно, власть есть, но в самом деле «что пользы в том?»

Манфред

Мы все — игрушки времени и страха.
Жизнь — краткий миг, и все же мы живем,
Клянем судьбу, но умереть боимся.
Жизнь нас гнетет, как иго, как ярмо,
Как бремя ненавистное, и сердце
Под тяжестью его изнемогает;
В прошедшем и грядущем (настоящим
Мы не живем) безмерно мало дней,
Когда оно не жаждет втайне смерти,
И все же смерть ему внушает трепет,
Как ледяной поток...

«Да, все так, все так! Но какие же темные силы так грозно над ним тяготеют? Я не знаю и того, какие тяготеют надо мной. Разве Департамент полиции?» Ему в последнее время казалось, что полиция следит за ним все внимательнее. «Разумеется, я в точности не знаю, *что* с моими деньгами делают все эти Красины. Говорят, они готовят восстание?.. Связи связями, власть властью, а могут предать суду, засадить в тюрьму. Не все ли равно?»

Нервы у него совершенно расшатались за последний год. Он теперь постоянно ждал больших несчастий. Боялся своих рабочих, боялся революции, разорения, большевиков, Департамента полиции. Никаких радостей больше не

оставалось. Вино надоело, театр надоел, любовница ушла, другой искать не хотелось. «Манфред верно покончит с собой. Но никакой теории самоубийства я у него не вижу. Если человек кончает с собой по какой-либо определенной причине, то тут ничего удивительного нет. Другое дело, если он убивает себя без причины... Зачем еще появился в поэме этот аббат? Конечно, у аббатов есть на все ответ. Жаль, очень жаль, что у меня нет веры предков, но если нет, то и нет. Я не понимал никогда и теперь не понимаю, как вера есть у большинства людей, а когда-то была у всего человечества? Жизнь в ту пору была гораздо более страшна, чем наша. Творились в мире неслыханные зверства, людей пытали, четвертовали, сажали на кол. Вспомнить только войны семнадцатого века, хотя бы у нас: что творили казаки, поляки, татары, великороссы, просто читать нельзя. Теперь нет всего этого и, конечно, больше не будет. Но стали ли мы счастливее? Все же в ту пору бывали и периоды мира или хотя бы затишья, и уж в эти периоды люди были неизмеримо счастливее нас. Была вера, твердая, непоколебимая вера, в которой не сомневался, не мог сомневаться никто, кроме разве отдельных смельчаков, отчаянных в природном самоволии людей... У всех других было вечное, твердое утешение. Быть может, оно мелькало даже в потухающем сознании тех, которые доживали последние минуты на колу: «еще час — и кончится мука, начнется вечная, счастливая жизнь!» И может быть, человечество когда-нибудь проклянет людей, ставших полтораста лет тому назад эту веру расшатывать. Но они свое дело сделали, и для нас это кончено. Откуда я возьму веру предков? И что же меня попрекать ее отсутствием? Уж если попрекать, то каких-нибудь Вольтеров, Дидро или Шопенгауэров, да и тех бессмысленно. Они тоже искали того, что называли правдой, и даже какую-то правдишку предложили. А еще какой-нибудь другой правдишкой живет, например, Красин. Впрочем, у него она *так*, для больших оказий, для разговоров, когда не о чем другом говорить. Всерьез же он занят революционной карьерой и, еще больше, составлением собственного капитальца. И Горький занят тем же, его «творчеству» грош цена, как только я этого не видел прежде? Он сам мелодекламатор. Всю жизнь обманывал других, да немного, гораздо меньше, и самого себя... И я тоже достаточно мелодекламировал, больше невмоготу, всего с меня достаточно, пора уходить... Как могут жить старики восьмидесяти — девяноста лет, зная, что каждый день считан и что впереди только предсмертные

мучения? Мне тоже решительно нечего ждать. Надо, чтобы мысль о смерти стала привычной, ежедневной, автоматической. И для этого полезно всегда носить с собой револьвер, как я и сейчас ношу. Отвыкнуть от любви к жизни трудно, но я отвыкаю, и чем больше ее бояться, тем лучше. Тогда легче умирать. Самое самоубийство может быть автоматическим действием, иначе труднее покончить с собой».

Он оглянулся и встретился взглядом с Людой, оба тотчас отвели глаза. «Эта еще кто? Красива. Быть может, и она готова была бы отдаться мне? То есть, не мне, а Никольской мануфактуре. Совершенно бескорыстно мне никто не отдавался, все с оглядкой на Никольскую мануфактуру»,— думал он с все росшим отвращением от людей и от жизни.

Аббат

Увы, ты страшен — губы посинели —
Лицо покрыла мертвенная бледность —
В гортани хрип.— Хоть мысленно покайся!
Молись — не умирай без покаянья!

Манфред

Все кончено — глаза застлал туман —
Земля плывет — колышется. Дай руку —
Прости навек.

Аббат

Как холодна рука!
О, вымолви хоть слово покаянья!

Манфред

Старик! Поверь, смерть вовсе не страшна.

(Умирает)

Аббат

Он отошел куда? — страшусь подумать —
Но от земли он отошел навеки.

«Да, замечательная поэма,— думал Морозов.— Сегодня же дома прочту все. Кажется, Байрон в одном из шкафов должен быть... Можно бы собственно уехать и до ужина, да они не отпустят. Скажут: надо обменяться впечатлениями. На всех таких вечерах обмениваются впечатлениями, если за ужином не выпьют столько, что уж не до впечатлений». Он не видел в зале ни одного человека, с которым ему хотелось бы поговорить о «Манфреде». «Да, ес-

ли смерть не будет страшна, то, конечно, уж в жизни ничто не может быть страшно».

Он прежде не бывал у Ласточкиных и, собственно, не знал, почему принял приглашение на этот раз. Дмитрий Анатольевич пригласил его накануне, при случайной встрече. Его, как всех, поразил вид Саввы Тимофеевича. «Просто узнать нельзя! Глаза совершенно мертвые! Может, у нас немного развлечется?»

— Не приедете ли, Савва Тимофеевич? У нас будет сеанс мелодекламации...

Морозов вспомнил, что недавно отказал Ласточкину в пожертвовании на институт, и принял приглашенье. «Постараюсь уехать возможно раньше». Но как только началось чтение, поэма его захватила.

«Не понимаю, просто не понимаю,— с недоуменьем думал Ласточкин.— Почему это его тяготит жизнь, «как бремя ненавистное»? Он был еще бо́льшим баловнем судьбы, чем Морозов... И именно эти баловни судьбы ее клянут! Я, пожалуй, тоже баловень, но во всяком случае гораздо меньший, и я всегда обожал жизнь, и никогда у меня и мысль о самоубийстве не могла бы возникнуть... Не привирал ли все-таки и этот гениальный поэт? Откуда бы у молодого лорда, не очень давно выпущенного из английской школы, любившего выпить и поухаживать за дамами, могли быть такие демонические чувства?» Впрочем, Дмитрий Анатольевич слушал рассеянно: все больше волновался перед своим вступительным словом к беседе.

Люда тоже не очень слушала. Вначале старалась заметить и запомнить какой-либо отдельный стих, который мог бы пригодиться. Потом ей надоело: она не любила долго слушать, даже когда читались важные политические доклады; прения уж были много интереснее, особенно если выступали язвительные ораторы. Устало от поэмы и большинство слушателей; почти все подумывали, что хорошо было бы перейти в столовую. «Слава Богу, кажется, сейчас умрет Манфред,— думал Аркадий Васильевич.— И совсем не так умирают люди. Никто в агонии не говорит: «Глаза застлал туман, земля плывет, колышется»... «Но от земли он отошел навеки»! Разумеется, если человек умирает, то отходит навеки,— не очень оригинальную мысль высказал аббат... Кажется Морозов поглядывает на дверь, едва ли Таня его отпустит... Вот теперь явно конец, и Митя поб-

лагодарит за доставленное нам всем высокое наслаждение...»

У Ласточкиных на больших обедах не раскладывали перед приборами карточек: Татьяна Михайловна знала, что гостям приятнее садиться где угодно и что они обычно сами не садятся там, где им не полагалось бы. Все же артиста она пригласила сесть рядом с собой. «Ну что ж, это правильно: ведь могла бы посадить на почетное место толстосума»,— подумал Рейхель. Сам он сел с аккомпаниаторшей и еле поддерживал с ней разговор. Поглядывал на других гостей; познакомился в доме двоюродного брата почти со всеми. «Купчих немного: сестры Шмидт, да еще одна Саввовна и одна Саввишна, в их династиях это отчество различается, чтобы не спутать. А Люда села к обер-Савве. И уже болтает с ним так, точно они с детства знакомы! Кто еще? Тот, кажется, тенор? Брюнетка виолончелистка... Остальные — «цвет интеллигенции», длинные седые бороды, лбы мыслителей, все как полагается. Воображаю, как мыслители весь вечер старались подавлять зевки. Ничего, теперь отдохнут, шампанское будет литься рекою, и «дружеская беседа затянется далеко за полночь». А кто те два молодых субъекта рядом с Шмидтихами? Довольно противные физиономии». От скуки и злости он мысленно подсчитал, сколько мог стоить Мите прием: «Верно, рублей триста, недурной микроскоп можно было бы купить».

— Да, отличная рыба,— сказал он аккомпаниаторше. Она была недовольна угрюмым соседом и делала тщетные попытки заговорить.

— Пожалуйста, подлейте мне немного шабли. Превосходное вино. Но вас верно винами не удивишь: вы ведь, кажется, с женой долго жили во Франции?

— Мы там пили «ординер» в тридцать сантимов бутылка,— мрачно ответил Аркадий Васильевич. Он опять подумал, что в Париже жил приятнее, чем в Москве. «И общество было интереснее». Его общество составляли во Франции молодые биологи: политических эмигрантов Люда к себе не звала, зная, что он был бы с ними нелюбезен и совершенно для их разговоров не подходил.

Люда сидела рядом с Морозовым. Это вышло случайно, но она была довольна: «Никитич говорит, что он умница. Посмотрим». Язык у нее от водки быстро развязался.

— Я знаю, кто вы такой,— говорила она.— Знаю, что вас зовут Саввой. А как ваше отчество?

— Тимофеевич,— ответил Морозов, вероятно, впервые слышавший такой вопрос.

— Меня зовут Людмила Ивановна. Вы верно себя спрашиваете, кто я такая? Мой муж Рейхель двоюродный брат хозяина дома. Он сидит с той дамой в темно-зеленом платье, которая сегодня аккомпанировала... Впрочем, он не совсем мой муж, у нас гражданский брак. Это вас не слишком шокирует?

— Помилуйте-с, нисколько.

— Вы не удивляйтесь, я всегда всем это говорю при первом знакомстве. Мне о вас рассказывал ваш друг Красин. Ведь он ваш друг?

— Нет-с, но мы хорошо знакомы. Выдающийся человек, что и говорить-с,— сказал он и подумал, что и эта верно сейчас попросит денег. Люда выпила еще рюмку.

— Я давно дала себе слово, что не буду в жизни считаться ни с чем условным, ни с какими предрассудками, особенно с буржуазными. Знаю, что и вы такой же... Вы читали Коллонтай?

— Не читал-с. Это, кажется, о свободной любви-с?

— Да, и о свободной любви-с,— весело сказала Люда.— Она замечательная женщина и очень красива. Хотя и не такая красавица, как о ней говорят... Вы, конечно, удивляетесь, что у Дмитрия Анатольевича и особенно у Татьяны Михайловны такая свойственница? Они ведь оба воплощение буржуазности, благовоспитанности и всего такого. Я и сама этому удивляюсь.

— А ваш муж тоже такой?

— Такой, как они, или такой, как я? Ни то, ни другое. Мой муж ни благовоспитанный, ни неблаговоспитанный, он просто вне этого. Рейхель, говорят, замечательный ученый.

— Вот как? Не биолог ли?

— Почему вы знаете? Ах, да, я и забыла, ведь он вам подавал какую-то записку о биологическом институте. Вы денег не дали, но вы, верно, такие записки получаете каждый день. Знаю, что вы много жертвуете. Жертвуете и на революционные дела. Слышала. «Сорока на хвосте принесла...» Это любимая поговорка Ильича.

— Какого Ильича-с?

— Ленина. Не делайте вида, будто о нем не знаете. Вы давали деньги нашей партии.

«Так и есть, теперь попросит,— подумал он.— Странная дама».

— Такого не помню-с.

— Не помню-с,— передразнила его Люда.— Не конспирируйте, я в Охранку не донесу, я сама социал-демо-

кратка. Помогать нашей партии обязанность каждого порядочного человека. Но вы не бойтесь, я у вас денег не попрошу. По крайней мере, здесь, а то с Татьяной Михайловной верно случился бы удар.

Она расхохоталась так, что на нее с некоторой тревогой оглянулись и Рейхель и хозяева дома. «Впрочем мне совершенно все равно, что она ему говорит»,— подумал Аркадий Васильевич.

— Не давал-с,— угрюмо повторил Морозов. Он стал нелюбезен и еле отвечал Люде. В последнее время вообще не только не старался нравиться людям, но старался не нравиться. «Покончить с собой хорошо уж и для того, чтобы не ходить на обеды и не разговаривать вот с такими вульгарными особами. Да и все тут хороши, начиная с меня».

Он обвел взглядом комнату, и ему показалось, что за столом сидят скелеты, одни скелеты, плохо прикрытые одеждой. «Скоро ими и будем... Все же это начало галлюцинаций. Да, либо дом умалишенных, либо то...»

— Вам понравилась мелодекламация? — спросила Нина своего соседа Тонышева.

— Сказать искренно? Байрон понравился меньше, чем Шуман. Я знал когда-то Байрона чуть не наизусть... Впрочем, это преувеличение: не наизусть, но знал хорошо. И мне всегда казалось, что он... Как сказать? Что он уж очень сгущает краски.

— Кого же из поэтов вы любите?

— Больше всего Шиллера. Это смешно?

— Почему смешно?

— Потому, что отдает пушкинским Ленским, а где уж у меня «кудри черные до плеч»? Моя молодость прошла, Нина Анатольевна. Мне больше тридцати лет. Ведь вам это кажется старостью, правда?

— Нисколько,— ответила Нина чуть смущенно и перевела разговор.— Я тоже люблю Шиллера, но все-таки люди у него не живые.

— Разве это важно? Я отлично знаю, что маркиз Поза не живой человек. Однако, главное — это *задумать* прекрасный образ. который остался бы навсегда в памяти людей, а как он выполнен, менее важно. Поэты по-настоящему живых людей не создают.

— Некоторые создают. Пушкин, например.

— Вы правы! — не сразу, точно вдумавшись, сказал

Тонышев.— Я солгал, говоря, будто больше всего люблю Шиллера. По-настоящему, как русский человек, всем предпочитаю Пушкина.

— И я.

— Вы что у него предпочитаете, уж если мы заговорили о поэзии? По-моему, говорить о ней — это лучший способ *понять* человека, а мне так хочется *вас* понять... И мы ведь все пронизаны литературой, хотим ли мы этого или нет.

— Все у Пушкина прекрасно, но лучше всего, по-моему, последняя песня «Евгения Онегина» и «Капитанская дочка».

— Я так рад, что мы с вами и тут сходимся! («А в чем еще?» — подумала Нина).— Я ответил бы то же самое! Но «Капитанскую дочку» я особенно люблю *до* Пугачевского бунта. Конечно, это, если хотите, примитив: «Слышь ты, Василиса Егоровна»... «Ты, дядюшка, вор и самозванец»... Толстой подал бы людей не так. Но какой изумительный, какой новый в русской литературе примитив!

— Да ведь примитивы итальянской живописи — гениальные шедевры,— сказала Нина. «Уж очень он литературно говорит. Но милый,— подумала она. Ей впервые пришло в голову, что этот дипломат мог бы стать ее мужем.— Странно. Совсем не нашего круга. Пошла бы я? Надо было бы подумать. Впрочем, ерунда, он в мыслях меня не имеет».

— Разумеется. И «Капитанская дочка» тоже шедевр. Но, начиная с бунта, в ней появляется авантюрный роман, вдобавок чуть слащавый и приспособленный к цензурным требованиям... А знаете, кого я еще из поэтов люблю? Алексея Толстого. Вы, верно, видите в этом признак плохого вкуса?

— Нисколько, хотя мне не очень нравятся его стихи.

— Он был, если хотите, самый находчивый, самый изобретательный из русских поэтов, перепробовал все жанры, все ритмы, все напевы. А главное, я уж очень люблю его как человека... Мне когда-то хотелось быть на него похожим!

— Да вы и в самом деле, кажется, на него похожи. Я помню его биографию.

— К сожалению, только во взглядах... Кое-чем впрочем и в жизни. Вы помните, что он был однолюб, всю жизнь любил только свою жену,— быстро вставил Тонышев и тотчас вернулся к прежнему разговору.— Может быть, мрачный тон Манфреда признак возвышенной души,

но мне он вполне чужд. Я обо всем этаком, манфредовском никогда и не думаю. А вы?

— Я тоже нет.

— И слава Богу! Я уверен, что и сам Байрон в Миссолонги страстно мечтал выздороветь и зажить обыкновенной человеческой жизнью. В ней ведь так много радостей, и больших, и малых.

— Это всегда говорит мой брат.

— Правда? Какой милый ваш брат. И его жена тоже! Я так благодарен Людмиле Ивановне, что она ввела меня в ваш гостеприимный дом. Вы ведь очень близки с ней?

— С Людой? Да, мы в хороших отношениях.

— Она на вас непохожа. Я потому и позволил себе спросить.

— По-моему, она слишком резка. Люда по существу добра, но у нее злой язык.

— Если вы это говорите, то и я позволю себе сказать то же самое... Конечно, вы и ваш брат совершенно правы: очень много радостей в жизни, и я за них всегда благодарю Бога. Разве не большая радость вот то, что мы здесь сидим с вами... В вашем милом доме, в обществе умных, хороших людей. Я так рад нашему знакомству! — говорил Тонышев, глядя на нее уже почти с восторгом.

Нина ничего особенно умного и интересного не сказала, но с первого знакомства понравилась ему чрезвычайно. Ему давно хотелось жениться; он даже сам над собой иногда посмеивался: «При встрече с любой красивой барышней присматриваюсь как к возможной невесте!» При этом мало интересовался состоянием или родством барышни. Денег и связей у него у самого было достаточно. Были только полусознательные пределы, из которых он не мог бы выйти: на революционерке вроде Люды не мог жениться почти так, как не женился бы на горничной. Но Нина из его пределов не выходила: об этом свидетельствовали и разговоры, и уклад жизни в семье Ласточкиных. Он плохо знал ту среду, которая называлась «буржуазной». «Это во всяком случае приятные и культурные люди».

— Господа, кофе будем пить в гостиной,— сказала, вставая, Татьяна Михайловна.

Некоторые гости сочли возможным проститься тотчас после ужина. Все были очень довольны приемом. Простился и артист, он должен был выступать еще где-то, мог это делать и два, и три раза за ночь.

— Спасибо, от души вас благодарим, вы нам доставили такое большое удовольствие. Не решаюсь вас просить продлить его: в самом деле, что же еще можно читать после «Манфреда»,— ласково говорила хозяйка. «Теперь осталась только тяжелая артиллерия, ну, да это ничего»,— подумала она. Дмитрий Анатольевич проводил уезжавших, в передней пошутил сколько было нужно и вернулся в гостиную, еще больше волнуясь. «Главное, это начать. Сейчас ли? Жаль, что я не предупредил Таню. Она еще огорчится... А может, гостям теперь не до серьезных разговоров: удобно устроились с чашками кофе, а тут «политическая беседа». Ну, да что ж делать?»

В гостиной разговор шел о мелодекламации.

— ...Артист он, конечно, изрядный, но эта ваша мелодекламация есть вещь гибридная,— сказал Никита Федорович Травников, пожилой профессор истории права. Он был добрейший, любезнейший человек, всем оказывал услуги, но вечно кипятился, возмущался и непременно хотел считаться «злым языком». Называл себя «потомственным почетным москвичом», по аналогии с потомственными почетными гражданами, и в самом деле принадлежал к старому, хотя и не знатному, московскому дворянству. Он и говорил так, как говорили в старой дворянской Москве, без купеческого или народного аканья. Любил вставлять в свою речь старинные, даже церковнославянские слова, а то французские или чаще латинские. По политическим взглядам, с той поры, как и в его кругу стало обязательно иметь политические взгляды, причислял себя к «либеральным консерваторам». Был душой обедов и банкетов, шутливые тосты произносил отлично, знал толк в винах, но ни разу в жизни не был пьян. Брил бороду в ту пору, когда ее все носили, и говорил, что ее брили его духовные предки, римляне, первый народ в мире, создавший науку права; но отпустил бороду, когда она вышла из моды: русскому человеку бриться не надо. Знал он решительно всех, почти со всеми был дружен; но уверял, что на «ты» был в жизни только с одним человеком, и тот оказался провокатором. Студенты его обожали, он их всех знал в лицо, на экзаменах никого не проваливал и никому не ставил высшей отметки,— «пять поставил бы только Савиньи, и с досадой, потому немец». Ласточкины очень его любили, и он их очень любил, хотя Татьяну Михайловну благодушно корил еврейским происхождением, а Дмитрия Анатольевича называл перебежчиком: переметнулся от буржуазии к интеллигенции.

— Опера тоже гибридный жанр,— возразила Люда.

Ласточкин тревожно на нее взглянул. «Ох, она навеселе! Что ж, если начинать, то сейчас. Но не стучать же ложечкой по стакану!»

— Так оно и есть, барынька,— сказал Травников.— Но я в опере слов никогда и не слушаю.

— А в «Манфреде» слова чудесные. Это вам не Андрей Белый,— сказал профессор-литературовед.

— Почему кстати сей юный поэт Боря Бугаев именует себя Андреем, да еще Белым? Отчего не Голубым?

— Да, ведь разумеется, он сын нашего почтеннейшего математика Николая Васильевича? — спросил Скоблин, один из первых хирургов Москвы, известный в частности своим необыкновенным хладнокровием. Он после обедов с водкой и винами уезжал в клинику и там очень искусно производил сложнейшие операции.

— Яблоко от яблони недалеко падает.

Никита Федорович рассказал последний анекдот о профессоре Бугаеве, который будто бы изругал извозчика за то, что тот на козлах сидел к нему спиною. Все смеялись.

— Все же превосходство новых революционных поэтов над старыми не подлежит сомнению,— сказала Люда еще громче.— Я уверена, что они все проштудировали Маркса.

— Барынька, да какие же они революционеры! Я слышал, что за винным зельем они поругивают «жидов».

— Это неправда!

Дмитрий Анатольевич воспользовался случаем:

— Не знаю, штудируют ли Маркса поэты, но в рабочих кругах его влияние все растет, и это...

— И это в высшей степени отрадно,— перебила его Люда. Ласточкин бросил на нее умоляющий взгляд — «помолчи хоть немного!» — и заговорил. К некоторому удивлению Татьяны Михайловны и гостей, заговорил не в обычном тоне, а так, как люди начинают речь; это было видно по его интонации и по чуть поднятому голосу. Впрочем, он шутливо попросил гостей не пугаться:

— Я не намерен занимать долго ваше внимание, а лишь хотел бы положить начало некоторому обмену мненьями с людьми, гораздо более компетентными в политических делах, чем я. Положение, как всем известно, достаточно серьезно. Что ж, du choc des opinions jaillit la vérité [1],— сказал Дмитрий Анатольевич.

---

[1] В споре рождается истина *(франц.)*.

— А, ну, ну, посмотрим, какая такая истина,— заметил Рейхель саркастически. Все взглянули на него с недоумением; он обычно не принимал участия в разговорах.

Ласточкин повторил, что считает положение очень тревожным и не только в России, но и во всем мире. Недавняя вызывающая поездка Вильгельма II в Танжер показала, что мы были на волосок от европейской войны. Кайзер очевидно хотел использовать момент русской слабости. Об этом поговорили, а теперь забыли или забывают. Везде гораздо меньше интересуются общим мировым положением, чем небольшими текущими делами каждой данной страны. О внешней политике и вообще говорят больше разве только на парадных конгрессах. Японская война, сравнительно небольшая, привела Россию чуть не к революции и, во всяком случае, к 9-му января. Что же будет с Европой, если так же случайно, из-за каких-либо европейских Безобразовых, начнется всеобщая война?

Дмитрий Анатольевич, на деловых собраниях говоривший очень гладко и хорошо, теперь, от непривычной темы, от удивленных взглядов гостей запинался и не мог справиться с мыслями. Пытался было вернуться к шутливому тону, но и это не вышло.

— Один мой знакомый,— сказал он,— сообщил мне, что Витте в разговоре с Вильгельмом назвал Европу престарелой, увядающей красавицей, медленно идущей к гибели. Можно быть разного мнения о Витте, но нельзя ведь отрицать, что он очень умный человек.

— Это отрицать можно-с,— перебил его сердито Морозов. Он недавно разговаривал с главой правительства, и этот разговор оставил у него очень неприятное впечатление: Витте «дружески» посоветовал ему заниматься промышленностью и бросить политику: «Вы в ней, Савва Тимофеевич, ничего не понимаете. Слышал, вы даете миллионы на революцию. Не советую, очень не советую»,— многозначительно сказал он.

— Я был с делегацией у Витте,— сообщил старый земец.— И он ничего об опасности европейской войны не говорил.

— Разумеется,— подтердил Скоблин.

— В самом деле на Витте ссылаться незачем, Дмитрий Анатольевич,— сказал видный сотрудник «Русских Ведомостей».— Дело не в его уме, но он уже наглядно доказал, что у него очень ограниченный кругозор. Ведь он считает Александра III великим монархом и лучшей формой правления признает самодержавие с хорошим царем.

В сущности, его политика, сдается мне, в значительной мере определяется его личной ненавистью к «ныне благополучно царствующему монарху» и еще...

— Это было бы не так плохо,— вставила, смеясь, Люда.

— И еще личным честолюбием.

«Точно ты личного честолюбия совершенно лишен. Или я»,— с недоумением подумал Тонышев, хотя ему хотелось находить прекрасным все в доме Ласточкиных.

— Вы говорите, барынька, о марксизме и поэзии,— отечески, но неодобрительно сказал Травников.— Наш почтенный коллега князь Трубецкой говорит однако о мещанах марксизма. Считает, что нет более мещанской интеллигенции, чем наша: у нас будто бы есть мещане марксизма, мещане позитивизма и даже мещане идеализма.

— Верно, ваш почтенный коллега выжил из ума.

— Разумеется,— подтвердил хирург. Он постоянно пользовался этим словом, иногда совершенно некстати. Слушал не интересовавший его разговор очень рассеянно. Смотрел на бородавку на щеке у земца и думал, что было бы очень просто и легко ее удалить, заняло бы две минуты.

— Он умнейший человек, я его очень люблю и почитаю,— обиженно возразил сотрудник «Русских Ведомостей»,— но о мещанстве нашей интеллигенции он говорит зря. Достаточно привести в пример его самого, а уж он интеллигент из интеллигентов.

— Это верно, хотя его июньское соло во дворце оставляло желать лучшего,— сказал Травников.— Но об европейской войне, Дмитрий Анатольевич, невозможно говорить. Если б Вильгельм хотел войны, то он объявил бы ее полгода тому назад, когда вся наша армия завязла на Дальнем Востоке. Тогда он взял бы нас голыми руками.

Старый земец с этим не согласился:

— Это бабушка надвое сказала. Не вся наша армия завязла, и у нас есть союзница Франция, и в случае войны с Германией наш народ встал бы как один человек! — с силой сказал он.

— И взял бы власть в свои руки.

— Ну, еще как будет править наша богоспасаемая деревня: Дырявино, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка-тож,— сказал земец. Он в юности был народником и даже, как Кравчинский, рыл в далеком глухом имении глубокое подземелье для устройства тайной типографии и



«Самоубийство» *(Часть первая, III)*



«Самоубийство» *(Часть первая, V)*

печатанья поэмы «Стенька Разин». Но на старости лет немного разочаровался в народе и вспоминал о подземельи с грустным умилением.

— Отлично будет править. И, во всяком случае, мировой пролетариат никогда не допустит европейской войны,— сказала Люда.

— По моему бабьему суждению, Вильгельм поскакал в Танжер больше для того, чтобы лишний раз увидеть свои портреты во всех журналах мира,— сказала, смеясь, Татьяна Михайловна. Она видела, что неожиданное выступление мужа не удалось, была огорчена и хотела замять дело.— Господа, кто хочет чаю? У нас «богдыханский», как уверяют в магазине.

— С удовольствием выпью чайку, барынька,— сказал Травников.— А насчет войны, Дмитрий Анатольевич, вы будьте совершенно спокойны. Симпатии к нам на Западе все растут. Вот, Кнут Гамсун так обожает Россию и все русское, что у нас в Москве клал в щи икру.

Все смеялись.

— Он ненавидит Соединенные Штаты еще больше, чем любит нас.

— Рад, что любит Россию, и жалею, что ненавидит Соединенные Штаты,— сказал, улыбаясь, Ласточкин. Он тоже видел, что из обмена мнениями ничего не вышло, и потерял охоту к разговору: не мог отвечать сразу и о Витте, о Трубецком, и о мировом пролетариате, и о Неелове-Неурожайке тож, и о щах с икрой Кнута Гамсуна. Сделал вид, что не очень хотел начинать политическую беседу и приятно улыбался, чтобы гости не подумали, будто он обиделся.

— Уж какая там европейская война,— сказал Травников.— А вот конституция у нас будет и очень скоро. Мы должны твердо сказать Витте «do ut des» [1]!

— Да что же мы-то «do»? Налоги, что ли? Немного.

— Ну, так «facio ut des» [2]. Авторитет в народе у нас, слава Богу, есть. И у государя нет другого выхода. Вот что мне вчера рассказывали...

Разговор пошел обычный, о петербургских и петергофских новостях. «Прекрасные они все люди, цвет нашей интеллигенции, таких, быть может, на Западе мало, но чего-то им не хватает»,— грустно думал Ласточкин. Татьяна Михайловна поглядывала на мужа одобрительно: не беда.

---

[1] «Даю, чтобы дал» *(лат.)*.
[2] «Делаю так, чтобы дал» *(лат.)*.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Не устроившись как следует в Москве, Рейхель решил попытать счастья в Петербурге. Люда всячески его в этом поддерживала. Революционное движение не только не прекратилось после манифеста 17-го октября, но еще усилилось. Шел глухой слух, будто в столице ожидается вооруженное восстание. «Во всяком случае, Москва — провинция. Центром будет Питер»,— говорила Люда социал-демократам из московского комитета. Сама она в комитет не входила, была этим обижена и огорчена. Товарищи отвечали ей уклончиво. «Без Ильича я и вообще никуда не попаду!» — думала Люда. Ленин же, по слухам, находился в Петербурге. Ей очень хотелось принять участие в восстании. Об опасности и не думала, как не думают о ней гимназисты, отправляющиеся добровольцами на войну.

Жизнь в Москве ей надоела. Было у нее еще и другое основание желать скорейшего отъезда, хотя о нем она старалась не вспоминать. Тонышев теперь чуть не ежедневно бывал у Ласточкиных и явно ухаживал за Ниной. С ней же при встречах был вежливо-холоден и называл ее по имени-отчеству. «Верно Нина сообщила ему, что я «гражданская». Стоило вводить его в их дом!» Она нисколько не была влюблена в Тонышева, любила Нину, но постоянно встречать их в доме Дмитрия Анатольевича было ей неприятно. «Пусть женятся, совет да любовь, мне совершенно все равно, а танцевать на их помолвке я не желаю. Очень влюбчив господин эстет».

Рейхелю она, конечно, иначе представляла необходимость переезда:

— Посуди сам, Аркаша,— говорила она миролюбивым, почти ласковым тоном.— Здесь тебе только обещают в лучшем случае штатную доцентуру. Часового гонорара для жизни не хватит, придется и дальше брать деньги у Мити. Ведь надо же этому положить когда-нибудь конец!

— Конечно, надо. Мне это нестерпимо тяжело. Но именно для переезда придется у него взять денег, и какая

же гарантия в том, что в Петербурге мне что-нибудь предложат? Разве у нас умеют ценить людей!

«Других умеют»,— подумала Люда. Она считала его выдающимся ученым: «Хоть это же у него есть!» — Но неудачи Рейхеля еще усилили в ней раздражение против него. Сама этого стыдилась: «При чем тут удачи и неудачи? Что они доказывают? Во всяком случае он настоящий ученый и труженик. Просто ему не везет. И Митя все-таки его несколько подвел. Он не виноват, что институт не создался, но зачем обещал золотые горы?» — думала она. «В Петербурге, если место найдется, Аркадий будет совершенно счастлив. Ведь ему почти ничего не нужно. Ему нужно спокойно работать и непременно в своей лаборатории, чтобы быть совершенно независимым. По той же причине ему необходимо, чтобы у него не было никаких долгов. То, что он берет деньги у Мити, у него настоящий пункт умопомешательства. Роскоши, денег он даже не любит, он один из самых бескорыстных людей, каких я когда-либо знала.— Старалась думать о нем *справедливо*.— И еще ему нужна женщина, да и то не очень нужна»...

— Гарантии, конечно, нет, но там возможностей верно больше.

— Что ты об этом знаешь?

— Штатную доцентуру можно получить и там. Хуже в этом отношении, чем здесь, в Питере наверное не будет. Там и я найду, наконец, платную работу.

— Не знаю, почему ты ее найдешь именно там. У тебя нет никакой квалификации,— угрюмо ответил Рейхель. Он и не хотел, чтобы Люда вносила свои деньги в хозяйство; сказал это больше потому, что теперь им обоим было трудно разговаривать без колкостей. Тотчас раздражилась и она.

— Пока и тебе не слишком помогла твоя «квалификация»... Хочешь, я сама поговорю с Митей? Татьяна Михайловна будет очень рада нашему отъезду, а он особенно спорить не будет. Предупреждаю, он потребует, чтобы ты взял много денег. Я возьму.

— Ни в каком случае!

— Тогда говори сам. Всем известно, что ты джентльмен и что он джентльмен, ты преимущественно снаружи, а он и внутри. Вообще вся ваша порода состоит из джентльменов. Нина тоже воплощение благородства, хотя страстно хочет выйти замуж за Тонышева, он ведь богат и делает блестящую карьеру.

— Я, конечно, не такой замечательный психолог, как ты, и не берусь делать характеристику твоей сложной натуры. По-моему, твоя трагедия в том, что ты считаешь себя чрезвычайно умной, тогда как на самом деле ты дура,— сказал Рейхель, совершенно разозлившись из-за «ты преимущественно снаружи». Он сам тотчас почувствовал, что для «колкости» это уж несколько сильно. Таково впрочем было в последнее время его искреннее убеждение.

Они поссорились. С Ласточкиным Аркадий Васильевич поговорил на следующий же день.

— ...Что ж делать, я должен искать платной работы. Не могу без конца быть тебе в тягость,— сказал он.

— Ну, что ж, попробуй,— сказал Дмитрий Анатольевич.— Мне так жаль, что...

— Надеюсь, я там найду работу,— перебил его Рейхель. Он имел привычку недослушивать собеседников и даже не подозревал, что это может их раздражать.

В поезде он с Людой почти не разговаривал. Как только они в Петербурге устроились в «Пале-Рояле», Рейхель отдал ей половину денег, полученных от двоюродного брата.

— Митя заставил меня принять тысячу рублей,— сердито сказал он.

— Но зачем ты мне даешь половину?

— Так вернее. Если я потеряю, останутся твои. Если потеряешь ты, останутся мои.

— Да ни ты, ни я никогда денег не теряли. Впрочем, как хочешь. Я спрячу четыреста в свой чемодан.

— И я спрячу четыреста в чемодан.

— Только твой не запирается на замок,— сказала Люда с некоторым недоумением: «Тогда какое же «если потеряешь»?»

Оба целый день бегали по Петербургу. Рейхель посещал профессоров. Оказалось то же, что в Москве: предлагали место в лаборатории и обещали должность штатного приват-доцента. Все же обещания были несколько определеннее, и одна из лабораторий оказалась хорошей. Он встречался с Людой лишь за обедом, да и то не всегда. На беду у него разболелись зубы. Надо было ходить ежедневно к дантисту, ждать долго очереди в приемной, проделывать мучительное лечение. Настроение у Аркадия Васильевича становилось все хуже. Люде было его жалко. «Все равно скоро конец»,— думала она. Рейхель думал то же самое.

Полусознательно он именно для этого отдал ей половину денег.

Она повеселела, оказавшись в родном городе. Тотчас побывала в партийном комитете, но адреса Ленина не узнала. Ей отвечали, что не знают сами: Ильич скрывается и постоянно меняет комнату, живет отдельно от жены и даже отдельно от нее приехал из-за границы.

— Да, я понимаю, что шпики *теперь* ищут усиленно,— сказала Люда многозначительно: давала понять, что ей известно о предстоящем восстании.— Да ведь *у нас* теперь есть своя газета. В какие часы Ильич бывает в редакции?

— В самые неопределенные. Туда тоже могут нагрянуть. Он уже замечал, что за ним ходит гороховое пальто.

— Пойду в газету. Я с Лондона Ильича не видела,— сказала Люда обиженно.

— Правда, ведь вы тогда были с ним на Съезде,— сказал один из членов комитета. Дмитрий, грубовато-веселый и добродушный человек.— Значит, своими глазами видели, как от мартовцев остались рожки да ножки? Ильич и теперь их по головке не гладит. Вот что, завтра в газете состоится редакционное собрание. Назначено на пять часов, значит начнется в шесть. Приходите пораньше, может его и поймаете. Приглашены все литераторы, с декадентами включительно. Ох, народ!

— Неужто Ильич пригласил и декадентов?

— С проклятьями, но пригласил. Как же теперь без них? Надо же, чтобы газету читали. Да и пенензы достала жена Горького, а она сама чуть ли не декадентка... Вы там Морозова не видели?

— Видела-с. Говорила-с,— сказала она. Член Комитета засмеялся.

— Побольше бы таких, как он, болванов-буржуев. Так вот, повидайте Ильича и захаживайте к нам. Люди очень нужны, работаем с раннего утра до поздней ночи.

— Вся вложусь в дело! — обрадовавшись, сказала Люда.

II

Она отправилась в редакцию в указанное ей время. Подходя к дому, с восторгом увидела, что через улицу, оглядываясь по сторонам, бежит Ленин, в пальто с поднятым каракулевым воротником. Они столкнулись у входа. Он еще раз оглянулся и, поспешно войдя в дверь, поздоровался с Людой приветливо, но так, точно видел ее накануне. На этот раз в ее отчестве не ошибся.

— Ильич, сколько лет, сколько зим!.. Я так рада! Мне нужно о многом с вами поговорить. Где и когда можно?

Он, поднимаясь по лестнице, только показал рукой на шею.

— Почтеннейшая, сейчас не могу. Разве после заседания, если у вас что-либо важное?

«Почтеннейшая»,— подумала Люда.

— Не знаю, как для вас, Ильич, а для меня очень важное. Разумеется, в партийном отношении. Ведь заседание очень затянется? Где же мне вас ждать?

— А вы пройдите в редакционную, послушаете.

— Вы меня в сотрудницы не звали.

Он взглянул на нее изумленно. «Хороша ты была бы сотрудница!.. Впрочем, и другие не лучше»,— подумал он.

— Где же мне было вас искать? Милости просим. Это тут, прямо. Если вас спросят, скажите, что я вас пригласил,— ответил он и, улыбнувшись, исчез за боковой дверью.

Заседание еще не началось. Люда только заглянула в комнату. Там стояло много стульев, ни один не был занят. «Нет, что же сидеть одной?» — Но и в передней стоять одной было неловко. «Вернусь минут через десять, когда соберется народ». Она вышла и увидела, что по лестнице, шагая через две ступеньки, поднимается Джамбул. Обрадовалась ему еще больше, чем Ильичу. Он тоже улыбнулся очень радостно, совсем не так, как Ленин.

— Люда, какими судьбами!

— Вы-то, Джамбул, какими судьбами? Вот и думать не думала, что вы в Петербурге!

— И я не думал,— сказал он, отворяя перед ней дверь. В передней расстегнул шубу и оглянулся. Вешалки не было. Не было и зеркала. «Еще элегантней, чем был прежде!» — подумала Люда.— Как это, дорогая моя, вы здесь очутились?

— Пришла на редакционное совещание. Я ведь сотрудница. Вы тоже?

— Как же, как же. Буду писать баллады и рождественские рассказы. Надеюсь, вы никуда сейчас не убегаете?

— Не убегаю. Я просто в восторге, что встретилась с вами! Всегда мы встречаемся в разных партийных учреждениях. Так было и в Брюсселе. Сколько воды с тех пор утекло!

— Да, немало. Где вы живете?

— В «Пале-Рояле». Я только пять дней тому назад приехала из Москвы.

— С мужем?

— С Рейхелем, но я вам давно говорила, что он не мой муж. А где и с какими гуриями живете вы?

— Так легкомысленно нельзя говорить у социал-демократов. Это «трефное».

— Да я ничего легкомысленного не хотела сказать, это у вас такое воображение. Давайте сядем здесь в углу. Или вы хотите уже идти на заседание?

— Отнюдь не хочу. Верно, там уже собрались вице-Бебели, надо будет вести умные разговоры, а я не умею. Где вы сегодня ужинаете? Хотите, поужинаем вместе?

— С великой радостью. Но Ильич обещал поговорить со мной после заседания.

— Неужели вы верите его обещаниям? Мне он тоже обещал и давным давно забыл.

— Зачем же вы пришли?

— Послушать умных людей.

— Все-таки вы не настоящий большевик.

— Разумеется, не настоящий! Подделка самой грубой работы.

— Кто же вы?

— Я склоняюсь к мистическим анархистам. Они ваши «друзья слева», как кадеты называют вас.

— Вы не изменились, вечные шутки!

Отрываясь от болтовни, Джамбул негромко называл ей проходивших людей. Некоторых она сама узнавала по фотографиям из «Нивы». Это были очень известные писатели.

— Видите, какие вдохновенные лица,— говорил он вполголоса.— У них мировая скорбь!

— «Братья-писатели, в вашей судьбе — Что-то лежит роковое»...

— Ничего, они и с «роковым» все доживут до восьмидесяти лет и умрут от простаты или от болезни печени. Сколько Савва Морозов платит за «роковое» построчно?

— Какой гадкий вздор! И очень хорошо, что доживут!

— Нет, не очень хорошо. Человек не должен умирать развалиной, и вообще не надо жить долго.

— Да, знаю, вы Полиоркет! Во всяком случае вы видите, что за Ильичом идет весь цвет русской литературы!

— Сейчас верно прискачет из Ясной Поляны и Лев Толстой. Надеюсь, ему послали приглашение срочной телеграммой? — спросил Джамбул.— Ну, пойдем все-таки слушать вице-Бебелей.

На улице Джамбул расхохотался.

— Ох, ловкий человек Ленин... Дока!.. Кажется, так говорят: дока? — сказал он. Когда редакционное заседание кончилось, они минут десять ждали в передней. Затем справились, им ответили, что товарищ Ленин давно ушел.

— Верно, Ильич забыл, что назначил мне свидание,— смущенно сказала Люда.

— Разумеется, забыл! Просто забыл! — весело говорил Джамбул.

К приятному удивлению Люды, он назвал извозчику очень дорогой ресторан. «Значит, отец прислал много денег»,— подумала она. По дороге он обнял ее за талию, что удивило ее еще больше. Болтал со смехом о заседании и очень хвалил Ленина.

— Ему министром быть бы! И как хорошо он председательствовал! Вы заметили, как он ловко говорил с этим поэтом, как его? Красавцу очень хотелось написать политическую статью, а Ленин «отсоветовал» так учтиво и почтительно: «Зачем вам разбрасываться? Арабскому коню воду возить! Вы пишете такие изумительные стихи!» Разумеется, он его и человеком не считает, а в его стихи отроду и не заглядывал: должно быть, никогда в жизни никаких стихов не читал.

— Неправда! Ильич обожает Пушкина. Да он и сам пишет стихи, правда шуточные.

— Неужели? Может, и «станцы» пишет? Ужасно люблю слово «станцы», хотя не знаю, что оно собственно значит. Как надо говорить: станец или станца? По-моему, станцем называется сарафан, но, вероятно, поэты лучше знают. У Пушкина есть станцы, по форме чудесные, а по содержанию довольно гадкие: «В надежде славы и добра...» Это он от Николая-то ожидал добра!

— У Пушкина «стансы», а не «станцы»!

— Это один черт. Впрочем, мне все равно. Вы сегодня необыкновенно хороши собой! — говорил он. Люда смотрела на него с некоторой тревогой, но ее радость от встречи с ним все увеличивалась.

В передней ресторана он с минуту поправлял перед зеркалом шелковый галстух, который впрочем и до того был в полном порядке. Люда смотрела на него с насмешливой улыбкой.

Он потребовал, чтобы им дали отдельный кабинет.

— Помилуйте, Джамбул, зачем нам отдельный кабинет? Это совершенно не нужно!

— Совершенно необходимо. В общей зале могут быть

шпионы,— ответил он шепотом, наклонившись над ней и глядя на нее блестящими глазами.— Вас тотчас узнают, схватят и повесят, а я не хочу, чтобы вас вешали, у вас такая удивительная шейка. Просто как у Дианы! Кажется, это у Дианы была знаменитая шея?

— Это вас надо бы повесить,— сказала Люда, еще больше озадаченная «шейкой».

— Для начала мы с вами выпьем водочки. Очень холодно, правда?

— Совсем не холодно, еще и не зима,— ответила она, стараясь говорить сухо.— Вы надели шубу, верно чтобы щегольнуть бобровым воротником.

— Я южанин, мне в Петербурге и в ноябре холодно... Вы любите шашлык?

— Нет. Не люблю лука.

— Тогда не буду есть и я.

Обед он заказал так, точно всю жизнь обедал в дорогих ресторанах. «Еще подучится и станет не хуже, чем Алексей Алексеевич»,— подумала Люда, вспоминая о Тонышеве уже без неприятного чувства. «Ну и пусть женится на Нине, мне-то какое дело!»

— Какое шампанское вы больше любите?

— Все равно. Клико... Не слишком ли много вы пьете? — спросила она, когда лакей отошел.

— Это не ваше дело.

— Вы грубиян... Но симпатичный грубиян.

— И, пожалуйста, не говорите хоть за обедом об Эрфуртской программе.

— Да я никогда о ней не говорю, что вы выдумываете! А об Ильиче говорить можно?

— Я видел его в Женеве и раз у него обедал. Надежда Константиновна была со мной очень любезна. Даже пива дала. Она милая женщина и неглупая. Именно такая жена и нужна Ленину, хотя она несколько злоупотребляет несомненным правом каждой женщины быть некрасивой.

— И даже очень злоупотребляет. Но меня Крупская не интересует. Расскажите об Ильиче подробнее. Вы имели с ним тот разговор?

— Нет, еще не имел.

— Ось лыхо! Да что же вы, наконец, хотели ему сказать?

— В двух словах не объяснишь. Впрочем, песню помните? — спросил он и вполголоса пропел с тотчас усилившимся кавказским акцентом:

Нам не так бы, др-рузья,
Пр-равадить н-наши дни!
Вместо д-дела у н-нас
Р-разга-воры адни!

— Это у Ильича-то «р-разговоры адни»!.. Хорсшо, что же он там делал?

— Пописывал, пописывал. Я был у него и в «Сосиете де лектюр» [1], где он целый день работает. Есть же такие чудаки, которые целый день работают в библиотеках. Я отроду в них не был! В первый раз и побывал, когда за ним зашел. Он должен был меня познакомить за городом с Гапоном.

— Не может быть!

— Разве вы не слышали, что Владимир Ильич связался с этим господином? Гапон вошел в большую моду на Западе. «Ле поп руж» [2], загребает деньги от поклонников и от газет. Верно, Ленин у него попользовался для партии. Они затеяли какое-то дело со шхуной «Графтон», которая должна была доставить оружие, кажется, в Кронштадт. Разумеется, села на мель. Дело в принципе глупым не было, во всяком случае получше, чем журнальчики. Но не вышло. Ох, эти теоретики! Я зашел в библиотеку, вижу, он ходит по комнате и что-то про себя бормочет, видно, обдумывал гениальную статью. Библиотекарь смотрел на него, как на сумасшедшего. А Гапон приехал на наше свидание верхом! Он в Женеве учился стрелять из револьвера и ездить верхом! Хорошо ездил!

Джамбул расхохотался.

— Что же за человек Гапон?

— Разумеется, прохвост.

— Почему вы так думаете?

— Как почему? Во-первых, вокруг Владимира Ильича почти все прохвосты, он их обожает. А во-вторых, если священник связался с Лениным, то он прохвост уже наверное.

— Да вы сами, Джамбул, чуть ли не верующий!

— Но не мулла. Когда стану муллой, брошу революцию. Аллах революции не любит. Однако повторяю, я нынче не желаю говорить о политике.

— А о чем же вы хотите говорить?

— О любви.

— О-о! С песенками и стишками, Полиоркет?

---

[1] Здесь: читальня (*франц.* Société de lecture).
[2] «Красный поп» (*франц.* le pope rouge).

— Нет, без стишков. Впрочем, отчего же без них или без поэтической прозы? Вы читали «Викторию»?

— Я аб-бажаю Кнута Гамсуна! Вы тоже?

— Да. Я пробовал перевести на наш язык «Лабиринт любви», он ведь, кажется, теперь во всех антологиях мира. Не перевел, но по-русски главное помню чуть не наизусть. А вы помните? Хотите, прочту?

«Это, кажется, длинно»,— подумала Люда. Ей после вина хотелось, чтобы он ничего чужого не говорил, чтобы он был лесным дикарем как Алан, а она как иомфру Эдварда. Но Джамбул любил декламировать:

— «Да, что такое любовь? — говорил он, глядя на Люду блестящими глазами...— Ветерок, шелестящий в розах. Нет, золотая искра в крови. Любовь это музыка ада, от нее танцуют и сердца стариков. Она может поднять человека и может заклеймить его позором. Она непостоянна, она и вечна, может пылать неугасимо до самого смертного часа. Любовь — это летняя ночь с звездным небом, с благоухающей землей. Но отчего же из-за нее юноша идет крадучись и одиноко страдает старик? Она превращает сердце в запущенный сад, где растут ядовитые грибы. Не из-за нее ли монах пробирается ночью, заглядывая в окна спален? Не из-за нее ли сходят с ума монахини, и король, валяясь на земле, шепчет бесстыдные слова? Вот что такое любовь. О нет, она совершенно иное. Была на земле весенняя ночь, и юноша встретил два глаза. Два глаза!» — читал Джамбул, придвигая к ее лицу свое.

— Да, удивительно! — прошептала Люда.

— «Точно два света встретились в его сердце, солнце сверкнуло навстречу звезде. Любовь — первое произнесенное Богом слово, первая осенившая Его мысль. Он произнес «Да будет свет!» — и явилась любовь. И все, что сотворил Он, было так прекрасно, и ничего не пожелал Он переделать. И стала любовь владычицей мира. Но все пути ее покрыты цветами и кровью. Цветами и кровью».

— Удивительно!

Он выпил еще бокал шампанского и тем же волнующим голосом, почти не изменив декламационной интонации, заговорил о своей любви к ней. Его лицо еще побледнело. Люда слушала его с упоением. «Что ему ответить?.. Да, у человека только одна жизнь... Я ведь и не жила!.. Я слишком много пью».

Еще слабо попыталась обратить все в шутку:

— Уточним, как на партийном съезде. Вы следователь-

но предлагаете мне «вечные нерушимые узы»? Проще говоря, предлагаете мне уйти к вам от Рейхеля?

— Не предлагаю, а молю вас об этом! Вы никогда его не любили!

— Откуда вам сие известно? — «О вечных нерушимых узах» промолчал,— подумала она.

— Бросьте шутить! — сказал он с угрозой в голосе.

— Да это вы вечно шутите...

— Бросьте шутить, говорю вам! Вы не можете любить такого человека, как он! И я им не интересуюсь!

— Но я им интересуюсь... Что я ему сказала бы?

— Что хотите. Правду,— ответил он и обнял ее.

Они вышли из ресторана поздно ночью. У входа стоял лихач.

— Эх, хороша лошадь! Орловский великан! Гнедой, моя любимая масть! — сказал с восхищением Джамбул. Люда взглянула на него с укором. «Кажется, сейчас опять заплачу...»

К удивлению извозчика, они всю дорогу молчали. У «Пале-Рояля» Джамбул поцеловал ей руку. Люда страстно его обняла.

— Я завтра, милая, позвоню тебе по телефону. В котором часу его не будет дома?

Она ничего не ответила.

Рейхель еще не спал. Читал, лежа в кровати. Зубы болели все сильнее. Нерв в дупле умерщвлялся медленно. Злоба у него все росла.

— Здравствуй, Аркаша. Я тебя разбудила? Пожалуйста, извини меня,— сказала она смущенно и подумала: «Теперь глупо называть его «Аркашей» и еще глупее просить извинения в том, что разбудила».

Он что-то буркнул и отвернулся. На кровати Люды проснулась кошка и радостно соскочила.

Люда умылась по возможности бесшумно и легла. Пусси, совершенно удовлетворенный, устроился у ее плеча. Рейхель продолжал молчать. Она хотела начать разговор и решила, что лучше отложить до утра. Хотела еще подумать, но чувствовала, что и думать не может.

— Потушить? — робко спросила она.

Он быстро приподнялся, приложив руку к щеке.

— Где ты была?

— На редакционном заседании нашей газеты... Там встретила Джамбула...

— Какого Джамбула?

— Это тот революционер, с которым я тебя как-то познакомила на Лионском вокзале.

— Редакционное заседание кончилось в два часа ночи?

— Нет, оно кончилось раньше. Потом я с Джамбулом ужинала в ресторане.

— Вдвоем?

— Да, вдвоем.

— Если он посмеет опять тебя звать, то я вышвырну его вон! — закричал Рейхель. Ей стало смешно, что он «вышвырнет» Джамбула.

— Поговорим спокойно,— сказала она, стараясь осторожно отделаться от Пусси.— Я давно хотела тебе сказать, и то же самое верно ты хотел сказать мне. Нам обоим с некоторых пор ясно, что мы больше жить вместе не можем. Я предлагаю тебе сделать вывод. Пожили и будет. Расстанемся друзьями. Для чего тебе жить с *дурой?*.. А может быть, ты и прав,— искренно сказала Люда,— я, если и не дура, то сумасшедшая!

Он хотел ответить грубостью, но не ответил. «Ведь в самом деле она предлагает то, чего я хотел, о чем только что думал».

Ничего больше не сказал и потушил лампу.

«Вот все и кончилось очень просто. Завтра же куда-нибудь перееду. К нему и перееду»,— думала она с восторгом.

Вернувшись домой, Джамбул расстегнул воротник и сел в кресло. На столе стояла бутылка коньяку. Он выпил большой глоток прямо из горлышка.

«Она прелестна, но попал я в переделку! И так скоропалительно. Еще сегодня утром думал о ней как о прошлогоднем снеге...»

«Переделок», и обычно «скоропалительных», у него в жизни бывало много, и он драматически к ним не относился. «Верно, она поехала бы со мной и на Кавказ. Никогда я не введу ее в такие опасные дела. И что у нее с Кавказом общего? Об этом и речи быть не может!»

Он бросил на столик рубль, загадав, выйдет ли все хорошо с Людой. Вышло, что все будет отлично. Счел остававшиеся у него деньги. Было всего пятьдесят семь рублей. «Не беда, пошлю отцу телеграмму. Будет старик ворчать, пусть ворчит»,— думал он.

III

В начале декабря в Москве началось восстание.

Московская интеллигенция растерялась. Происходили если не бои, то что-то на бои очень похожее. На окраинах города трещали пулеметы, везде стреляли из револьверов. Улицы стали пустеть. По ним ходили, крадучись, странного вида люди, в большинстве в кожаных куртках, надолго ставших революционным мундиром. Лавки открывались на час или на два в день и ничего на дом не доставляли. Выходить из дому было опасно и все-таки выходить приходилось. Затем и в лавках товары почти исчезли: все было расхватано, подвозили из деревень очень мало. Несмотря на кровавые события, отсутствие еды было главным предметом телефонных разговоров,— телефон действовал. Передавались страшные слухи. Говорили, что из Петербурга на Москву двинута гвардия и что восстание очень скоро будет потоплено в крови.

Большинство москвичей в душе не знало, кому желать победы. Сочувствовать правительству люди за долгие десятилетия отвыкли, да хвалить его было не за что: из окон многие видели, как на улицах убивают людей и избивают их нагайками до полусмерти. Но и сочувствовать революционерам почти никто из интеллигенции не мог: все считали восстание бессмысленным, плохо понимали, кто собственно и по чьему решению его устроил, к чему оно должно привести и что делали бы революционеры, если б и справились с московскими властями.

Ласточкин был совершенно угнетен. От его веры в графа Витте ничего не осталось. Прежде можно было думать, что главе правительства, по принятому выражению, «вставляют палки в колеса». Теперь ясно было, что все делается по его приказу, хотя руководит подавлением восстания адмирал Дубасов. «Но *что же* все-таки должен был делать Витте?» — с тягостным недоумением спрашивал себя Дмитрий Анатольевич.

Не могло быть и речи о том, чтобы на улицу выходила Татьяна Михайловна. Он сказал ей это так решительно, что она не спорила. В самом деле из знакомых дам ни одна на улицах не показывалась.

— Митя, но тогда и ты не выходи! Умоляю тебя!

— Посылать Фёдора мы имеем моральное право только в том случае, если буду выходить и я,— ответил Ласточкин.

В их районе, довольно далеком от центра, беспорядки были особенно сильны. Федор не очень желал выходить, но пример барина и очевидная необходимость на него подействовали. Они отправлялись утром вдвоем и покупали все, что можно было достать, преимущественно консервы, сухое печенье, и тотчас возвращались домой уже на весь остаток дня. Однажды издали видели, как неслись по улице казаки с поднятыми нагайками. В них откуда-то стреляли из револьверов. Дмитрий Анатольевич вернулся сам не свой. «Это неслыханно!.. Этому имени нет!» — говорил он растерянно жене, которая тоже повторяла: «Неслыханно!» и думала, как устроить, чтобы Митя больше не выходил.

Скоро загремела и артиллерийская пальба, которой Москва не слышала с 1812-го года. Началась паника. Затем пальба затихла, перестали трещать и пулеметы. Стало известно, что Пресню, главный очаг восстания, разгромил пришедший из Петербурга Семеновский полк. А еще немного позднее телефоны разнесли весть, что восстание подавлено, что революционеры частью истреблены, а в большинстве скрылись.

Нормальная жизнь восстановилась с удивительной быстротой и на окраинах. В лавках появилась еда, точно подвозившие мужики отлично разбирались в событиях. На улицы выехали извозчики, даже лихачи. Москвичи не только стали выходить из дому, но проводили на людях чуть ли не весь день,— так всем хотелось обменяться впечатленьями.

К Ласточкиным первый, в необычное время, еще утром приехал профессор Травников. Татьяна Михайловна обрадовалась ему чрезвычайно. Хотела все узнать и надеялась, что Митя хоть немного развлечется. Гостя усадили в столовой и зажгли электрический кофейник. Федор с радостным видом принес первые, еще горячие булочки и свежее масло.

— Господи! С неделю этого не видел! Ну, дела! — сказал профессор. Он поправел, хотя и не совсем уверенно.

— И мы до нынешнего утра не видели. Кушайте на здоровье, и, умоляем вас, рассказывайте поскорее все, что знаете!

— Убиты тысячи людей!.. Может быть, цифру и преувеличивают, но жертв великое множество. Вот что сделали эти господа! Я собственными глазами видел, как...

Вопреки своему обычаю, Татьяна Михайловна его перебила:

— Какие господа? Ради Бога, объясните, кто они и чего они хотели?

— По имени, барынька, я их знать не могу. А чего они хотели, это я у вас хочу спросить. Говорят, какие-то большевики и еще эсеры. Один черт их разберет!

— Но на что же они надеялись! На правительство Троцкого или Носаря?

— Господа вожди были, к счастью, вместе со всем Советом Рабочих Депутатов, арестованы чуть не накануне восстания. Кстати, этот Бронштейн, именующий себя Троцким, и они все дали себя арестовать как бараны,— сказал Травников и спохватился, вспомнив, что Татьяна Михайловна еврейского происхождения.— Догадался, наконец, ваш граф Витте!

— Он не «мой»,— мрачно ответил Ласточкин.

— Кто же руководит этими большевиками?

— Я слышал, какой-то Ленин. Он у них самый главный. Троцкий, тот, кажется, меньшевик. Большевики хотят, барынька, сцапать у нас все, а меньшевики, спасибо им, только половину... А как же, Дмитрий Анатольевич, Витте не ваш? Вы его всегда зело одобряли.

— Теперь никак не могу. Действия наших властей были совершенно возмутительны!

— С этим я не спорю, но, во-первых, одно дело власти, а другое Витте. А во-вторых, что же властям было делать, когда в городе начался кровавый бунт?

— Во всяком случае не то, что они делали.

— Тьер и французские республиканцы подавили восстание коммунаров никак не с меньшей жестокостью. В тысяча восемьсот семьдесят первом году было убито и казнено, помнится, около тридцати тысяч человек.

— Очень французские богачи испугались тогда за свои капиталы! — сердито сказал Дмитрий Анатольевич.

— Да, именно,— подтвердила Татьяна Михайловна.

— Я нисколько их не защищаю, но ведь и вы, барынька, не так порадовались бы, если б у вас все это отобрали,— сказал профессор, показывая взглядом на обстановку комнаты.

— Не порадовалась бы, но казней не требовала бы!

— Да я и не требую. Однако, и грабежей никак не одобряю. Помните, как сказано в «Дигестах»: «Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest» [1].

---

[1] «Никто не должен свой поступок превращать в прибыток» *(лат.)*.

— Я не помню, как сказано в «Дигестах», и даже не знаю, что это такое.

Профессор добродушно засмеялся.

— Не сердитесь, барынька. И Дубасова уж я никак не защищаю. Действительно, расправа была жестокая. Представьте, я видел своими глазами, как...

Почта опять стала работать правильно. В первый же день Ласточкины послали двоюродному брату успокоительную телеграмму: «Оба невредимы как и все друзья знакомые домашние точка ждем письма обнимаем таня митя». Ответ пришел: «рад обнимаю аркадий».

— Странная редакция. Почему в единственном числе? Аркаша мог бы подписать и Люду,— сказала с недоумением Татьяна Михайловна.

— Уж не арестована ли она! Завтра верно будет письмо,— ответил так же Дмитрий Анатольевич.

Письмо пришло не сразу и было краткое и тоже странное. Обычно Люда приписывала к письмам Аркадия Васильевича: «Сердечный привет и от меня», или, для разнообразия, «Я тоже шлю сердечный привет». Теперь приписки не было; привета от нее не передавал и Рейхель. Ласточкины не на шутку встревожились. Посоветовавшись, они написали осторожно: спрашивали о здоровье Люды, затем описывали московские события и свои переживания. Еще через несколько дней пришел ответ, совершенно их поразивший:

«Я здоров и благополучен,— писал Рейхель.— Много работаю и, как вы знаете, то место мне обещано твердо. Очень о вас беспокоился и искренно сочувствую, что вам пришлось столько пережить. Здесь все было тихо. С Людой я разошелся. Она от меня ушла к какому-то кавказскому разбойнику и, ни минуты не сомневаюсь, благоденствует. Больше меня, пожалуйста, о ней не спрашивайте, я ничего не знаю и, скажу откровенно, не интересуюсь. Она предпочла мне разбойника, и этим все сказано. Ее адрес, на случай, если б вы пожелали ей написать, мне неизвестен».

Они только ахали, читая. Татьяна Михайловна негодовала.

— *Такого* я не ждала *даже от нее!* — сказала она. В первый раз у нее прорвалась неприязнь к Люде, всегда ею скрывавшаяся. Дмитрий Анатольевич чрезвычайно расстроился.

— Мы все-таки слышали только одну сторону, и во всяком случае мы им не судьи.

— Говори: мы *ей* не судьи, и это, конечно, будет верно. Но Аркаша ни в чем, я уверена, не виноват,— ответила Татьяна Михайловна, смягчившись. Она была привязана к Рейхелю, однако всегда думала, что очень тяжело иметь такого мужа.

— Едва ли он может быть тут беспристрастен. И уж наверно тот кавказец никак не «разбойник». Аркаша всех революционеров называет либо разбойниками, либо бандитами. Надо бы все-таки написать Люде, но куда же?

— Кажется, Аркаша не хочет, чтобы ты ей писал. Бедный, мне его страшно жаль!

— Как ты понимаешь, мне тоже. Мне впрочем и прежде казалось, что они не любят друг друга. Никак не то, что мы с тобой.

— Да, не совсем то... Бог с ней, я погорячилась.

— Как же она теперь будет жить? «Разбойник», верно, и беден.

— Конечно, пошли ей денег. Да куда послать?

— Именно.

— Может, она скоро напишет?

— Мне очень ее жаль. Она совершенно шалая женщина. Что ж, надо написать Аркаше. Просто не знаю, что ему сказать. Я и по случаю смерти не умею писать сочувственные письма, всегда выходит так плохо и стереотипно. А тут уж совсем беда!

— Да, это трудное письмо. Нельзя и сочувствие выразить, он ведь пишет, что «не интересуется»! Хочешь, я напишу, а ты только припишешь?

— Пожалуйста, очень прошу. У женщин всегда выходит лучше, у тебя в особенности.

Московская жизнь в первые недели после восстания все же стала менее шумной. Ласточкины на время отменили свои вечера. Дмитрий Анатольевич бывал на политических совещаниях. Все возлагали надежды на Государственную Думу.

В том же году еще другое известие внезапно его поразило, как и других москвичей его круга. В Канн, совершенно для всех неожиданно, покончил с собой Савва Тимофеевич Морозов. Незадолго до того говорили, что его здоровье в последнее время ухудшилось, что нервы у него расстроились совершенно и что врачи послали его в Париж

и на Ривьеру,— развлечься и отдохнуть. В гостинице он воспользовался минутой, когда жена вышла, лег на диван и застрелился. По Москве поползли самые странные слухи. Одни говорили, что Морозов убит каким-то врачом, которого к нему подослала революционная партия. Другие, неизменно повторяя «ищите женщину», рассказывали интимные сплетни. Третьи уверяли, что Савву Тимофеевича должны были тотчас по его возвращении в Россию арестовать и передать военному суду за то, что он дал миллионы на московское восстание. Четвертые сообщали, что у Морозова была какая-то «теория самоубийства»: все умные люди должны кончать с собой, так как жизнь слишком ужасна, и это самый лучший, самый безболезненный способ расстаться с ней,— он будто бы высказывал такую мысль в разговорах с друзьями. Трезвые москвичи только пожимали плечами: так эти объяснения были неправдоподобны и даже бессмысленны.

— Все это чистый вздор! — говорил Ласточкин.— Никогда никакие революционеры подобными делами не занимались и не могли заниматься, да и не в их интересах было бы убивать Савву Тимофеевича, который их поддерживал. И полиция давным-давно знала, что он дает деньги на революционное движение, и его не трогала, как не трогает и других богачей, тоже дававших на него деньги, хотя и гораздо меньше. И никто из них не кончает с собой. Специально на восстание он не дал бы ни гроша, и никакая каторга ему не грозила. И не такой он уж был влюбчивый человек, а романов у него и прежде бывало достаточно, как почти у всех...

— Не у вас, Дмитрий Анатольевич,— шутливо перебивали его друзья. Татьяна Михайловна улыбалась.

— Да, не у меня, но согласитесь, что из-за любовных романов половина Москвы должна была бы покончить с собой,— отвечал Ласточкин.

Особенно поразило людей то, что покончил с собой человек, которому миллионы давали решительно все блага жизни.

Татьяна Михайловна пыталась развлечь мужа. «Никогда до этого несчастного года он не бывал мрачен». Нерешительно предлагала съездить в Крым или за границу, говорила с ним по-прежнему весело. По природе она была менее жизнерадостна, чем ее муж, но всегда старалась быть бодрой; знала, что он это в ней любит, как любит и ее благодушные шутки. Теперь шутить было не о чем. Про себя она думала, что никуда ему уезжать не надо: успокоит-

ся, когда опять погрузится в свои обычные дела. Дмитрий Анатольевич понемногу в них и втягивался. К его, на этот раз почти неприятному, удивлению, ценности на бирже повышались.

Единственным радостным в их жизни теперь было то, что, как говорила мужу с улыбкой Татьяна Михайловна, Нина и Тонышев «быстро и верно шли к законному браку». Алексей Алексеевич бывал у них очень часто даже в дни восстания, когда все сидели по домам,— точно щеголял своим мужеством. Приносил огромные коробки конфет,— «единственное, что еще можно достать». Отдавал всегда конфеты Татьяне Михайловне, но сидел обычно с Ниной вдвоем.— Ласточкины почти бессознательно оставляли их. Один раз под вечер тайком вышел с ней «погулять», хотя пальба гремела как будто довольно близко. Правда, вернулись они минут через десять,— Нина была очень взволнована. Татьяна Михайловна не на шутку рассердилась.

— Помилуйте, Алексей Алексеевич, как же можно так рисковать! Это Бог знает что такое!

— Ради Бога, не гневайтесь, Татьяна Михайловна. Это в самом деле было непростительно, вся вина моя,— говорил Тонышев; в действительности, он долго убеждал Нину отказаться от «прогулки» и уступил только тогда, когда она сказала ему: «Может быть, *вы* боитесь? В таком случае не надо!»

— Могли вас обоих принести на носилках! Это было бы, конечно, очень поэтично умереть на баррикадах, но баррикады вдобавок чужие и весьма сомнительные. Очень прошу вас больше Нину не выводить.

— Танечка, это моя вина! Это я, по глупости, пристала к Алексею Алексеевичу.

— Все твое любопытство!.. Слава Богу, что сошло благополучно. Медали за храбрость и боевые заслуги вы не получите, зато я вас награжу: к обеду достали шпроты, картошку и два фунта колбасы. Будете есть их с альбертиками. Вино, конечно, есть. Дмитрий Анатольевич теперь пьет немного больше, чем обычно. Верно, как вы и как все. Какого прикажете к нашему лукулловскому обеду? Шампанского вы, Алексей Алексеевич, не любите, да и неприлично было бы теперь пить шампанское.

— Разумеется!.. Русские люди убивают русских людей! — сказал Тонышев. Он вначале говорил в доме Ласточкиных о восстании несколько осторожно. Но тотчас оказалось, что хозяева относятся к восстанию так же отри-

цательно, как он. Алексей Алексеевич успокоился и обрадовался.

— Я распоряжусь, чтобы перед обедом подали водку. Ведь адский холод! Восстания и вообще ужас, но устраивать восстание в двадцатиградусный мороз это вдобавок совершенный идиотизм! Вы любите зубровку, Алексей Алексеевич?

— Очень люблю, Татьяна Михайловна. А нельзя ли выпить рюмочку сейчас, чтобы немного согреться? Ведь до обеда еще далеко.

— Танечка, пожалуй, выпила бы и я. Какая ты умница, что в свое время запаслась! Вы знаете, Алексей Алексеевич, у нас есть «погреб», просто как у старых помещиков! Митя говорил, больше ста бутылок. У вас наверное нет «погреба»?

— Вот и ошиблись, в имении небольшой есть. Как жаль, что вы не видели моего имения! В Вене я куплю старого токайского, это мое любимое.

— Не уверена, что у нас есть токайское. Сейчас посмотрю. А имение у вас верно отберут, да и в Вену вы не попадете. Министром иностранных дел будет, должно быть, какой-нибудь Носарь, и он едва ли вас назначит советником,— сказала Татьяна Михайловна. «Уже совсем ведет себя как *свой*. Идиллия на фоне восстания!» — радостно подумала она и вышла распорядиться о водке.

Когда восстание кончилось, Тонышев, приехав на обед уже не из колбасы и шпротов, вскользь сообщил, что решил отложить отъезд в деревню. Ласточкины постарались не переглянуться.

— А разве ваш отпуск еще не истекает? — спросил Дмитрий Анатольевич.

— Я послал в Петербург просьбу о продлении. Министр, наверное, продлит, он очень милый человек и хорошо ко мне относится. В крайнем случае, горестно отправлюсь в Вену, не заезжая в имение.

— Очередной бюллетень: завтра они идут в оперу. Предлагают и нам, но без настойчивости. Я ответила: «Как жаль, мы с Митей заняты»,—вечером говорила мужу Татьяна Михайловна.— Увидишь, Митенька, он на днях сделает предложение! И по всем правилам: сначала поговорит с тобой. Впрочем, не «сначала». Ты, разумеется, грубо откажешь! Откажи, но все-таки уж не слишком грубо: без непристойных слов. Ах, как я рада!

— Я тоже страшно рад. Он прекрасный человек.

IV

Люда узнала о московском восстании из газет. Знакомые по комитету ей предварительно ничего не сообщили, Ленина она, после редакционного совещания, больше не видела. И то, и другое было обидно.

— Я переехала сюда именно потому, что восстание должно было произойти в Петербурге! И вот какой сюрприз! Нам надо сейчас же вернуться в Москву и принять участие в деле! — взволнованно говорила она Джамбулу.— Сегодня же поедем!

— Разве на ковре-самолете? Движение прекращено, и все подступы к Москве, конечно, охраняются войсками,— ответил Джамбул, пожимая плечами. Он был тоже взволнован, но гораздо меньше, чем Люда.

— Может, ты знал и ничего мне не сказал?

— Нет, я не знал. Сказал ли бы тебе, не знаю. Восстания уже совсем не женское дело.

— Почему не женское дело?

— Из-за твоей горячей головы тебя убили бы в первый же день.

— Все-таки у тебя восточный взгляд на женщин! — сказала Люда сердито, хотя его объяснение немного ее смягчило.

— Тогда у твоего Ленина тоже: он Крупскую в Москву не отправил. И, что много хуже, сам туда не поехал.

— Почем ты знаешь? Ильич наверное уже давно в Москве! Кто тебе сказал?

— Я вчера слышал, что он здесь.

— Может быть, ты считаешь Ильича трусом?

— Нет. Он просто находит, что должен заниматься другим делом. Это все-таки несколько странно.

— Это клевета! Я сегодня же все узнаю, и тебе будет стыдно!

Еще недавно Люда ежедневно бывала в редакции *своей* газеты. Со всеми перезнакомилась, хотя ничего не писала. «Не могу найти интересной темы»,— говорила она. Но в начале декабря там был произведен обыск, и, наверное, полиция устроила засаду. Люда в тот же день разыскала Дмитрия. Он куда-то торопился и был очень взволнован. Адреса Ленина он не знал, или говорил, что не знает.

— *Во всяком случае*, все в Москве делается по точнейшим директивам Ильича,— сказал Дмитрий.— А откуда он их дает, это не ваша печаль. Скоро все будем знать. Пан или пропал!

— Я уверена, что пан! — восторженно сказала Люда.

Она вернулась домой на лихаче. Джамбул только усмехнулся.

— Даром погибнут сотни людей. Восстание, я уверен, обречено на провал.

— Почему? Что ты каркаешь?

— Потому, что у них по безденежью ничего нет, кроме револьверов и, быть может, трех с половиной пулеметов. Вице-Бебели впрочем останутся живы и здоровы, да и сам обер-Бебель с директивами тоже. Разве посидит в тюрьме, как Мунэ-Сюлли-Троцкий, которого со всем его Советом беспрепятственно арестовал скромный наряд полиции.

— Ты тоже еще не погиб геройской смертью,— съязвила Люда.

— Ваше русское восстание не совсем мое дело.

— Этого я не знала! Я думала, что это наше общее дело. А Ильич не может драться с казаками.

— Да, это не безопасно.

— Ты все понимаешь не так, как надо! Главнокомандующие сами не дерутся.

— Прежде дрались. У нас на Кавказе дерутся.

— Какие «у вас на Кавказе» главнокомандующие!

— Есть, есть. И они не сидят за шестьсот верст в тылу. Твой Ильич в Женеве говорил, что теперь мы все должны учиться владеть оружием: надо бить врага в самом буквальном смысле слова, если не из револьверов, то хоть дубинами. Очевидно, забыл.

Люда читала газеты и волновалась все больше. Через несколько дней стали приходить известия, что восстание провалилось. Из Москвы кружным путем приезжали растерянные, очень раздраженные люди. Все они рассказывали, что спаслись чудом, о Ленине говорили с кривой усмешкой и последними словами ругали Троцкого, Совет рабочих депутатов, петербургских революционеров вообще: «Вместо помощи прислали нам Семеновский полк! Даже не сделали попытки помешать ему пройти в Москву! Предатели и трусы!»

Дмитрий скрылся, и даже многие из тех, кому особенная опасность не грозила, «сняли шкуру», то есть ушли в подполье. Полиция производила аресты, но массовых облав не было. Несколько позднее Люде стало известно, что Ленин уехал из Петербурга.

От нервности ей показалось, что за ними установлена слежка. Она сообщила об этом Джамбулу как будто равнодушно, но с тайной гордостью. Он внимательно ее выслушал, подумал и сказал, что в таком случае надо принять ме-

ры предосторожности и первым делом переехать в другую гостиницу. Гордость у нее еще увеличилась: заметила она, а не он, опытный, бывалый революционер. Тотчас объявила швейцару, что уезжает в Варшаву, приказала извозчику ехать на вокзал, там наняла другого извозчика. Через час в новую гостиницу приехал Джамбул. Она ахнула: он перекрасил волосы и сбрил бороду.

— Милый, как тебе идет!.. Я тоже должна перекраситься, да? — Люде представились разные возможности: «Черные как смоль? Или тициановский цвет? И, разумеется, переменить прическу — Клео де Мерод?»

— Тебе поздно: тебя уже здесь видели такой, как ты теперь.

— Отчего же ты мне раньше не сказал!

— Ты не привыкла к гриму. Ему тоже надо учиться. Но ни тебе, ни мне особенная опасность не грозит. И мы скоро уедем: теперь сидеть в Петербурге бесцельно.

— Куда хочешь уехать? На Кавказ? — с беспокойством спросила Люда.— Но я там никого и ничего не знаю! Меня там и понимать не будут. Нет, на Кавказ я ни за что не перееду.

— Я тебе этого и не предлагаю.

— То есть, как? Ты хочешь туда ехать один!

— Я хотел тебе предложить уехать пока в Финляндию. Увидишь своего Ильича. Я только что узнал его адрес. Он в Финляндии, в Куоккала, вилла «Ваза», это, оказывается, общая штаб-квартира русских революционеров. Сказал тот ваш лохматый литератор, как его? Ну, тот, что пишет гражданские рассказы...

— Это стихи бывают гражданские.

— И рассказы тоже. Он офицеров называет «бравыми сынами Марса». Как же не гражданские рассказы?

— Что ж, в Финляндию поехать можно! Ты ведь и сам хочешь поговорить с Ильичом.

— Хочу, но он, верно, еще в столбняке после своего блестящего успеха в Москве. Да я еще кое-кого здесь ожидаю из Тифлиса. Или ты нервничаешь?

— Я? Нисколько!

— Я знаю, что ты не трусиха. Опасности почти нет. Русская полиция еще глупее, чем эти московские революционеры... Если тебе нужно что-нибудь купить или заказать, сделай одолжение. В Куоккале верно шьют хуже, чем в Париже.

— Мне ничего не нужно,— ответила Люда, краснея. Вопрос о деньгах теперь опять ее смущал, как при

Рейхеле. Она не вернула Аркадию Васильевичу пятисот рублей: сначала просто не подумала, потом хотела послать деньги в «Пале-Рояль» с письмом, но сказала себе, что он скорее всего отошлет их ей обратно и во всяком случае не ответит. Теперь за все платил Джамбул. При первой ее попытке «вносить свою долю в расходы» он вспыхнул и рассердился. Деньги у него были: отец, встревоженный событиями в России, прислал ему сразу две тысячи,— был убежден, что от неприятностей с полицией всегда и везде можно откупиться.

— Не нужно, так не нужно. Посидим еще здесь. Да и время интересное, соберется Государственная Дума, от которой впрочем, как говорят по-русски, что от козла молока... Ну, а пока до свиданья. Мне нужно повидать одного армянина.

— Или одну армянку,— сказала Люда якобы в шутку. Она не была особенно ревнива, но отлучки Джамбула начинали ее тревожить. Он теперь нередко уходил по вечерам, оставлял ее одну, не объяснял, куда уходит, обычно говорил, что нужно встретиться с «одним человечком».

Как-то он вернулся очень поздно. Она была в ужасе, не знала что делать. «Арестовали?.. А что, если он просто меня бросил! — вдруг пришло ей в голову.— Что тогда?.. Нет, неправда, это невозможно... Но что если?.. Рейхель будет в восторге... Герцогиня в Москве скроет восторг... Митя скажет что-нибудь очень гуманное и корректное...» Когда Джамбул около полуночи вернулся, Люда горячо его поцеловала: «Слава Богу, я уже думала, что ты арестован!» То, что он теперь сам предложил уехать в Куоккала, ее успокоило.

Вечером, у ярко освещенного входа в Европейскую гостиницу, ее радостно остановил выходивший человек средних лет в николаевской шинели. Люда не помнила его фамилии, но встречала его у Ласточкиных. «Кажется, из цивилизованных купеческих сынков. Это о нем герцогиня шутила, что у него две мечты в жизни: попасть в Государственную Думу и дирижировать на балу у генерал-губернатора. Да, он самый, душа общества, умеет двигать ушами и говорить женским голосом».

— ...Только что выбрался из Белокаменной! Вы не можете себе и представить, что там было! Дикари с обеих сторон, но с правительственной еще вдобавок звери!.. Я на днях видел Дмитрия Анатольевича, он страшно угнетен! Еще больше, чем ваш покорный слуга. Но ничего, Государственная Дума не за горами, она покажет всем этим

черносотенцам из именитого дворянства... Да, чуть не забыл: поздравляю вас с семейной радостью!

— С какой?

— Разумеется, с помолвкой Нины Анатольевны. Это блестящая партия. Увидите, Тонышев будет со временем послом.

— Да... да... Спасибо,— растерянно сказала Люда.— Да, он наверное будет послом.

— Наша восходящая звезда. И какой культурный и либеральный человек! Такие теперь нам особенно нужны... Ах, какие ужасные были события, мы все потрясены!.. Ну, очень рад, что вас встретил. Я в Милютины лавки, там нынче получены свежие белоны, я их предпочитаю всем другим устрицам. До свиданья, дорогая Людмила Ивановна, скоро, верно, встретимся у ваших.

«Мне совершенно все равно,— опять сказала себе Люда.— Меня не известили, что ж, это естественно... Митя, быть может, хотел, но герцогиня, верно, не позволила».

V

Уехали они в Финляндию, однако, еще не скоро.

У Люды случилось несчастье: сбежал Пусси. Это расстроило ее чуть не больше, чем провал московского восстания. Она плакала несколько дней. Джамбул не удивлялся: сам страстно любил животных. Поместили объявление в газетах. Никто кошки не привел.

— Ты кого больше любила: ее или меня? — попробовал все же шутить Джамбул. Люда рассердилась.

— Ее гораздо больше!

— Купи другую.

— Мне нужна не другая, а мой Пусси! Ты — бревно! Я завтра дам еще объявленье. Назначу сто рублей награды.

— Конечно. Дай непременно,

— И никуда из Петербурга не уеду, пока не потеряна надежда.

— Что ж, подождем,— сказал Джамбул. У него еще были в Петербурге неотложные дела.— Но я уверен, что она не сбежала. Верно, ее раздавил трамвай.

Люда опять заплакала.

— Я сама так думаю... Пусик меня не бросил бы!

— Все-таки подождем. Никакой слежки за нами нет.

Перед отъездом Люда все же выкрасила волосы. Выбрала тициановский цвет. Немного волновалась перед гра-

ницей, хотя, действительно, трусихой никак не была. Проехали они беспрепятственно. Больше и наблюдения не могло быть никакого. Финляндские власти относились к русским революционерам снисходительно и даже благожелательно.

В Куоккала они сняли комнату у извозчика-«активиста». Люда у извозчиков никогда не жила и приятно удивилась: так все здесь было чисто и уютно. Устроившись, они вышли на улицу.

— «Что же,— дева младая,— Молви,— куда нам плыть?» — спел он, и опять у него сильнее обозначился его приятный кавказский акцент.

— Плыть на эту самую «Вазу».

— Да где же она находится, проклятая «Ваза»? Спросим у первого прохожего.

Этот первый прохожий неожиданно оказался знакомым. Джамбул представил его Люде:

— Соколов, он же «Медведь», он же «Каин». Оба прозвища вполне заслужены. Знаменитый революционер, гроза царизма,— сказал он весело. Люда смотрела на улыбавшегося ей Соколова с любопытством. О нем ходили рассказы в революционных кругах, частью восторженные, частью неблагожелательные. Говорили, что он был «аграрным террористом», теперь стал «максималистом»; рассказывали об его необычайной физической силе и красоте. «В самом деле писаный красавец!» — подумала Люда. Поговорили с ним очень недолго: он торопился на вокзал.

— Вы верно приезжали к Ленину? — не подумав, спросила она.

— К Ленину? Зачем мне Ленин! Я его тут и не видел. Знаю, что он живет в этой самой «Вазе» и не выходит из осторожности, хотя тут агентов мало,— насмешливо сказал Медведь и простился, указав им, как пройти к вилле.

— Замечательный человек! Герой,— сказал Джамбул.— Почище твоего Ленина!

— Уж будто?

— Да, почище. Он не теоретик, и слава Богу. У вас ведь чуть не все теоретики. Подумаешь, какая мудрость. Прочел человек десяток брошюр, сделал несколько выписок из Маркса, вот и вся теория. Сейчас же сам пишет глубокомысленные брошюры, если только он грамотен. О них пишут другие, такие же мудрецы, как он. Вот имя и создано, обеспечена мирная, блестящая карьера, правда, часто полуголодная. Вся Россия знает: теоретик социал-демократов!.. Не говорю о каком-нибудь Плеханове. Я его

терпеть не могу, он роковой человек, но он, по крайней мере, учен и талантлив...

— Мы говорили не о Плеханове, а об этом Соколове.

— Совсем другая статья. Не скажу, чтобы он не был идейным человеком. Нет, он тоже идейный. Но он верно понимает, что ему жить недолго. Он не «бережет себя для дела», как твой Ильич.

— Да что же он делает, Соколов?

— Из таких людей, как он, выходят диктаторы, по крайней мере те, которые похрабрее, у которых правило: хоть час, да мой... Что он делает? Не знаю. У его организации есть большие деньги, мне говорили, будто сто пятьдесят тысяч, и она, кажется, затевает какие-то грандиозные дела. А пока что кутят, устраивают оргии. Так можно дойти Бог знает, до чего... Быть может, я все-таки пошел бы с ним, но у них кавказцев нет, и Кавказом они не интересуются. Если б у него была большая идея, то уж не было бы столь существенно, как они достают деньги.

— По-моему, это, напротив, очень существенно.

— Это «буржуазные предрассудки», над которыми ты же сама издеваешься... У него теперь новая любовница, Климова, я ее знаю. Дочь члена Государственного Совета. Совсем еще девчонка. Еще недавно была вегетарианкой и толстовкой. Странный путь — от Льва Толстого к Михаилу Соколову. Разумеется, она страстно в него влюблена. Да и мудрено было бы девчонке в него не влюбиться. Он прямо какой-то Байард или Роланд... Который из них был «неистовый»? Роланд?

— Он Роланд, а Ленин кто?

— Ленин смесь Дарвина с Пугачевым.

— А ты сам какая смесь?

— Я какая? — переспросил Джамбул.— Я смесь Шамиля с Казановой.

— Может быть, с Ванькой-Каином?

— Не смей ругаться. Это в Соколове, пожалуй, есть и Ванька-Каин. Какой я Ванька-Каин? Скорее Стива Облонский. Ах, как он описан у Толстого!

— Вот тебе на! Ни малейшего сходства.

Люда смеялась. «Он всегда весел, это дает ему большой шарм. Да, на Рейхеля не похож. И никуда он от меня не уйдет. Ни на какой Кавказ. Не отпущу! Свет жизни увидела с ним!»

— Ты ни Ванька-Каин, ни Казанова, ни Стива Облонский. Уж скорее Алкивиад! — сказала она. Это был в гим-

назическое время ее любимый герой.— Ты любишь иногда прикидываться дикарем, а ты образованнее меня.

— Это еще означает не так много.

— Мерси. Все же Запада тебе не хватает. Ты и в столицах живешь как в ауле. Ты нахал, но я люблю тебя.

— Тоже мерси,— сказал он и обнял ее на улице, впрочем совершенно безлюдной.

Вилла «Ваза» была большая, запущенная усадьба. По-видимому, в ней жило много людей. Уже на улице слышался шум, голоса, хохот, детский плач, собачий лай. Дверь была не заперта. Они постучали, никто не ответил,— вошли. Тут Джамбул галстука и пробора не поправлял. В комнате не было не только зеркала, но не было и вообще почти ничего: лишь диван, плохо покрытый чем-то вроде грязного, порванного пледа. На полу у дивана стояла полуопорожненная бутылка молока и на газете с крошками лежал неровно отломанный кусок хлеба.

В следующей комнате несколько человек играли в карты. Один из них был Дмитрий. Он радостно с ней поздоровался, нисколько видимо не удивился приходу новых людей и пожал руку Джамбулу.

— Хотите поиграть в дурачки?

Люда с изумлением на него взглянула, чуть было не обиделась, но неожиданно для себя расхохоталась.

— Так у вас в революционном центре играют в дурачки?

— Так точно. Не всегда же решать судьбы мира. С женами и играем. Муж и жена одна сатана. Ильич тоже играет. И недурно, хотя хуже, чем Богданов и чем я... Вы хотите повидать Ильича? Его комната далеко, я, пожалуй, вас провожу? — предложил он без особой готовности. Другие игроки нетерпеливо поглядывали на вошедших. Люда попросила только указать им, как пройти. Дмитрий все же вышел в коридор.

— В те комнаты слева не заходите: там эсеры и склад их бомб. Направо детская. А к Ильичу вон туда.

Раздражение Люды против Ленина исчезло при его виде: «Господи, как изменился!» Он их встретил равнодушно-вежливо. Напротив, Крупская была ласковее обычного.

— Матушки!.. Вы теперь бритый брюнет! — сказала она Джамбулу.— И вы, товарищ Никонова, не прежней масти! Володя тоже не раз менял облик, он удивительно это делает, я сама тогда его не узнаю! Ну, рассказывайте. что в богоспасаемой Москве.

— Не очень теперь она богоспасаемая. Я впрочем из Москвы уехала давно, до восстания. Мы были в Петербурге.

— А каково настроение питерских рабочих? — спросила уже озабоченно Крупская, оглядываясь на Ленина с беспокойством.

— Очень скверное. Арест Совета рабочих депутатов произвел тяжелое впечатление и...

— Да, Троцкий оказался не на высоте. Как и можно было ожидать. Недаром Володя прозвал его Балалайкиным. Он только ораторствовал и никаких мер не принимал. Настроение было такое, что Совет мог легко арестовать Витте в Зимнем. Рабочие вышли бы на улицу как один человек!

— Вместо этого Витте арестовал Совет. А московское восстание, так плохо подготовленное, потоплено в крови. Да, руководство оказалось не на высоте,— сказал Джамбул ласково. Крупская на него посмотрела.

— Одно восстание провалилось, а другое удастся,— угрюмо заметил Ленин.— Мы кое-чему научились.

— Унывать нет ни малейших причин,— подтвердила Крупская.— Были и очень отрадные явления. Вы верно слышали, с каким подъемом прошла Таммерфорсская конференция! Был сорок один делегат. И среди них новые, интересные люди. Особенно один кавказец, Иванович, кажется, его зовут Иосиф Джугашвили? Вы, верно, его встречали на Кавказе?

— Встречал. Серый и гадкий человек, но очень хитрый и смелый,— ответил Джамбул. И Ленин, и Крупская взглянули на него вопросительно.

— У *нас* не было такого впечатления,— сказала Крупская.— Он оказался фанатическим сторонником Володи. Володе устроили бурную овацию.

— Все? Сорок один человек? — спросил насмешливо Джамбул. Люда поспешила вмешаться:

— Я это слышала. Теперь вы, Ильич, наш общепризнанный вождь.

— Володя и до конференции был общепризнанным вождем,— поправила Крупская.— Конечно, не говорю о меньшевиках. Хороши, кстати, гуси!

Она сообщила новые сведенья о гнусностях Плеханова, о беспредельной гадости Мартова, о черносотенстве Аксельрода,— эти выраженья были из недавних писем ее мужа: она их читала, изучала и запоминала. Люда слушала не без удивленья.

— Но ведь мы с ними объединяемся! А Плеханова, я слышала, Ильич даже звал в редакцию? Я и то удивлялась,— сказала она, вопросительно глядя на Ленина. Он беззвучно засмеялся, и его, еще увеличившаяся, лысина покраснела.

— Что ж, что объединяемся? Они все-таки черносотенцы. И даже не объединяемся, а скорее спутываемся. Да Володя знает, что делает,— ответила Надежда Константиновна.— Вот что, останьтесь с нами обедать, покалякаем. Володя немного скучает после Питера и всего, что там было. Его газета стала центром всей революционной акции... Я сейчас сбегаю и чего-нибудь куплю. Здесь лавки закрываются рано.

Люда отказалась: видела, что Ленин не в духе. Крупская же всегда ее раздражала.

— Мы ведь на первый раз лишь зашли на минуту. Очень устали.

— Не надо уставать, особенно молодым партийцам. Предстоят великие события. Всем надо готовиться и трудиться, не покладая рук. Володя еще недавно сказал, что у нас теперь не тысяча восемьсот сорок девятый год, а тысяча восемьсот сорок седьмой. Разве вы не помните?.. А где вы остановились?

— Недалеко отсюда, у извозчика-активиста.

— Хороший народ финские активисты и к Володе отлично относятся, знают и почитают. А то вы могли бы остановиться и здесь. Дом большой. Первая комната пустая, и мы в ней всегда оставляем еду, на случай, если из Питера поздно ночью приедет какой-либо товарищ. Мы здесь временно, на биваках. Ищем пристанища. Работать Володе тут трудно: нет книг и мешают. Он задумал...

— Все равно, что я задумал,— перебил ее муж и обратился к Джамбулу: — А то остались бы? Вот вы все желали со мной поговорить.

— Я остался бы. Но, может быть, Владимир Ильич, вы хотите поиграть в дурачки? Вас там, кажется, ждут,— сказал Джамбул с особенно серьезным видом. Крупская строго на него взглянула. Его замечание показалось ей дерзким.

— Володя иногда по вечерам играет после работы, это его немного развлекает,— сказала она. Но Ленина слова Джамбула, по-видимому, не задели. Он даже усмехнулся.

— Да, я могу остаться. Мне действительно необходимо с вами поговорить. А она тем временем поболтает с Надеждой Константиновной.

— Нет, я пойду,— сказала Люда холодно. Не знала, что Джамбул будет говорить с Ильичом в первый же день, и была задета тем, что ее к разговору не привлекли.— Надо посмотреть, какое-такое Куоккала.

— Тогда через час — полтора встретимся дома.

— Да, не засиживайся.

— Addio,— сказал Ленин, рассеянно пожав Люде руку.

Крупская проводила ее до дверей.

— Он не в духе,— озабоченно сказала она вполголоса в пустой комнате.

— Джамбул?

— Нет, разумеется, Володя. Ох, боюсь, опять начнется депрессия, как тогда в Брюсселе. И вдобавок он нездоров.

— Ось, лышенько! Что такое?

— Эти неудачи его расшатали. Я всячески поддерживаю в нем бодрость. И особенно важно, чтобы люди с мест тоже говорили, что есть еще порох в пороховницах. Представьте, он мне вчера сказал, что не надеется дожить до победы нашего дела! Пожалуйста, в разговорах с ним не нойте!

— Я никогда не ною,— сердито сказала Люда. «Это я «человек с мест». И Джамбул тоже!»

— Забегайте почаще. Только не в рабочие часы Володи. Завтра днем не приходите: кажется, будет Камо. Это известный кавказский боевик. Чудак! Недавно ходил по Питеру в костюме кавказского джигита, с каким-то шаром, обернутым в бумагу! Все думали, бомба. Оказалось, арбуз! Он вез нам в подарок арбуз. Вы его знаете?

— Что-то слышала от Джамбула. Он его хвалил, но, помнится, говорил, что это совершенный дурак.

— Больно строг ваш Джамбул,— сказала Крупская с неудовольствием.

У Ленина в Куоккала депрессии не было. Неудача московского восстания, правда, очень его расстроила. Ему нисколько не было жаль погибших людей, он о них думал, да и то не очень, лишь тогда, когда в «Вазе» пели после ужинов «Вы жертвою пали». Пел впрочем с искренним воодушевлением, на него действовала музыка, хотя бы и плохая.

Его злило то, что он совершил грубую ошибку в расчете сил и что над ним теперь насмехался Плеханов. «Это невероятный нахал точно рад, что восстание провалилось! — думал Ленин.— Да он и в самом деле рад. Его рехт-



«Самоубийство» *(Часть первая, V)*



«Самоубийство» ***(Часть вторая, IX)***

хаберишство[1] переходит все границы. Между тем, мы все-таки на восстании кое-чему научились. Оно было только генеральной репетицией, этого наши болваны не понимают! Что ж делать, после московского провала надо идти на уступки. Будем «объединяться» и с меньшевиками. Я им скоро покажу «объединение», пошлю их к чертовой матери! Уж лучше было бы работать с максималистами. Они ничего не понимают и тоже надо мной насмехаются: «начетчик», но они настоящие люди. Жаль, что Соколов все-таки тот же болван эсер. Он по натуре большевик и очень мне пригодился бы, гораздо больше, чем здешняя теплая компаньица. Но в голове у него старая жвачка. Разумеется, в Маркса никогда и не заглядывал!»

Для Ленина люди, не читавшие Маркса, были не совсем люди, даже Клаузевиц, у которого было впрочем то оправдание, что он до «Капитала» или хоть до «Коммунистического Манифеста» не дожил. «Соколов, верно, сам не понимает, чего хочет, или же хочет того, что совершенно не нужно и очень вредно. Вот так Бонапарт».

Накануне вечером он читал книгу о возвышении Наполеона. Подготовка Брюмера чрезвычайно ему нравилась, все было так умно, тонко, толково, Бонапарт всех обманывал и обманул. «А для чего? Для разных идиотских Аустерлитцов, для столь же идиотской короны! И повезло ему, что были деньги. Кажется, приворовал, командуя армиями в Италии или в Египте».

Он вышел с Джамбулом в садик. Навстречу им шел ребенок с мячом. Ленин ласково с ним поговорил,— любил маленьких детей.— «Тебя мама ждет». Залаяла на незнакомого человека собака. Он так же ласково ее погладил,— любил и собак.— «Свой, свой»,— объяснил он ей, показывая на Джамбула. Собака успокоилась. Ленин отошел в глубь сада и сел на скамейку.

— Вот, давайте здесь побалакаем, отсюда ничего не слышно... Да, вы пошутили отчасти правильно. В самом деле, хоть в картишки играй,— хмуро сказал он.— Радоваться нечему.

— Нечему,— подтвердил Джамбул.— Все же хорошо хоть то, что вас короновали в Таммерфорсе. Теперь есть, с кем говорить. Слава Богу, и Балалайкин долго мешать не будет. Он, разумеется, за то, чтобы сесть на ваше место,

[1] Стремление настоять на своем (*нем.* recht haben).

продал бы дьяволу душу, если у него есть душа. Больше в партии никого нет, все шляпы и теоретики. Для разных объединительных и разъединительных съездов они, конечно, годятся, но ни для чего другого. Им не стоит и посылать деньги на сапоги.

— На какие еще сапоги?

— Когда турецкий султан в далекие времена выступал в поход, он посылал своим ханам по пять тысяч червонцев на сапоги. Да ханы обычно отнекивались.

— Нельзя ли без аллегорий? Какой поход вы имеете в виду? — спросил Ленин. «Ох, попросит денег»,— подумал он.— И не из чего посылать: нет червонцев, наша касса сейчас пуста, все ухлопали на восстание. Купчишки перепуганы насмерть, Морозов даже со страху застрелился, не оставив нам ни гроша. Вдовушка не даст ничего, хотя пролетарского происхождения. Кто-то говорил, будто она купила или покупает подмосковную: какие-то Горки. Отвалила бы нам что, в светлую память Саввы... А вы о чем хотели со мной разговаривать?

— Об этом самом. Не о подмосковной, а о вашей казне. Ведь без денег вы ровно ничего не сделаете. Надо создать казну не грошевую.

— Это, почтеннейший, святая истина, но какой способ вы предлагаете?

— Способ я ношу с собой в кармане.

— Да что вы все так выражаетесь? Говорите понятно. Какой способ носите в кармане?

— Револьвер системы Маузер. Видите, я говорю понятно и без аллегорий.

«Вот оно что! — подумал Ленин. Он был доволен.— Кажется, этот джигит серьезный человек. Если только не охранник».

— Экспроприации? — спросил он.— Не вы первый о них говорите.

— Кто же еще? Красин? Он умный человек.

— Разные говорят, и не у нас,— ответил Ленин уклончиво.— Вот, например, максималисты, недавно отколовшиеся от болванов-эсеров. Кстати, по Квакале, говорят, бегает Соколов, тот самый. Верно, у него с кем-либо тут свиданьице.

— Больше не бегает. Уехал. Мы его встретили у вокзала.

— Так вы его знаете? — подозрительно спросил Ленин.

— Встречал. Встречал и их собственного «теоретика»,

иского Павлова. Он мне доказывал, что нужно вырезать всех капиталистов поголовно, так как они ничем не отличаются от зверей. Совершенный психопат.

— Зачем же вырезывать всех поголовно?

— А их идеи о свободе! Это уж просто из Кузьмы Пруткова: «Проект о введении единомыслия в пространном нашем отечестве».

Ленин усмехнулся.

— Это еще не так глупо. Максималисты кое-что смыслят, жаль, что все-таки народники... Ну да дело не в них. Вы догадываетесь, что я обо всем таком думал и без вас.

Он встал, сделал несколько шагов по дорожке и остановился против Джамбула, засунув пальцы за жилет.

— Прежде это называлось просто грабежом,— сказал он.— Не могу в себе до конца вытравить слюнявого интеллигентика. Не лежит к этому душа. Наши дурачки-меньшевички начнут ахать: ах, убийства, ах, убивать бедных людей!

— Тут необходимы пределы: бедных людей мы экспроприировать не будем.

— Это даже само собой разумеется: если они бедные, то экспроприировать и нечего,— сказал Ленин.— Но кассиры и артельщики редко бывают миллионерами. А убивать бедных можно?

— Зачем придираться к обмолвкам? Убивать мы по возможности не будем никого.

— Именно «по возможности». Ну, ладно... Значит, вы занялись бы этим дельцем, если б партия вам это поручила? — спросил Ленин, впившись в него глазами.

— Я никогда не предлагаю другим того, чем не согласился бы заняться сам.

— Это лучше.— «В самом деле как будто подходящий человек. Не хуже, чем Камо»,— подумал Ленин.— Но, видите ли, тут заколдованный круг: для деньжат нужны эксы, а для эксов нужны деньжата.

— Я, кажется, у вас деньжат не просил.

— Не просили, да и неоткуда было бы их вам дать. Касса, повторяю, пуста. В этом и есть главная беда, что у нас нет выбора... А главное, ведь надо иметь уверенность, что товарищи-эксисты будут отдавать деньжата партии. Ну, не все, но бóльшую часть,— добавил он многозначительно. «Нет, трудно иметь дело с этим субъектом!» — подумал Джамбул. Лицо у него стало багроветь. Ленин опять на него взглянул.— Конечно, они и должны оставлять себе

часть на покрытие своих расходов. «Откуда же у него денежки? Не из Охранки ли они? Непохоже».

— Мы тоже должны знать кое-что,— сказал Джамбул очень холодно.— Куда пойдут «деньжата»?

— А это уже наша печаль.

— Чья «ваша»? Центрального Комитета, что ли? Если на содержание теоретиков и на фракционные брошюрки, то мне это неинтересно.

— Вот как? Именно теоретики и создают историю!

— Да, иногда создают, если они не трусы и не шляпы.

— Бывают, что не трусы и не шляпы. Без них, видите, не обходятся даже господа Соколовы-Каины.

— Соколов дело другое. «И наведу на тя убивающа мужа и секиру его». Это из Иеремии.

— И Иеремию читаете! Ни к чему, почтеннейший! Больше бы читали Маркса, это самое главное. А Соколов безумный человек.

— Возможно. Я тоже считаю бессмысленными убийства отдельных людей, какое положение они ни занимали бы.

— Это, по крайней мере, по-марксистски. Верно, хотя и допускаются исключения. Вернемся к эксам. На что же, по-вашему, должны были бы пойти деньги?

— На массовую доставку оружия, особенно на Кавказ, так как Москва провалилась. Но этим должны заниматься не теоретики. Я хотел бы над этим поработать.

— Мы полезных людей всегда привлекаем. И небольшие жалованья назначаем, когда есть деньги. Кстати, вы имеете возможность работать без жалованья? — вскользь спросил он.

— Я получаю деньги от отца,— ответил Джамбул с усмешкой.— Мой отец имеет средства. Живет в Турции. Могу дать вам его адрес. Для справок.

— Что вы, помилуйте. Да, мы вас охотно привлечем к доставке оружия. Директивы, разумеется, останутся за нами. Мы с вами установим modus vivendi... Кстати, надеюсь, вы не думаете, что Центральный Комитет так тут же возьмет и даст свою санкцию на эксы. Такой вопросик надо тщательно провентилировать.

— Партия все провентилирует, как вы ей прикажете провентилировать.

Ленин усмехнулся, снова сел на скамейку и, повернувшись к Джамбулу, взял его за пуговицу.

— К несчастью, это не так. Теперь не так, особенно после московского поражения... Когда вы уезжаете?

— Еще не знаю.

— Прямо в Россию?

— Нет, к нам, на Кавказ.

«Он что же, сепаратист? Или просто каша в головке? Ну, да нам не до «единой и неделимой», как проповедует иуда Струве»,— подумал Ленин.

— Хорошо, что возвращаетесь. Эмиграция — последнее дело. Я буду с вами регулярно сноситься. На Кавказе есть ценнейшие работники. Только там, кажется, прочно засел в массах Боженька. Аллах. Религия одна из самых отвратительных и опасных сил в мире.

— Аллах переживет Маркса.

Ленин вытаращил глаза.

— Ну, хорошо. На Кавказе есть ценные субъекты. Кота Цинцадзе умный человек. Камо глуп, как сивый мерин, но очень храбр. И надежен, как каменная гора... Кстати, вы давеча ругали этого Ивановича-Джугашвили. Вы его хорошо знаете?

— Потому и ругал, что знаю. Я на Кавказе знаю всех. И его у нас не любят. Он, как лесковская ведьма, «имеет не совсем стройную репутацию».

— Уж не подозреваете ли вы его в провокации?

— Нет, в этом не подозреваю.

— Так в чем же дело? Быть может, вы не удовлетворены его «моральными качествами»? — Ленин засмеялся. «Если б был охранником, то, наверное, прикидывался бы твердокаменным марксистом»,— подумал он.— Вот что, приходите завтра в пять часов. Один,— подчеркнул он.

VI

«Квакала», как шутливо называли Куоккалу революционеры, была очень скучным местом. Люда тотчас его возненавидела. Ленин скоро покинул виллу «Ваза» и поселился в какой-то избе.

— Там Володя совершенно не мог работать, мешал шум,— объясняла Крупская.— Правда, теперь мы платим дороже, а деньжат у нас как кот наплакал. Что ж делать, если не хватит пороха, вернемся в «Вазу». Ведь, может, здесь придется засидеться.

Джамбул и в Куоккале не скучал, как не скучал почти нигде, «только на съездах». Говорил, что было бы и совсем хорошо, если б в этой глуши можно было достать сносную верховую лошадь. «То есть, я и лошадь. Или лошадь и я»,— думала Люда. Он много гулял. Радовался жаркой весне. Опять отпускал себе бороду; его щетина не нрави-

лась Люде. «Слишком скучно бриться, всегда терпеть не мог. Перед отъездом в Петербург сбрею и снова превращусь в Алкивиада»,— объяснял он.

У Ленина он бывал часто и разговаривал с ним наедине. Раздражение у Люды все росло: Ильич почти не обращал на нее внимания. Крупская ей очень надоела.

— Ты знаешь, как я почитаю Ильича, но у нее его культ доходит просто до смешного! — говорила она Джамбулу.— Опять звала обедать, она очень гостеприимна, отдаю ей справедливость. Но я отказалась, не хочу их объедать, да и обеды уж очень плохие. Мне все равно, что есть, но ты таких обедов не любишь.

Они вдвоем ходили в местный ресторан, где впрочем кухня тоже была скверная. За обедом разговор обычно не очень клеился. «Англичане говорят: «два человека составляют компанию, а три нет». По-моему, чаще бывает обратное. Когда только два, то каждый немного напрягается, чтобы не наступало молчание»,— думала Люда. Случалось, себя спрашивала, *кто* был бы в разговоре подходящим третьим.— «Вот Митя подходил бы, он человек широких взглядов». Но тотчас вспомнила о недавнем времени, когда у нее «двое составляли компанию». «Неужто проходит любовь? В самом деле он прежде был интереснее... Нет, это не разочарование, скорее просто скука».

Иногда она говорила Джамбулу и колкости, как прежде Рейхелю.

— Я, конечно, не спрашиваю тебя, о чем ты изволишь беседовать с Ильичом, но...

— Это, к сожалению, его секрет, а не мой. Он меня связал честным словом. Да и ничего интересного.

— Разумеется, разумеется! Но мне здесь в Квакале сидеть надоело. В общем, мы напрасно сюда приехали. В Петербурге была жизнь. Так я в этом году и не видела наших фиалок... Долго ли ты еще хочешь здесь оставаться?

— Скоро уедем. Надо ведь и отдохнуть, набраться сил для работы.

— Не знаю только, для какой. И я очень давно отдыхаю. Ты кстати тоже.

Он кое-как отшучивался, но с необычным для него напряжением. «Что-то скрывает! Этого еще не хватало!» — подумала Люда.

От скуки она попросила у Крупской книг. Та дала несколько брошюр и протоколы Второго съезда: «Володя находит, что все мы должны их читать и читать»,— объяснила она. Люда дома заглянула в протоколы с любопытством:

«Сама все слышала, а теперь напечатано и перешло в историю!» Однако скоро потеряла интерес: «То да не то! Совсем не так это было слушать». Из брошюр наиболее понятной была чья-то работа о кооперации. «Да, это надо знать, необходимо вообще пополнить экономическое образование». Прочла всю брошюру и даже сделала выписки в тетрадку.

Работы по хозяйству у нее было немного. Чтобы поддержать русское имя в чистеньком домике извозчика, Люда с утра отдавала полчаса уборке комнаты. Джамбул на это время уходил на вокзал за газетами, затем читал их, как говорил, «на лоне природы».

Приведя комнату в порядок, Люда собралась выйти на прогулку, когда в дверь постучали. Вошли двое мужчин и одна дама,— по виду кавказцы. Они очень вежливо спросили по-русски о Джамбуле.

— Его нет дома,— сухо ответила Люда.— Пошел читать газеты.

— Не знаете ли вы, где мы могли бы его найти? — спросила дама с сильным грузинским акцентом. Люда на нее посмотрела. Дама была молода и хороша собой. «Выскочила первая! Могли бы спросить мужчины»,— подумала Люда недоброжелательно. «На лоне природы,— хотела было ответить она,— но это недостаточный адрес».

— Не знаю. Он обычно возвращается часов в одиннадцать. Я должна уйти, но, если хотите, вы можете подождать его здесь.

Посетители обменялись вполголоса несколькими словами, сказали, что вернутся, и, учтиво поклонившись, вышли. Люда написала Джамбулу записку: «К тебе зашли два компатриота и одна красивая компатриотка. Зайдут опять в одиннадцать. Если вернешься раньше, подожди почтенную компанию. Чтобы вам не мешать, я вернусь только к часу. Буду, высунув язык, бегать по лесу. Пожалуйста, не зови их завтракать в наш ресторан, пусть жрут на вокзале»,— написала она и вдруг, почти с ужасом, почувствовала, что больше не ревнует Джамбула, ни к «красивой компатриотке» и ни к кому другому. «Но ведь тогда и любовь кончена! Нет, вздор... Незачем его злить». Она старательно зачеркнула слово «жрут». Хотела было написать «лопают»,— это шутливее,— и написала просто «завтракают».— «Не переписать ли? Нет, лень. Замарано хорошо, да он и не станет всматриваться. Его мои эмоции уже мало интересу-

ют, да собственно и прежде не интересовали. Он «Алкивиад», но отчасти и бревно. Алкивиад пополам с бревном...»

В лесу ее раздражение почти прошло. Было только скучно гулять одной,— «что ж делать, мне чуть не всегда скучно. И решительно ничего у него, разумеется, с этой кавказкой нет... Но все-таки нужно этому положить конец!» — думала она, точно ей было жаль расставаться с раздражением.— Я должна узнать, в чем у них дело, что он замышляет. Казалось бы, уж мне-то надо бы знать! Если он и не врет, будто с него взял обет молчания Ленин (не назвала его мысленно «Ильичом»), то об этих князьях я имею право узнать во всяком случае!»

Вернулась она ровно в час. Джамбул был один.

— Были твои гости? Видел их?

— Видел.

— Не смею спрашивать, кто и что.— Люда помолчала, глядя на него вопросительно.— Они, верно, пошли к Ленину?

— Нет, они ничего общего с Лениным не имеют. Они пошли на вокзал. Сейчас уезжают.

— Счастливого пути. Пойдем завтракать. Я голодна как зверь.

Несмотря на принятое в лесу решение, Люда до жаркого не спрашивала его о посетителях. Надеялась, что он скажет первый. Джамбул не сказал. Говорили о газетных новостях, о Государственной Думе.

— Когда же мы уезжаем в Петербург? — наконец, не вытерпев, спросила она.

— Когда хочешь, мне и самому здесь уже очень надоело,— сказал он.— Хоть завтра. Ведь ты отдохнула как следует?

Люда не ответила на этот вопрос, показавшийся ей лицемерным.

— Ловлю тебя на слове. Завтра же и уедем!

— И отлично,— сказал Джамбул, точно не замечая раздражения Люды.— Жаль только, что приедем в самое жаркое время. В Петербурге страшная жара.

— Ничего, я люблю Петербург и летом.

— А что, если б мы уехали, например, в Кисловодск?

— Какой вздор ты говоришь! Что мы, буржуи, что ли? Не хочу разъезжать по курортам!

— Деньги есть, я ведь опять получил от отца. Очень зовет старик навестить его.

Она тотчас насторожилась. И, как всегда, упоминание о деньгах ее кольнуло.

— Твой отец, насколько мне известно, живет не в Кисловодске, а в Турции?

— Я к нему в Турцию и съездил бы.

Люда помолчала. «Так и есть, надоела...»

— Кисловодск, Турция, так... Но когда же мы будем заниматься делом?

— То есть, революцией?.. Людочка, можно поговорить с тобой по душам?

— Не можно, а необходимо, давно пора,— ответила она, насторожившись еще больше от «Людочки». Он редко так называл ее.— Что ты хочешь сказать?

— Зачем тебе заниматься революцией? Ты сама видишь, она становится все более кровавой и, что еще хуже, все более грязной. Государственная Дума, это ерунда. Террор с обеих сторон будет расти с каждым днем. То, что было до сих пор, это цветочки, а ягодки еще впереди, как говорите вы, русские.

— В сотый раз прошу тебя, не говори «вы, русские»! Ты тоже русский.

— А я в сотый раз тебе отвечаю, что я русский только по культуре, да и то не совсем. Я стою за независимость Кавказа. Но мы сейчас говорим не об этом. По-моему, тебе лучше отойти от революции.

— То есть как «отойти»?

— Так, просто отойти. Это не женское дело вообще и не *твое* дело в частности. Если ты теперь же не отойдешь, это неминуемо кончится для тебя каторгой! Разве ты способна жить на каторжных работах?

— Почему каторжные работы? Зачем каторжные работы?

— Я именно и говорю: зачем каторжные работы? Это ужас, грязь, медленная смерть, беспросветная тоска и скука. А ты создана для радостной, счастливой жизни. Ты вот фиалки любишь. Ты по природе барыня. Видишь, и Ленин не очень тебя вводит в свои дела.

Она вспыхнула.

— Не вводит, и не надо! Свет на нем не клином сошелся. Но от тебя я ждала другого. Что ж, и ты тоже отойдешь?

— Нет, я отойти не могу, а тебя я в кавказские дела вводить не хочу и не имею морального права. Зачем тебе жертвовать собой ради чужого дела? И вообще зачем тебе заниматься такой работой? Вот ты меня спрашивала, откуда деньги у этого Соколова. Я сегодня случайно узнал

от моих гостей подробности. Они его терпеть не могут, но, конечно, говорят правду. У него деньги от экспроприации в Московском обществе взаимного кредита. Читала в газетах? Это его дело.

— Он ограбил банк!

— Можно называть и так,— сказал Джамбул, морщась.— Да, он ограбил банк. Не он один, конечно, их было несколько. Технически это было исполнено с необыкновенным совершенством. Этот человек — воплощение хладнокровия и бесстрашия. При дележе ему досталось сто пятьдесят тысяч рублей. На эти деньги они обзавелись автомобилями, рысаками, вели развеселую жизнь.

— Очень тебе благодарна, что ты меня познакомил с таким господином! Я подала ему руку!

— Руку можно подавать кому угодно.— Он поморщился еще сильнее и невесело засмеялся.— Вот же мне ты «подаешь руку», а у меня тоже бывали в жизни страшные дела.

— Но не грабежи!

— Добрая половина революционной работы это грязь. Спроси у любого искреннего революционера. Спроси хоть у твоего Ильича. Впрочем, он правды не скажет. Все дело в *цели*. В целях Ленина я очень сомневаюсь, а в своих нисколько, ни минуты. Россия не Кавказ, она не порабощена иностранным завоевателем... Так поедем в Кисловодск? Я тебя научил бы ездить верхом. Вместе ездили бы в «Храм воздуха», а?

— Нет, спасибо, я не поеду... Значит, ты вернешься?

— Разумеется,— ответил он. Не любил лгать, но лгать *женщинам* для него было довольно привычным делом.— Разумеется, вернусь в Кисловодск.

— Если ты хочешь вернуться, то можешь вернуться в Петербург. Но я вообще тебя не держу. В мыслях не имею!

— Ну вот, зачем такие слова?.. Ты будешь пить кофе? Нет? Знаешь что? Сегодня в «Вазе» генеральная оргия «дурачков» — даже во всех смыслах — и, верно, при благосклонном участии Ленина. Там с ним и простимся... А потом другую оргию устроим дома,— опять уже весело добавил он и не в первый раз подумал, что темперамент у нее довольно холодный. «И глаза никогда не блестят, хотя очень красивые».

— Незачем посылать перед оргиями повестку,— ответила Люда. «Поговорим как следует в Питере. Мы просто здесь одичали»,— подумала она.

В «Вазу» они отправились только вечером. Знали, что днем Ленин работает. «Может быть, даже работают и некоторые другие, хотя это мало вероятно»,— говорил Джамбул. Еще издали они услышали очень громкое, нестройное пенье.

— Что такое? Перепились за дурачками?

— Ты отлично знаешь, что Ильич не пьет, не то, что ты. Много, если выпьет бокал пива.

— Ну, так другие... Ох, как фальшиво поют! — сказал Джамбул.

— Ильич очень музыкален. Я слышала, как он поет «Нас венчали не в церкви». Не Шаляпин, но могу тебя уверить, очень недурно!

Сбоку отворилось окно, высунул голову испуганный старик-финн, прислушался и пробормотал что-то, по-видимому не очень лестное для русских. Люда и Джамбул ускорили шаги. «Ваза» была ярко освещена. Люди в саду стояли лицом к растворенному окну и восторженно пели. В окне Ленин размахивал сложенной в трубочку брошюрой. Кто-то аккомпанировал на гитаре.

— Да он не только Шаляпин, он еще и Никиш! — сказал Джамбул.— Что это они орут? «Укажи мне такую обитель»?

— Да, разумеется! — взволнованно сказала Люда.

— Ох, не люблю, скверные стишки.

— Это стихи великого поэта, невежда!

— А все-таки скверные. Давай послушаем отсюда, чтобы не мешать божественному хору.

Он остановился. Люда остановилась неохотно. Ей хотелось самой пить и петь. Ленин высоко взмахнул брошюрой, прокричал: «Так, братцы, валяйте!» и опять запел. Хор подхватил:

...Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи,
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой ночуя в степи...

— Знаешь что, пойдем стонать под овином домой,— сказал Джамбул.

— Ни за что! — ответила Люда.— Ни за какие коврижки!

— Я тебе коврижек и не предлагаю. Но гадко слушать. Зачем люди поют, если не умеют?

VII

В поезде после границы был небольшой спор,— где остановиться в Петербурге. Джамбул предлагал «Европейскую». Когда у него были деньги (а они бывали у него почти всегда), он ни о какой экономии не заботился. Хорошие гостиницы и рестораны, еще больше дорогие костюмы, галстуки, тонкое белье улучшали его настроение, и без того обычно очень хорошее.

— Нет, не хочу. У меня ведь нет богатого отца,— сухо отвечала Люда.— Ох, не похож ты на русского революционера.

— Я и не *русский* революционер,— сказал он. Теперь это подчеркивал все чаще.

— Знаю, слышала. Остановимся в какой-нибудь недорогой гостинице.

— Пожалуйста. Хоть в ночлежке,— согласился он. В последнее время во всем ей уступал.— Я могу жить и как кинто.

— Зачем как кинто?

Прежде Люда часто его себе представляла в наряде *джигита*, при украшенной золотом и серебром *гурде, в бешмете и в чувяках;* вспоминала такие слова, известные ей по романам. Иногда ему это говорила. «Да это для меня самый естественный костюм. Такой носили все мои предки»,— отвечал он.

Они выбрали гостиницу, среднюю между «Европейской» и ночлежкой. Там оказался знакомый: начинающий журналист Альфред Исаевич Певзнер, благодушный, веселый человек. Он в том же коридоре снимал крошечную комнату. Всего с полгода тому назад приехал из провинции в Петербург, но уже имел связи, знал все, что делается и в «сферах», и в левых кругах, и в правых кругах. Печатал репортерские заметки в либеральных газетах,— революционные недолюбливал. Пока зарабатывал мало, но как раз только что получил в большой газете должность репортера. Подписывался буквой П. и придумывал себе псевдоним.

— Как вы думаете, «Дон Педро» это хорошая подпись? — спросил он Джамбула, который, как и Люда, охотно с ним болтал.

— Превосходная! — ответил Джамбул.— Однако, помоему, «Дон Педро ди Кастильо Эстрамадура» было бы еще лучше.

Певзнер благодушно махнул рукой.

— Хотите с Людмилой Ивановной побывать в Госу-

дарственной Думе? Я всех там знаю и на сегодня легко получу для вас билеты. Теперь наплыв уже меньше, чем был в первые дни.

— Говорят даже, что это богоспасаемое учреждение скоро прихлопнут,— сказал Джамбул.

— Типун вам на язык! На днях кто-то из кадетов назвал самую эту мысль кощунственной.

— Отчего же не повидать такую святыню? Ведите нас туда.

Заседание оказалось скучноватое. Знаменитые кадеты не выступали. Ругали правительство серые крестьяне, трудовики. В ложе министров был только министр внутренних дел Столыпин, о котором уже много говорили в России. Но он тоже не выступал и скоро уехал. Люда, опять оживившаяся в Петербурге, была довольна, что попала в Думу: еще никогда ни в каком парламенте не была. Певзнер показал ей Столыпина.

— Восходящая звезда на бюрократическом горизонте! Оратор, что и говорить, прекрасный. По слухам, скоро будет главой правительства.

— В самом деле осанистый, импозантный человек. И сюртук ему к лицу, это бывает редко,— сказала Люда.— Жаль, что зубр.

— Он только полузубр.

— Ох, и скука в этой «Думе Народного Гнева»,— зевая, сказал Джамбул.

— Муромцев сидит на председательском кресле, как Людовик четырнадцатый на троне. Нет, Государственную Думу не разгонишь. Слухи об этом, вы правы, идут. Я могу вам даже сообщить, как революционеры решили на это ответить. Они чудовищным по силе снарядом взорвут Петергофский дворец,— шепотом сказал Певзнер.

Люда признала, что в Финляндии «износилась», и заказала себе два платья,— одно из них вечернее, хотя никаких «вечеров» не было и не предвиделось. К обеду надела дневное, недорогое, но, она знала, очень удачное. Вопросительно взглянула на Джамбула. Он даже не сразу заметил, что это новое платье. «Прежде тотчас замечал! — отметила Люда.— И хуже всего то, что мне все равно, нравится ли оно ему или нет. Да, идет дело к концу, и мне тоже все равно. Или почти все равно».

Дня через два Джамбул вернулся в гостиницу взволнованный и сердитый. Люда таким его не видела.

— Что случилось?

— Случилось то, что мне сегодня передали совершенно невероятную историю! О Ленине! Помнишь, ты мне рассказывала, что ты у твоих Ласточкиных — или как их там? — встречала двух молодых революционеров со странными фамилиями: Андриканис и Таратута?

— Не *встречала*, а один раз встретила. Так что же?

— Представь себе, говорят, что Ленин их женит на двух сестрах Шмидт. Это племянницы Саввы Морозова, богатые купчихи.

— То есть, как Ленин «женит»? Зачем?

— Эти господа обещали ему, что, если женятся, то отдадут приданое партии!

— Не может быть!

— Мне сообщили из достоверного источника. Я тоже не хотел и не хочу верить. Ленин на многое способен, но все-таки не на такую гнусность. И *таких* революционеров, которые женились бы на приданом, без любви, помоему никогда не было. Ведь это граничит уже с сутенерством.

Люда смотрела на него смущенно, точно она отвечала за Ленина и за обоих женихов.

— Все-таки не надо преувеличивать,— нерешительно сказала она.— При чем тут сутенерство? Некоторые революционеры теперь занимаются экспроприациями, как «Медведь». Это еще гораздо хуже.

— Это в сто раз лучше! — ответил с бешенством Джамбул.— Неужели ты этого не понимаешь? Тогда мы с тобой разные люди!

— Мы, действительно, разные люди. Я в этом ни минуты не сомневалась,— сказала Люда. Ей, однако, понравилось его негодование. «Все-таки в нем есть рыцарский элемент. Верно и Алкивиад тоже негодовал бы»,— подумала она.— Но скорее всего это просто гадкая клевета меньшевиков.

Джамбул стал все чаще поговаривать о своем отъезде,— говорил по-разному: то на Кавказ, то в Турцию. Люда старалась изображать равнодушие. Затем он назначил срок более точно: «в начале августа». Был с ней очень мил и нежен, всячески старался ее развлекать. Случалось, она плакала. «Да ведь это обычное дело: сошлись, пожили,

разошлись! Собственно и не разошлись, а он меня бросает. Что же мне делать? Нет, я не поеду на Кавказ заниматься какими-то темными делами. Да он меня и не зовет... Зачем ехать, если он меня не любит? И если я сама больше его не люблю? К тому же, он немного позднее бросил бы меня и на Кавказе. Не буду за него цепляться... Он никак не подлец, напротив, он, при своей бесчувственности, charmeur. Но, может быть, тот красавец-грабитель Соколов еще больший charmeur?»

Государственную Думу в июле разогнали. Узнав об этом, Люда побежала на Невский, чтобы принять участие в постройке баррикад. Улицы были в точно таком состоянии как накануне. Главой правительства стал Столыпин. Он обещал, что будет созвана Вторая Дума.

— Собственно, Думу народного гнева даже не «разогнали», а просто распустили,— говорил Джамбул.— Помнишь, я тебе в Лондоне читал поэму о Деларю. Все они и оказались Деларю.

— Возмутительно! Просто возмутительно! Хороши кадеты!

— Позволь, почему же только кадеты? Не слышно что-то и о подвигах твоих большевиков. Да впрочем, что же они могут сделать, когда у них в кармане два целковых? Напишут гневную брошюру и издадут ее, с уплатой типографии в рассрочку.

Она не знала, что ответить. Пришла весть о Выборгском воззвании. За ним тоже ничего не последовало. В городе по-прежнему все было совершенно спокойно. Баррикад не было, но увеселительные места были полны.

— Когда же, Альфред Исаевич, вы чудовищным по силе снарядом взорвете Петергофский дворец? — спросил Джамбул Певзнера, встретившись с ним в коридоре гостиницы.

— Не понимаю, над чем тут шутить! Случилось большое несчастье, а вы шутите! — сказал сердито Певзнер и подумал, что этот человек довольно бестактен. Джамбул смутился, что с ним бывало очень редко.

— Вы совершенно правы, Альфред Исаевич. Пожалуйста извините меня,— сказал он и протянул Певзнеру руку.

Перед отъездом он попробовал настаивать, чтобы Люда взяла у него половину его денег. Она вспыхнула и наотрез отказалась. Понимала, что их связь кончена. «Перевернулась страница, что ж делать? Страниц будет верно не-

мало, и от каждой останется воспоминание и рубец на сердце». Все же ей было бы легче, если б ушла она, а не он.

— Никаких денег я у тебя не брала никогда,— сказала она и подумала, что это не совсем точно: за все платил он.— А теперь уж наверное не возьму.

— Но почему же, Людочка?

— Потому! — отрезала она. Ей было досадно еще и то, что он предложил именно половину — как Рейхель. С тем тоже было связано воспоминание, хотя без рубца.

Джамбул купил ей кошечку. Выбрал наиболее походившую на Пусси. Но и это вышло не очень хорошо. Люда очень благодарила, ласкала котенка, поила его молоком, а про себя подумала: «Это значит, вместо Пусси и вместо него самого. Чтобы не было так тоскливо спать одной...»

Вечером 10 августа, накануне его отъезда, они поехали в *тот самый* ресторан, взяли *тот самый* кабинет, пили *то самое* шампанское. Люда надела новое вечернее платье. На этот раз он заметил и очень хвалил, преувеличенно хвалил. Обед сошел неудачно. Говорили о неинтересных предметах, разговор часто прерывался. «Что же теперь делать? Вернуться в наш номер? Настроение будет как в приемной у хирурга»,— подумал Джамбул и предложил провести вечер в «Олимпии».

— Там в саду хоть можно подышать свежим воздухом.

— Отчего же нет? Поедем,— сказала Люда.

Хотя я и славьянка,
И даже варшавьянка,—

пела в переполненном летнем театре хорошенькая полька. Джамбул поглядывал на нее с интересом. Люда смотрела на него с грустной насмешкой. «Гляди, гляди, мне все равно». Изредка они обменивались впечатлениями. В антракте вышли в сад, там гуляли, почти не разговаривая. Когда вернулись в партер, он подтолкнул ее под локоть и показал глазами на ложу. В ней сидели молодая, очень красивая барышня и трое мужчин. Люда изумилась: в сидевшем рядом с барышней элегантном человеке она узнала Соколова.

— «Медведь»!

Джамбул бросил на нее сердитый взгляд и оглянулся на соседей. Но на эстраде как раз заиграла музыка. Французский гастролер запел «La Tonkinoise»:

Pour que je finis-se
Mon ser-vi-ce
A Ton-kin je suis — allé [1]

[1] «Тонкинку»:
Чтобы закончить дела, я приехал в Тонкин *(франц.)*.

Люда смотрела на ложу. «Так это его новая любовница? Да, хороша собой, хотя не красавица. Но как же они решаются показываться на людях, если в самом деле затевают революционные дела? Едва ли затевают... А за ними какие-то печальные юноши».

— У него лицо гипнотизера,— вполголоса сказала она Джамбулу. Он впрочем не расслышал. Наслаждался парижской песенкой:

Je l'appelle ma pe-tite Chi-noise
Ma Ton-ki-ki, ma Ton-ki-ki, ma Tonkinoise... [1]

— Не возобновить ли с ним знакомство? — спросила Люда нерешительно, когда певец кончил и раздались рукоплесканья. Сама понимала, что это невозможно; да ей и не очень хотелось. Грабители были ей противны.

— Ни в каком случае,— ответил резко Джамбул,— и, пожалуйста, не смотри в их сторону.

Люда не провожала его на вокзал: решила проститься с ним дома, просто по-товарищески. Он был этим и обижен и доволен. Но она не удержалась и заплакала.

— ...Береги свою буйную головушку, Джамбул,— говорила Люда сквозь слезы.

— Я скоро вернусь.

— Не лги хоть на прощанье... Прощай, мой милый... Мой дорогой...

Когда он вышел, она смотрела ему вслед в окно. Затем долго, плача, целовала котенка. Приняла на ночь двойную порцию снотворного.

VIII

На следующее утро, проснувшись с тяжелой головой, она принялась за поиски работы. Вырезала из газеты несколько объявлений. Собственно она ничего делать не умела. В свое время советовалась с Рейхелем: каким бы делом заняться? Он неизменно с мрачной шутливостью советовал ей поступить на сцену: «Будешь сначала играть энженю, а потом комических старух».

Из объявлений ничего не вышло. Ее спрашивали, знает ли она счетоводство, умеет ли писать на машинке, где служила. Она отвечала, что счетоводства не знает, на машинке не пишет, не служила нигде, но владеет хорошо французским языком, сносно немецким и желала бы иметь квали-

---

[1] Я называю ее своей маленькой китаяночкой, мою тон-ки-ки, тон-ки-ки, мою тонкиночку... *(франц.)*

фицированную работу. В первых двух местах сказали, что такой работы ей предложить не могут; в третьем посматривавший на нее господин, после сходного ответа, добавил, что будет иметь ее в виду, и записал адрес. «Да, конечно, без протекции ничего получить нельзя»,— подумала она обескураженно.

Протекцию в деловом мире ей мог бы оказать только Ласточкин. Но для этого надо было жить в Москве. Ей переезжать не хотелось. У нее не раз шел с Дмитрием Анатольевичем и с его женой древний спор петербуржцев и москвичей. Ласточкины считали Москву первым городом мира: «Она лучше даже, чем Париж!» Люда то же самое думала о Петербурге. Рейхель участия в споре не принимал: в душе считал лучшим городом Берлин, где все было так чисто, удобно и дешево. «Что же делать, надо переехать: только Митя может найти для меня службу. Если, конечно, герцогиня ему позволит...» Люда отлично знала, что, как бы ни сердилась на нее Татьяна Михайловна, она такое «позволение» даст без всякого колебания. «Но как же я Митю повидаю? Может и он знать меня не хочет?»

Вернулась она домой только в три часа дня. Накормила кошку, та была явно обижена опозданием. «Как в свое время бедный Пусси»,— подумала, вздохнув, Люда. Больше она, из-за усталости и дурного настроения, не выходила. Вечером заказала чай в номер. Читала сначала книгу о кооперативном движении, затем роман Жип. Рано легла с кошкой спать. Принять опять снотворное не решилась: «Еще войдет в привычку!»

Утром горничная, как всегда, принесла ей кофе и газету. Люде не хотелось ни есть, ни вставать. Лежать в постели с кошкой было приятно. «Остались два объявления. Надо в понедельник утром пойти, хоть для очистки совести. Если ничего не выйдет и там, то незачем откладывать, уеду в Москву». Еще подумала о Джамбуле: где теперь находится его поезд: скоро ли он приедет в Тифлис и действительно ли едет именно туда? «Кто его там встретит? Женщины? Какую работу он начнет? Верно в вагоне еще до первой станции забыл о моем существовании? И я хороша! В плохом, очень плохом состоянии нервы».

Она надела халат, дала молока кошке, налила себе кофе. Развернула газету — и ахнула. Весь верх страницы занимали огромные, необычные для русской печати набранные разными шрифтами заголовки в ширину всех столбцов, в несколько этажей: «Страшный взрыв на Аптекарском острове. Покушение на П. А. Столыпина. Премьер

невредим. Тяжело ранена его дочь. Множество убитых и раненых».

«Один из самых кровавых террористических актов в русской истории,— быстро читала Люда с все росшим волнением,— залил кровью вчера днем нашу столицу.

В начале четвертого часа пополудни к даче министра внутренних дел на Аптекарском острове, где временно летом проживает новый председатель совета министров П. А. Столыпин, подъехали в ландо три человека. Из них двое были одеты в форму ротмистров отдельного корпуса жандармов. Третий был в штатском платье. Все трое имели в руках большие портфели. Выйдя из ландо, они быстро вошли в переднюю.

В швейцарской находились агент охранной агентуры Петр Казанцев и состоявший при главе правительства генерал Замятин. Вошедшие люди сразу показались подозрительными зоркому глазу опытного специалиста Казанцева. Причины этого были следующие:

Все трое были смертельно бледны. Лица у них были искажены, глаза горели лихорадочным блеском.

Каски у обоих ротмистров были старого образца. Между тем недели за две до того головной убор жандармских офицеров был изменен.

Они держали в руках большие объемистые портфели, что не допускается при представлении высоким должностным особам.

Чуя недоброе, Казанцев поспешно направился к вошедшим. И вдруг он с ужасом заметил, что у одного из них накладная борода!

— Ваше превосходительство!.. Неладное! — отчаянным голосом закричал Казанцев тоже что-то заподозрившему генералу Замятину. Оба бросились на вошедших.

И в ту же секунду все три злоумышленника подняли вверх свои портфели и с силой бросили их на пол с зловещим хриплым криком: «Да здравствует свобода! Да здравствует анархия!»

Раздался оглушительный взрыв, за ним продолжительный грохот рушащихся стен, звон разбитых вдребезги окон.

Когда дым немного рассеялся, представилась страшная, невиданная, неописуемая картина:

От дачи осталось очень немного. Отовсюду слышались душераздирающие крики и стоны умирающих людей.

Всего, как оказалось, убито тридцать три человека, ранено двадцать два.

Разумеется, разорваны в клочья люди, бывшие в передней, в том числе все три злоумышленника. Оправдалось: «Поднявший меч от меча погибнет».

Председатель совета министров чудом остался жив и невредим. Уцелела и его супруга, находившаяся в своих частных покоях.

Но другие! Члены семьи главы правительства! Просители, дожидавшиеся в приемной! Должностные лица! Слуги!

В первом этаже исторической дачи на Аптекарском острове находятся или, вернее, находились две приемные комнаты, зал заседаний и кабинет П. А. Столыпина, а также гостиная и столовая. Частные покои расположены во втором этаже. Председатель совета министров сидел в момент взрыва за письменным столом в своем кабинете. Именно эта комната одна чудом уцелела. Только бронзовая чернильница была подброшена в воздух и пролетела над головой П. А. Столыпина, залив его чернилами.

Сила взрыва была такова, что в фабрике, находящейся по другую сторону Невки, не осталось ни единого целого стекла. Очень пострадала улица перед дачей. Фаэтон, в котором приехали злоумышленники, оказался почти разрушенным.

По роковой воле судьбы, на балконе над подъездом в момент взрыва находились четырнадцатилетняя дочь главы правительства Наталья Петровна и его двухлетний сын, называемый в семье Адей. Их как былинку выбросило на мостовую, прямо под ноги взбесившихся лошадей. Несчастная Н. П. Столыпина искалечена... Примчавшиеся на место преступления врачи и санитары перевезли ее в карете скорой помощи в ближайшую лечебницу доктора Калмейера и признали ее состояние очень тяжелым. Есть, к счастью, надежда на спасенье ее жизни, но, по-видимому, ей предстоит ампутация обеих ног, что подтвердил приехавший из больницы лейб-хирург Павлов. Ее двухлетний брат, перевезенный вместе с нею в ту же лечебницу, находится в менее тяжелом состоянии.

Супруга председателя совета министров сейчас находится в той же лечебнице, а глава правительства с непострадавшими членами своей семьи отправился на катере в свою зимнюю резиденцию на Фонтанке.

Передают ужасные подробности. Один из просителей, бывших в приемной, принес с собой своего маленького ребенка, вероятно для того, чтобы разжалобить министра-президента. Оба, отец и сын, разорваны в клочья. Другой

проситель, встретив в приемной знакомого, заговорил с ним. Взрыв оставил его невредимым, но у разговаривавшего с ним за минуту до того человека снесло голову как топором.

Глава правительства сохранил полное самообладание, которому отдают должное и его политические противники. К его охране приняты экстренные меры».

Дальше следовало перечисление убитых и раненых, а также приехавших на место преступления должностных лиц. Подпись была: П. Этот репортаж был Тулоном молодого Певзнера. Его статья была в газетных кругах признана самой лучшей. Альфред Исаевич писал с вполне искренним волнением: он был действительно потрясен и возмущен делом. Разгонял строчки на этот раз не умышленно, а по профессиональной привычке.

За его первой статьей была вторая, написанная другим репортером, с подзаголовком: «Первые результаты дознания»:

«Дознание, которое велось с заслуживающей быть отмеченной быстротой и эффективностью, пока установило следующие факты:

Ландо, привезшее убийц, было нанято у извозопромышленника Александрова в Максимилиановском переулке в доме номер 12. Кучер, крестьянин Станислав Беднарский, показаний дать не мог: он еще жив, но тяжело ранен, хотя в момент покушения естественно оставался в ландо на улице.

Извозопромышленник Александров показал, что ландо у него нанял известный ему в лицо и по имени Цветков, дворник дома номер 49 по Морской улице. С ним приходила женщина, ему, Александрову, по имени неизвестная, но в лицо также знакомая. Она называла себя горничной квартиры номер 4 в вышеуказанном доме.

Дворник, крестьянин Илья Цветков, не имеющий, как легко было установлено, никакого отношения к страшному делу, показал:

Квартира номер 4 в доме номер 49 принадлежит некоей Иоганне Гарфельд и сдавалась ею с обстановкой по газетным публикациям. Всего лишь несколько дней тому назад, а именно 8 августа, эта квартира была Иоганной Гарфельд сдана лицам, назвавшим себя спасским мещанином Данилом Морозовым и женой последнего Еленой Морозовой. С ними поселился также коломенский мещанин Петр Миронов и горничная, рязанская крестьянка Анна Монакина. Все это были люди очень молодые. «Барыне» Морозовой

на вид можно было дать лет 19 или 20. Она была хороша собой. «Hübsch und elegant» («красива и элегантна»),— сказала нам кухарка квартиры, лучше говорящая по-немецки, чем по-русски.— «Так что, сказать, красотка,— говорит дворник». Паспорта у них были в порядке и своевременно прописаны. Означенный Даниил Морозов уплатил ему, Илье Цветкову, для передачи «Гарфельдихе» месячную плату в 250 рублей.

Разумеется, следственные власти в сопровождении больших сил полиции тотчас нагрянули в квартиру номер 4. Но там оказалась только вышеупомянутая ничего не подозревавшая и сразу насмерть перепугавшаяся кухарка Эмилия Лаврецкая, служившая прежде у Гарфельд и по ее рекомендации нанятая Морозовыми вечером 9 августа. Очевидно, она тоже не имеет ни малейшего отношения к кровавому преступлению. «Барыни» же и «горничной» и след простыл.

Не может быть сомнения в том, что фамилии Морозовых, Миронова, Монакиной ложные, а паспорта либо фальшивые, либо у кого-либо похищенные, что в настоящее время и выясняется дознанием. Остается только удивляться тому, что лица, снявшие столь дорогую квартиру на Морской, могли пользоваться «плебейскими» паспортами и не обратили этим на себя внимания.

Показанием кухарки установлено, что злоумышленники вели все три дня замкнутый образ жизни. Швейцар дома, крестьянин Иван Козлов, новых жильцов не знавший именно из-за их замкнутого образа жизни, показал, что 12-го августа, приблизительно в три часа без четверти пополудни, к дому номер 49 подкатил экипаж, и из дому быстро вышли два офицера, один штатский и женщина, как будто горничная, причем один из офицеров уже на улице дал ему, Козлову, рубль на чай, а женщина указала кучеру адрес: «На Аптекарский» и велела ехать медленно. Очевидно, это было сделано для того, чтобы снаряды в портфелях не взорвались по дороге от какого-либо случайного толчка.

Тотчас после отъезда ландо на улицу вышли «барыня», в сопровождении той же «горничной», причем он, швейцар Козлов, для барыни нанял извозчика, а горничная ушла пешком, а куда, он, швейцар, не может знать. Номера извозчика он не заметил.

О приметах Морозова и Миронова означенные свидетели ничего ценного сообщить не могли: совсем молодые, невысокие, больше ничего. Лучше запомнили «барыню: вы-

сокая — выше погибших злоумышленников, — сложена «ладно», не полная, лицо белое, нос небольшой, по виду совсем барыня, по-русски говорила чисто. Кухарка Лаврецкая еще показала, что вчера, 12-го августа, господа встали в десять часов утра и завтракали в час. На «барыне»» в этот день была чесучовая кофточка, черная шелковая юбка, и черный, очень, по словам Лаврецкой, «модный», пояс.

В квартире номер 4 обнаружены три больших букета цветов. Быть может, Морозова или Монакина поднесли их погибшим злоумышленникам, отправлявшимся на верную смерть.

К тому моменту, когда настоящий отчет сдается в набор, других фактов не установлено.

Можно предполагать, что преступление совершено либо анархистами, о чем как будто свидетельствует возглас: «Да здравствует анархия!», либо партией социалистов-революционеров, либо, скорее, недавно отколовшейся от последней партии пресловутой группой так называемых максималистов».

Волнение у Люды достигло предела. «Что же это?.. Революционеры и такое гнусное преступление!.. Ведь это же иначе назвать нельзя!..» Ее особенно поразили некоторые подробности: человек со снесенной головой, сообщение о букетах, о последнем завтраке перед самым делом.

В газете была еще небольшая передовая статья: «Как бы мы ни относились к политике председателя совета министров, разогнавшего Первую Государственную Думу, мы не можем не признать чудовищным преступление, совершенное вчера на Аптекарском острове и сопровождавшееся столькими безвинными жертвами...» — «Да, он совершенно прав: чудовищное дело!.. Пишет смело, могут и прикрыть газету... Господи, что за люди?»

Люда принялась снова за отчет и только теперь заметила подпись П. — «Да это Альфред Исаевич!» Минуты через две она, не расчесав даже волос, не застегнув крючков платья, стучала в коридоре в дверь Певзнера. Никто не откликался.

— Их нет, барыня. Вчера вернулись поздно ночью, а сегодня ушедши в шесть утра. Они ведь пишут в газетах. Все этот взрыв, — сказала проходившая с подносом горничная.

Люда вернулась в свой номер. Подумала, что надо бы сейчас же отправиться на Аптекарский остров. «Но верно к даче никого не допускают? Да и что же теперь там уви-

дишь, если и пустят?» Опять представляла себе человека с оторванной головой, просителя с ребенком в руках, букеты.

Даже не вспомнив об оставшихся объявлениях, она принялась беспорядочно укладывать вещи. Руки у нее сильно дрожали. «Никогда, никогда не могла бы участвовать в таких делах и ни за что не буду!.. Да, грязное, отвратительное дело!»

В этот же вечер она выехала в Москву. Точно за что-то себя наказывая, взяла билет третьего класса. Отдав носильщику вещи, увидела бежавшего газетчика.— «Разве есть в воскресенье вечерняя газета? Или экстренный выпуск?» «Последнюю продаю, барыня, в городе больше и не достанете». Люда хотела было развернуть листок еще на ходу, развернула в вагоне, положив несессер на пол, не посадив на колени кошку.

Сообщались еще новые подробности дознания:

«Из обрывка подкладки на одном из мундиров установлено, что жандармские мундиры приобретены в магазине готового платья «Новый Базар» на Невском. Служащие магазина, мещане Аронсон и Шиндельман, показали, что эти мундиры куплены в начале августа неизвестной им молодой дамой, приезжавшей в сопровождении какого-то человека, тоже им неизвестного. Как были одеты покупатели, Аронсон и Шиндельман ответить затрудняются: «Покупателей в наш магазин приходит много, всех не запомнишь».

Дознание выяснило также, что шарфы и жандармская амуниция были приблизительно в то же время приобретены в магазине офицерских вещей Семенова в Апраксином рынке. Служащие этого магазина, крестьяне Алешин, Кичига и Вознесенский, показали, что вещи были проданы даме и господину. Можно таким образом думать, что покупатели в обоих магазинах были одни и те же. Однако, приметы сопровождавшего даму господина, насколько можно судить по показаниям вышеупомянутых приказчиков, никак не совпадают с приметами погибших злоумышленников: господин был высокого роста и атлетического сложения, чего нельзя сказать об этих последних. Таким образом, можно с большой вероятностью предположить, что в деле на Аптекарском острове участвовал еще один мужчина, пока не арестованный, так же, как «Миронова» и «Монакина».

Вдруг одна установленная дознанием подробность потрясла Люду:

«Извозопромышленник Александров еще показал, что то же ландо с тем же кучером Станиславом Беднарским за два дня до преступления, а именно 10-го августа вечером, было у него нанято теми же Цветковым, дворником дома номер 49 по Морской, и неизвестной ему по имени женщиной (очевидно, «горничной Монакиной») для поездки в сад «Олимпия» по Бассейной улице. Дворник Цветков подтвердил это показание. Он заявил, что ездили в тот вечер «барыня» Морозова, Морозов и Миронов. Подтвердила это показание и кухарка Эмилия Лаврецкая: господа куда-то уезжали, куда именно не знает, и вернулись поздней ночью».

IX

Остановилась Люда в Москве в каких-то совершенно дешевеньких номерах. Теперь твердо, почти с радостью, решила жить чрезвычайно скромно. В первый день читала газеты, уже спокойнее,— все то же,— бегала по городу, никого не встретила и скучала. Решила завтра позвонить Ласточкину. Помнила, что он обычно возвращается из-за границы в конце июля или начале августа. «Верно уже вернулись... Если к аппарату подойдет герцогиня, повешу трубку, пусть выйдет так, будто никто не звонил».

Она позвонила, с несвойственной ей робостью, в такое время, когда Дмитрий Анатольевич обычно бывал дома. На беду к аппарату подошла именно Татьяна Михайловна. Узнав голос Люды, она совершенно растерялась, тоже хотела было повесить трубку, но и у нее это не вышло, заговорила со своими обычными любезными интонациями; по своему характеру, и как не умела Люда, отвечала радостно и смущенно.

— Митя... Мой муж будет очень огорчен, что вы его не застали... Где вы остановились? — говорила растерянно Татьяна Михайловна.— Я скажу Дмитрию Анатольевичу... Надеюсь скоро вас увидеть...

Ласточкин был изумлен и очень доволен.

— Как же нам теперь быть? Ты ее к нам пригласила,— сказал он жене.

— Не пригласила, но сказала «надеюсь». Сама не знаю, как это вышло!

— Да это и есть приглашение,— победоносно уточнил Дмитрий Анатольевич.— Что ж делать, теперь надо ее звать.

— Тартюф! Сознайся, что ты страшно рад. Вот что,

поезжай сначала ты к ней. Разбойника я во всяком случае принимать не хочу. Его ни за что не зови! Может быть, тогда она не примет приглашения, и слава Богу!

Ласточкин поехал к Люде на следующий же день. Убогие номера нашел не без труда. «Бедная! Верно сидит без копейки. Надо тотчас дать ей денег».

Люда чрезвычайно ему обрадовалась.

— Как мило, что вы заехали, Дмитрий Анатольевич!.. Или мне по-прежнему звать вас Митей?

— Да, разумеется! — ответил Ласточкин и, тоже немного против его воли, эти слова оказались похожими даже не на «теплую ноту», а на горячее восклицание. «Изменилась. И глаза стали гораздо грустнее. Счастья особенного незаметно». На кровати что-то зашевелилось, на пол спрыгнула кошка. Дмитрий Анатольевич только теперь заметил, что кровать была узкая, на одного человека. «Где же «разбойник»? Или она приехала из Петербурга одна? Это очень облегчило бы положение. Тогда, пожалуй, и на обед можно пригласить».

— А, знакомая,— сказал он с улыбкой, показывая взглядом на кошку, которая тотчас взобралась на колени к хозяйке.

— Нет, это другая, новая! Неужели вы не заметили, Митя! Представьте, Пусси от меня сбежал!

— Простите, не заметил. Эта очень похожа, хотя теперь вижу, что она темнее.

— Я впрочем думаю, что он не сбежал, а верно, его, бедненького, раздавил где-нибудь трамвай, он выскочил на улицу, я недоглядела, бий меня бис! Три дня ходила сама не своя,— говорила, оправдываясь, Люда. Ласточкину было странно, что они начали с разговора о кошке.

— Таня тоже очень рада вашему приезду.

— Неужели? Она была со мной очень мила. Как она? Я ведь думала, что вы оба больше и знать меня не хотите. И вы были бы правы. Я действительно виновата перед Рейхелем. Впрочем, виновата не в том, что разошлась с ним, а в том, что сошлась.

Дмитрий Анатольевич закрыл глаза и чуть развел руками.

— Мы вам не судьи, это ваше интимное дело,— сказал он.— Когда же вы к нам придете? Приходите в субботу обедать.

— Даже обедать зовете? Надеюсь, с согласия Татьяны Михайловны? Спасибо вам обоим. Что она? Что Нина? Я знаю, что Нина вышла за Тонышева. Где они?

— Они в Вене. Алексей Алексеевич получил повышение. Верно, пойдет далеко по службе.

— В этом я ни минуты не сомневаюсь, он такой способный человек. И очень привлекательный.

— Они оба очень привлекательны. Нина имеет в венском обществе большой успех. Они даже завели «салон».

— Да, ведь он очень богат.

— Это зависит от того, что называть богатством,— сказал, улыбаясь, Ласточкин.—А каково, Люда, ваше собственное материальное положение? — воспользовавшись случаем, спросил он.

— Очень плохое.

— Ваш... друг не имеет средств? Если вы позволяете об этом говорить?

— Я рассталась с Джамбулом,— ответила Люда. Дмитрий Анатольевич вытаращил глаза.

— Расстались?

— Да, он от меня сбежал. Как Пусси. Я шучу, не сбежал, но мы не сошлись убежденьями. Я не хотела заниматься его нынешними делами. Да и другое было, пятоедесятое. Но мы расстались полюбовно, в очень хороших, даже дружеских отношениях.

С минуту продолжалось молчание. «Пятое-десятое»! — подумал Ласточкин. Он и вообще не очень любил ее развязную манеру речи, но тут развязность показалась ему особенно натянутой и неуместной. «Может, появился еще кто-нибудь? До чего же она, бедная, дойдет?»

— Люда, возьмите у меня денег! Вы меня обидите, если откажетесь, прямо говорю, обидите! — наконец, сказал он. О деньгах все-таки говорить было легче.

Она долго отказывалась. У нее показались на глазах слезы. Была тронута, и ей было стыдно: угадывала его мысли. Ласточкин расстроился. Люда уступила.

— От души вас благодарю, Митя. Но я хочу просить вас о другом: найдите мне место. Я хочу работать, пора! Мне все равно, какое. И с меня будет достаточно самого скромного жалованья. Именно место, а не синекуру!

— Я сделаю все возможное и думаю, что это можно легко и быстро устроить. Будьте совершенно спокойны. Это не то, что создать научный институт.

Они говорили довольно долго. Люда опять спросила, что Татьяна Михайловна, и опять, не дожидаясь ответа, перешла на другое. Дмитрий Анатольевич думал о ней все более изумленно. «Что скажет Таня?»

— Какое ужасное событие произошло в Петербурге! —

сказал Ласточкин.— Этот взрыв с десятками ни в чем неповинных жертв! Какие времена!

На это Люда ничего не ответила. Дмитрий Анатольевич был совершенно надежный человек, но ей было тяжело говорить о Соколове. Он снился ей вторую ночь. «Он ли взорвался или другие?» — спрашивала она себя.

Татьяна Михайловна также была поражена уходом «разбойника» и не только не обрадовалась (чего Ласточкин все же немного опасался), но огорчилась.— «Тебе впрочем верно жаль было бы и Джека-«Потрошителя»,— весело говорил Дмитрий Анатольевич.— «Ее в самом деле очень жаль, очень!»

Через два дня он нашел для Люды место в одном из кооперативных учреждений, начавших распространяться в России. Жалованье было достаточное для скромной жизни. Приняли ее хорошо. Люда была в восторге и сразу увлеклась работой.

Благополучно сошла и ее встреча с Татьяной Михайловной. Об интимных делах не говорили. Татьяна Михайловна отлично вела разговор, пока его еще нужно было «вести». Дмитрий Анатольевич поглядывал на нее с благодарностью. Кроме Рейхеля, у них не было близких родственников, поэтому не было и обычных споров между мужем и женой: «это *твои* родные». Люда не была родственницей, все же за нее отвечал Дмитрий Анатольевич.

Разумеется, Ласточкины не предлагали ей жить у них да она и не согласилась бы. Дмитрий Анатольевич советовал ей переехать в другую гостиницу получше. Она отказалась и от этого, все как будто себя наказывая. Стала бывать у Татьяны Михайловны, впрочем не часто: ссылалась на работу.

Действительно, она проводила на службе весь день. По вечерам читала ученые книги, притом с увеличивавшимся интересом, и все понимала. В газетах только просматривала заголовки, начиная с кавказских телеграмм. В театры не ходила, от приглашений отказывалась. «Я, кроме вас двух, никого не хочу видеть»,— объясняла она Ласточкиным. Говорила совершенно искренно. Как с ней нередко бывало в суждении о людях, с ней внезапно произошла перемена. Она теперь не только не говорила колкостей Татьяне Михайловне, не только не называла ее мысленно «герцогиней», но даже ее полюбила. По ее желанию, они стали называть друг друга просто по имени. Чуть было даже не перешли на «ты», но обе подумали, что это было бы пока неудобно. «При Аркадии говорила ей «вы», а стала бы говорить

«ты», когда его бросила!.. Но в самом деле я была к ней очень несправедлива. В Москве все единодушно говорят, какие прекрасные люди Таня и Митя, это редко бывает, и все совершенно правы. И Нина тоже очень милая женщина. Тонышев хуже, но и он порядочный человек. И все они гораздо лучше революционеров!» — думала Люда.

Ласточкины радостно отмечали происшедшую в ней перемену.

— Я так рад, что у вас теперь такие хорошие отношения! — говорил жене Дмитрий Анатольевич.— И надо же, чтобы это случилось после ее ухода от Аркаши!

— У нее угрызения совести из-за всей этой истории.— Да, каюсь, мне прежде она была несимпатична. Я даже думала, что она ограниченный человек. Она и не читала почти ничего, музыки тоже не любила. Но я совершенно ошиблась! Люда не глупа, и не зла, и способна. Видишь, как она увлечена книгами, в которых я ничего и не поняла бы! И я уверена, что у нее больше никаких похождений не будет. Да собственно эту историю с «разбойником» и нельзя назвать «похождением», беру слово назад.

— Да, у кого таких дел не было? Кроме тебя, конечно. Дай Бог, чтобы она в кого-нибудь влюбилась по-настоящему и вышла замуж.

— А ты заметил, она стала патриоткой. В хорошем смысле. Говорит, что Кавказ, Финляндия мечтают об отделении от России и верно другие окраины тоже. Я спросила: «Да разве вы, Люда, этого не хотите?» Она ответила: «И слышать не хочу!»

— Я искренно рад. Я тоже не хочу.

— Но мы ведь и раньше не хотели, а она была революционеркой. Верно, уж очень, бедная, разочаровалась в «разбойнике».

— Должно быть, хорош гусь!.. Я в частности так рад тому, что она увлеклась кооперацией. Это, действительно, прекрасная работа. Молодежь ею не интересуется, потому что в ней нет романтики. А она в сто раз важнее и лучше того, что делает теперь молодежь. Недаром в кооперацию стали уходить люди, разочаровавшиеся в революции, как Люда.

И Люде, и Татьяне Михайловне очень хотелось поговорить о «похождении» по душам, но обе боялись начать этот разговор. Однажды Люда увидела на столике в гостиной «Викторию» и чуть изменилась в лице.

— Вам нравится Гамсун, Таня? Я его обожаю!

— Я нет.

— Почему?
— Уж очень он ненатурален, я этого не люблю.
— Он теперь во всем мире признан гением.
— Да, я знаю. Люди очень щедро раздают этот титул, особенно иностранцам, и легко поддаются в литературе чужому мнению. Тут в книге есть его краткая биография. Он прошел через очень тяжелую школу нищеты, даже голода. После нее, по-моему, трудно стать гениальным писателем: слишком человек озлобляется.
— Однако ведь многие великие писатели были злыми. Я даже где-то слышала анекдот. Какой-то остряк-критик советовал начинающим писателям: «Никогда не говорите о людях ничего дурного. Ни в каком случае и не думайте о людях ничего дурного. И вы увидите, какие отвратительные романы вы будете писать!»
Татьяна Михайловна засмеялась.
— Правда? Но зачем же слушать остряков? А главное, у Гамсуна все так неестественно.
— И «Лабиринт любви» в «Виктории»?
— Я как раз сегодня это читала. Да, и этот «Лабиринт». «Цветы и кровь»! Зачем кровь? Цветов неизмеримо больше,— сказала Татьяна Михайловна, подумав о любви между ней и мужем.— А почему вы о нем спрашиваете?
— Он в моей жизни сыграл большую роль,— ответила Люда. Татьяна Михайловна смотрела на нее вопросительно. «Лабиринт»?.. Теперь расскажет?» — подумала она.
Но Люда ничего не рассказала, хотя ей этого хотелось. Рассказала лишь недели через две. Татьяна Михайловна слушала с недоумением. Хотела сочувствовать, но не могла.
— Не понимаю. Страстная любовь на несколько месяцев,— не удержавшись, сказала она.— Уж если мы заговорили о книгах... Вот вы, Людочка, любите говорить о литературе, а Нина еще больше, она многое даже выписывает. Я не люблю и не умею, но уж если заговорили. Так вот я недавно читала, что знаменитый революционер Дантон ездил в миссию в Бельгию, а тем временем в Париже умерла его жена, которую он обожал. Он вернулся через неделю после ее похорон и был так потрясен, что велел вырыть ее из могилы и обнял ее в последний раз. Просто думать страшно и даже гадко. Но через несколько месяцев он женился на другой! Я такой любви просто не понимаю!
— А я понимаю. Мне нравятся именно такие люди, как Дантон! — сказала Люда. «Верно, Таня считает настоящей только их скучную любовь с Митей!»— подумала она.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В Вене с ужасом и благоговением говорили, что император Франц-Иосиф «живет по хронометру». Так, верно, ни один другой человек во всей Австрии и не жил. Говорили также неодобрительно, что он газеты читает «в гомеопатических дозах»: главное узнает из докладов, а остальное ему рассказывают Катерина Шратт или же «старый еврей»; под этой кличкой был в венском обществе известен Эммануил Зингер, один из владельцев большого газетного треста, ничего в газетах не писавший, но знавший все и почему-то пользовавшийся милостью императора, который пожаловал ему дворянство.

Зингер, очень любивший Франца-Иосифа и хорошо его знавший, никаких советов ему не давал; только сообщал, «что говорят», и часто ссылался на каких-то галицийских талмудистов. Император не очень и ему верил, но слушал внимательно и не без интереса: может быть, и старики-талмудисты что-то понимают, очень мало, но столько же, сколько министры или генералы.

Своих суждений, не относившихся к очередным делам, он министрам не высказывал. Один из них, граф Куэн-Хедервари, встречавшийся с ним в течение тридцати лет, вероятно, не менее тысячи раз, говорил, что совершенно императора не знает: между ними в разговорах всегда был точно невидимый занавес, за занавесом же находился не человек, а какой-то живой символ Габсбургской монархии.

Еще меньше верил он генералам. Особенно не любил, чтобы генералы вмешивались в политические дела (а министры — в военные). Раз, позднее, начальнику генерального штаба Гецендорфу устроил сцену, когда генерал стал критиковать министра иностранных дел Эренталя,— если можно было назвать сценой то, что император немного повысил голос и чрезвычайно сухо сказал: «У графа Эренталя нет никакой своей политики: он делает *мою* политику».

Его любовница Катерина Шратт сообщала ему придворные сплетни. Она его обожала, тоже не давала ему советов,

тоже ни о ком его не просила и ни о чем его не просила, денег от него не брала и даже подарки принимала смущенно. Это он чрезвычайно ценил.

Газетам же он не верил совершенно и даже не понимал, для чего они издаются и зачем их люди читают. Жил он учением католической церкви и своей старческой мудростью, а также — в значительно меньшей степени — наследственной мудростью тех 137 Габсбургов, которые были похоронены в фамильной усыпальнице Капуцинской церкви. Живыми же Габсбургами и их мнением интересовался мало.

Он проснулся, как всегда, в четыре часа утра и тотчас же встал со своей железной кровати. Ее называли «походной», хотя он на своем веку в походах бывал очень мало. Обстановка его спальной была чрезвычайно проста и даже бедна, особенно по сравнению с общим великолепием Бурга. Редкие люди, которые по долгу службы иногда заходили в эту комнату, изумлялись: неужели *так* живет император! Находили в этом «спартанский стиль» и не без недоумения вспоминали, что в своей интимной жизни, особенно в молодости, он спартанцем не был. Сам он не говорил ни о походной кровати, ни о спартанском стиле. Франц-Иосиф принадлежал к не слишком многочисленным в мире людям, которые ни в чем никогда не притворяются. Он был именно таков, каким его считали. Ему нравилось, что его спальная убрана так бедно, а дворец так богато; за долгую жизнь он привык к этому; вообще ничего не любил менять.

День начался с массажа ледяной водой. Так он начинался всегда. В последние годы доктор Керцль настойчиво требовал, чтобы император от такого массажа отказался: действительно, он в течение двух—трех часов после этого за работой дрожал и не мог согреться; позднее у него образовался хронический катар дыхательных путей. Керцль все же ничего не добился.

Завтрак состоял из стакана молока. Франц-Иосиф сел за стол, тоже очень простой и содержавшийся в чрезвычайном порядке. Чернильница, лодочки с карандашами, с очиненными гусиными перьями находились всегда на одних и тех же местах. Камердинер знал, что, если он что-либо передвинет хотя бы на дюйм, то император тотчас заметит и рассердится; гнев же у него выразится только в глазах и в коротком замечании. Франц-Иосиф почти никогда голоса не повышал и не выносил, чтобы при нем повышали голос другие. Придворным было известно, что на больших обедах за столом поблизости от него, да и не только поблизости, надо говорить очень тихо,— избави Бог засмеяться

или рассказать анекдот. Придворные обеды в Вене весельем не отличались.

На столе лежала тщательно выровненная стопка бумаг, поступавших на рассмотрение императора. Все знали, что Франц-Иосиф чрезвычайно добросовестен в работе, что он один из наиболее трудолюбивых людей страны. Говорили, будто он читает, от первого до последнего слова, все поступавшие к нему документы. Это было бы совершенно невозможно. Бесчисленные бумаги, подававшиеся ему просто для подписи, он только пробегал и подписывал. Но доклады сановников читал очень внимательно: требовал только, чтобы они были не слишком длинны и по возможности просты.

Для хороших решений ему, как и другим правителям мира, нужны были бы такие обширные, глубокие, всеобъемлющие познания, каких не имел ни один человек на свете. Но он в меру думал над каждым докладом и писал свои замечания, всегда осторожные, обычно дельные. Иногда впрочем вставлял отдельные слова, непонятные министрам, вроде «Опять Бомбелль», «Бейст 1869 год», «1854 год, № 107». Император обладал необычайной памятью и неизменно всех поражал тем, что не только знал документы, подписанные им в молодости, но помнил даже их номера. Министры часто ломали себе голову над его отрывочными словами и приписывали их старческой рассеянности. Разъяснений обычно не просили, делали вид, будто понимают. Франц-Иосиф не любил устных указаний, предпочитал все писать и думал, что это не только самый надежный, но и самый быстрый способ работы. По телефону никогда не говорил и не имел даже аппарата в своих покоях: это было очень вредное и особенно беспокойное новшество. Так он до конца дней не пользовался и автомобилями; еще удивительно, что ездил по железным дорогам, которые, правда, появились в пору его детства.

Одна из бумаг касалась не государственных, а личных имущественных дел. Император управлял огромным наследственным богатством Габсбургов, и его управление вызывало у эрцгерцогов глухое недовольство. Имущество могло бы приносить гораздо больше дохода, чем приносило. Так, земли были сданы полтораста лет тому Марией-Терезией по 47 крон за акр; эта арендная плата была недурной в восемнадцатом столетии, но теперь цены были совершенно другие, и наследник престола довольно настойчиво поговаривал о необходимости изменения контрактов. Он находил также, что в многочисленных владениях короны

слишком много служащих и что некоторые из них ведут дела очень плохо или недобросовестно. Сахарное дело во всей Европе считалось чрезвычайно выгодным, все австро-венгерские сахарные заводы приносили большой доход, и только Гединский завод императора приносил большой убыток. Франц-Иосиф впрочем сам понимал, что он плохой сахарозаводчик, что действительно служащих больше, чем нужно, и что контракты с арендаторами не соответствуют новым экономическим условиям.

Он далеко не был равнодушен к богатству Габсбургского дома, и желал быть самым богатым из монархов,— тут соперничество могло быть только с русскими царями. При браках эрцгерцогов и эрцгерцогинь самым важным, конечно, была Ebenbürtigkeit[1] их невест и женихов; собственно вполне ebenbürtig были только Бурбоны,— правда, они никогда не имели императорского титула; да еще, пожалуй, баварская и саксонская династии: они королями стали не очень давно, но глубокая древность их владетельных родов была смягчающим обстоятельством. Все же Франц-Иосиф, хотя сам женился по любви на бедной баварской принцессе, бывал вполне удовлетворен лишь в тех случаях, когда женихи и невесты были не только ebenbürtig, но и очень богаты.

Женитьба наследника престола на какой-то чешской графине была для императора страшным ударом. Франц-Фердинанд смущенно ему говорил, что род Хотеков очень старый. Франц-Иосиф только смотрел на него с недоумевающей и презрительной улыбкой: Габсбурги на графинях не женятся! После долгих увещаний, он, скрепя сердце, дал согласие при условии, что брак будет морганатическим: женится, Бог знает, на ком, и только еще не хватало бы, чтобы его сын взошел на австрийский престол. Теперь, читая бумагу, он сердито думал о деловых планах наследника. Знал, что Франц-Фердинанд не жаден к деньгам (при устройстве своих великолепных садов в Конопиште он просто снес несколько доходных домов). Но, очевидно, он не понимал некоторых вещей: не понимал, что нельзя отменять условия, подписанные Марией-Терезией, нельзя увольнять хотя бы плохих служащих, предки которых служили Габсбургам. «Верно, и это идеи его дорогой жены»,— думал он и с досадой отложил бумагу. Несколько позднее Франц-Фердинанд прислал ему официальный меморандум о необходимости перемен в управлении наследственными богатствами. Император ответил решительным отказом.

[1] Равенство по происхождению *(нем.)*.

Работа кончалась обычно в восьмом часу утра, иногда несколько позднее, в зависимости от числа бумаг. Он ничего не откладывал на следующий день. Подписав последнюю бумагу, он позвонил в колокольчик. Вошел дежурный адъютант. Император учтиво-холодно наклонил голову. Руки не подал. Подавал руку только генерал-адъютантам, высшим государственным сановникам, иностранным дипломатам и людям, носившим очень древние, исторические имена,— знал генеалогию всех австрийских и многих иностранных фамилий. Никогда не подавал руки духовным лицам, даже кардиналам, и не целовал перстня. Люди удивлялись и приписывали это историческому атавизму, восходившему ко временам соперничества Габсбургов с папами. Это нисколько не мешало ему быть чрезвычайно благочестивым человеком. О смерти он почти не думал: по недостатку воображения не мог себе представить *свою* смерть, а в загробной жизни никогда не сомневался. Твердо знал: все будет хорошо. Только будет в Капуцинской церкви 138-ой Габсбург. Потерял очень много близких людей и никогда не испытывал чувства, будто у него похитили самое дорогое. Знал, что всех увидит снова. Но не спешил увидеть.

Адъютант подал список людей, которым на этот день были назначены аудиенции с указанием числа минут каждой. Шестой в списке значилась дама: старая принцесса. Он велел впустить ее первой и перешел в другую, очень роскошно убранную комнату. Дамам, независимо от их происхождения, он всегда целовал руку: не садился за стол на парадных обедах, пока не садились дамы,— выходило так, что они усаживались в ту же секунду, что он; на балах, если недалеко от его кресла стояла у стены дама, он жестом предлагал ей занять его кресло, от чего она отказывалась с ужасом.

Он поцеловал руку принцессе, предложил ей сесть и одновременно сел и сам. Ей было отведено десять минут. Франц-Иосиф спросил об ее здоровье, о погоде в том городе, из которого она приехала, об общих знакомых, глубоких стариках и старухах,— помнил всех. Принцесса рассказывала. Он с юношеских лет выработал привычку слушать как будто с интересом и воздерживаться от зевоты. На девятой минуте принцесса, забывшая его правила, о чем-то пошутила и даже засмеялась. Это было совершенное безобразие. Глаза у него сразу стали ледяными. Она смутилась. Аудиенция продолжалась только девять минут. Он проводил принцессу до дверей.

Затем представлялись разные генералы. Их он расспрашивал о состоянии вверенных им частей, расспрашивал очень внимательно: военным делом еще интересовался больше, чем всем другим. Подал руку только одному генералу: это был барон с древним именем. До него был принят граф, ему император руки не подал: титул этого графа имел всего столетнюю древность. Барона же спросил даже об его охоте и вспомнил, что в молодости охотился с его дедом. Аудиенция была без свидетелей. Император знал, какой честью считается его рукопожатие, знал, что не все верили рассказам осчастливленного лица, и после окончания приема вскользь сказал обер-гофмаршалу, что подал руку барону; таким образом это тотчас стало известно всем при дворе.

Ровно в двенадцать лакеи внесли небольшой столик с прибором. Франц-Иосиф ел очень мало. Завтрак продолжался двадцать минут, а перерыв в аудиенциях был в полчаса. Кофе император никогда не пил; позволял себе две сигары в день. С наслаждением закурил, но бросил сигару в двенадцать двадцать семь. Лакеи унесли столик. Аудиенции возобновились. Оставалось восемь человек, и только последняя аудиенция, назначенная графу Берхтольду для важного разговора, не была ограничена числом минут. Таким образом рабочий день был на этот раз не очень длинный. Вечером не было ни спектакля, ни бала. Никаких владетельных особ в Вене теперь не было и в ближайшее время не ожидалось. Это было очень приятно. Его утомляли посещения монархов, особенно Вильгельма II, которого он вдобавок не считал *настоящим* императором, как не считал настоящими императорами Романовых или прежде Бонапартов. Франц-Иосиф родился уже после того, как Габсбурги из императоров священной Римской Империи стали просто австрийскими императорами, и в душе не прощал Францу II этого понижения в ранге династии.

Он догадывался, о чем с ним будет говорить австро-венгерский посол в России. Этот родовитый, богатый и потому независимый человек, очень красивый, всегда превосходно одевавшийся, ему нравился. Император даже подумывал о том, чтобы предложить Берхтольду самую высокую придворную должность, для которой он очень подходил. Считал умным, способным человеком и министра иностранных дел Эренталя; тот был еврейского происхождения, но это для Франца-Иосифа в государственных делах не имело значения, он не выносил только людей, объявлявших себя свободомыслящими.

Однако и Эренталь, и Берхтольд вели беспокойную политику: оба ставили себе целью присоединение к империи Боснии и Герцеговины. Франц-Иосиф и сам хотел бы закончить свое царствование таким делом. Тут сказывались чувства 137 предков. Но дело казалось ему рискованным: могло привести к войне с Россией. Никаких войн он больше не хотел и всячески им сопротивлялся. Изменить его мнение ни Берхтольд, ни Эренталь не могли. Никто на него влияния не имел. Хорошо знавший его человек сказал о нем: «Если б в Империи был какой-нибудь князь тысячелетнего рода, и если б он был верующий католик, и если б он обладал огромным умом, огромной культурой, огромным состоянием, и если б он никогда, ни разу в жизни, ни о чем для себя не попросил, то, быть может, он имел бы некоторое влияние на нашего императора. Но такого человека в Империи нет».

Франц-Иосиф подал Берхтольду руку и предложил ему сесть. Спросил о здоровье, о погоде в России, о царе и царице. Затем вопросительно на него уставился, приглашая его перейти к делам.

После краткого общего доклада, Берхтольд высказал мнение, что приобретение Боснии и Герцеговины совершенно необходимо империи. Оно чрезвычайно ее укрепит и сильно повысит ее престиж. Никакого риска нет: Россия на войну не решится. Вследствие недавнего поражения на Дальнем Востоке она очень слаба. Командование, военное снабжение, подготовка армии оказались плохими, русский военный флот совершенно разгромлен,— он приводил факты и цифры. Кроме того, революционное движение отнюдь не подавлено, в случае новой войны оно вспыхнет с еще гораздо большей силой: недовольство в России стало почти всеобщим, Сербия, разумеется, заявит протест, но какое значение может иметь Сербия? Настал благоприятный момент для действия, упустить его было бы грехом и огромной ошибкой.

Он говорил хорошо, гладко, без горячности: знал, что говорить с императором *горячо* нельзя. Франц-Иосиф бесстрастно и внимательно его слушал. Все это не раз слышал и от Эренталя. «Да, оба хотят одного и того же. Как будто все правильно, но уверенности в этом быть не может,— думал он,— ни на чьи такие слова полагаться невозможно. Они молоды, большого опыта у них нет».

— Присоединение к моей империи Боснии и Герцеговины? Да, я это знаю,— холодно сказал он, когда Берхтольд замолчал.— Но вы говорите, что оно не приведет

к войне с Россией и что Россия слаба. Однако, так будет не всегда. И готовы ли к войне мы сами?

— В этом не может быть никакого сомнения, ваше величество. Таково единодушное мнение нашего командования.

— Я то же самое слышал от моих фельдмаршалов и генералов и в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом. Они жестоко ошиблись. Могут ошибиться и теперь. Я никакой новой войны не хочу. Прошу вас твердо это запомнить. Я давно говорил это и Бюлову (он произносил по-венски: Билов; правильным могло быть, конечно, только австрийское произношение).

— Строго подчиняюсь воле вашего величества. Но я обязан высказать свое убеждение. Если б даже Россия решилась на войну, то ей пришлось бы иметь дело также с Германией. Франция же в войну, наверное, не вмешается.

— Это мне тоже говорили. Я не уверен ни в том, ни в другом,— сказал император еще холоднее.— Император Вильгельм — друг царя. Французская политика очень изменчива. В политических делах нельзя быть уверенным ни в чем. И если б даже война кончилась полной нашей победой, то погибли бы сотни тысяч людей. А я, как верующий человек, не хочу проливать чью бы то ни было кровь и всего менее кровь моих подданных.

— Кровь и не будет проливаться, ваше величество,— уныло сказал Берхтольд. Он знал взгляды, не раз высказывавшиеся императором и Эренталю. Знал также, что эти взгляды не имеют решающего значения: давление правительства, парламента, того, что он называл волей народа, то есть мнения газетных передовых статей, окажутся сильнее. Франц-Иосиф и сам это понимал. Все же Берхтольд был разочарован. «С такими взглядами никакой политики вести нельзя. И он сам не всегда так думал. И я такой же добрый католик, как он... При чем тут вера?»

— Со всем тем, я не отрицаю, что было бы очень хорошо мирным путем присоединить Боснию и Герцеговину к моей империи,— сказал император. Смутно почувствовал, что этими словами почти уничтожает значение того, что говорил раньше. Это тотчас сказалось и в выражении глаз Берхтольда.— Я надеюсь, что вы, с вашими способностями и тактом, будете поддерживать добрые и корректные отношения с Россией.

— Я это и делаю как могу, ваше величество,— сказал Берхтольд облегченно и даже искренно. У него в самом де-

ле были очень хорошие отношения с русским придворным миром. Его забрасывали приглашеньями, он чуть не каждый день в обществе, в балете, в Михайловском театре встречался с петербургской аристократией.

После окончания приема император вздохнул свободно. Рабочий день был кончен. Оставалось теперь только приятное: прогулка, обед не на переносном столике, а в столовой, вековое токайское — он впрочем пил мало,— и госпожа Шратт. Ей разрешалось улыбаться, и даже хохотать, и даже рассказывать венские анекдоты. Он и сам смеялся в разговорах с ней; без нее, быть может, просто не выдержал бы своей жизни.

II

От Рейхеля пришла телеграмма: «Приезжаю среду несколько дней телеграфируйте можно обедать у вас четверг если дома приду шесть часов».

В другое время эта телеграмма обрадовала бы Ласточкиных. Они любили Аркадия Васильевича, мирились с его тяжелым характером и, как говорила Татьяна Михайловна, чувствовали себя перед ним «без вины виноватыми»: не нашли для него в Москве работы. Изредка с ним переписывались. Он писал суховато. Это огорчало Дмитрия Анатольевича. Вскоре после того, как его бросила Люда, Рейхель кратко сообщил им, что, наконец, получил хорошее место с лабораторией в Военно-Медицинской академии и просил больше ему денег не присылать. В ответном поздравительном письме Ласточкин предложил помогать ему еще хоть некоторое время, так как ученые учреждения верно авансов не дают. Рейхель повторил, что отказывается: «Я очень тронут твоим и Тани неизменным вниманием. Однако я уже не нуждаюсь и, верно, больше никогда нуждаться не буду».

— Я была бы рада Аркаше, но как бы он теперь не встретился у нас с Людой? Верно, он слышал, что она в Москве: на всякий случай точно указывает день и час, точно не знает, что может прийти на обед, когда хочет,— сказала Татьяна Михайловна.— Быть может, он и сердится, что мы ее принимаем. Я тебе говорила.

— Ты говорила, но пригласила ее к нам ты,— опять подразнил жену Дмитрий Анатольевич.

— Я тогда растерялась, а теперь не жалею.

— Ты отлично сделала, Танечка,— сказал Ласточкин.— Ничего, она в обеденное время приходит редко. Положимся на судьбу.

— Это приятно слышать. Ты, Митенька, на судьбу полагаешься редко. Слишком много все обдумываешь.

— Разве? Но если ты мной недовольна, то мы можем развестись,— пошутил Дмитрий Анатольевич и поцеловал жену.

Он ответил двоюродному брату телеграммой в шутливом тоне: «Мы оба страшно рады точка но отчего тебе не остановиться у нас точка старый замок как ты давно знаешь всегда к твоим услугам ждем обнимаем».

Рейхель у них не остановился, но пришел к обеду ровно в указанное им время. Был в гораздо лучшем настроении, чем прежде. Сказал, что «более или менее удовлетворен» полученной им должностью и много работает.

— Лаборатория очень недурна, у меня есть отдельная комната, и я теперь совершенно независим. Могу даже заказывать на казенный счет любые приборы.

— Как я рад! Ты прославишь эту лабораторию! — с жаром сказал Ласточкин.— Мне говорили о важности твоих работ.

Он не любил преувеличивать, но на этот раз покривил душой. Недавно из Петербурга в Москву приезжал знаменитый бактериолог. Встретившись с ним в редакции «Русских Ведомостей», Ласточкин спросил его о Рейхеле.— «Ведь он, кажется, на пути к славе?» — Профессор, не знавший об их родстве, пожал плечами.— «Рейхель прекрасный, добросовестный, трудолюбивейший работник, но не очень талантливый человек».— «Неужели? А я думал, что из него выйдет новый Пастер!» — сказал огорченно Дмитрий Анатольевич.— «Нет, Пастер никак не выйдет. Разумеется, мы его ценим. Хотя ему немного вредит то, что он так нервен, раздражителен и, грешным делом, в науке немного завистлив. Большие ученые такими не бывают... Впрочем, бывают и большие»,— прибавил профессор, засмеявшись.

Татьяна Михайловна, не выносившая неправды, укоризненно взглянула на мужа и перевела разговор:

— Друзья мои, обед будет минут через десять. Я пришлю вам сюда «аперитивы», так, кажется, это называется у французов? Что вы предпочитаете, Аркадий? Богдыхан в последнее время пьет вермут.

— Я и в Париже аперитивов не пил, а к их знаменитому абсенту и прикоснуться не мог. За столом, если позволите, выпью рюмку водки.

— Позволяю. Закуски мы за обедом не едим, начнем прямо с рассольника. Я ведь помню, что вы, Аркаша, лю-

бите рассольник с пирожками. Но я все-таки скажу, чтобы под водку подали икры,— сказала Татьяна Михайловна. У нее было правилом при гостях давать к столу то же, что подавалось без гостей; отступала от этого правила лишь при «парадных» обедах.

— Тогда, Танечка, не присылай мне вермута. И я выпью водки и не одну рюмку, а три в честь Аркаши. Ты прежде тоже пил три,— сказал Ласточкин и смутился: «прежде» могло быть Аркадием, при его подозрительности понято, как «в пору Люды». Так именно Рейхель и понял.

— *Теперь* у меня нервы в полном порядке и взвинчивать себя водкой незачем,— равнодушно сказал он.

— Это отлично, а то ты человек минорной гаммы.

— А ты бравурно-мажорной.

— И слава Богу. Я рад, что у меня счастливый характер.

— Ну, не слишком уж счастливый, ты еще недавно был в меланхолии,— сказала Татьяна Михайловна и вышла из гостиной. Рейхель вынул из кармана конверт и протянул его двоюродному брату.

— Это половина моего долга тебе, Митя.

— Какого долга?

— Ты знаешь, какого. Ты долго поддерживал меня и в Париже, и здесь. Пожалуйста, сочти. Другую половину надеюсь отдать через год.

— Да помилуй...

— Ничего не «помилуй»!

— Но ведь тебе трудно, и потом...

— Мне нисколько не трудно. Я теперь очень порядочно зарабатываю, а проживаю вдвое меньше. И еще раз от души тебя благодарю.

— Ох, эта твоя щепетильность! Твое джентльменство иногда переходит в донкихотство,— сказал Дмитрий Анатольевич, знавший, что его слова будут приятны Аркадию. «Он всегда гордился своим джентльменством. Но как оно у него сочетается с озлобленностью и с вечным неприятным сарказмом? — подумал Ласточкин.— Он всегда был в денежном отношении совершенно бескорыстен, как и Люда. Надо все-таки сказать ему хоть что-нибудь о Люде? Иначе выйдет еще более неловко».

— Спрячь конверт,— сказал Рейхель,— и расскажи мне о своих делах. О политике, пожалуйста, не говори, я, как ты давно знаешь, ненавижу ее и презираю.

— О чем же? О культурной работе? Она опять возобновилась и развивается, несмотря на эту несчастную рево-

люцию. Все революции скверное дело, но нет ничего хуже подавленной революции,— сказал Ласточкин и заговорил на свою любимую тему: о сказочном росте России. Говорил так же хорошо и с таким же увлечением, как когда-то в Монте-Карло. Рейхель слушал, подавляя зевоту.

— Очень интересно,— сказал он.— О своих собственных заслугах ты не говоришь, но я знаю, какое участие ты принимаешь в этой работе. По-моему, ты делаешь настоящее дело.

— Быть может, но не такое все же, как вы, ученые... И еще новое отрадное явление: рост кооперации. Ты знаешь, кстати, что Люда в ней работает? — робко спросил Дмитрий Анатольевич. Лицо у Рейхеля чуть дернулось.

— Она в Москве? Вы ее видите?

— Изредка видим. Надеюсь, ты ничего против этого не имеешь? Ты понимаешь, что нам...

— Понимаю и решительно ничего не имею,— перебил его Аркадий Васильевич.

— Не знаю, известно ли тебе, что она разошлась с этим кавказским революционером?

Рейхель взглянул на него с изумлением. Затем злобно-весело рассмеялся.

— Я не знал! Хорошо, очень хорошо! И давно случилось это примечательное событие? — спросил он.

Ласточкин отвел глаза и пожалел, что сказал о Люде.

— Уже довольно давно... Она отошла от революции. Теперь получила место в одном кооперативном обществе, очень увлечена работой и...

— Она меня совершенно не интересует,— опять перебил его Рейхель.

— С той поры, как ты вернул ей свободу, она...

— Мне незачем было возвращать ей свободу, мы не были женаты. И извини меня, поговорим о чем-нибудь другом.

— Друзья мои, пожалуйста в столовую,— сказала в дверях Татьяна Михайловна.

За обедом Рейхель был весел. Сообщение о Люде доставило ему большое удовольствие. Очень хотел узнать, кто кого бросил, но спрашивать об этом было неудобно. Говорил любезности, что было ему не свойственно. «Все-таки он мил, хотя и сухарь,— думала Татьяна Михайловна, не знавшая об его разговоре с Дмитрием Анатольевичем.— Надо бы его женить». У нее мелькнули в памяти

некоторые московские невесты.— «Нет, ни одна за него не пойдет. Он не может иметь успеха у женщин».

— Что же ты скажешь, Аркаша, об этом ужасном деле на Аптекарском острове? — спросил Ласточкин.

— Ничего не скажу. Надеюсь только, что всех этих бандитов перевешают.

— Дело они сделали действительно ужасное,— сказала Татьяна Михайловна.— Перебили множество ни в чем не виноватых людей. Да и виноватых убивать не следует. Но и вешать никого нельзя. И все-таки нельзя называть бандитами людей, идущих добровольно на верную смерть, как-никак, ради какой-то идеи.

— Хороша идея! Есть храбрые бандиты, это ровно ничего не значит. Картуш, Тропман тоже были бесстрашны.

— Я просто не могу понять, к чему они стремились. Ну, убьют Столыпина, будет Горемыкин или кто-нибудь такой же.

— А я и не интересуюсь, кто будет: все хороши,— сказал, пожимая плечами, Рейхель. Разговор ненадолго прервался.

— У нас завтра ложа в опере, «Борис» с Шаляпиным. Пойдете с нами, Аркадий?

— Спасибо. Кого вы еще звали?

Она поспешно назвала одного поэта, писавшего непонятные статьи об аполлонической музыке. Рейхель кивнул головой удовлетворенно. «Не думал же он, что мы его пригласим с Людой!»

— А четвертое место оставлено специально для вас, Аркаша.

— Охотно пойду, вечером я свободен. Но вы знаете, что я ничего в музыке не смыслю, просто жаль давать мне место. Кажется, «Борис» теперь в большой моде?

— В моде или нет, но я во всей музыкальной литературе не знаю ничего лучше сцены коронования.

— Я слышал от кого-то, что у вас теперь первый музыкальный салон в Москве.

— Надеюсь, вы не вкладываете иронического оттенка в слово «салон»? Да, мы оба все больше увлекаемся музыкой,— сказала Татьяна Михайловна и вдруг похолодела: из передней послышался быстрый троекратный звонок, так звонила Люда. «Господи, как не повезло!» Она с ужасом взглянула на мужа, но было уже поздно: входную дверь отворили. Люда вошла своей быстрой энергичной походкой в столовую — и остановилась на пороге.

— Друзья мои... Аркадий, ты здесь? Здравствуй.

Рейхель что-то невнятно пробормотал. «Неужто они это подстроили?» — с бешенством подумал он. Но по виду хозяев ясно было, что они сами в полном замешательстве.

— Я зашла только на минуту, проведать вас,— сказала Люда очень смущенно. Татьяна Михайловна сидела ни жива, ни мертва.

— Почему же только на минуту? — спросил Дмитрий Анатольевич и заговорил об ее работе со скоростью тысячи слов в минуту. Так же быстро говорила Люда, искоса бросая взгляд на Рейхеля и тотчас отводя глаза.

— Вы совершенно правы, Митя. Я повторяю, что не революция, а именно кооперация спасет мир! Вы не можете, Таня, и представить себе, как она растет, особенно этот Рочдэйльский тип ее. Она выведет Россию из трясины. Все видят, как выродилось революционное движение. Скоро вся страна покроется сетью потребительных обществ пермского типа, производственных товариществ, земледельческих артелей! Беднейшие слои населения, наконец, получат возможность жить по-человечески. А рижский Консум-ферейн! А Нимская школа!

— Это чрезвычайно важно, кооперация, чрезвычайно важно,— подтверждал Ласточкин, с опаской поглядывая на своего двоюродного брата. Тот про себя отметил «Таню».

— Я тоже думаю, что это важно,— говорила Татьяна Михайловна, на которую веяло скукой от самого слова «кооперация». Столбняк у нее проходил. Она старательно улыбалась.— Все же сознайтесь, Люда, что вы чулки, например, покупаете не в артелях, а на Кузнецком мосту.

— Чулки, конечно. А чай, кофе, сахар покупала бы в потребительном товариществе, если бы ближайшее не было от меня на расстоянии двух верст.

— Очень характерен этот начавшийся отход от революции,— сказал Дмитрий Анатольевич.— Кстати, Танечка, я и забыл тебе сказать. Помнишь тех двух молодых людей, которые были у нас в прошлом году на вечере мелодекламации? У них были странные имена: Таратута и Андриканис. Так вот мне сегодня говорили, будто они женятся на сестрах Шмидт.

— Вот тебе раз!

— Это брак и по любви, и по идейной близости: все четверо принадлежат к большевистской фракции социал-демократов... Впрочем, этого я твердо не знаю.

Рейхель посмотрел на часы.

— Таня, вы мне разрешите позвонить по телефону?

Иначе я не застану дома этого профессора,— сказал он и, не дожидаясь ответа, встал. Дмитрий Анатольевич проводил его к аппарату.

— Извини, нам так досадно. Люда приходит к нам редко. Мы не ожидали,— сказал он сконфуженным шепотом. Рейхель ничего не ответил. Ласточкин затворил за ним дверь и вернулся в столовую. Аркадий Васильевич позвонил к профессору; тот назначил ему свидание как будто без особой радости. «Что же теперь делать? — подумал Рейхель.— Нельзя же уйти до конца обеда. Может, она уйдет?»

— ...Еще хорошо, что он не наговорил мне грубостей, и на том спасибо,— говорила в столовой вполголоса Люда.

— Что вы!

— Мне все равно, и я понимаю, что он имеет право на меня сердиться... Я бегу à l'anglaise [1]. Извините меня, что ворвалась так не вовремя.

— Что вы, что вы!

— Я в самом деле спешу. У меня сегодня будет один петербургский журналист. Еще раз, пожалуйста, на меня не сердитесь.

— Что вы, что вы!

Из Москвы Люда разослала знакомым открытки с указанием своего адреса. Никому из товарищей по партии не написала,— теперь мысленно уже называла их «бывшими». От ее революционности ничего не оставалось. Дело на Аптекарском острове, уход Джамбула, отношение к ней Ленина, экспроприации смешались в душе Люды. Сказалось и влияние кооператоров, ставших ее друзьями и товарищами по работе. Они в большинстве были люди левые или, по крайней мере, очень либеральные, но относились к экспроприациям и к взрыву столыпинской дачи с крайним отвращением.

В числе людей, которым Люда послала из Москвы открытки, был и Певзнер. Она иногда читала его репортажи в петербургской газете. Он уже подписывался «Дон Педро». Накануне Альфред Исаевич позвонил ей, сообщил, что газета послала его «для обследования положения на Волге» и что он остановился на два дня в Москве.

— Был бы страшно рад повидать вас, Людмила Ивановна.

---

[1] По-английски, не прощаясь *(франц.)*.

— Я тоже очень рада, Альфред Исаевич. Приходите завтра вечером чай пить, часов в девять.

— С величайшим удовольствием.

Люда пригласила его не без легкого колебания. Общей гостиной в ее номерах не было, а уж очень неказиста была ее комната. «Тонышева сюда не пригласила бы»,— с улыбкой подумала она. По дороге домой купила печенье и полбутылки дешевого вина; за вином ей всегда разговаривать было легче. Заказала чай и велела горничной не стлать на ночь постель,— «я сама постелю попозже». Впрочем, Певзнера к «мужчинам» не причисляла. Знала, что он обожает свою жену, оставшуюся в провинции впредь до того, как он «станет на ноги»; постоянно о ней говорил, писал ей письма каждый день, посылал регулярно большую часть своего заработка. «Проще было бы пообедать с ним в ресторане, но незачем вводить его в расходы. При своей галантности, он на меня потратился бы».

Встретились они радостно. Альфред Исаевич из деликатности только вскользь спросил о Джамбуле,— «верно, слышал, что мы разошлись». Спрашивал Люду о здоровье, об ее занятиях, о кооперации. С гордостью говорил о своих успехах:

— Могу без ложной скромности сказать, что мои репортажи оценены нашей редакцией, как и вообще в газетных кругах. И весной я перевожу жену в Петербург! Недавно у нее был.

— Я очень за вас рада, Альфред Исаевич. Что же вы будете «обследовать» на Волге?

— Очень печальные события. Там орудует какая-то шайка разбойников. И говорят, она в сношениях с большевиками! Теперь ведь и не разберешь, кто грабитель и кто идейный человек. Чего стоил один этот Соколов!

Сердце у Люды забилось.

— Какой Соколов?

— Разве вы не знаете? Соколов-Медведь! Тот самый, который организовал взрыв на Аптекарском острове. Ведь вы, конечно, читали мои репортажи об этом деле?

— Я не знала, кто это сделал.

— Он, он! Страшный человек!

— Так он только других посылает на смерть, а сам жив?

— Да нет же! Он был арестован на днях на улице и на следующий же день повешен, в порядке этих новых военно-полевых судов!.. Что с вами, Людмила Ивановна?

— Нет, ничего решительно,— не сразу выговорила Люда. Вино пролилось на скатерть.— Повешен?

— Повешен. Вы знаете, у него была любовница или жена, Климова. Красавица! И, представьте, дочь члена Государственного Совета! Отец умер с горя! Подумайте, из такой семьи! Она тоже арестована.

— И казнена?

— Еще нет, предстоит ее процесс. Я знаю все подробности. После ареста она попросила, чтобы ей оставили какой-то шарф, который был на ней в тот день, когда она вышла за него замуж. Это было удовлетворено. Она страстно его любила. Он был не только писаный красавец, но еще магнетизер.

— Откуда вы знаете?

— Мы, репортерская элита, все знаем. Я могу вам даже сообщить одну поразительную вещь, о которой писать невозможно. Представьте, через несколько дней после взрыва на Аптекарском острове он стал писать страстные письма дочери Столыпина, той, что чудом спаслась!..

— Письма дочери Столыпина! Зачем?

— Он предлагал встретиться с ним! Этот человек был так уверен в своей магнетизерской силе, что надеялся убедить барышню убить ее отца!

— Не может быть!

— Это неслыханно, но это так. Я знаю из самого верного источника. Пожалуйста, не оглашайте этого.

— Но как же?.. Если он предлагал ей встретиться, то, значит, давал свой адрес?

— Давал адрес конспиративной квартиры! Был, значит, уверен, что она властям не скажет. И самое поразительное, он в этом не ошибся! Она сообщила отцу об этих письмах, но адреса не указала. По взглядам она, разумеется, правая и обожает своего отца, но не хотела выдавать на смерть доверившегося ей человека. И Столыпин признал ее поведение правильным! Странная душа у русских людей! Эх, пролили вы вино. Ничего, это замоют. Белое вино пятен не оставляет.

— Пятен не оставляет,— сказала Люда.

III

Тифлисские террористы обычно собирались в одном и том же ресторане Тилипучури. Это было не конспиративно, но они знали, что местная полиция очень плоха, да и не слишком усердно их арестовывает. Ремесло полицейского

было в ту пору, особенно на Кавказе, столь же опасно, как ремесло террориста.

Кавказский наместник, граф Воронцов-Дашков, был человек либеральных взглядов. Он любил кавказцев, как их всегда любили русские люди, с легким оттенком благодушной насмешки, относившейся к кавказскому говору. В молодости он сам три года воевал с горцами, помнил, что тогда в армии ни малейшей враждебности к ним не было и что в русской литературе, от Пушкина и Лермонтова до Толстого, вряд ли есть хоть один антипатичный кавказец. Война давным-давно кончилась, все же наместник смутно, почти бессознательно, рассматривал террористов двадцатого века как несколько худшее повторение горцев Шамиля.

Он с террористами, разумеется, не встречался, но с главарями умеренных социалистов старался кое-как «поддерживать человеческие отношения»! Иногда заключал с ними негласные соглашения, тотчас впрочем становившиеся гласными. Так в пору столкновений между армянами и татарами передал социал-демократической партии пятьсот винтовок для вооружения поддерживавших порядок рабочих дружин, под честное слово меньшевика Рамишвили, что винтовки будут возвращены властям по миновании надобности. Так, перед ожидавшимся приездом царя на Кавказ, взял с революционеров честное слово в том, что покушений не будет. Не думал, что такое соглашение вполне обеспечивает безопасность императора; но, по его мнению, оно на Кавказе обеспечивало ее лучше, чем полицейские меры. Воронцов-Дашков был противником казней и находил, что все равно виселицей не запугаешь чеченца или ингуша. Вдобавок он стал почти фаталистом после убийства Александра II: от судьбы не уйдешь.

Его любили три царя. Правительство же очень его недолюбливало. Однако древнее имя графа, его огромное богатство, независимость человека, ни в ком для себя не нуждавшегося, даже его барская внешность и манера одинакового обращения с людьми, а всего больше личная близость к царю внушали осторожность правительству; оно по возможности не вмешивалось в его методы управления Кавказом. Взгляды наместника, быть может, немного сказывались и на действиях полиции. Но и по простой осторожности сыщики старались не заглядывать без крайней необходимости в такие места, как ресторан Тилипучури. Холодное оружие было на Кавказе у всех, очень много было револьверов, немало изготовлялось и примитивных бомб. «Положительно каждый ребенок может из коробки из-под

сардинок и купленных в аптеке припасов смастерить снаряд, годный для взрыва его няньки»,— писал современник.

Вероятно, Департамент полиции уже тогда знал, что руководит издали экспроприациями сам Ленин. Может быть, знал и то, что для этого из партийного Центрального комитета выделен небольшой, еще более центральный, комитет, настолько секретный, что о самом его существовании долго не знали виднейшие социал-демократы.

В этот комитет, кроме Ленина, входили только два человека: Красин, он же «Никитич», он же «Винтер», он же — почему-то «Лошадь», и Богданов, имевший полдюжины псевдонимов: «Максимов», «Вернер», «Рахметов», «Сысойка», «Рейнерт», «Рядовой». Служащие Департамента полиции не очень интересовались моральными свойствами революционеров: «все канальи!» (некоторые, быть может, добавляли: «да и мы тоже»). Но именно этих двух большевиков заподозрить в терроре было трудно: один занимался не то философией, не то наукой, не то еще черт знает чем; другой был видный инженер, загребавший деньги в торгово-промышленных предприятиях и никак не «Лошадь», а очень умный и ловкий делец. Люди же, по их поручению руководившие непосредственно террористическими делами на Кавказе, известны: Джугашвили и Камо.

О Камо на Кавказе рассказывали и легенды, и анекдоты. О Джугашвили же и революционеры знали не очень много, а говорили еще меньше. Непонятным образом этот человек, так страстно влюбленный в саморекламу, позднее ею занимавшийся тридцать пять лет с небывалым в истории успехом, в молодости почти ничего о себе не сообщал даже близким товарищам: вероятно, всех подозревал в провокации. По еще гораздо более непонятным причинам, о своих кавказских делах почти никогда не рассказывал и впоследствии, когда мог это делать совершенно безопасно.

Уже стемнело, когда Джамбул неторопливо подошел к ресторану. Бросил взгляд в отворенное окно. Дружинников не было. «Где же они сегодня? — спросил себя он. Понимал, что никто не останется в этот вечер дома в одиночестве,— разве Коба? У него вообще нет нервов». Джамбул прошел дальше и, убедившись, что подозрительных людей нет, вернулся. «Пора поесть, с утра ничего не ел»,— подумал он.

В этот день он рано поутру, взяв в манеже лучшую ло-

шадь, выехал верхом далеко за город и где-то в глухом месте леса упражнялся в стрельбе из револьвера. Еще лет пять тому назад с пятнадцати шагов попадал в туза. Теперь прикрепил к дереву листок бумаги, раза в три больший, чем игральная карта, и два раза подряд промахнулся. Это очень его раздосадовало, хоть для завтрашнего дела большая меткость была не очень нужна. «Конечно, от бессонницы! — сердито подумал он.— Да бессонница-то от чего! Кажется, не в первый раз иду на опасное дело, и прежде спал хорошо...» Взял себя в руки, стал стрелять лучше. Перед последним выстрелом загадал: «Если промахнусь, то, значит, дело провалится». Не раз загадывал и дома, пользовался и картами и монетой. Выходило разное, но одно было и без карт ясно: все равно отказать уже нельзя, это значило бы себя опозорить.

Да еще ему иногда казалось, что загадывать собственно следовало бы о другом: *нужно* ли это дело? Сомнения у него были давно, а с некоторых пор все усиливались. Иногда он даже себя спрашивал, не объясняются ли они страхом смерти? Друзья говорили, что он совершенно бесстрашен: просто не понимает, что такое страх. Эти слова до него доходили и доставляли ему радость. Все же он думал, что тут есть преувеличение: людей, никогда не знавших страха, не существует. «Соколов и Камо самые храбрые из всех, кого я видел, но, вероятно, и они страх испытывали».

На этот раз он попал в листок, даже в самую его средину, и свои упражнения закончил: взял с собой только одну запасную обойму; да и не годится перед делом стрелять *тринадцать* раз. «Семь попаданий из двенадцати. Недурно, но прежде было бы лучше».

Прежде, приезжая на Кавказ хотя бы из Парижа, он всегда очень оживлялся и веселел. Теперь этого не было. Обычная шутливость его почти покинула. Он был настроен серьезно и даже несколько торжественно. «Да, вполне возможно, что завтра убьют. Ну, убьют, одним Джамбулом будет меньше, только и всего... Думал, что прошло для меня то время, когда перед опасными делами я подводил какие-то жизненные итоги. Оказывается, не совсем прошло»,— говорил он себе. Думал о престарелом отце: как он об этом узнает!

Думал иногда и о Люде. Сохранил о ней приятное воспоминание. Ничего о ней толком не знал. В Петербурге при прощаньи она не попросила его писать (просто забыла), и это его задело. Тем не менее он послал ей из Тиф-

лиса письмо. Чтобы как-нибудь ее не подвести, написал без подписи, измененным почерком, и своего адреса не указал. Ответа, таким образом, быть не могло. «Впрочем она все равно верно не ответила бы из гордости». Больше не писал. Едва ли не первый раз с четырнадцатилетнего возраста вообще о женщинах думал очень мало.

В ресторане было пусто и душно, пахло жареным луком и свежеразмолотым кофе,— он очень любил оба эти запаха. В глубине комнаты сидел Камо, очевидно только что пришедший. Перед ним на столике не было ни еды, ни напитков. «Ох, и нарядился же, дурак этакий!» — подумал Джамбул. На головорезе были темно-красная черкеска, белый шелковый бешмет, сафьянные чувяки; ножны шашки и кинжала были густо украшены бирюзой, серебром, слоновой костью. На стуле лежала белая папаха. «Хорошо еще, что не надел в июне бурки и башлыка! Нет ли при нем и бомбы? Впрочем, бомбы пока что у них отобрал Коба. Этот что угодно, но никак не дурак!»

Еще раз быстро и почти незаметно оглянувшись по сторонам, он поздоровался с Камо и сел против него за столик.

— Не сиди, слуши, спина к двери. Как будешь драться, если вбегают фараоны? — спросил Камо. Он говорил по-русски почти так, как в глупых анекдотах изображают кавказцев. Другого общего языка у них не было. Татарским оба владели плохо.

— Не сидеть же мне за маленьким столиком рядом с тобой? Если вбегут фараоны, пожалуйста, сообщи мне.

— Когда сообщи? Фараон быстро бегает. Потеряешь полминуту, пропал. Нельзя потерять полминуту,— сказал Камо, плохо понимавший шутки.

— Хорошо, буду знать. Сзади есть черный ход. Фараон любит бегать и через черный ход. Не догадался?

— Не догадался,— удивленно признал Камо. Это прозвище ему дал Джугашвили: получая поручения, тот спрашивал: «*Камо* отвезти?..» «*Камо* сказать?»

Джамбул, как всегда, смотрел на него с ласковым любопытством. Только с ним теперь и говорил шутливо. Знал его дела, обычно ему удававшиеся, и не понимал, как и почему они удавались. «Он и конспиративного дела не понимает! Очевидно, инстинкт заменяет ему ум, как у львов или тигров». Он знал много террористов. Самым замечательным считал Соколова и немного жалел, что этот казненный человек не был кавказцем. В тифлисском деле участвовали только кавказцы. «Все смельчаки и удальцы и все

много умнее его, а главная роль все-таки будет его, и это, пожалуй, правильно».

— Водку пил?

— Не пил.

— Выпьешь со мной? Может, в последний раз пьем.

— Может, последний раз,— равнодушно подтвердил Камо.— Одну рюмку буду пить. Больше перед завтра нельзя. Молоко буду пить. Вино не буду пить.

— Отчего? Коба не велел? Сам Ленин немного пьет. Любит, говорят, итальянское.

— Не любит. Я в Куоккала привез вино. Целый бурдюк с Кавказа привез. Я тогда был флигель-адъютант. Ехал в первом классе. Жаль деньги, а надо. Один стерва генерал удивился. Спрашивает о при дворе. А я знаю о при дворе? Очень заругал кадетов. Генерал доволен, но удивлялся. Хорошо, стерва скоро сошел на станции. Привез Ленину бурдюк. Благодарил. Ленин вино не любит, но Богданов любит. Так был доволен, так был доволен! А Ленин мне бомбы давал. Красин готовил. Я тоже готовил. Он знает химию! Я помогал. Хорошие бомбы.

— Столыпинские?

— Столыпинские,— подтвердил Камо. Так назывались бомбы новой конструкции, впервые пущенные в ход на Аптекарском острове.

— Так... Есть что будешь? Шашлык любишь?

— Шашлык люблю. Миндальный пирог люблю. Ты платишь свои деньги? Деньги партии не смей. Тогда сыр.

— Свои, свои. У меня партийных никогда не было и не будет. И завтра, если выйдет дело, ничего себе не возьму.

— А я себе возьму? Ты дурак!

— Другие, может, и возьмут, а?

— Слуши, хочешь — убью!

— Не хочу. Да, наши, знаю, не возьмут, они почти все хорошие люди, а другие еще как брали. К водке что будешь есть? Я угощаю, от отца получил, сегодня денег жалеть нечего. Какую закуску любишь?

— Всю люблю. Мало. Сыр с тархуном.

Джамбул подозвал хозяина и, все обдумав, заказал обильный ужин («может, последний в жизни»): балык, икру, шамаю, кобийский сыр с тархун-травой, чахокбили, шашлык, миндальный пирог, графин водки, бутылку лучшего кахетинского вина.

— Теперь рассказывай, только не ори,— сказал он негромко, когда хозяин отошел.— Видел Пацию?

— Видел Пацию,— ответил Камо, предпочитавший от-

вечать, когда было можно, словами вопроса.— Анету тоже видел.

— Обе следят за кассиром?

— Обе следят за кассиром.

— Кто повезет деньги?

— Повезет деньги два. Кассир и счетчик.

— Молодые? Семейные?

— Не знаю.

— Как их зовут?

— Кассир Курдюмов. Счетчик Головня.

— Много денег?

— Анета Сулахвелидзе говорит: миллион. Пация Галдава говорит: триста тысяч.

— Хороши бабьи сведенья! Едут в фаэтоне?

— Едут в фаэтоне.

— Какая охрана?

— Другой фаэтон.

— Да ведь не сам фаэтон будет охранять. В фаэтоне-то кто?

— Пять стрелки. Галдава говорит: всегда пять стрелки.

— Неужто не будет казачьего конвоя?

— Будет казачьего конвоя. Позади будет. Впереди будет.

— Много казаков?

— Много казаков. Не знаю, сколько много.

— Ох, немало людей перебьем, если нас не укокошат раньше. У них жены, дети... Значит, больше ничего узнать бабы не могли?

— Бабы не могли, и ты и я не могли.

— В плане перемен нет?

— Зачем перемен? Хороший план.

— Что думает твой Коба?

— Коба приказ дает, а что думает, кто знает?

— Это так. Он всегда врет.

— Не смей говорить: Коба врет!

— Да он в жизни не сказал ни слова правды: просто не умеет.

— Слуши. Хочешь, убью! — сказал Камо, и лицо у него стало наливаться кровью.— Ленин вот! — Он поднял руку высоко над головой.— Потом Никитич.— Он понизил руку.— Потом Коба.— Его рука еще немного понизилась.— А потом ты, я, все.— Положил руку на стол.

— Спасибо. А ведь твой Коба раньше был меньшевиком, хотя тщательно это скрывает.

— Нет большевики, меньшевики. В Стокгольме Ленин объединился.

— Скоро разъединился.

— Не разъединился. А Коба никогда не был меньшевик. Всегда большевик.

— Был, был меньшевиком. У нас на Кавказе все были,— возразил Джамбул, любивший его дразнить.

— Ты врешь! Убью!

— Нет, пожалуйста, не убивай меня. Убей лучше кого-нибудь другого. Кстати, маузер всегда при себе носишь?

— Всегда. Без нельзя.

— Ну, и дурак,— сказал Джамбул, впрочем тоже не расстававшийся с револьвером.— О чем еще с Лениным говорил?

— Провокаторы говорил. Ленин думает провокаторы. Красин тоже думает. Я предлагал план. Пойду ко всем товарищам. Три человека возьму, хорошие. Возьму с собой кол. Крепкий. Спрошу: ты провокатор? Если провокатор, сейчас посадим на кол. Если испугается, значит тоже провокатор. Хороший большевик ничего не испугается. Ленин не хотел. Красин тоже не хотел. Ругался. Очень ругался. «Ты, говорит, дикарь и болван!» Ленин смеется. Значит, правда. Я знаю, что я некультурный... Я по-русски хорошо говорю?

— Превосходно.

— Грамматику не знаю. Ничего не знаю. Писать не умею. По-грузински, по-армянски умею. Плохо. Арифметику совсем не умею,— сказал Камо со вздохом.— Некультурный. Дикарь. Дед был ученый. Священник.

— Неужели священник?

— Хороший, ученый. Я сам был верующий, ах, какой верующий! Много молился. Потом перестал, научили товарищи. Меня Коба учил. Всему учил. Спасибо. А учился плохо. Отец был пьяница. Он жив, но давно меня выгнал. От него я и некультурный.. Ну, говорим дело.

— Рассказывай.

Они заговорили о завтрашних действиях. В плане перемен действительно не было.

— ...Начнем на доме Сумбатова.

— Кто же, наконец, сбросит с крыши первую бомбу? — Это единственное, что еще не было решено.

— Не твое дело, кто бросит. Коба знает, кто бросит. Не ты.

— Он мне сегодня же скажет. Это «мое дело», такое же, как его,— раздраженно сказал Джамбул.— Я рискую больше, чем он.

— Не больше, чем он. И ты не нужен, Коба нужен.

— Я другого мнения... А что, это правда, будто тебя уже раз вешали?

— Вешали. Стервы поймали, сразу вешали. Я всунул.— Он прикоснулся к подбородку.— Что это называется?

— Подбородок?

— Подбородок веревку всунул. Не заметили. Пьяные. Противно было. Ушли стервы. Я развязался. Удрал. Не вешали. Подбородок месяц болел.

— Приготовил на завтра чистокровного рысака?

— Не скажи чистокровного. Скажи чистопородного. Штатский говорит чистокровного, кавалерист говорит чистопородного. Мне русский офицер сказал. Здешний. Драгун. Скажешь чистокровного, сейчас увидят: не русский офицер,— с удовлетворением пояснил Камо.

— Неужели увидят? А то ты как две капли воды москвич... Ну, что ж, постарайся на твоем рысаке не попасться под бомбу. Лошадь жалко. Значит, ты и завтра будешь в мундире?

— В мундире.

— Ну, и опять дурак. Ох, боюсь, напутаешь. Лучше уступил бы твою роль мне.

— Не уступил. Это ты дурак.

— А какой ты это орден нацепил? Купил на Армянском базаре?

— Купил на Армянском базаре.

— Купил бы Андрея Первозванного,— посоветовал Джамбул и спохватился: «Еще купит!»

— Не Андрея Первозванного. Коба сказал: Станислав третьей степени с мечами и бантом. Если кто был на японской войне два сражения, тот Станислав третьей степени с мечами и бантом. Ты не знаешь. Коба знает.

— Коба все знает. А что он сам будет завтра делать? Тоже будет палить с площади?

— Не будет палить с площади. Его убьют, кто останется?

— Конечно, конечно. Он волнуется?

— Не волнуется.

— Злой как черт?

— Злой,— согласился Камо, подумав.— Но не как черт. Жена помер.

— Я знаю. Правда, что она была верующая и терпеть не могла социалистов? Он любил ее?

— Так любил, так любил!

— А я, правда, не думал, что он может кого-нибудь любить. Иремашвили говорил мне, что был на кладбище. Он сам — Сосо, и Кобу, по старой памяти, называет Сосо. Были друзьями. Так вот Джугашвили ему сказал, приложив руку к груди: «Только она смягчала мое каменное сердце. Теперь ненавижу всех! Так пусто, так несказанно пусто!» Я переспрашивал. Клянется, что так, дословно... Значит, Кобе нельзя палить с площади? Его жалко?

— Тебя не жалко. Меня не жалко. Коба жалко.

— Правильно,— сказал Джамбул. «На него и сердиться нельзя»,— подумал он, смотря на собеседника в упор. Глаза у Камо были непонятным образом добрые, мягкие, печальные.— Ну, хорошо, а когда схватишь на площади мешок, кому отдашь?

— Кобе отдам, Ленину отдам. Красину отдам.

— Этим можно. Джугашвили денег не любит, это правда. Но где их будут хранить пока что? Ведь за границу переправить не так просто.

— Не твое дело.

— У Кобы была хорошая мысль. Он говорил мне. Хочет спрятать в Тифлисской обсерватории. Он там служил, кажется, лакеем, что ли? Знает там каждый угол. Хочет положить в диван директора. Умно!

— Спроси Коба.

— Это умно,— повторил Джамбул. Мысль ему нравилась преимущественно своей оригинальностью: обсерватория! С усмешкой подумал, что Коба не доверит денег одному человеку: «Либо сам отвезет, либо пошлет несколько человек, так украсть труднее».— Я еще хотел бы его повидать перед делом. Поедешь со мной?

— Не поеду. И адрес не дам.

— Адрес я знаю и без тебя,— сказал Джамбул.

Простившись с Камо, Джамбул вышел из ресторана и опять осмотрелся. Возвращаться домой ему не хотелось. Идти к Кобе было в самом деле поздно, да собственно и незачем. «Не надо было бы нынче ночевать дома. Да от судьбы не уйдешь. Во всяком случае живым не дамся... На что Ленин потратит деньги? Неужто хоть часть пойдет на журнальчики? Тогда очень нужно было идти на такое дело!.. Очень может быть, что завтра погибну. Стоило ли?

Он вдруг вспомнил о взрыве на Аптекарском острове.

Читал газетные отчеты с еще более жадным любопытством, чем Люда, чем все; с первой же минуты понял, чьих рук это было дело, и знал всех его участников. Теперь, не в первый раз, представил себе, как эти безвестные, бессловесные молодые люди, почти столь же преданные Каину, как Климова,— как они едут в ландо на Аптекарский с Морской, как мысленно отмечают повороты — осталось еще два? нет, три! — как всматриваются в названия улиц, в номера домов, как считают минуты остающейся жизни, как перед дачей в последний раз смотрят на землю, на небо, на людей, на извозчика, ими тоже обреченного на смерть.

«Нет, на это я пойти не мог бы! — вздрогнув, подумал Джамбул.— Велика разница между *возможной* смертью и смертью *верной*, без малейшей, без самой ничтожной надежды на спасение! Подумал об аресте и о казни Каина. «Как мог он в последнюю минуту не покончить с собой? Не успел, этот Геркулес! Что, если не успею и я!.. Все же есть надежда, есть и смысл. Добудем миллион, будет восстание, и Кавказ освободится. Только это одно отделяет наше дело от обыкновенного уголовного грабежа, но этого одного достаточно... Да, если погибну, жизнь пойдет дальше точно так же, так, как шла всегда, только я о ней ровно ничего не буду знать, ни о чем. И люди даже не вспомнят, ни в какую историю не попадешь. Разве кто-нибудь когда-нибудь еще вспомнит о Соколове, а он, при всем своем бездумии, при всем своем бездушии, был сверхгерой, не чета Лениным и Плехановым?

Эриванская площадь была безлюдна в этот поздний час. Он смотрел на дом, с крыши которого неизвестный ему человек должен был завтра бросить первую бомбу. В верхнем этаже жили три княжны, известные в тифлисском обществе; о них ходили благодушные анекдоты. «Может быть, *он* уже на крыше? Это было бы благоразумнее, чем подниматься при утреннем свете». Догадывался, что этот человек поднимется со двора по лестнице или по трубам.

Подошел к воротам и попробовал. Они не были затворены. Джамбул осмотрелся и заглянул в слабо освещенный двор. К нему спиной, глядя на крышу, стояли два человека. Один был в косоворотке и в сапогах. Джамбулу показалось, что это Коба. «Как все-таки я могу работать с этим человеком!» — подумал он. Точно вид Кобы мгновенно химически проявил те сомнения, которые у него назревали не первый день и не первый месяц.

IV

Тифлис был на военном положении. Казаки разъезжали беспрестанно по улицам города, городовые были вооружены винтовками, на перекрестках стояли караулы. В подготовке и выполнении экспроприации принимали участие десятки людей, и, как нередко бывает в подобных случаях, смутные слухи о предстоящем деле дошли до властей. Позднее тифлисский прокурор обвинял в легкомыслии полицеймейстера, а полицеймейстер, оправдываясь, нелестно отзывался о соображениях прокурора.

«Теоретики» экспроприаций предпочитали называть их «боями гражданской войны», любили военную словесность. Быть может, некоторые из них помнили, по «Войне и миру» или по бесчисленным газетным цитатам с «Die erste Kolonne marschiert», о диспозиции Вейротера перед Аустерлицем. Но, возможно, думали, что, вопреки Толстому, бои происходят именно по диспозициям. Во всяком случае они тщательно выработали подробный план дела на Эриванской площади: Чиабришвили, Элбакидзе, Шишманов, Каландадзе, Чичиашвили и Эбралидзе нападут на окруженные конвоем фаэтоны с деньгами, Далакишвили и Какриашвили на полицейский отряд у здания городской управы, Ломинадзе и Ломидзе на караул у Вельяминовской улицы, и т. д.

Однако экспроприации не так уж похожи на бои, они длятся не целый день и не несколько часов, а разве тричетыре минуты, и науки о них уже во всяком случае не существует. «Соотношение сил» экспроприаторам не могло быть известно, так как в любую минуту на площади мог появиться патруль из пяти или десяти или даже двадцати казаков. Собственно самым неподходящим для экспроприации местом в Тифлисе была именно Эриванская площадь, людная, центральная, расположенная поблизости от дворца наместника. По ней усиленные против обычного казачьи патрули проезжали в те дни почти беспрерывно, военные и полицейские посты всегда находились у штаба округа, у банков, на углах каждой из выходивших на площадь улиц.

Руководители дела, не слишком дорожившие чужой и даже собственной жизнью, на этот раз решили принять меры для уменьшения числа жертв: с раннего утра Камо в военном мундире, со свирепым видом, ходил по площади и вполголоса, вставляя в свою русскую речь «ловкие таинственные замечания», советовал людям уходить поскорее.

Мера была довольно бессмысленна: на смену одним прохожим беспрестанно появлялись другие, и этот странный офицер, по логике вещей, если б такая логика была, должен был сразу вызвать сильнейшие подозрения даже у самого глупого городового. На самом деле он никаких подозрений не вызвал, благополучно ушел до начала дела и где-то сел в запряженную рысаком пролетку, которой сам стоя правил (что тоже едва ли часто делали офицеры).

Один почтовый чиновник сообщил террористам, что 13-го июня, в 10 часов утра, кассир тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетчик Головня получат в почтово-телеграфной конторе большую сумму денег и отвезут их в банк, на Баронскую, мимо Пушкинского сквера, через Эриванскую площадь и дальше по Сололакской. Чиновник едва ли был подкуплен или запуган террористами,— они этим не занимались, никому денег не обещали, да и в свой карман, в отличие от многих других экспроприаторов, не брали: все отдали партии. Вероятно, чиновник тоже ей сочувствовал или же ненавидел правительство, как большинство населения России.

Курдюмов и Головня отправились на почту пешком. Для них это было привычное дело: деньги из столицы приходили в Тифлис часто. Распорядителей банка упрекнуть в легкомыслии было бы невозможно: к кассиру и счетчику приставлены караульный Жиляев и довольно большой наряд из солдат и казаков.

Вероятно, из экономии фаэтоны были наняты только у почты. Курдюмов и Головня получили деньги и не пересчитывали их; это было небезопасно, да и ненужно: они были запечатаны в двух огромных пакетах, 170 тысяч и 80 тысяч. Сверх того, кассиру было дано еще 465 рублей незапечатанных. Эти Курдюмов счел и положил в боковой карман пиджака. Пакеты же спрятал в мешок, затянул кольцо на ремне и бережно понес к фаэтонам, в сопровождении счетчика, караульного и солдат. Казаки ждали на улице. В первый фаэтон сели Курдюмов и Головня, поместив мешок на ковер в ногах. Во втором были Жиляев и два солдата. В третьем [1] еще пять

---

[1] В свидетельских показаниях есть, впрочем, разногласия. Раненый чудом уцелевший Курдюмов показал, что нанял только два фаэтона: «Лошади были серые, сидение было покрыто синим сукном, без чехла, внизу красный ковер, физиономии фаэтонщиков не помню».— *Автор.*

солдат. Казаки разделились: часть скакала впереди фаэтонов, часть позади, а один казак сбоку от первого фаэтона, со стороны дверец.

Вероятно, и на почте наблюдал за кассиром кто-либо из экспроприаторов. Во всяком случае на пути наблюдатели ждали их в разных местах. У Пушкинского сквера Пация Галдава дала знать о приближении казаков Степко Инцирквели. Этот сигнализировал Анете Сулаквелидзе, гулявшей перед зданием штаба, а она подала знак Бачуа Купрашвили, который пробежал по площади с развернутой газетой (что было последним общим сигналом) и через полминуты присоединился к ринувшимся на фаэтоны экспроприаторам.

С крыши дома на углу площади и Сололакской улицы была брошена первая бомба, за ней последовали другие, бросавшиеся с разных сторон, тотчас началась отчаянная пальба из револьверов — и наступил хаос, в котором уже было никак не до диспозиций. Из-за дыма почти ничего и не было видно. Люди рассыпались по сторонам кто куда мог.

С Гановской улицы на площадь примчалась пролетка Камо. Держа вожжи левой рукой, он стоял на подножке, стрелял во все стороны из револьвера и выкрикивал страшные ругательства. По «диспозиции» ему полагалось схватить в первом фаэтоне мешок с деньгами. Но и найти фаэтон было нелегко. Странным образом он остался цел. Кассира и счетчика выбросило силой взрыва на мостовую, казак был убит.

Камо почти никогда в жизни не терялся и уж никак не мог бы растеряться в тех случаях, когда действовал по определенному приказу. Ни малейших сомнений он не испытывал ни до экспроприации, ни после нее: Ленин постановил, Никитич помогал, Коба организовал,— значит, о чем же тут судить? Думать вообще было не его делом. Теперь на площади он действовал почти исключительно по инстинкту. Быть может, он единственный был совершенно спокоен, несмотря на грохот бомб, на пальбу, на дикие крики. Отчаянно кричал и ругался он не от злобы или волнения, а просто потому, что это входило в технику таких дел: так в старину конница неслась в атаку с воем и с ревом.

Справа из облака дыма выскочил Бачуа Купрашвили и побежал к Сололакской. В облаке как будто на мгновенье обрисовался фаэтон, но тотчас грохнула новая бомба и его опять заволокло дымом. «Упал! Убит Бачуа! —

подумал Камо.— Но мешок! Где мешок!..» И в ту же секунду он увидел, что к Вельяминовской, там где дыма было меньше, с мешком в руке бежит, с необычайной, неестественной, нечеловеческой быстротой, Чиабришвили. Это было уж полным нарушением приказа. Камо быстро повернул пролетку и помчался за ним. Успел, однако, подумать, что Бачуа, быть может, только ранен. Вернуться в пролетке было невозможно. «Другие подберут!»

Через несколько минут он, отобрав у Чиабришвили мешок, входил в конспиративную квартиру. Там уже было несколько других экспроприаторов. Он окинул их взглядом, бросил мешок на пол и яростно закричал:

— Где Бачуа?

— Убит!.. Сейчас придет!.. Ранен!.. Не знаю!..— отвечали задыхающиеся голоса. Диспозиция не предусматривала вопроса, что важнее: мешок или товарищ? Но достаточно было ясно, что мешок гораздо важнее. Однако лицо у Камо налилось кровью. Он осыпал товарищей исступленной бранью. Вдруг дверь отворилась и на пороге, держась окровавленной рукой за голову, появился Бачуа. Камо, против всякой конспирации, что-то закричал диким голосом — и вдруг пустился в пляс.

Купрашвили, еле справляясь с дыханьем, объяснял, что на мостовой потерял сознание лишь на полминуты, затем вскочил и прибежал сюда. Его слушали очень плохо. Все говорили одновременно, о том, что делали, что пережили. Все кричали, что надо говорить потише: люди на улице могут услышать. Камо что-то орал, продолжая плясать. Кто-то поднял мешок, положил на стол и начал растягивать кольцо. Мгновенно сорвавшись с пола, Камо, как кошка, прыгнул к столу. Он верил товарищам, знал, что ни одного вора между ними нет, но Коба велел принести пакеты не распечатанными: Джугашвили верил товарищам меньше.

Впрочем, на конвертах были написаны цифры: «180.000», «70.000». Не выпуская пакетов из рук, Камо прочел надписи. Попытался сложить в уме, другие помогли: «250.000». Восторг был общий, хотя некоторые ждали, что будет миллион. Камо опять пошел плясать, держа над головой по пакету в каждой руке.

— Сделано!.. Революция!.. Теперь освободимся!..— говорили люди. Один из экспроприаторов сказал, что все разыграно как по нотам. Так в этот день говорили все в Тифлисе, кто с восхищением, кто с яростью. А на

следующий день то же самое писали газеты во всей России.

Джамбул не все помнил из подробностей дела на Эриванской площади, самого страшного в его жизни. Такие пробелы в памяти у него изредка бывали, когда он выпивал за ужином две или три бутылки вина. В *делах* же этого с ним до сих пор не было ни разу.

По плану он должен был застрелить городового, стоящего у дверей Коммерческого банка; сам это выбрал,— не хотел стрелять в кассира или счетовода, чего впрочем товарищам не сказал. И действительно, как только он увидел бегущего с развернутой газетой Купрашвили, он, не торопясь вынув из кармана револьвер, направился к банку. Городовой, еще молодой, безбородый блондин, по-видимому, великоросс-северянин, стоял к нему вполоборота, с любопытством глядя на приближавшийся конвой. Джамбул помнил, что выстрелил тотчас после взрыва первой бомбы, еще до того, как фаэтон заволокло дымом,— и не понимал, что случилось. Не попасть в человека с шести или семи шагов он не мог, просто *не мог*. Помнил, что целился в голову: пуля маузера должна была тогда убить наповал. Вместо этого городовой, совершенно невредимый, что-то отчаянно закричал, повернулся и выхватил свой револьвер. В ту же секунду на площади начался хаос. И сам не помня как, он оказался шагах в тридцати от дверей банка, за газетным киоском.

Помнил, что еще два раза выстрелил в облако около фаэтона и тоже, наверное, никого не убил. Помнил позднее, что и не хотел попасть. Помнил, что несколько секунд бессмысленно смотрел на висевшие на стенке газеты: «Голос Кавказа»... «Тифлисский Листок»... Вдруг он увидел, что на него несется с поднятой нагайкой казак на гнедой лошади. Самообладание мгновенно вернулось к Джамбулу. Он сделал несколько шагов вперед и выстрелил. Лошадь поднялась на дыбы, пуля попала ей в шею. Он остановился. Как раз грохнула и оглушила его другая бомба. Кто-то, держась за бок, что-то крича, с искаженным лицом, пробежал мимо него. Казак не вставал. «Фаэтон должен повернуть на Сололакскую,— вспомнил Джамбул и побежал в ту сторону.— Нет, разбит, конечно, фаэтон!.. Что сейчас делать?» С минуту он стоял неподвижно, все еще полуоглушенный. Затем сорвался с места, побежал к киоску. Казака больше не было. «Его счастье!» Издыхавшая гнедая лошадь судорожно билась на боку в луже крови. Ему на всю жизнь запомнились ее карие

глаза с расширившимися белками. И дальше следовал в памяти провал: он старался и не мог вспомнить, сколько времени еще оставался на площади и что именно там делал.

Пришел он в себя на боковой широкой улице. По мостовой бежали люди, что-то страшно крича и толкая друг друга. Он подумал, что бежать не следует, и пошел по тротуару обычным, разве только чуть ускоренным шагом. Подумал, что дальше надо свернуть направо и что до конспиративной квартиры очень близко. «Я не хотел ее убивать... Зачем поднялась на дыбы?.. Убил для ленинских журнальчиков... Кажется, убиты десятки людей... Но не мною... Как я мог промахнуться в городового!..» Вдруг все рванулись с мостовой на тротуары и в подворотни: навстречу по направлению к площади несся эскадрон драгунского полка. «Эх, хороши кони!.. Зачем она поднялась на дыбы?..»

Выстрелов больше не было слышно, но со стороны площади еще доносился неясный гул. Улица была почти пуста. Джамбул свернул вправо и дошел до конспиративной квартиры. Хотя окна были затворены, слышались крики, шум, смех. Что это с ними? Взбесились?..» В другое время ему, быть может, понравилось бы кавказское молодечество и презрение к опасности. Теперь он с минуту послушал и пошел дальше.

Неподалеку был бедного вида духан. Хозяин на пороге очень бледный и возбужденный уже видимо собирался затворить дверь. Подозрительно оглянул Джамбула, хотел было не впустить его и впустил. Быстро и сбивчиво что-то говорил. «Пятьдесят? Не может быть, чтоб было пятьдесят жертв!..»

Не вступая в разговор, он потребовал водки и выпил у стойки одну за другой несколько рюмок. Еще подумал вяло, что это может вызвать подозрение: «Утром никто так водку не хлещет...»

— Коньяк есть? — спросил Джамбул и узнав, что есть только русский, но хороший, Шустовский, велел налить — не в рюмку, а в чайный стакан. Выпил залпом. Хозяин смотрел на него с тревогой. Он заплатил и, пошатываясь еще больше прежнего, вышел. «Да, да... Ничего красивого... Не кавалерийская атака в раззолоченных мундирах... Пойдет на ленинские журнальчики... Не чистая кровь, а смешанная с грязью... Гораздо больше, чем война... Может быть, вся жизнь была ошибкой... Может быть, очень может быть»,— бормотал он на улице.

V

От отца из Турции, по условленному адресу, пришли деньги и новое письмо. Старик настойчивей, чем обычно, просил сына приехать, жаловался на здоровье тоже больше, чем обычно, говорил, что непременно хочет еще раз его увидеть, ссылался на необходимость привести наследство в порядок. Джамбул и прежде получал такие приглашенья и все откладывал. «Любит жаловаться, как все старики. Может, что-то слышал и беспокоится». Они переписывались не часто. Едва ли старик толком знал, чем собственно занимается сын. Джамбул неопределенно говорил, что участвует в борьбе за независимость Кавказа. Это отец мог понять и даже должен был этому сочувствовать.

В первые дни после экспроприации Джамбул никого не видел из террористов. Читал газеты и очень много пил, хотя был уже спокоен. Никакой слежки он за собой не замечал и еще убежденнее, чем прежде, думал, что русская полиция плоха и вдобавок насмерть запугана, особенно на Кавказе.

Обедал он в ресторанах в центре города и каждый раз выходил на Эриванскую площадь. Окровавленная гнедая лошадь, ее глаза с расширившимися белками не выходили у него из головы. Возвращаясь домой, он читал до поздней ночи; проходя по Головинскому проспекту, купил наудачу книги: петербургский толстый журнал, Шекспира в русском переводе, «Воскресение» Толстого. Думал, что надо, непременно надо съездить к отцу. Уехать можно было легально, паспорт был вполне надежный. Он любил отца, но всегда говорил себе, что «покоить старость» совершенно не умеет. «Все-таки он прежде так тревожно о себе не писал. Неужто помрет! Останусь на свете один, как перст...»

В этот вечер он рано лег и положил на широкую кровать все три купленные книги. Сначала не читал. Думал об отце. Думал о деле на Эриванской площади. Думал о Ленине: «То-то обрадуется, с неба свалились большие «деньжата»!» — сказал он себе и поморщился еще сильнее: уж очень не подходили тут слова «с неба». Спать не мог, несмотря на большое количество выпитого вина; снотворных он никогда не принимал и почему-то боялся. Наудачу открыл книгу Шекспира. Выпала скучная пьеса «Цимбелин». Он взял журнал. С досадой заметил, что приказчик ему подсунул старый, залежавшийся номер.

Из хроники он узнал, что в России за год убито

733 человека, повешено 215, расстреляно по приговору военного суда 341, казнено по новому военно-полевому суду, только за полтора месяца, 221. «Может, скоро будет не 215, а 216 повешенных»,— подумал он и опять мысленно повторил: «Одним Джамбулом меньше или больше, не все ли равно?» Часто так говорил себе, но сам понимал, что говорит неискренно: этот «один» имел для него некоторое значение. В хронике еще сообщались цифры убитых людей, названных «представителями власти»; они были никак не меньше. «Да, три дня тому назад ни одного «представителя власти» к этой статистике не прибавил и слава Богу!»

Он прочел в журнале также что-то длинное и скучное о «Партии демократических реформ», о профессоре Максиме Ковалевском, о недавно скончавшемся адвокате Спасовиче. «Нравы общественные страшно дичают,— недавно писал нам из Варшавы Владимир Данилович,— взрывы бомб, выстрелы, грабежи и убийства совершаются каждый Божий день и на улице...» Прежде такие слова вызвали бы у Джамбула просто насмешку: он не любил либералов, причислял их всех к «Деларю». «Благоденствовали всю жизнь, никогда, ни разу не рискнули своим драгоценным существованием». Теперь ничего такого не подумал. Отложил журнал и раскрыл «Воскресение».

Эту книгу читал до глубокой ночи. Любил Толстого как художника, к его мыслям относился еще более насмешливо, чем к мыслям либералов: «Просто старческое слабоумие». Сцена церковной службы в тюрьме его очень задела. «Нет, это все-таки чистое богохульство. Он не имел права насмехаться над чужой верой, и сам никакой веры не имел: верующий не мог бы так писать и о церковных обрядах. Но какие тяжелые, страшные слова!» — думал он, засыпая.

И тотчас разные фигуры, проходившие в его уме в последние дни и часы, смешались, завертелись, зажили самой нелепой, бессмысленной жизнью. Ленин писал статейки на окровавленных ассигнациях. Отец, с больным, осунувшимся лицом, лежал на кровати и ждал не приходившего врача. Окровавленная гнедая лошадь въезжала в сад его дяди, весь залитый солнцем, и хрипя, объясняла, что служить не может, так как ее убил Джамбул пулей в шею. Дмитрий Нехлюдов ей объяснял, что тут судебная ошибка: Джамбул никогда лошади не убивал и не убьет. Спасович в «Тифлисском Листке» предлагал, что будет защищать Катеньку Маслову за тысячу рублей: «Это все-

го десять катенек, а у Курдюмова взято гораздо больше». Ленин отрывался от статеек и насмешливо говорил, что ни одной катеньки не даст, и на восстание не даст ни гроша, все нужно на журнальчики, фига вам, товарищи, под нос...

Он проснулся от стука в дверь. Не сразу пришел в себя. В его комнату вошла молодая горничная, всегда на него с улыбкой поглядывавшая, и почтительно доложила, что его к телефону требует светлейший князь Дадиани. Джамбул, оторвавшись от жаркой подушки, с минуту смотрел на нее выпученными глазами. Затем вспомнил, что под этим именем в Тифлисе жил Камо.

— Скажите пожалуйста, что сейчас спущусь,— сказал он. Горничная приятно улыбнулась и вышла. Он надел великолепный шелковый халат, купленный еще в Париже, на Вандомской площади, вспомнил о Люде, которой этот халат очень нравился. «Удобно ли спускаться в халате вниз? Ничего, сойдет. Еще рано, внизу никого нет». В самом деле не было восьми часов. «Мог бы, дурак, позвонить позднее».

— Здравствуй, светлейший,— сказал он.— Что случилось? Рановато звонишь.

Камо ответил, что его хочет в десять часов видеть один человек. «Конечно, Коба»,— догадался Джамбул.

— К «камо» приехать? К «немо»?

— К немо,— подтвердил Камо и повесил трубку, не дожидаясь ответа, точно в согласии Джамбула не могло быть ни малейшего сомнения. Джамбул пожал плечами. «Назло приеду с опозданием!»

Однако опаздывать в их работе не полагалось, и он приехал ровно в десять, оставив извозчика далеко от дома, в котором жил Джугашвили. Хозяин, совершенно спокойный, встретил его со своей обычной усмешкой. «Ох, не могу его видеть!» — подумал Джамбул.

Он давно знал этого человека, совершенно не выносил его и всегда при встречах с ним испытывал смутное чувство, будто находится в обществе настоящего злодея. Никогда *этого* о Кобе никому не говорил и даже сам себя упрекал за необоснованное и потому несправедливое сужденье: многое знал о Джугашвили, все же не такое, что давало бы основание считать его злодеем: «Самое большее, негодяем». Ему иногда казалось, что такое же чувство испытывают и другие хорошо знающие Кобу люди и тоже этого не говорят: что-то в самой его внешности внушало людям осторожность. «Ну, уж я-то его не

боюсь!» — подумал Джамбул, и тотчас в нем еще усилилась злоба и раздражение.

В комнате были Камо, в том же наряде, при том же темно-красном с золотом ордене, и женщина в белом, грязноватом, дешевеньком платье. Джамбул помнил, что ее зовут Маро Бочаридзе и что она в дружине работает на ролях тифлисской мещанки. Он учтиво с ней поздоровался. Коба посмотрел на него с усмешкой и небрежно подал ему руку.

— Здравствуй, бичо,— сказал он. Это слово, означавшее «парень» или что-то в этом роде, и особенно усмешечка Кобы раздражили Джамбула еще больше: «Вы, мол, маленькие людишки, а вот я великан». Между тем, при всей своей хитрости и смелости, он очень серый человек довольно плюгавой наружности, вдобавок грубый и природной, и наигранной грубостью: «Думает, что это действует на всех. Нет, на меня не действует. Впрочем, со мной он груб не будет: знает, что это небезопасно».

— Очень рад тебя видеть, бичо,— ответил он. Коба тотчас от него отвернулся и заговорил с Камо, который восторженно на него смотрел. Смотрела ему в глаза и Маро, она скорее со страхом, чем с восторгом. Коба говорил по-русски гораздо лучше, чем Камо, гораздо хуже, чем Джамбул.

— Так, разумеется, и сделаешь,— *приказал* он. Предположение Джамбула подтвердилось: Джугашвили поручал им *вместе* отвезти в обсерваторию деньги: они были зашиты в новый большой диванный тюфяк, лежавший на полу в комнате Кобы.

— Поедешь ты и Маро на одном извозчике, а *он* за вами на другом. Зачем ты сдуру нарядился офицером! Это тюфяк перевозить! Сейчас же переоденешься.

Камо робко-почтительно, частью по-русски, частью по-грузински, объяснил, что он о предстоявшей перевозке тюфяка не знал. Выразил также мнение, что лучше было бы перевезти тюфяк вечером, когда стемнеет.

— Я твоего мнения не спрашиваю. Сделаешь, как я говорю! — прикрикнул Коба. Камо тотчас закивал головой. Испуганно кивала головой и Маро. Джамбул вмешался в разговор:

— Тюфяк мог бы перевезти любой кинто,— ласково сказал он,— как будто ни к кому не обращаясь.— Постороннему человеку не грозила бы опасность: в случае ареста он объяснил бы, что его наняли, и доказал бы свое алиби. Тогда как Камо, если схватят, то повесят. Правда,

кинто мог бы указать адрес квартиры, где получил тюфяк,— как бы наивно добавил он. В глазах Кобы скользнула злоба. Он занес в память слова Джамбула, но сдержался и, очень непохоже изобразив на лице добродушную улыбку, сказал:

— Тебя я прошу поехать за ними на другом извозчике. У тебя револьвер с собой?

— С собой, бичо. Хорошо, я поеду за ними. Разумеется, на небольшом расстоянии, а то они могут стащить деньги и удрать,— невозмутимо сказал Джамбул. Лицо Камо вдруг стало зверским.

— Слюши! — сказал он. Коба тотчас прервал его и столь же добродушно засмеялся.

— Он, конечно, шутит. Вот что, понять мое распоряжение нетрудно. Ты и она отнесете заведующему тюфяк. Затем спуститесь в залу. Там в одиннадцать часов астроном показывает дурачью всякую ерунду. Послушайте в толпе, вместе с толпой и выйдете. Вас не заметят. Если по дороге в обсерваторию на вас набросится полиция, стреляйте, разумеется, до последнего патрона и бегите в квартиру на Михайловскую. Разумеется, с тюфяком! — внушительно сказал он.— А на обратном пути ты, дурочка, пойди пешком одна. У тебя револьвера нет, отделаешься тюрьмой. А вы оба как хотите, стреляйте или не стреляйте. Тебе, Камо, все равно виселицы не миновать. За старые грешки. А против тебя улик нет,— обратился он к Джамбулу.— За ношение револьвера много если сошлют на каторгу. Ничего, папенька в Турции подождет,— сказал Коба, и на его лице снова выступила усмешечка. Джамбул вспыхнул. «И об отце знает! Следит за товарищами!»

— А тебе откуда известно, против кого есть улики и против кого нет?

— «Сорока на хвосте принесла», говорил в Таммерфорсе Ленин,— сказал Джугашвили. Он очень гордился тем, что говорил с Лениным и, как ему казалось, произвел на него сильное впечатление.— По делу на Эриванской ни против кого улик быть не может, значит и против тебя нет.

— В обсерваторию я поеду, а в Финляндию отвозить деньги не поеду.

— Я тебе и не велю,— сказал Коба. Он давно решил, что деньги отвезет Камо: ему верил.

— Ты ничего мне *велеть* и не можешь!

Коба, не отвечая, опять обратился к Камо. Кратко

и ясно повторил свою инструкцию; знал, что Камо с одного раза не понимает. «Да, свое дело он знает, это правда. Но отроду не видел человека, который был бы мне так противен»,— думал Джамбул, внимательно слушая. Закончив объяснение, Коба встал. «Аудиенция кончена!» Тотчас встали Камо и Маро.

VI

Седобородый астроном в чесучовом пиджаке показывал обсерваторию небольшой группе посетителей и устало давал привычные объяснения:

— Человек, портрет которого вы видите на этой стене, великий астроном Николай Коперник. Он родился в тысяча четыреста семьдесят третьем году, умер в тысяча пятьсот сорок третьем. Его долго считали немцем, но это неверно: Коперник был поляк. Он открыл, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вращается вокруг солнца. Работал он при помощи параллактического инструмента, состоявшего из трех деревяшек с деленьями. Эти деревяшки впоследствии перешли в собственность другого знаменитого астронома Тихо де Браге, который хранил их, как священнейшую реликвию в истории науки, и написал о них стихи. Говорил в стихах, что Земля производит такого человека раз в тысячелетие: он остановил Солнце и бросил в движение Землю. Сам же Коперник долго не решался опубликовать свое открытие: боялся преследований католической церкви и еще больше того, что все над ним будут насмехаться. Опубликовал он свою бессмертную работу только незадолго до смерти. Он посвятил ее папе Павлу III, но, как еретическая, она была включена Конгрегацией в пресловутый «Индекс». Хотя этот великий человек был верующим, все же, быть может, только чудо спасло его от костра,— говорил астроном, по-видимому недолюбливавший католическую церковь.— Его гениальное произведение называется: «De revolutionibus orbium coelestium» [1]. Копернику поставлен в Варшаве памятник работы Торвальдсена...

Слово «revolutionibus» остановило внимание Джамбула. «И тут какая-то революция,— да не та». Он вгляделся в худое измученное лицо с падающей по обе стороны головы густой копной волос. «Да, лицо не как у Кобы... Кто его знает, какой он был человек и что он

[1] «Об обращениях небесных сфер» *(лат.)*.

о жизни думал?.. Так он был верующий? Неужели во все верил? И в загробную жизнь верил? А надо думать, был человек поумнее меня, с Камо и Сосо и даже с Лениным впридачу! Если б у меня была настоящая вера, выбрал бы себе не такую жизнь. Что же я тогда делал бы? Деревяшки с деленьями не для меня, никаких талантов у меня нет. Но когда же, почему, зачем я выбрал такое нечеловеческое существование? Независимость Кавказа? Да ведь править им скорее всего будут разные Кобы, и что же я буду от себя скрывать, они в сто раз хуже, чем Воронцовы-Дашковы. А такие люди, как Цинцадзе или Рамишвили, они в сущности те же либералы, не столь уж отличающиеся от Спасовичей и Ковалевских. Едва ли они придут к власти, если и будет революция, как не придут к власти в России Ковалевские. И потому именно не придут, что они культурные, а не звери!» — подумал он, сам удивляясь тому, что так быстро изменилось его отношение к революции. «Все-таки не из-за гнедой же лошади!»

Астроном сказал, что осмотр кончен. Посетители направились к выходу. Джамбул опять при выходе осмотрелся и пошел на Эриванскую площадь, все тем же старательно-неторопливым шагом, которым теперь ходил по городу. Тело его было собрано и напряжено на случай внезапного нападения. С револьвером он после экспроприации не расставался, хотя это было нецелесообразно: улик против него действительно не было, и в случае ареста он, вероятно, повешен не был бы.

На мостовой на том месте, где упала первая бомба, стояло несколько человек. Один что-то объяснял, показывая на вывороченные камни. Джамбул послушал. «Да, это, вероятно, пятно от крови. Здесь упал тот казак, что скакал около фаэтона... Но не я убил его. Кроме нее, я никого не убил...» Он прошел к газетному киоску, остановился там, где стоял тогда, опять увидел «Тифлисский Листок». Сделал несколько шагов, взглянул на *то* место — и вдруг почувствовал себя нехорошо.

В ресторане «Аннона», где всегда бывало множество людей и где не было ни одного случая ареста, он отдышался. Есть почти не мог, но пил вино, слушал струнный оркестр. За соседними столиками люди говорили о своих делах. «Об этом надо очень и очень подумать»,— сказал один из них. «Да, и мне надо очень, очень подумать. Быть может, вообще мало думал о жизни, о самом главном. Теперь поздно. Хотя почему же поздно? Поговорить не с кем. Коба животное. Камо герой. Все уверяют, будто

он добр, а он собирался сажать людей на кол. Как странно, что он был религиозен! Теперь, конечно, издевается над верой: Коба научил... Да, я состарился и не заметил этого... Надо возможно скорее поехать к отцу»,— мелькали у него бессвязные мысли.

По дороге домой он зашел к тому человеку, по адресу которого приходили письма. Была только телеграмма из Турции. Он поспешно ее распечатал, разорвав края на складке. Старый друг извещал, что отец скончался ночью во сне без страданий.

Очевидно, заведующий обсерваторией сочувствовал экспроприаторам. Впрочем, мог, хотя это маловероятно, и не знать, что́ находится в новом тюфяке его дивана. Через некоторое время Джугашвили все из тюфяка извлек, а Камо отвез Ленину в Куоккалу. Теперь он путешествовал уже не в первом, а во втором классе и был не флигель-адъютантом, а только прапорщиком.

Крупская и Богданова зашили деньги в стеганый жилет своего товарища Лядова. «Он очень ловко сидел на мне,— писал Лядов,— без всяких осложнений деньги были перевезены нелегально через границу».

У Государственного банка однако оказались номера похищенных пятисотрублевок, и они тотчас были сообщены по телеграфу всем полициям Европы. Менялись пятисотрублевки по частям в разных западных банках. При попытках размена были арестованы Литвинов, Семашко, Равич и некоторые другие большевики. Таким образом, маленький центральный комитет, то есть Ленин, Красин и Богданов, лишился немалой части денег.

Кроме того вышли неприятности с меньшевиками, которые подняли «агитацию, что не следует иметь ничего общего с мошенниками». Они ругали Ленина и Камо самыми ужасными словами. Но Ленин был не слишком огорчен неприятностями. Под его диктовку Крупская приписала к его частному письму об этом деле: «Меньшевики уже подняли тут гнусную склоку. Устраивают тут такие гнусности, что трудно даже верится... Сволочь?»

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В восемнадцати километрах от Парижа, в красивой долине у реки Иветт, лежит местечко Лонжюмо. В нем, как в любом городке Франции, есть очень старая готическая церковь; местечко уходит в глубокую древность. Когда-то тут шли какие-то битвы и был заключен какой-то мир между католиками и гугенотами. Больше, чем они, прославила городок оперетка Адана. Но о мире и войнах давно забыли жители городка. Теперь занимались в малых размерах промышленностью, торговали хлебом, медом, овощами, разводили скот, по вечерам собирались в кабачках, пили, играли в карты и в домино, а в десятом часу ложились спать.

Весной 1911 года Центральный комитет Российской социал-демократической партии снял в Лонжюмо старенький ветхий домик с сараем и основал там партийный университет, с учащимися и вольнослушателями. Всего училось в нем восемнадцать человек; преимущественно это были рабочие, приехавшие из России и обязавшиеся тотчас после окончания курса вернуться на родину для подпольной пропаганды. Партия их содержала, правда, очень скромно, и оплачивала переезд. Секретных агентов Департамента полиции, как оказалось после революции, было среди слушателей всего трое.

Меньшевики — Мартов и Дан,— к большому удовлетворению Ленина, отказались преподавать в университете и даже его бойкотировали. Он стал чисто большевистским учреждением. Для чтения лекций в Лонжюмо переселились Ленин с женой и тещей и Зиновьев; приезжали из Парижа и другие партийные светочи. Ленин читал три курса: «Карл Маркс и буржуазные теории политической экономии», «К аграрному вопросу в России», «Теория и практика социализма»; Зиновьев читал историю партии, Луначарский — историю искусства, Каменев — историю буржуазных партий в России и что-то еще читали Стеклов, Шарль Рапопорт, Станислав Вольский. Среди преподавате-

лей были очень ученые люди, вроде Рязанова; все старались читать общедоступно, но вряд ли слушатели много понимали. По требованию Ленина, они записывали лекции, он задавал вопросы, правил ответы. Увлекался делом и был вообще так весел, как никогда прежде.

Переселилась в Лонжюмо и новая партийная работница Инесса Арманд. О ней в партии много сплетничали. Она была человеком другого мира. Отец ее был англичанин, мать француженка. Выросла она в семье богатых фабрикантов. В нее влюбился и женился на ней молодой Арманд, сын главы фирмы. В его имении она устроила школу для детей. Интересовалась общественными вопросами, работала в Московском обществе улучшения участи женщин, примкнула к большевикам и в 1909 году, расставшись с мужем, взяв с собой ребенка, эмигрировала. Одни в Париже и в Лонжюмо считали ее красивой, другие только «еле хорошенькой», указывая, что лицо у нее ассиметричное и слишком длинное, а рот слишком широкий. В общем ее любили, но говорили, что в партии она выдвигается только по протекции: неожиданно в нее влюбился Ильич! Главный спор в сплетнях шел преимущественно о том, «живет» ли он с ней или же роман платонический?

Она старалась сблизиться с товарищами, понять и усвоить их политический жаргон, но боялась их и чувствовала, что они ей чужие. Только Каменев, когда не говорил о меньшевиках и Троцком, и Луначарский, когда не говорил о Ницше или Ибсене, немного походили на людей ее прежнего общества. Еще больше боялась она учеников школы в Лонжюмо: рабочих прежде видела только на фабриках своего мужа,— там бывала очень редко: так ей было их жалко. С рабочими она в школе разговаривала особенно ласково и пыталась от них не отличаться по языку и по манерам. Это не очень ей удавалось.

Школа находилась на главной улице городка. В ветхом домике было тесно. Инесса, с сыном Андрюшей, поселилась в комнатушке под крышей; рядом с ней жили три вольнослушателя. Другие учащиеся разместились в местечке где могли. Ленин с Крупской и тещей жили у сдававшего комнаты французского рабочего. Обедали же все вместе в столовке, устроенной Катей Бароновой в кухне дома и в коридоре. Лекции читались в сарае, в котором прежде была столярная мастерская. Своими силами сколотили длинный стол, достали табуреты и несколько стульев. По требованью Ленина, мусор вынесли, сарай кое-как привели в порядок.

Инесса Арманд в самом деле очень быстро повысилась в чине: стала «членом президиума парижской группы содействия партии». Она была очень полезна, преимущественно трудолюбием и прекрасным знанием иностранных языков. В Лонжюмо читала «историю социалистического движения в Бельгии»; но оттого ли, что эта история уж совершенно не интересовала рабочих, или по другой причине, прочла всего три лекции. Правда, Крупская не прочла ни одной.

Ленин был на всех лекциях Инессы; это была редкая честь, тотчас оцененная в доме: на лекции других преподавателей он ходил редко, а когда читали Луначарский или Рапопорт, обходил сарай за версту. Объясняли это тем, что историей искусства Ильич не очень интересуется, к Луначарскому относится благодушно-иронически, а «Хаима» недолюбливает. Слушатели, даже шпионы, напротив, очень любили веселого, жизнерадостного, вечно острившего Рапопорта,— он забавлял малограмотных людей не меньше, чем забавлял Анатоля Франса. Но его русскую речь они понимали плохо и часто называли его «Хаимом»,— им кто-то сообщил, что его так звали в России. Луначарский, многозначительно поднимая палец, объяснял им, что Рапопорт — голова, что он в самых дружественных отношениях с Франсом,— это такой знаменитый писатель,— и с Жоресом, тем самым,— «ах, какой оратор, мне за ним не угоняться». Ленин не говорил ни о Рапопорте, ни об его друзьях,— друзья были скверные: Жорес — «Дрекгеноссе» не лучше Эдуарда Бернштейна; книги же Франса, во-первых, какие-то романы, а главное, буржуазная скептическая ерунда, просто человеку нечего сказать.

Когда Инесса Арманд кончила свои лекции, Ленин поручил ей семинарий по политической экономии. В доме шутили, предполагая — быть может, не без основания,— что Инесса о политической экономии не имеет никакого понятия. Однако она и с этой задачей справилась добросовестно, как добросовестно делала все: по вечерам, когда Андрюша засыпал, до поздней ночи при свече читала учебники и даже что-то выписывала из «Капитала». Ильич бывал и на семинарских занятиях. Хотя кое-чем оставался как будто не очень доволен и «дополнял», но хвалил Инессу, сомневавшуюся в своих силах. Крупская на ее лекциях и практических занятиях не бывала.

Сплетники на этот раз не ошибались: Ленин по настоящему влюбился,— вероятно, в первый и в последний раз в жизни.

Тремя годами позднее он — не очень ясно — писал Инессе Арманд:

«Даже мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуи без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно. Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов *грязны*. Согласен. Им надо противопоставить... что? Казалось бы: поцелуи с *любовью?* А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) — выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским... Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский (кажись п. 6 или п. 5 у меня) пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью (с добавлением, *если уж непременно хотите*, что и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая). У Вас вышло противопоставление не классовых *типов*, а что-то вроде «казуса», который возможен, конечно. Но разве в казусах дело? Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи,— эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь *гвоздь в индивидуальной* обстановке, в анализе *характеров* и психики *данных* типов). А в брошюре?»

В этом странном письме о любви, с какой-то брошюрой и с пунктами пятым и шестым, говорится также о пролетариате, о смущении рабочих, об объективной и классовой точке зрения. Он писал ей то на «вы», то на «ты». Во всяком случае это *единственное* письмо Ленина, где тему составляют любовь и поцелуи.

Крупская столь неожиданную для нее историю приняла с достоинством. Относилась к Инессе Арманд корректно; позднее предложила, что уйдет от мужа и предоставит ему свободу. После некоторого колебания, он этого предложения не принял.

Почти «тургеневская» любовь к Инессе едва ли не самое странное в жизни этого человека. Любовь эта никак не была «мимолетной». Он любил Инессу весь остаток своей жизни. Она умерла в России от сыпного тифа в 1920 году. За ее гробом он шел, «шатаясь». Больших должностей она не заняла и после революции. Если бы не Ленин, окольничьи, вероятно, не явились бы и на похороны. Из-за него они провожали ее к могиле и испуганно на него смотрели: сейчас упадет в обморок.

II

Любовь не мешала делам, или мешала им очень мало. Дела были в большинстве прежние. Были и некоторые новые. Сотрудников, помощников, окольничьих стало больше; больше стало и врагов. Но состав и тех и других, как всегда, был текучий, беспрестанно меняющийся. Теперь он особенно поносил именно тех, к кому прежде относился мягче или даже совсем хорошо. Так, Потресова называл подлецом, болваном и жуликом. Врагом стал и Богданов, еще недавно очень близкий. Его он возненавидел не столько по политическим, сколько по философским причинам.

Прежде Ленин охотно признавал свое философское невежество. В два года, проведенные им в России и в Финляндии, ему было не до философии. Но когда, осенью 1907-го года, он вернулся с женой за границу, он принялся за изучение философских трудов и стал писать книгу против «распроклятых махистов» и против «философской сволочи» вообще. Поклонники недоумевали: вздумал старик писать об ерунде, да еще в такое время, когда меньшевики делают всякие гнусности! Ленин говорил о своем «философском запое», но это слово не следует понимать в обычном русском смысле: работал он очень регулярно, читал, делал выписки. Все философы, кроме материалистов, внушали ему отвращение. Философией стали заниматься и некоторые его соратники во главе с Богдановым. И тотчас он их возненавидел, рассорился с ними и всех их признал «богоискателями» и «богостроителями». У него образовалось нечто вроде личной вражды к Богу. Он писал о Боге всем, особенно же Максиму Горькому, которого подозревал в «поповщине». Выражал надежду, что Горький исправится под влиянием своей жены: «Она, чай, не за бога, а?»

«Философский запой» никак не мешал ему заниматься и практической политикой. «Говорят, что с.-р. Чернов написал даже водевиль по поводу объединения у с.-д. под названием «Буря в стакане воды» и что сей водевиль дают здесь на днях в одной из (падких на сенсацию) групп эмигрантской колонии. Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой склоки и скандала, маеты и «накипи» тошно; наблюдать все это — тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению. Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее, чем было до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны. Но склока отпадет; скло-

ка остается на 9/10 за границей; склока, это — аксессуар. А развитие партии, развитие с.-д. движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения»,— писал он из Парижа за год до школы в Лонжюмо.

Едва ли писал вполне искренно. Вопреки распространенному мнению, склока в эмиграции не настолько уж сильнее, чем бывает склока на родине. И вряд ли Ленину было тошно от нее, от маеты и накипи: он все это любил, это было издавна частью его жизни. И не так уж быстро шло тогда вперед развитие партии и социал-демократического движения. Скорее было верно обратное, и он не мог этого не видеть. «Интеллигенция *бежит* из партии. Туда и дорога этой сволочи»,— писал он.

Работе опять мешало безденежье. Он писал, что денег нет ни у него лично, ни (что было для него всегда гораздо важнее) у Центрального Комитета. Савва Морозов умер, другие богачи больше ничего не давали. Красин не только не находил денег, но и не искал их. «Это мастер посулы давать и очки втирать»,— говорил Ленин о своем бывшем и будущем любимце.

В этом безденежьи есть все же нечто не совсем понятное. Несмотря на частичные провалы при размене денег в европейских банках, от большой суммы, похищенной при тифлисской экспроприации, немало осталось в кассе Центрального Комитета. По-видимому, тысяч 80 или 85 попало к богдановской группе «Вперед». Ленин называл людей этой группы «жуликами» и бесстыдно-язвительно добавлял, что их 85 тысяч — «от эксов».

Были и еще другие поступления в кассу. Какой-то англичанин сдуру, под обещание Горького, положившись на его славу, дал партии в 1907 году немалую сумму взаймы с обязательством вернуть ему долг через полгода. Англичанин давно жалобно просил о выполнении обязательств. Ленин назвал эти требования «ростовщичеством». Долг был возвращен после октябрьской революции, да и то не сразу после нее, а в 1922-ом году.

Появились и «матримониальные деньги». Таратута и Андриканис с полной готовностью женились на сестрах Шмидт. Ленин женихов никак не идеализировал. Называл лучшего из двух «сутенером». Но, по-видимому, надеялся, что они хоть часть приданого отдадут партии. Действительно «сутенер» отдал больше двухсот тысяч франков, за что после революции был вознагражден, хотя и не очень щедро: получил какую-то незначительную должность. ра-

ботал при французских коммунистах в России — официально переводчиком, а по уверению одного из них, наблюдателем из ЧК. С другим женихом вышло гораздо хуже Он уехал с молодой женой в Париж, там «буржуазно переродился» и убедил жену, что передавать партии наследство ее брата незачем. Ему грозили убийством, говорили, что выпишут кавказских боевиков. В конце концов он согласился на «суд чести», с тем, чтобы судьями были люди из других партий или же беспартийные. Этот «суд чести» состоялся; львиная доля приданого осталась за молодоженом, но все же и от него кое-что перепало в партийную кассу.

Таким образом деньги должны были в кассе быть. На восстания они не отпускались, новое восстание было признано безнадежным. Партийные журнальчики стали платить гонорары. Однако, требования с разных сторон шли немалые. Они иногда раздражали Ленина. Троцкий «хочет устроить на наш счет, негодяй, *всю* теплую компанийку «Правды»!» — сердито писал он в редакцию газеты «Социал-демократ».

Были впрочем и хорошие признаки будущего. Где-то произошли студенческие волнения. «Что студентов начали бить, это, по-моему, утешительно»,— говорил Ленин. Скончался Лев Толстой. Плеханов, тактику которого он теперь считал «верхом пошлости и низости», был тоже раздражен чрезмерным восхвалением Толстого (хотя оба были поклонниками). Появилась и надежда на новый союз с Плехановым. «Будем мы *сильны* — все придут к нам».

Он думал об Инессе — и неприятности как рукой снимало. Все заливалось светом. Теперь ему иногда (очень редко) казалось, будто он прежде чего-то не понимал в жизни. Тотчас гнал от себя эту вздорную мысль: какое отношение к делу могла иметь любовь! Был очень оживлен и весел.

Сообщение с Парижем поддерживалось трамваем к Одеону, ходившим редко и медленно. Ленин предпочитал ездить туда, в Национальную Библиотеку или по другим делам, на велосипеде. В Лонжюмо был и дамский велосипед, но Инессе Арманд было совестно им пользоваться: он принадлежал Крупской. Два раза в неделю приезжал из Парижа Каменев, теперь один из ближайших соратников Летом, вдвоем, сидя на траве, они обсуждали подго-

товлявшуюся Каменевым грозную брошюру против меньшевиков: «Две партии». Ленин хохотал при удачных полемических выпадах, многое переделывал, многое прибавлял. Крупская участия в этой работе не принимала. Не приходила и Инесса: это было бы тоже неловко, да она все-таки еще недостаточно разбиралась в такой работе; привыкла с ранней юности к другим книгам. Ленин все ей рассказывал, когда, после скудного обеда в столовке Кати Бароновой, Крупская с матерью возвращались к себе. За столом, строго-печальное выражение на лице тещи, взгляды, бросавшиеся ею на Инессу, приводили его в дурное настроение. В комнатах у французского рабочего обе женщины, верно, плакали: кто мог бы такое предвидеть?

Иногда по вечерам устраивались импровизированные концерты. Один из рабочих имел балалайку. Под его аккомпанемент, Малиновский, шпион Департамента полиции, пел «Дубинушку». Ленин и все другие подтягивали. За забором не без удовольствия слушали соседи-французы. Немногочисленные музыканты местечка имели, конечно, партитуру «Le Postillon de Longjumeau» [1]. Рабочий разучил знаменитые куплеты. Инесса Арманд смущенно пела: «Depuis ce temps dans le village — On n'entend plus parler de lui...» [2] Слова понимали только она и слушавший с упоением Ленин. Теща из своего угла бросала печальные взгляды.

На окраине местечка, на возвышении с довольно крутым подъемом, был ресторан, посещавшийся преимущественно проезжими. Из-за террасы и вида он был несколько дороже кофеен на главной улице, и русские эмигранты заглядывали туда редко. Именно поэтому в кофейню при ресторане иногда поднимался Ленин. Там думал о своих работах, что-то про себя бормотал, что-то писал на бумажке или на полях какой-либо брошюры. Столик занимал долго, заказывал только пиво, но на чай оставлял приемлемый, и таким образом был средний клиент, не очень хороший и не плохой.

Случалось, с ним приходила Инесса Арманд, пугливо оглядывавшаяся по сторонам. Ему очень хотелось какнибудь с ней здесь пообедать вдвоем. Раз заглянул в карту и вздохнул: меньше семи, а то и восьми франков истратить нельзя,— баловство.

---

[1] «Кучер из Лонжюмо» *(франц.)*.

[2] «И с тех пор о нем в деревне не слыхали ничего...» *(франц.)*

Он ей заказывал лимонад, а себе «бок», а то и целый «деми». Становился весел, шутил, писал ей стишки, с рифмами: «ножка», «немножко», «розы», «морозы». Она изумлялась: Ильич и чуть ли не по-старинному — мадригалы! Часто уславливался с ней наперед: сегодня о партийных делах не разговаривать. Тем не менее говорил,— без них долго обойтись не мог. Говорил и о Карле Марксе, книги которого читал чуть ли не каждый день, находя в них все новые глубины. Инесса тотчас скисала, но старалась поддерживать разговор:

— ...Одно только... Мне всегда было странно, что в нем так мало морального элемента.— Она теперь уже довольно бойко вставляла в свою речь такие ученые слова.

Ленин взглянул на нее изумленно: «Ох, все-таки многому еще надо ее подучить».

— Даже ни одного золотничка нет. Этим не торгуем, почтеннейшая.

— Но как же без этого? Ведь мы, Ильич, служим известному нравственному идеалу. Разве вы этого не думаете? — Все еще не решалась называть его на «ты».

— «Известному нравственному идеалу»,— сердито повторил он.— Очень у тебя буржуазная манерочка выражаться.

— Я за свои выражения не стою. Но у лучших элементов буржуазии можно кое-чему научиться. Ее мыслители разработали системы этики, которые...

— Об этом ты лучше поговори с балдой Луначарским! Он тебе и системы изложит, стишок приведет, и цитатку запустит, хоть не поручусь, что не им самим изобретенную.

— Но почему нельзя об этом поговорить с вами, Ильич? Мне давно хочется знать, какое именно глубинное этическое начало вами руководит, и я...

— «Глубинное этическое начало»... «Лучшие элементы буржуазии»!.. Провались они в тартарары, лучшие элементы буржуазии вкупе с худшими! — перебил он ее еще сердитее. Вынул пальцы из жилетного кармана, протянул вперед руку и, наклонившись над столиком, страстно заговорил. Лицо у него изменилось и побледнело. Инесса испуганно замолчала. Ленин редко говорил долгими монологами. Не раз она слышала его на митингах или на небольших партийных собраниях, и все не могла понять, какой он оратор. Троцкий, например, был признанным «оратором Божьей милостью»,— в Петербурге его все так называли; это было как бы даже официальное его наиме-

нованье. Луначарский был тоже оратор Божьей милостью. Но Ленина никто так не обозначал. Ей казалось, что он обычно десять раз говорит одно и то же, как молотком вбивает свои мысли в головы слушателей, и понятливых, и непонятливых. Но иногда, если его прерывали «возгласами с мест», он вдруг обрушивался на своих противников и тогда говорил так, как Троцкий и Луначарский говорить и не умели. Голос его становился страшным,— страшным особенно силой ненависти. В этих случаях у него появлялся и «жест», нисколько не актерский, как у большинства ораторов, а самый естественный, почти, как ей казалось, величественный. Однако наедине с ней он никогда так не говорил.

Теперь Ленин говорил о буржуазии, об ее тупости и гнусности, об ее преступленьях, об ее обреченности, о расплате. Как бы мимоходом, впервые при Инессе, он упомянул о казни своего брата,— «где тогда были твои лучшие элементы?» Она еще в семье Армандов слышала, что его брат был повешен. «Но что же можно было сделать для помощи человеку, покушавшемуся на жизнь царя?» — невольно мыслью прежней, давней Инессы подумала она. Ленин говорил, как узнал о казни брата, что тогда пережил. Ей кто-то сказал, будто он был по взглядам чужой брату человек и даже не очень его любил. Она слушала с все росшим волнением, именно как зачарованная. И ей впервые показалось, что она понимает его, чувствует его душу, что он большой человек и во всяком случае большая сила.

Вдруг он на полуслове оборвал свой монолог и злобно на нее уставился, точно по инерции перенося на нее свою ненависть к старому миру.

— Как вы говорите, Ильич!.. Как ты говоришь! — прошептала она.

Он опомнился, вытер лоб чистым платком, откинулся на спинку стула и выпил остаток лимонада из ее стакана (пива у него больше не оставалось).

— Уж будто? — спросил он и положил палец в жилетный карман.

III

До войны жизнь Ласточкина была сплошной цепью успехов.

Его состояние все росло и уже определялось в полтора миллиона рублей осведомленными людьми, у которых бы-

ли время и охота считать деньги в чужих карманах. Обогащенье почти не доставляло ему удовольствия. Он почти ничего для этого не делал. Просто очень росли в цене принадлежавшие ему акции,— теперь уж все говорили в Москве, что Россия стала «второй Калифорнией». Увеличилось и число его должностей в разных торгово-промышленных предприятиях. Дмитрий Анатольевич этих должностей и не искал, ему их навязывали. От синекур он отказывался, и всякий раз, как соглашался принять звание члена совета в каком-либо учреждении, начинал в нем работать и несомненно бывал полезен. Другие видные люди просто коллекционировали такие места, только приезжали на заседания и высказывали свои суждения. Все ценили бескорыстие, компетентность, энергию Ласточкина. Он давно стал одним из самых уважаемых и популярных людей в деловой Москве.

Развивалась и его общественная деятельность. Собственно, оба эти вида работы не были по существу между собой связаны, но они развивались как бы параллельно. Для общественной деятельности Дмитрия Анатольевича теоретически не имело никакого значения, богат ли он или нет. И тем не менее он ясно, с неприятным чувством, видел, что его общественный вес был бы меньше, если б он не состоял в многочисленных предприятиях, не принимал у себя всю Москву и не жертвовал немалых денег на благотворительность. Никто из людей, приезжавших с подписными листами или с какими-либо билетами, не встречал у него отказа. Так же поступала и Татьяна Михайловна. И всегда просители, выходя от них, говорили друг другу: «Помимо того, что они дали много больше других, которые их побогаче,— как *мило*, по-джентльменски дали!»

Имя Дмитрия Анатольевича теперь часто упоминалось в либеральных газетах. Сам он был к этому довольно равнодушен, но Татьяна Михайловна все больше радовалась его успехам и популярности, помещала в альбом заметки о нем. Иногда не без смущения вырезывала простые упоминания имени мужа в числе участников важного заседания и наклеивала, надписывая название газеты и число:

— Что ж, если вырезывать, то все,— говорила она Люде, иногда рассматривавшей альбом, который от наклеек разбух и стал менее красив: как ни аккуратно Татьяна Михайловна их наклеивала, сложенные газетные страницы торчали кое-где из-под кожаного переплета и позолоченно-

го обреза толстых листов.— Может быть, Мите как-нибудь и пригодится: например, понадобится дата заседания?

— А все-таки ты мужняя жена,— ответила Люда, впрочем без малейшей злобы или зависти. Искренно говорила Мите, что «аб-бажает» Таню. Они недавно перешли на «ты».

— Кем же мне быть, как не мужней женой? И что это, собственно, означает? — с недоумением спрашивала Татьяна Михайловна.

И о ней самой изредка попадались упоминания в газетах. В Москве было немало дам, имена которых упоминались еще чаще, чем имена знаменитых адвокатов и профессоров, хотя их заслуги были не очень ясны, да и жертвовали они не так много денег; зато, правда, часто принимали в своих роскошных домах, кто писателей и артистов, кто политических и общественных деятелей. Татьяна Михайловна заметок с упоминанием своего имени никогда не вырезывала. Люда не могла этого не ценить, по контрасту.

— Если б эта перезрелая дура не была так богата, то никто и не знал бы об ее существовании,— говорила она о той или другой из общественных дам — Ненавижу этот культ богатства!

Ее фамилия в газетах не появлялась, но она тоже была общественной деятельницей, получала уже недурное жалованье, обзавелась собственной квартирой. Жила не так замкнуто, как прежде, приглашала людей к себе. Никаких увлечений у нее не было. Ласточкины про себя этому удивлялись, и теперь уже скорее грустно.

Порою Дмитрий Анатольевич писал статьи в «Русских Ведомостях». Это само по себе было немалым общественным чином. Из одного его «подвала» по экономическим вопросам были даже перепечатки в петербургских и провинциальных газетах с очень лестными комментариями. Травников сказал Татьяне Михайловне, что ее муж теперь имел бы немалые шансы пройти в Государственную Думу или, по выборам, в Государственный Совет:

— А то, право, барынька, подчас досадно, что ваш богдыхан делает дельные предложения, a tulit alter honores[1],— сказал профессор. Татьяна Михайловна потребовала перевода цитаты и вечером сообщила мужу мнение «одного нашего приятеля». Имени не сообщила, но по латинской цитате Дмитрий Анатольевич догадался.

---

[1] Почести получает другой (*лат.*).

— Ты хотела бы?

— Только если б ты сам этого хотел. Жаль, правда, что тогда пришлось бы переехать в Петербург. Нет, уже поэтому я не очень хотела бы. А как *ты* думаешь?

— О Государственном Совете и речи быть не может. Что я там делал бы с сановными старичками! А в Думу,— право, не знаю. Уж скорее пусть наш Алеша баллотируется. Ниночка очень этого хочет. Два члена Государственной Думы от одной семьи — этого уж слишком много,— смеясь, сказал Ласточкин.— Да и оба мы верно не прошли бы: если достаточно более заслуженных кандидатов. И от какой партии?

— Кадеты очень тебя зовут, но, я знаю, ты левее кадет.

При очередном письме к Нине она переслала подвал Дмитрия Анатольевича, упомянула о перепечатках, привела мнение профессора и даже его цитату. Статьи мужа она всегда пересылала его сестре, обычно добавляя шутливо что-либо вроде: «Препровождаю при сем новый шедевр богдыхана». Нина в ответном письме неизменно говорила: «Статья Мити превосходна», или «И Алеше, и мне чрезвычайно понравилось», или «Алеша читал с еще большим интересом, чем я, и думает, к статье Мити очень прислушаются...» Татьяна Михайловна старалась не замечать невинной и полезной неправды. На этот же раз ответ был восторженный и уж вполне искренний:

«Мысль о Государственной Думе кажется мне прекрасной! — писала Нина Анатольевна.— И, знаешь, потом мы проведем туда и Алешу! Он, правда, слышать не хочет, но я его уговорю, мне уже осточертела жизнь за границей. В его губернии у него есть друзья, сторонники и даже «почитатели». Как было бы хорошо! И прав этот ваш милый чудак. Наши два Аякса пусть, по разу в месяц каждый, показывают с трибуны фигу правительству, а мы с тобой опять будем неразлучны. Жаль, что выборы не скоро и что Государственная Дума в Петербурге, а не в нашей Москве!..»

Ласточкины благодушно читали это письмо, и некоторое время в семье держалась кличка «два Аякса». Рейхелю Татьяна Михайловна статей мужа не посылала. Знала, что он будет только ругаться. Он ненавидел все и всех: социалистов, либералов, консерваторов. Аркадий Васильевич уже был экстраординарным профессором. До Ласточкиных доходили слухи, что товарищи очень его

не любят: над всеми издевается и всех критикует, не имея по своим скромным заслугам никаких на это прав.

Все было бы хорошо, если б только было лучше здоровье. Сам Дмитрий Анатольевич ни на что, кроме одышки, особенно не жаловался, но Татьяна Михайловна чувствовала себя нехорошо и старалась скрывать это от мужа. Он что-то замечал и поглядывал на нее с тревогой.

Очень его беспокоили слухи о возможности европейской войны, все более упорно ходившие по России. Думал, что хоть в этом отношении было бы хорошо, если б вернулся к власти граф Витте; разочаровался в нем в пору декабрьского восстания, но имел к нему, как сам с улыбкой говорил, «влеченье, род недуга»: любил очень умных людей, вышедших на верхи собственным трудом и дарованьями.

IV

Тонышев занимал большую должность в венском посольстве. Посол очень хорошо к нему относился, оценил его способности, познания, добросовестность и выдвигал его в докладах министру. В пору отлучек посла, доклады «Певческому мосту» составлял он сам, и министр читал их с особенным интересом. В молодом дипломатическом поколении Алексей Алексеевич выделялся и превосходным знанием иностранных языков. Внутренняя переписка в министерстве иностранных дел теперь велась почти исключительно по-русски; это всем было удобнее, хотя некоторые старые дипломаты еще говорили, что по-французски им писать легче. Но в сношениях с иностранными дипломатами Тонышеву нередко случалось писать бумаги по-французски, по-английски, даже по-немецки, и он это делал прекрасно, часто с цитатами, со ссылками на забытые прецеденты. Он нередко посещал «Балльплатц», разговаривал, в историческом кабинете Меттерниха, с самим Эренталем, который тоже его хвалил.

Поселились Тонышевы в лучшей части города. Сняли большую квартиру и прекрасно ее обставили. Алексей Алексеевич выписал свою обстановку из Парижа. Много мебели они докупили. Покупали с толком и с радостью. Имение Тонышева очень повысилось в цене: около него прошла новая железная дорога. Он выгодно продал лес. Продал и почти всю землю: часть — дорого — соседнему сахарному заводу, часть — дешево — крестьянам. Остался только дом с огромным парком. Вырученные деньги он

вложил, по совету Ласточкина, в разные акции, которые приносили большой доход и быстро повышались в цене. Средства у Тонышевых теперь были очень хорошие. На деньги, полученные от брата в подарок к свадьбе, Нина Анатольевна, посоветовавшись с мужем, купила несколько рисунков Сезанна.

Оба они хорошо одевались, имели отличного повара, устраивали обеды — и понемногу вошли в высшее общество Вены. Не бывали у них лишь лица из высшей знати, князья Виндишгретцы, Ауерсперги, Шварценберги,— эти ездили в гости только друг к другу, к членам императорской семьи и далеко не ко всем послам. Но однажды Тонышевых посетил один из эрцгерцогов, выразивший желание посмотреть на их Сезаннов. Несмотря на либерализм этого гостя, принимать его надо было по особому порядку. Никакой из разновидностей заметного снобизма ни у Нины Анатольевны, ни у Алексея Алексеевича не было, все же этот визит был приятен, тем более, что посол их с ним поздравил, как поздравил бы с орденом или с повышением по службе. Разумеется, бывали у них не только аристократы и сановники, но также писатели, музыканты, банкиры, журналисты. Осведомленные люди сообщили Тонышевым, что еще совсем недавно венское общество строго делилось на три разряда: «Erste Gesellschaft», «Zweite Gesellschaft», «Dritte Gesellschaft» [1], которые почти никогда друг с другом не встречались; но теперь это уже меняется, хотя медленнее, чем в других странах. Алексей Алексеевич тотчас стал звать к себе людей из «третьего общества»; не очень знал, к какому обществу принадлежат они сами:

— Ты к первому, а я ко второму, и то в самом лучшем случае,— скромно говорила Нина.

— По-моему, и я ко второму: у меня нет не только шестнадцати, но и восьми поколений дворянства,— весело отвечал он.

— А у меня и ни одного нет, такой уж ты сделал мезальянс. Так не лучше ли послать все это к черту? Будем общаться с кем нам угодно.

Почти все в австрийской столице больше интересовались театром, обедами, игрой, балами, скачками, маскарадами, чем политикой. От тех же, кто занимался политическими делами и даже ими ведал, Тонышев слышал

---

[1] «Первое общество», «Второе общество», «Третье общество» (*нем.*).

удивительные суждения. Еще в первое время своего пребывания в Вене он узнал, что у Эренталя есть свой замечательный проект: замена Тройственного Союза Союзом четырех великих держав: Австро-Венгрии, России, Германии и Франции, с фактическим преобладанием двух первых. Этот союз оказался бы столь могущественным, что мог бы распоряжаться полновластно судьбами мира; вдобавок, он положил бы конец англо-французскому соглашению, сближению между Англией и Россией и какой бы то ни было международной роли Италии. На вопросы Тонышева, что будет делать такой всесильный союз, зачем он нужен, отчего не привлечь к нему Англию и Италию, почему Франция и Германия согласятся на русско-австрийское преобладание, как и в чем это преобладание будет выражаться, осведомленные люди отвечали соображениями, казавшимися ему уж совершенной чушью: необходимо положить конец интригам Англии на Балканах; надо построить железную дорогу через Ново-Базарский санджак; можно считать обеспеченной поддержку Ватикана, он ненавидит Квиринал, а папа преклоняется перед Вильгельмом II и называет его «quel Santo Imperatore!»; без Союза Четырех нельзя разрешить македонский вопрос; в Союзе же Четырех, разумеется, номинально все будут равны, Франция и Германия согласятся, да, может быть, при искусстве Эренталя, и не заметят,— объясняли ему осведомленные люди.

Он недоумевал. Было совершенно ясно, что все эти доводы — чистый вздор, но говорили люди неглупые, образованные и, главное, профессиональные дипломаты! И еще более удивительно было то, что бессмысленный план предлагал сам Эренталь, новый Меттерних. Алексею Алексеевичу только изредка и то лишь ненадолго приходила мысль: вдруг все эти господа думают преимущественно или даже исключительно о себе, о своей славе, о причинении неприятностей соперникам и — в лучшем случае бессознательно — из кожи лезут, чтобы придумать что-либо *свое*, связанное с их именем и якобы очень полезное их странам? Почти невольно Тонышев иногда сам старался придумать *свой* план: этот, разумеется, полезный России без малейшего сомнения.

Впрочем, о плане Союза Четырех очень скоро совершенно перестали говорить, точно такого плана никогда и не было. Заговорили о других столь же странных проектах. Тонышев видел только, что в Европе с каждым днем

становится все беспокойнее: еще года четыре тому назад ни о каких больших войнах и речи не было.

Однако тон влиятельного венского общества нравился Алексею Алексеевичу. Еще больше нравился ему древний ритуал Габсбургского двора. Он был представлен императору, который ему, как иностранному дипломату, подал руку. Франц-Иосиф его очаровал. Тонышев любил старину,— Бург, как все говорили, был последним в Европе, совершенно не изменившимся ее очагом. И главное, австрийский император был настоящей опорой европейского мира.

О возможности войны Алексей Алексеевич думал с резким осуждением, хотя, конечно, и он не представлял себе, *какой* может оказаться новая война. Его нелюбовь к «швабам» с годами ослабела. Он находил, что территориальные приобретения никому особенно не нужны, а менее всего России. Его чрезвычайно удовлетворяло, что также, по общему мнению, думал престарелый Франц-Иосиф. «Да, он никак не гений, и даже не выдающийся человек, но очень многим более ученым и блестящим людям, чем он, не мешало бы у него кое-чему поучиться. И далеко не все так было плохо в старину»,— думал Алексей Алексеевич. Как всегда, он много читал, тратил немало денег на книги и переплеты.

В Москве он очень сошелся с Ласточкиными, они теперь стали для него самыми близкими людьми. У них Тонышевы всегда останавливались при наездах в Россию. В Дмитрии Анатольевиче ему были приятны оптимизм, широкое экономическое образование, деловитость. Сам он ничего в экономике не понимал, не любил романов, где описывались дела, даже не мог дочитать «Деньги» Золя. «А Митя по-настоящему делами увлекается и так рад, что они идут прекрасно и в мире, и у него самого. Тут ничего худого нет. Все мы принимаем, как должное, те блага, которые нам посылает либо рождение, либо удача, никому не приходит в голову их стыдиться, а он вдобавок все создал своим трудом...» Не меньше ему нравилась и Татьяна Михайловна. С ней он тоже вел долгие разговоры, преимущественно о музыке, о литературе. Свои взгляды она высказывала мало и даже неохотно, никак не старалась «блистать», но слушала внимательно и с интересом; ее собственные суждения обычно казались ему меткими и бесхитростно-остроумными. При его последнем приезде, в разговоре о политических событиях, она с улыбкой ему сказала:

— Вы, Алеша, всегда говорите еще либеральнее, чем мой богдыхан, но не сердитесь, мне кажется, что в душе вы в отличие от него самый настоящий консерватор и любите только прошлое.

— Дорогая Таня, вы, значит, упрекаете меня в неискренности! Вот не ожидал! Много знаю за собой худого, но не это.

— Совсем не так. Искренность тут ни при чем, это как-то проходит вне искренности или неискренности... Вы помните о министре Уварове?

— О том, что при Николае Первом провозгласил формулу: «Православие, самодержавие, народность»?

— Да, о нем. Я как раз недавно читала в журнале воспоминания знаменитого историка Соловьева. Он описывает то, что называл «оттепелью», то есть время, последовавшее за смертью Николая. И вот он об этой самой уваровской формуле говорит: «Православие? Но Уваров был самый настоящий атеист. Самодержавие? Но в душе он без всякого сомнения был либералом. Народность? Но он за всю жизнь ни одной русской книги не прочел, а писал только по-французски или по-немецки...»

— Вот уж удружили, дорогая, сравнением!

— Не гневайтесь, Алеша. Прежде всего, у вас ведь совершенно обратное. Да и не так, по-моему, плохо, если у вас и нет «законченного политического мировоззрения»: оно, слава Богу, у всех теперь есть, даже у людей, которым до вас очень далеко.

— А вот я, назло вам, напишу книгу именно с «законченным политическим мировоззрением».

— О чем?

— О князе Кауница.

— Жаль, я о нем ровно ничего не знаю. Я ведь невежественна.

Тонышев в самом деле давно думал об историческом труде «Князь Кауниц и его русская политика». Сначала добавил было подзаголовок: «Апогей «Кучера Европы», но потом зачеркнул: ему не очень нравилось прозвище Кауница, да и неудобно было помещать кавычки на обложке. Алексей Алексеевич собрал немало материалов, увлекался этой работой, делился мыслями с женой. Она слушала с большим вниманием, одобряла и старалась все запомнить.

Алексей Алексеевич вел и дневник для будущих воспоминаний, и сам говорил об этом с улыбкой,— все дипломаты имеют дневники и готовят воспоминания. Он не

был расположен к сплетням и записывал только те, которые имели хоть какое-либо отношение к политике. В международном дипломатическом мире прочно господствовало правило: «Vienne est un poste d'observation de tout premier ordre»[1]. Но в сведениях этого наблюдательного пункта сплетни играли немалую роль.

Больше всего в Вене сплетничали о наследнике Франце-Фердинанде и особенно об его морганатической жене. Тонышевы не менее десяти раз слышали, что «эрцгерцогиня Фридрих» очень хотела выдать за наследника свою дочь и даже считала это решенным делом, так как Франц-Фердинанд стал часто бывать у нее в доме; но внезапно и совершенно случайно выяснилось, что приезжал он вовсе не ради ее дочери, а ради ее фрейлины, чешской графини Хотек; после бурной сцены фрейлина была уволена,— и на ней-то морганатическим браком женился эрцгерцог, к крайнему негодованию императора. Это Тонышев записал не без сочувствия обеим сторонам: эрцгерцог женился по любви на небогатой и не очень знатной женщине, это было хорошо. Но и в гневе Франца-Иосифа был его древний стиль. Был такой стиль, пожалуй, даже в том, что некоторые австрийские князья ездили в гости только друг к другу. «Глупо, забавно, что же, это старая Австрия».

Вывод из дневника был следующий. Императора все венцы обожают. Наследника, напротив, не любят,— отчасти из-за его брака. Недолюбливают и иезуитов, приписывая им почти суеверно огромную закулисную силу. Старый австрийский дипломат за обедом с ним в клубе, вскользь осведомившись об его религии, весело рассказал ему анекдот: когда-то германский канцлер, принц Гогенлоэ, в благодушную минуту дал ему совет: «Друг мой, если вы думаете о своем будущем, всячески старайтесь поддерживать добрые отношения с иезуитами и с евреями».—«Я этому мудрому совету всю жизнь и следовал,— смеясь, добавил от себя дипломат,— однако, не скрываю, это было трудно, так как обе силы ненавидят одна другую». Тонышев и это записал и даже при случае вставил в доклад. Впрочем, считал мнение канцлера преувеличенным: иезуитов он встречал мало, но еврейские богачи или артисты у него бывали и, по его впечатлению, так же мало понимали в политике, как их христианские собратья.

---

[1] «Вена — лучший наблюдательный пункт» *(франц.)*.

Разговорившись с этим остроумным и откровенным дипломатом, Алексей Алексеевич осторожно коснулся общего положения в Европе.

— Войны до тысяча девятьсот тринадцатого года не будет ни в каком случае,— решительно сказал дипломат,— но потом она, по всей вероятности, произойдет.

— Почему вы так думаете? Вы говорите с такой уверенностью! На чем же она у вас основана?

— На предсказании майнцской колдуньи.

— Ах, колдуньи,— разочарованно сказал Тонышев.— Я думал, вы говорите серьезно.

— Я говорю очень серьезно... Вы согласны с тем, что войны не будет, если ее не захочет Вильгельм Второй?

— Совершенно согласен.

— Так видите ли, его боготворимый им дед, тогда еще только прусский принц, в тысяча восемьсот сорок девятом году, бежав после революции из Пруссии, зашел в Майнце к знаменитой колдунье. Она, сразу, назвала его «ваше императорское величество» и предсказала ему, что он в тысяча восемьсот семьдесят первом году станет германским императором. «Почему вы так думаете?» — изумленно спросил принц. Колдунья взяла листок бумаги и сложила число тысяча восемьсот сорок девять с составляющими его цифрами: один, восемь, четыре, девять. Вышло тысяча восемьсот семьдесят один.

— Доказательство совершенно бесспорное. Умная была колдунья,— сказал, смеясь, Тонышев.— Но при чем же тут будущая война?

— Сейчас увидите. Принц, естественно, тогда ее спросил, долго ли он останется германским императором. Она опять сложила тысяча восемьсот семьдесят один, один, восемь, семь, один. Вышло тысяча восемьсот восемьдесят восемь. Как вы помните, Вильгельм Первый умер в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Он задал колдунье третий вопрос: «Долго ли будет существовать германская империя?» Она произвела такой же подсчет с числом тысяча восемьсот восемьдесят восемь — и вышло тысяча девятьсот тринадцать. Вильгельм Второй знает об этом предсказании и, разумеется, очень боится...

— Даже «разумеется»! Значит, и вы этому верите?

— Не полностью, но верю,— подтвердил серьезно дипломат.— И Вильгельм Второй тоже верит, но не полностью. Он подождет конца тысяча девятьсот тринадцатого года: если германская империя к тому времени не падет,

то, значит, колдунья ошиблась, и можно начинать войну с Европой, не рискуя гибелью империи.

Хоть ему было и немного совестно, Алексей Алексеевич и этот рассказ о колдунье вставил в доклад,— правда, в полушутливой форме. Думал, что в Петербурге могут и всерьез заинтересоваться предсказанием.

Особая глава в его дневнике касалась отношения австрийского общества к разным державам. Он находил, что к России, да и к Германии отношение в Вене очень настороженное; союзную Италию и ее союзное правительство почти ненавидят; Англию любят и уважают. Еще больше любят Францию, хотя сожалеют, что ею правят атеисты вроде Комба или Клемансо. О возможности войны говорят легкомысленно, о войне с Россией в его доме естественно не говорили, но случалось, влиятельные и осведомленные венцы болтали о войне с Сербией, которую терпеть не могли; Пашича, не стесняясь, называли «старым разбойником». О черногорском князе позднее говорили, будто он перед началом войны очень удачно сыграл на понижение на бирже, для этого и затеял войну.

Служба, книга, дневник заполняли умственную жизнь Алексея Алексеевича. Жену он любил и был счастлив. Тонышеву казалось, что он живет именно так, как всегда хотел, как полагается жить порядочному и культурному человеку. «Служа России, служу делу мира, и если уж говорить высоким стилем, то в меру сил служу добру»,— думал он.

Нина Анатольевна очень хотела быть в жизни верной помощницей своему мужу. Она отлично вела дом, иногда переписывала рукописи Алексея Алексеевича или переводила для него цитаты. Честолюбива она не была, не мечтала о том, что муж стал послом, и даже предпочла бы, чтобы у него была другая, не бродячая, карьера, которая дала бы им возможность жить в России. «Но Алеша честолюбив, он не согласится выйти в отставку и стать просто обывателем или помещиком. И поместья больше нет, да я и сама не хочу жить в деревне. Хорошо было бы, если б его выбрали в Государственную Думу, это в самом деле все устроило бы»,— думала она.

Русских знакомых у них было в Вене немного, только дипломаты. Она часто их приглашала, поддерживала с ними хорошие отношения, говорила то, что нужно было говорить, но ей с ними было скучновато. «Не нашего московского круга люди, и даже, собственно, не интеллигенция, Алеша среди них белый ворон»,— думала она. Мужа

Нина Анатольевна любила не меньше, чем прежде. «Конечно, нельзя сравнивать с Таней и Митей, но ведь они в этом отношении для кунсткамеры». Ее отношение к жизни осталось прежнее, *простое*. Но иногда ей казалось, что этого *простого* отношения как будто стало недостаточно. Детей у них не было, но для них это было далеко не таким горем, как для Ласточкиных. «Да и будут, конечно. Спешить некуда». Все же она теперь испытывала легкую радость, когда узнавала о других бездетных семьях.

По-прежнему она очень интересовалась искусством, в частности, архитектурой, знала все дворцы Вены и собиралась со временем написать статью о строениях Хансена. Не без грусти думала, что теперь уж никогда архитектором не будет: только даром училась. Все же в общем и она была довольна своей жизнью.

V

Одноэтажный с плоской крышей дом был расположен не очень далеко от кавказской границы. Снаружи он был неказист, но все его шесть комнат были убраны по-восточному хорошо. Везде были дорогие ковры, низкие диваны, мягкие кресла. На стенах главной комнаты висели фитильные ружья с раскрашенными прикладами, пистолеты, кинжалы, кривые сабли в бархатных ножнах, турьи рога в серебре, куски зеленого шелка с вышитыми на них золотом стихами из Корана. Большого комфорта впрочем не было. Освещался дом свечами, правда не сальными, а восковыми, отапливался месяцев десять в году преимущественно солнцем, в холодное же время жаровнями с раскаленным углем. Кухня была в отдельном строении, в большом дворе, в средине которого находился фонтан. Были еще во дворе конюшня, сараи, амбары. Под навесом всегда что-нибудь жарилось или варилось: лепешки, плов, варенье. Впереди дома начинался сад, тянувшийся довольно далеко.

В 1859 году, после падения Ведена и Гуниба, отец Джамбула, подобно многим последним защитникам Кавказа от русских, бежал с женой в Турцию. Сын был тогда ребенком, и взять его с собой было невозможно: это означало бы для него верную смерть. Он был оставлен у дяди в Дагестане.

Отец завел в Константинополе торговлю. При его трудолюбии, честности и практической сметке, она пошла успешно; он нажил немалое состояние. Хотя препятствий

не было, на Кавказ больше не возвращался: и делать ему там больше было нечего, и нельзя было бросить торговлю, и не хотелось возвращаться в страну с немусульманским правительством. Прожил он до семидесяти пяти лет, потерял жену и окончил свои дни в собственном имении. На старости лет стал очень богомолен и, когда не работал в саду, читал Священные книги. Он получил образование, читал по-арабски, знал и французский язык: был некоторое время переводчиком при Шамиле и оставил эту должность лишь для того, чтобы принять участие в последних боях за независимость.

Вскоре после тифлисской экспроприации Джамбул благополучно перебрался через границу и приехал в отцовскую усадьбу.

Наследство оказалось значительно бóльшим, чем он ожидал. Сначала он предполагал продать имение, взять из Константинопольского банка деньги и уехать. Но увидел, что лучше не спешить: при спешке продажа, наверное, окажется невыгодной. И, главное, ехать ему было собственно некуда. Товарищи по тифлисской работе затевали какие-то новые страшные дела и, разумеется, звали и его. Но он почувствовал, что больше в таких делах участвовать *не может*, не из-за того, что они страшны,— «хотя отчасти и из-за этого, зачем себя обманывать? — но оттого, что они отвратительны!»

Все же, уезжая из России, он еще думал, что, быть может, вернется. И только перейдя границу, с совершенной ясностью почувствовал, *как* он устал, как переменился, как измучен и физически и морально.

Уехать немедленно было невозможно, хотя бы из-за оставшихся формальностей по утверждению в правах наследства. Их взял на себя старый друг отца, хорошо знавший законы и обычаи; от платы решительно отказался. «Очень хорошие и честные люди наши мусульмане»,— думал Джамбул. Сам он приходил в уныние, когда дело доходило до законов, формальностей, составления бумаг.

Он решил временно остаться в усадьбе. Знакомился со своим имением. В земледелии смыслил тоже очень немного, но все в имении ему понравилось: усадьба, сад, лес, скот. Только лошади — две косматые туркестанской породы — были плохие: отец давно верхом не ездил, катался в коляске на этих лошадях. Джамбул первым делом купил себе кровного арабского жеребца; на арабских лошадях никогда до того не ездил. Купил английское охотничье седло и два английских ружья, хотя охота в этих краях

была не очень интересная. В свой сад влюбился наследственной любовью. При имении был небольшой виноградник, но весь виноград шел на изюм для продажи. Производить вино было бы невозможно: от него тотчас отшатнулось бы духовенство, во главе с старым муллой, носившим зеленую чалму, то есть побывавшим в Мекке. Выписал много вина из Константинополя: и обыкновенного столового, и дорогого, знаменитых французских марок. Сам удивлялся, что устраивается как будто надолго. «Что ж, приезжать сюда буду наверное».

Он перезнакомился с соседями. Они много о нем слышали от отца и были ему рады, особенно более молодые (стариков он всегда в меру возможного избегал). Все были мусульмане, но разных национальностей: преобладали татары и другие выходцы с Кавказа, были и коренные турки и сербы мусульманской веры. Национальные различия чувствовались, однако, общая религия всех сближала. Менее ветхозаветные ездили к нему в гости, обедали, не без смущения пили вино. Смеялись, когда он, угощая их свининой, невозмутимо называл ее телятиной. Один сосед вина не пил, но пил коньяк и, тоже невозмутимо, ссылался на то, что о коньяке в Коране ничего не говорится. К его приятному удивлению он был кое-где представлен дамам, выходившим к нему без чадры. «Да, идет вперед Восток!»

Соседи, в большинстве малообразованные и приятные люди, политикой не очень интересовались и взгляды высказывали странные. Им, например, нравилось, или, во всяком случае, внушало почтение то, что у султана во дворцах есть шесть тысяч слуг, в том числе восемьсот поваров, и что он берет себе одну десятую часть государственного дохода. «Во всем мире пропорционально еще больше берет в свой карман только князь черногорский, но у того какая уж казна! Гроши!» — «Да что же тут хорошего? — с недоумением спрашивал Джамбул,— ведь вам же приходится платить?» Оказалось, однако, что все помещики устроили у себя вакуфы,— никаких налогов не платили; говорили, что и он никаких налогов платить не будет, разве только придется еще кому-нибудь дать взятку. Джамбул перестал интересоваться турецкой политикой.

Скучные формальности были, наконец, закончены. Теперь денег было сколько угодно. Он решил, что надо съездить в Париж и там «все решить»,— не углублял вопроса, что́ именно. Кроме того, надо было как следует одеться. Из России он уехал с одним тощим чемоданом.

В соседнем со своим именьем городке еле нашел сносное белье; одежду же приобрел восточную, очень живописную; обладал от природы вкусом. Все же необходимо было и европейское платье; да и восточное в Париже, наверное, можно было достать лучше, чем в турецкой глуши.

Джамбул с первых дней выписал себе газеты: тифлисскую, петербургскую и парижскую. Нельзя было целый день ездить верхом, охотиться, посещать и принимать соседей, наблюдать над работой в саду и в полях. У него был оставшийся от отца управляющий, а сам он пока только присматривался. По вечерам и в дождливые дни он читал. Тифлисская и петербургская газеты ему удовольствия не доставляли.

В списках арестованных и казненных ему попадались знакомые имена. Он ясно видел, что правительство победило, что революция кончается и вдобавок выродилась. «Конечно, многие революционеры стали просто уголовными преступниками! Не все, конечно, но многие не отдают в партийные кассы денег от экспроприаций! Не все отдавал и этот Соколов. Дело и не только в этом: их дела изменились, но еще больше изменился я сам». Напротив, читать парижскую газету всегда было приятно. «Цивилизованная, радостная жизнь... Куплю много книг, там найду и русские. Заочно книги выписывать нельзя».

В Париже он сначала был очень оживлен и весел: всегда любил этот город. В первый же день заказал у хорошего английского портного несколько костюмов. Заказал даже фрак, второй в его жизни; первый, которого он впрочем почти никогда не надевал, остался в России. Портной работал медленно, и на первое время пришлось купить готовый костюм,— старый был совершенно изношен. К его фигуре все шло, но к людям, носящим готовое платье, он относился благодушно-пренебрежительно. Когда фрак был готов, Джамбул купил цилиндр и в первую пятницу побывал в Опере. Из театра отправился в монмартрский ночной ресторан, там свел знакомство с дамами. Стало еще приятнее и легче. Думал, что ни одна из этих дам, несмотря на его богатство, с ним в Турцию не поехала бы: «И приехать туда с этакой француженкой было бы невозможно! Да и не поселюсь же я там совсем!

Тем не менее он скоро стал в Париже скучать и решил, что *так* жить без всякого дела нельзя. Знакомых у него почти не оказалось. Кавказских революционеров не было, к русским он не очень хотел ходить; ему и вспоминать о них было теперь тяжело. Встретился с теми фран-

цузскими социалистами, которых прежде немного знал. Увидел, что с ними у него уж совсем нет ничего общего: даже разговаривать не о чем. О кавказских делах они ровно ничего не знали. Когда он говорил о грузинах, осетинах, татарах, спрашивали, где живут эти народы: не в Сибири ли? Западные дела, кроме французских, знали лишь не намного лучше и международной политикой интересовались мало. Как-то зашел разговор о возможности европейской войны. Все единодушно высказали уверенность, что ее не может быть и не будет: пролетариат никогда не допустит. Так привыкли это говорить, что действительно в это поверили.

Французские социалисты представили его Жоресу. Тот был с ним очень ласков, расспрашивал и о событиях на Кавказе, знал о них много больше, чем его товарищи. Но услышав, что Джамбул принимал участие в тифлисской экспроприации, он видимо смутился, пробормотал что-то малопонятное и перевел разговор на французские дела. Жорес ему понравился. «А на революционера, даже кабинетного, он совершенно не похож! И, конечно, главное для него это его идейная борьба с Клемансо, осложняющаяся ораторским соперничеством: восточная Европа, Россия, революция идут где-то на сто верст позади. Его окружение боготворит его».

Все же кто-то из этого окружения сокрушенно ему сказал, что жена Жореса — верующая католичка и что дети воспитываются в католической вере. Это и удивило Джамбула, и было ему приятно. «Никогда я антиклерикалом не был»,— думал он,— «и просто этого не понимаю». Ему неясно казалось, что и происшедшая в нем перемена отдаленно связана и с религией. «Меня всегда раздражало, что все эти Ленины и Плехановы точно родились атеистами. Или, вернее, то, что, по их мнению, все не-атеисты просто дураки и невежды. Да, во мне разом шло несколько умственных и душевных процессов. Они никому не интересны, но неправда, что перемена во мне была внезапная»,— точно кому-то возражал он. Ему было досадно, что он так быстро переменил взгляды, деятельность, род жизни.

Приближалась весна. В Париже было отлично, но в его усадьбе верно было еще лучше. Ему пришла мысль, что хорошо было бы устроить у себя конский завод. Эта мысль тотчас его увлекла. Он купил несколько книг о лошадях. Купил и много романов. Впервые в жизни подумал, что следует обзавестись и серьезными книгами,

приобрел сочинения входившего в большую моду Бергсона, что-то еще. В русском магазине недалеко от Сорбонны купил собрания произведений классиков. Не любил разрезывать книги и все отдал в переплет: дешевые в коленкоровый, философские и о лошадях в полукожаный. «И библиофилом становлюсь! Совсем буржуа! Что, если в самом деле «бытие определяет сознание»! — спросил он себя. Но знал, что это неправда. «Я не был беден и тогда, когда занимался революцией».

Все же он сам не думал, какую подлинную радость доставит ему возвращение в усадьбу.

Его радостно встретили и управляющий, и работники, и приятели. Он устроил большой прием: пригласил неветхозаветных соседей; они, не без колебания, согласились приехать с женами; пригласил даже ветхозаветных, предупредив их, что будут дамы и будет вино: эти отказались, но отнеслись снисходительно и благодарили. Понимали, что к их новому соседу нельзя предъявлять таких требований, как к другим.

Обед вышел на славу. Целым бараном тут никого удивить было нельзя, но было и множество всяких других блюд, подавалось шампанское, которого некоторые из приглашенных отроду не видели. За обедом Джамбул сам, с бокалами на подносе, вышел к работникам и выпил с ними,— обед для них был приготовлен такой же, как для гостей; они не могли этого не оценить.

Соседи дивились и хвалили. Считали Джамбула образцом парижской культуры; слово «Париж», с его вековым престижем, производило и на них магическое действие. Все искренно радовались его намеренью остаться в имении надолго, давали ему хозяйственные советы, многозначительно спрашивали, не собирается ли он расширить дом. Он отвечал, что не собирается: пусть все остается таким, как было при отце. (Теперь он об отце вспоминал с бóльшей любовью, чем прежде.) Его ответ тоже понравился. Гости, особенно те, у которых были дочери, говорили, что всегда и во всем будут рады ему помочь. Много говорили о конском заводе, о том, где и когда надо покупать лошадей.

VI

В ожидании книг, отправленных из Парижа «малой скоростью», подготовляя для них полки, Джамбул заглянул в книги отца. Они хранились в той комнате, в кото-

рой отец умер; Джамбул в эту комнату заходил редко. Там стоял шкафчик на точеных ножках, очень хорошей работы, с дорогой инкрустацией, «восток Перы и Пьера Лоти»,— думал Джамбул. В шкапчике стояли толстые, в старых переплетах, книги на арабском языке. Он и заглавий не разобрал, но увидел, что это Коран и комментарии к нему. Бережно поставил их на прежние места и решил, что шкафчиком пользоваться не будет: «Нельзя же рядом с ними поместить романы Вилли!» Нашлась, однако, одна непереплетенная книга на французском языке: перевод Корана и примечания. Джамбул вынул эту книгу из шкафчика и положил на письменный стол в главной комнате, бывшей кабинетом отца.

В тот же вечер, после обеда, он засветил восковые свечи в серебряных канделябрах. Работник принес приготовленное по-турецки кофе. Оно всегда было превосходное, такого не было ни в Петербурге, ни в Париже. Джамбул пил его очень много, даже на ночь: оно нисколько не мешало ему спать. «Кажется, знаменитый французский писатель Вольтер выпивал пятьдесят чашек в день и дожил до восьмидесяти с чем-то лет. Я пью не пятьдесят, но не менее десяти и надеюсь дожить до ста»,— шутливо говорил он друзьям, почтительно его слушавшим и удивлявшимся его учености. «В первый раз в жизни мною восхищаются за *это*!» — весело думал он.

Когда-то дядя пытался его научить арабскому языку и Корану, но он ничему не научился: был слишком занят лошадьми, собаками, ружьями, саблями. Позднее в религиозные книги и не заглядывал. В его окружении на смену людям, благоговейно относившимся к Корану, пришли революционеры, которые о религии никогда не разговаривали или говорили о ней гораздо меньше, чем о погоде, о дороговизне жизни, о качестве пива в разных кофейнях.

С первых же суратов Джамбула удивила красота и сила языка, ясно чувствовавшиеся и в переводе. Он с детства слышал, что Магомет говорил так, как никто не говорил и не писал до него. Это подтверждал и переводчик. По его словам, Магомет был «умми», то есть не умел ни читать, ни писать. Он только проповедовал в состоянии вдохновения, а его секретари благоговейно записывали его слова. Этому Джамбул не мог поверить: знал, что самая лучшая речь самого лучшего оратора обычно плоха в стилистическом отношении и во всяком случае не идет в сравнение с писаным словом. «Как же мог человек *так* говорить, всегда, каждый день, каждый час?»

Но гораздо больше поразило Джамбула содержание. Если русские революционеры произносили иногда слово «Коран», то лишь относя его с насмешкой к взглядам, не терпящим противоречия противников: так, например, меньшевики иронически говорили о «ленинском Коране». Между тем теперь Джамбул, читая книгу, не находил в ней ничего фанатического. Его изумило, что, по словам Пророка, между людьми всегда были и будут разногласия и расхождения, такова воля Божья, и, несмотря на все усилия верующих, бóльшая часть людей останется чужда вере. «Что бы сказал об этом Ленин да и многие из его противников?» — спросил себя Джамбул. Не было в Коране и нетерпимости. Переводчик-биограф говорил, что Ислам с величайшим уважением относился к Христу, к Моисею, называет Ветхий и Новый заветы Божественным откровением, книгами, ниспосланными с неба. «И мусульмане, и евреи, и христиане, верящие в Господа и в суд Божий, делающие добро, получат награду из Его рук»... «Из евреев и христиан верующие в Бога и в Писание, которое было послано им, как и нам, творящие волю небес не продадут своего учения ради низменного интереса. Они найдут награду у Всевышнего, Он не ошибается в суде над человеческими делами»... «Спорьте же с ними только словами честными и умеренными. Опровергайте среди них лишь нечестивых. Говорите: «Мы верим в наше учение, но также и в ваше Писание»... «Приглашай же еврея и христианина обратиться в Ислам и соблюдай справедливость, тебе предписанную. Не уступай их желаниям, но говори: «Я верю в Священную книгу. Небо же мне указало судить вас справедливо. Мы молимся одному Богу. У нас свое дело, а у вас ваше. Пусть мир царит между нами».

«Но как же все эти жестокие войны с неверными, которые велись мусульманами прежде, а кое-где ведутся сейчас»,— думал Джамбул. Французский переводчик объяснял: учение Пророка вначале подверглось жестоким гонениям, и на это он счел нужным ответить силой же. «Да, в этом он был, конечно, прав: живой человек не может поступать иначе, а если были крайности и зверства, то первые мусульмане были людьми своего времени, и все познается по сравнению. Он сам говорит, что не требует от человека ничего невозможного или превышающего его силы, и в этом именно его мудрость: Ислам единственная вера, которую человек может принять целиком, то есть во всем ей следовать не только в теории, но и в жизни...» Забегая вперед, Джамбул нетерпеливо перелистывал сура-

ты: читать все подряд было все же утомительно. «Природа, везде природа, с нею связано чуть ли не все, и самый его рай это великолепный сад, с пальмами, с фонтанами, с необыкновенными плодами!»

«Сады и фонтаны будут уделом людей, боящихся Аллаха. Они войдут туда с миром и со спокойствием. Не будет в их сердцах зависти. Они будут покоиться на ложах и будут чувствовать друг к другу братское благоволение... И будут у них, верных служителей Господа, лучшие яства, плоды изумительного качества, и предложат им чаши, полные прозрачной, редкого вкуса воды, которая не затемняет разума и не пьянит. И будут рядом с ними девы скромного вида, с большими черными глазами, с кожей цвета страусового яйца... И скажут верующим: войдите в сады наслаждений, вы и жены ваши, откройте ваши сердца радости. И дадут вам пить из золотых чаш, и найдет ваше сердце все, чего может желать, а глаз ваш все, что может чаровать его, и будет вечным это наслаждение. Праведники увидят сады с фонтанами, и будут они одеты в шелковые одежды, и будут благожелать друг другу. И будут с ними жены с большими черными глазами!»

«Какой еще религиозный законодатель решился бы говорить о девах с большими черными глазами? — думал он.— Какой так хорошо понимал бы людей, так снисходил бы к их природе, даже к их слабостям! И как нелепо издеваться с улыбочкой над «гуриями»! Мусульманский закон допускает четырех жен, и средний человек *может* это принять, может этому следовать, тогда как безбрачие или моногамия и несвойственны ему и не нужны. «И позволено вам тратить ваше богатство для приобретения целомудренных добродетельных жен. Люди же небогатые, вместо свободных правоверных женщин, могут брать правоверных рабынь с согласия их родителей. Женитесь на тех, кто вам понравится, на двух, на трех или на четырех. Живите хорошо с вашими женами, а если почувствуете от одной отдаление, то, быть может, это отдаление будет от того, во что Бог вложил огромное благо».

«Как все просто, как разумно, как *полезно* для каждого из нас следовать этому столь человеческому учению! Чему в нем я не мог бы следовать? Некоторым обрядам? Но ведь все-таки эти обряды были установлены почти полторы тысячи лет тому назад. Запрещение вина?» Он заглянул в предметный указатель, приложенный французом к книге, и узнал, что о вине в Коране говорится четыре раза, на таких-то страницах. Прочел все четыре стра-

ницы. На первых трех вино, собственно, не запрещалось, только было сказано, что, как от игры в кости, от сока фиников и фруктов больше вреда, чем пользы. «Может быть, из фиников тогда изготовлялся какой-нибудь дурманящий напиток, разрушающий тело и душу?» Только на четвертой сок фиников и фруктов запрещался безусловно. «Верно, по той же причине»,— подумал Джамбул, с улыбкой вспомнив того своего гостя, который пил коньяк, так как о нем в Коране не сказано ничего.

«Но почему же я молился всю жизнь лжебогам? Или, вернее, даже не молился им, а просто, считая их богами, приносил им кровавые жертвы?» — Он вдруг вспомнил экспроприацию на Эриванской площади, глаза гнедой лошади, трупы убитых людей. Лицо у него искривилось, как от физической боли. «Странно то, что я впервые подумал о Боге именно тогда, в обсерватории, в день смерти отца! Впрочем, что же странного в том, что человек, прожив большую часть жизни, возвращается к мудрости отцов, дабы войти *туда* «с миром и со спокойствием»?

На следующий день он в разговоре с управляющим сказал ему, что хочет очень расширить сад, посадить лимонные и апельсиновые деревья и устроить несколько фонтанов. Велел также давать милостыню не только всем приходящим в усадьбу, но и тем, что собирались у мечети. Он точно всасывал мусульманскую веру из воздуха этой древней мусульманской страны.

Джамбул стал чаще ездить к тем соседям, у которых были дочери. Они принимали его еще благосклоннее, чем прежде, и устраивались так, что он мог видеть дочерей. Поговорил он и с муллой, носившим зеленую чалму. Друзья советовали ему жениться и даже обсуждали разных невест и размер калыма (это было ему неприятно). Он сам понимал, что за него выдадут любую девушку: он мог считаться лучшим женихом в округе.

Через несколько месяцев он, почти одновременно, обзавелся двумя женами. Родители обеих охотно согласились. Согласились даже на то, чтобы он, вопреки ветхозаветному обычаю, поговорил с невестами. Он не был влюблен ни в одну, но обе ему нравились.

VII

По настоянию Татьяны Михайловны Ласточкиной уехали из Москвы на отдых зимой,— обычно уезжали только летом. Ей самой гораздо удобнее и приятнее было в Мо-

скве. Но здоровье и у него стало несколько сдавать почти как у жены. «Это лишний признак того, как сплетены наши с тобой жизни»,— говорил Дмитрий Анатольевич шутливо (думал же он это и не в шутку). У него не было ничего серьезного, но он замечал, что вставать утром с кровати, надевать туфли ему стало труднее, чем прежде, и что в ногах пониже колен какое-то неприятное ощущение,— «Точно хочется их отцепить». Врачи думали, что он переутомился, что одышка у него от усталости, от сидячего образа жизни и от некоторой слабости сердца. Слово «сердце» встревожило Татьяну Михайловну. Было решено, что они, после обычного летнего лечения в Мариенбаде, где Ласточкин каждый год, по его словам, «спускал благоприобретенные двадцать, а то и двадцать пять фунтиков», поедут еще в Наугейм.

Но в декабре одышка и усталость у Дмитрия Анатольевича усилились. Татьяна Михайловна предложила ему съездить куда-нибудь за границу на праздники, не для лечения, а просто для отдыха. «А отчего бы тебе не поехать одному?» — нерешительно сказала она. Об этом Дмитрий Анатольевич и слышать не хотел. «Ни за что один не поеду! Это было бы против всех наших правил и традиций. И ты тоже не так уж хорошо себя чувствуешь...» — «Я совершенно здорова. Меня ни в какие Наугеймы не посылают, сердце у меня, как у молодой девушки».— «Слава Богу, но отдохнуть не мешает и тебе».— «Да я не ты! Я весь год ничего не делаю!» Кончился разговор тем, что они решили съездить на французскую Ривьеру. «Только не в Монте-Карло, он мне надоел, что ж все в одно место, поедем лучше в Канн»,— предложил Ласточкин.— «В Канн так в Канн, мне совершенно все равно».

Они остановились по дороге на несколько дней в Вене. Тонышевы давно их к себе звали. «И пожалуйста, Таня, Митя, выбейте у себя из головы, что вы будете жить в гостинице! Мы с Алешей об этом и слышать не хотим! — писала Нина, действительно очень обрадованная сообщением об их приезде.— За столько времени не удосужились у нас погостить, позор! Не видели даже наших «Сезаннов», двойной позор! У нас есть «комнаты для друзей», и это чистая фикция: кроме вас, никаких друзей мы не ожидаем. Отдадим вам обе комнаты. И никакого номера в «Империале» я вам не найму, дудки. И нашей ноги у вас больше никогда не будет, если вы остановитесь не у нас. Nous vous ferons les honneurs de Vienne [1]».

---

[1] Мы радушно примем вас в Вене (*франц.*).

Квартира Тонышевых очень понравилась Ласточкиным, они мысленно сравнивали ее со своей московской.

— У вас преимущественно старинная мебель, а у нас преимущественно модерн, и то, и другое имеет свою прелесть,— говорил Дмитрий Анатольевич.

За семейным обедом обо всем успели поговорить, и уже приходилось придумывать темы. Заговорили даже о литературе. Тонышевы за ней очень следили, выписывали из России много новых книг.

— Странно, как у нас все переменилось,— сказал Алексей Алексеевич.— Всего лет десять тому назад в наших повестях и романах писали больше о врачах-тружениках, которые обычно погибали во время холерных бунтов, а теперь...

— Да это иногда и в самом деле случалось.

— Случалось, конечно, Таня, но, согласитесь, не часто. А теперь все отдельные сильные и страстные личности, и у них единственное чувство — необыкновенная способность к необыкновенной любви.— Татьяна Михайловна невольно подумала, что в жизни Тонышевых любовь в самом деле не занимает очень большого места.— Я и тут стою за золотую средину. Есть и другие большие сюжеты.

— Например, политические,— сказала Нина.— Я вижу, что Мите и Алеше хочется поговорить о большой политике, мне она здесь осточертела. Пойдем, Танечка, я тебе все покажу в ваших комнатах.

Татьяна Михайловна все очень хвалила.

— Как хороша эта ванна. Вделана в пол, таких у нас в Москве еще нет.

— Горячая вода круглые сутки, купайся, Танечка, хоть всю ночь. Впрочем нет, никак не всю ночь, должно быть, тебе вредно сидеть долго в воде. Одна беда: на кране с кипятком они написали «kalt», а на другом «heiss»! [1] Я так рассердилась!

— Это действительно очень большая беда!

— Не шути, по ошибке можно обжечься. Мастер был очень сконфужен, но уже переделывать было трудно.

— Лишь бы у вас, Ниночка, не было огорчений похуже... Да, хорошо живется нам, обеспеченным людям.

— Ах, мне самой часто бывает совестно перед бедняками... Вещи, как видишь, горничная уже разложила и развешала в полном порядке.

— Она такая элегантная, ваша венка.

---

[1] «Холодный», «горячий» *(нем.)*.

— И очень честная. Можете спокойно оставлять все в комнатах, не запирая.

— Будем знать. Да, у вас очень благоустроенный дом,— сказала, устало садясь в кресло, Татьяна Михайловна.— Вообще мы с Митей так за вас рады... Ниночка, а можно тебя спросить? Когда же дети?

Нина Анатольевна вздохнула.

— Надеюсь, будут. Алеша говорит, что дети были бы счастьем, если б всегда оставались маленькими.

— Не следуйте нашему примеру. Это у нас с Митей единственное горе. Ну, хорошо, не будем об этом говорить.

— Завтра с утра я вам буду показывать Вену. Алеша уйдет в посольство, хотя там в праздничные дни нечего делать.

— Мы Вену отлично знаем. Чудный город, но Москва все-таки лучше.

— С Москвой и я ничего не сравниваю!.. Вечером завтра у нас ложа в «Бурге».

— Что идет?

— Шиллеровская «Смерть Валленштейна». Ты читала?

— Кажется, когда мне было лет шестнадцать.

— А я не читала. Алеша обожает Шиллера. Я предпочла бы пойти в оперу, и ты, верно, тоже? А послезавтра у нас будут интересные люди.— Она назвала знаменитого пианиста.

— О-о!

— Да, он играет божественно. Говорит, что после шампанского играть не умеет, но, конечно, врет. Мы его заставим играть. Будут и другие, один известный профессор-экономист, пусть побеседует с Митей о расцвете промышленности. Мы с тобой не обязаны слушать.

Тем временем мужчины в кабинете говорили о политических новостях. Главной новостью была опасная болезнь графа Эренталя.

— Говорят, он переносит страдания с необыкновенным мужеством,— сказал Тонышев.— Что ни говори, он замечательный человек.

— Может быть, и замечательный, но, говорят, он хочет войны.

— А здесь, разумеется, говорят, будто войны хочет Россия. И то и другое неверно. Эренталь большую часть своей дипломатической карьеры проделал в Петербурге. На Балльплатц так и уверяли меня что он «kam direkt aus

der ausgezeichneten Petersburger diplomatischen Schule»[1] и восхищается всем русским.

— Вот как? У нас о наших дипломатах думают иначе. Нет пророка в отечестве своем. Кто же займет место Эренталя?

— Первым кандидатом считается Буриан, но его ненавидит наследник престола. По-моему, больше шансов имеет граф Берхтольд.

— Мы с Таней с ним знакомы. Познакомились когда-то в поезде по дороге в Монте-Карло. Помню, красивый человек.

— Признается самым элегантным человеком в Австро-Венгрии и, кажется, очень этим гордится. Какой-то американский журналист устраивает анкету: десять мужчин в мире, которые лучше всех одеваются. По-моему, он должен был бы получить первый приз,— сказал Алексей Алексеевич, смеясь, но не без легкой зависти.

— Это единственный его «titre»[2] для должности министра иностранных дел? И тоже подумывает о войнишке?

— Не знаю. В петербургском свете его очень любят, как, впрочем, прежде любили Эренталя. Нет, какая же войнишка?

— Меня тревожат дела на Балканах. Газеты пишут, будто братья-славяне очень подумывают о войне с Турцией.

— Без нашего согласия они не посмеют на это пойти.

— А вдруг посмеют? И так ли ты уверен, что им в Петербурге согласия не дадут? У нас тоже достаточно полоумных. Очень ухудшилось вообще в последние годы политическое положение в мире. Еще лет десять тому назад никто об европейской войне не говорил.

— Да, особенно осложнилось дело после этого несчастного спора о Марокко. Впрочем, покойный Эдуард Седьмой считал французскую позицию в нем шедевром дипломатического искусства. Эдуард сам был замечательный дипломат. Правда, у него политика осложнялась его личной антипатией к Вильгельму. У хорошего дипломата не должно быть личных симпатий и антипатий.

— Да этого, верно, не бывает.

— Отчего же не бывает? Но я уверен, что европейской войны не будет. Франц-Иосиф войны не хочет. Не-

---

[1] «Только что вышел из отличнейшей петербургской дипломатической школы» *(нем.)*.

[2] Здесь: «право» *(франц.)*.

ужто ты, при твоей жизнерадостности, становишься пессимистом! Не будет войны. Люди разумные существа.

— Дай Бог, чтобы ты оказался правым.

На следующий день они в автомобиле Тонышевых отправились в театр. Приехали за несколько минут до начала. Тонышевы до поднятия занавеса успели показать своим гостям разных известных людей в зале. В антракте все восхищались спектаклем.

— По самому своему замыслу и построению, трилогия настоящий шедевр,— сказал Алексей Алексеевич, знавший на память много стихов на разных языках.— Я другой такой трагедии не знаю. Как постепенно нарастает напряжение! Правда, первая часть, «Лагерь», не сценична, но как и она хороша, как подготовляет зрителя к ожидающейся трагедии. Конечно, в изображении Валленштейна Шиллер немного погрешил против исторической истины, да кто же этого не делал? Шекспир, Гёте, Гюго. Я предпочитаю нашего Пушкина всем поэтам, но ведь его «Полтава» сплошная историческая ошибка. Даже в деталях, в божественном описании украинской ночи: «Чуть трепещут — сребристых тополей листы». При Петре никаких тополей на Украине не было, их развел много позднее Щенсный Потоцкий, это вызвало сенсацию. А Мария чего стоит! А Мазепа! Даже в дрянном романе Фадея Булгарина он изображен ближе к исторической правде, чем у Пушкина. А скачущий с доносом влюбленный в Марию казак!

— Этот почему же? — спросила Татьяна Михайловна.— «Кто при звездах и при луне — Так поздно едет на коне...» Вы говорите об этом?

— Об этом самом. Стихи очень звонкие, но... «Червонцы нужны для гонца,— Булат потеха молодца,— Ретивый конь потеха тоже,— Но шапка для него дороже»,— продекламировал Алексей Алексеевич.— «За шапку он оставить рад — Коня, червонцы и булат,— Но выдаст шапку только с бою,— И то лишь с буйной головою.— Зачем он шапкой дорожит? — Затем, что в ней донос зашит,— Донос на гетмана злодея — Царю Петру от Кочубея...» Вполне возможно, что донос был зашит в шапку, но эта шапка скорее была ермолкой: Кочубей послал донесение Петру через какого-то еврея. Едва ли он носил с собой «булат» и едва ли был уж так влюблен в Кочубееву Матрену, которая кстати перетаскала у Мазепы немало «злата».

— Так ли это? Может, гонцов было несколько? Я историю знаю плохо,— сказала Татьяна Михайловна.— Об исторических драмах судить не могу, но, по-моему, во всей немецкой литературе нет ничего равного песенке Теклы: «Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer — Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr.— Du heilige, rufe dein Kind zurück! — Ich habe genossen das irdische Glück. Ich habe gelebt und geliebt» [1].

«А говорила, что, *кажется,* читала «Смерть Валленштейна»,— подумала Нина.

В другом антракте литературный разговор продолжался.

— ...И мысли о власти Шиллер высказывает мудрые. Вот, оказывается и в семнадцатом веке людей занимали те же мысли: «Верхи общества уходят, им на смену поднимаются низы...» Как хорошо он играет! — говорил Дмитрий Анатольевич.

— Изумительно,— сказал Тонышев.— Заметьте, этот актер — еврей, а как изображает кондотьера! Хоть с каждой его позы картину пиши!

— Пожалуйста без антисемитизма, Алеша. Почему актеру-еврею не изображать хорошо кондотьера?

— Я ведь, Таня, говорю только к тому, что еврейское племя, которое я очень почитаю, давным-давно стало самым мирным из всех.

— Это так,— подтвердил Ласточкин.— Ты тоже, Танечка, ведь войны не хочешь?

— Думать без ужаса не могу! А вы, Алеша, разве хотите?

— Никак нет. Хотя думать могу и без ужаса. Артист же он действительно великий. Я кстати всегда сожалел, что Шиллер не изобразил самой сцены убийства: гениальный актер себя в ней показал бы! Правда, сцену убийства до некоторой степени заменяет страшный крик убийцы Деверу: «Freund! Jetzt ist's Zeit zu lärmen!» [2] Сейчас его услышим.

— Алешенька, перестань щеголять эрудицией,—сказала Нина.

После обеда они отправились ужинать к Захеру. При входе в общую залу им бросилось в глаза знакомое лицо.

---

[1] «Все в мире мертво, померкнул свет, и больше надежд и желаний нет. К себе, благая, меня призови, я счастье земное познала в любви, а ныне простилась с мечтами» (Ф. Шиллер. Пикколомини. *Перевод Н. Славятинского).*

[2] «Пришла пора, дружище, пошуметь!» (Ф. Шиллер. Смерть Валленштейна. *Перевод Н. Славятинского).*

«Легок на помине: граф Берхтольд»,— сказал Тонышев. Он сидел в углу один, у его столика почтительно суетились лакеи. Тонышев занял стол на другом конце зала, подал одну карту дамам и начал озабоченно изучать другую.

— Таня, можно мне заказать для всех? Я знаю, что́ у них особенно хорошо. Этот ресторан не хуже Донона или вашего «Эрмитажа».

— Ну, положим,— сказал Ласточкин.— Старый Донон первый ресторан в мире.

— На десерт не забудь, Алешенька, заказать «Захер-Торте». Ты увидишь, Танечка, какое это чудо! — сказала Нина. Начался гастрономический разговор.

VIII

В Канн погода была плохая. Ласточкины никогда зимой на Ривьере не бывали и были удивлены.

— Холодно, солнца нет, «старожилы не запомнят»,— говорил жене Дмитрий Анатольевич на второй день.

— Особенно этот неприятный холодный ветер.

— Если б это хоть был мистраль, по крайней мере название звучное, но одни говорят «биз», другие говорят «бриз», третьи говорят «полан» или как-то так. Сами своих ветров не знают. Если не пройдет, переедем куда-нибудь в Сицилию или даже в Египет. Как ты думаешь?

— Ни за что. Опять переезжать, да еще морем, какой же это отдых! Наверное, скоро будет солнце. Ривьера обязана поставлять солнце.

— А вдруг не выполнит обязательств?

— Тогда, благо нет знакомых, будем сидеть в гостинице и заниматься ничегонеделаньем.

Так оно и вышло. Они большую часть дня сидели дома и читали. Дмитрий Анатольевич нашел предмет для «работы». В Европе уже много говорили о теории относительности молодого физика Эйнштейна. Ни одна отвлеченная научная теория не вызывала у большой публики такого интереса, как эта. Ласточкин в Москве побывал на лекции в ученом кружке и почти ничего не понял, кроме примера о двух поездах. Ему казалось, что немного поняли и другие слушатели. Между тем, он получил серьезное научно-техническое образование. Правда, математику давно успел позабыть: она не имела никакого отношения к делам, которыми он занимался уже двадцать лет. Как-то с досадой он заметил, что не очень помнит и гимназическую математику: не знал почти ничего о биноме Ньютона и не сразу

вспомнил, что именно называется тройным правилом. Решил, что в первое же свободное время непременно пополнит познания. На лекции он спросил у профессора название и номер журнала, в котором была напечатана знаменитая работа. Побывал в библиотеке и разыскал ее, но далеко не ушел и только вздыхал. Накануне отъезда из Москвы заехал в магазин Ланга и купил несколько «Grundriss-ов» и «Vor lesungen über...» [1] Немного поколебавшись, купил также памятные ему по гимназии «Элементарную геометрию» и «Начальную алгебру» Давидова. Сам был сконфужен: «Вот так инженер-технолог!» Все это повез с собой, к изумлению Татьяны Михайловны. В Вене нашел какую-то популярную книжку, где, с некоторым недоверием, говорилось о теории Эйнштейна.

В их роскошном номере был свой балкон, но проводить на нем время было в январе невозможно. Они придвинули к окнам кресла и читали, Дмитрий Анатольевич с карандашом в руке. В четвертом часу приходилось зажигать лампы. Татьяна Михайловна для себя ничего лучшего не желала, как быть наедине с мужем. Читать рядом было уютно,— но для этого не стоило приезжать на Ривьеру. Учебники Дмитрий Анатольевич восстановил в памяти легко, с Grundriss-ами уже было хуже, а когда в популярной книге он прочел, что теорию Эйнштейна можно по-настоящему понять лишь при знакомстве с новыми методами математического мышления, то приуныл, тем более, что назывались имена, неизвестные ему и понаслышке. «Наш милый профессор говорил: «Выдумал немец обезьяну! Будь все относительно, то тем паче «deboliare superbos» [2].

«Принижать гордыню это никогда не мешает,— думал Ласточкин.— Может быть, эта теория характерна именно для нашего времени. В самом деле, если поколеблена механика Ньютона, то какие же могут быть истины в политике, в философии, в политической экономии? И не могут ли оказаться последствия самые необыкновенные?.. Впрочем, в книжке сказано, что теория относительности еще висит в воздухе. Вдруг обезьяна не настоящая?» — думал Дмитрий Анатольевич и с некоторым облегчением переходил от книги к «Le Temps». Тут по крайней мере все было понятно, хотя далеко не все приятно: «Сгущаются, сгущаются тучи...»

Татьяна Михайловна читала новые французские романы. Иногда опускала книгу на колени и задумывалась.

---

[1] «Очерк», «Лекции о...» *(нем.)*.

[2] «Надо ставить на место гордецов» *(лат.)*.

У нее настроение было не очень хорошее. В Вене она, тайком от мужа и Тонышевых, побывала у известного всему миру врача. Тот ничего опасного как будто не нашел или, по крайней мере, сказал, что не находит. Она настойчиво просила не скрывать от нее правды, если даже что-либо очень тревожно. «Я сказал вам, сударыня, как обстоит дело,— уклончиво ответил профессор.— но не скрываю, что организм у вас довольно утомленный. Это может в будущем способствовать развитию разных болезней. Непременно показывайтесь почаще врачам и в России».

С этим она и ушла: ничего тревожного, но... Не сказала ни слова Дмитрию Анатольевичу, «нельзя отравлять ему поездку, да, верно, и в самом деле ничего худого...» Как-то, прочитав в романе о чьей-то смерти, она взглянула на мужа. «Ну, а если?.. Что он будет без меня делать?.. Нет, конечно, ничего ему не говорить!» Об *его* смерти она не думала: об этом *невозможно* было думать. Татьяна Михайловна знала женщин, которые любили мужей, но *оживали* после их смерти,— так те подавляли их волю и личность. Однако, эти женщины были ей всегда чужды, непонятны и даже немного противны.

Как-то Дмитрий Анатольевич принес газету с объявлениями людей, желающих жениться. «Образованный, красивой наружности господин средних лет, очень любящий природу, имеющий хорошее место, желал бы разделить жизненный путь с барышней, имеющей средства, серьезной и некурящей. Необходима фотография. Секрет переписки обеспечен честным словом»,— невозмутимо читал он жене. И вдруг ею овладела радость жизни,— оттого ли, что они с Митей женились без газетных объявлений, оттого ли, что как раз с моря подул свежий ветерок, оттого ли, что в этот день на ней было платье, которое он особенно любил (и потому любила она сама).

— Как хорошо, что нам незачем искать!.. А то написать господину красивой наружности о Люде?

— Отчего бы и нет? Но любит ли она природу?

Оба хохотали.

— А каннская природа все-таки нас подвела. То есть, климат.

— Кажется, солнце сейчас застенчиво покажется. Чтобы не погубить репутации Ривьеры.

Когда солнце показывалось, Ласточкины уходили на прогулку. Сначала принималось решение пойти далеко, например в Ле-Канне, но, пройдя по Круазетт, они садились где-нибудь на скамейку, «ах, проклятая одышка!» —

думал, а иногда и говорил Дмитрий Анатольевич. Любовались видом на Эстерель. Не умели говорить о природе. Ласточкин обычно пропускал ее описания в романах: «все равно словами не опишешь». Отдохнув, шли дальше, но недалеко. Если же доходили до Ле-Канне, то он очень гордился и за завтраком выпивал две рюмки водки: «Заслужил!» Перед обедом выходили опять и снова садились на скамейку. Дмитрий Анатольевич немного скучал. Разговаривали мало. Смотрели на низкое небо, на редкие звезды.

— «На небе было черно и скучно, на земле было весело». Это из «Войны и мира». Правда, странные слова? — сказала Татьяна Михайловна. Он посмотрел на нее удивленно.

— Да, пожалуй, для Толстого странные, но это совершенно верно. На небе черно, на земле весело. Или, по крайней мере, должно быть весело. По этому случаю, сейчас закажем целую бутылку шамбертена? Согласна?

— Митенька, я в винах ничего не понимаю и даже не люблю их. Удивляюсь, как люди находят их вкусными... А ты лучше бы хоть за обедом пил минеральную воду.

— Минеральную воду будем пить, когда будем стары.

— Мы уже и так немолоды.

— Это совершенно разные вещи: немолоды и стары,— отвечал с неудовольствием Дмитрий Анатольевич.— Но хоть аппетит у тебя есть?

— Нет... Есть, но маленький,— отвечала Татьяна Михайловна. Он смотрел на нее беспокойно.

Погода стала еще хуже. Пошел мелкий, сухой снег.

— Это уже настоящее предательство со стороны Ривьеры! — говорила Татьяна Михайловна.— Снег на пальмах и на кактусах! Правительство должно было бы это запретить, это против всяких правил и против стиля. Снег мы имели в Москве бесплатно, а платить для этого за пансион по семьдесят франков в день незачем. Не повезло!

— Можем вернуться в Москву раньше,— ответил Дмитрий Анатольевич, чуть задетый словами «не повезло». Они, разумеется, были сказаны в шутку, но он давно привык к тому, что ему во всем везет.

Несмотря на снег и ветер, они перед обедом снова вышли на Круазетт и вернулись минут через десять. «Уж слишком мрачно. Луна и звезды подражают солнцу, тоже скрылись»,— сказал Ласточкин довольно угрюмо. Татьяна

Михайловна поднялась в их номер. Он ждал ее внизу. Разговорился со стариком швейцаром. Тот очень хвалил русских.

— Теперь у вас русских что-то мало.

— Еще приедут. Это зависит от сезона и от года. В тысяча девятьсот пятом году, когда в России были беспорядки, у нас чуть ли не все номера были заняты русскими,— ответил швейцар.

Вдруг Ласточкин вспомнил, что Савва Морозов покончил с собой в Канн. Почему-то это его взволновало. «Где? Господи, да в этой самой гостинице! Конечно, здесь! Я помню твердо!»

Он перебил швейцара, уверявшего, что очень скоро установится прекрасная погода: спросил о самоубийстве Морозова. Швейцар помнил это дело, но ответил очень неохотно и старался перевести разговор.

— Я хорошо его знал. В каком номере это было?

Старик ответил не сразу и с неудовольствием. Татьяна Михайловна спустилась вниз. Они пошли завтракать. Ласточкину уже без заказа приносили к закуске русскую водку. Он выпил две рюмки, затем, почему-то поколебавшись, сказал жене, что Савва Морозов покончил с собой в этом отеле. Она тоже чуть изменилась в лице.

— Где? Не в нашем номере?

— Нет, не в нашем. Он жил в другом этаже.

— Я мало его знала. Помнишь, он незадолго до своего конца был у нас на музыкальном вечере? Хороший был человек, очень благородный. Ведь до сих пор так и неизвестно, почему он покончил с собой?

— Неизвестно. Без всякой причины. Это самое странное.

Татьяна Михайловна, разумеется, тотчас заметила резкую перемену в настроении мужа. Между ними давно было нечто вроде телепатии, иногда устанавливающейся между мужем и женой, которые нежно любят друг друга. Эта телепатия, распространявшаяся даже на здоровье, с некоторых пор приносила им нерадостные впечатления. Обоим казалось, что они уже перевалили через гребень, и что начинается *спуск;* точно у них стало меньше жизненной силы, создававшей их счастье. «Но ведь так должно быть у каждой четы, особенно если нет детей»,— думала Татьяна Михайловна. Теперь она тревожно себя спросила, что случилось. Телепатия показывала: что-то случилось, но не говорила, что именно.

«У него была, помню, какая-то теория самоубийства,— опять думал за обедом Дмитрий Анатольевич.— Верно, что-то дикое? Странно, очень странно».

Обеды в гостинице были такие, какие полагались богатым людям в то время, не слышавшее о давлении крови, не считавшее калорий, не знавшее, что соль грозит человеку смертельной опасностью: шесть или семь изысканных блюд; многим обедавшим даже было неловко ограничиваться одним вином ко всем семи. В Москве, возвращаясь поздно вечером, Ласточкины еще дома ужинали; почему-то у них это шутливо называлось «седьмым ужином». В Канн обходились без еды на ночь, тем более, что ложились рано, но для уюта оставляли себе что-либо в номере. Дмитрий Анатольевич приносил жене конфеты, и она съедала в постели одну или две. Татьяна Михайловна покупала для мужа чаще всего грушу,— одну из тех французских груш, которые развозятся чуть ли не в шкатулках, как драгоценности, и которые надо есть тупыми ложечками,— да и то при прикосновении льется сок. За окном и в этот день лежала такая груша. Татьяна Михайловна перенесла ее на столик в гостиной. Они читали часов до одиннадцати. Затем Татьяна Михайловна ушла в ванную, а Дмитрий Анатольевич лег. При жене старался делать вид, будто внимательно читает.

Без всякой причины им вдруг овладела нестерпимая тоска, с мрачными предчувствиями: болезни, особенно *ее* болезни, смерть, и даже не смерть, а умирание. Он прежде почти никогда обо всем этом не думал. «И некому будет закрыть глаза, либо ей, либо мне! Детей нет, друзей сколько угодно, но ведь это все-таки чужие люди. Придут на похороны и забудут в тот же вечер,— да хотя бы и не забыли. Савве Тимофеевичу было легче, у него были *только* друзья, жену он, кажется, не любил. Там внизу в этом самом ресторане он в тот день ел такие же блюда, пил такое же вино, чувствовал ту же смертельную тоску...»

Татьяна Михайловна вернулась в спальню, взглянула на нетронутую грушу, и хоть было смешно обращать внимание на то, съел ли он грушу или нет, перевела глаза на мужа и вздохнула. Оба спали плохо. Каждый чувствовал, что и другой не спит, хотя притворяется спящим.

На другое утро Дмитрий Анатольевич вышел в коридор и, сам не зная, для чего, разыскал номер Морозова. Двери были отворены, в первой комнате работали горничные. Ласточкин заглянул и увидел диван, отодвинутый от стены,— «верно тот самый».

— Monsieur désire? [1] — подозрительно спросила горничная, державшая в руке половую щетку. Он что-то пробормотал в ответ и вернулся в свой номер. У него дрожали руки и стучало сердце.

Накануне отъезда в Москву он прочел в газете, что в Чили упал огромный, очень редкий по составу метеорит и что его перевезли в музей. Газета попутно объясняла, что метеоритами называются металлические массы, падающие, обычно при раскатах грома, с огненным следом, с других планет на землю, гаснущие и распадающиеся. Он подумал, что тут есть некоторое сходство с человеческой жизнью: «Вдруг и мы так, после недолгого бóльшего или меньшего свечения, переносимся из одного мира в другой?» Эта аналогия впрочем показалась ему несостоятельной и даже дешевой.

Вечером он вскользь сказал жене, что в Чили упал редкостный метеорит.

— Ну и что же? — спросила Татьяна Михайловна, чуть подняв брови. Она почувствовала, что Митя говорит не совсем вскользь и немного преувеличивает небрежность тона.

— Ничего, разумеется. Я упомянул так.

— Верно, это как-нибудь связано с теорией Эйнштейна?

— Ни малейшего отношения. Твои научные познания, Танечка, оставляют желать лучшего,— пошутил Дмитрий Анатольевич.

— И научные, и всякие другие. Но уж слишком ученые книги ты стал читать, Митенька, это тебя верно утомило,— полувопросительно сказала Татьяна Михайловна и, не получив ответа, добавила: — Читал бы лучше романы. Прекрасный этот роман Буалева, я его сегодня кончила.

— Прочту в дороге, не прячь его в сундук.

— Хорошо, положу в несессер. Сегодня вечером буду укладывать вещи.

— Я тебе помогу.

— Не надо, поможет горничная, ты и не умеешь. Читай себе в холле «Le Temps».

---

[1] Что угодно господину? *(франц.)*

IX

Летом 1912 года Ленин неожиданно переехал из Франции в Краков. Это вызвало в партии удивление и досаду: его стычки на парижских собраниях с меньшевиками и эсерами были главным развлечением и даже главным делом левой русской колонии. «Остался без библиотек, переехал, чтобы быть поближе к России»,— объясняли большевики. Собственно, эти слова означали лишь то, что русские газеты приходили в Краков днем или двумя раньше, чем в Париж. Более осведомленные люди приводили другую причину: польские и австро-венгерские власти из ненависти к царскому правительству никак не препятствуют перевозке в Россию агитационной литературы. Впрочем, ее перевозилось не так много.

Ленин не любил засиживаться на одном месте и малые города предпочитал большим. В Париже его утомляли беспрерывные посещения товарищей, их вечная болтовня, необходимость придумывать для них видимость работы, которой вообще было мало и которую они в большинстве исполняли плохо. В Польшу он взял с собой очередных «ближайших» друзей, Каменева и Зиновьева. Скоро там оказалась и Инесса Арманд.

Это был, вероятно, самый счастливый период во всей его жизни. Он жил то в Кракове, то в местечке Поронине. Говорил, что польская деревня напоминает ему русскую. Товарищей было гораздо меньше, чем в Женеве или в Париже, «склока» теперь проявлялась главным образом в письмах или в печати,— это тоже было гораздо приятнее. Такой тихой жизни он никогда не вел. В сущности вся его жизнь за границей была с внешней стороны вполне мирной и даже «мелкобуржуазной». У него всегда были две чистенькие комнаты. Он ежедневно вставал в восемь часов утра, совершал натощак небольшую прогулку, затем завтракал и садился за работу, причем в его комнату никто не имел права в эти часы входить. В два обедал, потом снова работал, в пять уезжал из дому на велосипеде, обычно в окрестности. В Кракове близкие к нему эмигранты делились на «прогулистов» и «синематистов». Он считался крайним прогулистом. Позднейшие восторженные рассказы о том, будто «Ильич работал по 18 часов в сутки», были выдумкой. Он никак не был ленив, но работал не больше любого чиновника или служащего, скорее даже меньше. Прогулки, зимой еще катанье на коньках или, где было можно, на лыжах, отнимали много времени. Он очень

заботился о здоровье: шутливо говорил, что здоровье члена партии это «казенное имущество», которое растрачивать запрещается. По вечерам принимал очередных приятелей и болтал с ними, затем еще выходил опускать в ящик письма: нужно, чтобы уходили тотчас.

Инесса Арманд сделала большие успехи в партийной метафизике, разобралась кое-как в практических делах, уже знала, кого надо особенно ненавидеть. Ленин по-прежнему называл прохвостами громадное большинство русских и иностранных социалистов. Из иностранцев предметом его особенной ненависти был теперь Карл Каутский, который, в дополнение к другим своим позорным поступкам, отказался быть «держателем» русских партийных денег и третейским судьей в связанных с ними делах.

По-прежнему Ленин несколько мягче относился только к Максиму Горькому. Но и пролетарский писатель раздражал его. Главной причиной, по-видимому, была относительная скупость Горького. Он все жаловался на свои дела. «А вот что Вам жить не на что и печататься негде, это скверно»,— писал ему как-то Ленин, верно уже тогда не без недоверия: не мог не знать, что Горький, хотя и выходивший из моды в России, много зарабатывает и, в отличие от него самого, живет очень хорошо. Позднее писал и гораздо откровеннее: «Вы пишете: «Нам пора иметь свой журнал, но мы не имеем для этого достаточного количества хорошо спившихся людей». Второй части этой фразы я не принимаю... Будь деньги, я уверен, мы бы осилили и теперь толстый журнал, ибо к *ядру* сотрудников за плату привлечь можно *много*, раздав темы и распределив места». А в другой раз, в большом раздражении, написал Шляпникову, что у Горького «надо вытащить силком деньги: пусть платит тотчас и побольше», причем слова «побольше» и «силком» в письме подчеркнул.

Дело было, однако, не только в деньгах. Философские рассуждения «теленка» все больше приводили Ленина в ярость. Горький где-то объявил, что богоискательство надо «на время» отложить.

«Дорогой Алексей Максимович! — написал ему Ленин.— Что же это Вы такое делаете? — просто ужас, право!.. Выходит, что Вы против «богоискательства» только «на время»!! Выходит, что Вы против богоискательства *только* ради замены его богостроительством!! Ну, разве это не ужасно, что у Вас *выходит* такая штука? Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не

больше, чем желтый черт отличается от черта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против *всяких* чертей и богов, против всякого идейного труположества (всякий боженька есть труположество — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно),— а для предпочтения синего черта желтому, это во сто раз хуже, чем не говорить совсем... Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая *демократической* буржуазией, именно потому это — самая опасная мерзость, самая гнусная «зараза»... Развивал эту мысль очень подробно, со ссылкой на «католического попа, растлевающего девушек», на «попов без рясы», на «попов идейных и демократических», и заканчивал предположением, что Горький просто «захотел посюсюкать». Вероятно, в этом последнем предположении не очень ошибался.

Горький испугался, пошел на попятный и о богоискательстве ответил, что сам не может понять, как у него «проскользнуло» слово «на время»; но насчет богостроительства еще что-то «сюсюкал»,— надо было и ограждать свою независимость: сам тоже мыслитель.

Судя по тому немногому, что известно об Инессе Арманд, можно предположить, что она без удовольствия слушала и о «труположестве», и о многом другом. Вероятно, лишь вздыхала, по своему обыкновению. «Жалеете, грустите, вздыхаете — и только»,— писал ей как-то Ленин. Он часто ей объяснял ее ошибки,— одной Инессе объяснял мягко, то есть без грубейшей брани. Она была неглупа, не боялась с ним спорить и порою удачно ему возражала, отмечала его логические противоречия. Старалась думать своим умом. Это его изумляло. «Люди, бóльшей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, 60—70% из большевиков) не умеют *думать,* а только *заучивают* слова»,— писал он. Иногда давал ей и ответственные поручения: «Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту,— и посему упорно *не верю* пессимистам, т. е. говорящим, что ты... едва ли... Вздор и вздор! Не верю! Превосходно ты сладишь!» Люди, говорившие, «что ты... едва ли...», были наверное глупее Инессы Арманд. В спорах с ним она порою даже осмели-

валась нападать на Энгельса. Хуже этого могли бы быть только нападки на самого Маркса. Но ей сходило и это.

На близкую революцию он не очень надеялся. Балканская война, особенно вопрос об Албании, вызвавший обострение в отношениях между Россией и Австро-Венгрией, подали было ему надежду, однако, лишь слабую.— «Война Австрии с Россией,— писал он тому же Горькому,— была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие».

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

В министерстве иностранных дел на Балльплатц «был страшнейший хаос» («herrschte das schrecklichste Chaos»),— говорит в своих воспоминаниях высокопоставленный австрийский дипломат. Все там, не исключая третьестепенных должностных лиц, вмешивались решительно во все. Один известный посол, не названный этим дипломатом, говорил ему, что, быть может, мировую войну затеял швейцар министерства.

В австрийском министерстве иностранных дел и не могло не быть полного беспорядка и разброда, так как он был в Вене везде (кроме ритуала Бурга и Шенбрунна): во всех областях государственного управления, в армии, в жизни, в литературе, в философии, даже в многоплеменной австрийской церкви. И лишь немногим дело было лучше в России с ее недавней революцией, во Франции с недавним делом Дрейфуса, да и в очень многих других странах.

Хаосом объясняется и то, что историкам не удалось толком установить, кто именно толкнул Австро-Венгрию на войну. Обычно в этом — с большой долей справедливости — обвиняют министра иностранных дел графа Берхтольда. С той же относительной верностью, в Германии в этом обвиняли самого императора Вильгельма. По случайности, в 1914-ом году судьбы мира были в руках двух неврастеников.

О Берхтольде люди, его знавшие, оставили разные и противоречивые сведенья. Одни находили, что он ленивый, равнодушный, мало знающий, почти ничего не читающий человек, во всем некомпетентный, не имеющий никаких идей и планов, «простая машина для подписывания бумаг». Другие видели в нем крайнего честолюбца, сознательно затеявшего мировую войну и руководившего австро-венгерской военной партией.

И то, и другое не может быть вполне верно... Летом 1914-го года граф Берхтольд во всяком случае не ленился

и никак не был равнодушен. Бумаги он тогда не «подписывал», а составлял их лично от первого до последнего слова, часто не показывая их даже тем, кому он был совершенно *обязан* их показывать. Знаменитый ультиматум Сербии, вызвавший мировую войну, он сочинил сам и, прибегая к обману, не показал его императору Францу-Иосифу *до* отправки в Белград: опасался, что император не даст на него согласия или во всяком случае очень его смягчит. Берхтольд дал честное слово германскому правительству, что покажет ему предварительно этот ультиматум, но очень хитро устроился так, чтобы и оно ознакомилось с документом слишком поздно для каких бы то ни было поправок. Своей бумаге он нарочно придал такую форму, чтобы Сербия никак не могла ее принять: сам это говорил с почти идиотическими самодовольством и гордостью.

Но, с другой стороны, он не мог быть руководителем военной партии, так как, по самому своему неврастеническому изменчивому характеру, просто не мог быть руководителем чего бы то ни было. Не был он и честолюбцем. Берхтольд и министром иностранных дел стал очень неохотно: предпочел бы должность главы придворного ведомства,— не связанную ни с какой ответственностью и не обещавшую никакой славы. В смысле честолюбия с него, по-видимому, было совершенно достаточно того, что он граф Берхтольд фон унд цу Унгаршитц и вдобавок самый элегантный человек Европы. После мировой войны он в иностранных отелях танцевал на балах, вызывая изумление туристов: «тот самый!»

В 1913—14 годах «больным» вопросом Европы стали балканские дела. Такие больные вопросы неизменно бывали во все времена. Они улаживались или нет, но в обоих случаях скоро забывались и заменялись другими. Самыми мучительными из всех тогда считались «проблема Албании» и «проблема великой Сербии». Об албанских делах никто из государственных деятелей того времени решительно ничего не знал. Однажды, не выдержав, британский министр иностранных дел Грей, которому они по их непонятности смертельно надоели, предписал своим подчиненным докладывать ему о них «возможно реже». Сербские дела были известны лучше. Сербия, после двух победоносных войн — первой, в союзе с Болгарией, против Турции, второй, при полускрытой поддержке Турции, против Болгарии,— стала могущественной державой: в ней теперь было четыре с половиной миллиона жителей.

В Европе глубокомысленно обсуждался вопрос: может ли Австро-Венгрия допустить существование на своей границе столь мощного государства и не грозит ли это ей гибелью?

Император Франц-Иосиф, не желавший по-прежнему слышать о войне, болел и все дряхлел. Таким образом очень усиливалось значение главных австро-венгерских сановников. Они естественно расходились в мнениях. Конрад фон Гетцендорф требовал, чтобы вся Сербия была включена в империю Габсбургов, которая из двуединой стала бы триединой. По его мнению, можно было бы либо добиться от Сербии добровольного на это согласия (вероятно, с его точки зрения это был менее приятный исход), либо следовало просто ее завоевать и присоединить насильно (более приятный исход). Против этого был венгерский министр-президент граф Тисса: он думал, что в империи уже и без того слишком много славян и что «двуединой» совершенно достаточно, а то, при пестром племенном составе государства, можно докатиться и до «десятиединой» с десятью правительствами и с десятью парламентами. В 1913 году Тисса решительно высказывался против войны (что́ ему не помешало через год столь же решительно высказаться за нее). Он видел спасение Австро-Венгрии в «ориентации» на Болгарию: очевидно, присоединение к центральным державам этого только что разбитого и обессиленного небольшого государства могло спасти Австро-Венгрию и Германию. И, наконец, граф Берхтольд занял промежуточную позицию: он войны не хотел, но желал для обуздания сербского страшилища ввести в австро-венгерскую «орбиту» какую-то задуманную им «лигу» из небольших стран. Все эти «ориентации», «лиги» и «орбиты» заполняют дипломатическую переписку и газетные передовые того времени.

Берхтольд считался и был убежденным сербофобом, но с большой вероятностью можно предположить, что он совершенно презирал балканские государства вообще. Все они были монархиями, но еще не очень давно были в рабстве у турок. В Румынии, Греции, Болгарии, по крайней мере, были монархи из «хорошего дома»: выписанные из-за границы Гогенцоллерны, Виттельсбахи, Кобурги. В Сербии же царствовал Бог знает кто: правнук гайдука, какого-то Черного Георгия. Быть может, «сербофобом» Берхтольд стал больше по методу исключения: Вильгельм II был в родстве с румынским и греческим королями и лично благоволил к ним.

Еще меньше Берхтольд мог считать государственным человеком главу сербского правительства: как говорили, Пашич в молодости был близок к Бакунину и будто бы был в Швейцарии его «любимым учеником»,— иными словами, это был просто разбойник. За несколько месяцев до войны Пашич отправился в Петербург и там просил для королевича Александра руки одной из великих княжен. «Царь с улыбкой мне ответил,— докладывал Пашич,— что возражений не имеет, но что у него правило: предоставлять детям самим выбор. Когда же я выходил, царь проводил меня до двери и подчеркнуто, повторно просил кланяться королю».

Вероятно, об этом было доложено Берхтольду как о полном согласии на брак, и он мог только изумленно негодовать: если дочь русского царя выходит за Карагеоргиевича, то это конец мира. Тогда же, по горячей просьбе «ученика Бакунина», царь почти согласился подарить Сербии 120.000 русских винтовок. По тем временам, это могло считаться действием недоброжелательным в отношении Австро-Венгрии. Но граф Берхтольд тогда еще никак не собирался воевать.

По всем глубоким социологическим теориям, убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда было лишь *поводом* для мировой войны. Настоящие *причины* были совершенно другие: «англо-германское экономическое соперничество», «борьба за рынки», «внутренние противоречия капиталистического строя» и т. п. Однако, при чтении почти простодушной переписки государственных людей того времени просто напрашивается другой вывод: сараевское убийство было не поводом, а именно причиной катастрофы. О «борьбе за рынки» они не писали и не говорили, а о «внутренних противоречиях капиталистического строя» и не слышали: быть может, даже таких слов не знали.

В тот момент, когда об убийстве наследника австро-венгерского престола узнал второй по значению неврастеник Европы, с ним мгновенно произошла совершенная перемена. Сразу исчезли его прежние мысли о лиге, сложные и глубокие дипломатические проекты. Он принял твердое решение: надо начать войну, начать ее возможно раньше, лучше всего немедленно. При этом он точно забыл о соблазнительных проектах Гетцендорфа. Начальник генерального штаба хотел присоединить к империи всю Сербию; Берхтольд тотчас после сараевского преступления совер-

шенно перестал об этом думать. Он объявил сначала сослуживцам, затем германским политическим деятелям, несколько позднее, в пору ультиматума, правительствам всех стран, что Австро-Венгрия ни о каких аннексиях не думает. Она готова гарантировать неприкосновенность сербской территории (за исключением разве очень незначительных пограничных пунктов,— да и на этом он не настаивал). Таким образом отпадала и та цель войны, которую ставил себе Гетцендорф и которая с *его* точки зрения была разумной (он сам слушал с изумлением эти заявления министра иностранных дел). Теперь единственная цель Берхтольда заключалась в том, чтобы поддержать и поднять австро-венгерский *престиж*, проучить Белград, положить конец террористическим действиям и страшному призраку Великой Сербии. Все его действия от дня убийства эрцгерцога до ультиматума имели целью войну и только ее. По-своему они были порою хитры, как бывают хитры поступки сумасшедших. Он довольно искусно влиял и на Тиссу (все еще носившегося с Болгарией) и особенно на Вильгельма, без согласия которого, разумеется, и думать о войне не приходилось.

Первый европейский неврастеник был в последнее время в самом благодушном и миролюбивом настроении. Германия процветала,— этого никто не мог отрицать, даже социал-демократы. Трон Гогенцоллернов был так прочен, что мысль об его возможном и близком падении просто не могла возникнуть у здорового человека. Вильгельм чувствовал себя и физически хорошо. За год до войны он выдал замуж дочь, на свадьбу приехали русский царь и английский король, свадебные торжества были не только пышные, но и очень веселые, отношения между тремя монархами были самые дружеские, немногочисленные политические разговоры сошли без малейших разногласий. Император полувопросительно сообщил своим гостям, что турки просят его прислать германскую военную миссию для обучения турецких войск; оба гостя признали это совершенно естественным, а царь сверх того посоветовал туркам как можно лучше укрепить линию Чаталджи на случай, если болгары пожелают захватить Константинополь (они все трое сходились в нерасположении к Фердинанду Болгарскому; в частности, Вильгельм II совершенно не переносил своего будущего союзника).

Германский император, очевидно, забыл то, что говорил бельгийскому королю, и не собирался подражать Фридриху и Наполеону. Его посол в Вене Чиршки доложил

о каких-то опасных планах Австро-Венгрии. Император справедливо написал на полях доклада: «Совершенное сумасшествие! Ведь была бы война!»

В конце июня 1914 года Вильгельм выехал на регаты в Киль. 28-го в море к его яхте неожиданно подошла шлюпка. У руля стоял адмирал Мюллер, высоко держа в руке какую-то бумагу. Причалить было трудно. Мюллер положил бумагу в портсигар и бросил на борт. В ней было сообщение об убийстве эрцгерцога.

Совершенно потрясенный, император велел яхте тотчас направиться к берегу. Разумеется, его волнение и негодование понятны. Весь мир был потрясен и почти весь мир возмущен сараевским делом. Вильгельм вдобавок сердечно любил эрцгерцога и его жену. Совсем недавно он их посетил в Конопиште, и их давняя дружба еще окрепла. Но и политическое настроение у Вильгельма совершенно изменилось с такой же быстротой, как у Берхтольда: пора обуздать Сербию, надо поддержать *престиж* центральных империй, пусть будет война. Разница заключалась в том, что австрийский министр иностранных дел был неврастеник с внешней стороны довольно холодный и сдержанный; кроме того, Берхтольд был очень связан; он должен был считаться с Францем-Иосифом, с Тиссой, со многими другими. Вильгельм же у себя был почти всемогущ, никаких сдерживающих начал у него никогда не было.

Во дворце его ждали многочисленные доклады. Граф Берхтольд сообщал, что, по его сведеньям, двенадцать сербских террористов отправились в Вену: хотят на похоронах эрцгерцога убить и германского императора. Возможно, эти сведенья были верны, но, может быть, он их просто сочинил, чтобы усилить ярость Вильгельма. Этой своей цели достиг. По-видимому, не хотел также, чтобы император встретился с Францем-Иосифом. Германские министры советовали императору не ездить на похороны. Он и не поехал. Писал на докладах резолюции, которые два по крайней мере историка назвали психопатическими. Называл всех сербов убийцами и бандитами. Говорил, что благодаря им в большой опасности самый принцип монархии и что прежде всего русский царь обязан теперь поддерживать Австро-Венгрию, а никак не «сербских цареубийц». Когда тот же его посол Чиршки стал предостерегать Берхтольда от слишком поспешных мер, Вильгельм написал на полях доклада: «Кто ему это поручил? Это очень глупо! И это совершенно его не касается!.. Пусть Чиршки сделает мне удовольствие и бросит все эти глу-

пости. С сербами надо покончить и возможно скорее. Это само собой разумеется, это банальные истины».

Никто из его приближенных не решался прямо ему сказать, что это не совсем «само собой разумеется». Разгром Сербии никак не мог бы прекратить действия сербских террористов; напротив, он, наверное, им способствовал бы. *«Престиж»*, «дипломатическая победа» были все равно обеспечены, так как в Белграде шли на всевозможные, даже «унизительные», уступки. Момент для европейской войны был весьма для Германии невыгодный, во всяком случае в сто раз менее выгодный, чем в 1905 году, когда Россия была занята войной на Дальнем Востоке, а нейтралитет Англии был совершенно обеспечен. Но возможно, что никто и не хотел ему это говорить. Не только в Берлине, но и в Европе вообще было у людей, особенно у образованных, странное чувство: мир, конечно, прекрасная вещь, но не будет большой беды, если и возникнет война,— ново, занимательно, наша возьмет, нет худа без добра. Это никак не означало, что люди *хотели* войны. Но без этого смутного, полусознательного чувства, война была бы невозможна, несмотря на Берхтольдов и Гетцендорфов разных стран, центральных и нецентральных.

Другого мнения естественно держались некоторые из самых влиятельных генералов. Они думали, что будет большая беда, если война не возникнет. Адмирал Гаус, командовавший австрийским флотом, спрашивал на Балльплатц: «Не можете ли вы устроить нам войну? («Könne Sie uns den Krieg nicht arrangieren?»). Начальник германского генерального штаба Мольтке говорил своему австро-венгерскому собрату: «Отклоните новые авансы Англии, ставящие себе целью поддержание мира. Оставаться твердой перед лицом европейской войны — это последний шанс спасения Австро-Венгрии. Германия ее поддержит без условий». Мольтке не имел ни малейшего права давать Гетцендорфу политические советы. Гетцендорф не имел ни малейшего права отклонять или принимать английские авансы. Но они, по крайней мере, знали, чего хотят. Штатские люди и этого не знали и были в громадном большинстве совершенно растеряны.

Германский канцлер Бетман-Гольвег посылал во все стороны советы, из которых каждый противоречил другим. Быть может выпивши, в разговоре с британским послом Гошеном, назвал договор о нейтралитете Бельгии «клочком бумаги». В трезвом виде *сказать* это было невозмож-

но, хотя это было чистейшей правдой: очень легко было понять, *как* это слово будет использовано против Германии (разговор был вечером, канцлер, по донесению в Лондон Гошена, был в «большой ажитации» и говорил безостановочно двадцать минут). Можно предположить, что некоторую, не очень, конечно, большую, роль вино или замученность невыспавшихся людей сыграла в те дни и в других странах. Французский посол в Лондоне Камбон 30-го июля потребовал от британского правительства заявления, что Англия вмешается в войну, если Германия нападет на Францию. Высокопоставленный британский государственный деятель ему ответил, что английское общественное мнение равнодушно к австро-русскому соперничеству и, хотя он лично стоит за интервенцию, но говорить о ней преждевременно,— и в качестве одной из причин указал, что некоторые члены британского кабинета имеют денежные интересы в Германии.

«Кончилось» все это сценой в русском министерстве иностранных дел у Певческого моста. В шесть часов вечера 1-го августа, германский посол граф Пурталес посетил Сазонова и «с признаками все росшего волнения» *три раза* спросил, согласится ли Россия отменить свою мобилизацию. Сазонов тоже три раза ответил, что Россия отменить мобилизации не может. Тогда Пурталес вынул из кармана бумагу с заранее приготовленным объявлением войны. Затем бросился Сазонову на шею и заплакал; добавил только, что говорить о чем бы то ни было «не в состоянии». От волнения и по рассеянности он даже передал русскому министру *две* бумаги с двумя разными редакциями.

В восторге от войны были Гетцендорф — и Ленин. Оба в известном смысле были правы, каждый на определенный и довольно длинный отрезок времени. Ленин преуспел уже через три года. Гетцендорф лично потерпел крушение, но открылся в истории столь приятный гетцендорфам долгий период войн. Плакать же были основания никак не у одного Пурталеса. Покончила с собой старая Европа, все же гораздо лучшая, чем та, что пришла ей на смену.

Через несколько часов о войне стало известно и в самых отдаленных странах. Одно нейтральное издание поместило картинку: ключарь потустороннего мира встречает эрцгерцога Франца-Фердинанда:

«Ваше высочество, за вами сюда ожидается большая свита».

II

Традиции старой Европы сказались и в том, что после объявления войны в 1914-ом году дипломаты покидали столицы, в которых представляли свои страны, совсем не так, как это было в 1939-ом. Особенно это проявилось в Австро-Венгрии.

Тонышевых провожали на вокзал не только дипломаты нейтральных стран, но и многие австрийские друзья. Все выражали надежду скоро встретиться в более счастливых условиях. Войны между европейскими государствами велись в последнее полустолетие столь редко, что выработанного порядка таких отъездов не было, и прецедентов в министерствах и посольствах никто не помнил. Просто все вели себя как цивилизованные люди. Из австрийского министерства иностранных дел корректно запросили русское посольство, в каком направлении члены посольства желают ехать, и несмотря на тотчас начавшийся железнодорожный хаос, специально назначенное должностное лицо позаботилось о поездах и спальных вагонах. Никаких враждебных манифестаций со стороны сумрачной толпы на вокзале не было. Некоторые нейтральные дипломаты, крепко пожимая руку Тонышеву, шепотом желали союзникам победы. Почти все привезли Нине Анатольевне цветы или конфеты. Дамы, прощаясь, прослезились или даже плакали. Нервы у всех были очень взвинчены: не было войн — и вдруг война! что теперь будет! Но, несмотря на общую любезность, в разговорах все-таки чувствовалось стеснение,— Тонышевы вздохнули свободнее, когда поезд тронулся и с перрона послышались последние «Bon voyage!», «Good-bye» и даже «Auf Wiederschauen!» [1]

Вернуться в Россию из Вены было бы проще и скорее через Константинополь. Но Турция могла со дня на день объявить России войну, и Тонышевы, как большинство русских, предпочли долгий, утомительный путь через Швейцарию, Францию, Англию, Норвегию и Швецию. Оба они были в последние дни очень взволнованы,— и радостно, и тоскливо,— радость преобладала над тоскою. С той минуты, как Англия объявила войну Германии, они в победе союзников не сомневались. Алексей Алексеевич был почти уверен, что Австро-Венгрия обречена на скорую гибель. Это ему радости не доставляло. Напротив, было тяжело, что катастрофу переживет престарелый Франц-Иосиф, которого он так почитал.

---

[1] «Счастливого пути!» *(франц.)*, «До свиданья!» *(англ., нем.)*

Естественно, он думал и о том, что ему делать после возвращения на родину. В первый же день в большом возбуждении сказал жене, что, если даже его не призовут, то он добровольцем пойдет на войну. Нина Анатольевна, только об этом думавшая, ответила, еле удерживая слезы:

— Как ты найдешь нужным... Я тебя удерживать не буду. Но едва ли тебя призовут. Ты уже не так молод. Верно и верхом ездить разучился.

— Нет, не разучился, и мне всего сорок три года.

— Как ты найдешь нужным. По-моему, от тебя в твоем драгунском полку пользы будет немного Можешь ли ты скакать в кавалерийских атаках? Не будешь ли ты полезнее как дипломат? Тебе скоро дадут другое назначение.

— Едва ли. Из-за войны постов стало значительно меньше, а дипломатов теперь освободилось очень много.

— Делай как хочешь... Но ведь мы и вернемся в Россию в лучшем случае через три — четыре недели? Между Англией и Норвегией пароходы ходят теперь редко, и надо будет ждать долго. А война очень скоро кончится. Наверное она уже кончится к тому времени, когда ты будешь готов к строю?

— Это возможно. Тогда это будет не моя вина.

Больше они об этом не говорили. В поезде Алексей Алексеевич неожиданно вспомнил о предсказании майнцской колдуньи.

— Я, кажется, тебе это уже когда-то рассказывал. Это тогда меня изумило: ведь он совсем неглупый человек. Очень характерно это сочетание ума и легковерия. Может, в самом деле Вильгельм начал войну из-за майнцской колдуньи!.. Ах, хороши оказались мы все, дипломаты, со всеми этими санджаками и Мюрцштегами!

Нина Анатольевна говорила, что уж во всяком случае он ни в чем себя винить не может. Про себя произвела подсчет: 1914 плюс 1 плюс 9 плюс 1 плюс 4. Выходило: 1929. Она не знала, к чему отнести этот год: «Умрет Вильгельм? Алеша станет министром? В России создастся ответственное правительство?.. А вот Вены мы больше, верно, никогда не увидим!.. Нашу обстановку потом перевезем, да куда?»

В дороге Алексей Алексеевич готовил записку для министерства. Он до отъезда записывал в дневник все, что видел и слышал в последние дни. Слышал он очень много. Видел двух дипломатов, только что побывавших в Берлине. Они в один голос утверждали, что Вильгельм II находится в состоянии полной невменяемости. Об его ге-

ниальности никто открыто не говорил, но все признавали, что он очень опасный и страшный враг. Тонышев записал и разные восклицания, приписывавшиеся германскому императору, и то, что говорили Бетман-Гольвег, Берхтольд, другие высокопоставленные лица, и мнения, высказывавшиеся осведомленными людьми о германских и австрийских генералах. Гетцендорфа почти все считали замечательным полководцем, о Мольтке говорили, что он унаследовал военный гений своего дяди. Из русских генералов иностранцы очень высоко ставили Сухомлинова и Ренненкампфа.

Втихомолку говорили о Франце-Иосифе. По слухам, он уже не все понимал, резолюции на докладах писал карандашом, дрожащей рукой, так что и разобрать было трудно. Не переносил Гетцендорфа, которого считал — как будто он один тогда — глупым человеком и вдобавок довольно плохим генералом (много позднее Людендорф писал, что подготовленная Гетцендорфом австро-венгерская армия оказалась «не полноценным орудием борьбы» — «kein vollwertiges Kampfinstrument»). Все же, под сильнейшим давлением со всех сторон, престарелый император дал согласие на войну.

Путешествовали Тонышевы медленно, но вполне благополучно. В Париже и в Лондоне были тоже интересные встречи и разговоры. Алексей Алексеевич был принят самим Греем, который рассказывал ему о положении в России. Положение было прекрасное, весь народ, все партии объединились для борьбы с врагом. Не только о революции, но ни о каких беспорядках и речи не было. Второстепенное должностное лицо из «Форен Оффис» пригласило Алексея Алексеевича на обед в свой клуб и высказывало мнения о русской душе. Полное спокойствие в Англии еще подняло настроение Тонышевых, хотя отсутствие всеобщей мобилизации, толпы молодых здоровых людей на улицах (в Париже они не видели ни одного) и формула «Busines as usual» [1] не очень им понравились. Поразило их предсказание нового военного министра, лорда Китченера: война продлится три года.— «Уж не сошел ли он с ума?» — изумленно спрашивала мужа Нина Анатольевна.— «Нет, конечно, не сошел с ума, но он, верно, находит, что так говорить полезно: пусть люди записываются в армию».— «По-моему, они именно тогда подумают, что спешить незачем».

Английские газеты печатали военные сообщения обеих

[1] Дела идут как обычно *(англ.)*.

сторон. На западном фронте немцам выпали большие успехи, бельгийские крепости пали, германские армии шли на Париж. Но это Тонышевых не пугало. Русские войска имели не меньшие успехи в Австрии и вторглись в восточную Пруссию. Алексей Алексеевич и Нина Анатольевна с гордостью говорили друг другу, что именно русская армия возьмет штурмом Берлин. Победа под Гумбинненом привела их в совершенный восторг; они за обедом выпили шампанского.

Единственная опасная часть дороги, из Ньюкастла в Берген, прошла тоже благополучно. В Северном море действовали германские подводные лодки; все говорили о минах Уайтхэда, о минных полях, о тральщиках,— теперь штатские люди постоянно употребляли военные слова. Ночью пассажиры не раздевались и держали рядом с собой спасательные пояса. Погода была очень плохая. Пароход шел без огней, и его сильно качало. Нина Анатольевна лежала больная в гостиной. Алексей Алексеевич, сидя рядом с ней, говорил, что нет худа без добра: в такую погоду и подводным лодкам работать трудно. Около полуночи вдруг раздался страшный грохот. Все вскочили с мест, произошел переполох. Но оказалось, что это от качки свалился в столовой шкаф с посудой.

В великолепном Стокгольме, жившем почти нормальной жизнью, они в «Гранд-Отеле» набросились на немецкие газеты. Их уверенный тон очень раздражил Тонышевых. В Германии тоже не сомневались в полной победе: падение Парижа обеспечено, скоро будет заключен победный мир. Оказался, кроме Мольтке, еще военный гений: фон Клук. «Становится наслаждением быть немцем!» — писал Гарден, и даже ненавидевшие его антисемитские газеты сочувственно цитировали его статьи. Алексей Алексеевич только пожимал плечами: «Совсем посходили с ума, проклятые швабы!» — Перед отъездом в Россию он прочел о сражении под Танненбергом, о самоубийстве генерала Самсонова и был совершенно потрясен.

Нина Анатольевна прослезилась на русской границе. Тонышев задержался в Петербурге. Ему надо было побывать в министерстве, сделать устный доклад, представить записку, выяснить свое положение.

В первый же час после приезда Нина позвонила из «Астории» в Москву. Телефонистка предупредила ее, что по-немецки говорить запрещается.— «Помилуйте, барышня, почему я, русская, стала бы говорить с моим братом по-немецки!» — почти с негодованием ответила она.

Разговор был трогательный. Дамы, давно не видевшие друг друга, плакали. Дмитрий Анатольевич отбирал у жены трубку и тоже что-то взволнованно кричал. Впрочем, говорили о пустяках. Нина Анатольевна от волнения даже зачем-то спросила, который час.

— Я завтра же к вам выеду! Можно ли остановиться у вас?.. Ради Бога, не сердись, я спросила по глупости... Спасибо, да, пока я одна: у Алеши еще здесь дела, будто бы страшно важные. Я столько вам расскажу!

— А мы-то тебе! Вы оба не можете себе представить, что у нас происходило. Ну, слава Богу, что вы благополучно приехали, мы так за вас волновались! Эти немецкие зверства!

III

В Москве взрыв патриотического воодушевления был необычайный. Никогда еще в России, по крайней мере с 1812 года, не было такого согласия и единодушия между людьми. По этой ли причине, вследствие непривычного отсутствия «внутреннего врага», по свойствам ли русского характера или из-за необъятных размеров страны, в Москве и настроение было более веселое, чем в Лондоне, неизмеримо более веселое, чем в Париже.

Чуть ли не каждый день происходили совещания в разных группах интеллигенции. Все были совершенно уверены в близкой победе, все, теперь благодушно, рассказывали анекдоты о министрах, все ожидали перехода к *настоящему* конституционному правлению и создания ответственного перед Думой правительства. Кое-кто предлагал практические мероприятия. Ласточкин один из первых подал мысль о мобилизации всей русской промышленности. Как инженер и экономист, он представил записку, имевшую очень большой успех. Ему было поручено разработать подробный план.

Дмитрий Анатольевич пожертвовал Красному Кресту столь большую сумму, что денег на его текущем счету не хватило, и он в первый раз в жизни заключил в банке заем. Татьяна Михайловна от него не отставала,— он еще несколько лет тому назад открыл для нее особый банковый счет, к некоторому ее недоумению: «Помилуй, Митенька, зачем мне отдельные деньги? Я даже не знаю, как пишутся чеки!»,— говорила она.— «Это нехитрое искусство. я тебя научу»,— смеясь, отвечал Ласточкин. Теперь она давала дамскому комитету деньги на подарки воинам

и тайно помогала нуждавшимся знакомым, преимущественно семьям призванных, сразу оказавшимся без средств. Как и можно было думать, у большинства русских интеллигентов никаких сбережений не оказалось, несмотря на то, что почти все зарабатывали недурно.

Работы в совещаниях было немало, но эта работа все же не удовлетворяла Дмитрия Анатольевича, и ему было совестно перед людьми, отправившимися на фронт. Несмотря на свой возраст, он в первую же неделю отправился за справками в комендантское управление, где у него были знакомые, как почти везде в Москве. Там ему сказали, что о призыве второго ополчения не может быть речи: людей больше, чем нужно, и война кончится гораздо раньше, чем могут потребоваться ратники.

— Вот будут военные школы ускоренного выпуска,— сказал ему знакомый полковник.— Может быть, офицеры и понадобятся, хотя мало будет, правду сказать, толка от таких офицеров. Если вас примут, что ж, милости просим. Не скрою от вас, что в нынешнюю войну среднюю продолжительность жизни прапорщика в пехоте мы определяем предположительно в три месяца. Вы ведь инженер, для вас несомненно найдется другая работа, где вы будете гораздо полезнее. Да вы и теперь в Москве полезны.

Это ему говорили и штатские люди. Специалисты знали, что русская тяжелая промышленность недостаточно развита и что придется в самом спешном порядке строить новые военные заводы:

— Вот тогда такие люди, как вы, будут цениться на вес золота.

— Не думаю. Я не очень компетентен в устройстве военных заводов.

— Во всяком случае более компетентны, чем для службы прапорщиком запаса.

Это соображение было основательно, Дмитрий Анатольевич себя проверил: «Нет, шкурничества тут нет никакого». Все же он, независимо от одушевления, чувствовал и немалую тревогу. Гибель самсоновской армии его потрясла. Несмотря на смягчения в официальных сообщениях и в газетных статьях, правда скоро стала известна. В полной победе никто еще не сомневался, но теперь уже говорили, что война продлится дольше, чем первоначально предполагалось. «Восемь месяцев, никак не больше, но, вероятно, и не меньше»,— признал известный экономист на основании произведенного им точного расчета финансового и хозяйственного потенциала центральных держав.

— Да как же турки тоже объявляют нам войну? — спросил его Ласточкин.— Значит, они идут на верную гибель?

— Хороши, должно быть, турецкие экономисты,— ответил, пожимая плечами профессор.

Дмитрий Анатольевич говорил с женой и сестрой. Обе горячо поддерживали мнение полковника.

— Все это правильно, но как-то выходит, что у нас воюют только кадровые офицеры, серая крестьянская масса и только небольшая часть интеллигенции, преимущественно молодежь,— с недоумением сказал Ласточкин.

— Если и так, то это лучше, чем во Франции,— отвечала Нина.— Нам в Париже говорили, что какой-то знаменитый химик, кажется по фамилии Гриньяр, призван в пехоту рядовым и охраняет в тылу мосты! Это уж совершенно бессмысленно!

Алексей Алексеевич смущенно молчал. Ему в министерстве сказали, что отпустить его не могут, что работа для него скоро будет. А в комендантском управлении в Петербурге он узнал, что, если его отпустят, то он будет назначен на этапный пункт. «Это значит, в глубоком тылу?» — спросил Тонышев.— «В тылу, конечно, но не обязательно в глубоком. Для фронта вы не годитесь, теперь и методы не те, что были двадцать лет тому назад, когда вы отбывали воинскую повинность».

Люда тоже куда-то ездила, справлялась о возможной работе для женщин. Ей сказали, что работа может быть только санитарная и что прежде всего необходимо пройти курс для сестер милосердия; такие курсы скоро откроются. Кровь и грязь больниц, санитарных поездов были Люде противны. Она и вообще чувствовала себя растерянной. Кооператоры никогда ни о каких войнах не думали. С большевиками она уже несколько лет не поддерживала отношений, но стороной слышала, что растеряны и московские большевики; от Ленина не получили никаких инструкций и даже не знали, что с ним и где он находится: вероятно, в Австрии интернирован.

Из Петербурга скоро приехал в Москву и Рейхель, тоже по связанным с войной делам. Он был в мундире военного врача, но его оставили в Петербурге для производства лекарств. К своему мундиру он относился с насмешкой и почти так же относился к войне. Вдобавок, был убежден в непобедимости Германии. Разговор с ним был очень неприятен и Ласточкиным и Тонышевым. Он с ними пообедал, узнав предварительно, что Люды не будет.

Тонышевы тотчас после обеда ушли; ушла и Татьяна Михайловна.

— А я, напротив, убежден, что Германия будет совершенно разгромлена,—сказал Дмитрий Анатольевич.

— С чем тебя и поздравляю. Но блестящая баталия при Танненберге как будто об этом не очень свидетельствует.

— Ты точно этому рад, Аркаша! «Блестящая баталия»!.. Наши войска проявили истинный героизм. Мы все-таки спасли Францию, дав ей возможность одержать огромную победу на Марне.

— Хороша огромная победа! Твой Жоффр узнал о ней из газет.

— Да ведь это неправда и нехорошая неправда! Во Франции справедливо пишут о русском rouleau compresseur [1]. Мы опять перейдем в наступление, и скоро Германия будет, повторяю, разгромлена.

— День в день «через восемь месяцев», как пишет тот болван?

— Он никак не болван, его расчет очень обоснован... Я вообще перестал тебя понимать, Аркадий!

— Я ни минуты в этом не сомневался. Да если и победят Германию, то не велика радость в том, что миллион людей съедят черви раньше, чем полагается.

— Люди погибнут, но идея восторжествует... Ты стал уж очень материалистически относиться к жизни.

— Я и всегда так к ней относился. Знаю, что теперь не в моде быть материалистом, даже естествоиспытатели открещиваются и конфузятся или делают такой вид. Но я не конфужусь. Да, я материалист. Ты нет?

— Нет... А в бессмертие души ты совершенно не веришь? — быстро, неожиданно для себя, спросил Ласточкин.

— Совершенно не верю. Неужели ты веришь в эту ерунду?

— Я не могу ни утверждать, ни отрицать то, что знанию недоступно.

— Уж будто? Пониманию во всяком случае доступно. Если верить в бессмертие души человека, то логически надо признать, что бессмертны также блоха или удав.

— И ты вполне удовлетворен своим миропониманием? . И своей жизнью? — спросил Дмитрий Анатольевич, ничего в последние годы не знавший об интимной жизни Рей-

---

[1] Паровой каток *(франц.)*.

хеля. Знал только, что он по-прежнему не был женат. «Верно, какая-нибудь связь у него есть?» — предполагал он в те, все более редкие, минуты, когда думал о своем двоюродном брате.

— Это совершенно другой вопрос, не имеющий с миропониманием ничего общего. А мое миропонимание ты давно знаешь. Как это Шопенгауэр говорил? «Врач видит человека во всей его слабости, адвокат во всей его низости, а священник во всей его глупости». Работой же своей я доволен.

— Рад за тебя. Вот бы ты открыл средство борьбы с раком! — сказал с улыбкой Ласточкин, прекращая неприятный разговор.— Ну, хорошо, а что в Петербурге говорят о будущем мире?.. Не знаешь ли ты кстати, где теперь находится граф Витте? Он все-таки неизмеримо умнее наших нынешних государственных людей и был бы, верно, очень полезен при заключении мира.

— По случайности я от кого-то слышал. Война застала его во Франции, в Люшоне. Мне говорили, что он пришел в дикое бешенство и осыпал за глаза грубейшей бранью всех министров всех стран.

— Это на него похоже,— сказал со вздохом Ласточкин.

IV

Появились Военно-промышленный комитет, Земский союз, Союз городов. Ласточкин работал все больше. Ему полагался для поездок на фронт мундир с погонами военного чиновника. Заваленный теперь заказами, лучший военный портной Комаров, в виде исключения, сшил мундир в несколько дней. Ласточкин смущенно показался в нем своим дамам. Они веселились, но хвалили. Люда говорила, что он носит мундир прекрасно,— «просто гвардеец!» Татьяна Михайловна шутливо советовала купить заодно и какой-нибудь орден,— «так будет еще красивее». По требованию дам, Дмитрий Анатольевич даже снялся в мундире у фотографа, и карточки вышли превосходные. Одна немедленно оказалась на полке в будуаре у жены, рядом с его карточкой на верблюде у пирамид: когда-то ездили вдвоем в Египет. Было на полке еще и немало других его фотографий, тоже обычно остававшихся от их путешествий.

Он ездил на фронт то для деловых переговоров с разными командующими, то для раздачи подарков солдатам.

На фронте его мундир такого успеха не имел. Ему казалось, что генералы смотрят на него с усмешкой, и он, верно ли или нет, толковал про себя их чувства: штафирка, не умеющий носить мундир, вероятно очень богатый, живущий в тылу с большим комфортом! Все же принимали его очень любезно и, что в первый раз его изумило, говорили с ним откровенно, не стесняясь в выражениях: очень ругали ведомство снабжения, еще больше военного министра Сухомлинова, а некоторые и самых высокопоставленных людей. Как будто искали опоры у «общественности»,— это слово теперь беспрестанно повторялось в разговорах и в газетах.

Возвращаясь с фронта, он делал секретные доклады в тесном кругу. Оговаривался, что круг его наблюдений ограниченный, сообщал, что дух на фронте гораздо лучше, чем в тылу, где рестораны были переполнены и лилось шампанское, подававшееся в кофейниках. Но передавая слова генералов, он делился своей тревогой. Его слушали озабоченно. В докладе после третьей поездки Дмитрий Анатольевич прямо сказал, что на фронте ругательски ругают *высшее правительство*, а о Распутине выражаются не иначе, как самыми непристойными словами, и грозят его без суда повесить, если он посмеет появиться в Ставке. Этот его доклад произвел сильное впечатление.

Все говорили, что общественность должна взять дело войны в свои руки. Говорил это и Ласточкин. Но не мог не думать, что, как ни плохо работает правительство, не так уж хороша и общественность. «Да это и вполне естественно, к *такой* работе у нее уж подготовки нет ни малейшей. Что ж, у нас какие-либо особые таланты? Или чудом влияет какая-то общественная благодать? Увы, это вздор. И заводы мы строим не медленнее, не хуже, но и не быстрее, не лучше, чем их строит правительство. И деньги не мы достаем посредством добровольных пожертвований, а это те же казенные средства, поступления от налогов и займов, то, что правильно называется народными деньгами. Наш труд? Да, мы его отдаем. Во многих случаях бескорыстно»,— думал он, с неудовольствием вспоминая, как загребают деньги многие фабриканты, да еще определяют на безопасную службу членов своих семейств и своих более молодых приятелей. Об одном крупном московском заводчике говорили, что он наживает около миллиона рублей *в месяц*.

Было неприятно и то, что теперь еще больше прежнего богател он сам, и все по той же причине: теперь уже беше-

но поднимались в цене принадлежавшие ему давно паи разных промышленных предприятий. «Что же я тут могу сделать? — говорил жене Дмитрий Анатольевич.— Заводы завалены военными заказами. Ты ведь знаешь, что я жертвую немало, но не выбрасывать же деньги за окно!» Татьяна Михайловна с ним соглашалась; ей тоже было совестно; автоматически стали расти и их расходы; они теперь проживали гораздо больше, чем еще недавно, и не только из-за увеличения стоимости жизни: для богатых людей она чрезвычайно отставала от роста доходов. «Жертвуй еще больше, нам и не нужно, когда нет детей»,— говорила Татьяна Михайловна со вздохом.

Военно-промышленный комитет поручил Ласточкину ведать постройкой большого военного завода за Рогожской заставой. На этом он, разумеется, не наживал ни гроша и отдавал свой немалый труд совершенно безвозмездно. Но богатели подрядчики. Заключенный с ними договор казался ему бессмысленным: подрядчики, тоже освобождавшиеся от воинской повинности, получали десять процентов от стоимости постройки; им таким образом было выгодно, чтобы постройка обошлась дороже. Выработать другой договор было невозможно: такие заключали *все*, иначе подрядчики отказывались работать; между тем все делали они и, разумеется, инженеры, служащие, рабочие; он же только торопил, следил за сметами, все проверял, сокращал по мере возможности расходы,— мера, впрочем, была небольшая; напротив, из-за безостановочного роста цен сметы приходилось часто увеличивать.

Недалеко от его завода строился другой, казенный военный завод, и там происходило то же самое. Оба завода начали строиться почти одновременно, и почти одновременно постройка кончилась и началось производство. Несмотря на глухое соперничество наверху между общественностью и правительством, Ласточкин наладил корректные отношения с военными, строившими второй завод, обменивался с ними мненьями, сведеньями, советами; видел, что там были такие же подрядчики с такими же договорами, и такие же порядки, и такие же результаты. Оба завода находились поблизости от исторических мест московского царства, с названиями, известными всем по школьным учебникам. Проезжая по ним на автомобиле, Дмитрий Анатольевич видел, рядом с заводами, древние строенья или развалины, и это ему напоминало будки с бензином на Аппиевой дороге под Римом.

Немцы на фронте пустили в ход удушливые газы. Русские заводчики тотчас занялись и этим делом. О фосгене, цианистых и мышьяковых соединениях Ласточкин уж совершенно ничего не знал. Он стал спешно изучать технические книги, попутно возобновлял свои небольшие познания в химии. Нанял еще людей и кое-как наладил производство газовых снарядов. Видел, что *все-таки* его труд и энергия полезны. Тем не менее настроение у него ухудшалось и подъема становилось меньше. Он ежедневно заходил в новую лабораторию с плохими вытяжными шкафами, с кое-как налаженной вентиляцией. Раз даже наглотался газов и лишился сознания. Его пришлось приводить в себя принесенным откуда-то шампанским для поддержания деятельности сердца (о шампанском ему потом было особенно совестно вспоминать). Его немедленно отвезли на автомобиле домой. Татьяна Михайловна пришла в ужас. Он пролежал в кровати несколько дней и заметил, что его здоровье ухудшилось. Этого он жене не сказал и снова стал ездить на завод каждый день.

Скоро газовые снаряды стали отправляться на фронт,— «очень недурные, не хуже немецких»,— с гордостью говорили химики. Он слушал это радостно. Знал, что от газовых снарядов люди умирают в тяжелых мученьях. Это противоречило всему его прежнему взгляду на жизнь. Но он знал, что и думать об этом недопустимо. «О пацифизме надо надолго забыть, не мы начали войну».

Позднее один из рабочих, уже не в лаборатории, а на самом заводе, где вентиляция была еще хуже, наглотался газа гораздо сильнее и умер; ему шампанского не принесли. Это произвело тягостное впечатление на всех, особенно на Дмитрия Анатольевича. Он выхлопотал пенсию и единовременное пособие вдове с детьми и сам немало добавил из своих денег. Винить себя он не мог: устроить лучшую вентиляцию было в условиях военного времени невозможно. Утешался тем, что и сам пострадал, что есть в дальнейшем риск и для него.

V

Тонышев получил назначение на промежуточный этапный пункт. Министерство иностранных дел отпустило его неохотно и объявило, что позднее вытребует его назад. Это прозвучало как бы *обещанием*, и он был немного задет: «Точно я хочу уклониться от военной службы!» Этапный пункт был в глухом местечке. Женам не полага-

лось сопровождать офицеров хотя бы и в тыл. Но и независимо от этого, условия жизни в местечке были таковы, что Нина Анатольевна никак туда переехать не могла бы. Она осталась в Москве у Ласточкиных.

Его работа была, конечно, полезна, но с ней мог бы справиться любой писарь. Служебные обязанности были утомительны, однако свободного времени оставалось немало; сослуживцы были не очень интересные люди, он с ними поддерживал корректные отношения и скучал. Еда была довольно обильная,— он даже удивлялся тому, что армию кормили так сытно, хотя все ругали интендантство. Можно было тайком покупать и водку,— ее тоже подавали в кофейниках или в чайниках. Это неизменно подавало повод и к шуткам, и к раздражению: запрещение продажи вина было очень непопулярно, хотя все признавали, что, быть может, от него есть и польза. Но он боялся *спиться*,— существовало давнее литературное клише: образованный человек спивается в глуши,— точно люди реже спивались в столицах.

Алексей Алексеевич выписывал петербургские и московские газеты (французские и английские приходили плохо). Продолжать исследования о Кауннце было невозможно. Разумеется, он вывез из Вены то, что уже было им написано, вывез и записные тетрадки, но даже в Москве работы не продолжал. Его большая библиотека осталась в Вене. Правда, можно было читать книги в Румянцевском музее, но они оттуда на дом не выдавались; между тем он любил работать в одиночестве, в своем кабинете, с собственными книгами, на которых мог бы делать пометки, ставить вопросительные или восклицательные знаки (на самом деле он пометок никогда не делал,— так любил книги,— а отмечал нужные страницы отдельно).

Писал он свою работу по-французски и предназначал ее, разумеется, для издательства Плон, специализировавшегося на таких трудах и вдобавок самого старого в мире. В свое время из Вены снесся с этим издательством, и оно «в принципе» согласилось выпустить его книгу. Он упомянул, что гонорар его мало интересует, но спросил и об условиях, чтобы его не считали дилетантом. Писать по-русски не имело смысла: слишком мало читателей оказалось бы для такого труда в России, едва ли даже нашелся бы русский издатель.

Главное же было в том, что у него прошла охота писать об австрийском государственном деятеле. По-прежнему он почитал Кауница и собирался противопоставить его ны-

нешним бетманам и берхтольдам, но, написав чуть не половину книги, с неудовольствием увидел, что, собственно, определенной русской политики у знаменитого канцлера не было — или она так же часто менялась, как у Вильгельма II. Кроме того, он чувствовал, что теперь эта книга, если б ее и можно было кончить, оказалась бы мало интересной даже тем пяти или шести тысячам людей, которые вообще читали такие труды: настоящее бросало тень на прошлое. Перед отъездом на этапный пункт Алексей Алексеевич положил свою рукопись в «сэйф»: в местечке она могла и погибнуть.

Все же скоро у него появилось интересное занятие. В Москве Ласточкин, у которого от времени его увлечения мастерской оставались пишущие машинки всех существующих в мире систем, подарил ему «Гаммонд»:

— Нет, нет, пожалуйста, не отказывайся и не думай меня отдаривать. Мне она совершенно не нужна, видишь, сколько их здесь,— сказал со вздохом Дмитрий Анатольевич.— Я не понимаю, как культурный человек может жить без машинки! Ты знаешь, Льву Толстому в последние годы его жизни переписывали на машинке все, что он писал. По своим взглядам он должен был бы «отрицать» машинку, говорить, что она не нужна мужику, и так далее. Но, как писатель, он не мог ведь не понимать, что это для него огромное облегчение, что все становится ему самому яснее, когда он читает свою работу в переписанном чистеньком виде, с полями для новых изменений.

— Ему верно переписывали секретари, а кто будет переписывать мои шедевры? — смеясь, сказал Алексей Алексеевич.

— Научишься, это очень просто.

— Во всяком случае, сердечно тебя благодарю за подарок.

Действительно, он легко научился писать и теперь думал, что надо было обзавестись машинкой еще в Париже или в Вене: тогда можно было бы при составлении секретных бумаг обходиться без посольских переписчиц. Теперь он попробовал было писать на «Гаммонде» письма к жене: писал ей каждый день, а раза два в неделю вкладывал страницу и для Ласточкиных. Однако от Нины тотчас пришел протест: она желала, чтобы он по-прежнему писал ей пером. Зато все другое Алексей Алексеевич писал на машинке с копией; было приятно через несколько месяцев перечитывать свои письма, особенно когда они касались политических дел.

Неожиданно пишущая машинка дала ему мысль: составить новую записку для министерства иностранных дел. В местечке переписчиков не было, во всяком случае не было вполне надежных. Записку, написанную пером, министру было бы не очень легко прочесть. Тонышев написал страниц двадцать об одном происходившем в Лондоне совещании, где между других дел обсуждалась будущая участь славянских народов Австро-Венгрии. Газеты сообщили об этом совещании кратко, докладов в министерство и его инструкций послам Алексей Алексеевич не видел, кое-что знал из писем сослуживцев. Но состав участников был ему известен, и он приблизительно догадывался, что могли думать Грей, Никольсон, Делькассе, и пока еще бессильные, но много обещавшие эмигранты, как Масарик, Бенеш и другие.

Он сделал оговорку, касавшуюся своей недостаточной осведомленности. Несмотря на свою любовь к Вене и уважение к Францу-Иосифу, Алексей Алексеевич в записке высказывался за расчленение «Лоскутной империи». На Западе этот взгляд особенно горячо защищали Масарик и Бенеш. Некоторые другие склонялись к тому, что сохранение Габсбургской империи желательно, так как иначе ее немецкие земли рано или поздно воссоединятся с Германией. Бенеш в разговорах высмеивал это мнение и объяснял его полным невежеством иностранцев. Тонышев был близок к этому взгляду, но вносил некоторое компромиссное предложение: из этих немецких земель должно быть образовано австрийское королевство во главе с наследником, эрцгерцогом Карлом. Кончины Франца-Иосифа давно ждали со дня на день, а молодой эрцгерцог, наверное, удовлетворился бы сравнительно небольшим королевством. Можно было бы даже оставить ему и Венгрию. Эти католические страны с католическим королем составили бы оплот против Берлина. Все славянские земли, разумеется, должны были отделиться. Австрийская Польша, как и германская и русская, должны войти в единое королевство под скипетром Романовых, хорватские земли отойдут к Сербии, а Чехия станет самостоятельной республикой.

Алексей Алексеевич сочувствовал славянам, но к республикам у него не лежала душа, и ему не хотелось, чтобы совершенно сошла со сцены тысячелетняя габсбургская династия. Кроме того, ему действовал на нервы Бенеш, которого он в свое время встречал. Этот бывший школьный учитель, невзрачный, плохо говоривший по-французски человек, раздражал его своей необычайной самоуверенно-

стью, честолюбием, ясно чувствовавшимся в нем желанием стать президентом чешской республики, либо первым (старик Масарик мог ведь и умереть), либо, в крайнем случае, вторым.

Константинополь с проливами, по записке Тонышева, отходил к России. Об этом у него в Москве выходили часто споры с Ласточкиным, который с раздражением доказывал, что турецкие земли, где никаких русских нет, России совершенно не нужны, что из-за Айи-Софии турки все лягут костьми, как русские люди сражались бы до последней капли крови за Кремль, и что вообще не нужны никакие аннексии,— достаточно глупо было и завоевывать в восемнадцатом веке Польшу.

В заключении записки Алексей Алексеевич доказывал, что изложенный им план найдет поддержку во Франции: там тоже очень боятся возможного в будущем присоединения Австрии к Германии. В Англии будет и оппозиция, но часть министров на план согласится, как и «Таймс» с могущественными лордом Нортклиффом и Уикхэмом Стидом; и между тем поддержка «Таймс» имеет больше значения, чем мнение нескольких министров.

На «Певческом мосту» существовали разные направления. Преобладало теперь то, которому идеи Тонышева, особенно австрийское королевство и ограничение числа республик, были приятны. Записка Алексея Алексеевича показалась чрезвычайно интересной самому министру. Она имела неожиданное последствие. Министерство «вытребовало» Тонышева, и он был назначен посланником в одну из небольших нейтральных стран. Это государство само по себе не имело значения и даже не стремилось к этому, считаясь со старым положением: «счастливые народы не имеют истории». Но оно признавалось очень важным наблюдательным пунктом и к тому же (или именно поэтому), как и еще две-три страны в Европе, кишело секретными агентами воюющих держав.

Алексей Алексеевич обрадовался чрезвычайно. Помимо того, что ему надоела жизнь и служба на этапном пункте, ему предложили первый в его жизни пост посланника, редко выпадавший дипломатам его возраста. И, главное, он знал, что будет на этом посту очень полезен России. Правда, новый отъезд за границу должен был огорчить его жену. «Зато теперь опять будем вместе»,— написал он ей.

От Нины Анатольевны пришли сначала телеграмма, затем письмо: она горячо его поздравляла,— угадывала

его настроение. Сердечно поздравляли и Ласточкины. Татьяна Михайловна только высказывала опасение: опять этот переезд морем, подводных лодок у немцев все больше.

Перед отъездом встал практический вопрос. Рубль понемногу падал, предусмотрительные люди уже платили, вместо десяти, пятнадцать рублей и больше за фунт стерлингов. Дипломатам, уезжающим за границу, предоставлялись некоторые привилегии по вывозу денег или, во всяком случае, делались поблажки. Тонышеву было неловко ими пользоваться. Ни о какой революции в России он и не думал, хотя его сослуживцы уже почти открыто ругали императрицу. Но жалованье дипломатам вообще полагалось не очень большое; обычно они имели собственные средства. А теперь, при росте цен во всех воюющих странах, на одно жалованье жить было бы совсем трудно.

Он посоветовался с Ласточкиным. Дмитрий Анатольевич говорил неуверенно. Сам он фунтов не покупал и не верил, что они могут еще подняться в цене. Все же склонялся к тому, что не мешает Тонышеву при этом случае легально перевести часть состояния за границу и лучше всего в Англию: уж фунты-то никак понизиться в цене не могут! Алексей Алексеевич откровенно поговорил в министерстве и перевел — во франки, а не в фунты — довольно значительную часть своего состояния.

VI

Ленин, действительно, был арестован австрийскими властями тотчас после объявления войны. Но за него хлопотали влиятельные социалисты, которых он прежде ругал крепкими словами. Вдобавок, власти, услышав об его взглядах, естественно признали, что такого человека совершенно не нужно держать в тюрьме во время войны с Россией. Он был недели через две освобожден, и ему с готовностью предоставили возможность переехать в Швейцарию.

Близкий к нему человек говорил, что он был в те дни «настоящим тигром». Разумеется, его ярость была, главным образом, направлена против социалистов всех стран. Он называл громадное большинство из них подлецами, лицемерами, лакеями, мерзавцами, архипошляками, изменниками, полуидиотами, сволочью. Свою программу выработал в первые же дни. «Неверен лозунг «мира»,— лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую;... *Наименьшим* злом было бы теперь и тот-

час *поражение* царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма»,— писал он. Проклиная Второй Интернационал, призывал к созданию Третьего. Требовал отказа от самого слова «социал-демократия». Надеялся, что солдаты повернут штыки против офицеров. В Швейцарии выступал на эмигрантских собраниях и всходил на эстраду «бледный как смерть».

Тем не менее он (как, по другим, хотя и сходным, причинам, Муссолини в Италии) был в восторге оттого, что началась европейская война: наконец-то, монархи и их министры «доставили нам сие удовольствие». Никогда еще надежда на социальную революцию не была такой *настоящей*, как теперь. Революция стала даже *почти* неизбежной, а она делала *почти* неизбежным его приход к власти. Правда, было это вечное, несчастное «почти» исторических процессов. Но социологические законы Карла Маркса, притом именно в его толковании, были, разумеется, верными без «почти». Если он в них когда-либо хоть немного усомнился, то разве лишь в самом конце своей жизни. До того они были совершенно незыблемой, вечной истиной; иначе и жить ему не стоило бы.

Однако он лишь очень немного мог сделать для приближения революции. Европейская война внесла в жизнь такую *необычайность*, какой в истории никогда до того не было. Этой ее особенности — просто по исторической симметрии,— должна была бы соответствовать и необычайность революционного действия. Но ее взять было неоткуда. Он мог делать теперь в Берне, в Лозанне, в Цюрихе (все переезжал) лишь то, что делал прежде в Мюнхене, в Лондоне, в Женеве, в Париже, в Кракове. Что-то писал, что-то печатал, где-то выступал перед аудиториями в несколько десятков человек. Теперь и это было труднее, чем прежде: полицейская слежка везде была сильнее, письма вскрывались, писать в Россию надо было гораздо осторожнее. И, главное, все то же: не было денег. То есть, как прежде, и не было их, и они были.

Он сухо («Многоуважаемый») написал Максиму Горькому: предложил ему для легального издания какую-то брошюру: «В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если это возможно и не затруднит Вас чересчур, ускорить издание брошюры». Вскоре затем известил Инессу Арманд: «Рукопись моя об империализме дошла до Питера, и вот пишут сегодня, что издатель (и это Горький! о, теленок!) недоволен резкостями против... кого бы Вы думали?.. Каутского! Хочет спи-

саться со мной!!! И смешно, и обидно. Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т. д. Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками».

О своем безденежьи писал людям, которых тогда «любил» и от которых никаких денег ждать не мог: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем».— Вероятно говорил правду. Но вместе с тем он и теперь что-то печатал, что-то пересылал, что-то брал из партийной кассы для себя и окольничьих на жизнь: рублей по 30 или 50 в месяц.

Еще в ту пору, когда он находился в Кракове под арестом, лорд Китченер сделал свое нашумевшее предсказание: война продлится три года. В Швейцарии оно, разумеется, стало Ленину известным и произвело на него впечатление. Он ненавидел генералов почти так же, как ненавидел членов Второго Интернационала, но хороших специалистов ценил и к их мнениям прислушивался. Чувства у него были двойственные. Чем дольше продлится война, тем больше шансы революции. Но неужто три года ждать? Он мог умереть до этого, так революции и не дождавшись!

Ненависть, всегда занимавшая огромное место в его жизни, теперь просто переполняла его душу. Люди, даже самые преданные сторонники, становились ему все противнее,— почти все, кроме Инессы и жены. Этот резервуар ненависти он целиком перевез в Россию в 1917 году.

Нередко говорили и писали о нем позднее, будто он «в душе» был добр, будто хотел ограничить террор и прикрикивал на людей, злоупотреблявших казнями. То же самое когда-то говорили, и продолжают писать по сей день, о Робеспьере. В обоих случаях это было неверно. Оба они, в отличие от Сталина или Гитлера, иногда проявляли что-то отдаленно похожее на «гуманизм», на котором в молодости «воспитались» (то есть, часто о нем читали и болтали). Но это были исключительные случаи (не более частые, чем такие же, например, у Стеньки Разина). Чаще они прикрикивали на сподручных за «снисходительность». Так, в июне 1918 года Ленин продиктовал следующее письмо Зиновьеву («Также Лашевичу и другим членам ЦК»):

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Воло-

дарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, *тормозим* революционную инициативу масс, *вполне* правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего *решает*.

Привет! *Ленин.*»

Вероятно, испугался и за себя (хотя вообще не был боязлив). Разумеется, было бы не-воз-мож-но, чтобы кто-либо совершил покушение на его жизнь!

Окольничьи с полной готовностью исполнили его приказ о «массовидной» кровавой расправе. Редактор собрания его сочинений, в примечании к этому его письму, кратко и деловито добавляет: «За белый террор против большевиков по инициативе рабочих масс эсеры были подвергнуты красному террору и разгромлены во всех сколько-нибудь значительных пунктах центральной России».

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Февральскую революцию почти вся московская интеллигенция приняла с восторгом: отцы и деды мечтали, наконец сбылось! Простой же народ обрадовался гораздо искреннее, чем за три года до того войне.

В первое время в кругу Ласточкиных говорили, что и война теперь пойдет совершенно иначе: «Вложимся всем народом, доведем до победного конца, пришел конец немецким влияниям и придворным интригам!» Скоро, однако, о войне вообще стали говорить меньше и начинали чтение газет не с сообщений ставки, а с петербургских новостей. А еще немного позднее уже говорили: «Хоть бы поскорее кончилась эта проклятая, никому не нужная война!» Временным правительством в первые дни все очень восхищались. И только профессор Травников благодушно рассказывал анекдоты о новых министрах, как прежде рассказывал о царских.

— Конечно, все они замечательны, благородны, гениальны! — весело говорил он.— Даже читать приятно, хотя и скучновато. Ни одного «небезызвестного»! Прежде, если в газетах кого-нибудь называли «небезызвестным», то все понимали: значит, прохвост.

— Стыдно шутить, Никита Федорович. Они все действительно честнейшие люди и работают двадцать часов в сутки!

— Ох, столько не работают. Да и лучше работали бы поменьше, надо человеку и поспать и пообедать, даже если он герой и гений. Кстати, по поводу обедов: вчера в «Праге» подали такую еду, что я ушел голодный. А ведь еще недавно «море ядения и озеро пития разливашеся».

— Ничего, едва ли ушли голодным. А если и ушли, то Временное правительство в этом не виновато.

— Да вы не гневайтесь, Дмитрий Анатольевич. Но все-таки ведь я тоже не виноват. И еще кстати: позавчера у нас дворник потребовал расчета. Говорит: теперь свобода.

— Вы в душе крепостник, Никита Федорович, и у вас, верно, платили ему рублей восемь в месяц,— пошутила Татьяна Михайловна.— У нас никто расчета не потребовал. А если потребует, то опять-таки князь Львов в этом неповинен.

— Да я ничего не говорю. Конечно, они хорошие люди. Только уж очень все полевели. С радостью узнал, Дмитрий Анатольевич, что вам предлагают кандидатуру в Учредительное собрание.

Это было отчасти верно. Ласточкину говорили, что он пройдет в Учредительное собрание без затруднений, если примкнет к партии социалистов-революционеров. К ней тотчас примкнуло множество его друзей и знакомых. Но именно поэтому он записываться в партию не хотел; подумал, что́ сказали бы в «Русских Ведомостях», и остался «левее кадет». Зато совершенно искренне принял формулу «без аннексий и контрибуций».

Жизнь стала труднее. От поездок за границу Ласточкины за три года отвыкли. Теперь трудно было уехать и в Крым или на Кавказ, да и не очень хотелось. В начале лета они отправились, без особенных дел, в Петербург (который никогда не называли Петроградом; очень не одобряли эту перемену). Туда ездили все их друзья и тоже без особенных дел. Надо было «потолковать с Временным правительством». Друзья говорили, что Дмитрий Анатольевич мог бы стать товарищем министра; для участия в правительстве позиция «левее кадет» была тогда еще очень удобна. Татьяна Михайловна была решительно против этого: здоровье мужа не позволяло ему наваливать на себя правительственную деятельность. «Пусть они работают двадцать часов в сутки, и, конечно, спасибо им, но ты, Митя, не можешь. Помни, что сказал Плетнев».

«Потолковав», Дмитрий Анатольевич увидел, что больше ему делать в Петербурге нечего. Ему действительно предложили немалую должность. Он ответил, что не чувствует призвания к государственной работе. Это всех удивило: по-видимому, другие чувствовали. Ласточкин ответил искренно, но руководился преимущественно тем, что государственная работа, по его наблюдениям, велась плохо. «Что же они могут сделать в этом хаосе, даже если б они были гениями? А я во всяком случае не гений. И лебезить перед Советом я не мог бы. Не мог бы и сидеть между двух стульев»,— думал он. Без восторга согласился баллотироваться в Учредительное собрание, если его включат в список как беспартийного левого.

Рейхель, которого они по телефону известили о своем приезде, радостно пригласил их пообедать, еще радостнее предупредив, что обед будет отвратительный.

— ...Это ничего. Ведь Россия, слава Богу, освободилась от невыносимого царского гнета и благоденствует благодаря дорогим нам всем князю Львову, Керенскому, Нахамкесу и совету рабочих и собачьих депутатов! — кричал он в аппарат. «Видно стал уже совсем реакционером, если не черносотенцем!» — с досадой подумал Ласточкин.

Аркадий Васильевич жил на Васильевском острове, на одной из самых некрасивых улиц, в одном из самых безобразных домов. Его небольшая гостиная напоминала приемную зубного врача. Посредине на тощем коврике с цветочками, под огромной медной люстрой, стоял шатающийся столик, на нем были старые номера «Нивы» и две пепельницы: фаянсовые ослы с отверстиями в спине. Вокруг столика стояли неудобные стулья и кресло, обитые грязно-серым репсом; на одной стене висел непостижимо безобразный «гобелен» с нимфой, на другой, симметрично против нимфы, в золоченой раме плохая копия «Урока анатомии» Рембрандта. Были еще стенные часы с циферблатом в цветочках, тоже непостижимо безобразные.

Рейхель стал еще самоувереннее и еще гораздо озлобленнее, чем был. Татьяна Михайловна обратила внимание на то, что он внешне опустился. «Почти все люди с годами становятся небрежные в туалете. Только Митя и Алеша так же элегантны, как были. Но Аркадий совсем перестал собой заниматься». В самом деле воротник у Рейхеля был теперь грязен, вместо двух пуговиц на жилете торчали ниточки, одна пуговица на брюках была не застегнута,— он заметил это не сразу, незаметно застегнул и покраснел.

— Вы оба, конечно, в восторге от положения! — сказал он им с первых же слов за обедом.— Вы ведь годами в Москве на всех банкетах говорили: «На святой Руси петухи поют,— Будет скоро день на святой Руси». Вот и настал день, предвещенный всеми петухами, будь они трижды прокляты. Дожили до счастливого социалистического строя, а? Ведь ты, Митя, ждал всего самого лучшего от войны, правда? Теперь ты наверное ждешь всего самого лучшего от революции?

— Это неверно,— сказал Ласточкин, стараясь не раздражаться.— И давно известно: «Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe — Die der Mensch, der Vergängliche, baut?» [1]

---

[1] «Что замыслы, надежды, коль человек не вечен» *(нем.)*.

Кроме того, социалистического строя пока нет. И я далеко не в восторге от всего, что происходит.

— Неужели ты не в восторге? Быть не может! Но ведь вы хотели революции? Разве она не оправдала надежд лучшей части человечества?

— Иронизировать очень легко. А какая твоя положительная позиция?

— Моя положительная позиция: всех перевешать.

— Вот как? Это, конечно, программа. Кстати и не совсем осуществимая: где вы, почтенные господа контрреволюционеры, найдете для вашей программы силы?

— Это очень просто: надо открыть фронт. Пусть немцы наведут у нас порядок. Я давно вам говорил, что они непобедимы.

— Ты говорил, но твое предсказание, слава Богу, не осуществилось и не осуществится... Так ты вдобавок стал пораженцем? Как Ленин? — спросил Ласточкин уже не шутливо, а очень холодно.

— Ленин с его Нахамкесами умные люди. И что в том, что они пораженцы? Разве ты, Митя, не был пораженцем в пору войны с Японией?

— Не был.

— Будто? Я не знал. Значит, ты был исключеньем. Девяносто девять процентов нашей интеллигенции состояло из пораженцев. Да что война с Японией? Всегда так у нас было. Я теперь в лаборатории работаю очень мало: благодаря светлым умам товарищей, у нас больше ничего нет, простого эфира нет или не могу достать, потому что орудуют и спекулянты. Так вот я от безделья стал читать разные исторические книги. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, была, оказывается, настоящей пораженкой в царствование Анны Иоанновны. А Смутное время! Вы читали, Таня, «Юрия Милославского»? Вы ведь все такое читаете.

— Читала. Милый, но смешной роман. Подумать только, что это было написано одновременно с «Капитанской дочкой»! А еще говорят, будто время создает что-то общее между писателями.

— Меня очень позабавило, что там люди семнадцатого века тоже называют друг друга «товарищами» и «гражданами». Но я говорю не об этом. Помните, сколько там, да и у всех наших школьных Иловайских, написано о священном патриотическом восторге в армии князя Пожарского. А вот, по словам настоящего, знаменитого историка, келарь Авраам Палицын, когда приехал к князю, нашел

у него «мятежников, ласкателей и трапезолюбцев». Да, да, славны бубны за горами! — говорил Рейхель.

Его радостное настроение все увеличивалось в последнее время оттого, что дела шли плохо: «Все вышло именно так, как я предсказывал!» Собственно он не предсказывал ничего, но был уверен, что все заранее предвидел. Опасаясь, что дело идет к ссоре, Татьяна Михайловна перевела разговор. Сказала, что вино, кажется, очень хорошее.

— Да, оно из царских погребов, взгляните на этикетку,— радостно ответил Аркадий Васильевич.— Как вы помните, наш народ богоносец в дни великой бескровной разграбил Зимний дворец. Ваши друзья, разумеется, уверяли, будто он только уничтожал эмблемы ненавистного самодержавия. Я ни минуты и не сомневался, что они будут врать именно так. На самом деле богоносец просто разворовал все, что только мог. И вот три доблестных солдатика напились как свиньи, принесли и в наш дом бутылки из царского погреба и дешево продавали, всего по пять рублей штука.

— Они продавали краденое, а ты купил,— сказал, не сдержавшись, Ласточкин. Рейхель сделал вид, будто не расслышал.

— Надо было видеть морды этих солдатиков! — говорил он.— Ах, как я ненавижу народ! Теперь что? Пока только цветочки, а ягодки впереди. Сейчас еще, как видите, едим котлеты, и вино есть, а скоро будет голод, как в Смутное время в Кремле у поляков: там родственники убитых воинов вели между собой процессы: кто по степени родства имеет право съесть тело? Мы и до этого доживем. Буду с вами судиться, Таня, кому съесть Митю.

— Типун вам на язык, Аркадий! Гадко слышать все, что вы говорите! — сказала Татьяна Михайловна, очень рассердившись. Ей захотелось поскорее уйти от этого злобного человека, ставшего и вызывающе самодовольным. Такое же чувство испытывал и Дмитрий Анатольевич. Обед, действительно очень скудный, уже кончался. Рейхель объявил, что больше ничего нет.

— Кофе есть. Будем пить там,— сказал он, очень довольный раздражением своих гостей. В кабинете на письменном столе лежали книги. Не зная, о чем говорить, Ласточкин перелистал одну из них, номер русского ученого журнала. На полях были заметки, сделанные рукой Рейхеля: «Бездарная дубина!»... «Совершенный вздор!...»

— У тебя теперь много книг,— сказал Дмитрий Анатольевич.

— Купил гуртом за бесценок библиотеку одного прогоревшего либералишки, но оказалась в ней больше ерунда. Вот, видишь, читаю Толстого,— ответил Аркадий Васильевич, показывая на книгу в роскошном переплете.— Всегда я терпеть не мог этого старичка! Не от Маркса, а от него пошло у нас все, что теперь творится. Маркс это хоть понятнее, он был еврей. («Еще хорошо, что не сказал «жид»,— подумала Татьяна Михайловна.) А ваш Лев Николаевич называл себя христианином! В душе он был меньше христианин, чем я с Митей, меньше даже, чем вы, Таня, хотя вы еврейка по рождению. Он был в душе тот же Нахамкес. Впрочем, и весь наш народ не христианский, а языческий...

— Русский народ не христианский!

— Так точно, Митя. Да ваш Лев Николаевич сам это сказал. Вы не верите? — спросил Рейхель и, взяв книгу, открыл на заложенной странице. Там на полях тоже было отчеркнуто несколько строк: «Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которою он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон»,— прочел Рейхель с торжествующим видом, подняв указательный палец.— Разумеется, на этот раз яснополянский Нахамкес был прав. Умный был человек, это надо признать. Я теперь у него такие находки сделал! Вы читали его «Федора Кузьмича»? У него там император Александр испытывает половую похоть, читая письмо Аракчеева о том, как крепостные убили красавицу Настасью Минкину! Хорошо, а? Правда, у просветленного автора об этом добавлено: «Странно сказать» и пояснено, что Настасья была «удивительно чувственно красива». Хорошо? Вы опять не верите? Хотите, я разыщу? И заметьте, ничего такого об Александре наверное никто из историков и мемуаристов не говорил, даже враги не говорили, и никаким садистом он никогда не был, все, значит, от себя выдумал просветленный старичок... Да что вы оба сердитесь? Хорошо, поговорим о другом.

— Поговорим о другом в другой раз,— сказал Ласточкин.— Пожалуйста, извини нас, нам пора.

— Постой, постой, посидите еще... Ты, может быть, не хочешь говорить со мной о Толстом?

— Действительно не хочу.

— Ты всегда ему верил и веришь, а вот он тебе не поверил бы и вообще никому и ничему не верил. Я теперь все его шедевры прочитал. В «Войне и мире» секут солдата, и тот кричит «отчаянным, но *притворным* криком». Казалось бы, отчего человеку кричать притворным криком, если его секут? Правда, это был плохой солдат, вор. Оказывается, наши чудо-богатыри иногда и воровали, а? А вот в «Севастопольских рассказах» показан уже очень хороший солдат. Ему неприятельская бомба вырвала часть груди. Казалось бы, герой, смертельно ранен, у него, видишь ли, на лице «какое-то притворное страданье»! Хорошо, а? Никому боголюбивый старец не верил. Может быть, даже твоим князю Львову с Керенским не поверил бы, а? Воображаю, как он их возненавидел бы, если б дожил... Постойте, а Гоголь? Тоже хорош был лицемер! «Соотечественники! Я вас любил...» Никаких соотечественников он отроду не любил, все вранье!

— Я могла бы вас понять, Аркадий, если б вы ненавидели только революцию, вы всегда были человеком правых взглядов. Но теперь вы, оказывается, ненавидите в России все и всех!

— Вы, Таня, тут, быть может, не судья: вы все-таки не совсем русская, но...

— Фамилия «Рейхель» тоже не очень русская! — сказала Татьяна Михайловна. Лицо у нее покрылось пятнами. *Так* они до сих пор никогда не разговаривали. Аркадий Васильевич сам это почувствовал и положил холодную ладонь ей на руку.

— Не сердитесь, милая, вы знаете, что я вас всегда любил и люблю,— довольно искренно сказал он.— Но почему вообще надо непременно любить соотечественников? Мне какой-нибудь Роберт Кох в сто раз дороже не только Ленина и князя Львова, но и любого дивного русского мужичка, будь он там хоть расплатонкаратаев!.. А вот одна мысль у Гоголя очень правильна, я выписал.— Он взял из ящика тетрадку и прочел: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них поднимутся...» И тут не мог не соврать: вовсе он тогда не умирал, еще долго, слава Богу, прожил, и не стонал никак его состав, а сказал он верно: именно, мы — или, вернее, вы — сеяли семена страшилищ. Вот и радуйтесь!

— Я не радуюсь,— ответил Ласточкин.— И я готов признать нашу вину, но вина была не только наша. Другая сторона была виновата больше нас. Уж, пожалуйста, ты не уподобляйся майору Ковалеву того же Гоголя. Как ты помнишь, этот майор признавал, что в литературе можно ругать и поносить только обер-офицеров, а штаб-офицеров никак нельзя. Не забывай и штаб-офицеров, и не все было так прекрасно в прошлом,— сказал он вставая: хотел закончить шутливо тягостный разговор.— Ну, прощай, Аркаша.

— Да куда вы спешите? Я так рад поболтать с вами.

Больше они Рейхеля не видели.

— Надо признать факт: он нам чужой человек! Все, что он говорил, отвратительная передержка! — сказал в сердцах Ласточкин на пути в гостиницу.

— Да, к сожалению, ты прав. И все его озлобленье произошло от того, что его тогда не сделали директором института!

Как тут же было решено, часа за два до отъезда на вокзал, Дмитрий Анатольевич позвонил по телефону двоюродному брату. С облегченьем узнал от горничной, что его нет дома. Ласточкин сказал, что они по дороге на вокзал собирались заехать, очень жалеют и просят извинить.

В последние дни перед отъездом они из любопытства побывали на митингах. В цирке Модерн глава либеральной партии спокойно и деловито, не повышая голоса, доказывал необходимость присоединения к России проливов. Многотысячная толпа солдат возмущенно орала и легко могла его поднять за это на штыки. Дмитрий Анатольевич сокрушенно пожимал плечами. Татьяна Михайловна восхищалась мужеством оратора.

— Это верно, он совершенно бесстрашный человек,— ответил ей муж.— Но Дарданеллы всегда нам были совершенно не нужны, а теперь говорить о них это чистое безумие!

На другом митинге они видели и слышали Ленина. Он тоже их поразил.

— Просто какой-то снаряд бешенства и энергии! — сказала Татьяна Михайловна.

— Именно. Я такого никогда в жизни не видел! Это большая сила... И как это его никто не убивает! — неожиданно добавил Ласточкин. Жена взглянула на него с недоумением.

II

Люда не принимала никакого участия в революции 1917 года. Не могло быть и речи об ее возвращении в большевистскую партию: как почти вся русская интеллигенция, она крайне отрицательно относилась к делам Ленина. Еще три года тому назад узнала, что он хочет поражения России. Это вызвало у нее крайнее возмущенье. Теперь он вернулся в Россию через Германию, в пломбированном вагоне. Говорили, что большевистская партия получает деньги от немцев на дезорганизацию русской армии. Ей было стыдно, что она когда-то примыкала к большевикам.

Зачислиться в другую партию ей было неловко — по тем же приблизительно причинам, что и Ласточкину. К тому же, в отличие от него, ей никто ничего не предлагал. Она решила, что будет гораздо полезнее оставаться в кооперативном движении. Все же с некоторой завистью следила по газетам за шедшей в Петербурге политической работой. Некоторых ее участников она знала лично, они были лишь немного старше и, по ее мнению, не образованнее и не даровитее, чем она. Между тем теперь они занимали разные видные посты; были известны всей России,— особенно если примыкали к социалистам-революционерам. Имели большие шансы стать членами Учредительного собрания, в которое стремились решительно все.

Несмотря на дороговизну жизни, Люда из своего жалованья откладывала и скопила немало денег. Отдавала свои сбережения Дмитрию Анатольевичу — больше потому, что ей было лень устроить себе счет в банке. Ласточкин покупал для нее какие-то бумаги и часто говорил ей, что они очень поднимаются в цене. Люда узнавала об этом изумленно: «Вот тебе раз! Становлюсь капиталисткой!» Все же было приятно, что она теперь стала независимой, может и без всякой работы безбедно прожить года два, может после окончания войны поехать путешествовать за границу, пожить в Италии, в Испании.

Впрочем, она в мыслях не имела бросать службу и со временем. Отпуска по ней четвертый год не брала, и складывались отпускные недели, на которые она имела право. Ласточкины и год, и два тому назад убеждали ее съездить куда-либо отдохнуть, но она перед войной прожила недели две в Крыму и там, без знакомых, скучала. Когда в Москве становилось уж очень жарко, отправлялась ненадолго на дачу в Новое Кунцево и оттуда каждый день приезжала на службу; это отпуском не было. Однако,

к лету 1917 года Люда почувствовала настоящую усталость и решила на месяц или даже, если понравится, на шесть недель, съездить в Кисловодск: на Кавказе никогда не была.

Ласточкины в это лето не уезжали из-за общественных дел Дмитрия Анатольевича, но зимой до революции отдыхали в Ялте и собирались опять туда на Рождество.

— Надеюсь, у тебя, Людочка, найдутся в Кисловодске знакомые,— сказала Татьяна Михайловна. Люда, со смешанными чувствами, подумала о Джамбуле. Она с ним не переписывалась, вспоминала о нем мало и странно: вспоминала о каком-то *общем*, собирательном, очень похожем на него человеке (живой Джамбул уж очень менялся за три-четыре года их знакомства, встреч, связи). Так, Сезанн писал свои «натюр-морты» с *искусственных* цветов: живые слишком быстро, с каждым мигом, увядают. Люда и не знала, где теперь находится Джамбул: «Верно, в Тифлисе или у своих родичей, где это?» — подумала она: не помнила точно, как называется его земля: «все равно из Кисловодска проеду по их знаменитой Военно-Грузинской дороге, а оттуда рукой подать до Тифлиса, там, помнится, где-то и осетины, и ингуши, и другие кавказские мусульмане... Но и незачем мне с ним встречаться, ничего вообще больше в жизни не будет». Люда вздохнула. «А когда-то я думала, что главный интерес моей жизни в мужчинах. И слишком много о себе всю жизнь говорила... Теперь исправлюсь, да мало радости в этих исправленьях! Просто старею». Как у большинства людей, это было чуть не главным горем ее жизни.

Те деньги, которые она не отдавала Ласточкину, Люда хранила у себя в предпоследнем томе «Большой Энциклопедии» издательства «Просвещение», которую ей ко дню рождения подарили Ласточкины. Это было надежнее, чем ящик письменного стола. Ее библиотека уже состояла из трехсот томов; теперь она не только покупала, но и читала книги, имела полные собрания сочинений главных русских классиков. Выбрала именно предпоследний том словаря: «пусть вор все перебирает и вытряхивает!» Она никогда не знала, сколько именно денег у нее там находится. За два дня до отъезда достала вечером толстую книгу и сосчитала: было всего сто восемьдесят рублей ассигнациями; золото давным давно исчезло, чем Люда была скорее довольна: бумажки гораздо удобнее. «На сто восемьдесят далеко не уедешь. Надо взять у Мити не меньше тысячи».

Как раз в этот вечер ей позвонил по телефону (она давно имела телефон в своей маленькой квартире) дон Педро, теперь уже очень известный петербургский журналист. Он опять находился проездом в Москве.

— Еду отдохнуть на Кавказ. Просто замучен работой! Вы не можете себе представить, что такое моя работа в это проклятое революционное время! — сообщил Альфред Исаевич, впрочем, очень веселым голосом.

— На Кавказ! Наверное в Кисловодск? Как я рада! — сказала Люда искренно. Она любила Альфреда Исаевича, с ним было весело, он знал всех, мог ее познакомить с кем угодно.

— Нет, не в Кисловодск, а скорее в Ессентуки или в Пятигорск, еще не решил.

— Зачем в Пятигорск? Разве у вас нехорошая болезнь, Альфред Исаевич? — пошутила Люда.

— В Пятигорск ездят, могу вас уверить, отнюдь не только больные нехорошей болезнью,— сказал дон Педро недовольным тоном: он не любил скабрезных шуток, особенно со стороны дам.

— Едем лучше со мной в Кисловодск. А вы когда едете?.. Вы с женой?

— Нет, я один. Жена теперь отдыхает у родителей, в западном крае. Ей лечиться, слава Богу, не надо. Я впрочем тоже совершенно здоров. Сиротинин сказал, что сердце у меня, как у юноши, но все-таки надо пополоскать желудок водицей... Так вы едете в Кисловодск, это очень приятно. Когда же? Вы хотите лечиться?

— Нет, не лечиться, нема дурных. Еду послезавтра. Поедем вместе?

— Вас, Людмила Ивановна, я готов был бы ждать сколько угодно, но у меня уже на завтра место в спальном вагоне.

— Жаль. Я еду не в спальном вагоне. Дадут ли только завтра плацкарту?

— Я вам могу достать в два счета,— сказал Альфред Исаевич. Это было новое выраженье, или старое, забытое и вновь возродившееся, как выражение «пара слов», или «извиняюсь», которые не очень сведущие люди считали «одесскими».— Но заказана ли у вас комната в Кисловодске? Нет?.. Тогда вы ничего не достанете. Там все битком набито! Я телеграфировал Ганешину, и ни одной комнатки не нашлось даже для меня, хотя хозяин хорошо меня знает.

— В Кисловодске нет комнат? Это для меня неприятный сюрприз!

— Поедем лучше в Ессентуки? Пошлите мне туда телеграмму, я вам приготовлю комнату. Как жаль, что я не могу вас подождать,— галантно добавил дон Педро.

«В самом деле отчего бы не поехать туда?» — подумала Люда, отойдя от аппарата, и взглянула на великолепные стенные часы,— подарок Ласточкиных на новоселье. Она тоже делала им подарки, хотя не столь дорогие. «Еще, пожалуй, не поздно. Зайду к ним, вот и деньги возьму. Не стоит и звонить».

Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна обрадовались тому, что у Люды будет на Кавказе знакомый, да еще солидный и теперь влиятельный человек. На ее вопрос, сколько же ей взять у него денег, Ласточкин, подумав, ответил:

— Знаете что, милая? Возьмите у меня все. Теперь ведь и застрять можно. А кроме того, я опасаюсь, что ценности начнут падать. Даже удивительно, что они еще не упали.

— А мои ценности можно быстро продать?

Дмитрий Анатольевич засмеялся.

— Я сейчас подсчитаю и дам вам чек.

— Чек? — спросила Люда — Тогда надо будет мне пойти в банк и проделать там разные формальности?

— Необычайно сложные! Хорошо, я скажу в банке, чтобы артельщик доставил вам деньги на дом. Когда вы уезжаете?

— Послезавтра утром.

— Вот тебе раз! — сказала Татьяна Михайловна,— Значит, мы больше до твоего возвращения не увидимся? Мы ведь завтра утром с Митей уезжаем в «подмосковную» к Варваре Петровне и вернемся только в понедельник.

— Да, это досадно,— подтвердил Дмитрий Анатольевич.—Тогда ничего не поделаешь, берите чек. С чеком человеку получить деньги легко, а вот без чека труднее... Ох, дамы! . Я сейчас же сосчитаю,— добавил он, вставая.

— Так вы до зимы никуда не уедете, Танечка? — спросила Люда.— А то поехали бы тоже на Кавказ? Отлично бы там пожили, а?

— Не может богдыхан. Его рвут на части,— грустно сказала Татьяна Михайловна.— Боюсь, как бы все-таки не убедили стать министром. Скажи ему на прощанье и свое мнение. Ты ведь не спешишь сегодня?

— Не спешу, но долгие проводы, лишние слезы. Подумаешь, экая беда стать министром! Ты шутишь.

— Не шучу... Ты наверное вернешься даже не через месяц, а раньше. Соскучишься по своей квартирке.

— Не по квартирке. Уж очень я вас обоих люблю! — вдруг сказала Люда, хотя терпеть не могла «излияний».

— И мы оба тебя тоже. Очень!.. Подумать только, что мы когда-то были в «холодно-корректных отношениях»!

— Это была не твоя, а моя вина.

— И не твоя. Просто люди добреют с годами.

Дмитрий Анатольевич вернулся из кабинета и удивленно взглянул на дам. «Кажется, расчувствовались? Что бы это?» Он теперь почти всегда поглядывал на жену с беспричинным беспокойством, особенно когда она подходила к нему и его целовала.

— Вот вам, Людочка, расчет, а вот и чек. Я вас не обсчитал,— натянуто-весело сказал он.

— Митя, вы, верно, от себя прибавили! Не может быть, чтобы у меня образовалось так много!

— Даю вам слово, что не прибавил ни гроша.

— А если я все это потеряю или у меня вытащат?

— Постарайтесь, чтобы не вытащили. В Англии существует страхование против краж. Хотите, я вас застрахую? Вместо платы привезите мне олений рог для вина: вдруг буду где-нибудь на банкете «тамадой»,— «пей до дна!»... Ах, славное место Кисловодск. Помнишь, Таня, как мы там катались к замку Коварства и Любви?

— Помню,— сказала Татьяна Михайловна обиженно (точно она *могла* этого не помнить).

— А вас, Людочка, мы, значит, до сентября не увидим?

— Да, до сентября.

Они никак не могли думать, что видятся в последний раз в жизни.

III

Ленин, приехав после февральской революции из Швейцарии в Петербург, остановился с женой у своей сестры Анны Ильинишны в доме на Широкой улице. Сестра отвела ему комнату, в ней были две кровати, стол и платяной шкаф; по его просьбе, в шкафу были устроены полочки для книг. Больше ему ничего и не было нужно.

Возможно, что сестра была вначале рада гостю. Но речь, произнесенная им в вечер приезда, 4-го апреля.



«Самоубийство» (*Часть четвертая, IV*)



«Самоубийство» ***(Часть пятая, I)***

потрясшая его ближайших товарищей по партии, наверное перепугала и ее. В описании этой речи у случайного свидетеля Суханова сказано: «Приветствия-доклады, наконец, кончились. И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов,— носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников. Он потряс не только ораторским воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно-приветственной речи,— не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию».

Если о немедленном устройстве второй, уже социалистической, революции не думали в апреле 1917-го светочи партии, то никак не могла думать и Анна Ильинишна. Хотя о преследованиях, несмотря на проезд через Германию, тогда еще и речи быть не могло, она, вероятно, предпочла бы, чтобы ее брат поселился в другом месте. Дом был большой, было множество соседей, могли произойти неприятности, так как газеты уже писали о Ленине, печатали его фотографии и называли его крепкими словами. Ни соседи, ни сама Анна Ильинишна никак не предполагали, что речь перейдет в мировую историю и что Широкая улица со временем будет называться Ленинской. Большевики приняли старый обычай — придавать не всегда продолжительное бессмертие людям, называя их именем улицы.

Он тотчас принялся за работу. Теперь она была по духу той же, но совершенно другой по форме напряженности. От прежнего образа жизни ничего не осталось.

Было никак не до прогулок, не до окрестностей, не до велосипеда, ни даже до сплетен. Главная его работа заключалась в том, чтобы заставить партию идти за собой.

Никто из его товарищей вначале не собирался «захватить власть вооруженной рукой». Если б это можно было сделать не «вооруженной рукой», многие, разумеется, не возражали бы и в первые дни. Люди в большинстве были смелые, но в том, почти всеобщем, благодушно-радостном настроении, которое господствовало в столице после февраля, все революционеры предпочитали пожить более спокойно, отдохнуть от конспирации, арестов, ссылок, вести мирную борьбу с капиталистическим строем. Сам Джугашвили-Коба, уже довольно давно называвшийся

Сталиным, высказывался за соглашение с меньшевиками. Всеми было признано, что новая программа Ильича совершенно противоречит марксизму. Отсталая в промышленном отношении страна никак не может вдруг стать социалистической. Революция может быть только буржуазной, а строй, как это ни неприятно, пока останется капиталистическим. Будет созвано Учредительное собрание, и там, разумеется, большевики займут место на самом левом краю. Ленин же на партийных собраниях именно за такие мысли и такое настроение ругательски всех ругал. Ему возражали,— большинство мягко, почтительно, даже нежно. Про себя думали (иногда в смягченной форме и говорили), что Старик отстал за границей от русской жизни и ударился чуть ли не в анархизм, в бланкизм, в бакунизм, во «вспышкопускательство». Приводили цитаты из Маркса.

Он отвечал другими цитатами. Сам, как и прежде, по собственному его выражению, «советовался с Марксом», то есть его перечитывал. Неподходящих цитат старался не замечать, брал подходящие,— можно было найти любые. Маркс явно советовал устроить вооруженное восстание и вообще с ним во всем соглашался. Но и независимо от этого Ленин всем своим существом *чувствовал*, что другого такого случая не будет.

Он в самом деле отстал от русской жизни, да собственно никогда ее хорошо и не знал. Но одно ему было совершенно ясно: веками накопленный запас ненависти, злобы, жажды мщенья — огромная страшная сила. Если развязать ее, эта сила унесет все. «Но можно ли будет на ней и строить?» — спрашивал он себя и отвечал, что там будет видно.

Через много лет Троцкий сравнил его с Наполеоном. Император писал своему начальнику генерального штаба: «Нет человека более робкого, чем я, когда я разрабатываю военный план: я в мыслях преувеличиваю все опасности, все возможные катастрофы. Но когда мое решение принято, все забывается». Едва ли сравнение было верно. Ленин допускал, что октябрьское восстание может провалиться и что тогда их всех перевешают. Но в своем «плане» он с этим не считался. План — то есть, твердое решение устроить в России и в мире социальную революцию — был им принят в Швейцарии тотчас после того, как туда пришло сообщение о февральских событиях в Петербурге. А никакой сколько-нибудь серьезной «разработки» не было ни тогда, ни даже позднее. Да если б она была возможна и

показала, что план неосуществим, Ленин, в отличие от Наполеона, все равно от него не отказался бы. Наполеон разрабатывал планы отдельных кампаний; без каждой из них можно было бы и обойтись. Для Ленина же социальная революция была смыслом всей его жизни.

Правда, была еще *теория*. Именно в 1917 году он разработал или закончил свое странное, малопонятное, противоречивое учение о государстве. Он никогда не называл себя гением, говорил, что он только продолжатель дела Маркса. Но, вероятно, это свое учение считал гениальным продолжением. Оставил в 1917 году указание, что делать с рукописью в случае, если его убьют. Естественно, работу о том, удержат ли большевики государственную власть, в этом случае можно было бы и не перепечатывать.

Партийный бунт против него скоро начал стихать. Под его напором произошло невероятное: один за другим, хотя с сомненьями и колебаньями, на его сторону стали переходить главари партии. Вероятно, они сами этому удивлялись: не могли же в несколько дней или недель совершенно изменить весь свой привычный строй брошюрного мышления. В числе первых перешел к нему Сталин. Должно быть, очень жалел, что не сам он это придумал: разумеется, захват власти вооруженной рукой! Впрочем, понимал, что он все равно на роль главы правительства не вышел бы: ранг был не тот, его и знали еще очень мало.

Скоро захват власти стал задачей главных, за редкими исключеньями, партийных вождей. Но эта напряженная, грубая борьба с ними, хотя и завершившаяся победой, постоянные выступления на многолюдных митингах, непривычный образ жизни издергали нервы Ленина. Он стал чувствовать себя плохо как раз к намеченному восстанию. Разыграл кровавое дело 4-го июля новый большевик Троцкий — и разыграл плохо. Несмотря на слабость и неподготовленность Временного правительства восстание провалилось,— приходилось даже уверять, что его не было, что был разве лишь «смотр сил», что была правительственная провокация. Вожди повторяли это, хотя и знали, что лгут. В своей среде опять стали ругать Ильича; ох, опростоволосился Старик, пролетариат отшатнулся, теперь можно ждать всего, гидра реакции поднимет голову.

И действительно, все враждебные газеты, то есть, почти вся печать России, осыпали Ленина бранью и насмешками, требовали его ареста и предания суду. Полудрузья или бывшие друзья почти открыто злорадствова-

ли. Несколько растерялся и он сам. Собрался было «предстать перед судом»,— мысль для него почти непостижимая. Но его легко отговорили: укокошат, расстреляют или разорвут на улице! Особенно отговаривал Сталин: уж он-то нисколько не сомневался, что укокошат,— так, разумеется, поступил бы с врагами он сам и без малейшего колебания. Правительство отдало приказ об аресте Ленина.

Он скрылся, сбрил усы, надел парик и темные очки; перешел на нелегальное положение — как в 1905 году. Несколько дней скрывался у рабочего Аллилуева, потом где-то еще, затем — тоже как двенадцать лет тому назад — уехал в Финляндию.

Но эта нервная депрессия была чуть ли не последней в его жизни. Она скоро прошла, и в дальнейшем его ловкость, проницательность и всего больше волевой поток были необычайны.

Меры предосторожности он теперь принимал с достаточным основанием. В Петербурге его легко могли бы убить или даже разорвать на части: так его в те дни ненавидела громадная часть населения. Присяжные, вероятно, оправдали бы убийцу. Могли и выдать его за деньги добрые люди,— он теперь еще меньше верил людям, чем когда-либо прежде.

Ленин писал, что большевики захватят и удержат государственную власть. Был убежден, что в случае начального успеха сторонники хлынут к нему толпами, тысячами, миллионами. Он как-то сказал, что презрение к людям плохое свойство для государственного человека. Но верно потому и сказал это, что думал прямо противоположное. В этом отношении он мало отличался от Муссолини, Гитлера, Троцкого и уступал лишь одному Сталину.

О начинавшем карьеру Робеспьере граф Мирабо с удивлением заметил: «Этот человек далеко пойдет: он действительно верит во все то, что говорит!» О Ленине трудно было бы сказать это, трудно было бы сказать и обратное. Он сам не замечал, когда лжет, когда говорит правду. Вернее, все, что он говорил, ему обычно казалось правдой, а то, что говорили враги, то есть, не подчинявшиеся ему люди, всегда было ложью. Он не умел проверять свои чувства, да и нисколько не считал это нужным. И в те дни почти искренно считал себя «жертвой клеветы» и новым Дрейфусом.

Больше всего он теперь боялся, что воюющие стороны заключат между собой мир,— это было бы страшным, непоправимым ударом для его дела: главный его шанс, беско-

нечно более важный, чем все другие, был основан на стремлении к миру солдат. Летом 1917 года в Стокгольме должна была состояться конференция социалистов, ставивших себе целью окончание войны. Ленин написал за границу: «Я абсолютно против участия в Стокгольмской конференции. Выступление Каменева... я считаю верхом глупости, если не подлости... Я считаю участие в Стокгольмской конференции и во всякой иной вместе с министрами (и мерзавцами) Черновым, Церетели, Скобелевым и их партиями прямой изменой». Еще более грубой бранью осыпал западноевропейскую «министериабельную сволочь».

В Финляндии он мог жить более или менее безопасно. Но на всякий случай он теперь прятался и тут: почти не выходил на улицу. Грим, как всегда у всех, отражался на его душевном состоянии. Изредка конспиративно приезжала Крупская, сообщала ему новости и получала от него указания. Все его инструкции сводились к одному: вооруженное восстание. Он писал в столицу одно шифрованное письмо за другим. Его бешеные письма действовали на Центральный комитет сильно — и все же недостаточно.

Тормозили дело недавние любимцы, Зиновьев и Каменев. Они восстания не хотели. Ленин их люто возненавидел,— правда, ненадолго: в полное отличие от Сталина, злопамятен никогда не был, и всегда был готов прийти к дружескому соглашению с любым из людей, которых называл и считал «мерзавцами» и «сволочью»,— лишь бы этот человек вполне ему подчинился. Робеспьер не мог сказать и двух слов без «vertu». Ленин этого слова и не выговорил бы — не только потому, что в мире изменился литературный стиль: он просто не понимал, какая-такая «добродетель» и зачем она, если и существует? Разве можно делать революцию без мерзавцев?

Люди в Петербурге работали по его инструкциям. Все же работали другие, а не он сам. Очень не нравилось ему и настроение части Центрального комитета. И 7 октября он вернулся в Петербург. Поселился на Выборгской стороне, в многолюдном доме по Сердобольской улице, в квартире партийной работницы Фофановой: этой как будто можно было верить: не продаст,— разве уж, если предложат очень большую сумму? — нет, и тогда не продаст. Она смотрела на него влюбленными глазами. Перед его приездом отпустила свою горничную, сама покупала для него и готовила еду, исполняла его поручения. Кроме

жены и сестры, у него бывали только наиболее надежные из «связных». Всем им было указано, как стучать в дверь. Крупская принесла ему большой план Петербурга, он что-то размечал для восстания.

Единственное неудобство было в том, что Фофанову изредка посещал молодой племянник, никак не большевик,— чуть ли даже не юнкер. Было решено, что Ленин ни на какие звонки отвечать не будет.

IV

В Ессентуках была привольная жизнь, почти ничем, кроме дороговизны, не отличавшаяся от прежней. Кавказские горы понравились Люде еще больше, чем швейцарские. Альфред Исаевич, как всегда веселый, любезный, галантный, кое с кем ее познакомил. В пансионе жильцы заключили было соглашенье: о политике не говорить, а то леченье печени не поможет. Все же говорили. Большинство возмущалось «Преждевременным правительством», Люда его защищала, дон Педро занимал среднюю позицию: «Люди прекрасные, конечно, государственного опыта у них не хватает. Государственного опыта!» — внушительно объяснял он. Люда подтверждала: «Разумеется! Откуда же у них при царском строе мог бы взяться государственный опыт?» — «А если опыта нет, так не лезли бы! — сердито говорили другие,— и уже во всяком случае при царском строе война велась лучше. Калуша и Тарнополя не было! Присяжным поверенным надо заниматься адвокатурой, а промышленникам — промышленностью!» Альфред Исаевич разъяснял, что́ было верно в словах Люды, а что́ в словах других.

Он аккуратно пил воды, строго соблюдая предписания врача, к которому ходил два раза в неделю с бодрым и вместе озабоченным видом. После вод и прогулки, на веранде в парусиновом кресле, читал письма от жены, каждое перечитывал два-три раза. Затем читал петербургские и московские газеты: при этом ахал, пожимал плечами и что-то бормотал,— Люда всякий раз удивленно на него смотрела, иногда даже с испугом, если он ахал уж слишком громко:

— Может быть, убили Керенского, Альфред Исаевич? Или нашли и арестовали Ленина? Или Вильгельм покончил с собою? — спрашивала она. Он только нетерпеливо отмахивался и бормотал: «Что делается! Что делается!»

За обедом ему подавали диетические блюда, изготовлявшиеся по особому заказу. Вина он «временно не пил», что для него большим лишеньем не было. Толковал новости, обычно в оптимистическом духе. Сообщал сведения о действии вод, о своем весе, о словах врача.

Раза два они ездили в Кисловодск. Побывали также на месте дуэли Лермонтова. Дон Педро говорил, что Лермонтов был величайший поэт России после Пушкина, и очень ругал Мартынова,— «как только у него могла подняться рука на такого человека!»

Но совершить с Людой классическую поездку по Военно-Грузинской дороге Альфред Исаевич решительно отказался:

— Нет, дорогая, поезжайте одна. Вы, слава Богу, совершенно здоровы, а я тут все-таки лечусь. Доктор вчера сказал, что мне необходимы еще двенадцать соляно-щелочных номер четыре и пять серно-щелочных номер девятнадцать.

— Да плюньте вы и на соляно-щелочные и на серно-щелочные! Вы тоже совершенно здоровы, и все это одно надувательство!

— Профессор Сиротинин находит, что не надувательство, а вы, дорогая, говорите, что надувательство! И потом чего я не видел на вашей Военно-Грузинской дороге? Верю, верю, Дарьяльское ущелье — чудное ущелье, и Терек — чудная река, и горы там чудные, я знаю. Но разве здесь плохие горы? Разве Подкумок плохая река? И разве я не могу обойтись без царицы Тамары и ее замка? Кстати, кто она была? Злодейка?

— Напротив, мудрая героиня! По народному преданью, она теперь спит в золотой колыбели.

— Неужели? Ну, пусть спит в золотой колыбели и дальше,— согласился дон Педро.— Только я ради нее не согласен трястись два дня в экипаже и бросать для этого леченье. Доктор мне сказал: самое главное — регулярность.

Так он и не поехал. Люда решила отложить поездку до конца своего пребыванья в Ессентуках. Она немного облепилась. Кухня в пансионе была прекрасная, кахетинское вино тоже скрашивало жизнь. После завтрака она спала часа два; перестала заботиться о «линии», да и не очень полнела.

— А вы сколько же еще здесь пробудете, дорогая? — уже незадолго до своего отъезда спросил Альфред Исаевич.

— Мне торопиться некуда. И денег у меня впервые в жизни больше, чем достаточно.

— Больше, чем достаточно, никогда не бывает. Разве у Ротшильда? Но вы правы. Если б не газета, я тоже остался бы до половины октября. Ведь здесь рай земной, тишь да гладь, Божья благодать. А какой воздух!

— Кооператоры сами советовали мне не торопиться.

— Какой превосходный и культурнейший институт кооперация, я всегда это говорю! Посидите здесь до конца месяца. А зимой я вас навещу в Москве. Так было с вами здесь приятно!

— И мне тоже, Альфред Исаевич. Я вас аб-бажаю! — сказала Люда и вспомнила, что Джамбул когда-то на это отвечал: «Это надо доказать».

— Это совершенно взаимно,— осторожно-галантно ответил дон Педро.

Он уехал, но другие знакомые оставались. Погода была еще хорошая, и Люда решила остаться в Ессентуках до конца октября. Случился однако всемирный сюрприз. Как-то под вечер на водах распространился слух, что в Петербурге началось восстание,— большевики, будто бы, побеждают и могут прийти к власти! Это паники, впрочем, не вызвало: «Если и придут, то через неделю будут свергнуты и тогда их, наконец, перевешают!»

Люда хотела тотчас уехать в Москву, но знакомые отсоветовали: «Лучше переждите неделю-другую. Да теперь и не доедете. Говорят, поезда и до Ростова не доходят».

Неделя-другая затянулась. На водах уже существовал Совет рабочих и солдатских депутатов, хотя в Ессентуках не было ни рабочих, ни солдат. Этот совет получил сообщение из столиц и готовился к решительным действиям. Однако, ничего страшного еще не происходило. Жизнь в пансионе шла по-прежнему. Только кухня стала менее обильной, на столики в столовой больше не ставились цветы, и хозяин-доктор, подумав, убрал со стены портреты Достоевского и врача Нелюбина, когда-то изучившего и описавшего ессентукские воды (он был в мундире).

Возвращаясь в пансион к завтраку, Люда встретилась с человеком, лицо которого еще издали показалось ей знакомым. Он тоже на нее взглянул, очень учтиво поклонился и нерешительно к ней подошел:

— Извините меня. Вы, конечно, меня не узнаете? Я когда-то заходил к вам в Куоккала. Собственно не к вам, а к Джамбулу, но его не было дома, и я разговаривал с вами,— сказал он. Говорил с грузинским акцентом.

— Как же, как же! — радостно вспомнила Люда.— Вас тогда было трое.

— Так точно. Вы совершенно не изменились.

— Будто?.. Да, помню, отлично помню, вы заходили к Джамбулу... Вы сейчас спешите? Не хотите ли тут немного посидеть? Вот как раз и скамейка.

— Очень рад.

— Прежде всего, познакомимся по-настоящему,— сказала, садясь, Люда,— ведь мы друг друга и не знаем. Я Людмила Ивановна Никонова, теперь отдыхаю в Ессентуках, живу в Москве, работаю в кооперации. А вы кто?

Он назвал себя. Фамилия у него была на «швили».

— Я был в последние месяцы в Петрограде членом Национального Грузинского Комитета. Мы помещались на Фурштадтской, в доме, любезно, по соглашению, предоставленном нам графиней Софьей Владимировной Паниной,— сказал он, медленно и особенно отчетливо, с видимой заботой о точности, выговаривая каждое слово. Из того. что он назвал имя-отчество и даже титул графини, Люда заключила, что он во всяком случае не большевик. Ей и хотелось поскорее узнать о Джамбуле, и казалось не совсем удобным спросить с первых слов. Немного и боялась ответа.— Я здесь проездом в Тифлис.

— В Тифлис? Быть может, там увидите Джамбула?

Он посмотрел на нее удивленно.

— Джамбул давно живет в Турции.

— В Турции? — «Слава Богу, значит, все-таки жив!» — Что он делает в Турции?

— Занимается «земледелием и скотоводством», как писали о древних народах в школьных учебниках,—ответил, улыбаясь, новый знакомый.— Мы надеемся, что он к нам вернется.

— Извините меня, кто «мы»? Но прежде скажите, как ваше имя-отчество?

— Кита Ноевич... Пожалуйста, не сердитесь, если режу ваше русское ухо, и не смешивайте с гоголевским Кифой Мокиевичем... Вы, вероятно, знаете, что Грузия и другие кавказские земли теперь отдаляются от России. По крайней мере, впредь до Учредительного собрания и падения большевиков.— «Вот как?» — подумала Люда.— Я и хотел сказать, что, быть может, Джамбул согласится работать с нами на мирной ниве государственного строительства. Но это только мое пожелание. Беда не в том, что он давно стал турецким подданным: мы его тотчас приняли

бы в наше гражданство. Но не скрою от вас, он, по слухам, совершенно переменил убеждения и стал консерватором. Джамбул еще задолго до войны написал об этом той даме, с которой я к вам, если вы помните, являлся в Куоккала. «Душка этот Кита, но говорил бы скорее»,— подумала она.— И видите ли...

Он рассказал что́ тогда писал Джамбул. Люда слушала, разинув рот. «Джамбул — турецкий помещик! Консерватор и читает Коран!.. Той написал, а мне нет!..»

— Знаете что? — перебила она его.— Сейчас в моем пансионе завтрак, пойдем ко мне, а? Вы мне доставите большое удовольствие, а кухня у нас недурная. Сегодня пилав!

— Буду весьма рад и искренно благодарю вас за приглашенье. Я только сегодня приехал и именно шел в ресторан... Так вы ничего этого не знали?

— Решительно ничего,— ответила Люда. «Конечно, он не может не знать, что мы давно с Джамбулом разошлись».— Он мне не писал... Мой пансион в двух шагах отсюда, вон там на углу.

За завтраком он записал для Люды сложный адрес Джамбула, поговорил о политических делах, был очень мил и любезен.

— Вы твердо решили вернуться в Россию, Людмила Ивановна? Да как вы теперь туда проедете?

— Скоро все наладится.

— Не думаю, чтобы скоро. Все говорит за то, что большевики временно одержали победу...

— Ось лыхо!

— Разве вы украинка? — поспешно и как будто с радостью спросил Кита Ноевич:

— Нет, я великоросска. Что же это будет! Здесь мне делать нечего, и помимо всего прочего я не богачка.

— Здесь действительно делать нечего,— сказал он, подчеркнув слово «здесь». Спросил Люду, какую должность она занимала в кооперации, любит ли это дело, как относится к меньшевикам. Спросил, замужем ли она.

— Нет, я совершенно одинока. У меня и в Москве близких людей очень мало, только Ласточкины. Вы, верно, слышали о них!

Он действительно слышал о Дмитрии Анатольевиче и имел с ним общих знакомых.

— Повторяю, я не думаю, чтобы вы скоро могли вернуться к работе в России. Разве только, если вы скло-

ннтесь к большевикам? — спросил он, внимательно на нее глядя.

— Я? К большевикам? Никогда в жизни!

— Есть вдобавок основания опасаться, что кооперация в России скоро будет большевиками прикончена. А вот мы непременно ею займемся по-настоящему. Отчего бы вам не поработать у нас? Работа для вас нашлась бы... Вы удивлены? Почему же? Мы охотно будем предоставлять работу русским, не требуя от них принятия грузинского гражданства.

— Я действительно удивлена... И, разумеется, такое требованье было бы для меня совершенно неприемлемо.

— Я понимаю. Но мы, грузинские социал-демократы, очень терпимы. Лишь бы вы не были реакционеркой или грузинофобкой...

— Разумеется, я не реакционерка и не грузинофобка!

— Это все, что требуется. Не скрою от вас, я верно скоро получу у нас в Тифлисе должность. Может быть, и немалую, ввиду моего долгого стажа,— добавил он с улыбкой,— и я почти уверен, что легко нашел бы для вас работу. Подумайте. Я прекрасно понимаю, что такое решение сразу принять нельзя. Но если вы решите пока в Россию не возвращаться, то дайте мне знать, и я легко достану вам пропуск.

— Признаюсь, это очень для меня неожиданно.. Во всяком случае я вам искренно благодарна.

— Подумайте, осмотритесь. Отказаться вы можете и позднее.

— Это так. Я вам пока ничего ответить не могу... А как вы думаете, могла ли бы я написать Джамбулу?

— Разумеется, во время войны это невозможно: каким образом дошло бы письмо? Однако, война верно скоро кончится. У нас многие думают, что, как это ни печально, а Германия уже победила.

— Ну, это бабушка еще надвое сказала!

— Во всяком случае тотчас после окончания войны вам легко будет снестись с Джамбулом. Мы и сами, верно, тогда ему напишем. У нас его всегда очень ценили. Он мужественный, энергичный человек и был бы прекрасным работником.

— Конечно,— согласилась Люда. «Мужественный — бесспорно, а прекрасный работник едва ли, он лентяй»,— подумала она.

— Только вряд ли он согласится. Джамбул все правительства терпеть не может, и еще вдобавок слишком насмешлив. Он и не социалист, и не консерватор, а по природе анархист,— сказал он с улыбкой, наливая вина в бокалы.

V

В последние недели перед восстанием нервное напряжение у Ленина достигло предела. Он то писал распоряжения, то ходил по комнате, то лежал на диване, что-то про себя бормоча. Беспокойно прислушивался к шороху за стеной, за входной дверью. Пил большими глотками чай, оставлявшийся для него Фофановой.

Советоваться с Карлом Марксом было больше незачем: Маркс уже посоветовал. Работа над планом Петербурга надоела: пользы от нее мало. Он понимал, что восстание подготовлено плохо, хотя люди работали целый день. Военно-революционный комитет, непосредственно руководивший подготовкой, сам в точности не знал, да и не мог знать, какие вооруженные силы находятся в его распоряжении, на кого, на что можно рассчитывать более или менее твердо. Не было и плана, хотя бы такого, что бывает на войне у командующих войсками. В решительный день нужно было импровизировать в зависимости от обстоятельств. «Да, все «более или менее». Но ведь так всегда бывает с восстаниями,— отвечал он себе,— никогда не было революций, разыгрывающихся по нотам. Революция не маневры! И. конечно у них (он разумел Временное правительство) не предусмотрено и не подготовлено ровно ничего. Они даже еще не уверены, что мы готовим восстание!»

На митингах он не показывался: уж теперь погибнуть от пули или бомбы террориста было бы совсем глупо! «Тогда, разумеется, все пошло бы к черту. Даже и попыточки восстанья не было бы! Многие из наших спят и во сне видят, как бы похоронить это дельце, даже некоторые из тех, что будто бы идут за мной». В душе он, конечно, относился с насмешкой почти ко всем своим «сподвижникам», да и не мог относиться к ним иначе: все они, Рыков, Пятаков, Луначарский, Калинин, Молотов, Сталин, Бухарин, Стеклов пошли за ним не сразу; другие, во главе с Троцким, и большевиками стали со вчерашнего дня, а прежде были какие-то «интернационалисты» или как-то так, черт знает кто; мелкая сошка, вроде Ярославского,

еще совсем недавно сотрудничали с меньшевиками и проповедовали что-то либеральное, реформистское, совершенную ерунду. В лучшем случае, они просто ничего не поняли в революции; в худшем, просто трусили и не желали рисковать жизнью. «Могут и опять уйти в кусты! Троцкий, Сталин, правда, в кусты не уйдут, но их обоих в партии терпеть не могут. Вдобавок, оба инородцы. В партии и это есть, особенно антисемитизм. Социалистический строй — да, но пусть во главе стоит русский человек! Если меня укокошат, то уж все объявят, что восстание противоречит марксизму».

Сам он об уходе «в кусты» никак не думал. Все же у него порою скользили мысли, что нужно будет бежать за границу, если восстание провалится: и в этом случае, даже в мыслях для него непереносимом, партии был нужен вождь — для третьего восстания. «Делал же в эмиграции столько лет свое дело — и наполовину сделал, без меня и партии не было бы! Будут, конечно, издеваться, как Плеханов издевался двенадцать лет тому назад, а из него тогда еще песочек только начинал сыпаться. Да плевать мне, пусть издеваются».

Думал и о том, что будет делать после успеха: каких людей возьмет в правительство? Зная, что выбор невелик, предполагал не отказываться ни от кого. «Конечно, возьму Зиновьева и Каменева, черт с ними! Струсили, но после победы расхрабрятся. Не сразу, а погодя дам им какие-нибудь «портфели». Это слово всегда его забавляло; он знал, каким обаянием оно пользуется среди людей: «Был всю жизнь адвокатишкой или маклером — и вдруг министр!..» Пьянице Рыкову дам внутренние дела. Болвану Луначарскому народное просвещенье, то-то будет нести ерунду и поощрять искусства, в которых он смыслит не больше моего. Для Сталина создам министерство по делам национальностей, он туповатый человечек, но в этом разбирается, если ему несколько раз объяснить, что нужно делать. Троцкий? Этот пусть берет что хочет. Умный человек и способный. Везде будет «блеск», а кое-где, может, будет и толк. Всю жизнь он хотел быть первым, но не в деревне, а именно в Риме. Ничего, пусть будет вторым в Риме. Он потому ко мне и примкнул, что понял: «С одними интернационалистами кашки не сваришь, *такой* кашки! — «Ничего не поделаешь, примкну к проклятому Ленину!» — В ближайшие дни «блеск» покажет большой, только за этот «блеск» его все будут ненавидеть еще больше. Конечно, будет жестокая гражданская война, туда сунем Крыленко,

Овсеенко, Дыбенко, если пойдет. Они хоть не трусишки. У всех трех фамилии на «ко», будут путать... Все равно и гражданской войной придется руководить мне. Я в военных делах ничего не понимаю, но и другие не понимают, как-нибудь научимся, глупее Полковниковых не будем... Если левые эсеры примажутся, дадим что-нибудь и им, хоть они уж все совершенные дубины. «Портфель» и их зачарует, даже с некоторым риском виселицы: «От виселицы успею во время ускользнуть, буду за границей «бывший министр». Да, люди найдутся, ничем не хуже западных умниц».

Насчет себя он и не сомневался: вся власть будет у него. Ни о каком другом кандидате в партии и мысль не могла возникнуть. Он предполагал придать своей единоличной власти вид какого-то коллектива. После переворота скромно отказывался от должности главы правительства. Так же поступал и Робеспьер: в своих интимных бумагах, найденных после его казни, прямо говорил, что нужна единоличная воля (разумеется, его собственная). Но когда Сен-Жюст назвал его кандидатуру в диктаторы, отказывался еще более скромно: зачем же непременно он? есть гораздо более достойные кандидаты. Но скучные обязанности по представительству Ленин исполнять не желал. «Пусть болванов-послов принимает Калинин. Свердлов был бы лучше, он грамотнее. Но опять еврей... Подумаем».

Кое-какие люди были. Неизмеримо лучше была программа: земля крестьянам, заводы рабочим и, главное, немедленный конец войны. «И как только эти людишки не поняли, что против этой программы они устоять не могут! — думал он, опять разумея Временное правительство.— Хорошо, что ничего не понимают. «Война до победного конца». «Вопрос о земле разрешит Учредительное собрание»,— с наслаждением думал он.— Ну, ладно, а что, если все-таки убьют?» — Жизнью особенно не дорожил: погибнуть теперь было совершенно не то, что умереть с год тому назад: все-таки сделана первая в мировой истории попытка настоящей социалистической революции. Парижская Коммуна в счет не идет. Великий опыт будет и в случае провала. История этого не забудет. Печать будет поливать грязью. Впрочем Горький напишет порицательно-снисходительно-сочувственную статейку: «Ошибался Ильич, ошибался, но пОнимаете, был фанатик».— Он благодушно представил себе Горького, с его говорком на «о». Никакой социальной революции он не хочет и не может хотеть: сам богатый буржуй. Проповедует, конечно, но

так: когда-нибудь да может быть. Квартирка же на Кронверкском хорошая вещь, это тебе не будущее. Ничего не понимает,— но, «пОнимаете, Ильич был бóльшой человек». Другие будут говорить «собаке собачья смерть», а он хоть этого не скажет. Напишет, напишет статейку, Суханов как-нибудь поможет... В общем, кроме Нади, никто особенно плакать не будет». «Инесса!» — вдруг тоскливо подумал он.

Из передней послышался звонок. Ленин ахнул: «полиция!» Быстро поднялся с дивана, на цыпочках пробрался в переднюю и прислушался. Звонок повторился в другой, в третий раз. Затем раздался стук в дверь, но не тот, который был условлен. «Так и есть, полицейские!»

— Тетя... Маргарита Васильевна... Вы дома? — с недоумением спросил звонивший; молодой человек услышал за дверью шорох.

Отлегло.

— Маргариты Васильевны нет дома,— ответил Ленин, не подумав. Изменил голос.

— Пожалуйста, отворите... Я только на минуту, оставлю ей записочку... Она нескоро придет?

Не отвечая, он вернулся в кабинет: «Нельзя ответить...» Молодой человек опять позвонил с еще большим недоумением. Затем поспешно спустился по лестнице. Внизу он встретил возвращавшуюся Фофанову.

— Тетушка, не подымайтесь! У вас в квартире грабитель!

— Какой грабитель! Что ты говоришь?

Он сообщил, что долго звонил и стучал, кто-то подкрался, наконец, к двери, что-то сказал, но двери так и не отворил.

— Вот что! Я бегу в участок! Попросите соседей, чтобы покараулили на площадке, а то он удерет!

— Да что ты! Какой грабитель! Никакого грабителя! У меня знакомый сидит, я его на минуту оставила, а он...

— Да почему же этот господин не отворяет?

Она долго сбивчиво что-то ему объясняла: просила этого старичка не отворять никому, потому что... Молодой человек слушал с некоторым удивлением.

— Ну, слава Богу, а то, ей-Богу, подумал, что грабитель. Хорошо, что не привел городового или как их там теперь зовут.

— Действительно хорошо! А ты чего хотел, родной мой?

— Просто хотел вас навестить, да и дельце маленькое есть,— ответил он.— Очень спешу.

— Если спешишь, что ж делать? Не зову.

— Чайку, пожалуй, выпил бы. Да у вас, тетя, верно сахару нет?

— Ох, нет, ничего нет,— солгала она.— Чего же ты хотел, голубчик?

Он изложил дело, простился и ушел, не без лукавства попросив «кланяться старичку».

Фофанова вздохнула свободно. «Как же это Ильич откликнулся! Могло все пропасть, если б пришла полиция!» — поднимаясь по лестнице, думала она с радостным изумлением. Увидев ее, Ленин расхохотался.

— Сюрпризик! Приходил ваш племянничек!

— Знаю, я его встретила... Да как же вы смеетесь, Ильич! Ведь из-за этой случайности могла сорваться вся революция!

— Не могла, никак не могла, Маргарита Васильевна,— говорил он, продолжая хохотать заразительным смехом.— Нет случайностей, есть только законы истории.

Десятого октября он, загримировавшись еще тщательнее, чем всегда, выехал на решающее конспиративное заседание. Оно могло бы оказаться одним из бесчисленных в его жизни заседаний, не имевших никаких последствий; но случайности сложились так, что оно оказалось, быть может, самым важным, самым значительным по последствиям, заседанием в мировой истории. Продолжалось оно десять часов. Было двенадцать человек. Пили чай, закусывали бутербродами.

Говорил, главным образом, Ленин. Он доказывал, что Временное правительство собирается открыть фронт и сдать немцам Петербург. Доказывал, что союзники намерены скоро заключить мир с немцами и совместно с ними задушить русскую революцию. Доказывал, что как только большевики захватят власть в России, на Западе вспыхнет восстание, и мировой пролетариат придет на помощь их партии. Все это было неправдой, и со своей проницательностью он не мог этого не понимать. Понимали ли слушатели? Должно быть, одни ему верили, другие догадывались, что он лжет, но думали, что теперь уж необходимо за ним идти; отступать поздно, нервы не выдержат, надо положить делу конец. Спорили только Каменев и Зиновьев, они были против вооруженного переворота и не надеялись

на успешный исход. Один из участников совещания впоследствии говорил о страстных импровизациях Ленина, внушавших людям веру и волю. Вероятно, говорил правду. Была тут доля и почти гипнотического внушения. Все подчинились: было принято и записано решение произвести через две недели, 25 октября, государственный переворот.

VI

Муссолини уже был очень известным человеком в Италии. О нем иногда писали и в иностранных газетах.

До начала мировой войны он оставался революционером и крайним антимилитаристом. Последнюю антимилитаристскую речь произнес месяца за два до того, как война началась. Но уже давно чувствовал, что может защищать какие угодно политические взгляды. Так и велел Макиавелли. Впрочем, об этом он думал мало. Только радостно сознавал, что его переполняет воля к борьбе, все равно к какой. Победа должна была прийти,— просто не могла не прийти. Нужен был только благоприятный случай.

Этот случай, наконец, создался. Летом 1914 года.

Он ушел из социалистической газеты «Аванти», или его заставили оттуда уйти. Теперь и колебаний больше быть не могло. Если б социалисты и одержали победу, она ему обещала немногое: главарями оказались бы все эти ничтожные Турати, Модильяни, Тревесы, давно занимавшие в партии огромное положение; они его терпеть не могли и в лучшем случае бросили бы ему какую-нибудь обглоданную кость. Не это ему было нужно.

В основанной им газете «Пополо д'Италиа» он страстно требовал, чтобы итальянское правительство объявило войну центральным державам. Враги обвинили его в продажности: подкуплен Францией, иначе быть не может! Говорить можно было что угодно, доказать, как всегда в таких случаях, было очень трудно. Через четверть века, в 1940 году, французскому правительству было бы выгодно объявить, что оно в свое время его подкупило. Но оно и тогда такого сообщения не сделало.

Его призвали в армию. Те же враги неизменно твердили, что он трус. Это было само по себе неправдоподобно; едва ли вообще когда-либо из трусов выходили диктаторы: слишком опасное ремесло. Во всяком случае, воевал он храбро: дослужился лишь до чина капрала, но скорее всего

только потому, что военные власти не решались произвести его в офицеры: так свежи у них в памяти были его недавние речи и статьи.

В феврале 1917 года он был тяжело ранен осколком разорвавшейся итальянской мортиры. В больнице его посетил король,— это означало многое для его карьеры. Поправившись, он снова стал редактировать созданную им газету. Приходил в редакцию на костылях и писал воинственные статьи. Опасался покушений со стороны врагов, и редакционный кабинет у него был довольно необычный: на письменном столе, рядом с томами Кардуччи и Гейне лежали револьвер, кинжал и несколько ручных гранат.

В России произошел октябрьский переворот.

Чувства у Муссолини были смешанные. Вернуться к прежним взглядам было бы невозможно. Через много лет его вдова, в своей книге «Моя жизнь с Бенито», писала, что когда-то в Швейцарии ее муж посещал Ленина,— он сам ей об этом рассказывал. Быть может, привирал и в рассказах жене,— уж очень это было эффектно: два бедных мало известных эмигранта беседуют в убогой комнатке, это Муссолини и Ленин,— сюжет для глубоких размышлений и для исторической картины. Как бы то ни было, и позднее Дуче чрезвычайно почитал вождя большевиков; так Гитлер в частных разговорах восхищался Троцким, Сталин Гитлером, и почти все диктаторы друг другом.

Тем не менее он не знал, с какой стороны обойти большевиков. Иногда обходил как будто справа и, как какой-нибудь либерал, писал: «В России Ленина есть только одна власть: его власть. Есть только одна свобода: его свобода. Есть только одно мнение: его мнение. Есть только один закон: его закон». Мог писать это только с мучительной завистью. «Ничего, придет и мое время». Но иногда обходил Ленина и слева и доказывал, что никакого социализма в России нет, что большевики обыкновенная реакционная партия. Внимательно за ними следил, учился и многому научился. По существу же был с Лениным не согласен: очень трудно построить социалистическое общество, слишком могущественные силы против него ополчатся, можно найти и более легкий путь к неограниченной власти. Надо привлечь богатых людей, ни в каком случае не теряя бедных.

С колебаньями он обдумывал свой путь. Все кампании против Бога навсегда прекратить: от них гораздо больше вреда, чем пользы. Впрочем, это начал делать уже давно;

позднее извлекал из книжных магазинов и уничтожал свои старые богохульные писанья. С королем, если только окажется возможным, поладить: монархический принцип еще немалая сила, и можно награждать людей титулами, это и денег не стоит; а король покладистый человек, вот и в больнице навестил и говорил сочувственные слова, и ему решительно все — все равно, пусть же сохраняет корону и занимается нумизматикой. И надо, непременно надо придумать для *своего* движения, для *своего* учения хорошее, звучное, запоминающееся слово, лучше всего такое, какое было бы связано с древним Римом. Оно и было найдено. Явилась первая большая мысль. Второй было применение касторового масла в борьбе с противниками.

VII

Романист, который пожелает «дать грандиозную, всеохватывающую картину октябрьского переворота», вероятно, введет и в Зимний дворец, и в Смольный институт, и в Петропавловскую крепость, и в комитеты, и в казармы, и в уличную толпу вымышленных им людей. Будут образы: большевик-фанатик; рабочий, всю жизнь голодавший и ненавидящий капиталистический строй; юноша-идеалист, юнкер или прапорщик запаса; готовый на все авантюрист-честолюбец; добрая, но яростная меньшевичка или народница в очках, выкуривающая сто папирос в день и страстно спорящая о политике до поздней ночи; приехавший с фронта боевой израненный офицер, готовый из патриотизма защищать Временное правительство: хороший капиталист-патриот; нехороший капиталист, наживающийся на чужой крови и т. д. Все это будет более или менее верно: такие люди действительно участвовали в октябрьских событиях. Но картина будущего романиста, этих событий не видевшего, верной не будет: он исказит перспективу и выдаст за целое сумму очень небольших величин, составляющую очень небольшую его часть. Главное было не в этих величинах. Подавляющим по значению должен был бы быть один простой, довольно неблагодарный, образ в разных возможных вариантах: солдат, больше не желающий воевать.

Ленин очень кратко сказал: «Революция есть искусство». Позднее Троцкий развивал эту мысль на десятках страниц. Если тут и есть некоторая правда, то во всяком случае это искусство элементарное.

Не все распоряжения Военно-революционного комитета в октябрьском хаосе были осмысленны и целесообразны с точки зрения сторонников переворота; не все распоряжения Временного правительства были бессмысленны и нецелесообразны с противоположной точки зрения. Но, в общем, представление о том, что нужно делать, было бы ясно любому грамотному человеку. Троцкому, Подвойскому или фельдшеру Лазимиру не требовалось революционного гения, чтобы понять, как важно захватить Петропавловскую крепость, Зимний дворец, вокзалы, банки, телеграфную и телефонную станцию. Полковникам Полковникову или Параделову не требовалось военного гения, чтобы понять, как необходимо эти пункты отстоять. И те, и другие посылали туда вооруженные отряды, иногда с добавлением небольшого числа рабочих или интеллигентов или полуинтеллигентов. Делали в сущности одно и то же. Быть может и даже наверное, большевики проявили больше ума и энергии, чем их противники. Но главное было не в этом, а в том, что громадную часть вооруженных сил Временного правительства можно было в октябре называть вооруженными силами разве в шутку.

Разумеется, это легко передать и пышными, учеными, социологическими словами. Можно сказать, и сто раз говорилось, что Ленин гениально прозрел путь, по которому, в силу своих законов, пойдет история (почему-то прозрел в отношении России и совершенно не прозрел в отношении западного мира). Но нет ничего обманчивее ученых слов, особенно пышных.

Вопреки всем большевистским теориям, предсказаниям и историческим реляциям, пролетариат сыграл в октябрьских событиях довольно скромную роль. Неизмеримо важнее была роль солдат и матросов. Они твердо знали, чего прежде всего хотят: прежде всего хотели немедленного конца войны. А это обещали именно большевики и только они. «Надежные части», отправлявшиеся Полковниковым в «важные стратегические пункты города», переходили, подумав, на сторону восставших или решали «сохранять нейтралитет». Так, без малейшего сопротивления были «взяты» большевистскими солдатами и матросами и Николаевский вокзал, и крепость, и Государственный банк, и арсенал, и телефонная станция и другие учреждения, охранявшиеся значительными отрядами войск, «верных Временному правительству». И в третьем часу дня Троцкий от имени Военно-революционного комитета с торжеством объявил Петербургскому Совету, что Вре-

менное правительство больше не существует. Добавил: «Нам неизвестно ни об единой человеческой жертве». Это было преувеличением, но довольно близким к истине. Октябрьский переворот повлек за собой самые кровавые годы в мировой истории. Но сам по себе день 25 октября действительно был «великим, бескровным»: другой такой революции, пожалуй, история и не знает.

Шел Съезд Советов.

Актовый зал Смольного института был переполнен. Преобладали солдаты в шинелях. Они все время орали. Сами не очень понимали, что́ кричат и зачем,— больше ободряли себя криками. На трибуне сменялись ораторы и тоже что-то выкрикивали охрипшими голосами. В диком шуме, в общей растерянности, в атмосфере лагеря тушинского вора, их понимали плохо. Слушатели не сразу догадывались, кто «хороший», кто «нехороший». Но не поднимали на штыки и нехороших: меньшевиков и социалистов-революционеров. Им только орали: «Вон!»... «Долой!»... «Бандит!»...

Издали донеслась пальба,— не пулеметная, а артиллерийская. В первую минуту началась паника: Керенский привел с фронта войска! Еще немного — и толпа бросилась бы бежать. Но с трибуны один из «хороших», обладавший громоподобным голосом, прокричал, что это *наш*, большевистский крейсер «Аврора» палит с Невы по Зимнему дворцу, в котором укрылись министры-капиталисты, контрреволюционеры и всякая другая сволочь. Сообщение было покрыто долгой овацией. Был тот энтузиазм, который обычно бывает при революциях: частью подлинный, частью притворный, частью подлинный, усиленный притворным. О Керенском весь день передавались противоречивые слухи: «Бежал в Финляндию!»... «Уехал на фронт за войсками!»... «Укрылся в английском посольстве!»... «Подходит с красновскими казаками!»... И при всех этих вестях почти у всех вставал вопрос: «Что же будет? Что мне делать? Не скрыться ли? Или быть героем?..» Были впрочем и люди, в самом деле решившие драться до конца за новый строй. Но они наверное составляли меньшинство и в толпе, и на трибуне.

Те, кого большевики презрительно называли «мягкотелыми интеллигентами», тоже не знали, что делать. Многие из них уже ясно видели, что разбиты. «Временно? Надолго? Навсегда...» Над болью от поражения теперь пре-

обладала боль за идею, за Россию. Лучшие из этих людей не были лишены способности оглядываться на себя и признавать свои ошибки. «Только немедленный мир успокоил бы эту солдатскую стихию. Но могли ли мы, *как* могли мы заключить мир? Ведь война *могла* кончиться летом и на Западном фронте победой союзников, нашей общей победой. Тогда со всеми нашими и чужими ошибками мы могли победить в этой чертовой лотерее, и ничего от большевиков не осталось бы, и спаслась бы Россия!..»

В сопровождении наиболее надежных «связных», Ленин под вечер 24-го октября, выбритый, в парике и темных очках, незаметно вошел в Смольный институт. Так же незаметно его проводили во второй этаж и ввели в небольшую комнату. На двери висела эмалированная дощечка с надписью «Классная дама». Он сел за маленький письменный стол, на котором под абажуром горела старенькая лампа, когда-то керосиновая, потом переделанная в электрическую. «Связные» сообщали ему новости. Он отдавал приказания, которые, впрочем, никакого значенья не имели: положение в разных концах столицы менялось даже не каждый час, а каждую минуту. Писал или правил декреты о земле, о мире. Иногда нервно ходил взад и вперед по комнате. Иногда садился в кресло у овального столика,— за ним много лет классные дамы пили чай или делали наставленья провинившимся воспитанницам. Иногда выходил из комнаты и старался незамеченным пройти в пустой неосвещенный зал, расположенный недалеко от Актового. Некоторые из врагов неуверенно его узнавали под гримом и, вероятно, смотрели на него так, как у Этны Улисс смотрел на циклопа Полифема, собиравшегося его съесть.

В зале на пол бросили для него тюфяк. Он то ложился, то вскакивал и бегал из угла в угол. Режиссеры спектакля находили, что Ильичу следует войти в Актовый зал лишь после того, как выяснится главный, основной вопрос: придут ли с фронта правительственные войска? Он с этим согласился: его появление в Актовом зале должно было стать самым важным моментом восстания, знаком полной победы.

И, наконец, пришло известие: Зимний дворец пал, все бывшие в нем министры Временного правительства схвачены и отправлены в Петропавловскую крепость. На три-

буну устремилось сразу несколько человек с громовыми голосами. Одновременно, мешая один другому, они сообщили новость. Поднялся энтузиазм уже почти непритворный. Разве только немногие из сторонников восстания думали, что может выйти комом не первый, а второй или третий блин. Мягкотелые интеллигенты быстро направились к выходу. Толпа провожала их улюлюканьем, свистом, хохотом, криками: «В Петропавловку!»... «На «Аврору!»... «В Неву!»...

Долго подготовлявшийся эффект наступил.

Он вбежал маленькими шажками в Актовый зал. В первые секунды его и не узнали. Многие солдаты вообще никогда не видали этого человека, о котором им твердили каждый день на фронте и в тылу. Другие видели его на старых фотографиях, с бородой, лысого, без очков. Вдруг кто-то проревел диким голосом: «Ленин!»... В ту же секунду загремели рукоплесканья, каких еще не слышал этот старый зал. Они все росли и крепли,— действительно, дрожали окна. Теперь восторг был уж совершенно неподдельный: ведь *этот* все задумал, *этот* все предвидел, за *этим* не пропадешь!

Не обращая внимания на бесновавшуюся толпу, он взбежал на трибуну, снял темные очки, замигал. Разложил перед собой листки декретов и вцепился крепко в края стола; дошел, больше не уйду! Рукоплесканья усилились до последнего предела, потом стали стихать, оборвались. Настала совершенная тишина. Он сказал:

— Теперь мы займемся социалистическим строительством.

Даже не воскликнул, а именно сказал. Об эффекте и не подумал. Но, вероятно, «народные трибуны» не без зависти подумали, что лучшего эффекта никто не мог бы изобрести.

VIII

Ласточкины после октябрьского переворота чувствовали себя почти так, как мог бы себя чувствовать человек, проживший жизнь в эвклидовском мире и внезапно попавший в мир геометрии Лобачевского.

Прежде была уверенность, что они не могут попасть в тюрьму или быть безнаказанно ограбленными или выброшенными из квартиры на улицу. Теперь это происходило каждый день с людьми их круга, не больше, чем они, виновными в чем бы то ни было; могло в любой день случить-

и с ними. Вдобавок, Дмитрий Анатольевич остался без всякого дела; надо было придумывать, чем заполнить двадцать четыре часа в сутки.

Правда, обмен мненьями продолжался и даже — в первые недели — участился. На людях всем теперь было легче. Образовался Союз защиты Учредительного собрания. Принимались разные, не очень серьезные, меры предосторожности. Он несколько недоумевал: еще недавно считалось, что Учредительное собрание — «державный хозяин земли русской»; оно должно все устроить. Теперь оказывалось, что этого державного хозяина самого должна каким-то способом защищать кучка членов нового Союза. Тем не менее все уверяли, что Учредительное собрание тотчас свергнет большевиков: «Скоро кончится вся эта гнусная комедия! И не может не кончиться: разве это дурачье может быть правительством! Такого с сотворения мира никогда не было!» Знаменитый оратор прочел в тесном кругу доклад, и на вопрос, что будет, если разгонят Учредительное собрание, воскликнул: «Самая мысль об этом есть кощунство и хула на Духа Святого! Весь народ русский, как один человек, встанет на защиту того, о чем он мечтал сто лет!» Хотя оратор воскликнул это оглушительным голосом. рукоплескания вышли жидкие. В конце 1917-го года люди уже потеряли охоту к рукоплесканиям.

Дмитрий Анатольевич вздохнул. Он недолюбливал этого оратора, особенностями которого считал несколько странный слог, неумеренную склонность к крику и мощные голосовые связки. «А вот есть ли у него *настоящая*, непоколебимая вера в свою идею, вот в это самое Учредительное собрание? Та вера, которая, быть может, еще есть в их идею у некоторых большевиков? Та, какая была когда-то у монархистов? Вот Мария-Антуанетта в тюрьме, через минуту после казни мужа, склонилась перед своим восьмилетним сыном и назвала его французским королем. Нам это кажется непонятным и неестественным, но должно быть, в этом была какая-то *королевская естественность*, и уж во всяком случае у Марии-Антуанетты и сомнений в своей идее не было, даже в ту минуту, ужасную и для нее и для идеи».

Учредительное собрание было разогнано. Заседания Союза стали устраиваться реже, и на них приходило меньше людей. Приходившие отводили душу и говорили все одно и то же. Многие подумывали, как пробраться на юг для продолжения борьбы с большевиками. Ласточкин думал, что *продолжать* борьбу он не может, так как никогда

ее не вел. «Да и эти люди, которых Нина когда-то называла «борцами за идеалы», уезжают в Киев больше для того, чтобы отдохнуть от голода и страха». Дмитрий Анатольевич с удивлением и горечью замечал, что впервые в жизни мысли у него становятся дешево-ироническими. «Не знаю, как они, но я просто не могу уехать и по практическим причинам: что я делал бы в Киеве или на Дону? Чем жил бы там с Таней? В Москве по крайней мере есть свой угол».

Однако, и от своего угла скоро осталось немного. Средства Ласточкиных истощались. В день октябрьского переворота у них в доме оставалось — да и то по случайности — около пяти тысяч рублей. Дороговизна еще усилилась, деньги таяли, и Дмитрий Анатольевич с ужасом думал, как жить дальше. Татьяна Михайловна его ободряла, тоже уверяла, что большевики очень скоро падут, всячески сокращала расходы; но он видел, что и она в ужасе.

Вначале много денег стоила прислуга; с ней у Ласточкиных всегда были самые лучшие отношения, рассчитывать людей было бы мучительно. Но через месяц повар и его жена, горничная, ушли сами. У них фамилия кончалась на «ко», и они получили пропуск на Украину. Прощанье было грустное, горничная даже заплакала, прослезилась и Татьяна Михайловна. Шофер нашел хорошее место у какого-то нового сановника. Автомобиль Ласточкиных был реквизирован в первые же дни. Об этом они не жалели: никакого горючего все равно не было да и небезопасно было бы обращать на себя внимание автомобилем. Скоро, с душевной болью, они отпустили лакея Федора, который прослужил у них четырнадцать лет и теперь нерешительно предлагал служить дальше без жалованья. Из последних денег заплатили ему за полгода вперед и обещали снова принять на службу «как только все устроится».

— Буду все покупать сама. И стряпать буду без его помощи. Скорее уж тебя, Митенька, жалко. Ничего, когда-то у тети я все делала, и миллионы женщин это делают, и никакой беды в этом нет. Пожалуйста, не делай трагического лица,— говорила Татьяна Михайловна веселым тоном.

Она стала рано утром выходить из дому и подолгу стояла в очередях. Знакомые продавщицы поглядывали на нее сочувственно, но не без удовольствия. Дмитрий Анатольевич как мог помогал жене и очень хвалил все, что она готовила. Как-то вернувшись домой, она преувеличен-

но радостно сообщила, что удалось достать к обеду конину.

— Я и не думал, что это так вкусно. Если б не красный цвет, то нельзя было бы отличить от другого мяса,— говорил он за обедом.

Однако, и для конины нужны были деньги. В январе Татьяна Михайловна, на этот раз смущенно, принесла ему свои драгоценности и попросила продать.

— ...Ведь мне они не нужны! Жалко только потому, что это твои подарки.

Дмитрий Анатольевич расстроился. Жена его утешала:

— В такое время об этом стыдно огорчаться. Уж лучше пожалей меня из-за другого: смотри, какие руки стали, особенно от мытья посуды под ледяной водой. Но и это, конечно, пустяк.

Он поцеловал ей руки и сбивчиво говорил, что купит ей точно такие же драгоценности «как только все устроится». В тот же день продал кольцо, которое подарил жене после выигрыша в лотерею. Невольно подумал о черной оправе. Цену получил хорошую. Покупатель-мешочник, кем-то ему рекомендованный («Честный, не обижает людей!»), наглухо затворил дверь и купил кольцо, не торгуясь. Его жена восхищалась и просила приносить еще. Дмитрий Анатольевич старательно-весело рассказывал об этом жене. Татьяна Михайловна тоже улыбалась.

От безделья Дмитрий Анатольевич теперь много гулял, иногда с женой, чаще один: ее прогулки утомляли, особенно после очередей и нелегкой работы на кухне. Он хорошо знал Москву. Посещал старые исторические уголки города, старался припомнить их прошлое, представлял его себе довольно живо. Иногда натыкался на тяжелые сцены: то люди в кожаных куртках с револьверами в руках за кем-то гонялись, злобно крича на всю улицу, то вели куда-то арестованных, вероятно ни в чем решительно не виноватых, то везли в повозочке гроб на кладбище, то в мороз выбрасывали жильцов из дому. «И все это сделал один человек!» — с несвойственной ему прежде злобой думал Ласточкин. По всем ученым книгам, да и по его собственным убеждениям, роль личности в истории признавалась ограниченной. Но теперь он не мог не думать, *все-таки* без Ленина не было бы октябрьского переворота, не было бы, следовательно, этого моря зла и страданий.

Наконец, случилась та большая неприятность, которую легко было предвидеть. Дмитрию Анатольевичу казалось даже (вероятно, неправильно), что он ее ждал как раз за

несколько минут до того. Рано утром раздался долгий властный звонок,— *так* никто из знакомых не звонил. Явился незнакомый человек — не в кожаной куртке, но по виду несомненно принадлежавший к начальству. Он предъявил «мандат» на занятие всех комнат кроме одной. Увидев рояль, объявил, что и рояль подлежит реквизиции, хотя в мандате ничего об этом сказано не было. Ласточкины долго и горячо с ним спорили (потом было тяжело вспоминать). Татьяна Михайловна говорила, что она артистка, что рояль ей необходим для заработка, что она дает уроки музыки. Говорила со слезами, путанно, сбивчиво. Могло выйти худо: могли проверить, потребовать доказательств и просто выгнать на улицу. Но вышло сравнительно хорошо. Человек властного вида оказался не грубым и не очень злым. Слово «артистка» произвело на него некоторое впечатление, и он еще упивался своей властью. Доказательств не потребовал и в конце концов согласился не отнимать рояля и оставить им две комнаты. Затем долго составлял какой-то документ; писал он плохо, Дмитрий Анатольевич ему помогал.

— Въедут к вам в будущий понедельник. Это для питерских товарищей, они еще не прибыли. Пока, граждане, так и быть, поживите напоследок как буржуи,— пошутил он перед уходом. «Очевидно, сановники, если «прибыли»? — подумал Ласточкин.

— А кто, гражданин, будет у нас жить?

— Скоро, гражданка, познакомитесь. Хорошие люди.

После его ухода Татьяна Михайловна расплакалась. Дмитрий Анатольевич утешал ее как мог.

Мебель из реквизированных комнат переносить запрещалось, но бумаги из письменного стола Ласточкин перенес в гостиную и, как мог, всунул их в единственный ящик небольшого стола, который теперь становился письменным. Попробовал вытащить этот ящик, и бумаги посыпались на пол, поверх задней стенки ящика. Это было, конечно, мелочью, но нервы Дмитрия Анатольевича не выдержали. Он сел, тяжело дыша, и долго сидел молча в полном отчаяньи. Татьяна Михайловна переносила из спальной одежду и белье.

В тот же день он отправился к профессору Травникову. Пошел пешком: стоять пятым или шестым пассажиром на ступеньках трамвая было трудно и опасно. Ласточкин хотел посоветоваться: нельзя ли получить какую-нибудь кафедру или доцентуру с жалованьем? О службе в комиссариатах не хотел слышать, хотя там работу можно

было получить без особых унижений. Но университет был другое дело.

— Я мог бы читать о народном хозяйстве. Правда, у меня нет ученых степеней, однако, теперь, кажется, ваш совет смотрит на это сквозь пальцы. Уж вы постарайтесь, Никита Федорович, будьте благодетелем,— нерешительно говорил он. «Будьте благодетелем» было шутливой формой речи, но ему казалось, что он в самом деле просит о благодеянии.

Травников отнесся очень сочувственно.

— Прекрасная мысль, и мы это устроим! Но ведь быстро это не делается. Вы долго еще, батюшка, продержитесь?

— Месяца три еще продержусь. Продаю бриллианты жены,— с натянутой улыбкой ответил Ласточкин.

— Сделаем все возможное! — сказал профессор.— Наплыв желающих у нас теперь большой, но увидите, устроится дело. Не велика, впрочем, радость, если и устроится. Жалованья еле хватает даже нам ординарным. Медики дело другое. У них пока квантум схватишь.

Дмитрий Анатольевич вернулся домой несколько более бодрый. «Тут решительно ничего худого нет. Разве только немножко смешно: стану на старости лет профессором!»

IX

После покушения Каплан на Ленина были расстреляны тысячи людей. Началась паника. Все ожидали, что большевики будут хватать новых заложников и убивать их при каждом новом покушении или вообще по мере надобности. Заложником мог оказаться любой человек, даже не очень видный. Бежать стало гораздо труднее. «Упустили момент, упустили! Большая была ошибка. Это моя вина! — думал Ласточкин.— Все-таки в Киеве, в Ростове как-нибудь прожили бы: ведь здесь голодаем. Таня не хотела ехать, но я должен был решиться на это за нас обоих!»

Он только представлял себе жену на Лубянке: «Без меня, без вестей обо мне, с ежеминутной мыслью о том, что я расстрелян или буду расстрелян!» Меньше думал о себе самом, хотя чувствовал, что и он едва ли выдержит месяц, ежедневно ожидая казни. С Татьяной Михайловной он старался об этом не говорить. Но слухи о расстрелянных передавались каждый день, с подробностями, неизвестно как доходившими.

«Просто непонятно, откуда взялось это море невиданного зла, неслыханной ненависти! Как же мы не замечали, что нас так ненавидят!» — думала растерянно Татьяна Михайловна. Слухи о людях, проявивших перед казнью большое мужество, ее восхищали и умиляли. Проверяла себя. «Кажется, если убьют вместе с Митей, я перенесу так же, как они... Впрочем, не знаю... А он?»... Ей было тем более тяжело вспоминать, что именно она была против отъезда на юг, еще недавно безопасного, даже легального: «Бумажку от украинских властей Митя достал бы легко». Дмитрий Анатольевич на нее поглядывал и угадывал ее мысли так, точно их слышал. В несчастье «телепатия» между ними еще усилилась.

Оба смутно чувствовали, что часть интеллигенции, довольно большая часть, сдалась новой власти уж очень легко и быстро. Служили на разных должностях теперь почти все, кому не удалось бежать за границу или на юг. «Иначе и быть не может: иначе голодная смерть или тюрьма с сыпным тифом»,— говорил жене Ласточкин. Но должности были приличные и неприличные. К его неприятному изумлению, неприличные тоже пустовали недолго; на них люди, прежде имевшие почтенную репутацию, не только служили, но прислуживались и выслуживались. Каждый день сообщалось новое: такой-то общественный деятель публично признал свои ошибки и поступил в Комиссариат внутренних дел, такой-то писатель стал писать в «Известиях», такой-то профессор всячески превозносит Луначарского. Некоторые в частных разговорах объясняли: «Что ж, как-никак, строится социалистическое общество, то есть, делается то, о чем русская интеллигенция мечтала со времени Герценов и Чернышевских, и мы обязаны принять участие в большом деле». Другие на Герценов и Чернышевских не ссылались, приняли циничный тон и даже этим хвастали.

Были, разумеется, и люди безупречные. Они в большинстве голодали в настоящем смысле слова. С одним из них Ласточкин недавно встретился и едва его узнал. «Между тем ему легче: одинокий человек. Ведь большинство теперь идет на всякие сделки с совестью, чтобы не голодали жена и дети»,— подумал Дмитрий Анатольевич. Они прежде не были близки; теперь поговорили об общественном разложении с искренней симпатией друг к другу.

— Все же это одна сторона дела,— сказал Ласточкин.— Люди проявляют и героизм. На юге, на севере,

на востоке идет вооруженная борьба. Эти люди, одинаково и правые, и левые, спасают честь России.

— Да, это так. Я лично себе желаю только кончины не постыдной. Верно, уж недолго ждать. И, право, не жаль умереть.

«Не жаль»,— подумал и Дмитрий Анатольевич уже теперь не в первый раз. Одной мысли мужа телепатия Татьяне Михайловне не передала.

У него оставались знакомые на созданном им в свое время военном заводе под Москвой. Многие прежние служащие продолжали там работать, и среди них у Дмитрия Анатольевича были приятели.

«Ведь это так, только на случай крайности! — думал он по дороге на завод.— Это само по себе ничего, разумеется, не означает: просто стану немного спокойнее. Тане не скажу, ведь никогда до *этого* не дойдет!.. Лишь бы только крышка через щели не пропускала паров!» В кармане у него была металлическая мыльница с плотно закрывавшейся крышкой. В пору своей работы на заводе Ласточкин привык обращаться с цианистым калием и под вытяжным шкафом даже его пересыпал руками без перчаток; химики советовали этого не делать, требовали, чтобы он тотчас мыл руки самым тщательным образом. «Запру в ящик. Запах я в комнате тотчас почувствую и, если он будет, высыплю все в уборную. Да есть ли вообще пары у сухого вещества? Я тогда, действительно, отравился, но, верно, оттого, что в колбе были остатки кислоты и выделился синильный газ».

На заводе у ворот охраны не было,— не то, что в его время. Он вошел беспрепятственно и, оглядываясь по сторонам в столь знакомом ему дворе, прошел в отдельное небольшое строение, в котором помещалась лаборатория. С усмешкой вспомнил, как в свое время торговался о нем с подрядчиком и добился небольшой скидки. Вспомнил и о ста тридцати тысячах ядовитых снарядов, изготовленных при нем заводом. «Может быть, теперь применяются против добровольцев или волжской армии? Этого мы никак предвидеть не могли».

Его встретил старый химик, заведовавший лабораторией еще при нем. Они очень обрадовались друг другу. В былые времена Дмитрий Анатольевич часто заходил к нему, следил за его опытами, расспрашивал обо всем, узнавал много ценного. Старик был знатоком дела, занимался химией с юношеских лет, обожал ее и говорил о химических веществах, как о существах одушевленных: какие

любят друг друга, какие не любят. Называл их часто «по имени-отчеству»: «Фосген Иванович», «Селитра Петровна».

— Дмитрий Анатольевич! Вас ли я вижу? Значит, слава Богу, в заложники не попали! И я, как видите, пока не попал.

— Вы-то за что могли бы попасть?

— Почему же? Отлично мог бы. Ведь меня в октябре вывезли на тачке.

— За что вывезли на тачке? — изумленно спросил Ласточкин, помнивший, что старик был либеральных взглядов и обращался с рабочими очень хорошо.

— Вот тебе раз, «за что»! Ни за что, разумеется. В первые же дни вывезли из принципа и из озорства. Главный директор скрылся, а надо же было кого-нибудь вывезти на тачке! Вывезли бухгалтера и трех старших заведующих отделеньями... Впрочем, не все рабочие этому сочувствовали. Многие даже возмущались. Я лично и рад был бы покинуть завод, да не в таком экипаже. Через несколько дней начальство велело взять нас назад, как «незаменимых специалистов». Действительно, людей осталось немного. Войдите, я теперь один,— добавил он. Лаборатория, в которой прежде работало четыре человека, была пуста.

— Где же все остальные?

— Не знаю, где они. У нас было ведь, как впрочем везде, всякой твари по паре. Кто пошел в меньшевики, кто в большевики, кто призван в красную армию... Мальчишку Никифора помните? Он нас всех тут чаем поил.

— Никифор Шелков? Кажется, славный был юноша,— сказал Ласточкин, вспомнив, опять с неприятным чувством, что в день несчастного случая с ним, этот мальчик бегал за шампанским и, радостно, задыхаясь от бега и волнения, принес его минуты через три.

— Тот самый, которому вы тогда подарили четвертной билет. Он пошел в красную армию добровольцем. Тоже из принципа и из озорства. Возраст у него ведь был майнридовский. Так вот, его мать ко мне на днях приходила, горько плакала: убит. И он же, этот самый Никифор, хоть очень меня любил, а помогал вывозить нас на тачке,— сказал, вздыхая, старик.

Сообщил еще сведенья о сослуживцах. Один из них, неприятный льстец и карьерист, очень не любимый товарищами, теперь был директором завода.

— Бывает часто в Кремле, приносит новости и хвастает ими. На днях мне таинственным шепотом рассказывал, что Ленин *сшился* с какой-то Инессой, или как ее? — сообщил старик вполголоса, хотя в лаборатории никого больше не было (Ласточкину он, как все, доверял совершенно).— Усвоил даже их жаргон: «Сшился»... «Вот чего»... «Какое их собачье дело?»... Ведь это, верно, впервые в истории и высшая администрация говорит на блатном языке. Дожили, можно сказать... Ко мне впрочем до поры до времени благоволит. Подлаживаюсь как могу, хоть, разумеется, стыдно. А вы лучше ему на глаза не показывайтесь. Да вы зачем собственно сюда пожаловали, Дмитрий Анатольевич?

Ласточкин заранее приготовил ответ: он помнит, что в свое время оставил в лаборатории в ящике шкафа с химическими веществами свое самопишущее перо:

— Вдруг оно у вас тут сохранилось? Теперь такого ни за какие деньги не купишь! Если б деньги и были.

Старик только пожал плечами.

— Вы, Дмитрий Анатольевич, очевидно, сохранили веру в человеческую добродетель. Если оставили что, то давным-давно украли. Впрочем, посмотрите. Вы говорите, в ящике того шкафа?

Ласточкин подошел к шкафу, вытянул ящик и быстро через стекло оглянул полки. На второй на том же видном месте стояла банка с черепом на ярлыке и с надписью большими буквами: «Смертельный яд. Цианистый калий. KCN». Как же теперь незаметно отсыпать?

— Вы правы. Нет пера. Ничего не поделаешь.

— Разумеется, нет. А вы не выпили бы со мной «чаю», Дмитрий Анатольевич?

— Очень охотно! — сказал Ласточкин с радостью.

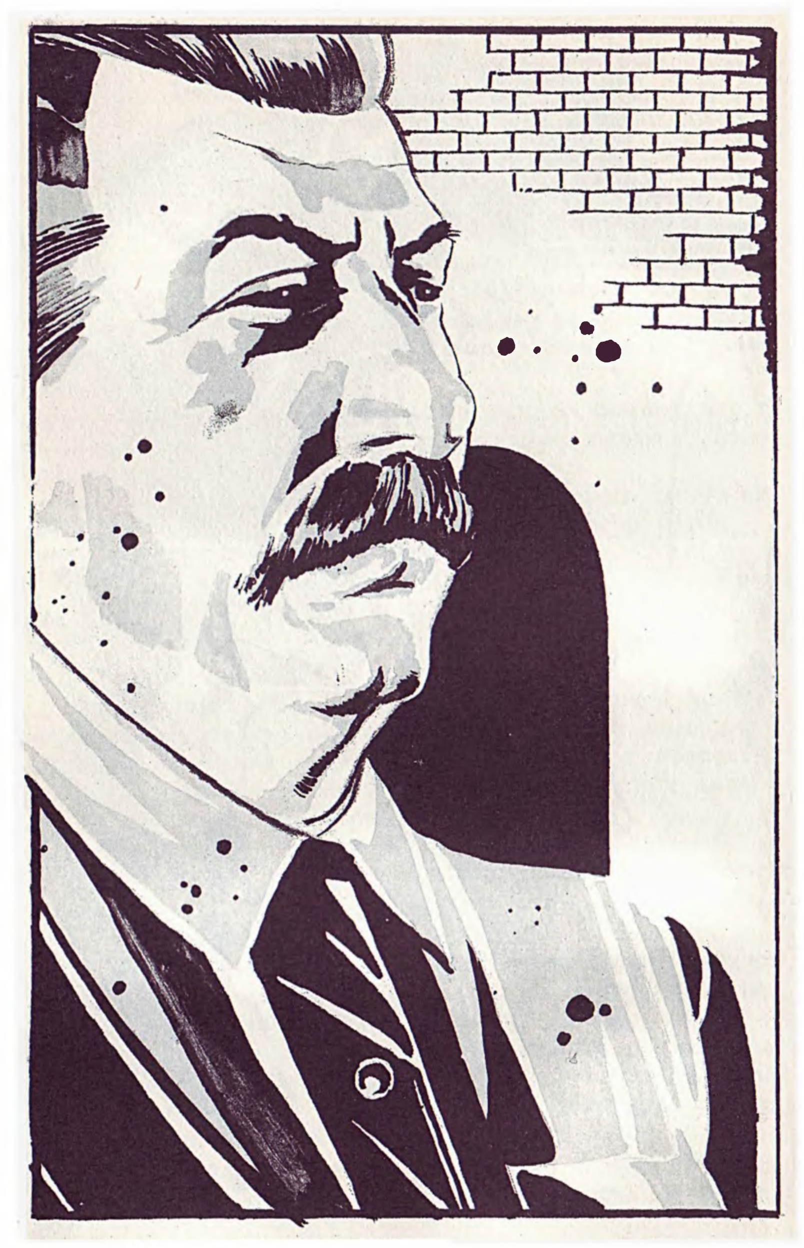
— У меня нижегородский, брусничный. Сахару нет, но есть прошлогодние леденцы-васильевичи. Прячу их в передней, а то стащат. Сейчас принесу,— сказал старик и вышел. Ласточкин поспешно вынул мыльницу, насыпал в нее цианистого калия и плотно надвинул крышку. «Первая кража в моей жизни! Ничего, это будет гонораром за три года бесплатной работы».

— Что же завод теперь изготовляет? Какую «Васильевну»? — шутливо спросил он, оправившись от волнения.

— Ничего почти не изготовляем. Я все пишу разные проекты и подаю куда следует. Рабочим платим, но им



«Самоубийство» *(Часть шестая, III)*



«Самоубийство» *(Часть восьмая, IX)*

жрать все-таки нечего,— сказал химик.— Хотите подогрею? Газ пока дают.

— Не надо, я пью холодный,— ответил Ласточкин и с наслаждением раскусил леденец. Старик вдруг со слезами обнял Дмитрия Анатольевича.

— Так рад, что вы зашли! Отвык от хороших людей. Встречаюсь с ними теперь, как Стэнли с Ливингстоном среди дикарей. Верно, больше никогда не увидимся...

«Разумеется, это просто *так*, на всякий случай. Я и не думаю о возможности самоубийства»,— твердил мысленно Ласточкин и на обратном пути. Он теперь и сам с трудом понимал, как мог совершить эту странную, небывалую поездку за ядом. «Или затмение нашло!.. Но ведь и вреда не произошло никакого оттого, что я съездил?» Думал, не выходят ли и здесь в вагоне пары из мыльницы, лежавшей у него в кармане (на всякий случай прикрыл ее и носовым платком). «А что будет, если меня тут же арестуют в трамвае? Как я объясню?»

X

Ласточкин был утвержден штатным приват-доцентом: в первое время при большевиках формальности в университете в самом деле соблюдались не строго, новых людей приглашали охотно, к их ученым степеням не придирались. Дмитрия Анатольевича любили все знавшие его люди, а среди них были профессора, пока, по старой памяти, еще самые влиятельные. Другим было известно, что он из богатых людей внезапно стал бедняком,— ему, как и другим таким же людям, надо дать возможность жить. Не очень возражали даже те, в большинстве молодые, ученые или неудачники, которые с первых дней после октябрьского переворота говорили, что, «как-никак, в новом строе что-то есть и надо относиться к нему вдумчиво, нельзя, знаете, так все начисто отрицать!» Был утвержден и выбранный Ласточкиным курс: «Народное хозяйство России с начала двадцатого столетия». Однако, Травников вздыхал, зайдя к нему для поздравлений.

— Как сказано у Тургенева: «Читал и содержания оного не одобрил»,— говорил он вполголоса, оглядываясь на стену, за которой жили вселенные большевики. Татьяна Михайловна угощала его морковным чаем, грустно вспо-

миная их прежний «богдыханский».— Скользкий сюжетец, скользкий.

— Почему же, дорогой профессор?

— Посудите сами, барынька, вы ведь умница. Я слава Богу, взгляды вашего повелителя знаю. Он мне сто раз говорил, что Россия с начала двадцатого века, а особенно с тысяча девятьсот шестого года, переживала необычайный хозяйственный подъем, что наше народное хозяйство развивалось сказочным темпом, гораздо быстрее, чем в Европе, пожалуй не менее быстро, чем в Америке. Я это даже принимал cum grano salis [1], но я, старый хрыч, ничего в экономике не смыслю. Так вы говорили, Дмитрий Анатольевич?

— Так точно.

Профессор развел руками.

— Так ведь это же для *них* и теоретическая ересь, да еще и нож вострый! Сказочным темпом — после подавления первой революции!

— Но ведь это чистейшая правда!

— Потому и нож вострый, что правда!

— Да я из этого никаких политических заключений делать не буду.

— Только этого бы не хватало! Но *там* сами сделают заключения. Лучше бы вы выбрали курс об экономической истории древней Ассирии.

— Я с ассирийскими делами не знаком, а с нашими знаком недурно.

— Как знаете. Пеняйте на себя в случае чего. Во всяком случае, избави Бог, не доводите курса до наших дней: вдруг вы еще признаете, что теперь при Ленине вообще никакого народного хозяйства нет!

— И это также, увы, правда.

— Так-с. Правда, у нас уже некоторые левые доцентишки, servum pecus [2], говорят, что нельзя у большевиков все отрицать «с кондачка». Почему это кстати у нас все начали так «по-народному» говорить? Особенно евреи... Не гневайтесь, барынька, вы знаете, что я не антисемит... Мне Шаляпин, тоже никак в антисемитизме не повинный, однажды сказал, что всю жизнь был окружен евреями: «Боюсь даже, говорит, что из-за этого я диабетом заболею!» — Профессор недурно воспроизвел богатую, значительную интонацию Шаляпина.— Федор Иванович почему-

---

[1] Здесь: с юмором *(лат.)*.

[2] Раболепное стадо *(лат.)*.

то считал диабет еврейской болезнью... Не смейтесь... Так вот я тоже вроде этого. Только я, хотя коренной потомственный москвич, не говорю «с кондачка» и даже не знаю, какой такой «кондачок»? Вы, верно, знаете, барынька?

— Не имею ни малейшего понятия, но помню, что это старое слово. А смеюсь я, дорогой профессор, из-за вашей живописности... Но вы серьезно советуете Мите выбрать другой курс?

— Самым серьезным образом. Или пусть хоть вначале отпустит им какой-нибудь комплимент... «Плюнь да поцелуй злодею ручку!»

Ласточкин нахмурился.

— Я уверен, что вы шутите,— сказал он.— Иначе вы не говорили бы о «сервильном[1] стаде».

— А есть разные степени. Одно маленькое пятнышко не будет заметно на вашей белоснежной ризе. Увидите, сколько белоснежных скоро станут сплошным грязным пятном.

Был назначен день первой лекции. Дмитрий Анатольевич много работал над подготовкой курса. Библиотеку у него не отняли, и в ней было много книг по экономическим вопросам. Были классики политической экономии; он в свое время прочел Адама Смита, Рикардо и даже первый том «Капитала». Были и новейшие труды, и такие специальные журналы последнего десятилетия, в которые и заглянуть можно было только под давлением тяжкой необходимости. Говорил он легко и хорошо, иногда и экспромтом, отвечая на возражения. Но теперь он волновался: кафедра в знаменитом университете России! Ласточкин приготовил конспект всего курса, выписал множество цитат, а первую лекцию всю написал целиком,— «на случай внезапного затмения». Знал, что на нее придут не только студенты, но и профессора. Две-три страницы он даже прочел наедине вполголоса: было совестно репетировать громко,— во второй комнате могла услышать жена.

Накануне первой лекции неожиданно рано утром у них появился Рейхель, с чемоданчиком в руке. Он пришел с вокзала пешком. Увидав его, Татьяна Михайловна ахнула. В последние два года все на ее глазах очень менялись физически и точно хвастали этим,— кто потерял от недое-

[1] раболепный (*лат.* servilis).

дания полпуда, а кто и пуд. Но Аркадий Васильевич был просто неузнаваем: «Живой скелет!»

— Не беспокойтесь, Таня,— сказал он с не шедшей к нему жалкой улыбкой.— Я не собираюсь у вас остановиться. Вечером возвращаюсь в Петербург, хочу только у вас оставить чемоданчик и, если можно, немного передохнуть. И чаю мне не давайте, я ничего не хочу. Отвык и от чаю, и от еды вообще.

Она все же дала ему стакан морковной настойки и два сухаря. Он ел и пил с жадностью.

— Хотите вина, Аркаша? Вино еще осталось.

— От этого я просто не в силах отказаться! Дайте, спасибо.

— Видно, у вас в Петербурге еще хуже, чем у нас?

— Просто голодаем! — сказал Рейхель и даже не выругал большевиков.

— Расскажи, что вообще у тебя делается,— сказал Ласточкин, тоже сочувственно глядевший на своего двоюродного брата.

— Но если вы хотите говорить о политике, то, пожалуйста, не очень громко. Мы ведь теперь не одни.

— Кем вас с Митей уплотнили? — спросил Аркадий Васильевич, оглянувшись на стену.

— Могло быть и хуже, ничего себе люди. Да мы их и видим мало. Они даже не говорят: «Попили нашей кровушки!», хотя в известном смысле мы в самом деле попили.

— Ни в каком смысле не попили, ерунда. Никак не больше, чем, например, в Германии, а там Лениных нет.

— А дело твоей Германии кстати швах. Слава Богу, сильно бьют на Западном фронте немцев.

— Это еще неизвестно,— сказал Рейхель уклончиво. Победы союзников в самом деле его изумили.— А вот мою кровь действительно пьют клопы. Ко мне вселили трех грязных грубиянов, развели клопов. К Ленину и в буквальном и в переносном смысле хлынула вся нечисть России. («Ох опять затянет волынку!» — подумал Ласточкин). И так верно всегда и везде было со всеми благодетелями человечества. Не со всеми? Идея была другая? Что ж, у этих тоже, быть может, люди спасают душу Марксом. Вот ведь и Стенька Разин ходил на Соловки к святым угодникам. Впрочем, я теоретически ничего не могу иметь против нынешнего правительства. Я с молодых лет стоял за самодержавие, и это у нас первое *настоящее* самодержавное правительство... Ну, да что говорить!

Он рассказал о своей жизни. Выпив с наслаждением вина, сообщил, что теперь питается только таранью или похлебкой из конины.

— Вот недавно я варил похлебку и нашел в ней лошадиный глаз! Меня стошнило... Больше ничего купить нельзя, хотя деньги у меня есть: вовремя догадался вынуть все из банка и припрятать. Вы, конечно, тоже все вынули?

Узнав, что они не успели это сделать, он изумился.

— Вот тебе раз! Я догадался, а ты, Митя, знаменитый деловой человек, нет!.. Вот что, возьмите, друзья мои, у меня. Мне не нужно по вышеуказанной причине!.. Почему же нет? Вы столько раз мне прежде помогали. Умоляю вас, возьмите хоть половину моих.

Ласточкины были тронуты, но решительно отказались.

— Ты ведь знаешь, что я получил штатную доцентуру с жалованьем,— сказал Дмитрий Анатольевич.

— Доцентуру? Нет, откуда же мне знать?

— Помнится, я тебе писал.

— Ничего не писал или письмо не дошло.

Ласточкин рассказал. В другое время Рейхель обратил бы внимание на то, что он сам, с учеными степенями, еле нашел кафедру после долгих поисков, тогда как его двоюродный брат, без научных работ, получил ее легко и быстро. Теперь он искренно выразил радость. Еще больше удивило Ласточкиных то, что он спросил о Люде и как будто без всякой злобы.

— Мы ровно ничего о ней не знаем и очень беспокоимся. Представь, она уехала еще в прошлом году на Кавказ и там застряла! С тех пор, как Кавказ отделился, мы от нее ни одной строчки не получили! И ты понимаешь, в какой мы были тревоге, особенно в пору этих ужасов в Пятигорске.

— Каких ужасов в Пятигорске?

— Разве ты не помнишь? Там было зарезано семьдесят человек, преимущественно сановники и генералы. Герои войны, Рузский, Радко-Дмитриев. А это в двух шагах от Минеральных Вод, от Ессентуков.

— Какое же Люда могла бы иметь отношение к генералам? Ни минуты не сомневаюсь, что у нее все благополучно... Я ничего против нее не имею,— добавил он, помолчав,— она не плохой человек. Если опять восстановится почтовое сообщение, передайте ей, что я ей желаю всяческого добра.

— Непременно!.. Непременно!..— радостно в один голос сказали Ласточкины.

— Ну, что ж, я пойду по делам. Перед отходом поезда,— в предположении, что есть поезд и что он отойдет,— я только на минуту зайду к вам за чемоданчиком. Простимся лучше теперь, тогда вам незачем будет меня ждать... Да, вот как сложилась жизнь, друзья мои.

Рейхель хотел сказать, но не сказал, что жизнь и его обманула, несмотря на всю его необыкновенную проницательность. Он всегда искал способа отгородиться от жизни; отгораживался разными «мировоззреньями», и ученоотшельническим, и скептическим, и черно-реакционным. Теперь искал еще какого-то нового, не находил, перескакивал с одного из прежних на другое, и был несчастен больше, чем когда бы то ни было прежде.

XI

По вечерам Ласточкины читали классиков: всех потянуло к тому, что было *бесспорно* в русской культуре. Бесспорны были также Мусоргский или Чайковский, но бывать в театрах не хотелось: трудно было доставать билеты, утомительно идти пешком, оба были измучены, не желали и смотреть на новую публику. Не очень хотелось и читать газеты.

Однажды Дмитрию Анатольевичу попалось в них имя Эйнштейна. Советская печать, нередко приводившая цитаты из немецких газет, особенно из «Берлинер Тагеблатт», сообщала, что создатель теории относительности (которую, впрочем, большевистские философы очень не одобряли) подвергается злобным нападкам со стороны германских реакционеров, милитаристов и антисемитов,— в частности за то, что сочувствует коммунизму и коммунистической революции. Газета излагала политические мысли, будто бы высказывавшиеся Эйнштейном Ласточкин прочел с недоверием. «Быть может, и тут солгали или приплгнули. Неужели гениальный человек мог бы нести такой вздор, вдобавок и совершенно банальный!» — думал он, читая статью. Эйнштейн отстаивал свободу, но не объяснял, кто в мире и России ее защищает; ругал реакционеров, но не ругал большевиков («или они это выпустили?»). По его мнению, не надо было верить тому, что многие пишут о русских событиях: *если* жестокости и были, то ведь нужно принять во внимание то-то и то-то,—далее следовали разные общие места о революциях и ссылки на русскую историю. Были ссылки также на какую-то неопределенную гармонию, которая непременно должна устано-

виться в мире. Неясно было, в чем эта гармония будет заключаться и кто и как будет ее устанавливать.

«Это тоже не очень ново и не очень умно,— думал раздраженно Дмитрий Анатольевич.— У тех неизлечившихся поклонников Людендорфа все банально по-реакционному, а у него все банально по-радикальному: и эти лицемерные «если» — он, видите ли, не знает! — и эти весьма односторонние умолчания, и этот «гигантский социальный опыт». Едва ли господам из «Берлинер Тагеблатт»-ов очень хочется, чтобы такой же социальный опыт проделали над ними, но в варварской России отчего же нет, это очень интересно! Тут и русская история, о которой и сам Эйнштейн, и люди из «Берлинер Тагеблатт»-ов в лучшем случае когда-то прочли страничек десять в школьных учебниках. Хороша и его радикальная гармония, очевидно, без реакционеров, но — тоже очевидно, хотя и недосказано — вкупе с большевиками! И вся эта глупая слащавая фальшь! Да и его, Эйнштейна, туда втянули». Ласточкин не мог сказать себе в утешение, что Эйнштейн, верно, глуп. Знал, что ум — неопределенное понятие, знал также, что этот человек в своей области гений, быть может, даже сверхгений. «Во всяком случае он становится вдвойне символической фигурой нашего времени. Своим гением поколебал прочные устои знания, своей безответственной болтовней дал слащавую санкцию «Берлинер Тагеблатт»-ам».

Все это Дмитрий Анатольевич, впрочем, думал неуверенно. Теперь уверен больше не был ни в чем. «Говорю о чужих банальностях, а наши собственные? Я почти ни от чего не отказываюсь ни в нашем духовном наследстве, ни в своих личных взглядах. Хочу пересмотреть, пересматриваю, и все же большого, основного заблуждения не нахожу. Были, конечно, ошибки, в какой-то мере мы, быть может, отвечаем морально и за «разбойника» Люды (хотя почему же я за него отвечаю?). Отвечаем за то, что давали деньги большевикам, как давал Савва Морозов (я им никогда не давал). Быть может, у нас была и своя слащавая фальшь, даже наверное была, все-таки гораздо более честная и бескорыстная. И вреда от нас было неизмеримо меньше, чем от разных Плеве и Людендорфов. И основная наша ценность — свобода — никак не была ценностью фальшивой. И уж от нее-то я не откажусь никогда, как не откажусь от «дважды два четыре»! Настала катастрофа, нам больше как будто не на что надеяться, и все же я думаю, что наше поколение было *только* несчастно».

Ложились они теперь рано и до полуночи читали в спальной при свете керосиновой лампы, как в пору детства Дмитрия Анатольевича. Оба читали в очках: он с позапрошлого года, она с прошлого стали (с тяжелым чувством) носить очки при чтении. Татьяна Михайловна в этот вечер сняла их раньше обычного, положила на столик и задумалась: «Зимой топить будет нечем. На жалованье Мити и впроголодь жить будет нельзя. *Они* кончатся? Только на это и надежда, но до того, как кончатся *они*, кончимся мы, если не физически, то морально. Митя к ним не пойдет, но что же он будет делать?» Думала «он» в единственном числе: смутно чувствовала, что зимы не переживет,— здоровье у нее все расстраивалось, она боялась пойти к врачу и еще старательнее, чем прежде, скрывала болезнь от мужа. «Для покупки дров продадим Крамского. Рискованно, но что ж делать? Верно, дадут гроши». Теперь, впервые в ее жизни, денежные расчеты у нее примешивались к самым важным и страшным мыслям. «Как он будет без меня жить? Если б хоть Люда была в Москве, я была бы спокойнее... Но где она теперь? Жива ли?»

Спальная — прежняя столовая — была почти пуста: оставались только кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло; да еще на стене висели на гвоздях немногочисленные платья и два мужских костюма. Все остальное было продано. Вселенные жильцы не доносили. Был продан за бесценок и левитановский пейзаж (на четыреугольник, оставшийся от него на обоях, им было особенно тяжело смотреть). Продавать принадлежавшие народу произведения искусства было прямо опасно. Однако, жильцы и об этом не донесли. Их было пятеро: муж, жена, три сына подростка. Им вначале предоставили всю квартиру, кроме двух оставленных хозяевам комнат; можно было ждать, что вселят кого-либо еще. Пока Ласточкины не могли особенно жаловаться на то, о чем теперь только и говорили прежние собственники хороших квартир. Новые жильцы не развели клопов, не подслушивали, не подглядывали, не ругались, не следили за каждым движеньем «буржуев». «Право, недурные люди! — говорил Дмитрий Анатольевич.— Он, оказывается, с тысяча девятьсот пятого года «член партии»: они ведь не говорят· «большевистской партии», а просто: «партии». Ничего, проживем и с ними. И незачем из-за потери квартиры принимать вид Людовика Шестнадцатого в Тампльской тюрьме. Так теперь делают многие, у которых и до революции не было ни гроша».

Отравляли жизнь только подростки, на редкость буйные, дерзкие, вечно скандалившие и грубившие родителям. Они выбрали себе гостиную, которую когда-то обставила Нина. По-видимому, их прельстила круглая форма этой комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содранным со стен шелком. Но проводили день в бывшей мастерской Дмитрия Анатольевича, и оттуда постоянно доносился дикий шум. Татьяна Михайловна попробовала с ними поговорить, назвала их товарищами и просила шуметь меньше: ее муж нездоров и должен готовить свой курс в университете. Говорила с самыми ласковыми убедительными интонациями и ничего не добилась.

— Не брызгайте, гражданка. Не диалектически рассуждаете,— сказал Петя.

— Буза и хвостизм,— подтвердил Ваня.— Откатитесь, гражданка.

Третий, Вася, ничего не сказал, но, уходя, пробормотал что-то вроде «меньшевицкой лахудры». На этом разговор кончился, а руготня, драки, шум в мастерской стали еще ожесточеннее. Татьяна Михайловна ничего о разговоре мужу не сказала,— «что мог бы он сделать?»

Родители же вели себя вполне сносно и даже порою деликатно. Оба работали не в Кремле и, по-видимому, не на высоких должностях, хотя муж участвовал еще в 1905-ом году в московском восстании. Уходили на службу с утра, гостей принимали не часто и жили небогато. Но съестные припасы у них были. Татьяна Михайловна постоянно встречалась с жилицей на кухне, старалась не смотреть на то, что там жарилось и варилось; ей казалось, что жилица чувствует себя смущенной.

Скоро у Ласточкиных человек в кожаной куртке отобрал рояль. Теперь они и не спорили. Играть все равно было трудно, а продать рояль невозможно. В этот день жилица, предварительно постучав в дверь, вошла к Татьяне Михайловне и нерешительно попросила ее продать ей «лишнее» платье и белье. Татьяна Михайловна радостно согласилась без торга: жилица предложила значительно больше, чем давали старьевщики. Выйдя к себе с покупкой, она тотчас вернулась и принесла полфунта кофе: «Возьмите, гражданка, это бесплатно. У нас есть». Татьяна Михайловна приняла подарок, очень благодарила — «муж так обрадуется»,— и потом прослезилась. Стала слаба на слезы.

Дмитрий Анатольевич читал «Войну и мир». Эта книга казалась ему лучшей в мировой литературе. Говорил жене, что начал читать Толстого двенадцати лет от роду: «По-

койная мама подарила, когда я болел корью. Двенадцати лет начал и, когда буду умирать, пожалуйста, принеси мне на «одр» то же самое». За этой книгой он часто засыпал; мысли его приятно смешивались. «Как хорошо, что существует в мире хоть что-то абсолютно прекрасное, абсолютно совершенное!..» Но в этот вечер он заснуть не мог.

— Странно,— сказал он, отрываясь от книги.— Ведь крепостное право было ужасно, а все-таки люди тогда были культурнее, чем мы! Толстой сам на старости лет говорил, что в дни его молодости было в России культуры и образования гораздо больше, чем в двадцатом веке. А это было *до* большевиков.

— Старикам свойственно идеализировать прошлое, но я допускаю,— ответила Татьяна Михайловна.— А вот у *них* растет действительно редкое поколение. Хороша будет жизнь, когда подрастут все эти Пети и Вани!

Дмитрий Анатольевич вздохнул и снова взял книгу. Он читал о поездке князя Андрея в Отрадное, с знаменитой страницей о старом дубе. «Весна, и любовь, и счастие! — как будто говорил этот дуб,— и как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинаковые, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою и не верю вашим надеждам и обманам...»

«Да, разумеется, тысячу раз прав этот дуб,— подумал Дмитрий Анатольевич.— Только князь Андрей не имел права это думать, а я и мы все имеем. Да, я тоже никаким надеждам больше не могу верить». Точно, чтобы самого себя опровергнуть, Ласточкин повернул несколько страниц в знакомой ему чуть не наизусть книге и прочел о возродившемся, преображенном дубе: «И на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна,— все это вдруг вспомнилось ему».

«Но как же тут мертвое лицо жены! Это тоже «лучшая минута жизни?» — вдруг с сильным волненьем подумал Дмитрий Анатольевич, никогда прежде не замечавший этих слов. «Обмолвка? Но разве у Толстого бывают обмолвки? И то же самое есть в другой главе: Пьер, вернув-

шись из плена, с радостью думает, что жены больше нет в живых! Что же это такое? Значит, не всегда худо, что человек умирает?» Он с беспричинным ужасом оглянулся на соседнюю кровать. Татьяна Михайловна уже задремала; лицо у нее при свете керосиновой лампы казалось вместе измученным и просветленным,— мертвым.

XII

Для первой лекции отвели одну из больших зал Аудиторного корпуса. Актовый зал был бы уж слишком велик. К двум часам аудитория была полна на три четверти. Новые студенты и понаслышке мало знали Ласточкина, но обычно ходили на вступительные лекции новых преподавателей. Впереди студенческих скамеек на стульях сидело немало профессоров — преимущественно старики с разных факультетов. «Представителей власти», к большому облегчению Дмитрия Анатольевича, не было. Был один научный работник, до революции засидевшийся в приват-доцентах и принадлежавший именно к тем, о которых говорил Ласточкиным Травников: еще с прошлого года он все с большей горячностью утверждал, что надо честно и смело протянуть руку новому правительству: там есть кристально-чистые, культурнейшие люди. В тесном кругу одни из профессоров о нем говорили, что он страхуется на обе стороны; другие же называли его «оком Кремля, если не Лубянки». Еще недавно с ним, пожалуй, люди и не здоровались бы, но теперь никто его не бойкотировал и все пожимали ему руку, большинство очень холодно.

Ласточкины потратились на извозчика. Идти пешком было далеко, Дмитрий Анатольевич боялся, что одышка у него усилится и помешает ему говорить. По дороге он все время прокашливался. Татьяна Михайловна тоже очень волновалась, хотя знала ораторский дар мужа.

— Только не волнуйся,— говорила она.— Если потеряешь нить, просто найди в тетрадке нужную страницу и преспокойно читай.

— Это не принято в университете. Но я нисколько не волнуюсь.

— И слава Богу! Волноваться нет ни малейшей причины. Ты всегда говоришь прекрасно.

Его встретили недолгими рукоплесканьями. Ласточкин неуверенно раскланялся, положил перед собой тетрадку, надел очки и, справившись с дыханьем, заговорил. Прежде принято было начинать: «Милостивые государыни и госу-

дари». Теперь милостивых государей давно не было, слово «граждане» все еще было непривычно и казалось неестественным; Дмитрий Анатольевич дома решил, что начнет лекцию без всякого обращения. Татьяна Михайловна вошла в аудиторию через другую дверь и заняла место на последней скамейке. «Слава Богу, слушателей много. И аплодировали достаточно, вполне прилично».

С первых же произнесенных мужем слов она успокоилась. Он говорил громко, отчетливо, внушительно. Только ей была заметна его одышка, только она видела, как он волновался, особенно в первые минуты. В тетрадку он почти не заглядывал. Слушали его с интересом. Он кратко изложил историю русской промышленности до двадцатого столетия, назвал Строгановых, Демидовых, отметил их заслуги, отметил теневые стороны, тяжелые условия труда на их заводах, ничего не замалчивал, ничего и не подчеркивал. Сообщил, что Петр Великий (так и сказал: «Петр Великий», а не «Петр Первый») вел Северную войну на деньги, данные ему Строгановыми, и что когда-то на их средства Ермак завоевал Сибирь. Затем перешел к промышленникам двадцатого века и назвал много имен, еще недавно известных всей России, теперь уже забывавшихся. О них говорил в большинстве, как о своих добрых знакомых. Отозвался сочувственно о Савве Морозове и, тоже не налегая, вскользь сообщил, что он щедро поддерживал революционное движение. Рассказал анекдот о другом либеральном богаче, дававшем деньги на революцию и ставшем в 1917 году министром:

— ...Мне говорили недавно, что, когда он после октябрьского переворота был посажен в Петропавловскую крепость, то его встретил сидевший там бывший царский министр юстиции Щегловитов и сказал ему: «Очень рад вас тут видеть. Я слышал, что вы истратили несколько миллионов на революционное движение? Но я вас сюда посадил бы и бесплатно».

Послышался смех. Дмитрий Анатольевич, улыбаясь, перешел к более серьезной, ученой части лекции: стал приводить цифровые данные о росте русской промышленности, о положении рабочих, о заработной плате. Говорил он так, как говорил бы об этом несколько лет тому назад. Разве что привел несколько строк из книги *Ильина* «Развитие капитализма в России», которую до революции в университетах едва ли цитировали. Печально-торжественно добавил: «Как вы знаете, под псевдонимом Ильина тогда писал нынешний председатель Совета народных комиссаров Вла-

димир Ильич Ульянов-Ленин (потом немного пожалел, что не сказал просто: «Ленин»). При этом имени раздались рукоплесканья, впрочем жидкие. Бурно зааплодировал научный работник на первой скамейке. Соседи на него покосились, но нерешительно раза два хлопнул и еще кто-то из профессоров.

Статистическая часть доклада несколько расхолодила аудиторию. Однако, Ласточкин и цифровые таблицы читал внушительно, тут же объясняя их смысл. Слушали доклад до конца очень внимательно. Обычно вступительные лекции заканчивались выражением каких-либо общих взглядов, которое произносилось профессорами с подъемом. Дмитрий Анатольевич решил от этого воздержаться.

— В следующих моих лекциях я буду иметь честь ознакомить вас подробно с ростом русского народного хозяйства и каждой из его отраслей в отдельности,— закончил он, закрыл тетрадку и, сняв очки, приподнялся. Подумал, что «буду иметь честь» было ненужно.

Теперь рукоплесканья продолжались с минуту. Лекция имела несомненный успех. Аплодировали очень многие студенты и все профессора. Снисходительно похлопал и научный работник из servum pecus. Татьяна Михайловна вздохнула с радостным облегченьем. Профессора подходили к Ласточкину и поздравляли его. Травников издали помахал рукой Татьяне Михайловне и направился к ней, не без труда проталкиваясь в проходе сквозь толпу студентов.

— Вот вы куда забрались! — сказал он, целуя ей руку.— Узнаю вашу скромность. «Лучше прекрасной женщины есть только женщина прекрасная и скромная»,— говорил Пифагор.— Ну, сердечно, от души поздравляю! Превосходная лекция! Триумф, аки у Цезаря или Помпея. Богдыхан отлично прошел через Сциллы и Харибды!

— Да, кажется, не было ни Сцилл, ни Харибд?

— Были! Теперь всегда есть. «Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim...» [1]. Так вот сейчас же пожалуйте бриться. Ко мне. Будет и морковный чай, и брусничный, один отвратительнее другого! Но будет и печенье, еще не древнее, вполне съедобное. И, главное, будет водочка, клянусь собакой! — говорил профессор.

Ласточкины и еще человек пять-шесть друзей должны были прийти после лекции к нему. В былые времена после вступительных лекций обычно собирались в профессорс-

---

[1] «Попадешь к Сцилле, желая избежать Харибды» (*лат.*).

кой; но теперь это было признано неудобным: «еще явится нежелательный элемент». Выбрали холостую квартиру Травникова, она была в двух шагах от Университета на Никитской, и вселенные к нему жильцы возвращались домой только к шести. Друзья, сложившись, купили две бутылки водки чуть ли не на последние деньги: все, от тяжелой жизни, чувствовали потребность в такой встрече и предвкушали радость; московские рестораны давно были закрыты и даже заколочены.

— Спасибо, дорогой друг... Ах, в былые времена устроили бы прием у нас.

— В былые времена, барынька, был бы по такому случаю банкет в «Праге» или в «Эрмитаже». Я кстати всегда был пражанином, но у нас преобладали гнусные эрмитажники.

— Так вам в самом деле понравилась лекция богдыхана?

— Помилуйте, как же могла бы не понравиться! Она была божественна, клянусь бородой Юпитера! — сказал профессор. Он все больше любил Ласточкиных, волновался, отправляясь в Университет, и выпил под тарань стаканчик водки.

Было очень весело. Говорили приветственные речи,— почти как в лучшие времена. Все очень хвалили лекцию. Первый тост хозяин поднял за «героя нынешнего знаменательного дня», второй — за его «верную, преданную, очаровательую подругу жизни». Друзья целовали руку Татьяне Михайловне, Дмитрий Анатольевич с ней поцеловался под рукоплесканья. Оба смущенно прослезились от общей ласки, от радостного волненья, от водки. Успели шепотом обменяться нежными словами.— «Спасибо тебе, дорогая, милая, *за все* спасибо»,— прошептал Ласточкин. Разошлись только за полчаса до прихода жильцов, все искренно говорили, что давно не было такого приятного дня.

Дмитрий Анатольевич предложил поехать на извозчике и домой, но на Никитской извозчика не оказалось.

— Ничего, отлично доедем на трамвае, ведь недалеко остановка,— сказала Татьяна Михайловна; она теперь берегла каждый грош. Трамвай был, разумеется, переполнен, все же ей удалось протиснуться на площадку. Дмитрий Анатольевич, пропустивший вперед двух старушек (мест в трамваях давно дамам не уступали), повис на последней ступеньке. «Надо держаться покрепче, слишком много,

кажется, выпил!» — подумал он. Голова у него в самом деле кружилась. Он невольно подумал о том, как тяжело сложилась судьба: «В такой день возвращаюсь домой, вися на ступеньке трамвая!» То же самое подумала и его жена. Ласточкин слабо ей улыбнулся и как-то выраженьем лица сказал ей, что ему очень удобно. «Мне отлично, да ведь и не очень далеко»,— прокричала она. Он не расслышал, но закивал головой.

«Немного счастья было в жизни у Тани!» — в сотый раз и теперь подумал он, несмотря на радостное настроение. Главным их горем всегда было отсутствие детей. Дмитрий Анатольевич и прежде понимал, что утешеньем в этом никак не может быть тот комфорт, позднее та роскошь, которыми он обставил жену, интересная жизнь в Москве, платья от Ворта, путешествия в спальных вагонах, общество знаменитостей. Но теперь и все это было лишь воспоминаньем; была бедность, почти нищета, бытовые униженья, тяжелая работа при ее слабом здоровье. Знал, что Татьяна Михайловна об этом даже не думает, и с каждым днем его нежность к жене увеличивалась. Она опять улыбнулась ему и подняла три пальца, показывая, что остаются еще три остановки.

Какой-то простолюдин стал с площадки прокладывать себе дорогу: выходить полагалось с другого конца вагона, но пройти через густую толпу пассажиров в длинном проходе было бы почти невозможно. «Как же мы можем его пропустить?» — подумал Ласточкин. Пассажиры на двух верхних ступеньках стали ругаться. «Ох, грубая жизнь!.. А может быть, это карманник?» Все знали, что карманники воруют в вагонах бумажники именно перед остановками трамвая, поспешно выходя и расталкивая людей. Дмитрий Анатольевич оторвал правую руку от перил и стянул борты пиджака. Простолюдин рванулся вперед и сильно толкнул человека, стоявшего на второй ступеньке. Тот поддался вниз. Ласточкин потерял равновесие и, беспомощно взмахнув рукой, упал на мостовую навзничь, вытянув ноги — под прицепной вагон. Все ахнули. С площадки послышался отчаянный женский крик.

XIII

Как всегда бывает в таких случаях, друзья говорили, что Татьяна Михайловна в один день поседела и состарилась на десять лет. Она и сама позднее не понимала, как этот день пережила. Но после первых минут, когда она с

криком упала на колени над мужем (кровь из его раздробленных ног лилась на мостовую как из разбившейся бутылки), Татьяна Михайловна делала все, что было нужно, «спокойно»; только все время тряслась мелкой дрожью.

Карета скорой помощи приехала на место несчастного случая через четверть часа,— все говорили, что это истинное чудо. Вторым чудом было то, что в Морозовском клиническом городке, куда привезли Дмитрия Анатольевича, оказался их добрый знакомый, профессор Скоблин; как раз собирался уехать после нескольких операций. Он очень поморщился, увидев Ласточкина, но с таким видом, точно именно этого и ожидал.

После осмотра и перевязки он вышел к Татьяне Михайловне. Она, ни жива, ни мертва, на него смотрела. Губы у нее прыгали.

— Необходима ампутация. Немедленная. Разумеется, иначе сделается гангрена,— сказал он, избегая ее взгляда.— Я надеюсь, что сердце выдержит. Но ручаться не могу.

— Ампутация? — выговорила она.

— Ампутация обеих ног. К счастью, ниже колен. На войне люди выживали и после еще худших увечий, а их оперировали на фронте не в таких условиях. Живут и здравствуют. Я твердо надеюсь, что Дмитрий Анатольевич выживет. Ассистент и анестезист готовы. Хлороформ есть. Если хотите, я вызову еще вашего терапевта, но ждать его нельзя.

Полагалось спрашивать о согласии. Однако он, взглянув на нее, не спросил. Пошептавшись с кем-то, сказал:

— Мы теперь, разумеется, всех помещаем в общую палату, но для Дмитрия Анатольевича на первое время найдем отдельную комнату. Здесь все знают, кто он такой. Помнят и то, что он был другом покойного Саввы Тимофеевича. Будет и отдельная сиделка. Будет сделано решительно все. Я велю позвонить Никите Федоровичу, он ведь ваш ближайший друг. Вам нельзя оставаться одной.

Она что-то хотела сказать, но не могла выговорить.

Сердце выдержало.

Скоблин еще у умывальника говорил с Татьяной Михайловной и с Травниковым,— тоже бледным как смерть. Старался придать лицу бодрое выражение; это, по долгой привычке, ему обычно удавалось. Все же поглядывал на

Татьяну Михайловну; хотел было даже пощупать у нее пульс. Отдал распоряжение, обещал приехать снова в десятом часу вечера; объяснил ассистенту, куда звонить до того — *«если что»*.

— Теперь будет жив, я ручаюсь. Завтра же будут заказаны искусственные...

— Чтобы ходить?

— Для чего же другого? — сказал Скоблин. Знал, что ходить Ласточкин больше никогда не будет.— В первое время его будут, разумеется, возить в повозочке. А вам, Татьяна Михайловна, надо безотлагательно вернуться домой. Сиделка вполне надежная. Завтра утром приедете. Разумеется, отдохните немного, ведь хуже будет, если вы свалитесь,— сказал хирург, но тотчас добавил: — Хорошо, останьтесь здесь на первую ночь. Хотя это не полагается, я распоряжусь.

Действие хлороформа кончилось. Дмитрий Анатольевич раскрыл глаза, скосил их немного по сторонам, шевельнуть головой не мог. Увидел незнакомый ему потолок и карнизы стен, тяжело вздохнул, стараясь вспомнить, что такое случилось. Почувствовал жгучую боль и негромко застонал. Между его глазами и потолком появилось искаженное, без кровинки, лицо жены, столь всю жизнь близкое и дорогое. За ней что-то тревожно шептал женский голос. Он вдруг вспомнил, понял. У него полились слезы.

— Таня... Ми...лая,— еле прошептал он.

У нее все прыгали губы.

— Я уми...раю? Да?.. Бедная...

Несмотря на принятое решение «быть бодрой», она заплакала. Травников, сам еле удерживавший слезы, потащил ее к двери.

— Да что вы, сударь! — энергичным тоном говорила старая сиделка.— Операция прошла превосходно. Никакой опасности нет. Ничего вы не умираете, полноте. Лежите спокойно, вам еще нельзя разговаривать.

В комнату вошел ассистент, оглянул всех и с радостным видом поздравил:

— Все сошло отлично. Лучше и желать нельзя... Скоро будете совершенно здоровы. Успокойтесь, сударыня,— говорил он. В Морозовском клиническом городке без крайней необходимости еще не употреблялись новые обращения.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I

Джамбула не призвали в армию, и он был этому рад. По возрасту подходил разве для какого-нибудь самого последнего запаса, отяжелел от лет, от тихой привольной жизни, от вина, жирной еды, восточных сластей.

Война его потрясла. Он не верил в германскую победу и никак ее не желал. Кроме того, воевать против России было бы ему еще тяжелее, чем воевать против западных демократий: «Все-таки числился столько лет в рядах *русских* революционеров, хотя и тогда подчеркивал, что я не русский». Младотурок он вообще недолюбливал, а Энвера ненавидел,— быть может и потому, что сам на него немного походил характером. После константинопольской революции ему делались кое-какие предложения. Он их отклонил,— тогда еще не был турецким подданным, и по-турецки говорил не очень хорошо, и все революционное было ему с каждым годом все более неприятно; он считал теперь политику вообще очень грязным делом.

С началом войны более молодые из его соседей ушли на фронт; многие были скоро убиты. Старики косились на Джамбула, хотя он пожертвовал большую сумму в пользу Красного Полумесяца. Позднее стали возвращаться в свои усадьбы раненые и разочарованные люди. Они отчаянно ругали правительство, командование, генерала Лимана фон Сандерса и немцев вообще. Уверенность в германской победе поколебалась. Турция была почти разорена,— между тем, если б не вмешалась в войну, то разбогатела бы, как все нейтральные страны.

Впрочем, помещики на свои дела особенно жаловаться не могли, несмотря на реквизиции или же именно благодаря реквизициям. У Джамбула реквизировали и лошадей его конского завода, который уже был известен на всю Турцию. Оставили только пару-две для экипажа, клячу, возившую воду, и верхового арабского жеребца. К удивлению соседей и ведавших реквизицией чиновников, он уступил весь свой конский состав по цене низшей, чем та, ка-

кой он мог бы добиться при своих связях и богатстве. К еще бо́льшему удивлению приемщика, растроганно простился с лошадьми и кормил их сахаром, хотя в нем уже чувствовалась недохватка.

Своих работников, призванных в армию, Джамбул на прощанье угостил большим обедом и сделал им денежные подарки. Они и прежде его любили: он не перегружал их работой, хотя требовал и добивался того, чтобы они трудились как следует. Хорошо всех кормил, желавшим давал и вино. Джамбул теперь был значительно богаче прежнего. Научился сельскому хозяйству и не увольнял управляющего только потому, что тот был стар и был любимцем отца. Сам входил во все. Денег у него уходило мало. Так как все было свое, то он тратился преимущественно на книги и на вино. За границу ездил только еще один раз, в Париж, и опять было то же: сначала приятно и занимательно, потом скучновато.

С женами он жил отлично. Обе были молоды, веселы, хороши собой. Иногда ссорились и ругались одна с другой, но в драку это обычно не переходило, особенно в те часы, когда он бывал дома: немедленно их останавливал и мирил. Старался относиться к ним совершенно одинаково, чередовал милости, тратил на подарки одни и те же суммы,— знал, что цены на все им хорошо известны. Обе любили его и обе опасались, как бы он не женился еще на третьей жене. Заняты они были целый день. Работали по хозяйству и в саду, шили, ткали, вместе катались в коляске,— иногда ездил с ними и он. Обе умели читать, но не злоупотребляли этим искусством.

Хотя русские дела теперь интересовали его мало, он в 1917 году стал читать газеты с жадностью. Чувства у него были разные. Революционные настроения не возродились, и все же невольно ему приходило в голову, что, если б он остался в России, то был бы теперь никак не помещиком: «Конечно, прошел бы в их Учредительное собрание и там разглагольствовал бы на весь мир!» — Старался думать об этом иронически, но иногда думал, что «разглагольствовать на весь мир» было бы, пожалуй, приятно. Особенно внимательно он следил по газетам за карьерой Ленина. Его приход к власти и разгон Учредительного собрания решили для Джамбула вопрос окончательно: «Разумеется, отлично сделал, что бросил». Кавказ отделился от России. До него доходили стороной слухи о старых товарищах. «Когда будет заключен общий мир, съезжу в Тифлис. А во второй раз гражданства и взглядов менять не буду!»

Война продолжалась и с каждым днем все больше каза-

лась ему бессмысленным делом. Коран он читал теперь меньше, чем прежде, хорошо знал все сураты, а многие заучил наизусть. На вопрос о смысле войны ни Бергсон, ни другие философы не давали ответа. Джамбул говорил и с муллой в зеленой чалме. С тем, что люди забыли Бога и что в этом вся беда, он был почти согласен, но выводы отсюда ему были неясны. «Как же переделать людей? Значит, можно только стараться самому жить «праведно», разумеется, насколько это возможно». Джамбул не считал себя праведником и после того, как перестал быть революционером. Теперь он был просто верующим мусульманином, таким же, как большинство его соседей, не имевших бурного прошлого. В общем был доволен своей спокойной, прозаической жизнью.

Посыпались решающие события: наступление маршала Фоша, необыкновенные победы союзников, отставка Людендорфа, отречение царя Фердинанда, убийство графа Тиссы. Императорской Германии приходил конец. Ее союзники были растеряны. И уж совсем растерялись в первое время министры новых государств, прежде входивших в Российскую империю. Они так твердо верили в победу немцев, и теперь в самом спешном порядке переходили от преданности Вильгельму II к четырнадцати пунктам президента Вильсона. В Константинополе, в Софии началось что-то вроде политической паники. Все проклинали «право силы», все куда-то спешно уезжали, все говорили о способах отъезда: «Мы на «Тигрисе»... «Мы на «Решад-паше»... «Я по железной дороге».

И, наконец, было заключено перемирие,— к радости не только победивших, но и побежденных народов.

Соседи Джамбула тоже проклинали «милитаризм» и самыми ужасными словами ругали Талаата и Энвера. Никто не знал, отойдет ли к кому-либо их земля и куда она должна была бы отойти по пунктам Вильсона. Народ в Турции кое-где голодал, хотя меньше, чем в Великороссии и даже, чем в Германии. Люди, приезжавшие из Константинополя, рассказывали, что в «Пера-Палас» и у Токатлиана еще едят на славу и что туда приезжают для поправки новые богачи из Берлина и Вены. К Джамбулу иногда приходили измученные солдаты, когда-то у него служившие, и жалостно просили снова принять их на службу. Он принимал, кого мог.

Кое-как наладились сношения с Кавказом. И как-то получил телеграмму, очень его удивившую, не то, чтобы приятно, но и не то, чтобы неприятно. Она была от Люды Никоновой.

II

На скамейке под тутовым деревом сидели, с довольно угрюмым видом, обе его жены. Они были очень взволнованы: телеграммы в дом приходили не часто. Джамбул тотчас велел отправить рано утром на станцию коляску; это случалось еще реже.

Накануне за обедом он небрежно объяснил, что к нему приедет — ненадолго — одна русская знакомая, которую он знал по работе еще в России, и привезет ему письма от друзей. Женам было известно, что он когда-то занимался какой-то важной работой; не очень этим интересовались и предполагали, что это, верно, была война вроде прежних шамилевских,— о них они в детстве слышали восторженные рассказы стариков. Но не думали, что такой работой занимались женщины, и слово «ненадолго» их не очень успокоило. Спрашивать, однако, не решились. Он при них заказал повару завтрак и обед, а водовозу велел привезти лишнюю бочку воды для ванны, давно поставленной в доме. Вода разогревалась во дворе в медном чане.

Светло-серый арабский жеребец,— тот самый, уже очень немолодой, с огненными глазами, с огромными ноздрями, с точеными тонкими ногами,— уже стоял у подъезда; конюх держал поводья, Джамбул давно ездил не на английском седле, а на особо заказанном, с большой мягкой подушкой, с парчовой бухарской попоной. По старой памяти, жеребец еще немного горячился. Теперь Джамбул чаще ездил в городок в коляске и, если не брал жен с собой, то благосклонно принимал от них заказы и даже записывал, что надо купить. Они теперь делились сомненьями: почему едет верхом? Высказали предположение: хочет щегольнуть перед этой проклятой женщиной, так неожиданно нагрянувшей! Джамбул был еще хорош собой в своем живописном костюме, сшитом, по его рисунку, в Сивасе. Он и вскочил на коня более молодцевато, чем обычно в последние годы. С ласковой усмешкой кивнул женам (они сердито отвернулись), взял у конюха хлыст и, расправив поводья, выехал из усадьбы.

По расписанию поезд должен был приходить в девять; но мог прийти и в одиннадцать и в двенадцать,— поезда, теперь в особенности, уходили, когда было удобно начальнику станции и его уезжавшим друзьям, а шли как было угодно машинистам... Долго ждать на станции ему не хотелось, и он решил выехать из дому в одиннадцатом часу. «Рад я или нет? Не сообщила, зачем приезжает и надолго ли?» Был немного встревожен. Действительно хотел пока-

заться Люде в хорошем виде: верхом на арабском коне. Одеваясь, грустно думал: «Что поседел, это не беда, а вот хуже, что и полысел».

За воротами он перевел жеребца на рысь, но не успел проехать и километр, как вдали на дороге показался столб пыли. «Она! Уже!» — подумал он и по «уже» заключил, что скорее приезду гостьи не рад. Он стал сдерживать лошадь и увидел, что приближается не его коляска, а знакомая ему бричка, запряженная рыжей кобылой, принадлежавшая единственному станционному извозчику. «Так и есть, не нашел ее болван-кучер!» — с досадой подумал Джамбул. Извозчик-еврей остановил бричку и, повернувшись вполоборота к даме в дорожном балахоне, что-то ей сказал. Джамбул соскочил с коня очень молодцевато, кивнул извозчику, отдал ему хлыст и поводья коня, опять по старой памяти заржавшего. «Скоро и я буду, как он», — подумал Джамбул и, переменив усмешку на самую радостную улыбку, протянул вперед руки. Люда, ахнув, выскочила из брички и бросилась ему в объятия. С утра она себя спрашивала, *как* надо встретиться, он тоже об этом думал, но само собой вышло, что они горячо обнялись.

— ...Ты совершенно не изменилась! — Как твое здоровье? — Хорошо ли ты путешествовала? Верно, очень устала? — Устала, но не очень.— Это было так неожиданно! Помнишь у Дюма «Vingt ans après» [1]? — Не двадцать лет, но двенадцать. Как ты себя чувствуешь? — Отлично! Разве у меня плохой вид? Состарился? — Нет, нисколько! Все так же великолепен! — Отчего ты на извозчике? Ведь я послал за тобой коляску! — Так это была твоя коляска? Я не догадалась. И ведь я ни слова по-турецки не понимаю. Этот подошел ко мне, он знает по-немецки и по-французски.— Дай на тебя посмотреть.— Я, верно, вся черная от пыли.— Только бурая, но дома готова ванна.— Нет, ты мало изменился! — говорила она. Извозчик смотрел на них, вздыхая. Джамбула знал давно, но этой дамы никогда не видел. Не одобрял, что она целуется с чужим человеком.

— Ты тоже сядешь в эту бричку?

— Нельзя: куда же я дену своего жеребца? Но мой дом совсем близко,— сказал он, с удовлетворением замечая, что не разучился говорить по-русски.

— Ах, какой прекрасный конь! Это, верно, английский? Я так рада, что приехала. Так твой дом близко?

[1] «Двадцать лет спустя» *(франц.)*.

— И *версты* не будет,— ответил Джамбул, вспомнив слово, от которого давно отвык. И подумал, что все-таки рад приезду этой бестолковой женщины, не умеющей отличить арабскую лошадь от английской.— Я надеюсь, что ты у меня погостишь долго?.. Ну, поедем, поговорим дома. Я страшно рад!

Он опять молодцевато вскочил на лошадь и поскакал вперед, чтобы не пылить на бричку. Встретил Люду у ворот. Она во дворе опять бросилась ему на шею. Сидевшие на той же скамеечке жены остолбенели от негодования. Осмотрев ее издали с головы до ног, они ушли в дом, изобразив на лицах предел возмущенья и достоинства. Люда изумленно посмотрела им вслед, перевела взгляд на Джамбула и не сразу засмеялась,— не совсем естественно.

— Я, кажется, не вовремя?.. Постой, надо заплатить извозчику. Он согласился принять русские деньги, у меня ведь нет турецких...

— Все будет сделано. Он здесь и отдохнет,— сказал Джамбул и радушно, как всегда, попросил извозчика зайти закусить.

— Я знаю, вы у меня мяса есть не будете. Но рыбу у меня ели самые набожные евреи. И выпьете с дороги водки. Только для христиан и евреев держу ее в доме, нам, мусульманам, нельзя,— сказал он, смеясь. Извозчик тоже засмеялся; знал, что этот богач выпивает по две бутылки вина в день.

— Пойдем, Люда. Ванна будет готова через пять минут, а через час будем завтракать. Но сначала я тебе покажу свою избушку,— сказал он и повел Люду в дом. Она всем искренно восхищалась. Немного нервничала, ожидая встречи с теми женщинами.

Джамбул проводил ее в отведенную ей комнату. Для успокоения жен (и своего собственного) выбрал комнату отдаленную. «Изменилась, конечно, но не так уж сильно. Теперь глаза уж совсем без блеска». Он переоделся, тяжелые темно-красные ботфорты теперь его утомляли. Выбрал самый щегольской из своих европейских костюмов, впрочем уже старый, заказанный как раз перед войной. Спустился в погреб. Во всем доме запирались на ключ только дорогие вина; он объяснял женам: «Сам грешу, но не хочу вводить в грех других мусульман». Женам не очень нравилось, что он много пьет, но иногда грешили и они сами: для них он покупал дешевое сладкое вино. Хотел было взять к завтраку две бутылки, но подумал, что может все-таки сделать какую-нибудь глупость; взял только бутылку

шампанского. Ванна для Люды уже была готова, проверил, что слуга разбавил кипяток. Люда с непривычки могла сесть и в кипящую воду. Он прошел к женам.

Они были как фурии. Поговорил с ними, как всегда, важно и благожелательно: вел себя с женами как милостивый султан в гареме. Объяснил им, что в России всегда целуются после разлуки: это ничего не означает и признается обязательным. Сказал, что никакой третьей жены себе не заведет. «Достаточно и вас двух, даже, пожалуй, слишком много». На всякий случай вставил, что на этой и не мог бы жениться: она христианка. Вскользь добавил, что собирается скоро съездить с ними двумя в Сивас и, что если они будут хорошо себя вести, то он купит там те шали, которые им так понравились. У обеих лица стали светлеть. Все же они объявили, что к обеду не выйдут, так как не желают встречаться с этой... этой. Он строго их остановил и сказал, что к обеду их и не зовет: «Вам все пришлют в мою спальную». Обычно они туда допускались только на ночь: одна в первую, другая в четвертую ночь недели. Жены потребовали, чтобы он прислал и возможно больше крема, того, который был заказан повару для этой... Существительного не добавили. Он согласился, но потребовал, чтобы они перед завтраком вышли к гостье на три минуты: так полагается, ровно три минуты.

В ванне Люда себя спрашивала, хорошо ли сделала, что приехала. Его жены были для нее сюрпризом: почему-то всего ждала кроме этого. «Ну, я тут не засижусь! Завтра же уеду назад в Тифлис, сейчас ему это и скажу. Да, очень, очень изменился. Верно, теперь беспокоится, зачем я пожаловала. Да я просто хотела увидеть человека, который когда-то был близок. Что же тут такого? Правда, к Рейхелю я не поехала бы. Но неужели все это *серьезно!* А я думала, что знаю своего Джамбула!..»

Горничная, тоже испуганная приездом странной гостьи, доложила, что она уже одевается в своей комнате. Джамбул поцеловал каждую из жен, обеих одинаково,— иначе вышла бы новая драма. Постучав в дверь, вошел к Люде. В комнате пахло духами, все теми же *ее* духами. Сразу многое ему вспомнилось.

— Пойдем завтракать. Ты верно голодна, *Людочка?* — спросил он. На его лице была обыкновенная хозяйская улыбка.

— Как зверь.

— Вот и отлично. Я так рад твоему приезду.

— Будто? Я приехала без всякого дела, просто проведать тебя. Завтра должна буду уехать.

— Завтра? Ни за что! — сказал он. «Кажется, у него отлегло на душе»,— грустно подумала Люда. В столовую вошла тревожно, но жен не было.

— Да, завтра, мне необходимо.

— Ни за что тебя не отпущу,— сказал Джамбул. Люда с удовольствием увидела бутылку в ведерке со льдом. Очень давно не пила шампанского. Они сели за стол. Джамбул спрашивал ее о поездке. Думал, что о серьезном еще говорить рано. Но она этого не думала.

— Те две женщины твои жены? Они мне глаз не выцарапают?

— Не думаю,— так же шутливо ответил он.— Им известно, что я на третьей жене не женюсь.— По закону имею право еще на двух, но это у нас не очень принято.

— Ах, как жаль! — Она расхохоталась.— А ты кто теперь? Бей? Паша? Имам?

— Просто пожилой турецкий помещик.

Люда перестала смеяться.

— Подменили моего Джамбула! Как произошло это чудо!.. Так я их и не увижу? Я их сразу успокоила бы. Объяснила бы им, что ты для меня все равно, что ваш великий визирь, которому, кажется, девяносто лет.

— Ты ничего не могла бы им объяснить, потому что они ни слова по-французски не понимают. Но они к тебе выйдут познакомиться,— сказал он. Был не очень доволен ее шуткой.

Вошли жены. К его удовлетворению, глаза у них еще сверкали, но обе вели себя вполне прилично. Люда испуганно на них смотрела. Они что-то сказали, она что-то ответила. Джамбул переводил. Жены пробыли в столовой две минуты и удалились, оглядев внимательно и платье гостьи.

— Очень милые. Сердечно тебя поздравляю,— сказала она насмешливо, но довольно искренно. Мысль о «соперничестве» с дикарками не приходила ей в голову. Если в дороге она хоть немного еще думала о *прежнем*, то теперь совершенно перестала думать: «Разумеется, то кончено».

— Очень милые,— подтвердил Джамбул.— Давай, сейчас же выпьем шампанского.

— Как тогда за ужином у Пивато?

— Как тогда за ужином у Пивато,— равнодушно подтвердил он. Люда немного покраснела.

— Состарились мы оба с тех пор! И изменились. Да и в мире много воды утекло.

— И какой воды! Не только воды, но и крови.

III

Шел уже третий час дня, они все еще разговаривали. На столе стояли кофейный прибор и опорожненная на две трети бутылка шампанского.

— Ты почему так мало пьешь? Может, печень или что-либо в этом роде? — спрашивала Люда.

— Нет, печень пока в порядке,— ответил он обиженно.— Я больше пью вечером.

— Чтобы лучше спать?

— Я сплю отлично.

За завтраком она долго рассказывала о том, что с ней было во все эти годы, особенно в последние два. Перескакивала от революции к кооперации, от Ленина к Ласточкину, от Москвы к Ессентукам. Джамбул слушал и старался понять: она говорила сбивчиво, не всегда можно было догадаться, кто это «он»: Ласточкин или Ленин? «Такая же сумбурная, как была... И это Бог ей послал, на ее счастье, кооперацию»,— думал он не без скуки.

— Я уверена, что ты был очень удивлен, получив мою телеграмму. Может быть, даже неприятно удивлен? — сказала она, внимательно на него глядя.

— Что ты! Напротив, страшно обрадовался,— ответил он, стараясь вложить в свои слова возможно больше теплоты и искренности.

— Правда? До этой проклятой войны ты мог мне писать и не писал.

— Да я и не знал, где ты.

— Ну, теперь все равно: ты догадываешься, что я приехала не для попреков... Собственно, я и сама не знаю, для чего я приехала... Но на чем мы остановились? Да, значит, после того как я с ним встретилась...

— С кем?

— С этим твоим Китой Ноевичем. Он очень милый человек... Согласился теперь взять к себе мою кошечку до моего возвращения в Тифлис...

— Ах, да, что кошечка? Так ты с ней бежала на Кавказ? Это все та же?

— Нет, другая, та умерла. Правда, он очень симпатичный?

— Был прекрасный человек, а какой теперь, не знаю: мы все так изменились.

— Это верно! Ты не можешь себе представить, как мне противна стала революция! Еще тогда, после взрыва на Аптекарском острове... Ты ведь знаешь, он был повешен!

— Соколов? Да, знаю.

— Но особенно после всех дел Ленина. И вот он мне говорит...

— Ленин? Разве ты его видела?

— Да нет же, Кита Ноевич! Ленина я больше с Куоккала не видела и, надеюсь, никогда не увижу. Так вот он мне предложил службу в Тифлисе. Я долго колебалась, но после этого ужасного дела в Пятигорске не выдержала и решила бежать...

— Какого дела в Пятигорске?

— Неужели ты ничего не слышал? — Люда вздохнула.— Зарезали несколько десятков людей, а ты ничего не знаешь!

— Да ведь я русских газет сто лет не видел. А в годы войны не видел и французских. Немецкие просматривал, но я немецкий язык плохо знаю. Они о России торопились сообщать только самое неприятное, особенно после того, как захватили Украину. Вот как в Севастополе союзное командованье через парламентеров сообщило русскому о смерти Николая. А о Пятигорске они, кажется, ничего не писали, или я пропустил. В чем там было дело?

Люда рассказала.

— Они взяли заложниками всех видных людей. Могли взять и меня, но, к счастью, не взяли, хотя было схвачено много людей не более «видных», чем я. Были арестованы и знаменитости: генерал Рузский, генерал Радко-Дмитриев. Говорят, они им предложили перейти на советскую службу, но те отказались. И вот ночью их всех вывели к подножью горы и там убили. Не расстреляли, а зарезали! Две ночи подряд резали и бросали в яму, говорят, некоторых еще живыми. Тогда я вспомнила об его предложении и убежала в Тифлис. И это наши бывшие «товарищи»! Ведь я одно время обожала Ленина! Теперь очень стыдно вспоминать.

— Я не обожал, но и мне стыдно,— сказал он, и по его лицу пробежала тень. Люда вспомнила рассказ Киты Ноевича: Джамбул лично участвовал в экспроприации на Эриванской площади. «Как только он мог!» — Ты не кончила. Что же Кита?

— Он превосходный человек. Тотчас все сделал, принял меня на службу. Я всегда любила кавказцев, а теперь еще больше. Какие люди! Не относи этого впрочем к себе.

— Не отношу.

— Понимаешь, мне теперь было неловко: всего без года неделю у него служу и уже прошу отпуска. Дал и даже проезд устроил!

— Догадался, что ты едешь ко мне.

— Отстань, нет мелких.— Люда покраснела и от этого смутилась еще больше.— Да, мне захотелось увидеть тебя, поговорить с тобой обо всем. Ты ведь тоже далеко отошел от революции

— Давным-давно и очень далеко. Мне о них обо всех и думать гадко. Я впрочем понимаю, что если б войн и революций не было, то их пришлось бы выдумать. Они — отводные клапаны не столько для «народного гнева», сколько для избытка энергии и буйных инстинктов у разных людей. Особенно у молодых, но не только у молодых: есть и старики, еще шамкающие что-то революционное по пятидесятилетней инерции А что все эти Людендорфы и Энверы делали бы без войн? И что Ленины и Соколовы делали бы без революций?

— Ну, это не очень социологический подход к делу.

— Ненавижу социологов.

— Почему?

— Потому, что они ровно ничего не понимают. Они и теперь очень довольны Лениным: он им дал богатый материал для ценных суждений. Когда-нибудь они его превознесут и возвеличат: какой замечательный был социальный опыт! А левые биографы и историки превознесут тем более. Конечно, объявят, что он всю жизнь работал для счастья человечества. Между тем он столько же думал о счастье человечества, сколько о прошлогоднем снеге! Он просто занимался решеньем задач, занимался политической алгеброй. Ведь математику приятно решать задачи, которые ему кажутся важными: «я, мол, решил совершенно верно, а Плеханов сел в калошу...» Плеханов и в самом деле всю жизнь садился в калошу, это была его специальность. Я впрочем не отрицаю, что Ленин выдающийся человек. Умен ли он? В суждении о некоторых вещах он глуп как пробка, например, в суждениях о предметах философских, религиозных, искусственных...

— То есть в суждениях об искусстве,— поправила Люда. Она всегда любила такие его ошибки: это напомнило

ей *прежнее*. Ласково вспомнила и примету шрама, когда-то ею в нем замеченную. «Теперь взволновался!»

— Да, в книгах об искусстве. Я разучился говорить по-русски. Разумеется, он большой человек: необыкновенное волевое явленье, огромная политическая проницательность, это так. Он и не жесток и не зол. Конечно, и не добр.

— Он все-таки сложнее, чем ты думаешь,— опять перебила его Люда.— Ведь я хорошо его знала. Иногда он бывал очарователен. А врагов всегда ненавидел.

— И Марат, верно, иногда бывал очарователен, и Торквемада, быть может, тоже. Ты говоришь, он ненавидел врагов. Это едва ли верно. Разве Торквемада ненавидел еретиков, которых отправлял на костер? Просто их было *нужно* сжечь, что ж тут такого? Я представляю себе сценку. В Кремле идет заседание, собрались все главные. И вот получается телеграмма или там телефонограмма, хотя бы об этом пятигорском деле. Разумеется, редакция была самая благозвучная. Не сказали: «Мы их зарезали и бросили живыми в яму». Не сказали: «Мы устроили бойню». Верно сказали о каком-нибудь «мече народного гнева», о «необходимой ликвидации», привели мотивировку, «революционный долг», «буржуазия подняла голову», «враги народа строили козни» и так далее. Что же затем могло быть на заседании? Кто-нибудь из них, еще удивительным образом не совсем потерявший человеческое подобие, какой-нибудь Бухарин или Пятаков, верно вздохнул или даже мягко запротестовал: «Так все же нельзя!» Не очень, разумеется, запротестовал: все они давно ко всему такому привыкли. Совершенная сволочь, напротив, восклицала что-либо архиреволюционное: «Без малейших колебаний все одобрить!» «Теперь не время для полумер!»... А он, конечно, молча слушал — допускаю, что на этот раз без своей кривой усмешечки. Допускаю даже, что не назвал дела «дельцем». А затем просто предложил перейти к очередным делам.

— Нет, ты его упрощаешь. Он все-таки гораздо выше их всех.

Джамбул засмеялся.

— Да, конечно, гораздо выше их всех. Только это, право, означает не очень много. Он не вульгарный карьерист, не честолюбец как Троцкий, ни малейшего тщеславия я у него никогда не замечал. Он и не сверх-мерзавец, как Коба...

— Какой Коба?

— Джугашвили. Теперь он называется Сталиным. Этого я знаю с юношеских лет! Такого негодяя мир не видывал. По крайней мере, Кавказ не видывал, особенно *мой!* У нас бывали жестокие люди, но что-то в них, верно, наши горы очищали. Камо, например, никак не мерзавец. Слышала о Камо?

— Кажется, что-то слышала. Это тот, который после... после Кавказа (Люда не решилась сказать: после экспроприации в Тифлисе) отправился в Берлин, чтобы ограбить банк Мендельсона?

— Тот самый.

— Мне дон Педро рассказывал: в Берлине этот субъект несколько лет прикидывался буйно сумасшедшим и так хорошо, что обманул немецких врачей!

— Ему и прикидываться было не очень нужно: он был наполовину сумасшедший. Но он был герой, не могу и не хочу отрицать. К несчастью, он остался большевиком. Он не мусульманин.

— Так что же, что не мусульманин? — спросила Люда, насторожившись: «Теперь заговорит о своем нынешнем главном».

— Ничего. Мусульманская религия очищает людей больше, чем другие.

— Вот как? Почему же именно она? И при чем тут религия вообще? Это правда, что ты стал настоящим верующим мусульманином?

— Правда... Ты меня когда-то называла романтиком революции. Это было и верно, и нет. У меня когда-то револьвер был предметом первой необходимости...

— Да, ты мне на Втором съезде говорил о каких-то страшных делах,— сказала Люда, печально вспомнив о Лондоне. У него опять тень пробежала по лицу.

— Было. Я в молодости собственноручно убил провокатора.

— Этого ты мне не говорил!

— Не люблю об этом говорить. Жалею, что и сейчас сгоряча сказал.

— Убил! Как же это было?

— Он пришел ко мне. Не знал, что это уже известно. Разумеется, у себя дома я не мог его убить, это противоречило бы всем нашим вековым традициям. Разговаривал с ним как хозяин с гостем. Но затем, прощаясь, я вышел с ним за ворота, сказал ему, что он провокатор, и убил его.— Лицо у Джамбула дернулось.— Это не «романтизм»! От меня, революционера, был только один шаг до гангстера.

— Не до гангстера, а до абрека.

— Это совсем не одно и то же!.. И не у меня одного был только один шаг. Я был еще, пожалуй, лучшим из худших. В сущности, все у меня было от этого вашего «Раззудись плечо, размахнись рука!» Меня наша религия и спасла. Знаешь, у многих людей просто не было времени, чтобы подумать о жизни. Или «над жизнью»? Как правильно? И у тебя тоже не было времени.

— Никак этого не думаю. Не понимаю, при чем тут религия? Я живу без нее, и ничего. И тысячи людей нашего круга живут без нее.

— Политики даже почти все. Явно или скрыто. И вот что я тебе скажу. Почти в каждом политике в какой-то мере сидит — в лучшем случае Ленин, в худшем случае Троцкий.

— Что за вздор! — сказала Люда, вспомнив о своих друзьях кооператорах. «Они, кстати, кажется, все неверующие».

— Ну, не в каждом, а в большинстве и, разумеется, чаще всего в очень малой мере. Хочешь пример? Тот либеральный государственный человек, который имеет право смягчения участи осужденных на смертную казнь и отказывает, несмотря на ходатайство присяжных заседателей, это уже в зародыше большевик.

— Это частный случай и довольно редкий. Что ж, по-твоему, и в Жоресе был большевик?

— В нем нет, и, разумеется, вообще большая разница есть,— ответил он с досадой, как отвечают на доводы всем известные и надоевшие: — Жорес был добрый человек, он вивисекциями заниматься не мог бы, да и нельзя было тогда, так как революций не было. Вдобавок, он ни года у власти не находился. Всякая власть развращает, а революционная в сто раз больше, чем другая... Вот мы с тобой ушли от революции, хотя ушли по-разному: ты ушла, так как не была создана для политики, а я ушел потому, что вдруг почувствовал на спине бубновый туз.

— Что такое?

— Недавно я прочел какую-то книгу о нашей Крымской войне,— сказал нехотя Джамбул. («Какой же «нашей»: русской или турецкой?» — невольно спросила себя Люда.) И я там вычитал, что, ввиду недостатка в солдатах, русское командование велело выпустить из тюрем арестантов. И они сражались отлично, не хуже ваших солдат. Один из них совершил какой-то геройский подвиг на глазах у знаменитого адмирала, не помню Корнилова ли или

Истомина. Адмирал пришел в восторг и тут же повесил ему на грудь Георгиевский крест: арестант, а русский человек и герой! Так тот воевал и дальше, с Георгием на груди, с бубновым тузом на спине. О, я знаю, как условны и тузы, и ордена, но ведь я говорю фигурально. Большинство тех революционеров, с которыми я работал, *могли бы* иметь на груди боевой орден за храбрость, а на спине бубновый туз за другие свои особенности... Как Камо... Это, впрочем, не относится к главарям: Ленин, я думаю, никогда в жизни не был в смертельной опасности. Тем тяжелее будет ему умирать. А я, не главарь, видел перед собой смерть не раз. Имел право на орден, но вдруг в один, для меня все-таки прекрасный день, решил навсегда отказаться от бубнового туза.

— Ты очень несправедлив,— сказала Люда.— Я отошла от революции, но бубнового туза в ней не видела и не вижу.

— Именно *ты* не видела, потому что в ней собственно и не была. А я был и видел вблизи. Но странно, как меняются люди и без видимых причин. Вот я убил провокатора и ничего, а через несколько лет...— Он хотел было сказать Люде о гнедой лошади на Эриванской площади, но не сказал. «Она ничего не поймет. Да и никакой здравомыслящий человек не поймет». Он выпил залпом бокал шампанского.— Выпей еще вина. Не хочешь?

— Не хочу,— сказала Люда, отстраняя его руку с бутылкой.— Так можно стать и реакционером!

— Я не стану. Реакционеров по-прежнему терпеть не могу.

— Зачем уклоняться от этого разговора, уж если мы его начали? У тебя была настоящая революционная душа, и...

— Я взял эту душу напрокат у русских революционеров.

— Неправда. Правда то, что ты вечно менялся. Помнишь, ты мне читал когда-то стихи:

Смело братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет...

— Не помню,— угрюмо сказал Джамбул.— А если читал, то был дурак! Вот и встал сердитый вал! Хорош?

— Мы желали не этого.

— Так говорят все неудачники. Мы обязаны были подумать, *что* выйдет из наших желаний.

— *Мы* и думали, да другие помешали, бис бив бы их батьку,— сказала Люда.

— Теперь у вас, кажется, в моде другие стихи. Сюда недавно приехал один армянин из России. Дал мне «Двенадцать», поэму Александра Блока. Ты читала?

— Разумеется, читала. Она всех потрясла. Можно соглашаться или не соглашаться, но это гениальная вещь!

— Ровно ничего гениального! Я читал с отвращением. Блок очень талантлив, я не отрицаю. Некоторые его стихи такие, что никто другой не напишет. Но это просто звучные общедоступные частушки... Ведь есть такое русское слово «частушки»? Кто у вас теперь их в Москве пишет? Кажется, какой-то Демьян Бедный?

— Господи! Александр Блок и Демьян Бедный!

— Я их не сравниваю, хотя, может быть, и Демьян Бедный тоже «всех потряс», только читателей другого уровня, несколько менее высокого. А поверь мне, Александр Блок своих старых дев потряс только «изумительным финалом». Для этого финала вся поэма и написана, без него на нее и не обратили бы большого внимания. Разумеется, последняя фигура, которой можно бы ждать в конце такой поэмы, в компании хулиганов-убийц, это Христос. Так вот вам, нате, изумительный финал, и какой глубокий! — с внезапным бешенством сказал Джамбул.— Отвратительно! Даже независимо от того, что он оказал огромную услугу большевикам. Хотя Ленин, верно, хохотал над его поэмой, если прочел.

— Вот и ты «хохочешь». Блок никому никакой услуги оказывать не желал!..

— Опять «не желал»! Все вы «не желаете», но делаете черт знает что!

— Не буду спорить... Ну, хорошо, какая же теперь у тебя душа? Мусульманская?

— Да, мусульманская.

— А может быть, ты и ее ненадолго взял напрокат?

— Нет, эту напрокат не взял,— ответил он очень раздраженно.— И не хочу я об этом говорить!

— Как знаешь,— сказала Люда, взглянув на него с испугом.— А я все-таки не жалею, что заговорила. И не жалею, что к тебе приехала.

— Отлично сделала, что приехала,— сказал Джамбул, вспомнив долг хозяина.— Но зачем ты так скоро уезжаешь? Останься. Поживешь с нами. Я уверен, что, если ты постараешься, то тебя полюбят мои...— Ему неловко было ей сказать: «мои жены».— Право, останься.

Люда улыбнулась. Поймала себя на мысли: «Если б он не *так* сказал это, а так, как говорил у Пивато, вдруг я и осталась бы. с меня сталось бы!?»

— Не могу. Я обещала Ките Ноевичу вернуться к первому июня. Да надо и зарабатывать хлеб насущный.

— Тебе нужны деньги? Я могу тебе дать сколько угодно.

Она вспыхнула. «Мог бы теперь этого не говорить!»

— Нет, спасибо, у меня достаточно... А ведь Кита Ноевич дал мне к тебе и порученье. Все думает, не согласишься ли ты к ним вернуться. Должность для тебя будет и хорошая.

— Поблагодари его, но скажи, что я не принял бы и должности президента республики.

— Почему же?

— Потому, что политика — грязь. Желаю им всяческих успехов, нашим доморощенным Жоресам... О Жоресах ему, конечно, не говори... А вот я приеду туда — просто повидать родные места. Конечно, если они не погибнут. Очень часто гибнут Жоресы, такова уж их судьба.

— Когда ты приедешь? — радостно спросила Люда.— Ради Бога, приезжай поскорее.

— Не знаю, когда,— угрюмо ответил он, подавив зевок.

IV

Как ни огрубели люди в России после революции, как ни был каждый поглощен своими делами и заботами, друзья и знакомые проявили большое участие к Ласточкиным. Всех особенно поразило то, что несчастье произошло тотчас после первой вступительной лекции Дмитрия Анатольевича. Стало известно, что у него нет ни гроша. Леченье было в больницах бесплатным, хотя, кто мог, платил персоналу, что мог и от себя. Скоблин и другие врачи клиники решительно отказались от платы. Все же расходы естественно были. Негласно, по почину Травникова, образовался комитет друзей. Сам Никита Федорович внес немало из своего тощего кармана. Вносили и другие. Татьяна Михайловна ничего об этом не знала; но если б и догадывалась, то теперь к этому отнеслась бы почти безучастно: все кончилось, кончились и такие огорченья. Она попросила Травникова продать оставшуюся у них картину. Он продал за гроши и сказал ей, что получил три тысячи. По ее просьбе, оставил деньги у себя и платил за все, за что нужно было платить.

Тотчас после несчастья он написал в Петербург Рейхелю. Писать Тонышевым было невозможно: письма за границу не доходили и даже не отправлялись. От Аркадия Васильевича очень скоро пришел чрезвычайно взволнованный ответ. Он прислал едва ли не все свои сбережения, просил извещать его о состоянии двоюродного брата возможно чаще, приложил письмо к Татьяне Михайловне и просил его ей передать только, если врач это разрешит: «По тому, что переживаю я, могу логически заключить, в каком состоянии она!» — писал он Никите Федоровичу. В приложенном письме, тоже логичном и расстроенном, говорил, что приедет в Москву по первому вызову, если от этого может быть хоть сколько-нибудь ощутительная польза. Травников, давно с ним знакомый, знавший его репутацию злого или во всяком случае очень сухого человека, был удивлен. «Нет, люди лучше, чем о них думают мизантропы». Он показал письмо Татьяне Михайловне, ничего не сказав о деньгах. Она просила ответить, что никакой пользы от приезда не будет: это только взволнует и напугает больного.

Скоблин сообщил Татьяне Михайловне, что они могут оставаться в клинике «сколько понадобится». Уход тут был, конечно, гораздо лучше, чем мог быть дома. Горячо благодаря, она спросила о «деревяшках», о костылях, о повозочке: «Буду сама его возить»,— Скоблин сказал свое «разумеется» и вздохнул. «Как уж она, несчастная, будет возить! Сама как будто совершенно больна и еле держится на ногах»,— подумал он. Душевные и физические страдания Татьяны Михайловны еще увеличивались оттого, что она в день несчастья сама просила мужа не искать извозчика и поехать домой в трамвае. «Из экономии!»

Теперь она уже выходила к приезжавшим в клинику друзьям и старалась с ними «разговаривать»; они только испуганно на нее смотрели. Некоторые привозили подарки: леденцы, баночку варенья. К Дмитрию Анатольевичу еще никого, кроме Травникова, не пускали, и посетители узнавали об этом с облегченьем.

Зашла под вечер жилица их квартиры, просила не вызывать к ней гражданку Ласточкину, испуганно расспрашивала, как случилось несчастье. Сказала, что дома все в порядке, что она за всем следит, и уходя оставила лимон, немного сахару и полфунта настоящего чаю: «Мы ведь иногда кое-что достаем в кремлевском складе»,— сообщила она смущенно. О таких продуктах люди в Мо-

скве давно забыли. Еще не очень давно, после покушения Каплан, по слухам, был правительством послан за границу экстренный поезд за лимонами и еще чем-то таким для раненого Ленина.

Татьяна Михайловна прослезилась и тотчас написала жилице письмо. Благодарила в таких выраженьях, что Травников только развел руками. Продукты вызвали сенсацию в клинике. Ласточкину был немедленно подан стакан с тоненьким, точно бритвой отрезанным, кусочком лимона и двумя кусками сахара. Он выпил с наслаждением и потребовал, чтобы такой же пили и Татьяна Михайловна, и Никита Федорович, и сиделка. Они в один голос ответили, что выпьют попозже на кухне.

Дмитрий Анатольевич был все время в сознании, но оно не всегда работало хорошо. Когда в комнате никого не было, он иногда плакал. Прекрасно понимал, что жизнь кончена, что жить больше незачем, не для чего, а скоро станет и не на что. «Что же будет с Таней?» И ему все чаще вспоминалось, что в его квартире, в ящике, под бумагами, хранится металлическая мыльница, тщательно обернутая двумя носовыми платками, которые в свое время разыскивала Татьяна Михайловна: — «Куда только они делись? Я твердо помню, что оставила тебе десять».

V

Тонышев был оставлен Временным правительством на прежней дипломатической должности. К февральской революции он отнесся без восторга и печально спорил об этом с женой: Нина Анатольевна была именно в восторге, говорила, что просто влюблена «в них во всех, особенно в Керенского», и высказывала мнение, что Алексей Алексеевич теперь должен выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание.

— Я и в Государственную Думу не хотел идти, а в это Учредительное собрание не пойду ни за что, даже если б меня выбрали! — угрюмо отвечал Тонышев.

Как он ни возмущался политикой прежнего правительства, как ни сочувствовал убийству Распутина, Алексей Алексеевич был очень расстроен падением династии Романовых: «Много, очень много красоты в жизнь вносил монархический строй». Он вел себя в отношении новой власти вполне лояльно, послал поздравление министру иностранных дел Милюкову, которого очень уважал, устроил у себя прием печати и в кратком слове объяснил, что те-

перь новая, свободная Россия с удвоенной энергией поведет войну, в теснейшем согласии со своими доблестными союзниками. Никого не хвалил и не осуждал.

Он много работал. С самого начала его работа в небольшой нейтральной стране заключалась преимущественно в собирании сведений о закулисной дипломатической деятельности Германии и Австро-Венгрии, об их попытках завязать связь с французскими и английскими государственными людьми, о переговорах князя Бюлова. Бывший канцлер, по-видимому, был, по-прежнему, очень доволен собой, своими талантами и своими делами: он ничем, ни в чем не виноват, войну не умели предотвратить его бездарные преемники. После Танжера он еще долго вел политику в стиле Людовиков и Фридрихов, затем ушел в отставку, в чем-то не поладив с императором. Позднее ему Вильгельмом было поручено своим очарованием и дипломатическим гением отвлечь Италию от участия в войне; в Риме он долго очаровывал итальянских государственных людей, сыпал стихами, шутками, цитатами, но Италии не очаровал. Она приняла участие в войне на стороне союзников. Тем не менее Бюлов остался столь же неизлечимо в себя влюблен, как был всю жизнь.

Попытки «войти в контакт» (это было принятое выражение) с Россией делались и через Тонышева — разумеется, при посредстве граждан нейтральных стран. Он разговаривал с этими людьми черезвычайно холодно и сообщал в Петербург об их суждениях и намеках. В меру возможного старался узнавать и такие новости, которые могли бы быть полезны военному ведомству. Для этого ему иногда и самому, в помощь русской разведке, приходилось «вступать в контакт» с людьми, уж совсем сомнительными или открыто продажными. Делал это брезгливо. Вдобавок ему казалось и невозможным, чтобы какие-то проходимцы могли хоть что-либо знать о намереньях германского правительства и, тем менее, о планах Гинденбурга и Людендорфа. Но кое-что оказывалось правдой, и он убеждался, что совершенного, непроницаемого секрета нет не только у дипломатов, но и у военных.

После октябрьского переворота он без колебаний послал в Петербург очень краткое извещение о своем уходе в отставку и решил переехать во Францию, не дожидаясь ответа,— «с кем же теперь вообще говорить?» Сослуживцы советовали ему этого пока не делать: ссылаясь на формаль-

ные обстоятельства, на казенные деньги, на необходимость «поддерживать статус». У всех была уверенность, что большевики падут через несколько недель. С этим он соглашался, но говорил, что ему противно сохранять должность; некому посылать доклады, не от кого получать инструкции, нельзя, ничего не делая, брать жалованье из принадлежащих государству сумм. Возможно лучше наладив формальные дела, сдав должность помощнику, он уехал с Ниной Анатольевной. На вокзал их на этот раз провожали только сослуживцы, да и то не все.

В Париже они достали небольшую меблированную квартиру. Теперь оказалось очень кстати, что он перевел за границу свои частные средства. Их могло, при скромной жизни, хватить на несколько лет, и вначале Тонышевы не очень старались об экономии в расходах. Достать горничную было нелегко, к русским теперь шли неохотно: одни простые люди разорились оттого, что большевики перестали платить по займам, другие после Брестского мира считали всех русских изменниками. Тонышевы наняли швейцарку. Алексей Алексеевич в первое время еще устраивал небольшие приемы, уже без завтраков и обедов. Посещали их только люди второстепенные, больше прежние друзья по дипломатическому ведомству.

— Да и те верно немного опасаются, как бы ты не попросил у них денег взаймы,— говорила, смеясь, Нина Анатольевна. Он пожимал плечами и старался казаться равнодушным. Но его больно задевал конец русского престижа и связанное с этим понижение личного почета, которым он всю жизнь пользовался.

Они очень беспокоились о Ласточкиных. Писем из России больше никто не получал. Алексей Алексеевич в начале октября послал письмо с «вализой». Никакого ответа не было. Благоразумные люди говорили, что письма из-за границы, если и дойдут, то лишь скомпрометируют получателей, а уж отвечать оттуда совсем не безопасно. Лучше вообще пока не писать: ведь скоро все там кончится.

То же говорили и газеты: большевистский строй идет к концу; Ленин потерял всякий авторитет; по-видимому, скоро на его место сядет Троцкий или Зиновьев, уже под него подкапывающиеся и даже было ненадолго его арестовавшие. Газеты сообщали (более серьезные с оговорками о недостаточной осведомленности), что в России идут грабежи, убийства, пожары. Тонышевы читали с ужасом и тщетно старались успокоить друг друга. Как-то Алексей Алексеевич вспомнил о парижском притоне, в котором был

когда-то с Людой: «Вот он, вот «bal d'Octobre!» — подумал он, стараясь разобраться в своем чувстве. Но, кроме мысли, что социальную революцию повлекли за собой социальные контрасты, ему ничего в голову не приходило. «А это ведь довольно банальная мысль».

К разгону Учредительного собрания он отнесся равнодушно: в этом собрании было разве лишь несколько человек, которым он мог бы по-настоящему сочувствовать. Позднее убийство царской семьи его совершенно потрясло. Он несколько дней ходил сам не свой.

И, наконец, пришла победа, полная победа над Германией. Радость Тонышевых была необычайно велика. Алексей Алексеевич был очень доволен и тем, что Вильгельм II бежал в Голландию,— жалел только, что царь до этого не дожил: это было бы для него утешеньем.

«Как странно, что три знаменитейших династии мира погибли именно из-за войны! — думал Тонышев.— Разумеется, воевали во все времена и республики, а все-таки для войн созданы монархии, да еще дворянство. На войнах создались их слава и их добродетели. Правда, любовь к армии, к знаменам, к мундирам, это природное свойство человека. Недаром бегут на парадах за войсками дети всех сословий и так радуются, когда им дарят сабли. Недаром даже революционеры подражают военным традициям и военной словесности. Когда-то короли это понимали. При Людовике XIV сын мужика или лавочника мог стать маршалом Франции, а при Людовике XVI — таков хваленый «прогресс» — не мог дослужиться до офицерского чина. Наполеон, имевший только четыре поколения дворянства,— немногим меньше, чем я,— мог быть при старом строе только ротным командиром, а до полкового дослужиться не мог,—а как на беду он хотел, очевидно, стать полковым командиром. И монархи не поняли, что *эта* война будет совсем не такой как прежние, что мир перестанет ценить военную доблесть и дворянские понятия о чести. Теперь чуть ли не в одной Англии военные заслуги дают дворянство и титулы».

Алексей Алексеевич, впрочем, не очень верил в породу, хотя иногда и нерешительно ссылался на то, что есть ведь порода у лошадей, у собак, как же ей не быть у людей? Собственное его дворянство было не старым: его прадед вдруг, ни с того, ни с сего, получил высокий чин от Павла, которому чем-то понравился. Тонышев не мог думать,

что от этого их порода стала лучше: голубой крови не прибавилось. Но он считал очень полезным для государства обилие отличий, чинов, орденов. «На этом многое везде держалось веками, так все дорожили — и я дорожил — звездами, лентами, статскими и действительными, и это нс стоило казне ничего. Республики и эта война все изменили. Надо создавать новые традиции, но какие?.. Да, монархии сами себя погубили!»

Он читал много газет. Из Швейцарии ему доставлялись и немецкие. Хаос в Германии вначале доставлял ему радость: «Насадили у нас большевиков, теперь испытайте на себе!» Но злорадство скоро у него прошло. Теперь его преимущественно интересовало, как ученая страна выйдет из положения, которое она сама считала довольно естественным для неученой. Ненависть людей друг к другу, ему издали казалось, была в Германии еще больше, чем в России. Левые газеты поливали помоями правых, правые — левых. Обе стороны возлагали ответственность за катастрофу одна на другую.

Тонышев надеялся, что освободившиеся с победой огромные силы союзников тотчас свергнут в России большевиков. Но эта надежда очень скоро ослабела, потом совершенно исчезла. Вначале русские дипломаты и политические деятели, со всех сторон съезжавшиеся в Париж, предполагали, что как-нибудь, хотя бы не на основе полного равноправия, они будут привлечены к участию в мирной конференции и в предварительных совещаниях. Но понемногу выяснилось, что об этом и речи нет. Не очень думали вожди союзников и о свержении советского строя вооруженной силой. О Клемансо и Ллойд-Джордже говорили, что они терпеть не могут Россию. О Вильсоне стали говорить, что он имеет симпатии к большевикам и желал бы устроить где-либо мирное совещание между ними и их русскими противниками. Американского президента газеты еще называли светочем человечества, но жар их в этой оценке заметно уменьшался во всех странах.

— Нет, ничего они для нас не сделают, хотя Россия потеряла в войне, верно, в двадцать раз больше людей, чем Соединенные Штаты! — с горечью говорил Тонышев.

Изредка у наиболее известных русских дипломатов союзники, без большого интереса, еще о чем-то вежливо осведомлялись. Но, видимо, были очень довольны, что Россия к переговорам не привлечена, что она больше никому не нужна, что ей ничего не нужно отдавать из пло-

дов победы,— вполне с нее достаточно того, что отменен Брестский договор.

В посольстве на улице Гренелль Тонышев беспрестанно встречал старых и более новых политических деятелей,— в душе предпочитал первых, если они не были уж совершенными зубрами. Новые его несколько раздражали: «Все они только себя считают людьми будущего или даже настоящего, а с представителями старого строя разговаривают разве по доброте и снисходительности. Забавно, что они называют большевиков «захватчиками» и «узурпаторами». А кто же были они сами? В феврале был такой же захват власти, как в октябре. Так Тушинский вор приказывал драть кнутом всех следующих Лжедмитриев»,— раздраженно думал Тонышев. Впрочем, теперь его раздражало почти все. Раздражали намечавшиеся условия мира,— «все-таки немцы воевали геройски, и в прежние времена, при монархиях, о них хоть говорили бы не в таком тоне. Кончились рыцарские традиции! Где это видано: заключать мир, даже не вступая в переговоры с побежденным противником? И какая цена такому миру!» Раздражало его торжество «всевозможных Бенешей». «Бенеши» с необычайной быстротой появились и на территориях Российской Империи. Объявили эти территории независимыми, приезжали в Париж с большими деньгами, устраивали приемы для печати, и их встречали гораздо лучше, чем прежних русских послов.

— Все торчали в приемных немецких министров и генералов, когда у тех дела шли хорошо. А теперь из Берлина кружным путем приехали в Париж и торчат в приемных союзных министров! И совершенно забыли, что были когда-то в России членами Думы или Временного правительства, или же занимались мирно кто адвокатурой, кто службой, кто коммерцией, ни минуты и не думая об отделении своих стран! — говорил он жене.

Нина Анатольевна с ним соглашалась, но не так гневно. Ее забавляли фамилии министров и делегатов новых стран.

— Послушай только,— говорила она, отрываясь от газеты: — Топчибашев, Мехмандаров, Мейровиц, Поска, Сабахтарашвили! А по имени одного зовут Али-Мардан-бек! On ne s'appelle pas Ali-Mardan-bek!

Это замечание Алексею Алексеевичу не понравилось. Позднее он чуть не устроил жене сцену за то, что она произнесла слово «бош».

[1] Нельзя иметь такое имя — Али-Мардан-бек! *(франц.)*

— По-моему, это так же некультурно, как говорить «жид» или называть изменника Троцкого «Лейбой»!

— Алеша, да ведь все теперь говорят «бош».

— Именно, все. Это и очень скверно.

Поездка Буллита и предложение союзников русским встретиться с большевиками на Принкипо привели Алексея Алексеевича в совершенное бешенство. Тут он сходился со всеми русскими политическими деятелями, и старыми и новыми.

— Замечательный психолог ваш Вильсон! — сказал он в сердцах старому знакомому, нейтральному дипломату.— Хороша была бы встреча! Я первый вцепился бы в горло этим господам!

— Но что же вы предлагаете? — спросил дипломат с недоумением. Он никак не представлял себе, чтобы Тонышев мог вцепиться в горло кому бы то ни было.

— Я предлагаю то единственное, что может предложить разумный человек: союзные правители, в помощь Деникину и Колчаку, должны предписать маршалу Фошу двинуть войска против большевиков. И еще лучше, предписать это сделать немцам: они у нас большевиков посадили, пусть они их и свергают. И, поверьте, большевики трясутся от ужаса: только этого они и боятся.

— Да ведь это невозможно!.. А если все вы, les ci-devant, так думаете, то я не сомневаюсь, что союзники будут очень рады: они только и хотят, чтобы вы отклонили их предложение.

— Может быть, они будут рады не очень долго,— ответил Алексей Алексеевич.— Впрочем, хороша теперь и их собственная трогательная дружба.

Действительно, маленьким, очень маленьким утешением для него было то, что союзники уже все ненавидели друг друга. По Парижу ходили рассказы: Клемансо больше не раскланивается с Вильсоном. Соннино называет президента Соединенных Штатов «американским сапожником». На заседании Трех «Отец Победы» назвал Ллойд-Джорджа лгуном, а Ллойд-Джордж чуть ли не схватил его за воротник, потребовал извинений, так что Вильсон, почти одинаково ненавидевший обоих, еле их разнял; французский премьер отказался принести извинения английскому премьеру, но выразил полную готовность дать ему удовлетворение, по его выбору, на шпагах или на пистолетах (это очень понравилось Тонышеву). Со смехом говорили о мерах, принимавшихся в Париже иностранными поли-

циями к охране своих высокопоставленных особ: хватали всех, чьи лица казались подозрительными. Так американские сыщики, уж совершенно никого в Европе не знавшие, приняли Клемансо за анархиста и арестовали его у входа в отель «Крийон»; а их товарищи, по той же причине, задержали в холле «Мажестика» маршала Фоша, явившегося в штатском платье на завтрак к начальнику британского генерального штаба.

Все эти рассказы очень веселили Париж и еще способствовали радостному оживлению. Об условиях мира никто в населении не думал. Важно то, что войны больше никогда не будет. С удовольствием узнавали о создании новых государств и спрашивали друг друга, какие у них столицы и есть ли у них уже гимны. Тем не менее французам нравилось, что «Отец Победы» покрикивает на представителей малых стран; орал на Венизелоса в споре о греческих делах, обвиняя его в непонимании и в невежестве. Клемансо, особенно после покушения на него анархиста, был на вершине популярности. Все знали, что он будет президентом республики, и только с тревогой спрашивали, сохранит ли он свои умственные способности до конца президентского срока: все-таки ему тогда будет уже под девяносто лет. Кое-кто по этой причине нерешительно предлагал кандидатуру Поля Дешанеля. В общем оживлении невольно принимали участие и русские. Некоторые из них, еще имевшие дипломатический паспорт и связи, иногда получали приглашения на приемы. Мог бы добиться приглашения и Тонышев, но он ничего для этого не сделал и почти ни у кого из иностранцев больше не бывал.

Уже после подписания мирного договора, в посольстве, где, по-прежнему без большого дела, собирались видные люди, он встретил знакомого политического деятеля, только что приехавшего из России кружным путем через Японию и Соединенные Штаты. Тот после доклада крепко пожал ему руку и выразил сочувствие.

— В чем?.. В чем?..— спросил Алексей Алексеевич, бледнея. Знакомый удивленно на него взглянул и пожалел о своей оплошности.

— Да я слышал... О брате вашей жены... Я не думал... Может быть, я и ошибаюсь?..

— Что такое? Ради Бога, скажите правду!.. Мы ничего не знаем!

Он узнал, что Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна в Москве покончили с собой.

VI

Ласточкиным было сказано, что оставаться в клинике можно «сколько понадобится», но это были слова неопределенные. Разумеется, их не гнали, их по-прежнему очень хвалили врачи и сиделки. Но они сами понимали, что оставаться без конца нельзя. Недели через три Скоблин, встретившись в коридоре с Травниковым, пригласил его в свой кабинет. Никита Федорович испуганно на него взглянул: давно ждал неприятного разговора. Вышло все же не так плохо. Хирург сказал, что необходимо перевести Дмитрия Анатольевича из отдельной комнаты в общую палату и просил его к этому подготовить:

— ...Вы сами понимаете, как обстоит дело. Я уже, разумеется, отказал по крайней мере десяти человекам, находящимся в таком же положении, как он. Все московские больницы битком набиты людьми. А отдельные комнаты теперь уж величайшая редкость. В прежние времена, до *них*, это было отчасти связано с денежным вопросом, и больные рассматривали перевод в общую палату как какое-то понижение в чине. Но теперь все бесплатно, в этом я отдаю *им* справедливость, так что вопрос уж совершенно не в этом. Дмитрий Анатольевич вне опасности. Лучшим его положение вряд ли станет. Уход в общей палате точно такой же. Я обхожу всех больных каждый день. Кроватей в палате, разумеется, только восемь.

— Значит, в общей палате они могут оставаться сколько угодно?

Скоблин развел руками.

— «Сколько угодно»! Разве теперь можно заглядывать хоть на месяц вперед. Меня и самого могут выставить в любую минуту. Удивляюсь, как не выставили до сих пор... Татьяна Михайловна никогда с вами о «будущем» не говорила?

— Говорила о возвращении домой. Им оставили две комнаты. Тоже могут в любую минуту одну отобрать.

— Две комнаты огромное преимущество. Во всяком случае ей было бы удобнее, чем спать на диванчике.

— Если есть что, о чем она, несчастная, совершенно теперь не думает, то это о *своих* удобствах!

— Да, я понимаю. Она очень достойная женщина. Но в общей палате она, разумеется, оставаться на ночь не может... Они, помнится, во втором этаже живут?

— Во втором.

— Разумеется. Костыли и повозочка есть, но о том,

чтобы он спускался по лестнице, нет речи. В первое время мы могли бы посылать служителей, чтобы они его сносили вниз. Впрочем. и не такая радость ездить в повозочке по улицам... Как знаете. По-моему, лучше ему полежать пока можно в общей палате. Жить же ему, разумеется, не очень долго, как впрочем и нам всем. Жили и померли. и ничего такого нет. Разве вам, Никита Федорович, страшно?

— А вам нет? — сердито спросил Травников.

— Разумеется, нет.

Татьяна Михайловна мучительно колебалась. Ей казалось невозможным уходить от мужа на ночь. Решил вопрос сам Дмитрий Анатольевич.

— Давно пора вернуться!.. И не надо откладывать! — прошептал он еле слышно, но решительно.

Металлическая мыльница находилась дома. «Да если б была и здесь, то как же можно это сделать в общей палате?» Он думал о самоубийстве с каждым днем больше и только с ужасом поглядывал на жену. «Что я ни сделал бы, *один* из жизни не уйду».

Было решено переехать через два дня. Точно, чтобы их утешить, Скоблин разрешил Татьяне Михайловне читать вслух мужу:

— Разумеется, часика два-три в день, не больше. И не газеты, а книги, и такие, которые не могли бы его волновать,— сказал он и сам принес бывший у него в кабинете том Пушкина. Дмитрию Анатольевичу и не хотелось слушать, но это было морально легче, чем разговаривать или молчать с женой. Сначала он только делал вид, будто слушает. Затем стал вслушиваться.

— Какая у него... мудрость,— еле слышно выговорил он.— Всем надо учиться... Да, именно «благословен... и тьмы приход»...— Он вспомнил эту музыкальную фразу Чайковского, всегда сильно на него действовавшую, и незаметно смахнул слезу. Руки у него уже работали сносно. «Чтобы проглотить, сил хватит...» И тотчас та же фраза отозвалась в памяти Татьяны Михайловны.

Его перевезли домой в карете в сопровождении младшего врача и сиделки. Служители подняли его в квартиру. В передней подростки молча смотрели на него, как на диковинку. Доктор обещал наведываться часто. Сиделка обнялась с Татьяной Михайловной и сказала, что будет приходить каждый день. «Скоро будете, Дмитрий Анатольевич, совсем в порядке»,— обещал врач. Приехал и Никита

Федорович с какой-то едой. Он посещал Ласточкиных ежедневно и, как их ни любил, уходил от них всегда с облегченьем.

Они остались одни. За стеной шумели подростки. «Верно, обмениваются впечатленьями»,— подумал Дмитрий Анатольевич. Жена подошла к нему, спросила, удобно ли лежать, было ли лучше в клинике. Он чуть наклонил голову и глазами дал понять, что хочет поцеловать ей руку. Чувствовал к ней все бо́льшую жалость. «Господи! Если б не она, как было бы просто!.. Ведь выходит: почти убийство...»

Как ни худо было в клинике, дома оказалось неизмеримо хуже. Быть больным в Морозовском городке казалось естественным. Вернее, там все пациенты жили искусственной, *временной* жизнью. В определенные часы приходили врачи и сиделки, измеряли и записывали температуру, давали лекарства, делали впрыскиванья. В случае надобности можно было немедленно вызвать дежурного врача. Он тотчас делал необходимое и действовал одним своим успокоительным видом. В определенные часы приносилась больничная еда, о ней заботиться не приходилось, и она была все же несколько лучше той, которую можно было достать дома.— Теперь была *окончательная* жизнь, и все лежало на Татьяне Михайловне.

Она уходила на час или два и кое-как доставала еду. Весь остальной день сидела так же при муже. По-прежнему приезжал Никита Федорович и говорил одно и то же: «Вид нынче у вас прекрасный. Вот видите, барынька, поправляется богдыхан! Ведь и болей больше почти нет...» Просил не беспокоиться о деньгах. Между тем совершенно не знал, где их достать. Об университетской пенсии говорить не приходилось. Дмитрий Анатольевич прочел всего одну лекцию. Все же Травников немного надеялся, что могут, ввиду исключительных обстоятельств, дать единовременное пособие, и искал хода к народному комиссару. Татьяне Михайловне ничего об этом не говорил. Провожая его в переднюю, она благодарила, иногда со слезами:

— Вы относитесь к Мите просто как родной брат. Век буду жить — не забуду!

— Полноте, барынька,— отвечал он и думал, что едва ли она будет «век жить».

Знакомые говорили о Дмитрии Анатольевиче: «Он несет свой крест с великим достоинством». Это до него дохо-

дило. «Да, крест,— думал он.— Но откуда же взяться великому достоинству? Живу милостыней... А эти грязные ужасные заботы о моем обрубленном теле, об его отправлениях!..» Теперь и жизнь после октябрьской революции, его прогулки по старой Москве, все казалось ему чуть не раем.

VII

«Каждое поколение занимает в истории человечества приблизительно одну сотую ее долю»,— думал Дмитрий Анатольевич. Устало проверил: «Да, приблизительно одну сотую... Едва ли было когда-либо поколение, подобное нашему. Мы как-то отвечаем за полвека истории. Виноваты? Да, вероятно, но в чем? И что же я и лично сделал уж такого дурного? Жил честно, никому не делал зла, по крайней мере умышленно или хотя бы только сознательно. Работал всю жизнь много, помогал работать и жить другим, старался приносить пользу России. За что же именно меня так страшно покарала жизнь? Правда, покарала лишь под конец. До того и я, и Таня были счастливы, на редкость счастливы. Неужто именно за это покарала? В России теперь почти все несчастны, но не все и не так несчастны, как мы. А в других странах счастливы тысячи, миллионы людей хуже, чем *был* я, неизмеримо хуже, чем Таня».

Против его воли, он замечал, в его душу прокрадывалось то, что называли ядом материализма. «Что же делать, как *они* ни гнусны, но кое-что у них правильно, по крайней мере в отрицательной части их ученья. Как можно было бы объяснить мое несчастье с религиозной точки зрения? Никак нельзя: не «испытанием» же! А с точки зрения нашего учения? Какое же было наше ученье? Лавров, Михайловский, Плеханов, Милюков? Ведь со всеми различиями между ними, они в каком-то смысле одно и то же. Вера в прогресс? Эта вера моего случая не предвидит и к нему не относится. Большевики, по крайней мере, откровенно думают: личность не имеет значения, пропал человек, ну и пропал, какое кому дело? И так оно и есть: никому, кроме Тани, до меня никакого дела нет. И даже Травников уже, вероятно, немного нами тяготится и в душе, бессознательно, желает, чтобы я умер поскорее, а то слишком много забот... Нет, несправедливо и гадко так думать, я знаю. Но чем же я виноват, если этот яд уже проникает в мою душу, как верно проникает в душу всех.

Разве недавно люди не мечтали при мне вслух о германской интервенции, о войсках Гинденбурга в Москве! Мне теперь и Гинденбург ничем помочь не мог бы... И никакой свободный строй... Но все-таки вдруг все-таки есть загробная жизнь? Ах, дай-то Бог!!! И как же я об *этом*, о самом главном думаю так мало!»

Ему не раз приходилось читать, будто люди на пороге смерти, например, смертельно раненные в сраженьи, думают необычайно напряженно, в какую-нибудь одну минуту вспоминают всю свою жизнь. С ним в день несчастья этого не было. Тогда на мостовой он мгновенно потерял сознание. Затем в клинике как будто на мгновенье пришел в себя, как будто даже узнал Скоблина, и скользнула мысль: «Хорошо, что он здесь... Кажется, со мной несчастье... Где же Таня?..» Слышал негромкие голоса, слов не разобрал. «Не операция ли!..» Успел еще подумать, что, быть может, в жизни больше ничего не увидит, кроме этого серого потолка с люстрой, с режущим глаза светом. Показалась рука в белом рукаве. «Анестезист!» И все померкло. Он пришел в себя лишь в маленькой комнате клиники. Но твердо помнил, что никаких воспоминаний о жизни, никаких важных мыслей, ни даже желанья что-то вспомнить, о чем-то думать у него на операционном столе не было. Не было их и в первые дни после ампутации ног, когда он понял, что навсегда стал калекой, обрубком.

Мысли о самом важном пришли позднее. Теперь он больше всего думал о *будущем*. «Если в самом деле есть будущее? Ведь в это твердо верят миллионы людей! Думал и о настоящем, меньше о прошлом. Думал о житейских делах. Он догадывался, что Никита Федорович не мог выручить за картину три тысячи. Догадывался, что для него собирают деньги. В первую минуту это причинило еще новую душевную боль. Представил себе, как ходит по знакомым Травников, как некоторые дают, другие отказывают, быть может, ищут предлога для отказа: «У меня, к несчастью, у самого сейчас очень мало»... «Я сердечно сочувствую, они хорошие люди, но кругом так много горя, а я ведь их и мало знал». Особенно больно ему было за жену: «И через это прошла!..»

«Что ж, я, когда мог, немало помогал людям»,— тяжело дыша, отвечал он себе, не решаясь взглянуть на сидевшую рядом жену. Не хотел сказать ей,— «может, она не догадывается?» Если она прежде и не догадывалась, то теперь точно прочла его мысли, по той же все усиливавшейся между ними телепатии. И он прочел ее слова, почти такие

же: «Сколько ты сделал для других! Чем мы лучше? И мы все отдадим, когда падут большевики». Он теперь твердо знал, что не доживет не только до падения большевиков, но и до будущей недели: беспрестанно думал, что нельзя откладывать *дело*: «Чем скорее, тем лучше и легче». И еще подумал: «Мы не отдадим, но Аркаша отдаст. И действительно *теперь* это уже и не важно».

Когда-то, еще до войны, Ласточкин решил составить завещание. Сказал об этом жене, та отнеслась к его решенью иронически:

— Самое неотложное дело! Перестал бы ты думать о пустяках!

— Вовсе это не пустяки. Все под Богом ходим. Мало того, надо и место нам купить на кладбище. Это многие делают.

Мысль о покупке общего места на кладбище была ей менее неприятна, но она продолжала шутить:

— Хорошо, тогда и я составлю завещание. Ты ведь мне подарил немало денег. Только я завещаний составлять не умею. Составь сам. Разумеется, в свою пользу. Так и быть, все отдам тебе, а не душке-Собинову и не футуристам.

— Я тоже не знаю, как составляются завещания. Приглашу Розенфельда,— сказал Дмитрий Анатольевич. Это был его деловой адвокат и их приятель.

Адвокат одобрил мысль о двух завещаниях.

— Каждый из нас обязан об этом подумать. И я подумал, хотя я лишь ненамного старше вас. Помню, что мне говорил мой знаменитый коллега, покойный Спасович: «Я понимаю, что можно без завещания умереть, но не понимаю, как можно без него жить»,— смеясь, сказал Розенфельд.

— Это верно. Ну, а если б, Олег Ефимович, я умер без завещания? Кому тогда все достанется? Моей жене?

— Нет, ей только часть. Ведь могут быть и другие наследники по закону.

— Тогда составим два завещания.

Они и были составлены. Ласточкин поделил треть своего состояния между Московским университетом, Техническим училищем и Академией наук, две трети завещал жене: она все завещала ему. Они побывали на кладбище и приобрели два места.

Теперь у него ничего не было. Отпали и прежние законы. Можно было только надеяться, что после освобождения России завещание будет признано действительным. Имея это в виду, Ласточкин мысленно составил письмо Рейхелю. Просил его «когда будет можно», уплатить его долги, о которых ему скажет профессор Травников,— знал, что его воля, при безукоризненной честности Аркадия Васильевича, будет непременно исполнена.

Никита Федорович пришел в обычный час. Принес, как почти всегда, подарок и дорогой: кусок белого хлеба. Татьяна Михайловна обычно пользовалась его приходом, чтобы выйти из дому за покупками: не хотела оставлять мужа одного. Ласточкин продиктовал Травникову письмо. Тот смущенно увидел упоминание о долгах и что-то, растерявшись, пробормотал.

— Какие долги! Может, будут, но пока их нет. Увидите, я и пенсию вам выхлопочу.— Сказал он и пожалел, что сказал.— Пенсию от университета,— поспешно добавил он. Безжизненное лицо Ласточкина чуть дернулось: «Получать и от них милостыню!» Он ничего не ответил.

— Еще к вам... просьба,— прошептал он.— Не привезете ли мне... книг... Из университетской библиотеки?

— С большим удовольствием. Но у вас так много своих. Неужели все прочли?

— Я всегда читал... то, что покупал,— выговорил он и подумал, что это было некоторым преувеличением. «И перед... этим... не вся правда». Кое-как объяснил, что хотел бы *теперь* прочесть лучшие философские книги о смерти.

Никита Федорович сердито запротестовал. Но обещал завтра же все принести. Вернулась Татьяна Михайловна, быстро взглянула на них и поправила мужу подушку.

На следующий день Травников привез книги Платона, Шопенгауэра, что-то еще.

— А все-таки читайте их поменьше,— сказал он неохотно.— Они утомительны, да и ни к чему.

После его ухода Татьяна Михайловна стала вслух читать «Федон». Ласточкин слушал внимательно, но в самом деле скоро утомился.

— Кажется, Никита Федорович был прав... Отложим это... Почитай мне лучше... вечного утешителя... Толстого.

— «Войну и мир»? — радостно спросила Татьяна Михайловна.

— Нет... «Смерть Ивана... Ильича».

— Ради Бога, не надо! Это такая страшная книга!

— Прочти, пожалуйста... И не с начала... Конец. Болезнь и смерть... Ну, пожалуйста...

Татьяна Михайловна начала читать. Скоро она заплакала.

— Не могу... И ведь это совершенно не похоже на то, что с тобой. Ты, слава Богу, не умираешь, и нет у тебя этих страшных болей...

— Конечно, нет... Хорошо... Тогда потуши лампу...

«Он думает: «все было не то»... И я так думаю, и верно очень многие другие. Да, «не то». Но что же «то»? Этого Толстой не объяснил, и нечего ему было ответить... В конце сказано: «Вместо смерти был свет... Какая радость!»... Нет света и нет радости. Но ведь не мог же Толстой лгать... Он был полубог. Иван Ильич три дня подряд кричал от боли ужасным непрекращающимся криком... И я буду так кричать?.. Нет, не хочу. Насколько разумнее покончить с собой! — думал Ласточкин.— Только поскорее!..»

В этот вечер он сказал жене о металлической мыльнице.

VIII

Все было тщательно обдумано. Обдумывалось уже второй день.

Накануне еще приводились доводы. Татьяна Михайловна почти не спорила. В душе была с мужем согласна: действительно другого выхода нет. Понимала, что долго так жить нельзя. «И нельзя, и незачем»,— шептал Дмитрий Анатольевич. Вдобавок профессор Скоблин в разговоре с Татьяной Михайловной проговорился. «*Непосредственной* опасности я не вижу. Я знаю людей, которые с такими увечьями живут уже *несколько* лет»,— сказал он. И на доводы мужа Татьяна Михайловна теперь с искаженным лицом только шептала:

— Но ведь *это* никогда не поздно...

— Может быть, и поздно. Даже в менее важном... Пока мы честные люди... А если... если будем жить их милостыней... То деградируем, как все,— сказал Ласточкин и вспомнил о «теории самоубийства», которую приписывали Морозову: самоубийство всегда для человека — самый достойный способ ухода. «Он так думал в то время, что же он сказал бы теперь, в моем положении? Хорошо, что достал тогда яд. Без него было бы трудно: газ открыть — взорвется весь дом. И заметят жильцы, закроют, будет леченье, грязь, мука...»

Когда решение было принято, обоим стало немного легче. Вернее, они скрывали друг от друга ужас и нестерпимую боль. Говорили *спокойно*. Дмитрий Анатольевич говорил, что смерть от цианистого калия наступает мгновенно, без мучений. Татьяна Михайловна отвечала, что не беда, если мученья продлятся несколько минут: при естественной смерти бывает неизмеримо хуже. *Деловито* обсуждали подробности. Написать ли Никите Федоровичу?

— По-моему, не надо.

— Да, это могло бы привлечь к нему внимание властей.

— Именно... Его вызывали бы...

— Все-таки не написать ничего, это было бы ему обидно. *Мы* стольким ему обязаны.

— Это так... Что ж, попробуй... Напиши...

Она попробовала, начала писать: «Дорогой друг, Никита Федорович. Нам тяжело причинять вам горе, которое...» Но махнула рукой и, несмотря на деловитость, вдруг заплакала. Горе Никиты Федоровича было ничто по сравнению с мукой этого последнего дня их жизни. Слезы полились и у Дмитрия Анатольевича. Она налила ему воды из графина, налила и себе.

— Из этих самых стаканов,— сказала Татьяна Михайловна уже опять «спокойно». «Господи, зачем мы ждем? Сейчас, сейчас, сию минуту!»

Было решено покончить с собой в одиннадцатом часу вечера, когда лягут спать жильцы. Они могли бы что-либо услышать, заглянуть, позвать врача, полицию. Ласточкин знал, что цианистый калий легко разлагается: если хоть немного разложился в мыльнице, то и смерть наступит не сразу.

— Пусть лучше узнают завтра. Сиделка зайдет и увидит. Она знает адрес Никиты Федоровича,— говорила Татьяна Михайловна.— И он поймет, почему мы не написали. Не пишем ведь ни Люде, ни Нине, ни Аркаше... А вот властям надо написать несколько слов. А то еще подумают, что нас отравили!

— Ах, да! — сказал Дмитрий Анатольевич и почему-то очень взволновался.— Непременно!.. Я тебе... продиктую.

Задыхаясь, он продиктовал записку:

— «Не надо искать... виновных... Это — самоубийство... В стаканах... в мыльнице, на... ложечке... остатки яда... Все вымыть... Самым тщательным... Убедительно просим... похоронить нас... непременно вместе... Подчеркни «непременно».

Оба заплакали.

— Подпиши, дорогая.

— Мы пропустили «образом». Самым тщательным образом... И за тебя подписать.

— За нас обоих... Все было... за нас обоих... Нет, лучше, я тоже... А то подумают... ты меня убила,— сказал он и постарался улыбнуться; вышла страшная гримаса

— Тогда я достану твои очки,— из последних сил сказала Татьяна Михайловна.

— Найди, пожалуйста... Нет, дай мне твои. У нас ведь... один номер... Даже номер очков... был общий. Так... Спасибо...

Она положила свою записку на том Платона и, придерживая ее на переплете, поднесла ему с пером. Он вывел: «Дм. Ласточкин»; по привычке вывел даже росчерк, который делал столько лет на бумагах.

— Теперь в порядке... Не подумают... что ты меня убила... На самом деле... я тебя убил, милая, дорогая моя,— прошептал он. И слезы снова покатились по его щекам.

— Не говори, ни слова не говори!.. Обо всем поговорили, нет другого выхода... Это я тебя убила... Тогда... Трамвай.— Она теперь задыхалась почти как муж.— Митя, Митенька, выпьем сейчас.

Он чуть наклонил голову.

— Да.

— Сейчас? Сию минуту?

— Сию минуту.

Она быстро подошла к столу, открыла мыльницу и высыпала яд в стаканы.

— Я высыпала... пополам.

— Пополам... Достаточно на... сотню людей... Размешай... Хорошо размешай.

Стараясь не дышать, она размешала. Почувствовала миндальный запах. Расширенными глазами он следил за ней.

— Размешала?

— Размешала. Не все растворилось.

— Это не важно... Положи записку на стол... Положи на нее часы... Так... Теперь... в последний раз...

Она поставила оба стакана на ночной столик и обняла его.

— Ну, вот... Прощай, Митя... Прощай, мой ангел...

— Прощай, милая... Золотая... Прости меня, прости за все...

— Не за что... Ты меня прости... Сейчас, а то не хватит сил...

— У тебя глаза... Точно такие... Какие были... тридцать лет тому назад... Прощай, дорогая... Нет, до свиданья... Есть вечная жизнь.

— Есть... Есть... Не может быть, чтоб не было. До свиданья, Митя, мой Митя.

IX

Всю зиму 1921-22 годов Ленин чувствовал себя нехорошо. Врачи качали головой: сосуды в очень плохом состоянии, сильный склероз. Советовали поменьше работать и в особенности поменьше волноваться. Он смотрел на них с усмешкой, но согласился уезжать иногда на отдых. Было выбрано имение Горки, принадлежавшее до революции вдове Саввы Морозова.

Оно понравилось Ленину: хорошо устраивались буржуи. Впрочем, дом был не очень роскошный: двухэтажное здание с шестью колоннами, в высоту обоих этажей, с балюстрадой, с несимметричными пристройками слева и справа. Был парк. Ленин велел устроить электрическое освещение. Выбрал себе комнату,— вместе спальную и кабинет. В ней был хороший письменный стол,— такой, о каком он мечтал за границей, с пятью ящиками,— пожалуй, такого у него не было и в Москве: в Кремле он поселился в самом скромном помещении. Другие сановники тоже устроились там скромно,— это было лучше: часто принимали «представителей рабочих, крестьянских и общественных кругов»,— те всегда назывались именно «представителями»,— так уж повелось с очень давних времен. Зато многие сановники облюбовали себе для отдыха великолепные княжеские подмосковные,— туда «представители» не приглашались. Ленин же исторических подмосковных не хотел. Горки были от Москвы всего в тридцати пяти километрах, люди могли ездить к нему и туда, и он от них не скрывал: да, утомлен, врачи велят отдыхать, как прежде буржуи, ничего не поделаешь.

Ездили к нему и сановники, делали доклады, он слушал внимательно, но с меньшим вниманием, чем прежде, без прежнего страстного интереса,— сам этому удивлялся с очень неприятным чувством. Впрочем, иногда еще приходил в бешенство. Раз, прочитав в газете какое-то заявление Чичерина, с яростью написал в Москву (даже без «совершенно секретно», зато с «очень срочно»): «Отправь-

те Чичерина в санаторию». Впрочем, это приказание было символическим: надо было, чтобы виноватый народный комиссар понял весь его гнев (иногда и он дружески советовал усталым подчиненным поехать куда-нибудь отдохнуть). Но ему и в голову не могло прийти отправить *большевика*, даже грешного, в ссылку, в тюрьму или в застенок Лубянки. Такая мысль показалась бы ему дикой: ведь они были не просто какие-то люди, а большевики, его сподручные, помогавшие ему создать партию.

Из посещений сановников ему доставляли удовольствие приезды Пятакова. Его докладами тоже не восхищался и ставил его лишь немногим выше, чем большинство своих сотрудников: почти всех считал болванами и горестно удивлялся тому, что так мало у него настоящих людей. Но лично Пятакова, да еще Бухарина, «любил», хотя и их часто очень ругал. Главное же: Пятаков был прекрасный пианист и, по его просьбе, целый вечер играл ему Баха, Бетховена, Шопена. Он наслаждался,— новую музыку терпеть не мог. Велел прислать в Горки собрания сочинений Пушкина, Некрасова, Толстого,— вероятно, это вызвало в Кремле общее изумление. Читал тоже с наслажденьем и сожалел: наше дурачье так не пишет.

С гораздо меньшей злобой он думал о старой России вообще. Вспоминал свое детство в Симбирске, их дом, Волгу, деревню, и, как всем пожилым, особенно больным, людям, ему казалось, что тогда он был гораздо счастливее, чем теперь. Случалось, приезжавшие к нему гости осматривали дом и парк, насмехались над дворянчиками-помещиками, угнетавшими до их революции народ. Он хмуро говорил, что сам вышел из дворянства — и не он один. Думал, что не так хорошо живется народу и при них. Этого не говорил, но гости смущенно умолкали.

Иногда он ездил по соседним селам и разговаривал с крестьянами. Расспрашивал их, как они живут. В этом было что-то от прежних либеральных помещиков, и, должно быть, он сам это чувствовал, хотя, как и помещики, верил, что мужики говорят ему правду. Они смотрели на него испуганно, старались угадать, что нужно барину, жаловались на дела, стараясь все же не слишком поносить бурмистров: еще осерчает. После таких поездок он возвращался домой в угрюмом настроении. Стоявшее в кабинете-спальне трюмо отражало бледное, очень усталое лицо. Он старался не смотреть в зеркало: знал, как изменился и состарился.

То, что голодала прежняя буржуазия, разумеется, мог-

ло быть ему только приятно. Нисколько не жалел он и интеллигенцию — она незаметно с буржуазией сливалась, так что иногда и различить было нельзя. Но лишения крестьян были другим делом. И уж совсем тяжело ему было то, что в еще худшей нищете, чем при старом строе, жили рабочие, тот самый пролетариат, о котором он говорил и писал всю свою жизнь. За исключеньем небольшого числа добравшихся до власти выходцев, рабочие действительно помирали с голоду,— прежде эти слова были все-таки лишь очень хорошим фигуральным выражением в полемике. Разумеется, можно было уверять, что это временно, что скоро они будут жить превосходно. Но их положение все ухудшалось, и они сами больше в будущий земной рай не верили. Он еще продолжал что-то твердить об исторической миссии пролетариата, но эти слова, вообще означавшие немногое, теперь превращались в насмешку над собой. Вдобавок, выходцы из «рабоче-крестьянской бедноты» на работе оказались не лучше, а хуже, чем большевики, вышедшие из буржуазии. Кухарка, оказывалось, не умела править государством.

Экономическую политику пришлось изменить. Он не мог не понимать, что это значило признать свою собственную ошибку: правы оказались враги,— их тем не менее нужно было по-прежнему всячески поносить. Разумеется, он, как всегда, *посоветовался* с Карлом Марксом и, тоже как всегда, Маркс поносил его врагов и очень одобрял нэп. Ленин мог думать, что таким же нэпом все и кончится. Колоссального резервуара потенциальной энергии, открытого в восемнадцатом веке Французской революцией, хватило для очень больших дел — и он привел к религии Наполеоновского кодекса. Такой же религией десятого тома царских гражданских законов, торжеством идеи частной собственности, вероятнее всего, хоть и не скоро, могла кончиться и советская революция.

15 мая 1922 года ему представили на рассмотрение проект нового уголовного уложения,— последний законопроект, который он видел до болезни. Он рассмотрел и внес поправку: надо расширить применение смертной казни за контрреволюционную деятельность.— Через десять дней с ним случился удар, правда относительно легкий. У него отнялась правая рука и расстроилась речь.

Переполох в Кремле вышел большой. Люди и прежде, конечно, замечали, что Ильич как будто чувствует себя нехорошо, очень устал. Но слово «удар» всех потрясло: что, если кончен? Что тогда — или, вернее, *кто* тогда?

Начиналась новая эра. Сановники допрашивали врачей и сообща, и порознь. Врачи отвечали скорее уклончиво; говорили, что есть надежда на выздоровление.

Происходили секретные и секретнейшие совещания. Возможные преемники усердно работали в свою пользу. Обсуждались главные кандидаты: Троцкий, Зиновьев, Сталин, Каменев, Рыков, Бухарин. Первых трех все ненавидели, даже многие их «сторонники». Кое-кто втихомолку говорил, что для должности главы правительства не очень удобны евреи и грузины. Быть может, на Каменеве все-таки сошлись бы. Еще легче на Рыкове. И все понимали: кто бы ни был посажен, падение — после Ленина — будет огромное, очень опасное.

Вождя больше не было. Ленин был всемогущ, перед ним склонялись беспрекословно, почти безропотно: Ильич! Его и прежде некоторые считали гением. Назвал его гениальным и человек противоположного лагеря, царский министр Наумов, просидевший с ним несколько лет на одной гимназической парте в Симбирске. Действовал на людей и гипноз. Теперь большевистские сановники, кроме Сталина и Троцкого, его боготворили, хотя не было среди них ни одного, которого он, в тот или другой момент, не осыпал грубой бранью. Каменев и особенно Бухарин на заседаниях не сводили с него влюбленных глаз. Теперь предположения (всегда начинавшиеся со слов «если» — если Ильич не поправится) склонялись к тому, что должен править «коллектив». Выбрать несколько человек было много легче, чем выбрать одно лицо, но это было очень трудно.

Троцкого и в коллектив сажать никто не хотел: да, прекрасный оратор, хороший, хотя и раздутый искусной саморекламой, организатор, но большевик с 1917 года, прежний враг Ильича, честолюбец, фразер, шарлатан, невыносимый человек. Разумеется, он это знал: понимал, что ни в какие коллективы не пройдет, и его злоба все росла.

Сталина особенно поддерживали именно те, кого он впоследствии погубил. Поддерживали преимущественно для того, чтобы не нажить очень опасного врага, — партийный аппарат. Но втихомолку говорили, что Ленин, когда-то его открывший и долго к нему благоволивший, в последние годы очень его невзлюбил. Со слов Крупской кое-кто грустно шепотом сообщал, что Ильич собирается публично порвать со Сталиным личные отношения. Все втайне на это надеялись: это означало бы конец сталинской карьеры.

Комбинации коллектива менялись. Кандидаты с бóльшей или меньшей откровенностью считали себя совершенно необходимыми и обычно называли еще двух человек, менее им ненавистных, чем другие. Не-кандидаты говорили, что, собственно, коллектив существует с первых дней революции: Политбюро,— зачем же устраивать еще что-то новое? Другие высказывали мнение, что коллектив должен назначить сам Ильич,— но как с ним теперь об этом заговорить?

Говорить было незачем: Ленин и сам об этом достаточно думал. Сознание почти его не покидало. Крупская, еле сдерживая рыданья, учила его говорить: «Ре... во... Так, так, во. Правильно!.. лю... Совершенно правильно!.. люция... Ну, да, революция! Молодец, Володя! Браво! Огромный успех! Увидишь, скоро все пройдет!..» Успех в самом деле был: способность речи понемногу вернулась.

Он снова стал работать. Как прежде, председательствовал на правительственных заседаниях, но *не так*, как прежде. Народные комиссары смотрели на него испуганно.

Несмотря на все запрещения и протесты врачей, он решил выступить на Четвертом конгрессе Коминтерна.

Бесчисленная толпа в зале встретила его долгой бурной овацией, небывалой и среди многих оваций революции, вдобавок совершенно искренней (чтó случалось редко). Наконец, оркестр заиграл «Интернационал». Все запели. Он делал вид, что поет,— выходило непохоже. Музыка кончилась. Загремела новая овация. Медленно, с усилием, толчками, он стал поднимать дрожавшую левую руку. В зале мгновенно установилась мертвая тишина. Он «заговорил»: сначала тихо, с большими перерывами, произносил отдельные слова, потом стал произносить их громче, быстрее,— вдруг его голос превратился в еле слышный шепот и оборвался. Клара Цеткин, которую он еще не очень давно назвал в письме «мерзавкой», бросилась на эстраду и поцеловала ему руку. Он посмотрел и на нее безжизненным взглядом, махнул левой рукой и, сильно шатаясь, направился к лесенке.

Через месяц произошел второй удар. И врачам и сотрудникам и ему самому стало ясно, что дело идет к концу. Отнялась вся правая часть тела. Пришлось допустить сиделок. Прежде он решительно от них отказывался и старался все делать левой рукой. Но сознание у него осталось, и это было самое ужасное. Он вызвал секретарей и составил свое знаменитое завещание.

Иные исторические деятели ничего не имели против того, чтобы их преемниками становились люди незначительные: для *дела* (если дело было) это было, конечно, нехорошо, но для их собственной славы в потомстве очень выгодно, как фон. У него этого чувства не было. Он старательно обдумывал достоинства и недостатки других вождей. Были более или менее подходящие люди, но не видел ни одного, кто мог бы его заменить. Наиболее выдающимися были Троцкий и Сталин. Он отметил в завещании их достоинства и недостатки. Удивительно, что главный недостаток Сталина он видел в грубости. Смутно догадывался, что именно к этому человеку перейдет вся власть. Эта мысль была чрезвычайно ему неприятна и даже страшна. Знал однако, что и Троцкого все терпеть не могут. «Нет людей, никого нет, некому оставить дело!»

Вскоре после этого на заседании Политбюро, где были Троцкий, Каменев и Зиновьев, Сталин сообщил, что Ленин желает покончить с собой: требует присылки ему яда. «Я помню,— рассказывает Троцкий,— каким странным, загадочным, несовместимым с обстоятельствами мне показалось выражение лица Сталина. Просьба, которую он нам передавал, была трагична, между тем по его лицу, как по маске, бродила нездоровая улыбка». У Троцкого возникло подозренье, что никакой просьбы от Ленина не было и что Сталин просто хочет его отравить. Было ли это верно? Сталин мог догадаться, что Политбюро во всяком случае не положится на него одного, пошлет к Ленину других, поедет к нему в полном составе. С другой стороны, позднее, Ленин, уже впав в полуживотное состояние, видя это при проблесках сознания, действительно просил товарищей, гораздо более ему близких, доставить ему яд. Вероятно, тоже из-за смутных подозрений, Зиновьев поддержал решительное возражение Троцкого. Дело формально и не обсуждалось. «Поведение Сталина, весь его вид были непонятны и зловещи». Он не настаивал.

Что-то еще произошло: телефонный разговор Крупской со Сталиным. По поручению мужа она обратилась к генеральному секретарю с каким-то запросом. Оттого ли, что он считал Ленина уже полумертвым, или просто потому, что был на этот раз не в силах скрыть свою к нему ненависть, Сталин ответил грубо и оскорбительно. Крупская заплакала и сообщила о разговоре мужу. Ленин пришел в ярость и продиктовал, наконец, записку.

Через четыре дня его разбил третий удар.

X

Теперь все было кончено. Больше он ни в чем не участвовал. Потерял способность речи. «Не мог выразить самой простой примитивной мысли»,— говорит профессор Авербах. И очень сердился, что его не понимают. Знаменитые врачи, и русские, и выписанные из Германии, больше ничего не могли и посоветовать. Он почти не спал. В Москве ходила глухая молва, будто по ночам Ленин «воет как собака», случайные прохожие в ужасе прислушиваются издали. Вместе с тем сознание и после трех ударов иногда ненадолго восстанавливалось. Жена и сестра находились с ним в Горках безотлучно. Приезжали сановники. Пятаков играл на рояле, и, по его словам, лицо Ленина преображалось и выражало детскую радость.

И вдруг он, к общему изумлению, стал как будто поправляться! Сознание вернулось. Чем было занято? Можно лишь догадываться. Едва ли много думал о далеком прошлом. Его детство было очень счастливым. Не мог пожаловаться и на отрочество, оно было самое обыкновенное, «буржуазное»; в гимназии был первым учеником, любил деревню, ее развлеченья, ее радости. Но зачем думать о том, что было когда-то? Не вспоминал и о товарищах юности, тоже было да сплыло. Едва ли много думал об отдаленном будущем: знал, что далеко заглядывать в будущее никто не может,— мог разве один Маркс?

Вероятно, больше всего он думал о себе, о человеке Ленине, дни которого сочтены. Думал, что оставляет жену одну. Вспоминал Инессу Арманд,— не все было глупо в том, что она порою робко говорила о «моральном начале». Он видел, что принес в мир больше страданий, чем кто бы то ни было другой в истории. Это особенно мучить его и теперь не могло: были готовые и совершенно бесспорные ответы. Да и прежде он не пользовался изреченьями о «любви к ближнему» и «любви к дальнему»: не любил ни ближних, ни дальних.

Не могли особенно удручать его и принятые, беспрестанно повторявшиеся в публицистике, слова о готтентотской морали. Для Ленина уже больше двадцати лет хорошо и «нравственно» было то, что шло на пользу его делу, партии, пролетариату, а плохо и безнравственно то, что было им во вред. Следовательно, переоценки, кроме чисто словесной, не было. То, что прежде всеми и им самим называлось деспотизмом, злом, безобразием, теперь оказывалось прямо противоположным. Это было в порядке вещей

и вытекало из истинного смысла его учения: *говорить* прежде надо было иначе, только и всего. И на него нисколько не действовали обвинения в том, что он прежде *говорил* другое: да, разумеется, прежде восхвалял свободу, проклинал гнет, клялся вести борьбу против смертной казни, распинался за идею Учредительного собрания; но только дураки могли не понимать, что теперь все было совершенно иным: к власти пришли он и его партия.

В самый день третьего удара он заканчивал диктовку статьи, которую неуклюже назвал: «Лучше меньше да лучше». Не от нее ли и случился удар? Это последняя написанная им статья. В ней сказано:

«Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что у нас есть сколько-нибудь значительное количество элементов для построения действительно нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и т. п.»!!

Ему и раньше случалось призывать партию к «самокритике», к борьбе с собственным хвастовством, к проверке собственных действий, к сомнению в «элементах»,— под ними, верно, разумел людей. В той «речи», которую он произнес на Четвертом конгрессе Коммунистического Интернационала, тоже были слова: «Надо учиться и учиться». Все же *так* он отроду не говорил и не писал. Все это — каждое слово — могли сказать и говорили меньшевики, социалисты-революционеры, либералы: именно «лучше меньше да лучше». И как он, самоувереннейший из людей, мог высказать сомнение в том, «что мы хоть что-нибудь знаем»? Значит и *он* не знал? И Карл Маркс не знал? Было ли *это* его настоящим завещанием, а не бумажка с оценкой качеств его помощников? Не было ли и других сомнений?

10 октября он вдруг, ни с кем и ни с чем не считаясь, велел подать автомобиль, сел, тяжело опираясь левой рукой на палку, и, к общему ужасу, велел везти себя в Москву, в Кремль. Там его встретили, как встретили бы привиденье. Он вошел в свой кабинет, опустился в кресло, посидел — и вышел.

«Накануне рокового дня Владимир Ильич чувствовал себя вялым,— писал Семашко.— Он проснулся в нерасположении, жаловался на головную боль, плохо ел. Проснулся на следующее утро он также вялым, отказывался от пищи и лишь по настойчивой просьбе окружающих он съел немного утром, за чаем, и немного за обедом. После обеда он лег отдохнуть. Вдруг домашние заметили, что он как-то тяжело и неправильно дышит».

В шесть часов вечера он потерял сознание. Температура быстро повысилась. Через пятьдесят минут он умер «от кровоизлияния в мозг, вызвавшего паралич дыхания».

Верно, половина человечества «оплакала» его смерть. Надо было бы оплакать рожденье.

Очерки

АЗЕФ

I

В марте 1893 г. Департамент полиции получил по почте из Германии коротенькое заказное письмо [1]. Неизвестный человек, подписавшийся «готовый к услугам покорный Ваш слуга», предлагал департаменту давать сведения о кружке учащейся молодежи в Карлсруэ и о намечавшейся в этом кружке посылке в Россию нелегальной литературы. Адрес для ответа был указан за литерами В. Ш., poste restante [2].

Письмо не вызвало большого интереса в Департаменте полиции. Кружок учащейся молодежи в Карлсруэ, по-видимому, не слишком его беспокоил. Ответ, довольно краткий, был дан только через пять недель. Департамент небрежно сообщал, что о существовании и деятельности кружка в Карлсруэ ему известно. Впрочем, не отказывался от услуг корреспондента, но предлагал ему предварительно назвать свое имя и сообщить, может ли он давать точные сведения о транспортах литературы «с указанием, когда, куда, каким путем, по какому адресу и через кого именно они пересылаются». Департамент обещал «солидное вознаграждение» и гарантировал полную тайну.

Письма такого рода, вероятно, довольно обычны в практике всех полиций мира. По форме они немного напоминают брачные объявления, которые ежедневно можно найти в лучших немецких газетах: одна сторона заявляет о своем интересе к другой, но просит сначала сообщить точные данные о приданом и заодно прислать фотографическую карточку. Обязательная добавка «Diskretion verlangt und ga-

---

[1] Письмо это было найдено в 1917 г. в архиве Департамента полиции Б. И. Николаевским, одним из лучших знатоков истории русской революции, и им впервые напечатано с превосходным выяснением подробностей. Письма Азефа, еще не появлявшиеся в печати, взяты мною в архиве, любезно предоставленном в мое распоряжение В. К. Агафоновым, который в свое время разбирал дела департамента и охранных отделений.— *Автор.*

[2] До востребования *(франц.)*.

rantiert»[1]. Или же, еще благороднее, «Diskretion Ehrensache»[2].

Неизвестный корреспондент, однако, не спешил прислать свою фотографическую карточку Департаменту полиции. Он тоже немного подождал, а затем, снова без подписи, ответил весьма деловитым письмом, где объяснял, что именно он намерен сообщать. Размер требуемого приданого, довольно скромный, он указывал точно: «ежемесячное вознаграждение не меньше 50 рублей». Кроме того, корреспондент просил оторвать и прислать ему кусок его первого письма в доказательство того, что ответ исходит действительно от Департамента полиции (письма ведь иногда и пропадают, даже заказные). Буквы указывал новые: Н. С.

Не буду останавливаться на подробностях переписки. Скажу только, что победа осталась на стороне департамента. Как искатели приданого печатают объявления сразу в нескольких газетах, так и готовый к услугам корреспондент обратился, кроме Департамента полиции, еще и в жандармское управление своего родного города, Ростова-на-Дону. Пишущих машин в то время не было, и Донское жандармское управление по почерку выяснило, что письмо из Карлсруэ написано мещанином Е. Азефом, сыном очень бедных людей, недавно учившимся в ростовской гимназии. Этот молодой человек занимался на юге «рабочей пропагандой» и уже пользовался у розыскных властей некоторой известностью, о характере которой, однако, нелегко судить. По сообщению начальника Донского жандармского управления Страхова, товарищи Азефа, «выманив у него чужие деньги, поставили его в необходимость бежать за границу». Нашлись и другие сведения: Азеф будто бы покинул Россию, «продав предварительно по поручению какого-то мариупольского купца масла на 800 рублей и присвоив эти деньги себе». В психологическом отношении разница между двумя версиями существенная. Но практического значения она, конечно, не имела.

Получив из Ростова сведения о том, кто автор писем из Карлсруэ, Семякин, заведовавший политическим розыском Департамента полиции, написал молодому человеку интересное письмо. Департамент соглашался платить 50 рублей в месяц, принимал «программу, изложенную в Вашем письме от 25 мая», внося кое-какие дополнения

---

[1] «Тайна гарантируется» (*нем.*).
[2] «Соблюдение тайны — дело чести» (*нем.*).

от себя, посылал требуемый из предосторожности отрывок письма и давал точную инструкцию. Эта инструкция была и деловита («многословия и теоретических рассуждений не требуется»), и в агентурном смысле честна («всяких преувеличений и недостаточно обоснованных выводов следует избегать»). Под самый же конец приберегался оглушительный эффект. Семякин кончал свое письмо так: «Я думаю, что не ошибусь, называя Вас, г. *Азеф*, Вашим именем, и прошу Вас уведомить, следует ли Вам писать по Вашему адресу: Шютценштрассе 22.11, или иначе».

Скрываться больше не приходилось. Азеф ответил за подписью. Соглашение состоялось.

В течение шести лет Азеф оставался заграничным корреспондентом Департамента полиции. По его донесениям можно проследить, как быстро он совершенствовался в качестве секретного сотрудника. На одном из первых его писем есть раздраженная пометка, принадлежащая кому-то из руководителей департамента: «В следующем письме я попрошу Азефа писать немного толковее, особенно адреса и фамилии, чтобы можно было понять, кто мужчина, кто женщина и к кому относятся адреса». Но уже в 1896 г. мы находим совершенно другую пометку: «Сообщения Азефа поражают своей точностью, при полном отсутствии рассуждений». А еще через несколько лет известный Ратаев писал Азефу: «Больше всего на свете я боюсь Вас скомпрометировать и лишиться Ваших услуг».

И, действительно, донесения Азефа, даже в раннюю пору его работы, были очень важны. Он открыл департаменту глаза на молодых революционеров, только впоследствии получивших громкую известность: «Следует особое внимание обратить Вам на г-на Карповича»... «Особое внимание Вам нужно будет обратить на Зензинова»... Григория Гершуни, опаснейшего из террористов, Азеф оценил с первой же своей с ним встречи и тотчас с большой тревогой в тоне сообщил об «этом господине» Департаменту полиции. Донесения свои Азеф писал с видимым удовольствием,— даже, кажется, не без чувства спортивного соревнования с революционерами. Например, советуя департаменту захватить какой-то транспорт литературы, он вдруг добавляет: «А то уж больно хвалится Гершуни, что замечательный путь он устроил».

От департамента Азеф требовал полного доверия к своим словам. В 1901 г., задетый недоверчивым замечанием Ратаева, Азеф отвечает (15 января) в глубоко оскорбленном тоне: «Мне кажется, что у Вас нет ни одного

факта, который бы мог Вас заставить думать, что я способен вам солгать. Кажется, ни разу не лгал, это не лежит в моей натуре... Ваше недоверие для меня оскорбительно и страшно обидно».

По форме переписка порою очень курьезна. Так, позднее, желая выследить и схватить Гершуни, департамент (17 апреля 1902 г.) по-немецки телеграфирует Азефу в Берлин: «Очень беспокоюсь о положении Гриши в Петербурге. Хотел бы получить какие-либо сведения, чтобы иметь возможность с ним повидаться. Дмитрий». Или же Азеф начинает свое сообщение департаменту (17 июня 1902 г.) словами: «Дорогая Генриетта», а заканчивает его «Целую тебя. Твой Иван» [1]. Письма, сходные с этими по стилю, попадались мне во Французском Национальном архиве: так любили писать разведчики наполеоновских времен.

II

По возвращении в Россию Азеф был откомандирован к Зубатову для изучения техники полицейского дела. По-видимому, он изучил ее в совершенстве. Старые революционеры рассказывают, что, обладая огромной зрительной памятью, он знал все улицы и все проходные дворы Петербурга, мог, при обсуждении разных террористических проектов, по памяти нарисовать подробнейший план любого места в столице. Для разных «явок» ему нужно было знать множество адресов и телефонных номеров: Азеф «из предосторожности» никогда их не записывал, однако помнил все безошибочно. В практику террористической слежки он ввел несколько новых приемов (заимствованных, впрочем, у Зубатова). Вероятно, это профессиональное искусство и было одним из оснований его огромного престижа в Боевой организации: террористы того времени читали ведь не только политическую литературу: как мы все, они читали, вероятно, в свободное время и «Шерлока Холмса».

По изучении полицейского дела Азеф примкнул к партии социалистов-революционеров. Вернее, он был одним из ее создателей. Специализировался он на терроре и стал сначала ближайшим помощником Гершуни, а затем обще-

[1] Это донесение было написано химическими чернилами. Настоящий текст его заключает в себе сведения о готовящемся покушении на Плеве (неизданный архив В. К. Агафонова, папка ном. 1).— *Автор.*

признанным вождем, душою и хозяином Боевой организации. 4-го июня 1902 г. Азеф многозначительно писал департаменту, сообщая о 500 рублях, пожертвованных им на террористические предприятия: «Мне необходимо было это сделать для того, чтобы узнать, что такое эта Боевая организация и каковы ее планы в ближайшем будущем, и мне это удалось... Я занял активную роль в партии социалистов-революционеров. Отступать теперь уже невыгодно для нашего дела, но действовать тоже необходимо весьма и весьма осмотрительно».

Параллельно с этим все росло и положение Азефа в Департаменте полиции. В 1899 г. он получает 100 рублей в месяц жалованья и 50 рублей наградных к Новому году. В 1900 г. его жалованье повышается до 150 рублей, в 1901 г. сразу до 500 рублей. Под конец своей карьеры он получал 1000 рублей в месяц и столько же, если не больше, прогонных, суточных, «премиальных» и «наградных». Его «наградные» в 1904-5 гг. составляют несколько тысяч. Именно в это время им были организованы убийства В. К. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича!

Получал он жалованье и от партии, но более скромное,— кажется, 125 рублей в месяц. В. С. Гоц рассказывает, как однажды на вокзале друзья убеждали Азефа нанять носильщика для чемодана. Он аскетически отказывался: нельзя без крайней нужды расточать партийные деньги. Члены ЦК партии с умиленьем говорили о жизни Азефа: «сидит на хлебе и селедке». Расставаясь с революционерами, он жил не столь аскетически. В записке Л. Н. Менщикова, например, сообщается: «5-го января 1905 года Азеф приезжает в первом классе курьерского поезда из Петербурга в Москву... Ночь проводит в самом дорогом доме терпимости Стоецкого...»

Послужной список Азефа по двойной его деятельности еще трудно установить во всей полноте; да и одно перечисление его дел заняло бы несколько страниц. Он сам говорил, что принимал ближайшее участие в организации всех террористических актов партии, за исключением убийства Сипягина. Савинков, человек достаточно осведомленный, в своей речи в защиту Азефа дает список крупнейших террористических дел, организованных при его (Азефа) участии, содействии или попустительстве. В этот список входят двадцать пять убийств и покушений, а заканчивается он буквами «и т. д.». Называю только главные:

убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, ген. Богдановича, Гапона, Татарова; три покушения на царя, покушения на великих князей Владимира Александровича и Николая Николаевича, покушения на Столыпина, на Дурново, на Трепова, на адмиралов Дубасова и Чухнина. Азеф же принимал участие «в обсуждении всех без исключения планов, в том числе планов московского, свеаборгского и кронштадтского восстаний».

Этому списку соответствует другой, более длинный,— список революционеров, выданных им департаменту. Их исчисляют десятками, если не сотнями. Сколько из них было казнено, не берусь сказать [1].

Метод действий Азефа в схематическом изложении был приблизительно таков. Он «ставил» несколько террористических актов. Некоторые из них он вел в глубокой тайне от Департамента полиции с расчетом, чтобы они непременно удались. Эти организованные им и удавшиеся убийства страховали его от подозрений революционеров; до самой последней минуты вожди партии смеялись над такими подозрениями: «как можно обвинять в провокации человека, который на глазах некоторых из нас чуть только не собственными руками убил Плеве и великого князя». Другую часть задуманных террористических актов Азеф своевременно раскрывал Департаменту полиции, чтобы никаких подозрений не могло быть и там. При этих условиях истинная роль Азефа была в течение долгого времени тайной и для революционеров и для деятелей департамента. Каждая сторона была убеждена, что он ей предан всей душой.

III

По внешности Азеф был грузный, толстый, очень некрасивый человек с тяжелым, набухшим лицом, с оттопыренной нижней губой. Об его безобразной наружности говорят все встречавшиеся с Азефом люди. Но и в этом разобраться не так легко. Некоторые свидетели утверждают, что «глаза у него всегда бегали, и он никогда не смотрел в лицо собеседнику»,— примета слишком принятая в изображении преступников для того, чтобы быть верной. Ю. Делевский пишет о «змеином взгляде» Азефа.

---

[1] Одна из выданных Азефом революционных групп, как известно, изображена Леонидом Андреевым в его «Рассказе о семи повешенных».— *Автор.*

Однако другие революционеры находили у него «хороший, приятный взгляд», «прелестную улыбку» — и до сих пор твердо на этом стоят. В. М. Чернов в своей речи на суде над Бурцевым говорил: «Надо только хорошо всмотреться в его (Азефа) лицо и в его чистых, чисто детских глазах нельзя не увидеть бесконечную доброту [1]. С. Басов-Верхоянцев отмечает «двойное лицо»: накладное, каменное, и скрытое, «с печальными глазами». По фотографиям судить трудно,— Азеф, кстати, не любил сниматься. Но общее впечатление, конечно: «не дай Бог встретиться в лесу ночью».

Писал он свои донесения не очень литературно, не очень даже и грамотно, но всегда ясно и толково. Редакторы, повторяющие молодым сотрудникам: «фактов побольше, фактов», были бы им довольны: фактов у него всегда много. Революционеры (за редкими исключениями) в ту пору были особенно падки на цветы красноречия. Один (в частном письме!) пишет о «гидре самодержавия», о «когтях деспотизма», о «пошлом периоде мещанского довольства, охватившего мертвящей петлей европейские страны». Другой описывает, как «русские Лекоки разглядывали мозолистую руку, сразившую царского опричника». Третий еще красноречивее: «Девятьсот пятый год умирал, распластавшись на кривых улицах Москвы, залитых рабочей кровью». Азеф не любил цветов красноречия. Тон его писем простой и деловой. Недоброжелатели считали его человеком мало образованным. Однако на партийном следствии, после разоблачений, один из свидетелей рассказал, как однажды в Москве Азеф выступил на заседании марксистского кружка: «Спор шел вокруг имени Михайловского. Новый гость (Азеф) молчал. Но вот он поднялся и взволнованным голосом начал защищать Михайловского, упирая, в особенности, на теорию борьбы за индивидуальность. Речь продолжалась довольно долго и произвела на окружающих впечатление своей искренностью и знанием предмета» [2]. Мы все учились понемногу, впечатление в ученом споре можно было в крайнем случае произвести и одной «искренностью»,— а уж искренности у этого человека было достаточно.

Под конец его карьеры положение Азефа стало очень трудным. Он должен был убивать и выдавать, убивать

---

[1] В. Б. Бурцев. Как я разоблачил Азефа, гл. XIII.— *Автор.*

[2] Заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа, стр. 17.— *Автор.*

и выдавать, напрягая все силы для соблюдения наименее опасной пропорции выданных и убитых людей...

В одном из французских монастырей есть картина «Наказание дьявола». Дьявол обречен держать в руках светильник, похищенный им у св. Доминика. Светильник догорает, жжет пальцы дьявола, но освободиться от него дьявол не имеет силы: он может только, корчась, перебрасывать светильник из одной руки в другую,— жжется то правая, то левая рука. Приблизительно в таком положении был Азеф к моменту его разоблачения.

IV

Кто разоблачил Азефа?

Известно, говорят, имена пяти женщин, «на руках которых скончался Шопен». Я не хочу сказать, что разоблачение великого предателя дало повод к сходному спору. Шутка совершенно не соответствовала бы трагическому характеру события (как, впрочем, и в вопросе о кончине Шопена). Но когда будущий историк займется выяснением того, кому именно принадлежит здесь авторское право, он должен будет перебрать не менее десяти имен.

У нас есть сведения, что один из профессоров Азефа по политехникуму выразился о молодом студенте так: «Ах, этот шпион!» К сожалению, не дошло до меня имя немецкого профессора, далеко превзошедшего проницательностью и революционеров, и Департамент полиции.

Летом 1905 г. один из видных петербургских социалистов-революционеров Ростковский получил на службе письмо без подписи, в котором его извещали, что в партии есть «серьезные шпионы», «бывший ссыльный некий Т. и какой-то инженер Азиев, еврей». Когда Ростковский вернулся со службы домой, у него в гостях сидел известный ему под кличкой «Иван Николаевич» важный нелегальный гость — Азеф. Не долго думая, Ростковский показал гостю письмо. «Иван Николаевич» прочел и заявил: «Т. это Татаров, а Азиев — это я, Азеф».

И Ростковский, и вожди партии не придали значения анонимному письму. Но какое самообладание, какие нервы нужны были, чтобы ничем себя не выдать при такой неожиданности и ограничиться саркастическими словами:

«Азиев — это я, Азеф»! Вот и суди о тех «сюрпризцах», которыми, вслед за Порфирием Петровичем, хитрые следователи оглушают подозреваемых в преступлении людей.

Сходный случай произошел, по рассказу П. О. Ивановской, в Женеве на встрече Нового (1905) года. Русская колония революционеров была в полном сборе. «Говорились пламенные, дерзкие речи, с вдохновенными лицами, молодежь пела и кружилась в обширном зале. Азеф гулял по залу и любовался молодежью. Когда речи, пение и танцы надоели, сели играть в почту. Азеф не прочь был поиграть и в почту. Ему принесли письмо. Он раскрыл и «самоуверенно-снисходительно» прочел вслух; в письме называли его подлецом, негодяем и предателем.

Подозрения против Азефа высказывали в разное время Крестьянинов, Мельников, Мортимер, Делевский, Агафонов, Тютчев, Трауберг. Вожди партии, от Гершуни и Гоца до Чернова и Савинкова, относились, повторяю, пренебрежительно к таким обвинениям; за это впоследствии их самих всячески поносили в разных революционных и нереволюционных кругах. «Хороша же партия, где подобные субъекты могут вращаться шестнадцать лет»,— сказал защитник Лопухина А. Я. Пассовер. Теперь к этому можно отнестись вполне объективно. Неосторожность и легковерие были, но преувеличивать их не надо,— столь же неосторожен был ведь и Департамент полиции, учреждение далеко не легковерное. Чужая душа — потемки, и никто не обязан уметь в чужой душе читать. Громить Савинкова за то, что он не распознал провокатора в Азефе, так же странно, как, например, обвинять В. В. Шульгина за его памятную поездку в Россию. В настоящее время мы все, конечно, окружены тайными большевистскими агентами. Об иных знакомых и нам когда-нибудь будет неловко вспоминать.

Что и говорить, Ю. Делевский в свое время собрал немало улик против Азефа. Но давно известно, и психология палка о двух концах, и улики, даже самые серьезные, часто могут быть истолкованы различно. Темные слухи в ту пору распускались, со злостной целью или по легкомыслию, о самых известных людях. Михаил Гоц однажды сообщил Плеханову, что в партию поступило донесение о провокации Азефа. Плеханов равнодушно ответил: «Обо мне, о Лаврове говорили то же самое». Азеф был несравненным героем, вождем огромного престижа, чуть только не святыней, для его товарищей по партии. Теперь, в его изображении (назову хотя бы интересный роман Гуля)

выдвигают на первое место черты грубости, невежества, хамства, которые, казалось бы, должны были всем бросаться в глаза. Это ошибка перспективы. Азеф умел показывать товар лицом,— товар и революционно-технический, и духовный. Такие умные, опытные и чуткие люди, как Н. В. Чайковский, И. И. Бунаков, В. М. Зензинов, изображали Азефа совершенно иначе. «Я любил его глубокой, нежной любовью»,— говорил мне Зензинов. Савинков за три месяца до разоблачения сказал О. С. Минору: «Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азефа, я застрелил бы его немедленно. Но в провокацию Ивана я не поверю никогда!»

Разоблачил Азефа, конечно, В. Л. Бурцев. Ему на суде чести никто из социалистов-революционеров не подавал руки, «как клеветнику». После 17-го заседания суда, то есть почти перед самым его концом (всего было 18 заседаний), Вера Фигнер, выходя, сказала Бурцеву: «Вы ужасный человек, вы оклеветали героя, вам остается только застрелиться!» Бурцев ответил: «Я и застрелюсь, если окажется, что Азеф не провокатор!..»

V

В мае 1906 г. к Бурцеву, издававшему тогда в Петербурге «Былое», тайно явился неизвестный молодой человек и отрекомендовался довольно неожиданно: «По своим убеждениям я — эсер, а служу в Департаменте полиции». Рекомендация, собственно, не так уж располагала в пользу молодого человека. Назвался он «Михайловским» — псевдоним тоже неожиданный [1]. Другой наверное попросил бы «Михайловского» уйти. Редактор «Былого» поступил так, как ему подсказывала интуитивная мудрость. Он с открытой душой подошел к служащему департамента. *Человек* Бурцев принял *человека* Михайловского,— и хорошо сделал: социалист-революционер из Департамента полиции оказался правдивым и драгоценным осведомителем. Сообщил он немало интересных сведений. Из них, без всякого сомнения, наиболее интересным было то, что в партии социалистов-революционеров есть чрезвычайно важный провокатор, известный в департаменте под кличкой «Раскин». Больше о нем «Михайловский» почти ничего не слышал.

Разумеется, В. Л. Бурцев прекрасно знал главарей

[1] Много позднее выяснилось, что это был М. Е. Бакай.— *Автор.*

партии социалистов-революционеров. Он начал примерять: кто из них мог быть «Раскиным»? Никто решительно не подходил.

Время было грозное: 1906 год. За Бурцевым следили филеры. Он замечал слежку, но не придавал ей значения: сколько-нибудь серьезных грехов за ним не значилось. Однажды летом В. Л. Бурцев вышел из редакции погулять. «В этот раз я забыл даже посмотреть, есть ли за мной слежка или нет». Вдруг на Английской набережной ему бросились в глаза знакомые лица: навстречу, на извозчике, ехал Азеф со своей женой.

Бурцеву было известно, что Азеф — глава Боевой организации, следовательно, самый опасный революционер в России. Жена его, рядовая социалистка, имела очень скромные познания в конспиративном деле. Знакомство с вождем террористов могло в 1906 г. повлечь за собой весьма неприятные последствия. За Бурцевым, по всей вероятности, шли сыщики. «С женой Азефа я был хорошо знаком, и я пришел в ужас от мысли, как бы она не вздумала со мной поздороваться».

Все, однако, сошло гладко: жена Азефа не поздоровалась с Бурцевым. «Я продолжал гулять по улицам, я радовался, что этот инцидент, который мог дорого обойтись, прошел благополучно».

И вдруг случилось то, что в психологии называется интуицией, в искусстве озарением. В сущности, без всякого основания, без всякой разумной причины, скользнула странная мысль, какая-то еще неясная связь между важным провокатором Раскиным и вождем Боевой организации партии социалистов-революционеров!..

Вот где уместно было бы говорить о подсознательном. Настоящая мысль была настолько дика и невозможна, что даже не определилась в сознании Бурцева. Внешняя логическая схема была приблизительно такова: если за кабинетным человеком, редактором «Былого», Бурцевым ходят по пятам сыщики, то как же решается ездить по улице на извозчике, без всякого грима, опаснейший террорист в России?

Собственно, логическая схема стоила недорого: революционеры проделывали и гораздо более рискованные дела. Так, за несколько лет до того, Гершуни, которого по всей стране днем и ночью искали сотни агентов, безнаказанно провел три дня в Петербурге, прописавшись в участке под своей настоящей фамилией. Герман Лопатин в свое время ходил в Александринский театр, имея при себе множество

адресов народовольцев. Схема ничего не доказывала. У Бурцева возникло сложное к ней дополнение: полиция не арестовывает Азефа; *значит*, это ей пока невыгодно; *значит*, около него вертится какой-то провокатор (Раскин?), получающий от него ценные сведения; *значит*, нужно предупредить Азефа о грозящей ему опасности. Бурцев так и сделал: просил передать Азефу свое полезное предостережение.

То, что произошло дальше, Фрейд называет «превращением латентного в сознательное».

«Как-то неожиданно для самого себя, я задал себе вопрос: да не он ли сам этот Раскин? Но это предположение мне тогда показалось столь чудовищно нелепым, что я только ужаснулся от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф — глава Боевой организации и организатор убийств Плеве, великого князя Сергея и т. д., и я старался даже не останавливаться на этом предположении. Тем не менее с тех пор я никак не мог отделаться от этой мысли, и она, как какая-то навязчивая идея, всюду меня преследовала...»

Азеф был настороже — отчасти и в результате «предостережения». Затем для него положение выяснилось. Он сделал то, что должен был бы сделать по Достоевскому: Азеф пришел к Бурцеву в гости, якобы по делу. Сцена поистине поразительная: Бурцев *знал*, что Азеф — предатель, Азеф *знал*, что Бурцев это знает. Пожалуй, у Достоевского такой сцены не найти. Пошел Азеф, вероятно, на разведку. А, может быть, и «для ощущений». Ощущений у него в жизни было вполне достаточно. Но такого, вероятно, не было.

«Азеф вплотную подошел ко мне уверенной походкой, весь сияющий, и, по-видимому, хотел обнять меня и расцеловаться. Но я, как бы нечаянно, уронил бывшие в моих руках бумаги и, нагнувшись, левой рукой стал их поднимать, а правой поздоровался с Азефом и затем усадил его на кресло прямо против себя».

Разговор был мирный и, по существу, незначительный. Говорили обо всем, кроме предательства. У Бурцева настоящих доказательств не было,— Азефу это было отлично известно. Я рассказываю об его визите потому, что он чрезвычайно характерен: наглость Азефа так же граничила с чудесным, как и его самообладание. Вдобавок, страшная карьера приучила его к риску. Он был игрок и по характеру, и по необходимости.

Для выяснения той же его черты расскажу другой эпизод, кажется, никогда не сообщавшийся в печати. В пору

организации покушения на Дурново, Азеф совершенно неожиданно явился с визитом — к П. Н. Милюкову (они до того встретились раз в жизни на Парижской международной конференции, в которой П. Н. Милюков участвовал вместе с П. Б. Струве и кн. П. Д. Долгоруким). Азеф пришел с делом: он просил раздобыть для него фотографию Дурново. В этом посещении все удивительно, от цели до нелепого предлога: портрет министра можно было найти в любом журнале. Но такова была манера Азефа. Сто раз он так заманивал в сети двадцатилетних юношей,— вдруг удастся «взять нахрапом» и Милюкова. Наглость старого шулера: на что тут можно было рассчитывать? Человек Милюков прогнал человека Азефа и, разумеется, тоже прекрасно сделал: случай на случай не приходится. Как интуитивный, так и аналитический методы имеют свои достоинства и недостатки.

VI

Я не стану рассказывать, как понемногу обрастала зловещими доказательствами навязчивая идея В. Л. Бурцева. Скажу только, что вся система косвенных и прямых улик против Азефа, вероятно, ни к чему не привела бы; очень может быть, при некоторой удаче, при своевременном уничтожении неприятных бумаг, хранившихся на Фонтанке и на Мытнинской набережной, Азеф был бы после революции видным министром,— если бы в дело не вмешался, почти вопреки своей воле, еще другой человек, очень сложный и интересный.

Многое непонятно в карьере и в характере А. А. Лопухина. Две черты бросались в глаза при самом поверхностном с ним знакомстве. По взглядам, по самому складу ума, по окружению он был либералом; по происхождению, по внешности, по привычкам он был аристократом. И обе эти черты не вязались с большой и значительной полосой в его сложной биографии. Русские либералы слышать не могли о Департаменте полиции; русские аристократы относились к этому учреждению с некоторой осторожностью, предоставляя службу в нем людям незнатного рода. А. А. Лопухин, человек передовых взглядов, носитель одной из самых громких фамилий в России, был директором Департамента полиции в самую реакционную пору — при Плеве. Чем это объясняется, не понимаю. Я думаю, что он ценил ум знаменитого министра и был ему лично признателен: Плеве первый на верхах власти

заметил выдающиеся способности Лопухина. Но это, конечно, не объяснение. Добавлю, что они расходились не только во взглядах, но и в оценке политического положения страны. Лопухин считал очень серьезными шансы русской революции на победу. Плеве — кажется, единственный из крупных людей старого строя — плохо верил в то, что в России при твердой власти может произойти революция.

Впрочем, у этого странного человека бывали и минуты просветления. По-видимому, в одну из таких минут он и предложил Лопухину должность директора Департамента полиции. Лопухин в ту пору занимал видный пост по министерству юстиции. Его карьера была блестящей: 38 лет от роду он был прокурором судебной палаты в Харькове. Там, во время служебной поездки, с ним встретился В. К. Плеве, вызвавший его для беседы на политические темы. «Выслушав меня,— показывал в 1917 г. Лопухин,— Плеве свое мнение об описанных мною событиях передал словами, высказанными им Государю при назначении министром внутренних дел: «если бы,— сказал Плеве,— двадцать лет тому назад, когда я был директором Департамента полиции, мне сказали, что в России возможна революция, я засмеялся бы; а теперь мы накануне революции» [1]. По словам Лопухина, Плеве тогда подумывал о лорис-меликовской конституции. Встретив недоверие и подозрение, он «под влиянием этой неудачи, а также надвинувшегося революционного террора, повернул политику на путь репрессий». Добавлю, что до последних своих дней Лопухин считал Плеве непонятым человеком. «С ним можно было работать,— говорил он.— С умными людьми хорошо иметь дело и тогда, когда расходишься с ними во взглядах».

Лопухин по должности знал революционеров. Знал, конечно, и секретных сотрудников. Среди них у него были «особенно прочные антипатии» (эти слова я от него слышал). И наиболее прочной был Азеф, самый вид которого вызывал в нем отвращение. Догадывался ли он о настоящей роли Азефа? Конечно, не догадывался, как не догадывался тогда никто другой. Но мог ли человек, столь осведомленный и опытный, твердо верить в то, что все свои сведения Азеф получает как-то стороной, «через жену», «по дружбе с Гершуни», или состоя в Боевой организации *так*, только «чуть-чуть», больше для вида,— этого

---

[1] Неизданный архив В. К. Агафонова, папка № 13.— *Автор.*

я не знаю. Вероятно, Лопухин просто старался об этом не думать. Психология его была психологией высшего офицера, ведающего в военное время контрразведкой. С революционерами велась война,— начальнику контрразведки некогда думать о побуждениях и методах своих и чужих агентов. Это не мешает признавать пределы, из которых выходить нельзя. Так, как Лопухин, действительно и поступали офицеры, ведавшие контрразведкой во время великой войны. Некоторые из них написали воспоминания,— очень интересны эти люди.

В пору первой революции Лопухин навсегда оставил государственную службу. По-видимому, он уже тогда чувствовал большую душевную усталость,— у него и внешний вид свидетельствовал о taedium vitae [1]. На последней своей должности (эстляндского губернатора) он проявил либерализм. Граф Витте, который его недолюбливал, не прощая ему близости с Плеве, считал Лопухина кадетом. Известна его роль в разоблачении погромных прокламаций. Начиная с 1905 года, Лопухин без особого успеха старался установить добрые отношения с либеральной общественностью (в этом смысле он не изменился до последних своих эмигрантских дней). Бывший директор Департамента полиции, близкий сотрудник Плеве, был русский интеллигент, с большим, чем обычно, жизненным опытом, с меньшим, чем обычно, запасом веры, с умом проницательным, разочарованным и холодным, с навсегда надломленной душою.

VII

«Разговор в поезде» надо считать высшим достижением Бурцева. Желая разоблачить и уничтожить самого важного из всех секретных агентов, он обратился за справкой к человеку, который еще недавно занимал первый пост в политической полиции государства,— мысль необыкновенная в своей смелости и простоте. Лопухин больше не служил, но все же для В. Л. Бурцева он был человеком совершенно другого, враждебного мира: достаточно сказать, что долголетняя личная дружба его связывала с П. А. Столыпиным (они были на «ты»). Тот сложный процесс, который назревал в душе Лопухина, не мог быть известен Бурцеву. Повторяю, нам и теперь этот процесс не вполне понятен.

---

[1] Отвращение к жизни (*лат.*).

Здесь опять — случайность, отмечающая всю историю, которой посвящена настоящая статья. Лето в 1908 г. Лопухин с семьей провел в Нейенаре. Ни о каких разоблачениях он, конечно, не думал, как не думал о политике вообще; он собирался ехать в Италию. Встреча с Бурцевым оказалась для него роковою: вместо Италии Лопухин попал в Сибирь. И для многих других людей этот разговор в поезде имел трагические последствия (вплоть до самоубийства). Он же вскоре повлек за собою всемирную сенсацию и один из самых громких судебных процессов нашего века.

Узнав, тоже случайно, от общего знакомого, что А. А. Лопухин в начале сентября проедет через Кельн в Берлин, В. Л. Бурцев выехал в Кельн и стал *ждать на вокзале*. Здесь элемент случайности обрывается: если б это понадобилось, Бурцев был бы, наверное, способен прожить на Кельнском вокзале неделю, месяц или полгода. Это не понадобилось. 5-го сентября, в 1 час дня, Лопухин вышел из нейенарского поезда и сел в поезд берлинский. Бурцев последовал за ним и, чуть только поезд тронулся, вошел в купе Лопухина.

Их разговор продолжался шесть часов! Я не хочу сказать, что редактор «Былого» избрал систему западноевропейских следственных властей. Взять измором б. директора Департамента полиции Бурцев, конечно, не мог,— от Лопухина зависело в любой момент положить конец разговору. Почему Лопухин этого не сделал? Или он не чувствовал, какая бездна раскрывается у него под ногами? Подробности разговора в поезде выяснить теперь нелегко. Печатный рассказ Бурцева далеко не во всем совпадает с показаниями, которые Лопухин дал следователю по особо важным делам [1]. Не во всем совпадает и рассказ, слышанный мною от обоих участников разговора. Но общая картина ясна.

В течение нескольких часов Бурцев, вероятно, задыхаясь от волнения, выяснял Лопухину истинную роль «Раскина». «После каждого нового доказательства, я обращался к Лопухину и говорил: «Если позволите, я вам назову настоящую фамилию этого агента. Вы скажете только одно: да или нет». Лопухин молчал, молчал час, два часа, пять часов. По словам Бурцева, он был «потрясен».

[1] Протоколы ном. 6 и 8 «Предварительного Следствия» по делу об отставном действительном статском советнике Алексее Александровиче Лопухине, стр. 108—110, 120—124 (из архива В. К. Агафонова).— *Автор.*

Я охотно этому верю: конечно, он не знал сотой доли той ужасной правды, которая развертывалась перед ним в рассказе Бурцева. Обстановка их встречи характерна: в купе были другие пассажиры, они часто сменялись [1] и, вероятно, не без недоумения смотрели на странных соседей. Конспирация была не Бог весть какая: в поезде между Кельном и Берлином, в разгар курортного сезона не так трудно было напасть на русских. По-видимому, пассажиры были немцы. Но едва ли Лопухин, и независимо от случайных соседей, серьезно рассчитывал на соблюдение тайны. Бурцев весьма неожиданно пишет: «Какое особенное значение мог он (Лопухин) придавать этому разговору? Ну мог ли он считать, что рассказывает какую-то правительственную тайну.., когда прежде, чем произнести имя Азефа, он выслушал подробнейший рассказ об его деятельности». Если б Лопухин не придавал значения разговору, то он, очевидно, не мог бы быть «потрясенным». Как мог он не понимать, чего стоит *им* произнесенное имя Азефа!

Не останавливаюсь подробнее на психологической стороне этого дела. Думаю, что решающее значение для Лопухина имели слова В. Л. Бурцева о цареубийстве, которое подготовлял «Раскин», и об ответственности за ту кровь, которая еще будет им пролита в будущем. Как бы то ни было, после шести часов разговора, уже перед самым Берлином, А. А. Лопухин разбил свою жизнь, сказав Бурцеву, что инженер Азеф — тайный агент Департамента полиции.

Не стоит останавливаться и на том, как, через сколько времени, по чьей вине, весь разговор в поезде стал известен Азефу. По 102 статье Уголовного Уложения бывший директор Департамента полиции был присужден к каторжным работам, замененным ссылкой на поселение в Сибирь. Хорошо известно и все остальное: суд над Бурцевым по обвинению в оклеветании Азефа, сенсационный рассказ обвиняемого об его встрече в поезде с Лопухиным, новое следствие социалистов-революционеров, проверка алиби Азефа, объяснение с ним представителей партии, и, наконец, бегство разоблаченного провокатора.

VIII

Для партии социалистов-революционеров, после разоблачения Азефа, наступили худые времена [2]. На посту гла-

[1] Протокол № 10 того же «Предварительного Следствия», стр. 132.— *Автор.*

[2] А. И. Гучков сказал, смеясь, В. Л. Бурцеву, встретившись с ним

вы Боевой организации его заменил было Б. В. Савинков, но из этого ничего не вышло. Евг. Колосов говорит, что Савинков был по природе имитатором: в литературе он подражал то З. Н. Гиппиус, то Л. Н. Толстому; как террорист он мог быть лишь исполнителем предначертаний Азефа. Замечание интересное, но, если даже оно и верно (в чем я сомневаюсь), то им, конечно, нельзя объяснить сущность дела.

Разоблачение Бурцевым «азефщины» вызвало во всем мире сенсацию, которую хорошо помнят люди моего поколения. В ту пору еще думали, что могут существовать боевые противоправительственные партии без «внутреннего освещения» и без провокации. История всех революционных движений тесно переплетается с повестью предательства и измены. В России политическая борьба имела кровавый характер, поэтому и азефщина была истинно трагическим явлением. Она дорого стоила партии социалистов-революционеров. В бурной истории этой партии два раза на ее долю выпадал период чрезвычайной непопулярности: в 1909 г., затем десятью годами позднее, в пору разбитого корыта и первых поисков: кто же корыто разбил?

Л. Мартов писал А. Н. Потресову 29 января 1909 г.: «Здесь сейчас все полно делом Азефа. То, что по сему случаю опубликовано, главным образом самим с.-р. Центром, уничтожает в корне всю с.-р.-щину. Дело с этой публикой оказалось даже хуже, чем предполагали вы в статье о процессе Гершуни: если вы в ней писали, что Боевая организация равна Гершуни, то они сами теперь признали печатно, что не только «Б. О.», но и «Ц. К.» и вообще вся верхушка партии была равна Гершуни плюс Азеф... Они — и Азеф больше, чем Гершуни — кооптировали в свою среду Гарденина (Чернова) и Гоца, они сделали «Революционную Россию» центральным органом и объявили существующей партию...» По-видимому, азефщина у социал-демократов вызывала не одни только горестные чувства. Быть может, капиталистическому строю везде

в Петербурге, в декабре 1915 г., на квартире М. А. Стаховича: «Я знаю, что вы стоили нашему правительству крупнейшее состояние... Все эти деньги были выброшены на улицу, ибо вы никогда не состояли в партии, а ваши разоблачения Азефа принесли только пользу, ибо деморализовали революционные круги» (Секретный рапорт Департаменту полиции Манасевича-Мануилова об его разговоре с Бурцевым, от 21 декабря 1915 года. Из неизданного архива В. К. Агафонова, папка ном. 5).— *Автор.*

пришлось бы плохо, если бы революционеры ненавидели «буржуазию» так, как они ненавидят друг друга.

Весьма резким нападкам подвергались главари социалистов-революционеров в их собственной партии. Одни обвиняли Центральный Комитет, другие Боевую организацию: одни говорили о чрезмерном увлечении террором, другие о недостаточном внимании к террору; одни писали о генеральстве, другие писали о лакействе. Особенное негодование вызывало то, что Азефа тут же «не убили, как собаку». В этом обвиняли преимущественно Савинкова (Тютчев, Герман Лопатин). Некоторые объясняли удачу бегства Азефа тем, что «Савинков испугался». Это, конечно, неверно. В недостатке смелости очень трудно обвинять Савинкова; да и при том настроении, которое тогда было в Европе, убийце Азефа был вполне обеспечен оправдательный приговор присяжных. Сам Савинков говорил, что у него не поднялась рука на его бывшего товарища и вождя: «в этот момент я его любил еще, как брата».— Одно объяснение лучше другого. В действительности Азефа не убили потому, что все совершенно растерялись. И то сказать: было от чего.

В связи с разоблачением азефщины, некоторые социалисты-революционеры «перенесли самое страшное моральное потрясение всей своей жизни» [1], другие отошли от партии, кое-кто покончил с собой. И почти в то же время в противоположном лагере Л. Н. Ратаев писал директору Департамента полиции Зуеву: «Ты один, может быть, поймешь, как тяжело было для меня прийти к убеждению в предательстве Азефа... Он дал мне столько осязательных доказательств своей усердной службы, сведенья его отличались всегда такой безукоризненной точностью, что мне казалось чудовищным, чтобы при таких условиях че-

---

[1] После разоблачения в Париже, в январе 1909 года состоялось собрание виднейших социалистов-революционеров, на котором В. М. Чернов рассказал об измене главы Боевой организации. Подробнейший отчет об этом заседании был немедленно, по телеграфу, передан в Петербург Гартингом-Ландейзеном директору Департамента полиции. В донесении мы читаем: «Когда Чернов окончил свою речь, председательствовавший Фундаминский (Бунаков) и многие из присутствовавших плакали; другие сидели с опущенными головами, не произнося ни слова...» Гартинг, обладавший чувствительной душой, немного сгустил краски: мне рассказывали об этом заседании не совсем так. Но потрясение в кругах социалистов-революционеров было, конечно, ужасное. Три участника собрания категорически потребовали немедленного убийства Азефа. «В течение года,— говорил В. М. Зензинов,— не было у меня дня и ночи, когда я не думал бы о нем...»— *Автор.*

ловек мог быть злодеем и дважды предателем». Другие просто не верили. Мысли о двойном предательстве Азефа не допускал председатель Совета министров Столыпин, защищавший его с трибуны Государственной Думы. А известный революционер Карпович, уже после разоблачений, грозил перестрелять своих товарищей по партии, осмелившихся заподозрить главу Боевой организации в службе Департаменту полиции.

IX

О судьбе знаменитого провокатора ходили в те времена самые разные слухи. Газетные корреспонденты одновременно находили его следы во всех странах Европы. Несколько человек едва не подверглись большим неприятностям вследствие сходства с Азефом.

На самом деле найти Азефа в европейских столицах было трудно: он совершал свадебное путешествие!

Азеф в конце 1907 года в петербургском «Аквариуме» познакомился с кафешантанной певицей — немкой К.[1]. Знакомство превратилось в прочную связь, продолжавшуюся до конца жизни Азефа[2]. Дама эта выехала вслед за ним за границу. В ту пору, когда начался революционный суд над Бурцевым, Азеф с немкой находились в Биаррице и превосходно проводили время: удили рыбу, ездили в Сан-Себастиан, в Мадрид.

Азеф знал, разумеется, о предстоящем суде над Бурцевым. Этот суд беспокоил его, однако, не слишком, в меру. Он даже связывал с процессом некоторые надежды. В самом деле, если б судьи, три знаменитейших революционера России (кн. Кропоткин, Герман Лопатин, Вера Фигнер) заклеймили Бурцева, как клеветника, положение Азефа в партии упрочилось бы надолго. Весь материал обвинения (кроме убийственного свидетельства Лопухина) был ему хорошо известен[3], и, по-видимому, Азеф считал этот материал не очень опасным. Уже после разоблачения он писал генералу Герасимову: «Все это могло кончиться не так плохо, а может и хорошо, если бы удалось устано-

---

[1] Немку эту разыскал не так давно Б. И. Николаевский, написавший на основании ее рассказов и бумаг интереснейшую работу «Конец Азефа».— *Автор.*

[2] Первая жена Азефа, не подозревавшая об его истинной роли, навсегда порвала с ним после разоблачения.— *Автор.*

[3] А. А. Аргунов. Азеф — социалист-революционер.

вить свое алиби. Но это не удалось[1]. Последней причиной провала было именно неудачное алиби, да и самый визит Азефа к Лопухину. В том же самом письме к Герасимову Азеф пишет: «Словом, было роковой ошибкой мое и Ваше посещение к Л. Когда Бог хочет наказать кого, то отнимает у него разум». Это свое письмо к генералу Герасимову, начинающееся словами: «Дело дрянь», Азеф написал на следующий день после бегства. Он просил выдать ему «жалованье за декабрь», если можно, и пособие, а заодно запрашивал, нельзя ли получить место, «лучше всего по инженерной части... Инженер я не скверный». Азеф оставлял также распоряжение на случай «если бы мерзавцам (то есть революционерам — *М. А.*) удалось меня разыскать и покончить со мною».

В тот же самый день он писал письмо и Центральному Комитету партии,— но в совершенно ином, глубоко возмущенном тоне: «Оскорбление такое, как оно нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Будет время, когда вы дадите за меня отчет партии и моим близким. В этом я уверен. В настоящее время я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться. Моя работа в прошлом дает мне эти силы и подымает меня над смрадом и грязью, которой вы окружены теперь и забросали меня».— Азеф очень любил выражаться с достоинством.

Оставив Париж с его неприятными воспоминаниями, Азеф с немкой отправились путешествовать. Они побывали в Италии, в Греции, в Египте, долго прожили в Люксоре, затем вернулись в Германию. У Азефа было несколько русских паспортов, он пользовался то одним, то другим. Но, по-видимому, Азеф не так уж опасался пре-

[1] Письмо Азефа к ген. Герасимову от 25 декабря (старого стиля) 1909 г. Архив В. К. Агафонова.— Речь идет о берлинском алиби Азефа. Как известно, узнав о том, что Лопухин назвал его имя Бурцеву, Азеф полетел в Петербург и, явившись к Лопухину, добивался его отказа от сказанных им слов. Лопухин сообщил о неожиданном визите А. А. Аргунову. Это и погубило Азефа. Товарищам по партии он объяснил, что ездил в Берлин. Для установления его алиби ген. Герасимов послал в Берлин, с соответственными бумагами, одного из своих агентов. Агент, однако, оказался неопытным человеком, прописался не там, где следовало (в подозрительных номерах «Керчь»), и вдобавок (вероятно, для увеличения своих «суточных»), указал в счете гостиницы больше дней, чем было нужно. Благодаря ряду более или менее случайных удач, В. О. Фабрикант, посланный партией в Берлин с целью проверки алиби Азефа и остановившийся в той же гостинице, неопровержимо выяснил, что в номерах «Керчь» жил не Азеф.— *Автор.*

следований со стороны партии. К боевой технике революционеров Азеф всегда относился с совершенным презрением[1]. В том же письме к Герасимову он говорит: «Если они (социалисты-революционеры — *М. А.*) догадаются обратиться к частным детективам, то те, пожалуй, и попадут на (мой) след». В его словах собственно заключалась злая насмешка: Боевая организация, обращающаяся к частным детективам для того, чтобы выследить своего бывшего вождя!

Как бы то ни было, Азеф не прибегал к гриму. Я видел его фотографию, снятую после разоблачения, в Остенде: Азеф, в полосатом купальном костюме, выходит из воды, под руку с немкой. На его лице блаженная, сияющая улыбка. Тут же рядом улыбаются фотографу другие купальщики. Они наверное никак не предполагали, что так благодушно и весело снимаются в обществе одного из самых страшных людей в истории.

В 1910 году Азеф окончательно поселился в Берлине, снял квартиру на Luitpoldstrasse, 21 и обзавелся мебелью. По подсчетам Б. И. Николаевского, на подарки своей сожительнице и на устройство квартиры Азеф истратил около 100 тысяч марок. Тот же исследователь определяет приблизительно его состояние в 150—180 тысяч марок (около миллиона франков). Однако при таком сравнительно скромном достатке люди в то время, особенно в Германии, не тратили на обстановку и бриллианты 100 тысяч марок. Вероятно, Азеф был значительно богаче.

Происхождение его богатства никаких сомнений вызывать не может. Жалованье, которое платил Азефу Департамент полиции, было очень велико для агента, но из него скопить состояние было все-таки трудно[2]. Крупных сумм

---

[1] Руководящие указания Азефа порою (особенно в делах о покушении на Столыпина и об изготовлении аэроплана для террористических актов) имели характер совершенного издевательства над террористами.

[2] В упомянутом выше последнем его письме, сейчас после разоблачения, он просил Герасимова о деньгах (и о службе), наверное для того, чтобы разжалобить своей судьбою Департамент полиции: «Я ушел без всего, очень мало денег у меня и без платья». Азеф собственно даже и не так настойчиво просил: «Не может быть речи о каком-нибудь постоянном вознаграждении. Думаю, что за декабрь полагается, а дальше решайте сами». За декабрь ему действительно «полагалось»,— он был разоблачен только 23 декабря (ст. ст.),— что ж дарить свой заработок? Но, конечно, ни пособие, ни служба не были нужны Азефу. Какую службу он мог принять в России, где только о нем и говорили, везде со скрежетом зубовным! В действительности ему были, вероятно, нужны паспорта Департамента полиции и, быть может, его протекции для свободного жительства в Германии.— *Автор.*

Департамент полиции не давал ему никогда. Мы имеем даже основание думать, что Азеф мог бы выторговать больше, чем получал в действительности: «Если бы надо было, ему не только тысячу (в месяц), но и пять тысяч заплатили бы»,— показывал А. В. Герасимов Следственной комиссии Временного правительства[1]. Департамент вообще не любил выдавать крупные суммы агентам. Кажется, только Гапон получил сразу много денег,— это в самом деле было очень опасной игрою[2]. Но Азеф, прежде часто просивший о прибавке, после первой революции уже не мог по-настоящему интересоваться своим агентским окладом (вероятно, поэтому и продешевил). У него оказался гораздо лучший источник дохода: касса Боевой организации партии социалистов-революционеров.

«Денег было много,— пишет А. А. Аргунов в своих воспоминаниях об этом периоде в истории партии.— Кроме специальных «боевых» сумм, оставшихся в особом фонде Боевой организации от прежних лет и находившихся в распоряжении и на отчете Азефа (отчета он никому не давал и в том числе и ЦК), были изысканы новые источники пожертвований на боевое дело... Насколько богата была касса ЦК, можно судить по тому, что в 1906 г. (с весны по зиму) расход доходил до 1000 рублей в день, не считая трат на боевые дела... Отношение к боевому делу всегда было такое: сколько просит Боевая организация, столько и давать надо». Впоследствии партийная судебно-следственная комиссия по делу Азефа заинтересовалась вопросом о расходовании сумм Боевой организации. «Крал ли Азеф?» — спрашивает тов. Ц. и отвечает: «я убежден, что он крал». Тов. Ц. «так полагает не только потому, что вся постановка дела давала для этого возможность, но и потому, что теперь ему припоминаются некоторые черты из поведения Азефа, на которые он своевременно не обратил надлежащего внимания»[3].— Под литерой Ц. в отчете комиссии значился не кто иной, как Б. В Савинков, еще незадолго до того «любивший Азефа, как брата».

[1] «Материалы», т. III, стр. 15.— *Автор.*

[2] Гапон щедро раздавал деньги направо и налево. О. С. Минор рассказывал мне следующую сцену, личным свидетелем которой он был в Женеве. Они сидели вдвоем на балконе квартиры Гапона, против кафе Ландольта. В дверь постучали; в комнату вошел Ленин. Он отозвал Гапона в глубь комнаты и пошептался с ним; затем Гапон на глазах О. С. Минора вынул из бумажника пачку ассигнаций и передал ее Ленину, который тотчас удалился, очень довольный. Эти деньги не принадлежали Департаменту полиции, но и позднее Гапон, вероятно, давал деньгам департамента самое неожиданное назначение.— *Автор.*

[3] Заключение судебно-следственной комиссии, стр. 54.— *Автор.*

X

Азеф зажил в Берлине тихой, покойной жизнью примиренного с миром человека. Прописался он под именем Александра Неймайера. Интересно то, что если не все, то многие из псевдонимов, которыми Азеф пользовался в последние годы своей жизни («Неймайер», «Черкас»), были у него в ходу и в пору его террористической деятельности. Это тоже как будто показывает, что он не слишком боялся слежки.

Александр Неймайер занялся коммерческими делами. Он играл на бирже,— порою с немалым успехом,— обзавелся немецкими приятелями. У него часто собирались гости, играли в карты и пили «настоящий русский чай»; Азеф вывез из Петербурга самовар. В Вильмерсдорфе, который тогда был кварталом обеспеченных, солидных, почтенных немцев, Неймайер с супругой имели репутацию хлебосольных гостеприимных хозяев. Азеф жил в свое удовольствие, посещал увеселительные места, оперетту, осматривал разные достопримечательности. Часто уезжал на курорты, притом на хорошие, в Нейенар, на Ривьеру, даже в Трувилль, бывший в ту пору самым модным летним «пляжем» в Европе. На курортах он вел большую игру,— так, например, в 1911 г. проиграл 75 тысяч зол. франков. Свою сожительницу он очень любил. Б. И. Николаевский, читавший его немецкие письма к ней, говорит, что написаны они чрезвычайно нежно. Азеф называл немку «Муши», а сам подписывался «Твой единственный Муши-Пуши», «твой единственный бедный зайчик», и т. д. О себе он обычно писал в третьем лице, нежно называя себя «папочка». Бывали и ласковые диссонансы. Иногда Азеф вставлял в письма русские выражения, именуемые у нас трехэтажными, причем выписывал их латинскими буквами: Муши очевидно кое-чему научилась в петербургских и киевских кафешантанах; но читать по-русски она не умела.

На курортах, да и в Берлине, Азеф очень легко мог наткнуться на неприятных знакомых. В Нейенаре, где он лечился, он просматривал списки вновь прибывших русских, но никаких мер предосторожности не принимал. Думаю, он совершенно не верил в то, что партия его убьет. И в самом деле, партия в те годы (в значительной мере благодаря ему) находилась в полном упадке. Одни социалисты-революционеры погибли; другие сидели в тюрьмах; Савинков занимался литературой; большинство эмигран-

тов «ушло в личную жизнь». Об убийстве Азефа очень думал А. А. Аргунов: он даже ездил (с браунингом) в Берлин разыскивать своего старого приятеля,— не нашел. При случае социалисты-революционеры убили бы Азефа (попытки выследить изменника предпринимались); но «задачей текущего момента» его убийство не было.

Летом 1912 г. Азефа однако постигла неприятность. В Нейенарском парке, у вод, на него случайно наткнулись люди, когда-то его знавшие. Им удалось заметить номер стакана, которым пил воду Азеф. Эти номера в Нейенаре соответствуют номерам курортной карты. Оказалось, что под таким номером значится в книгах купец Деймайер из Берлина, живущий в отеле Вестенд. О встрече было немедленно сообщено В. Л. Бурцеву.

Бурцев поступил по-своему, то есть так, как, вероятно, не поступил бы никто другой. Он написал Азефу письмо, в котором просил его о свидании. «Нам необходимо видеться с Вами,— писал Бурцев,— и переговорить о вопросах чрезвычайной важности. Разумеется, не может быть никакой мысли о «засаде» с моей стороны. Если Вы читали мое «Будущее», то Вы знаете, что переговоры с Вами для меня важнее всех засад, так как они прольют верный свет на важнейшие исторические вопросы». Мне неизвестно, читал ли Азеф «Будущее», но, очевидно, выяснение важнейших исторических вопросов не могло особенно его интересовать: он историком не был; вдобавок и «верный свет» не так уж был для него выгоден. Однако в письме Бурцева была и следующая фраза: «Если Вы не откликнетесь... я перенесу все нынешние сведения (то есть адрес Азефа — *М. А.*) в печать и в *то же время их отдам партии эсеров*» [1].

Азеф встрепенулся. Он немедленно сдал свою берлинскую квартиру, отослал Муши к ее матушке в провинцию, затем,— затем он написал Бурцеву, что согласен на свиданье! «Предложение Ваше принято. Оно совпадает с моим давнишним желанием установить правду в моем деле. Я раз писал жене об этом моем желании, но я не получил ответа».

[1] В действительности В. Л. Бурцев начал с того, что сообщил партии сведения своих нейенарских корреспондентов. Социалисты-революционеры послали в Нейенар членов Боевой организации. Однако, вследствие случайной ошибки, те Азефа не нашли. При очень большой настойчивости его, вероятно, можно было найти на курорте, даже с ошибочным адресом (Азеф 2-го августа переехал из Нейенара в Баден-Баден, оставив свой адрес на почте).— *Автор.*

Встреча произошла 15 августа 1912 г. во Франкфурте, в кафе Бристоль. В. Л. Бурцев в час дня вошел в кофейню. «И вот в глубине зала, около одного столика, поднялась грузная фигура... Азеф обеими руками опирался о стол... Он как будто даже растерялся, когда я протянул ему руку. Некоторое время я стоял перед Азефом с протянутой рукой, пока он, наконец, не понял, что я, действительно, хочу с ним поздороваться, и только тогда он протянул мне руку...» — Как будто даже растерялся? Может быть, и в самом деле, «как будто». По-видимому, старый провокатор решил выступить в непривычной для него роли,— в роли кающегося грешника, пораженного великодушием врага. Он объявил Бурцеву, что требует «суда над собою своих бывших товарищей» и, в случае смертного приговора, покончит жизнь самоубийством. После этого ценного сообщения Азеф стал проливать свет на прошлое, иными словами, стал врать самым беззастенчивым образом. Он уверял, например, Бурцева, что *нечаянно* выдал Департаменту полиции группу «семи повешенных»! Так буквально и сказал: нечаянно проговорился в беседе с Герасимовым.

Разговор в кофейне продолжался несколько часов. Бурцев заказал себе бифштекс. Азеф скромно спросил порцию картошки и пояснил: «Я — вегетарианец». Душа Азефа не мирилась с пролитием крови животных. Он ел картошку — и говорил, говорил...

Надо отдать должное таланту несравненного актера. Азеф почти убедил Бурцева в том, что жаждет суда! «Проговоривши с Азефом в три приема, всего 10—12 часов,— пишет Бурцев,— я пришел к убеждению, что он в то время действительно хотел над собою суда своих бывших товарищей». Впрочем, полной уверенности у В. Л. Бурцева не было. «Общее впечатление, которое я мог вынести из свиданий с Азефом, таково, что он *мог* и был способен и дальше жить без суда над ним. На это у него, по-видимому, хватало силы воли». Я тоже думаю: мог и был способен, и хватало силы воли. Думаю даже, что разговоры о суде, разные «предсмертные распоряжения» доставляли Азефу некоторое удовольствие. По крайней мере, после встречи во Франкфурте, он прислал Бурцеву длинное письмо, в котором подробно, в пяти параграфах излагал условия «суда». В параграфе втором говорилось: «Суд должен мне свой приговор объявить и я его приведу сам в исполнение в 24 часа, время, которое мне нужно для предсмертных писем», и т. д. В. Л. Бурцев не

сообщает точно, когда и откуда Азеф прислал ему это письмо в древнеримском духе. Но по бумагам Азефа мы теперь знаем, что прямо из Франкфурта он поехал в Трувилль и — верно с отчаяния — повел игру в довилльском казино. Свидание с Бурцевым было 15 августа, а 23 августа Азеф жаловался «Муши» в письме, явно не носившем предсмертного характера: «У других бывает счастье — только у папочки никогда. Удивительно! Когда я сегодня держал банк, то его сорвали на втором круге!» Кажется, папочка был настроен не так уж трагически.

Зачем нужна была Азефу встреча с Бурцевым, все это иудушкино пустословие о суде? Б. И. Николаевский высказывает предположение, что письма, которые Азеф писал через жену своим бывшим товарищам, заявление о готовности предстать перед судом партии, «были для Азефа лишь военной хитростью. Он к ним прибегал, желая показать революционерам, что у него больше нет желания им вредить». Могло быть, конечно, и такое побуждение, но собственно вредить Азеф больше не мог. Надо принять во внимание и то, что встреча с Бурцевым была все же очень рискованной игрою. Бурцев и сам в 1909 г. просил Савинкова «отдать» ему Азефа[1]. Он мог, умышленно или случайно, сообщить о предполагавшейся встрече и социалистам-революционерам (как сообщил им о нейенарском письме). Мы знаем, что, отправляясь во Франкфурт, Азеф составил завещание. Знаем и то, что именно после встречи с Бурцевым он стал принимать меры предосторожности, которых не принимал прежде: зимой 1912—13 годов он все заметал свои следы, ездил, менял гостиницы и паспорта. Возможно, что психология встречи с Бурцевым была гораздо более сложной. Люди, прошедшие школу смерти, иногда совершают поступки непостижимые. Когда Гершуни был арестован, Плеве без всякой надобности появился в тюрьме: на мгновение вошел в камеру, взглянул на знаменитого террориста и вышел... Зачем?..

Во франкфуртской поездке Азефа сказались две его основные черты: инстинкт отчаянного игрока и непреодолимая потребность в актерстве. Свидание с Бурцевым было одним из тех острых, жгучих ощущений, к которым вся жизнь приучила Азефа и которых он был лишен в последние три года: карточная игра, даже очень крупная, их

---

[1] Преданные Бурцеву люди еще до разоблачения предлагали ему без всякого суда покончить с Азефом.— *Автор.*

заменить не могла. Старый игрок почувствовал желание вновь прикоснуться на мгновение к навсегда ушедшему от него миру. Актер опять попробовал свои силы,— новая роль сошла очень недурно.

XI

Кара все же пришла, правда, не слишком жестокая. Азефа погубила война. Все его состояние было вложено в русские бумаги. С минуты объявления войны они утратили ценность в Германии. Положение семьи Неймайеров стало критическим. С горя они открыли в Берлине корсетную мастерскую. Муши изготовляла корсеты, Азеф взял на себя руководство коммерческой стороной дела. Он оказался на должной высоте и вел корсетное дело так же предусмотрительно, как, в свое время, дела террористические. Здравый смысл заменял гений Азефу. Когда-то он толково объяснял членам Боевой организации, что «динамитные жилеты» никуда не годятся, так как можно убить человека и не взрываясь с ним вместе на воздух. Теперь он столь же толково учил Муши, что корсеты надо изготовлять мелких размеров, ибо «война, по-видимому, затянется, и дамы, сидя на тощей диете, будут продолжать худеть». В Азефе лавочник отлично совмещался с убийцей.

Первый год войны прошел еще сравнительно сносно. Но летом 1915 года Азеф был неожиданно арестован на улице агентом немецкой уголовной полиции. Причина ареста была Азефу непонятна; не очень понятна она и нам. По словам Николаевского, «Неймайер» в кофейне на Фридрихштрассе наткнулся на какого-то человека, который узнал в нем Азефа. Однако можно с большой вероятностью утверждать, что германская полиция и до этой случайной встречи прекрасно знала, какое лицо под именем Неймайера пользуется пять лет гостеприимством города Берлина. Сам Азеф сначала предположил, что его подозревают в «сношениях с русским правительством». Он подал из тюрьмы оправдательную записку, в которой клялся, что с 1910 года никаких сношений с русскими властями не поддерживает. Позднее, однако, выяснилось, что арестовали Неймайера отнюдь не как секретного сотрудника русского Департамента полиции, а как опаснейшего «анархиста». Пораженный Азеф подал новую записку. В ней он божился, что никогда анархистом не был, а всегда верой и правдой служил Департаменту полиции. Да

и эта служба,— пояснял он,— дело далекого прошлого: теперь он просто мирный купец, желающий честно зарабатывать свой хлеб. Записки Азефа, однако, не произвели должного впечатления на берлинского «полицей-президента». Едва ли фон Ягов мог не знать того, что после нашумевших разоблачений Бурцева знал каждый мальчишка в Европе. Повторяю, не все ясно в этом аресте. Вероятно, берлинская полиция просто рассудила, что в военное время лучше такому человеку, как Азеф, находиться в Моабитской тюрьме, чем заниматься на свободе делами, хотя бы и корсетными.

Несмотря на все протесты и ходатайства, Азеф пробыл в заключении два с половиной года. Содержался он в условиях довольно сносных, однако был ими очень недоволен. В ответ на жалобы Азефа немецкая администрация любезно предложила ему перейти из тюрьмы в лагерь для гражданских пленных *русской национальности*. Это предложение Азеф отклонил.

Б. И. Николаевский напечатал выдержки из тюремных писем Азефа. Они изумительны по бесстыдству. Их тон — тон дневника, который Альфред Дрейфус вел на Чертовом острове. С Дрейфусом, впрочем, Азеф сравнивает себя и сам: «Меня постигло,— пишет он,— величайшее несчастье, которое может постигнуть невинного человека и которое можно сравнить только с несчастьем Дрейфуса». Заодно, Азеф скорбит и обо всем страждущем человечестве. Его чрезвычайно угнетает «Молох войны»,— как это в самом деле люди так жестоки друг к другу! «Слабый луч надежды» приносит ему, правда, русская революция: обстановка изменилась, и о «мерзавцах» писать больше незачем. Азефа радует поездка Ленина из Швейцарии в Петербург,— «почтительное отношение Германии к едущей в Россию группе социал-демократов пацифистского направления». Он и сам с удовольствием принял бы участие в строительстве новой России: «я хотел бы помочь в работах по окончанию этого здания, если я не принимал участия в их начале». Максим Горький сказал как-то венгерскому военнопленному, что «людям не хватает любви друг к другу и что будущий интернационализм будет не социализмом, а любовью к людям». Азеф приветствует эти трогательные слова, отмечая (быть может, не без свойственного ему почти незаметного, зловещего юмора), что Горький, «хотя и поэт, но в то же время и весьма реальный политик». В общем, Азеф, по-видимому, был вполне доволен ходом русской революции. «Россия прине-

сет мир человечеству. Ex oriente lux!»[1] — в порыве бодрости пишет он Муши, одновременно давая указания и насчет изготовления корсетов.

Впрочем, Азеф искал утешения не только в радостных политических событиях. Он искал утешения также в нравственном самоусовершенствовании: «После молитвы,— пишет он,— я обычно бываю радостен и чувствую себя хорошо и сильным душою. Даже страдания порою укрепляют меня. Да, и в страданиях бывает счастье,— близость к Богу». Ко дню рождения Муши он составил для нее в тюрьме таблицу морально-философских правил,— так 17-летний Николенька Иртенев писал «Правила жизни». Привожу некоторые из наставлений старого Азефа: «Пиши лишь то, что можешь подписать...» «Делай лишь то, о чем можешь сказать...» «Наперед прощай всех...» «Не презирай людей, не ненавидь их, не высмеивай их чрезмерно,— жалей их...»

Б. И. Николаевский высказывает предположение, что в своих письмах Азеф задавался целью угодить берлинскому «полицей-президиуму». Думаю, что фон Ягов этих писем в глаза не видел,— он был и без того достаточно занят. Да и тюремные цензоры (от которых совершенно не зависела участь Азефа), вероятно, читали его мысли не слишком внимательно,— отношение Querschnitt Неймайера к Богу, к миру и к людям им было, наверное, вполне безразлично. К тому же, берлинской полиции отнюдь не должно было бы понравиться, например, то обстоятельство, что посаженный ею в тюрьму человек сравнивает себя с Дрейфусом. Насколько я могу судить, у Азефа, как у многих закоренелых разбойников, на старости лет развилась страсть к слезливому многословию. Он теперь действительно «писал лишь то, что мог подписать».— но это писал с удовольствием и в неограниченном количестве.

После октябрьской революции Азефа выпустили на свободу — в сущности, так же непонятно, как и в свое время арестовали. Его сожительница рассказывала Николаевскому, что для заработка Неймайер поступил на службу — в германское министерство иностранных дел. От себя замечу: указание чрезвычайно интересное. В дипломаты Азеф очевидно не годился. Не мог он быть приглашен и сверхштатным служащим: в министерства иностранных

[1] Свет с востока! *(лат.)*

дел на должности *явные* иностранцев нигде не принимают; Азеф вдобавок и по-немецки писал безграмотно. Остается предположить, что германское правительство хотело его использовать для каких-либо темных дел военного времени. Там, в 1918 году, испытанные таланты Азефа бесспорно могли пригодиться. Быть может, поэтому его и выпустили из тюрьмы. Быть может, поэтому он после освобождения уверял Муши, что мечтает о скорейшем отъезде в Швейцарию из страны, где с ним обошлись так плохо. Швейцария была в 1918 году главным центром мирового шпионажа. Но все это лишь мое предположение. Азеф наверное унес с собой в могилу не одну тайну, и мы не можем утверждать, что он собирался начать новую жизнь — в качестве германского шпиона. Дни короля предателей уже приближались к концу.

XII

В книге Литтона Стрэчи «Елизавета и Эссекс» есть незабываемая страница: смерть страшного короля Филиппа II. Король-инквизитор, покрытый гниющими язвами, умирал в нечеловеческих страданиях, «в экстазе и в муке, в нелепости и в величии, жалкий и счастливый, праведный и ужасный».— «Совесть его была спокойна,— говорит Стрэчи.— Он всегда исполнял свой долг. Он всю жизнь трудился в крайнюю меру сил. Только одна мысль угнетала Филиппа II: был ли он достаточно усерден в деле казни еретиков? Конечно, он сжег их много. Но, может быть, надо было их сжечь еще больше?..»

Я не могу привести целиком эту страницу знаменитого английского писателя. Ему вполне удался образ трагического злодея. Теперь, пожалуй, трагических злодеев не бывает. Азеф был злодей совершенно будничный. Одни изображают его демоном, другие мещанином-коммерсантом. Думаю, что истина лежит приблизительно посредине. Азеф мог так же хорошо торговать селедкой, как торговал человеческой жизнью. Но все же по призванию (совершенно добровольно) он избрал для торговли не селедку, а человеческую жизнь.

Психология секретной агентуры, должно быть, сложнее, чем обычно думают,— здесь бывают поистине непостижимые явления. История русской революции знает случаи, когда террорист отсидел двадцать лет в крепости, а затем, выйдя на свободу, предложил свои услуги Департаменту полиции,— вот, можно сказать, устроил человек

свою жизнь в полном соответствии с требованиями здравого смысла и личной выгоды!..

Я не знаю, можно ли говорить о нормальном типе секретного агента. Но обычно во всем мире бывало так: революционер попадался, ему грозила тяжкая участь, он давал откровенные показания,— дальше все следовало, как по рельсам. Карьера Азефа с самого начала пошла не по этим рельсам агентуры. Он предложил свои услуги департаменту добровольно. В причинах его поступка далеко не все так просто, как кажется. Пятьдесят рублей в месяц были очень небольшие деньги (будущих благ Азеф в 1893 году никак предвидеть не мог). В среде русской учащейся молодежи умереть с голоду было трудно: студенты помогали друг другу [1]. Существовали и благотворительные организации; богатые люди в России и за границей содержали множество стипендиатов. Но если и предположить, что материальная нужда была единственным побуждением Азефа, то это побуждение могло действовать только до окончания им политехнической школы. Перед инженером-электротехником открывалась нормальная и выгодная карьера; никто не мешал молодому инженеру Азефу оставить ремесло осведомителя. Секретный агент (не зашедший чересчур далеко) почти всегда мог безопасно отделаться от службы: когда его сообщения переставали быть интересными, Департамент полиции прекращал уплату жалованья — и только. Говорю это и на основании свидетельств видных деятелей департамента, и по простым логическим соображениям: насильно, путем угроз, нельзя заставить людей исполнять эту службу как следует.

В воспоминаниях революционеров об Азефе его действия часто объясняются трусостью. «Нам, вместе работавшим с Азефом,— пишет, например, П. Ивановская,— кажется не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость». Объяснение это ровно ничего не объясняет. Оно, прежде всего, оставляет непонятным, зачем стал секретным агентом человек, находившийся в полной безопасности. Да и трудно вообще говорить серьезно о трусости Азефа. Его карьера была страшной и в переносном и в прямом смысле слова. За любое из своих террористических дел он непременно был бы повешен, если бы правительство своевременно узнало об его настоящей роли. За выдачу террористов его убили

[1] Это подтвердил мне инженер С. И. Лихтенштейн, учившийся с Азефом в Карлсруэ.— *Автор.*

бы революционеры, если бы им стала известна правда. А ведь и то, и другое могло случиться каждую минуту. Не говорю уже о косвенной (далеко не шуточной) опасности, беспрестанно грозившей Азефу в процессе его технической работы. «Он сто раз мог быть разорван взрывом»,— говорит В. М. Зензинов, описывая их снаряды, «динамитные жилеты», которые они в свое время изготовляли и на себе примеряли. Нервы у Азефа были, конечно, нечеловеческой крепости.

Очень трудно понять и те объяснения, которые давались измене Азефа деятелями Департамента полиции. «Я склонен думать,— писал Ратаев,— что... истинной причиной было знакомство и сближение с Гершуни. Оно сыграло роковую роль в карьере Азефа и послужило вероятно побудительным толчком к предательству. Надо помнить, что ведь Азеф до поступления на службу не был революционером, и весьма возможно, что, не отдавая себе сразу отчета, исподволь и постепенно подчинился влиянию и обаянию личности Гершуни. Этот человек, как известно, производил сильное впечатление на всех, с кем сходился. Был ли то известный гипноз, или результат необычайно развитой силы воли, или же воздействие глубокого искреннего убеждения, не знаю...» Наивность этого объяснения бросается в глаза. Азеф — поддался чарам глубокого искреннего убеждения! И, поддавшись чарам убеждения, начал подводить не только революционеров под виселицу, но и министров под бомбу! Показания из революционного лагеря (который, конечно, мог знать это гораздо лучше) не дают никакого материала для вывода о влиянии Гершуни на Азефа. Глубоко убежденных революционеров Азеф немало видел на своем веку. В своем письме к ген. Герасимову он называл террористов мерзавцами, пожалуй, довольно «искренно». Можно с большой вероятностью сказать, что Азеф приблизительно так же любил революционеров, начиная с Гершуни, как деятелей старого строя, во главе с Плеве [1].

Главной страстью Азефа была игра,— игра во всех смыслах слова. Эта страсть сочеталась с полным отсутствием каких бы то ни было задерживающих начал, кроме соображений личной выгоды. Своеобразная профессия

---

[1] Зубатов рассказывает, что Азеф «трясся от ярости и с ненавистью говорил о В. К. Плеве».— *Автор.*

укрепляла своеобразную психологию. Едва ли Азеф был «садически-жесток», но, вероятно, ему нравилась стихия, в которой роль его была так велика.

Чрезвычайно интересное сообщение мы находим в письме Ратаева к Зуеву от 20 октября 1910 г.: «Азеф,— пишет Ратаев,— работал не только на русскую революцию, но обучал и иностранных революционеров. В начале 1905 г. мне пришлось натолкнуться на серьезную организацию армян-дрошакистов и македонских революционеров, которые, вступив в союз с русскими террористами, водворяли через Черное море, преимущественно на Кавказ, оружие и взрывчатые вещества. Не довольствуясь личной поездкой в Болгарию и Константинополь, я командировал туда Азефа, который, ознакомившись детально с организацией, сообщил мне весьма важные и интересные сведения... Вскоре после отъезда Азефа с Балканского полуострова, кажется, 11 или 12 июля 1906 г., в Константинополе, в пределах Ильдиз-Киоска, во время селямлика, совершено было покушение на жизнь ныне низложенного султана Абдул-Гамида и именно тем способом, который Азеф пожелал применить против В. К. Плеве, то есть посредством автомобиля, начиненного динамитом, на котором прибыли на парад два знаменитых иностранца. Очевидно, Азеф исполнял служебное поручение в силу своего принципа «делу время, потехе час», придумал и проделал вместе с армянами покушение на султана, а затем, по своему обыкновению, уехал благополучно домой».— Я пытался навести справки об этом деле у армянских политических деятелей. Они решительно отрицают участие Азефа в покушении на Абдул-Гамида. Но участие могло быть косвенным и незаметным,— я не сказал бы с уверенностью, что Ратаев ошибся. Во всяком случае его замечание «делу время, потехе час» свидетельствует о тонком понимании психологии Азефа. Для дела надо было убивать русских министров и революционеров. А для потехи не мешало отправить на тот свет и турецкого султана с несколькими армянами, тем более, что при случае и это могло оказаться небезвыгодным. Подобный подвиг должен был даже особенно соблазнять Азефа. Быть может, и ему не удалось в жизни *самое высокое*.

В развинченной душе Азефа по необходимости существовали два мира: мир социалистов-революционеров и мир Департамента полиции. Ни один из этих миров не был его

собственным миром. И в обоих он, конечно, должен был всегда чувствовать себя дома. Его тренировка в этом смысле граничит с чудесным. Азефа выдали *другие;* сам он ничем себя ни разу за долгие годы не выдал. В каждом из миров своей двойной жизни он позволял себе и роскошь оттенков. Надо прочесть его письма в департамент: Азеф говорит с Ратаевым не так, как с Зубатовым, а с Зубатовым опять не так, как с Герасимовым. Такие же различия он делал в лагере революционеров. Во Франкфурте он говорил Бурцеву, что презирал Савинкова и чрезвычайно чтил Сазонова. Дело, конечно, не в оценке,— и уважению, и презрению Азефа цена одна и та же. Но он, как немногие другие, чувствовал, все виды различия между деятелями революционного лагеря.

Величайший знаток людей, мимоходом взглянувший на революционеров, сказал: «Это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими их считали другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди... Те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его и представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его» (Л. Толстой). По свойственному ему уму и умению разбираться в людях, Азеф при Савинкове, например, не стал бы из ригоризма отказываться на вокзале от услуг носильщика. Но в присутствии того же Савинкова, в ответ на предложение А. Гоца взорвать дом Дурново, Азеф прочувствованно сказал: «Я согласен только в том случае, если я пойду впереди... В таких делах, в открытых нападениях необходимо, чтобы руководитель шел впереди. Я должен идти». Савинков и Гоц горячо умоляли его поберечь свою драгоценную жизнь: «Организация не может жертвовать Азефом...» Азеф задумался, потом он сказал: «Ну, хорошо...»

Повторяю, у этого человека было чувство юмора. «Иронический» был человек — в том смысле, какой давал слову Достоевский. В пору Лондонской партийной конференции он попросил одного из ее видных участников зайти с ним на почту и в его присутствии сдал чиновнику толстый заказной пакет. Товарищ Азефа удивился, куда это и о чем Иван Николаевич шлет такие длинные письма? Разумеется, пакет заключал в себе подробный отчет о конференции и посылался в Департамент полиции. Едва ли

было благоразумно сдавать пакет в присутствии товарища. Столь неосторожный поступок мог позволить себе лишь большой мастер, притом юмористически настроенный. «Делу время, потехе час». Притом, где же кончается дело, где начинается потеха?

Перед судом над Бурцевым Азеф написал Савинкову длинное письмо, в котором незаметно подсказывал ему, для его речи на суде, все доводы в свою защиту. По тонкости диалектики это письмо сделало бы честь лучшему адвокату. Начиналось оно словами: «Дорогой мой. Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой». Есть и такая фраза: «Противно все это писать. Но вместе с тем меня и смех разбирает. Уж больно смешон Бурцев...» Очень может быть, что Азефа и в самом деле разбирал смех,— когда он себе представлял, с каким волнением Савинков будет читать это письмо.

Настоящего внутреннего мира у Азефа, быть может, вовсе и не было. Было что-то довольно бесформенное, включавшее в себя любовь к риску, любовь к деньгам, любовь к ролям, в особенности к ролям трогательным. Человек, очень хорошо его знавший, говорил мне, что Азеф всегда был «слаб на слезы». Я думаю, он не только в отношениях с Муши, но и в своей ужасной двойной жизни чувствовал себя порою «единственным бедным зайчиком». Все это было окрашено цинизмом,— впрочем, очень легким. Могла быть и мания величия, тоже очень легкая. В тюрьме он читал Штирнера «Единственный и его достояние»: вероятно, он себе казался единственным и в штирнеровском смысле. По-своему, он «единственным» и был: очень трудно себе представить более совершенный образец морального идиотизма, при немалом житейском уме, при огромной выдержке. Никакие сомнения его не тревожили: он и без борьбы обрел право свое.

Говорили мне, что этот человек,— переходная ступень к удаву,— очень любил музыку, музыку кабаков и кафе-концертов: слушал будто бы с умилением и восторгом. Может быть, немного и дурел, как змеи от флейты?

Здоровье Азефа сдало в годы войны и тюремного заключения. Вероятно, на нем отразилось недоедание тех

лет, весьма серьезное в Германии. У него развилась болезнь почек, осложнившаяся болезнью сердца. В апреле 1918 г. он слег в больницу (Krankenhaus Westens). Через несколько дней, 24 апреля, в 4 часа пополудни, Азеф умер.

Верная немка похоронила его по второму разряду, на Вильмерсдорфском кладбище. Надписи на могиле нет никакой, во избежание неприятностей («вот рядом тоже русские лежат»). Есть только номер места: 446.

УБИЙСТВО УРИЦКОГО

I

> Сократ. Или ничего не стоили по-твоему те божественные люди, которые сражались под стенами Трои и первый из них, бесстрашный сын Фетиды. Ему ведь сказала богиня: если ты отомстишь за Патрокла, ждет тебя неминуемая гибель. А он ей ответил: презираю я смерть и презираю опасность. Хуже мне жить, не отомстив за моего друга.
>
> *Платон*

«Не подлежит никакому сомнению, что всякое политическое убийство есть гнусное преступление».

Так писал в передовой статье, по поводу гибели Воровского, один весьма влиятельный орган печати.

Выстрел Мориса Конради нельзя назвать иначе, как бессмысленным актом; он особенно нелеп потому, что Воровский был, насколько могу о нем судить, честный и убежденный человек, *лично* неповинный в преступлениях советской власти.

И все-таки уж очень категорически выражается влиятельный орган печати. Неужели «не подлежит никакому сомнению»? И уж будто «всякое»? И так-таки «гнусное преступление»?

Платон, Шекспир, Вольтер, Мирабо, Шенье, Гюго, Пушкин, Герцен были совершенно не согласны с передовиком влиятельного органа печати.

Шекспир изобразил убийцу Цезаря несравненным образцом добродетели. Ни единого пятнышка не наложил он на облик Юния Брута. Дело не в том, верно ли это исторически. Дело даже не в том, сочувствовал ли великий драматург убийству римского диктатора. Важно, что он допускал возможность самых чистых и благородных побуждений у окровавленного политического террориста.

Историки, политики, поэты вот почти полтора столетия совершенно по-разному расценивают *поступок* Шарлотты Корде. Но разногласия больше не касаются ее личности. Только несколько изуверов отрицают высокую красоту морального облика женщины, убившей Марата.

Вечная проблема остается вечной проблемой. Но людей в политике судят не только по делам,— их судят в особенности по словам. Не мешало бы судить и по побуждениям дел.

Следующие ниже страницы относятся к юноше, так трагически погибшему десять лет тому назад. Я хорошо его знал. Беспристрастно, как мог, я собрал сведения об убитом им человеке. То, что я пишу, не история, а источник для нее. У историка будут материалы, каких я не имею. Но и у меня были материалы, которых он иметь не будет, он, никогда не видавший ни Каннегисера, ни Урицкого [1].

По разным причинам я не ставлю себе задачей характеристику Леонида Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; возможно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, страшный Петербург десятых годов.

Скажу лишь, что молодой человек, убивший Урицкого, был исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Из них были напечатаны, в «Северных записках» и в «Русской мысли», шесть или семь, отнюдь не лучшие. Многое другое он мне читал в свое время. Его наследия мало, чтобы посвятить ему литературно-критический этюд; вполне достаточно, чтобы без колебаний признать в нем дар, не успевший развиться.

Не знаю, сколько именно «пролетарских поэтов» породила большевистская революция,— об их шедеврах что-то не слышно. Вот зато другой, очень неполный список: казнен Гумилев, один из самых крупных талантов последнего десятилетия; казнен девятнадцатилетний князь Палей [2],

---

[1] Это впрочем не так уж невыгодно для историка. Ему достанется по крайней мере полная свобода суждения и оценки. У меня *полной* свободы нет.— *Автор*.

[2] Сброшен в шахту за родство с царствовавшей династией,— другой причины не было.— *Автор*.

в котором компетентный человек, А. Ф. Кони, видел надежду русской литературы; казнен Леонид Каннегисер.

Но, говоря об исключительных дарованиях убийцы Урицкого, я имею в виду не только его поэтические произведения. Он всей природой своей был на редкость талантлив.

Судьба поставила его в очень благоприятные условия. Сын знаменитого инженера, имеющего европейское имя, он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке, в доме, в котором бывал весь Петербург. В гостиной его родителей царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты со старыми заслуженными генералами.

Этот баловень судьбы, получивший от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер, был несчастнейший из людей.

Мне были недавно даны выдержки из оставшегося после него дневника. Расстрелян тот, кто писал дневник; расстрелян и тот, кто уберег его в дни, последовавшие за убийством Урицкого [1]. Чудом уцелели и попали за границу эти записки, с которыми связано воспоминание о погибших людях.

Помнится, Михайловский заметил, что только очень одинокие люди могут вести дневники. Вернее было бы сказать: очень одинокие или очень несчастные. Мария Башкирцева, например, уж никак не жила в одиночестве. Но в своей жизни она не насчитывала ни одного дня без мучений. Почему? Она тоже спрашивала: почему?

> Pourquoi, pourquoi dans ton oeuvre céleste
> Tant d'éléments si peu d'accord! [2]

Я не буду говорить подробно о дневнике Леонида Каннегисера, во многих отношениях поистине поразительном. Он начал свои записи в 1914 году,— первая помечена 29-м мая. Война застала его — в Италии — шестнадцатилетним мальчиком. Ему страстно захотелось пойти на фронт добровольцем. Родители его не пустили. Как всех мальчиков, его тянуло на войну именно то, чего на войне нет. Но было еще и нечто другое.

Привожу почти наудачу несколько записей:

---

[1] Большевистскому следствию этот дневник не дал бы впрочем ничего. Он обрывается в начале 1918 года и не касается вовсе террористической деятельноста Каннегисера.— *Автор.*

[2] Почему в твоем творении небесном столь много несогласия! *(франц.)*

«У меня есть комната, кровать, обед, деньги, кафе, и никакой жалости к тем. у которых. их нет. Если меня убьют на войне, то в этом безусловно будет некоторый высший смысл...»

«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил: «иду!» Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: «вот вздор! Зачем же мне идти: у нас огромная армия». А вечером опять буду перерешать. Потом пойду на компромисс: «лучше пойду санитаром». Так каждый день: колеблюсь, решаю, отчаиваюсь — и ничего не делаю.

Другие по крайней мере работают на пользу раненых. Я тоже был раз на вокзале. Одного раненого пришлось отнести в перевязочную. При мне сняли повязку и я увидел на его ноге шрапнельную рану в пол-ладони величиною; все синее, изуродованное, изрытое человеческое тело; капнула густо кровь. Доктор сбрил вокруг раны волосы. Фельдшерица готовила повязку. Двое студентов тихонько вышли. Один подошел ко мне, бледный, растерянно улыбаясь, и сказал: «не могу этого видеть». Раненый стонал. И вдруг он жалобно попросил: «пожалуйста, осторожней». Я чувствовал содрогание, показалось, что это ничего, и я продолжал смотреть на рану, однако не выдержал. Я почувствовал: у меня кружится голова, в глазах темно, подступает тошнота. Я б, может быть, упал, но собрался с силами и вышел на воздух, пошатываясь, как пьяный.

И это может грозить — мне. Знать, что эта рана на «моей ноге»... И как вдруг в ответ на это в душе подымается безудержно радостно сладкое чувство: «мне не грозит ничего», тогда я знаю: «я — подлец!»

«Сейчас мне пришли в голову стихи: «О, вещая душа моя... О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!..» Перелистал Тютчева, чтобы найти их. И строки разных стихотворений как будто делали мне больно, попадая на глаза. Там каждая строчка одушевленная и именно болью страшно заразительной.— Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте,— я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний,— но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».

«Я теперь сам удивляюсь, как во мне могла быть вера в силу молитвы. «Попросите с верою и дастся вам...»

Это вносит путаницу в религиозные представления... Это имеет только один смысл (если это не просто неисполнимое обещание, евангелическая демагогия...). Можно толковать еще так: «С верой вы не станете просить о земных благах (а если просите о них, значит, без веры или с малой), а только о царствии небесном». Но, во-первых, это неясно, а такие неясности не могут быть случайными, то есть опять демагогия. А, во-вторых, здесь есть тогда небрежение человеческим сердцем, которое все создано так, что *не может не желать* жаждущему — студеной струи. Пока в мире есть раны, мучения, смерть, священник всегда уступит дорогу хирургу. Мне это в полной мере понятно только сейчас, когда я только что видел ужаснейшие мучения бесконечно дорогого человека. Потом я, может быть, не обойду опять мнимо просветленного убеждения, что страдания — благо, ибо облегчают путь к Царствию Небесному. Ларошфуко говорит: «La philosophie triomphe aisement des maux passés et des maux à venir, mais les maux présents triomphent de la philosophie» [1]. Это так же было бы верно (и более жестоко), если бы вместо la philosophie подставить la religion; но Ларошфуко было не до нее».

Я ничего не комментирую. Все дневники немного похожи друг на друга. С их наивностями стиля и мысли, выдержки из дневника Леонида Каннегисера меня поражают. Было бы напрасно искать в них логики. Решение уйти на войну сменяется решением уйти в монастырь; за страницами чистой метафизики приходят такие страницы, которые жутко читать; восторг перед памятниками Феррары, перед картинами Веронезе сменяется восторгом перед Советом рабочих и солдатских депутатов. И на каждой странице дневника видны обнаженные нервы и слышно:

«Душа из тела рвется вон...»

Я с ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничего в нем не предвещало.

Одна характерная сцена осталась, впрочем, у меня в памяти. Она относится к весне 1918 года. Мы долго иг-

[1] «Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией». *(Перевод Э. Линецкой.)*

рали с ним в шахматы. Я жил в том доме на Надеждинской, где помещался книжный магазин «Петрополис». Этот своеобразный кооператив библиофилов скупал тогда книги у своих нуждающихся участников, стараясь их не обижать, и без выгоды перепродавал их членам кооператива, более обеспеченным материально. В ту пору в «Петрополисе» продавалась великолепная старинная библиотека князя Гагарина, состоявшая премущественно из французских книг 18-го и начала 19-го столетий. Я купил там кое-что, и приобретенные мною книги лежали у меня на столе в кабинете. Мой гость принялся их перелистывать. Заговорив о книгах, я высказал предположение (не проверенное мною и основанное только на их характере), что библиотека эта принадлежала в свое время тому самому князю Гагарину, которому приписывали — по-видимому, неосновательно, — авторство анонимных писем, бывших причиной смерти Пушкина.

Леонид Акимович изменился в лице и даже выронил на стол книгу.

— Кем это надо было быть, — сказал он, бледнея, — чтобы написать такое письмо — о Пушкине...

И замолчал. Затем, вдруг, стал негромко декламировать стихи:

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!
Для рук бессмертной Немезиды
Лемносский бог тебя сковал...

Он вообще читал плохо, как, кажется, все русские поэты (за исключением изумительного чтеца И. А. Бунина): читал без всякого выражения, неестественно-однотонно, точно показывая, что никакая экспрессия, никакое искусство дикции не могут ничего прибавить к красоте самих стихов. Если не ошибаюсь, эту манеру чтения ввел Александр Блок. Но на этот раз молодой человек читал иначе, чем всегда, — или мне теперь так кажется?

— Заметьте, — сказал Каннегисер, оборвав чтение на первом четверостишии, — заметьте, здесь Пушкин сплоховал: в этой строфе нельзя было рифмовать второй стих с третьим. Если третью строчку поставить на место четвертой, выйдет гораздо сильнее... Сплоховал Пушкин, — повторил он, усмехнувшись. — Вот как я написал бы...

И он прочел четверостишие в своей редакции. Его тон был забавен, — усмешка, разумеется, ставила в кавычки

эту поправку к Пушкину. Про себя я с ним согласился: так действительно было сильнее[1].

Он затем прочел совершенно изменившимся голосом конец «Кинжала».

О, юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Как сейчас перед собой, вижу его в ту минуту. Он сидел в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось. Мне жутко вспоминать теперь эти строфы «Кинжала» — в чтении убийцы Урицкого .. Страшная вещь искусство! Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской Чрезвычайной Комиссии?

Помню, я обратил внимание молодого человека на необыкновенное техническое совершенство этих изумительных строф, на рыдающий звук второго стиха («О, Занд»), состоящего из кратких односложных слов, на эффект, достигнутый звуком «а». Пушкин, не учившийся в цехе поэтов, знал ухом все фокусы современного стихосложения. Андре Шенье, в оде, послужившей образцом «Кинжалу», но превзойденной им, использовал сходный драматический эффект, звук ar:

Le poign*ard*, seul esp*oir* de la terre,
Est ton *ar*me *sacrée*..[2]

Но молодой человек меня не слушал (хотя о поэзии мог говорить часами). Он принялся расспрашивать о Зан-

---

[1] Вопрос о том, «сплоховал» ли Пушкин, оказывается однако довольно сложным. Беловой автограф «Кинжала» считался потерянным; знаменитое стихотворение стало печататься в России лишь с 1876 года — то по тексту «Полярной Звезды», то по черновому наброску, то по записной книжке Полторацкого. Теперь, в первой книге «Голоса Минувшего» за 1923 год. М. А. Цявловский опубликовал впервые беловую рукопись Пушкина, оказавшуюся в бумагах Н. И. Тютчева. В этом тексте второй стих образует рифму не с третьим, а с четвертым (как требовал Каннегисер), но зато третий и четвертый стихи (обычной редакции) идут впереди первых двух:

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды! — *Автор.*

[2] Кинжал, земли одна надежда,
Твое оружие святое *(франц.)*.

де. Не хочу сказать, что я стал в тот вечер что-то подозревать. Тогда, вероятно, еще ничего и не было задумано.

Леонид Каннегисер не принимал никакого участия в политике до весны 1918 года. Февральская революция его захватила,— кого же она не захватывала так недели две или три?

Он был председателем «союза юнкеров-социалистов». Не поручусь,— как это ни странно,— что он не увлекался и идеями революции октябрьской. Ленин произвел на него, 25 октября, сильнейшее впечатление,— об этом я говорил в другом месте.

События 1918 года, Брест-Литовский мир, скоро переменили мысли Каннегисера. Изложение его политической эволюции не входит в мою задачу (да я этой эволюции и не знаю). Но в апреле (или в мае) 1918 года он уже ненавидел жгучей ненавистью большевиков и принимал какое-то участие в конспиративной работе по их свержению. Гибель друга сделала его террористом.

II

The last of all the Romans, fare well!..[1]
Шекспир

Петербург в ту пору кишел заговорщиками.

Заговоры, говорят, были всякие: монархические и республиканские, с немецкой ориентацией и с союзной ориентацией. О многих из них мне и теперь ничего неизвестно. Но кое-кого из заговорщиков я знал. Странные это были заговорщики...

«Пушечное мясо» — одно из самых скверных выражений, брошенных в историю Наполеоном. Случайно, должно быть, оно было им пущено, а он сообщал бессмертие всему тому, что ему приходило в голову. События последних лет показали, какой громадный рынок пушечного мяса представляет собой «цивилизованное человечество». Кто скажет, похвала ли это или брань по адресу современных людей? Чего больше — глупости или героизма — мы видели в последние годы?

Пушечное мясо революций по моральному составу, быть может, выше, чем пушечное мясо войны. Есть всеобщая обязательная воинская повинность, нет обязательной повинности революционной. По отношению к революциям мы все a priori белобилетчики. Революции обыкновенно творятся добровольцами.

---

[1] Прощайте, последние из римлян!.. *(англ.)*

Я слышал от боевых офицеров, что в пору мировой войны самые плохие солдаты выходили из добровольцев. Думаю, что это верно: так оно было (вопреки распространенной легенде) и в период войн Революции и Империи. Дюмурье ненавидел солдат-волонтеров; недоверчиво относился к ним и Бонапарт.

Трудно было уберечься от крайнего скептицизма при виде тех добровольцев революции, тех молодых заговорщиков, которые в 1918 году подготовляли в Петербурге разные грандиозные предприятия. Опытный конспиратор-профессионал, вроде Гершуни или Савинкова, вероятно чувствовал бы себя среди них — как фельдмаршал Гинденбург на смотру вооруженных палками, восторженно выстроившихся школьников (такая картинка была недавно напечатана в немецких иллюстрированных журналах).

Конспирация у них была детская,— по-детски серьезная и по-детски наивная. Не будучи Шерлоком Холмсом, можно было в каждом из них за версту признать заговорщика. Им не хватало только черных мантий, чтобы совершенно походить на актеров четвертого действия «Эрнани». Леонид Каннегисер гулял, летом 1918 года, вооруженный с головы до ног. Помню, раз он пришел ко мне ужинать; он имел при себе *два* револьвера и еще какой-то ящик, с которым обращался чрезвычайно бережно и подчеркнуто таинственно. Ящик этот он оставил у меня на ночь; на следующее утро зашел за ним и столь же таинственно его унес. Так и не знаю до сих пор, что было в ящике. Я, по Чехову, назвал молодого человека «Монтигомо, ястребиный коготь»,— он немного обиделся.

Если не ошибаюсь, он тогда предполагал взорвать Смольный институт (это называется excuser du peu! [1]). Всякий химик поймет, как легко осуществить такое предприятие. Каннегисер о химии не имел ни малейшего представления. Чему только их учили на «ускоренном курсе» артиллерийских училищ?

Я знал и Перельцвейга, и еще несколько молодых людей, юнкеров и офицеров, принадлежавших к тому же кружку. Они были казнены еще до убийства Урицкого, недели за две или за три. Гибель Перельцвейга, близкого друга Леонида Каннегисера, по всей видимости и была непосредственной причиной совершенного им террористического акта: она страшно его потрясла.

Все эти молодые люди стояли на одинаковой конспира-

---

[1] Вот это да! *(франц.)*

торской высоте. То, что они не были переловлены в первый же день по образовании кружка, можно объяснить лишь крайне низким в ту пору уровнем техники в противоположном лагере. Вместо матерого Охранного отделения была юная Чрезвычайная комиссия, только начинавшая жизнь; вместо Белецкого и Курлова работали копенгагенские и женевские эмигранты. Отдаю должное их молодым талантам: они быстро научились своему ремеслу.

Такова была боевая ценность группы заговорщиков, действовавшей в 1918 году в Петербурге. Об их моральном, об их гражданском уровне скажу кратко.

Я не принимал никакого участия в их делах, я был довольно далек от них в политическом отношении; психологически никто не мог быть мне более чужд, чем они. Свое — поэтому беспристрастное — свидетельское показание приобщаю к протоколам истории: более высоконастроенных людей, более идеалистически преданных идеям родины и свободы, более чуждых побуждениям личного интереса — мне никогда видеть не приходилось. По жертвенному настроению, которое их одушевляло, можно и должно их сравнивать с декабристами Лещинского лагеря, с народовольцами первых съездов или с молодежью, которая в первые, славные дни Добровольческой армии шла под знамена Корнилова... Этих петербургских заговорщиков никто не науськивал на советскую власть. Их на советскую власть, главным образом, науськивал Брест-Литовск.

Они ничего не желали для себя, да и не могли желать. По их молодости, по их политической незрелости, им нельзя было рассчитывать ни на какую карьеру. В лучшем случае, в случае полного успеха, в случае свержения советской власти, их послали бы на фронт — только и всего. При всей своей неопытности, они, вероятно, понимали, что в борьбе против большевиков у них девять шансов из десяти — попасть в лапы Чрезвычайной комиссии. Десятый же шанс заключался в том, чтобы вести — к новым Калущам — солдат, которые воевать не хотели. Но и на это почти не было надежды. «La mort a mille aspects, le gibet en est un» [1],— говорит кто-то у Виктора Гюго, кажется, в «Marion Delorme». У них, у этих заговорщиков, в сущности не было другой перспективы,— кроме палача.

Все они палачу и достались.

---

[1] «Обличий смерти — тьма, петля из них одно». *(Перевод А. Ахматовой.)*

Впрочем, не все... Тот, кто был тогда их руководителем, давно продал свою шпагу — и теперь верой и правдой служит Советской Власти. Его я также хорошо знал. Если эти строки попадутся ему на глаза, пусть он ненадолго вспомнит о погибших людях, на крови которых он делал и делает политическую карьеру. Это только напоминание — так, к слову: на «угрызения совести» я нимало не рассчитываю.

III

Урицкий, Моисей Соломонов, мещанин гор. Черкасс, комиссионер по продаже леса... Не производит впечатления серьезного человека.

Охранное отделение [1]

Свободой и жизнью нескольких миллионов людей, отнесенных к Северной Коммуне, в ту пору почти бесконтрольно распоряжался Урицкий.

В иллюстрированном приложении к «Петроградской Правде» 31 августа 1919 года, в годовщину «предательского [2] убийства», помещена биография погибшего шефа Чрезвычайной комиссии. Вот что мы в нем читаем:

«Моисей Соломонович Урицкий родился 2-го января 1873 года в уездном городе Черкассах, Киевской губернии, на берегу реки Днепра. Родители его были купцы. Семья была большая, патриархальная. Обряды, благочестие и торговля — вот круг интересов семьи. Когда мальчику исполнилось три года, отец его утонул в реке. Мальчик остался на попечении своей матери и старшей сестры — Б. С. Молодой. М. С. до 13 лет изощрялся в тонких и глубокозапутанных сплетениях Талмуда. Единственным отрадным явлением в эти годы являлась его близость к природе. В свободные минуты мальчик уходил на берег живописного Днепра. Здесь мы должны видеть первоисточник той мягкости и добродушия, которые отличают М. С. во всю его жизнь. Интересы сестры его были направлены в другую сторону. Она рано угадала блестящие

---

[1] Документы 6. Московского охранного отделения. Большевики. Москва, 1918, стр. 238.— *Автор.*

[2] Глупость этого эпитета в применении к поступку Леонида Каннегисера достаточно очевидна. Самодержавное правительство обнаруживало и здесь значительно больше вкуса, чем нынешнее: оно в официальных актах убийство сановников обыкновенно называло «злодейским», а не «предательским».— *Автор.*

способности своего младшего брата и страстно желала приобщить его к русской культуре. Ей это удается. В 13 лет М. С. против воли матери «набрасывается» на изучение русского языка, вкладывая в это весь свой юный пыл. Он блестяще выдерживает вступительный экзамен и, несмотря на процентную норму, поступает в Черкасскую прогимназию...»

Дальше в том же роде. Будущий министр внутренних и иностранных дел еще в ранней молодости стал членом социал-демократической партии и «всецело отдался партийной работе». В 1906 году, «даже царские чиновники нашли возможным заменить ему ссылку принудительным отъездом за границу. Война застала его в Германии. М. С. переезжает в Стокгольм, а затем в Копенгаген. При первой весточке о русской революции, после долгих лет борьбы и изгнания, тов. Урицкий возвращается в Россию. Здесь его бурная, полная огня и силы деятельность протекала у всех на глазах... Это был человек своеобразной романтической мягкости и добродушия. Этого не отрицают даже враги его».

Я не знаю, кто автор биографии Урицкого, появившейся в советском официозе; вероятно, рядовому публицисту она не могла быть поручена. Очень поэтичен колорит, наведенный большевистским фармацевтом на личность Урицкого. Что-то в трогательном очерке этом предполагалось, по-видимому, от Гоголя, что-то предполагалось и от Руссо. Хороша и «отрадная близость к природе» с «посещениями берега Днепра», в котором «мы должны видеть» — этакая чудесная сила днепровских берегов! — первоисточник мягкости и добродушия будущего шефа чрезвычайки. Хорош и героический характер всех поступков Урицкого. Великое будущее молодого М. С. было впервые угадано его сестрой (так же, как это случилось с Эрнестом Ренаном) и ей, на счастье родины, «*удается* приобщить его к русской культуре». Русскую азбуку он не просто изучает, а *«набрасывается»* на нее, *«вкладывая в это весь свой юный пыл»*. В Черкасскую прогимназию поступает тоже не просто, а *«блестяще»*. Выходит из школы *«с блестящими знаниями по русской и всемирной литературе»*. Партийной работой занимается не как тысячи других людей, а *«отдается ей всецело»*. О русской революции до него доходит в Копенгаген *«весточка»*. Полицейская работа его в Чрезвычайной комиссии есть *«бурная, полная огня и силы деятельность»*. И вся личность поставщика петербургского эшафота настолько исполнена «своеобразной романти-

ческой мягкости и добродушия», что перед ней невольно снимают шляпу и враги, вроде как у Шекспира Антоний и Октавий-Август почтительно склоняются над мертвым телом Брута: ведь даже царские чиновники заменили ему в свое время ссылку «принудительным отъездом за границу»,— чего, кстати сказать, романтический добряк, в свою бытность руководителем Ч. К., не сделал ни для одного из царских чиновников. Их подвергали другой участи,— тоже «принудительно».

Должен сказать, что в изображении необыкновенной доброты, гуманности и великодушия Урицкого еще гораздо дальше, чем анонимный поэт из «Правды», идет другой биограф,— общепризнанный авторитет по вопросам благородства и чести: Зиновьев. Он посвятил убитому чекисту большую статью в «Известиях» [1]. Статья эта начинается словами: «Убит тов. Урицкий. Убийца, *как и следовало ожидать*, правый эс-эр, студент Каннегисер».— Каннегисер никогда не был социалистом-революционером и большевики прекрасно это знали [2]. Кончается же статья Зиновьева так: «На контрреволюционный террор против лиц рабочая революция ответит террором пролетарских масс, *направленным против всей буржуазии и ее прислужников»* [3]. Этот погромщик выдал Урицкому аттестат кротости и Монтионовскую премию за добродетель: «Урицкий,— пишет Зиновьев,— был *один из гуманнейших людей нашего времени*. Неустрашимый боец, человек, не знавший компромиссов, он вместе с тем был человек *добрейшей души и кристальной чистоты»*.

Опять замечу: много некрологов было посвящено убитым министрам и полицейским чиновникам царского времени; но я не помню, чтобы самый последний продажный писака называл Плеве «одним из гуманнейших людей нашего времени» или «человеком добрейшей души и кристальной чистоты». Не помню также, чтобы сыскная работа именовалась «бурной, исполненной огня и силы деятельностью». Положительно, чувства приличия у полицей-

[1] Г. Зиновьев. Моисей Соломонович Урицкий. «Известия Петроградского Совета Рабочих и красноармейских депутатов», № 194, (337).— *Автор.*

[2] См. официальное сообщение о расстреле Леонида Каннегисера: «От Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» («Северная Коммуна», № 133). Статья Зиновьева напечатана в годовщину убийства.— *Автор.*

[3] Как известно, после убийства Урицкого в Петроградской Коммуне, находившейся в ведении г. Зиновьева, было в одну ночь расстреляно пятьсот ни в чем не повинных людей.— *Автор.*

ских деятелей самодержавного периода было много больше, а уверенности в непроходимой глупости читателей — много меньше.

Скажу тут же, что от меня весьма далека мысль изобразить Урицкого исчадием ада. «Над трупом вольности безглавой палач уродливый возник...» Так представлялся, вероятно, шеф петербургской чрезвычайки его убийце.

Коммунисты, как водится, изобразили его беззаветным рабом идеи, фанатиком большевистского Корана. Сомневаюсь, чтобы это было так. Фанатик — комиссионер по продаже леса![1] Это был бы первый случай в истории фанатиков и в истории комиссионеров по продаже леса. И лицом Урицкий нимало не был похож на фанатика. Да и в самый Коран он уверовал только за несколько месяцев до своего конца.

Урицкий был всю жизнь меньшевиком. В годы эмиграции он состоял чем-то при Г. В. Плеханове,— кажется, личным секретарем. Покойный Плеханов, подобно Ленину и Саре Бернар, любил окружать себя бездарностями.

У меньшевиков Урицкий никогда не считался крупной величиной[2]. В 1912 году он был однако избран в их Организационный Комитет.

Избрание это произошло при следующих обстоятельствах, на которых, быть может, стоит остановиться. В августе 1912 года в Вене была созвана конференция членов РСДРП с участием представителей целого ряда социал-демократических организаций (преимущественно — но не исключительно — меньшевистских). Это была одна из попыток освободить партию от диктатуры Ленина, который незадолго до того создал в Праге чисто большевистский Центральный Комитет. В конференции приняли участие почти все выдающиеся деятели социал-демократической партии не большевистского толка: Аксельрод, Мартов, Абрамович, Медем, Либер, Троцкий, Горев, Семковский, Ларин и др. Цель заключалась в том, чтобы объединить все организации РСДРП, кроме чистых ленинцев, и объявить Ленина узурпатором.

---

[1] Замечу, что целый ряд большевистских «фанатиков» занимался до революции делами, фанатизма не требующими и не предполагающими: Калинин был служащим городского трамвая; Красин — директором завода; Свердлов — аптекарским учеником; Ганецкий — приказчиком и т. д.— *Автор.*

[2] Это подтвердил в разговоре со мной и Р. А. Абрамович. И. Г. Церетели, несколько раз встречавшийся с Урицким, говорил мне, что на него будущий народный комиссар Северной Коммуны производил впечатление очень серого и ограниченного человека.— *Автор.*

Попала однако в Вену и небольшая группа лиц, которая ставила себе противоположную задачу: сорвать конференцию или, по крайней мере, помешать объединению и сохранить ленинский Центральный Комитет. «Группу» эту составляли два делегата — «Лапка» и «Петр». Действовали они по совершенно разным побуждениям.

Член конференции «Лапка» принадлежал к большевистскому течению и, если не во всем тогда сходился с Лениным, то в некоторых отношениях был скорее левее, чем правее будущего диктатора. Он с той поры проделал довольно значительную политическую эволюцию. «Лапка» был Г. А. Алексинский.

Член конференции «Петр» имел несколько имен. Его иначе звали в партии «Александром» и «Кацапом». Настоящее имя его было Андрей Александрович Поляков. Но у него еще была и другая кличка — «Сидор». Под этим псевдонимом его знало охранное отделение. «Петр» был секретный агент Департамента полиции.

Департамент полиции имел видных и опытных провокаторов в каждой группе РСДР Партии. В ленинском Центральном Комитете его представлял «Портной» (член Гос. Думы Малиновский). В Центральном областном бюро партии служил другой замечательный провокатор, «Пелагея» (А. Романов), личный друг семьи Ленина. Московские организации находились в ведении Лобова, тоже очень ценного сотрудника (страдавшего, однако, запоем). «Правду» редактировал охранник «Москвич» (М. Черномазов). В Париже работал человек с нежными французскими именами: «Андре» и «Доде» (доктор Яков Житомирский), и т. д. Одним словом, дело было поставлено хорошо.

Департамент полиции трудился со вкусом и с любовью. Начальники охранных отделений (особенно столичных) были большие знатоки дела и проявляли живейший интерес ко всем идеологическим течениям подпольных партий. Они входили, так сказать, во вкус революции, перенимали язык, термины, манеру мысли партийных людей, сочувственно изучали индивидуальность отдельных революционеров. Стиль циркуляров Департамента полиции и донесений его агентов — неподражаем. Так например, об одном из течений РСДР Партии департамент неодобрительно замечает: «склонно к оппортунизму». В характеристике Луначарского имеются умиленные слова: «Обладает симпатичной внешностью». Нравился Департаменту полиции лицом и Ленин: он «наружностью производит

впечатление приятное». Зато менее приятен характер большевистского вождя: «Ленина словом не прошибешь»,— мрачно говорится о нем в одном донесении... Очень неодобрительно отзывался Департамент полиции о нарушениях партийной дисциплины: так например, в сообщении его начальнику Московского охранного отделения (24 июня 1909 года) говорится почти с возмущением о том, что «члены Большевистского центра,— Богданов, Марат и Никитич (Красин) перешли к критике Большевистского центра) склонились к отзовизму и ультиматизму и, захватив крупную часть похищенных в Тифлисе денег, начали заниматься тайной агитацией против Большевистского центра вообще и отдельных его членов в частности. Так, они открыли школу на острове Капри, у Горького». У начальника Московского охранного отделения была, однако, своя собственная информация — и он в ответном письме Департаменту полиции (от 7 июля 1909 года) мягко заступается за Богданова, Марата и Никитича. «Никакой агитации против Большевистского центра указанные три лица не ведут; школа открывается не на похищенные в Тифлисе деньги, а на деньги, пожертвованные Горьким и другими лицами... У Богданова, Марата и Никитича идут, отчасти на почве философского и тактического разногласия, а главным образом на личной почве, трения с Лениным, и главным образом с «Виктором». Последний, вопреки положительному отношению трех названных лиц к Большевистскому центру, хочет вызвать раскол и обвиняет их в отзовизме и ультиматизме, а равно и похищении денег».— Поистине, если судить по стилю писем, пришлось бы сделать вывод, что и Департамент полиции и Московское охранное отделение менее всего думали о грабеже казенных денег [1]. Их волновало то, вправе ли Богданов и Красин давать партийные деньги на школу в Капри и действительно ли они повинны в отзовизме и ультиматизме.

Едва ли нужно пояснять, что эта поразительная мягкость и любезность слога, свидетельствующая о каком-то психологическом раздвоении, нимало не мешали Департаменту полиции вести по отношению к большевикам очень определенную (хотя и не совсем понятную) политику. О политике этой в целом я здесь говорить не буду,— о ней можно написать длинную книгу. Скажу лишь, что, по вполне ясным причинам, Департамент полиции упорно

[1] Дело шло о тифлисском ограблении 1907 года.— *Автор.*

стремился помешать объединению разных фракций Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии. Об этом был даже издан особый циркуляр, требовавший от всех секретных сотрудников, «чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, неуклонно настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было организационного слияния этих течений и в особенности объединения большевиков с меньшевиками».

В полном согласии с руководящей идеей Департамента полиции, член конференции «Петр», он же секретный сотрудник Московского охранного отделения Андрей Поляков, с самого начала Венской конференции подкладывал явные и тайные мины под идею объединения партии. «Петр» был избран председателем комиссии по проверке мандатов (здесь следовало бы поставить в скобках слово «sic» с восклицательным знаком). У него у самого мандат оказался, как и следовало ожидать, в полном порядке [1]. Но на правильность мандатов других участников конференции, не являвшихся делегатами Охранного отделения, «Петру» удалось набросить легкую тень. После того, как партийные мандаты были проверены агентом Департамента полиции, возник вопрос о наименовании конференции. При содействии г. Алексинского, «Петру» удалось сразу провалить мысль о том, чтобы Венская конференция была признана общепартийной. Тщательно противился он включению в резолюцию каких бы то ни было фраз, которые могли бы рассматриваться, как прямое или косвенное порицание политики Ленина и его Центрального Комитета. Такие фразы неоднократно предлагались Троцким (здесь опять следовало бы поместить слово «sic» с восклицательным знаком), Абрамовичем, Мартовым. И всякий раз делегаты «Петр» и «Лапка», грозя немедленным своим уходом, проваливали соответствующие пункты резолюций. Настроение конференции понижалось. Наконец, покойный Мартов, отличавшийся энергичным темпераментом, не выдержал и произнес резкое слово против большевиков, назвав их «политическими шарлатанами». Удар грома! Обиды, нанесенной Ленину, не стерпел Г. А. Алексинский: он с негодованием вскочил, подал заявление об уходе с конференции и покинул зал заседаний. За ним в полном восторге

[1] Б. И. Николаевский, известный знаток истории РСДРП, показывал мне, однако, письмо Л. Мартова, писанное с Венской конференции,— в письме этом говорится о подозрениях, которые уже тогда возбуждала личность «Петра».— *Автор.*

последовал агент Департамента полиции. Это произвело еще более потрясающее впечатление. Начались закулисные совещания. После долгих уговоров Мартов согласился заявить о том, что его слова были дурно поняты: он имел в виду не Ленина, а «беспартийные хулиганские банды». Поправка представляется не совсем понятной, но ее немедленно сообщили на квартиры «Петру» и «Лапке». Г. Алексинский и после того не счел возможным вернуться на конференцию. Сотрудник же Охранного отделения согласился сменить гнев на милость: ему было ясно, что настоящее объединение все равно провалено.

И, действительно, в результате конференции создалось довольно грустное настроение. Разногласия обнаружились существенные, и это само по себе не могло не отразиться на составе избранного организационного комитета. Нельзя было выбрать никого из вождей, занимавших слишком определенные и непримиримые позиции. Часть вождей кроме того в Россию ехать не желала, предпочитая редактировать партийные газеты за границей. Но вместо себя эти вожди выдвигали кандидатуры своих людей. В комитет попали мало известные и приемлемые для каждого «работники»,— в их числе ни разу не выступавший Урицкий. Он был избран как представитель «группы Троцкого». В эту группу входило во всей Вселенной человек пять или шесть.

Так вышел в большие социал-демократические люди будущий глава Чрезвычайной комиссии.

Во время войны он не играл видной роли. Он жил в Копенгагене и, если не ошибаюсь, был близок к Парвусу. После той «весточки», о которой говорит его биограф из «Правды», он вернулся в Россию — и стал осматриваться. Примкнул для начала к так называемой международной группе РСДРП, занимавшей промежуточное место между большевиками и меньшевиками-интернационалистами. Летом 1917 года еще нельзя было сказать с уверенностью, ждет ли большевиков блестящее будущее. Но зато было совершенно очевидно, что у меньшевиков-интернационалистов нет никакого будущего. Урицкий подумал — и, как Троцкий, стал большевиком. Много честолюбцев и проходимцев переметнулось тогда в коммунистический лагерь. Урицкий отнюдь не был проходимцем. Я вполне допускаю в нем искренность, сочетавшуюся с крайним тщеславием и самоуверенностью. Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком. Характеристика, данная ему Охранным отделением, весьма близка к истине.

В дни октябрьского переворота Урицкий был членом Военно-Революционного Комитета. Затем стал комиссаром по делам Учредительного собрания и в этой должности вел себя крайне вызывающим образом. Новое повышение в чине дало ему пост Народного комиссара Северной Коммуны — по делам иностранным и внутренним. Внутренние дела предполагали в первую очередь руководство Чрезвычайной комиссией; с ней и связана вся последующая деятельность Урицкого.

Почему он избрал для себя полицию? Перед ним были открыты все дороги. Мест было очень много, а людей — в ту пору еще очень мало; каждый брал, что хотел. Характер отдельных большевистских вождей сказался в сделанном ими выборе: Ленин взял полноту власти. Троцкий — место, которое должно было сразу стать на виду у всего мира (комиссариат иностранных дел),— его военный гений еще не открылся: тогда военным гением был Крыленко. Дантонов, Робеспьеров, Гошей оказалось сколько угодно. Фуше и Фукье-Тенвиллей не хватало. Урицкий воевать не любил, говорить не умел. Партия предложила ему пост главы Чрезвычайной комиссии. По словам Зиновьева, для Урицкого была законом воля партии (партии, к которой он только что примкнул).

Урицкий от природы не был жесток. Он был скорее даже несколько сентиментален. В ту пору, когда по России прогремел «Конь бледный», он зачитывался книгой Ропшина-Савинкова и, вслед за автором, растроганно повторял «Не убий!».

Я слышал от одного видного меньшевика такое объяснение роли Урицкого: поздно примкнувший к большевицкому движению, он чувствовал себя виноватым перед революцией и за свою вину наказал себя тяжким крестом Чрезвычайной комиссии. Может быть, в погоне за *инфернальностью*, Урицкий тешил себя и этим мотивом.

В деятельности начальника тайной полиции есть нечто романтическое, соблазнявшее людей и покрупнее Урицкого,— как Фуше или П. Дурново. Прибавка эпитета «революционный» усиливает во сто раз романтический элемент и облагораживает его. Революционный генерал гораздо больше царского генерала. Быть «жандармом-опричником» — позорно; «расстраивать козни контрреволюционеров» — прекрасно. О магическая власть слова! Жизнь Урицкого была сплошная проза. И вдруг все свалилось

сразу: власть,— громадная настоящая власть над жизнью миллионов людей, власть, не стесненная ни законами, ни формами суда, ничем, кроме «революционной совести»,— огромные безграничные средства [1], штаты явных и секретных сотрудников, весь аппарат государственного следствия... У него знаменитые писатели просили пропуск на выезд из города! У него в тюрьмах сидели великие князья! И все это перед лицом истории! Все это для социализма! Рубить головы *серпом*, дробить черепа *молотом!*..

Слабая голова Урицкого закружилась. Он напялил на себя в должности начальника Чрезвычайной комиссии, плохого актера, с восторгом мещанина-честолюбца, с подозрительностью нескоро оцененного неудачника. Как он вел себя в должности начальника Чрезвычайной комиссии, достаточно известно [2]. Объезжая тюрьмы, он сам говорил прежним сановникам, что ставит себе образцом — Плеве. Те «добрые задатки», которые были в его характере, в ужасной обстановке Чрезвычайной комиссии исчезли очень быстро и безвозвратно. Этот человек, не злой *по природе*, скоро превратился в палача. Он, вероятно, хотел стать Плеве революции, Иоанном Грозным социализма, Торквемадой Коммунистического Манифеста. Первые ведра или бочки крови организованного террора были пролиты им... *Инфернальность* его росла с каждым днем.

Я слышал, однако, и другое. Мне говорили, что *труды* в Чрезвычайной комиссии под конец жизни стали тяготить Урицкого. Мне говорили, будто кровь лилась в Петербурге не всегда по его распоряжению и даже часто вопреки его воле. Он стремился к тому, чтобы *упорядочить террор*, но встречал будто бы сопротивление в Совете Народных комиссаров [3] и в разнузданной стихии «районов». В «районах» людей резали без формальностей, а ему, очевидно, хотелось, чтобы казнимые проходили через «входящие» и «исходящие». Мне говорили даже, что за несколько дней до убийства Урицкий подал прошение об

---

[1] Этих средств он не клал в карман. Думаю, что он был неподкупен.— *Автор.*

[2] Сведения об этом можно найти и в книге М. С. Маргулиеса: «Год Интервенции». «Секретарь датского посольства Петерс рассказывал X.., как ему хвастался Урицкий, что подписал в один день 23 смертных приговора» (II, стр. 77). Таких рассказов — возможно, преувеличенных — ходило по Петербургу много.— *Автор.*

[3] Один из виднейших большевиков говорил Р. А. Абрамовичу: «Настоящий убийца Урицкого — Зиновьев. Он предписывал все то, за что был убит Урицкий». Этот большевик, кстати сказать, уже несколько лет не подает Зиновьеву руки.— *Автор.*

отставке. Ссылки на вину «разнузданной стихии» хорошо нам известны из биографий почти всех исторических деятелей, купавшихся в крови по горло. Все они, разумеется, тяготились властью, «страдали», и все по природе были добры, от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина [1]. «Упорядочить террор» чрезвычайно хотел Марат, а Робеспьер, как раз за несколько дней до 9-го термидора, собирался установить гуманнейший образ правления. Это очень старая песня. Но я не отрицаю того, что из чекистов Урицкий был далеко не самый худший.

Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю,— несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое — резало глаз. Я видел его в залах Таврического дворца, где он был некоторое время хозяином... Если есть в мире здание, которое не следовало обращать в парламент (а тем более в революционный Совет или в Учредительное собрание),— это дворец Потемкина. История Таврического дворца — сплошной парадокс. Карамзин совершенно напрасно там умер,— философски это было неуместно. Не на месте были там и Муромцев, и Головин, и Хомяков (они все трое гораздо знатнее Потемкина; это показывает, что так называемая «порода» тут совершенно ни при чем). Урицкий, в качестве хозяина Таврического дворца, казался — пародией.

IV

> L e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l. Qui vous a inspiré tant de haine?
>
> C h a r l o t t e C o r d a y. Je n'avais pas besoin de la haine des autres. J'avais assez de la mienne [2].
>
> *Допрос Шарлотты Корде на суде*

Недолгий и сложный процесс, который в дни, предшествовавшие драме, разорвал душу убийце Урицкого, мне не

[1] «Золотое сердце» Дзержинского пустил в обращение Луначарский, человек недалекий. Но о сердечной доброте Ленина я лет десять тому назад слышал рассказ Максима Горького: знаменитый писатель не без удивления вспоминал, как в свое время Ленин, гостя у него на Капри, часами играл на песке с маленькими детьми.— *Автор.*

[2] П р е д с е д а т е л ь с у д а. Кто внушил вам столько ненависти? Ш а р л о т т а К о р д е. Мне чужой ненависти не требовалось, у меня было достаточно своей *(франц.)*.

ясен. Почему выбор Каннегисера остановился на Урицком. Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения завзятого сторонника террора.

Сообщников у Каннегисера, по-видимому, не было. Большевицкому следствию не удалось их обнаружить, несмотря на чрезвычайное желание властей. В официальном документе об этом сказано:

«При допросе Леонид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии, или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты[1] офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет. Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней — место его пребывания за эти дни установить не удалось».

По признанию следствия, «точно установить путем прямых доказательств, что убийство тов. Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось»[2]. Следствие, однако, осталось при мысли, что такая организация была,— и кивало, как водится, в сторону «империалистов Антанты»[3]. У Антанты были тогда — летом 1918 года — другие занятия. Ллойд-Джорджа и вообще трудно себе представить в роли вдохновителя политических убийств. Его представитель в России не унаследовал террористических воззрений своего предка, знаменитого Джорджа Бьюкэнена, монархомаха 16-го столетия. Что до Клемансо, то он, хотя и едва ли может быть причислен к принципиальным противникам террора, организацией покушений на русских чекистов, конечно, не занимался и своим представителям этого не поручал.

Я склонен думать, что показания Леонида Каннегисера на допросе соответствуют правде. Убийство Урицкого было его единоличным делом. Никакая организация,— ни та, в которой он состоял вместе с Перельцвейгом, ни какая бы то ни было другая — не поручала ему убивать шефа Петербургской Чрезвычайной комиссии. Непосредствен-

---

[1] За «аресты»!..— *Автор.*

[2] И. Антипов. «Очерки из деятельности Петроградской Чрезвычайной Комиссии». «Петрогр. Правда».— *Автор.*

[3] В советских кругах высказывалось даже такое нелепое предположение, будто, спасаясь после убийства, Каннегисер ехал на велосипеде по Миллионной — к английскому посольству, где хотел найти убежище.— *Автор.*

ной причиной его поступка, вероятно, и в самом деле было желание отомстить за погибшего друга. (Только этим еще и можно объяснить выбор Урицкого.) Психологическая же основа была, конечно, очень сложная. Думаю, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, заполняющая его дневники; и ненависть к ее поработителям; и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых: и дух самопожертвования — все то же «на войне ведь не был»; и жажда острых мучительных ощущений — он был рожден, чтоб стать героем Достоевского; и всего больше, думаю, жажда «всеочищающего огня страданья»,— нет, не выдумано поэтами чувство, которое прикрывает эта звонкая риторическая фигура.

Сообщников, повторяю, у него, вероятно, не было, но живой образец, возможно, и был. Он преклонялся перед личностью Г. А. Лопатина и, думается мне, ставил его себе примером,— пример далеко не плохой. Герман Александрович, конечно, не принимал никакого участия в их кружке: он в тот последний год своей жизни уже был неспособен ни к какой работе; да и чувствовал бы он себя среди этих заговорщиков приблизительно так, как себя чувствовал Ахилл, переодетый девочкой, среди дочерей царя Ликомеда. Но Лопатин, сохранивший до конца дней свой бурный темперамент, не стеснялся в выражениях, когда говорил о большевиках и о способах борьбы с ними. Помню это и по своим разговорам с покойным Германом Александровичем. Знаю еще и следующее:

В тот самый день, когда мать Леонида Каннегисера была выпущена из тюрьмы, ей по телефону сообщили из больницы, что Герман Лопатин умирает. Р. Л. Каннегисер немедленно отправилась в Петропавловскую больницу. Герман Александрович, бывший в полном сознании, сказал Р. Л., что счастлив увидеть ее перед смертью.

— Я думал, вы на меня сердитесь...

— За что?

— За гибель вашего сына.

— Чем же вы в ней виноваты?

Он промолчал,— не сказал больше ничего. Лопатин скончался через несколько часов.

Едва ли он имел основания обвинять себя в чем-либо, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с Леонидом Каннегисером; он очень любил молодого человека.

В том же документе официального происхождения говорится еще следующее:

«Установить точно, когда было решено убить тов. Урицкого, Чрезвычайной комиссии не удалось, но о том, что на него готовится покушение, знал сам т. Урицкий. Его неоднократно предупреждали, и определенно указывали на Каннегисера, но т. Урицкий слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо, по той разведке, которая находилась в его распоряжении».

Вот поистине поразительное утверждение. Оно совершенно невероятно. Если Урицкого предупреждали о готовящемся покушении с указанием имени террориста, значит, надо действительно предположить, что убийство было делом какой-то организации и что в организацию эту входил (или, по крайней мере, имел к ней отношение) агент Чрезвычайной комиссии. Но это противоречит приведенным раньше словам той же осведомленной сводки: «точно установить... не удалось». Притом, какие основания могли быть у Урицкого скептически относиться к предупреждению? И почему же он не велел заблаговременно арестовать Каннегисера? Выследить его было очень нетрудно: он большую часть дня проводил дома, в квартире своего отца, известного всему Петербургу.

Тем не менее есть в этом утверждении что-то загадочное и жуткое. Урицкий хорошо знал о Каннегисере?.. Со странным чувством я читаю это место в полицейской сводке г. Антипова.

Вот что я слышал не так давно. За несколько времени до убийства, Каннегисер с усмешкой сказал одному своему знакомому:

— NN, знаете, с кем я говорил сегодня по телефону?

— С кем?

— С Урицким [1].

Больше ничего. NN в ту пору не обратил внимания на сообщение молодого человека. Мало ли для чего петербуржец мог тогда звонить по телефону в Чрезвычайную комиссию! NN, как и я, пишущий эти страницы, узнал об убийстве Урицкого, находясь вне Петербурга, из газет, и был поражен так же, как я. Тогда-то он и вспомнил загадочное замечание Каннегисера.

В самом деле, мало ли для чего можно было звонить по телефону к Урицкому?.. И все-таки это очень странно...

---

[1] NN не мог вспомнить, было ли это сказано после казни Перельцвейга и его товарищей или до нее.— *Автор.*

Для простой справки или для ходатайства обыкновенному, никому неизвестному петербуржцу едва ли можно было — даже в то время — вызвать к аппарату самого начальника Чрезвычайной комиссии. Во всяком случае надо было себя назвать. Или Каннегисер прикрылся вымышленным именем? Но почему Урицкий подошел к телефону на вызов незнакомого человека? И зачем это было нужно? И что же именно сказал Народному комиссару его будущий убийца?

Не могу понять — и ни минуты не сомневаюсь в верности сообщения NN. Не сомневаюсь, ибо я знал Леонида Каннегисера. Это был его *стиль*... Нет, стиль — неподходящее выражение. Но я чувствую, что независимо от возможного дела (что еще такое он мог придумать!) ему нужно было, ему психологически было необходимо это страшное ощущение. Зачем Раскольников после убийства ходил *слушать* звонок в квартире Алены Ивановны? Зачем Шарлотта Корде до убийства *долго разговаривала* с Маратом?..

Я уехал из Петербурга еще до ареста Перельцвейга. В последний раз я видел Леонида Акимовича в июле 1918 года, в квартире его родителей на Саперном. Он был оживлен и весел. Я советовал его отцу отправить молодого человека куда-нибудь на юг: Петербург гиблое место.

После потрясшей его казни товарищей, он больше дома не ночевал. Тогда очень многие петербуржцы старались ночевать вне дома (аресты почему-то производились ночью). Родные Леонида Каннегисера ничего не подозревали и ни о чем его не спрашивали. Он сам ничего о себе не говорил.

16-го (29) августа (накануне убийства Урицкого) он пришел домой, как всегда, под вечер. После обеда он предложил сестре почитать ей вслух,— у них это было в обычае. До того они читали одну из книг Шницлера и она еще не была кончена. Но на этот раз у него было припасено другое: недавно приобретенное у букиниста французское многотомное издание «Графа Монте-Кристо». Несмотря на протесты, он стал читать из середины. Случайность, или так он подобрал страницы? Это была глава о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь знаменитого романа.

Он читал с увлечением до полуночи. Затем простился с сестрой. Ей суждено было еще раз увидеть его издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.

Ночевал он, как всегда, вне дома. Но рано утром снова пришел на квартиру родителей пить чай. Часов в девять он постучал в комнату отца, который был нездоров и не работал. Несмотря на неподходящий ранний час, он предложил сыграть в шахматы. Отец согласился,— он ни в чем не отказывал сыну.

По-видимому, с исходом этой партии Леонид Каннегисер связывал что-то другое: успех своего дела? удачу бегства? За час до убийства молодой человек играл напряженно и очень старался выиграть. Партию он проиграл, и это чрезвычайно его взволновало. Огорченный своим успехом отец предложил вторую партию. Юноша посмотрел на часы и отказался.

Он простился с отцом (они больше никогда не видели друг друга) и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортивная кожаная тужурка военного образца, которую он носил юнкером и в которой я часто его видел. Выйдя из дому, он сел на велосипед и поехал по направлению к площади Зимнего дворца. Перед Министерством иностранных дел он остановился: в этом здании принимал Урицкий, ведавший и внешней политикой Северной Коммуны.

V[1]

Смерть не была приглашена...

Из старой легенды

Он вошел в подъезд, находящийся посредине той половины полукруглого дворца Росси, которая идет от арки к Миллионной улице. Урицкий всегда являлся в министерство с этого подъезда. Каким образом узнал это Каннегисер? Или он в предыдущие дни следил за Народным комиссаром? Допускаю впрочем и то, что он мог просто спросить у первого попавшегося служащего, в котором часу, как, с какого подъезда входит тов. Урицкий: риска такого расспроса, жажда острого ощущения — «заподозрят? арестуют? — спросить надо равнодушно, Боже упаси

[1] Некоторые подробности рассказа настоящей главы дошли до меня из совершенно достоверного, связанного с правящими советскими кругами, источника, который я не имею возможности назвать.— *Автор.*

побледнеть»,— были в его натуре, все равно, как звонок по телефону к Урицкому.

В большой, выходящей прямо на улицу комнате, где свершилось убийство, против входной двери находится лестница и решетка подъемной машины. Деревянный жесткий диван, несколько стульев и вешалки для верхнего платья по выбеленным стенам — вот убранство этой комнаты, выделяющейся своим жалким видом в великолепном дворце министерства. В ней постоянно находился швейцар, который прослужил на этой должности около четверти века. Этот старик, обалдевший от новых порядков, как большая часть прислуги императорских дворцов, называл Урицкого «ваше высокопревосходительство».

— Товарищ Урицкий принимает? — спросил Каннегисер.

— Еще не прибыли...

Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Он снял фуражку и положил ее рядом с собой. Он долго глядел в окно. О чем он думал? О том ли, что еще не поздно отказаться от страшного дела,— еще можно вернуться на Саперный, пить чай с сестрой, отыграться в шахматы у отца или продолжать чтение «Монте-Кристо»? О том, что жизни осталось несколько минут, что он больше не увидит этого солнца, этой площади, этого дворца?.. О том, не пора ли взвести на «fire» [1] предохранитель револьвера? О том, что швейцар странно косится и, вероятно, уже подозревает?..— Его ощущения в те минуты мог бы передать Достоевский, столь им любимый...

Он ждал. Люди проходили по площади. Сердце стучало. Вдали, наконец, послышался мягкий, страшный, приближающийся грохот, означавший *конец*...

Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Урицкий прибыл со своей частной квартиры на Васильевском острове.

Сколько смертных приговоров упорядоченного террора он должен был подписать в этот роковой день?

Другой приговор уже был составлен.

«Смерть не была приглашена».

---

[1] Здесь: «боевой взвод» *(англ.)*.

Она явилась без приглашения.

Молодой человек в кожаной тужурке уже вставал с подоконника, опустив руку в карман...

Шеф Чрезвычайной комиссии вошел в дверь и направился к подъемной машине.

Посетитель поспешно сделал несколько шагов в его направлении.

Встретились ли их глаза? Прочел ли Урицкий: *смерть*?

Грянул выстрел. Народный комиссар свалился без крика, убитый наповал. Убийца стрелял на ходу с шести или семи шагов в быстро идущего человека. Только верная рука опытного стрелка могла так направить пулю,— если не ошибаюсь, Каннегисер совершенно не умел стрелять.

Поблизости в то мгновенье не было никого [1].

Убийца бросился к выходу.

Если бы он надел шапку, положил револьвер в карман и спокойно пошел пешком налево, он, вероятно, легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую и замешавшись в толпу Невского проспекта. Погоня началась только через две или три минуты. Этого было совершенно достаточно, чтобы пройти по площади до арки. Но он не мог рассчитывать на такую счастливую случайность — и не мог идти спокойно. Конечно, он потерял в ту минуту самообладание. Тысячу раз, должно быть, он по ночам представлял себе, как *это* будет. *Это* вышло *не так*... *Это* всегда выходит *не так*...

Без фуражки, оставленной на подоконнике, не выпуская из рук револьвера, он выбежал на улицу, вскочил на велосипед и понесся вправо — к Миллионной.

В комнате, где произошло историческое убийство, через минуту поднялась суматоха. Выстрел услышали на первом этаже служащие Народного комиссариата. Несколько человек сбежало по лестнице и остановилось в остолбенении перед мертвым телом Урицкого. Еще неясно понимая, что произошло, они подняли комиссара и перенесли его на деревянный диван у стены.

Человек, который первый вспомнил об убийце и кинулся за ним вдогонку, не был обыкновенный полицейский. Это был странный субъект, фанатически преданный революции, бедный, неграмотный, бескорыстный,— залитый уже в ту пору кровью с ног до головы. Ему место в ху-

---

[1] Швейцар, должно быть, раскрывал перед «Его высокопревосходительством» дверь подъемной машины. Кабинет Урицкого находился в третьем этаже.— *Автор*.

дожественной литературе. Он еще ждет автора «Петлистых ушей». С криком бросился он на улицу. Другие побежали за ним. Легко было узнать, куда ехать: юноша, мчащийся на велосипеде без шапки, с револьвером в руке, не мог остаться незамеченным на малолюдной площади Зимнего дворца.

Автомобиль со страшной быстротой понесся в погоню.

На велосипеде, к убийце, по-видимому, вернулось самообладание. Очевидцы говорили, будто он ехал по улице зигзагами,— желая избежать пули в спину...

Услышав позади себя гул мчащегося автомобиля, он понял, что погибает.

Около дома № 17 по левой стороне, уже совсем недалеко от Мраморного дворца, он затормозил велосипед, соскочил и бросился во двор.

Огромная усадьба Английского клуба выходит, как все дома этой стороны Миллионной, на набережную Невы.

Если бы во дворе проходные ворота были открыты, убийца еще мог бы спастись.

Судьба была против него.

Ворота были заперты.

В отчаянии он вбежал в дверь в правой половине дома и быстро стал подниматься по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат, перед обомлевшей прислугой, в передней накинул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил входную дверь и спустился по парадной лестнице...[1]

Его схватили внизу. Кто признал в нем убийцу, не знаю,— я слышал разные версии. Он почти не защищался. Спастись было, конечно, невозможно: у ворот дома, во дворе, уже собралась толпа, как всегда враждебная, жестокая к арестуемым, кто бы они ни были, кто бы ни были арестующие. Он мог покончить с собой,— зачем он этого не сделал?..

Убийца Урицкого был во власти Чрезвычайной комиссии.

---

[1] Я могу ошибиться в деталях. Будущий Ленотр русской революции, если ему будут доступны, кроме тех рассказов, которыми пользовался я, свидетельские показания очевидцев, собранные в архиве Чрезвычайной комиссии, сумеет более точно и подробно восстановить это страшное действие драмы, разыгравшееся в несколько минут в усадьбе Английского клуба.— Сказанного мною достаточно, чтобы оценить замечательное самообладание двадцатилетнего террориста.— *Автор.*

VI

> Злодей сохранил совершенное хладнокровие. Он похвалялся своим преступлением, утверждая, что отомстил за погибших друзей. Попытки правосудия вырвать у Анкастрема имена его сообщников, несмотря на усилия палачей, не увенчались успехом. Адское спокойствие сохранил преступник и на эшафоте. Он говорил, что умирает за Швецию...
>
> В ночь вслед за казнью неизвестные люди тайно проникли к тому месту, где было выставлено тело Анкастрема, и засыпали цветами и лаврами позорные останки цареубийцы. Следствию не удалось обнаружить виновных.
>
> *Дело об убийстве короля Густава III*

Я ничего не могу прибавить к эпиграфу настоящей главы...

Что поддерживало этого юношу, этого мальчика, в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали ему на долю? Не знаю. Хочу понять — и не могу.

Бурная душа Иоанна Анкастрема прошла закал страстей и испытаний. Равальяк, Дамьен твердо знали, что за муками земной жизни их ждет вечное блаженство, купленное тяжкой ценой. У эшафота Карла Занда воздвигнутого на лугу, который до сих пор зовется «Karl Sand's Himmelfahrtwiese» [1], толпились десятки тысяч людей, смотревших на него, как на народного героя Германии, жаждавших омочить платки в крови святого мученика. Русские террористы царского периода, умиравшие *без публики* на дворе Шлиссельбургской крепости, были по крайней мере уверены, что за их действия пострадают лишь они одни. а не их дети, не их жены, не их отцы.

У Леонида Каннегисера не было и этого утешения. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью. Она и в самом деле спаслась чудом: Петербург в те дни заливался потоками крови. «Революционный террор» ставил себе очередной целью навести ужас

[1] «Луг вознесения Карла Занда» *(нем.)*.

и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьевых,— что же было «целесообразнее», чем расстреливать семьи политических террористов!

Он мог знать и то, что на него обращены слепые проклятья ни в чем не повинных людей, которых убивали в качестве заложников — за его поступок. Вместо Урицкого расправу творил Бокий [1], в десять раз превзошедший своего предшественника и начальника.

Об участи Леонида Каннегисера я говорить не стану. Черными словами о ней сказано в трехтомном «деле об убийстве Урицкого». Увидит ли когда-нибудь свет это дело?..

Он вел себя и умер — как герой...

Вся короткая его жизнь прошла в поисках мучительных ощущений. Эту чашу он осушил до дна, и я не знаю, кому еще была дана судьбой такая чаша. Он пил ее долгие недели без утешения веры, без торжества победы над смертью перед многотысячными толпами зрителей, без «Слышу!» Тараса Бульбы. Никто не слышал. Никто не слушал. Где безвестная его могила? Воздвигнет ли памятник над ней Россия? На той ступени отчужденности от мира, до которой, думаю, он возвысился в свои последние дни, это, вероятно, уже не имело значения. Там должно открываться другое:

> Счастлив, кто падает вниз головой;
> Мир для него, хоть на миг, да иной...

---

[1] Сотрудник гуманного и кристального Урицкого, впоследствии, если не ошибаюсь, убранный по распоряжению Ленина.— *Автор.*

УБИЙСТВО ГРАФА МИРБАХА

19 апреля 1918 года, вскоре после заключения Брест-Литовского мира, в Москву выехал из Берлина, в сопровождении советников, секретарей и технического персонала, германский чрезвычайный посол граф Мирбах. Его назначению предшествовали длительные переговоры по разным вопросам; немцы были даже не вполне уверены в том, куда именно надо посылать посольство: в Москву или в Петербург? Как и весь мир, они совершенно не знали, будет ли еще советское правительство у власти через неделю-другую после приезда посла. Не знали этого и сами большевики. По крайней мере Троцкий говорил в июне 1918 года немецкому дипломату: «Собственно, мы уже мертвы, но еще нет никого, кто мог бы нас похоронить» [1].— Почему он так разоткровенничался, не совсем понятно,— вероятно, для эффекта.

Приезд германского посольства вызвал у большевиков довольно основательную тревогу. Катастрофическое немецкое наступление, последовавшее за формулой «войну прекращаем, мира не заключаем», показало, что никакого сопротивления врагу советская власть оказать не может. Хороши были в ту пору дела немцев и на Западном фронте. Большевики, естественно, задавали себе вопрос, зачем именно едет в Москву германский посол; представлять ли свое правительство или свергать советское? Не мог внушать им доверия и личный состав германского посольства. Во главе его стоял граф Вильгельм фон-Мирбах-Гарф, член прусской палаты господ, мальтийский рыцарь и ротмистр кирасирского полка. Штатское ведомство Вильгельмштрассе представлял человек военный. Но, по-видимому, германское верховное командование считало Мирбаха еще недостаточно своим человеком и для большей верности приставило к нему от себя, с не вполне определенными обязанностями, майора генерального штаба, барона Карла

[1] K. Bothmer. Mit Graf Mirbach in Moskau. Tuebingen 1922, S. 57.

фон-Ботмера. Все эти ротмистры и майоры, бароны и графы ничего хорошего большевикам не предвещали.

Путешествие длилось, по тем временам, пять дней. 24 апреля посольство прибыло в Москву. Ему был отведен огромный особняк сахарного короля в Денежном переулке (№ 5). По случайности в том же переулке жила французская военная миссия. Думаю, что это неожиданное для обеих сторон соседство создало некоторый холодок на маленькой улице Арбата. Но в общем немцы были вполне довольны приемом. В первый же день им в полуголодной Москве был подан отличный обед. «Превосходная еда,— занес в свой дневник барон фон-Ботмер,— такой мы давно не имели в подвергнутой блокаде Германии».— Особенно он оценил, разумеется, «Sakuska mit Delikatessen — voran Kaviar...» [1]. Эта восторженная фраза об икре, с легкими вариантами, как лейтмотив проходит на протяжении двух столетий через бесчисленные воспоминания о России иностранных и, в частности, немецких дипломатов.

В ту пору глубокомыслие германской внешней политики считалось в мире аксиомой и никаких сомнений не вызывало. Большевики упорно старались разгадать, какие именно политические цели ставит себе в России правительство Вильгельма II. Им и в голову не приходила дерзостная мысль, что немцы сами этого не знают. Лишь много позднее, из воспоминаний разных германских сановников, выяснилось, что никакой определенной политики в отношении России в Берлине никогда не было (была только определенная хозяйственная политика). Император Вильгельм сохранил мир в 1904 году, когда Россия была целиком поглощена войной на Дальнем Востоке и находилась в острой вражде с Англией. Десятью годами позднее, когда Россия совершенно оправилась и вступила с Англией в дружбу, он объявил войну. Быть может, многое объяснилось бы и в событиях наших дней, если б мы чаще отваживались на ту же дерзостную мысль: не все, далеко не все государственные деятели, пользующиеся большой властью — и большой властью несколько опьяненные,— вполне твердо знают, чего собственно они хотят.

Нам, правда, иногда даются полезные предметные уроки. Что может быть тверже, разумнее, последовательнее «вековой политики Англии» и «железных людей Форейн офис»: «Англия не может допустить и никогда не допустит, чтобы другая держава обосновалась на Красном море,

---

[1] «Закуска с деликатесами — прежде всего икра» *(нем.)*.

составляющем путь в Индию»,— эту фразу мы в последние месяцы читали на всех языках во всех газетах мира (читали с некоторым удивлением: Абиссиния не граничит с Красным морем, на Красном море находится Эритрея, давно принадлежащая Италии, и Сомали, давно принадлежащее Франции). Но вот неожиданно оказалось, что «вековая политика Англии» совершенно изменилась два раза за время от понедельника до четверга, причем «железные люди Форейн офис» плакали в Палате общин. И ведь это Англия — что же говорить о других, менее свободных и культурных странах! Жаль, конечно, что за идеи разных железных людей приходится иногда платить миллионам не железных...

Весной 1918 года германское правительство было в Москве, в Киеве, в Варшаве всемогуще, в самом настоящем и буквальном смысле слова. По предписаниям из Берлина, граф Мирбах, его подчиненные и товарищи вели переговоры с кем угодно: с большевиками и с врагами большевиков, с монархистами и с республиканцами, со сторонниками единой России и со сторонниками расчленения России. Планы менялись каждый день. Точно так же ежедневно менялись намерения немцев относительно Украины, Польши, балтийских стран. Я ничего не преувеличиваю,— из воспоминаний сановников и самого императора Вильгельма ясно, что в их кругу был совершенный хаос.

Даже в таком, казалось бы, бесспорном вопросе, как спасение царской семьи, немцы ни на что решиться не могли. Барон Ботмер прямо пишет: «Антанта мало сделала для своего, прежде столь восхвалявшегося, союзника; да у нее и не было способов добиться выдачи царя. С нашей же стороны Россия приняла бы подобное требование, как и все другие, беспрекословно» (далее в воспоминаниях представителя германского верховного командования следуют какие-то весьма сбивчивые, сомнительные и смущенные объяснения). Через несколько дней после екатеринбургской трагедии, в комиссии по обмену военнопленными, большевик Навашин в *доказательство расстройства советского транспорта* бесстыдно сослался на убийство царя: «вагонов у нас так мало, что мы на днях не могли вывезти из Екатеринбурга одного человека, и это повлекло за собой трагические последствия...» — «Мы вначале оцепенели,— пишет фон-Ботмер,— при столь циничной мотивировке убийства императора. Напрасно я ждал протеста немец-

кого председателя, требования извинений или прекращения заседания. Ничего не последовало!» Ботмер заявил протест от себя.

Во всей деятельности гр. Мирбаха сказывалось обычное, столь характерное для немцев, сочетание нелепого замысла с изумительным выполнением. Никакого политического плана не было, но технический аппарат стоял на большой высоте. Германское посольство прибыло в Москву в конце апреля; уже в июне, а, может быть, и еще раньше, у него были в русской столице и собственная разведка, и свои тайные осведомители. Немцы раздобыли и шифры, которыми пользовались антибольшевистские заговорщики того времени; у большевиков этих шифров не было, и ЧК вынуждена была прибегать к помощи германского посольства, которое в особых случаях ей эту любезную услугу и оказывало [1], хоть без большого восторга.

В середине июня немцам от их секретных сотрудников стало известно, что на них готовят покушение. Но кто именно готовит, им было не ясно. Могла, по их мнению, заниматься таким делом одна из следующих четырех групп: 1) русские монархисты (для того, чтобы вновь вызвать между Германией и Россией войну, в результате которой пала бы советская власть); 2) савинковская организация, при поддержке союзников, тоже в целях возобновления войны; 3) левые эсеры, из ненависти к «германскому империализму»; 4) сами большевики.

Наиболее характерной гипотезой должно признать, конечно, «четвертую»; обе высокие стороны после Бреста обменялись послами, но одна высокая сторона подозревала другую в желании укокошить аккредитованного при ней посла! Однако эта четвертая гипотеза, как и две первые, была совершенно неверна. Единственно верным предположением было третье: графа Мирбаха хотели убить — и действительно убили — левые эсеры.

Странная участь выпала в пору революции на долю этой партии. Теперь от нее, кажется, не осталось и следа. Ее руководители находятся либо в ссылке в отдаленных местах СССР, либо в эмиграции, где даже не создали для себя органа печати. Среди левых эсеров не было выдающихся людей, которые по способностям приближались бы к Красину или к Троцкому (не говоря уже о Ленине).

---

[1] Показания Дзержинского по делу об убийстве гр. Мирбаха.— *Автор.*

Очень немногие из них составили себе имя в истории революционного движения,— о громадном большинстве мы и вообще впервые услышали в 1917 году. Тем не менее, в первый год революции они развили бешеную деятельность. «Дела делано много, но сенсу [1] вижу мало»,— говорил в подобных случаях Петр Великий.

Если не «сенсу», то энтузиазма у левых эсеров было, во всяком случае, достаточно. Энтузиазм был их специальностью. После октябрьского переворота они оказались, так сказать, пристяжной партией при большевистском кореннике. Однако в иные минуты нам со стороны могло казаться, что они большевиков свергнут и станут править Россией. Весь мир исполнен неограниченных возможностей,— отчего же было Спиридоновой, Карелину и Камкову не образовать своего правительства? «Идеология» у них была не хуже и не лучше, чем у большевиков. Она имела успех у части интеллигенции,— в 1918 году партия левых эсеров хотела даже обзавестись своим Горьким и на эту роль, кажется, намечала Александра Блока: знаменитый поэт для подобной роли, впрочем, не годился совершенно и скоро в левых эсерах разочаровался (если в самом деле в пору «Двенадцати» был ими очарован). Больше всего партия надеялась на крестьянство и, пожалуй, по своему названию, облегчавшему некоторую преемственность от популярных людей 1917 года, скорее могла иметь успех у крестьян, чем большевики. Работали левые эсеры явно под якобинцев. Осенью 1917 года они требовали созыва *конвента;* самое слово «конвент», должно быть, приятно ласкало их слух. Если б существовали якобинские мундиры, левые эсеры надели бы их непременно.

Погубило партию то, что в пору Брестского мира она потребовала «революционной войны». В таком требовании сенсом действительно и не пахло: никакой войны с немцами эти люди вести не могли, да и власть им в союзе с большевиками удалось захватить именно благодаря тому, что все другие партии стояли за войну с немцами. Но, по-видимому, в свою нелепую революционную войну они верили совершенно искренне. «Это опасный человек,— он в самом деле верит в то, что говорит!» — с изумлением сказал о Робеспьере Мирабо. До некоторой степени его изречение могло бы быть отнесено к главным робеспьерикам лево-эсеровской партии. Революционной энергии у них было очень много. Иные их дела и планы и по сей день почти

---

[1] Смысл *(франц. sens)*

неизвестны,— как, например, посылка людей в Берлин для убийства Вильгельма II и Гинденбурга. Чужой крови левыми эсерами было пролито немало; не жалели они и своей.

24 июня 1918 года центральный комитет партии левых эсеров принял резолюцию: «организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма». Для этого дела и для устройства восстания против большевиков на том же заседании было образовано бюро из трех человек: Спиридоновой, Голубовского и Майорова.

II

В деле об убийстве германского посла очень многое остается непонятным. В моих руках было полное издание «Красной книги ВЧК» (это величайшая библиографическая редкость; за границей она существует, кажется, только в двух экземплярах). Там есть показания людей, имевших самое близкое отношение к убийству или к его расследованию. Из них наиболее важны показания, данные Дзержинским особой следственной комиссии при ВЦИКе. Более странного документа мне никогда читать не приходилось. Он как будто состоит из двух ничем между собой не связанных частей. В первой — глава ВЧК весьма туманно, хоть и гневно, обличает одну группу людей; во второй — он, точно позабыв обо всем предыдущем, переходит к совершенно иным людям,— к тем, которые действительно и убили графа Мирбаха.

Добавлю, что на заседании «суда», происходившем в ноябре 1918 года, обвинитель Крыленко заявил, что «поскольку показания тов. Дзержинского, вызванного в качестве свидетеля, имеются в деле, постольку надобность в допросе теперь (?) последнего не встречается». Суд поспешно согласился с этим несколько неожиданным юридическим суждением, и Дзержинский допрошен не был.

Первая часть показаний главы ВЧК сводится к следующему. «Приблизительно в половине июня,— рассказывает он,— мною были получены от тов. Карахана сведения, исходящие из германского посольства, подтверждающие слухи о готовящемся покушении на жизнь членов германского посольства и о заговоре против советской власти. Членами германского посольства был дан список адресов, где должны были быть обнаружены преступные воззвания и сами заговорщики. Кроме того списка, был дан в немецком переводе текст двух воззваний. Это дело было передано для

рассмотрения тт. Петерсу и Лацису. Несмотря, однако, на столь конкретные указания, предпринятые комиссией обыски ничего не обнаружили, и пришлось всех арестованных по этому делу освободить. Я был уверен, что членам германского посольства кто-то дает умышленно ложные сведения для шантажирования их или для других более сложных политических целей».

В этом начале дела уже есть обстоятельства весьма странные. Иностранное посольство сообщает большевистскому правительству о заговоре не только против посла, но и против советской власти. Казалось бы, такое необыкновенное сообщение (и особенно вторая его часть) должно было бы очень заинтересовать ЧК. Но почему-то Дзержинский не верит, совершенно не верит. Как позднее оказалось, осведомители посольства требовали производства обыска с субботы на воскресенье; обыск, однако, производится в другой день, и, если верить главному осведомителю, именно по этой причине не дает результата. Впрочем, по словам того же осведомителя, некоторый результат обыск все-таки дает: осведомитель утверждал, что «по этим адресам были обнаружены нами воззвания, но почему-то дело мы не возбудили». Дзержинский это отрицает: «обыски ничего не обнаружили, и пришлось всех арестованных по этому делу освободить». Во всяком случае, мы поражены необыкновенной конституционностью действий ЧК: обыски ничего не обнаружили,— обвиняемые немедленно освобождаются! Прямо как в Англии: «Свободный англичанин не может быть арестован иначе, как по законному постановлению, в случаях, предусмотренных законом, и немедленно должна быть ему объявлена причина ареста, дабы он имел возможность приступить к законной защите...» Интересно и то, что Дзержинский ни единым словом не упоминает, у кого же это производился тогда обыск, и кто, собственно, был освобожден на основании Habeas corpus ad subjiciendum [1] Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Отсюда, однако, не надо делать необоснованных выводов. Дзержинский действительно не знал о заговоре против графа Мирбаха и уж конечно не мог желать этому предприятию успеха,— оно было настоящей катастрофой для советской власти. Тут какая-то загадка, которую со временем раскроют историки чекистских дел. Как бы то ни было, ЧК настойчиво требует от посольства разъяснений: кто

[1] Конституционный акт, гарантировавший права граждан в Англии; принят в XVII в.— *Ред.*

такие *осведомители*, нельзя ли с ними познакомиться, нельзя ли получить подлинники донесений, нельзя ли получить шифр заговорщиков?

Со стороны посольства вел переговоры советник Рицлер. По-видимому, ему, как и послу, очень не хотелось исполнить просьбу главы Чрезвычайной комиссии. По крайней мере, Дзержинский горько жалуется на недоверие со стороны немцев: «Я получил вполне достоверные сведения, что именно д-ру Рицлеру сообщено, будто бы я смотрю сквозь пальцы на заговоры, направленные непосредственно против безопасности членов германского посольства, что, конечно, является выдумкой и клеветой. Этим недоверием к себе я объяснил тот странный факт, связывающий мне руки в раскрытии заговорщиков и интриганов, что мне не было сообщено об источнике сведений о готовящихся покушениях; этим недоверием, кем-то искусственно поддерживаемым, я объяснил и тот факт, что нам сразу не был прислан ключ к шифру, и что нужно было убеждать д-ра Рицлера дать нам этот ключ к шифру заговорщиков, и что он предлагал первоначально весь материал найденный отправить в посольство».

Понемногу, однако, д-р Рицлер уступает. Посольство пересылает Чрезвычайной комиссии расшифрованные донесения осведомителей, затем сообщает Дзержинскому шифр заговорщиков [1], называет имя второстепенной осведомительницы: это некая Бендерская. Дзержинскому всего мало: он требует, чтобы ему показали главного осведомителя. Немцы идут и на это. Устраивается встреча. Глава ЧК рассказывает о ней очень кратко; тем не менее, и по его рассказу видно, что разговор был жуткий. При свидании присутствует германский офицер, но самый вид Дзержинского вызывает у осведомителя ужас. Немец его успокаивает: «с ним ничего не случится».

Осведомитель называет себя: он русский, Владимир Гинч, член организации «Союз союзников», или «Спасение России». Во главе этого союза стоит англичанин Уайбер; входит в союз также француз Мамелюк и еще несколько человек, частью с русскими, частью с иностранными фамилиями (Дзержинский незаметно записывает адреса). «После этой встречи я через товарища Карахана сообщил германскому посольству, что считаю арест Гинча и Бендер-

[1] «Шифр детский,— замечает пренебрежительно Дзержинский,— каждая буква имеет один только знак, слово отделяется от слова, употребление знаков препинания и т. д.».— *Автор.*

ской необходимым, но ответа я не получил. Были арестованы оба только в субботу после убийства графа Мирбаха».

Все хорошо в этом рассказе,— от разрешения на аресты, испрашиваемого главой ЧК у иностранного посольства, до столь надежной гарантии, которую немцы дали своему осведомителю. Но самое изумительное то, что ни следственная комиссия, ни суд совершенно не интересуются этой частью показания Дзержинского. Нам так до конца остается непонятным, кто были все эти люди,— Гинч, Бендерская, Уайбер, Мамелюк,— какое отношение они имели к убийству германского посла, какая участь их постигла и зачем обо всем этом рассказывается в показаниях главного чекиста. Далее Дзержинский переходит к самому убийству и к настоящим убийцам, не упоминая более ни одним словом ни о Гинче, ни о Бендерской, ни о Мамелюке, ни об Уайбере, ни о «Союзе союзников»!

В первом этаже особняка, занятого германским посольством, были расположены парадные комнаты. За полукруглым вестибюлем следовала комната неопределенного назначения,— фон-Ботмер называет ее «Diele» [1]. Из нее дверь справа шла в библиотеку. Слева арка открывалась в огромный танцевальный зал. Он сообщался с «красной гостиной» — между ней и залом вместо двери тоже была арка с шелковой портьерой. Обе эти комнаты выходили на улицу или, точнее, в палисадник между домом и Денежным переулком, отделенный от переулка довольно высокой (2,5 метра) оградой. Настоящий сад был позади дома.

В субботу 6 июля, в 2 ч. 15 м. дня к посольству подкатил автомобиль Чрезвычайной комиссии. Из него вышли два человека. Один «смуглый брюнет с бородой и усами, большой шевелюрой, одет был в черный пиджачный костюм, с виду лет 30—35-ти, с бледным отпечатком на лице, тип анархиста; он отрекомендовался Блюмкиным. Другой, рыжеватый, без бороды, с маленькими усами, худощавый, с горбинкой на носу; с виду также лет 30-ти; одет был в коричневый костюм и, кажется, в косоворотку цветную; назвался Андреевым» [2]. Первый на ломаном немецком языке заявил швейцару, что они приехали к послу по поручению Чрезвычайной комиссии.

---

[1] Холл (*нем.*).

[2] Показания лейтенанта Мюллера, записанные инспектором Ксаверьевым.— *Автор*.

Члены посольства еще обедали. Швейцар предложил приехавшим присесть в вестибюле. Ждали они с четверть часа. Немцы, наконец, кончили обед, советник Рицлер вышел в вестибюль и спросил у посетителей, что им угодно. Они сказали, что должны повидать самого посла, и предъявили следующее удостоверение от 6 июля, за № 1428 за подписями Дзержинского и Ксенофонтова [1]:

«Всероссийская чрезвычайная комиссия уполномочивает ее члена Якова Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева войти в переговоры с Господином Германским Послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к Господину Послу».

Рицлер колебался. Вследствие слухов о возможном покушении на Мирбаха, у немцев было решено, что посол не должен лично принимать неизвестных ему людей. В это время в вестибюль вошел переводчик посольства, лейтенант Мюллер. Советник пригласил посетителей последовать за ним. Через танцевальный зал они прошли в красную гостиную. «Уже в малой приемной,— показывал (по-русски) на следующий день лейтенант Мюллер,— для меня стало известно со слов Блюмкина, что визит их связан с процессом одного венгерского офицера, графа Роберта Мирбаха...»

Здесь еще одна загадка этого темного дела,— правда, менее существенная. В средине июня того же года Чрезвычайной комиссией был арестован по обвинению в шпионаже австрийский военнопленный, граф Роберт Мирбах. Блюмкин в своих показаниях называет его «немецким шпионом» и племянником посла. Свидетели-немцы говорят, что это был лишь весьма отдаленный родственник графа Вильгельма Мирбаха, член венгерской ветви той же знатной семьи. В Красной книге ВЧК напечатано «обязательство», в котором этот человек (называющий себя *германским* подданным) обязуется доставлять Чрезвычайной комиссии «секретные сведения о Германии и германском посольстве в России» [2]. Нам, конечно, неизвестно, существует ли в действительности такой документ, и, если

---

[1] Подписи были подложные.— *Автор.*

[2] И. Шубин (Самарин), большевистский редактор стенографического отчета о деле Савинкова, вскользь говорит (стр. 226), что Роберт Мирбах «*якобы* был скомпрометирован в деле о шпионаже в пользу Германии». То же «якобы» мы находим в соответственном месте «заключения обвинительной коллегии» по делу о восстании левых эсеров.— *Автор.*

он существует, то каким способом он был получен; показания чекистов, во всяком случае, несколько расходятся: «немецкий шпион» обязался давать сведения... о Германии! Как бы то ни было, мысль убийц использовать дело Роберта Мирбаха для получения свидания с послом достигла цели,— впрочем, скорее по случайности.

Советник Рицлер по-прежнему стоял на своем: граф Мирбах не принимает, граф поручил ему, Рицлеру, ознакомиться с делом посетителей. Стоял на своем и Блюмкин: к сожалению, он может изложить дело только послу. Спор, по-видимому, продолжался довольно долго. Наконец Рицлер внес среднее предложение: если посол письменно уполномочит его выслушать представителей ЧК, удовлетворит ли их это? Тогда он принесет письменное полномочие.

Быть может, убийцы побоялись вызвать отказом подозрения, или же в том невыносимом нервном напряжении, в котором находился Блюмкин, он не сразу сообразил, что отвечает,— но ответил он неожиданно согласием: да, письменного полномочия им будет достаточно. Рицлер вышел из красной гостиной и отправился к послу. Случай решил вопрос о жизни Вильгельма Мирбаха: писать полномочие? Не стоит...— В сопровождении советника посольства граф вышел в красную гостиную — к поджидавшим его убийцам.

Они заняли места за тяжелым овальным столом, стоявшим посредине комнаты. У короткого конца стола, спиной к окнам, сел посол, слева от него Рицлер, за ним Блюмкин, слева от Блюмкина Мюллер. Второй убийца (оказавшийся главным) предпочел сесть поодаль, у портьеры, отделявшей красную гостиную от танцевального зала. Как это ни странно, беседа продолжалась долго,— по словам Блюмкина, 25 минут, если не больше. Окна в палисадник были, по-видимому, открыты. На улице стучал мотор автомобиля Чрезвычайной комиссии.

III

Кто были убийцы?

Яков Блюмкин и Николай Андреев служили в Чрезвычайной комиссии, но едва ли могут считаться типичными чекистами. Как-никак, оба они 6 июля без всякой личной выгоды для себя шли почти на верную смерть. Блюмкин впоследствии (гораздо позже) и был Чрезвычайной комиссией расстрелян,— по какому-то другому, мало вы-

ясненному политическому делу. Насколько я могу судить, это был очень тщеславный, смелый, театрально настроенный, не вполне уравновешенный, во всяком случае совершенно шальной человек. Попал он в ЧК по рекомендации центрального комитета партии левых эсеров и «был откомандирован на должность заведующего «немецким шпионажем», то есть отделением контрразведывательного отдела по наблюдению по охране посольства и за возможною преступною деятельностью посольства». В «Заключении обвинительной коллегии» по делу о восстании левых эсеров вскользь сообщается, что Дзержинский в свое время «возбуждал вопрос о предании Блюмкина суду за его художества». Лацис в своих показаниях говорил: «Я Блюмкина особенно недолюбливал и после первых жалоб на него со стороны его сотрудников решил его от работы удалить». «Недолюбливанье» со стороны Лациса, конечно, не может считаться очень отягчающим моральным свидетельством против человека. Вполне допускаю, что «художества» за Блюмкиным действительно водились, но, вероятно, они были политического, а не чисто уголовного свойства: в противном случае, Дзержинский и Лацис не преминули бы объяснить, в чем именно художества заключались. По-видимому, Блюмкин был человек интеллигентный или, во всяком случае, полуинтеллигентный. Посещал он и литературные круги. Мне известно, что незадолго до своего дела он появился в одном из московских литературных салонов: там всех удивил каким-то странным одеянием — белой буркой — но ничем другим, кажется, не удивил: мог, значит, кое-как сойти и за литератора. Что до Николая Андреева, то он состоял в ЧК на должности фотографа отдела по борьбе с международным шпионажем и был на этот пост определен Блюмкиным. «Блюмкин,— сообщает Лацис,— набирал служащих сам, пользуясь рекомендацией ЦК эсеров. Почти все служащие его были эсеры; по крайней мере, Блюмкину казалось, что все они эсеры». Как надо понимать последние слова старого чекиста, не берусь сказать. Возможно, что обе партии, поделившие между собой Чрезвычайную комиссию, на всякий случай подбрасывали друг к другу своих агентов и соглядатаев.

Отношения между большевиками и левыми эсерами в ту пору стали весьма враждебными. 4 июля в здании Большого театра открылся съезд советов,— открылся в очень торжественной обстановке. Обычная газетная формула при описании больших парламентских дней: «зал пере-

полнен до отказа, налицо весь дипломатический корпус» могла подойти и к этому случаю. На сцене были расставлены декорации «Бориса Годунова». В Грановитой палате [1] заседал президиум,— весь цвет обеих партий. Что до дипломатического корпуса, то ему правительство отвело две ложи, одну над другой: в нижней сидели Локкарт, английские и французские офицеры, в верхней немецкое посольство во главе с графом Бассевицем — такое сочетание людей в 1918 году действительно было довольно необычным.

Сам Мирбах в Большой театр не явился,— вероятно, опасаясь покушения. Но его имя в Грановитой палате склонялось во всех падежах. При одном особенно резком выпаде против германского посла левые эсеры вдруг поднялись с мест и, обратившись к немецкой ложе, завопили в один голос: «Долой немцев!» (Кроме «Долой», раздавалось и более сильное восклицание в народном стиле.) «В ложе движение»,— отмечает корреспондент «Нашего слова». Для «движения» тут действительно были основания [2]. Но еще большее могло быть и было «движение» при тех любезностях, которыми осыпали друг друга вожди обеих партий. Так, Камков, скандируя, прерывал речь Троцкого несколько однообразным, но сильным возгласом: «Врете!.. Врете!.. Врете!..» [3].

Если верить Блюмкину, ЦК партии левых эсеров только в этот день, 4 июля, решил убить графа Мирбаха. Он, Блюмкин, был, будто бы, вызван прямо из Большого театра одним членом ЦК и получил от него соответственное поручение. Однако показания, данные Блюмкиным большевистскому суду, вообще большого доверия не заслуживают. Убийство германского посла должно было послужить и действительно послужило сигналом к восстанию. Организовать такое дело в 36 часов было совершенно невозможно. Во всяком случае, подготовка убийства началась значительно раньше. «Теперь я вспоминаю,— говорил

---

[1] «Наше слово» (таково было тогда очередное название «Русского слова»), 5 июля 1918 года.— *Автор.*

[2] На следующий день (то есть накануне своей смерти) граф Мирбах совещался с турецким послом Халил-беем и с болгарским посланником Чапрашниковым о том, следует ли заявить протест. Было решено, что не следует, так как «членов съезда советов нельзя приравнивать к депутатам европейских парламентов».— *Автор.*

[3] «Свобода России» («Русские ведомости»), 5 июля 1918 года и другие московские газеты.— *Автор.*

Лацис,— что Блюмкин дней за 10 до покушения хвастался, что у него на руках полный план особняка Мирбаха». Но возможно, что 4 июля постановление об убийстве было окончательно оформлено. «Ночью того же числа я был приглашен в заседание ЦК, в котором было окончательно постановлено, что исполнение акта над Мирбахом поручается мне, Якову Блюмкину, и моему сослуживцу, другу по революции, Николаю Андрееву»,— в несколько особом, торжественном тоне рассказывает убийца германского посла: торжественная обстановка, ночное заседание, вынесение приговора, это было вполне в духе левых эсеров.

«В ночь на 6-ое мы почти не спали и приготовлялись психологически и организационно...» Блюмкин жил в гостинице «Элит». С Андреевым он встретился в день убийства в первом доме советов (Национальная гостиница). Там им дали снаряд и револьверы. «Я спрятал револьвер в портфель, бомба находилась у Андреева, также в портфеле, заваленная бумагами. Из «Националя» мы вышли около двух часов дня. Шофер не подозревал, куда он нас везет. Я, дав ему револьвер, обратился к нему как член комиссии, тоном приказания: «Вот вам кольт и патроны, езжайте тихо, у дома, где остановимся, не прекращайте все время работы мотора, если услышите выстрел, шум, будьте спокойны...»

Разговор в красной гостиной посольства между графом Мирбахом и его убийцами продолжался, повторяю, довольно долго. Он велся при посредстве переводчика. Германский посол в свое время служил в Петербурге [1], но по-русски, по-видимому, не понимал ни слова. Зачем Блюмкину и Андрееву понадобилось разговаривать 25 минут с человеком, которого они могли убить тотчас,— это сложный вопрос психологии террористов (есть знаменитые исторические прецеденты). Трудно, однако, понять, о чем они могли так долго беседовать. До нас дошло четыре рассказа о сцене убийства; из них три исходят от ее участников: Блюмкина, Рицлера и Мюллера, а четвертый — от барона Ботмера, который при убийстве не был, но, конечно, в тот же день не раз слышал рассказы очевидцев.

---

[1] В краткой биографии графа Мирбаха, напечатанной в «Нашем слове» (24 апреля 1918 года) после приезда посла в Москву, сообщается, что он был связан личной дружбой с П. А. Столыпиным и часто посещал салон графини Клейнмихель.— *Автор*.

Как почти всегда в таких случаях бывает, версии свидетелей совпадают не во всем.

Блюмкин разложил на мраморном столе документы, находившиеся в его портфеле, и стоя стал докладывать о деле арестованного Роберта Мирбаха. Вероятно, лейтенант Мюллер переводил его слова фразу за фразой. Однако посол сразу заявил, что это дело его не интересует. «Когда на слова Блюмкина,— нескладно показывает Мюллер,— посол ответил, что он ничего не имеет общего с упомянутым офицером, что это для него совершенно чуждо и в чем именно заключается суть дела, Блюмкин ответил, что через день будет это дело поставлено на рассмотрение трибунала. Посол и при этих словах оставался пассивен». Посол оставался пассивен, но Блюмкин, должно быть, очень волновался. По крайней мере, Рицлер говорит: «Так как мне объяснения докладчика Чрезвычайной комиссии показались крайне неясными, то я заявил графу Мирбаху, что лучше всего будет дать ответ по этому делу через Карахана».

На этих словах советника разговор, очевидно, должен был кончиться. В эту минуту в дело вмешался Николай Андреев, до того все время молчавший. Он произнес по-русски фразу, бывшую, по мнению Мюллера, условным знаком: «По-видимому, послу угодно знать меры, которые могут быть приняты против него». Ботмер дает иную версию условной фразы: «Дело идет о жизни и смерти графа Мирбаха...» Думаю, что фраза Ботмера правдоподобнее,— она была двусмысленной: «о жизни и смерти графа Мирбаха»,— но не Роберта, а Вильгельма! Думаю, что эта «роковая игра слов» из уголовного романа вполне соответствовала психологии убийц посла; они должны были приготовить именно такой условный знак.

«Со словами «Это я вам сейчас покажу», стоявший за большим тяжелым столом Блюмкин опустил руку в портфель, выхватил револьвер и выстрелил через стол сперва в графа, а потом в меня и д-ра Рицлера,— рассказывает Мюллер.— Мы были так поражены, что остались сидеть в своих глубоких креслах. Граф Мирбах вскочил и бросился в зал, причем его взял на прицел другой спутник; второй направленный в меня выстрел я парировал тем, что внезапно нагнулся. Первый посетитель продолжал стрелять и за прикрытием тяжелой мебели бросился также в зал. Один момент после этого последовал взрыв первой бомбы, брошенной в зал со стороны окон. Оглушительный грохот раздался вследствие падения штукатурки стен и осколков

раздробленных оконных стекол. Вероятно, и частью вследствие давления воздуха, отчасти инстинктивно, д-р Рицлер и я бросились на пол. После нескольких секунд мы бросились в зал. где граф Мирбах, обливаясь кровью из головной раны, лежал на полу...»

Блюмкин рассказывает несколько иначе: «После 25 минут, а может, и более продолжительной беседы в удобное мгновение я достал из портфеля револьвер и, вскочив, выстрелил в упор последовательно в Мирбаха, Рицлера и переводчика. Они упали. Я прошел в зал. В это время Мирбах встал и, согнувшись, направился в зал за мной. Подойдя к нему вплотную, Андреев на пороге, соединяющем комнаты, бросил себе и ему под ноги бомбу. Она не взорвалась. Тогда Андреев толкнул Мирбаха в угол (тот упал) и стал извлекать револьвер. Я поднял лежащую бомбу и с сильным разбегом швырнул ее. Теперь она взорвалась необычайно сильно».

В этом рассказе чувствуется желание террориста подчеркнуть свое необыкновенное хладнокровие: он улучил «удобное мгновение» (хоть все мгновения за эти 25 минут были для дела одинаково «удобны»); он «прошел в зал» — не выбежал, а прошел,— Мирбах направился за ним (и то, и другое довольно бессмысленно); он же, Блюмкин, и убил посла. В действительности, стреляя в соседей почти в упор, Блюмкин, по свидетельству немцев, не ранил пятью выстрелами никого. Вероятно, в эту минуту, несмотря на бесспорную свою смелость, он, как и немцы, потерял самообладание (собственно, и стрелять в советника посольства, а тем более в переводчика, партия никак ему не поручала). Мирбаха убил наповал револьверным выстрелом Андреев. Бомба только дала террористам возможность бежать.

Тотчас после взрыва они бросились через окно в палисадник. Вероятно, у ворот стояла стража,— убийцы перескочили через высокую ограду. При этом Блюмкин был ранен в ногу. По его словам, в него стреляли из окна посольства, но это маловероятно (немцы об этом не говорят ни слова); скорее, выстрелил приставленный к посольству латышский часовой. «Я перелез через ограду, бросился на панель и дополз до автомобиля. Мы отъехали, развили полную скорость...» Блюмкин еще сообщает, что они не знали, куда бежать, да и не желали спастись бегством: «Наше понимание того, что называется этикой индивидуального террора, не позволяло нам думать о бегстве. Мы даже условились, что, если один из нас будет ранен и останется, то другой должен будет найти в себе волю застрелить

его...» Это все, разумеется, цветы красноречия. Но верно то, что убийцы спаслись истинным чудом. «Если мы ушли из посольства, то в этом виноват непредвиденный иронический случай»,— говорит Блюмкин. «Стечение несчастных обстоятельств (eine Verkettung unglueklicher Umstaend)»,— пишет в дневнике барон Ботмер.

IV

Андрееву и Блюмкину удалось бежать из посольства по случайности. Как ни странно, никто из немцев не носил при себе оружия. К тому же они совершенно растерялись. Барон фон-Ботмер, отмечая, что террористические акты с давних пор происходили «im Heiligen Muetterchen Russland [1], высказывал в дневнике предположение, что будет перерезано все посольство. «Все бывало. Достаточно вспомнить Кеттлера в Пекине» [2],— писал он 7 июля, когда первая тревога все же должна была несколько улечься. Легко себе представить смятение, последовавшее тотчас за убийством. Немедленно все входы в особняк были наглухо закрыты, везде расставлены немецкие часовые, «Шуберт в качестве старшего офицера принял на себя командование маленькой крепостью, какой мы должны были считать наше здание...» Тотчас заработал и телефон.

Нападения на посольство не последовало. Снестись по телефону с советским правительством все почему-то не удавалось. Было послано донесение в Берлин. По-видимому, немцы не знали, что делать,— дипломатическая практика совершенно не предусматривала убийства послов. Прежде всего, очевидно, надо было заявить протест. Это было поручено барону Ботмеру — он представлял верховное командование, которого всего больше боялись большевики. В сопровождении переводчика Мюллера Ботмер отправился на автомобиле в комиссариат иностранных дел, помещавшийся тогда в гостинице «Метрополь». На улицах уже было очень неспокойно. Быть может, весть об убийстве германского посла и не разнеслась по столице. Но шел глухой слух о том, что готовится вооруженное восстание,— о замысле левых эсеров знали ведь десятки, а то и сотни людей. В это время разразилась страшная гроза. Громовые удары слышались беспрерывно.

---

[1] «В святой матушке-России» *(нем.)*.

[2] Как известно, германский посланник в Китае барон Кеттлер был убит китайцами 20 июня 1900 года в начале восстания боксеров.— *Автор*.

Вслед за трагедией в Денежном переулке, в гостинице «Метрополь» произошла комическая сцена, о которой Ботмер рассказывает кратко. В комиссариате уже знали об убийстве Мирбаха; вероятно, дошел в гостиницу и зловещий слух о готовящемся восстании. Настроение было «нервное» или, точнее говоря, паническое: ждать можно было всего. Вдруг в гостинице появились два немца,— вид у них, надо думать, был не очень приветливый. Карахану, заменявшему Чичерина, пришла в голову ужасная мысль: это ворвались убийцы! — «Наше столь горькое и серьезное объяснение началось почти комически,— пишет барон фон-Ботмер (стр. 73),— большевистский дипломат, по-видимому, принял нас за террористов. Когда мы вошли, он бросился с какой-то дамой в другую комнату, и там заперся. Его удалось убедить выйти к нам лишь после некоторых переговоров».

Почти одновременно начался съезд в посольство советских сановников. В Денежный переулок прибыли Чичерин, Свердлов, Дзержинский, сам Ленин. Все они рассыпались в извинениях, в объяснениях, в соболезнованиях: советское правительство ни в чем не виновато, оно горячо сочувствует, оно глубоко скорбит... Немцы слушали их весьма мрачно. «От вашей скорби пользы теперь никакой!» — сказал сердито Чичерину фон-Ботмер. Посольство потребовало немедленной присылки оружия для раздачи бывшим в Москве германским военнопленным: оно больше советской полиции не верит и само позаботится о своей охране. Требование это было, разумеется, тотчас исполнено. Дальше немцы так и не пошли. Рвать с советской Россией, сажать другое правительство в Москве, искать второго гетмана — это было трудно. На Западном фронте дела шли теперь много хуже.

Большевики, со своей стороны, старались всячески умилостивить германское посольство; как ни нужны им были войска для подавления восстания левых эсеров, в Денежный переулок спешно созывались чекисты, красногвардейцы, пулеметные команды, «матросы весьма сомнительного вида». Прибыл Радек «in kriegerischer Ausruestung»[1], вооружившийся каким-то колоссальным револьвером,— по словам Ботмера, этот револьвер размерами напоминал осадную мортиру. Другой видный большевик Бронский остался ночевать в посольстве,— очевидно, для его защиты. Предупредительность вообще была необыкновенная.

---

[1] «В боевом снаряжении» *(нем.)*.

В Трехсвятительском переулке, в особняке Морозовых и в примыкающих к нему двух домах помещался так называемый отряд Попова — главная надежда левых эсеров. Это было очень странное собрание людей, напоминавшее и лагерь Валленштейна, и войска Стеньки Разина, и красногвардейцев поэмы Александра Блока. Отряд состоял в распоряжении Чрезвычайной комиссии, но она не очень уверенно им распоряжалась. По словам Дзержинского, «отряду Попова всегда поручалось разоружение банд, и он всегда блестяще выполнял такие поручения». Понятие «банд» в революционные времена натыкается на большие методологические трудности. «Отряд» блестяще разоружает «банды», пока не объявляется бандой сам. Для многих шалых людей, бродивших тогда по Москве и под Москвою без занятий и, главное, без хлеба, служба в отряде была очень подходящим делом: люди эти шли к Попову в левые эсеры, как их далекие предшественники шли в ушкуйники к Василию Буслаеву или в гайдамаки к Гонте и Верлану. У Попова было в изобилии вино, и он в вине не отказывал ни себе, ни другим [1]. У него были также консервы, сыгравшие значительную роль в июльском восстании 1918 года [2]. При другом стечении консервных и иных обстоятельств отряд Попова мог бы верой и правдой служить большевикам; но вышло так, что он служил левым эсерам. Я слышал, что сам Попов впоследствии пристал к анархистам и погиб за идеалы Кропоткина. Не берусь судить, каковы были в 1918 году его отношения с интеллигентами в очках, заседавшими в лево-эсеровском штабе и представлявшими, по их словам, «дантоновское начало в русской революции».

Отряд Попова был невелик. В «Заключении обвинительной коллегии» по делу о восстании говорится о 600 бойцах при двух батареях. Сам Попов исчислял отряд в 1000 человек. «Генерал» Вацетис, подавлявший восстание, утверждает в своих воспоминаниях, что в распоряжении Попова было 2000 штыков, 64 пулемета, 1 тяжелая бата-

[1] «Попов был выпивши,— показывает, например, один из арестованных,— и кроме него еще несколько человек, которых я не знал, были тоже заметно выпивши». «Их радужное настроение,— говорит Дзержинский,— испортило известие, что Спиридонова и фракция их арестованы. Попов влетел: «За Марию снесу пол-Кремля, пол-Лубянки, полтеатра!..» И действительно, были нагружены людьми автомобили и уехали для выручки. Раздавались консервы, сапоги, провиант, доставили белье, баранки. Замечалось, что люди выпили...»— *Автор.*

[2] «Разнесся слух, что в штабе Попова раздаются консервы, и публика заинтересовалась консервами, стала сновать взад и вперед из казарм туда и обратно» (показания Шоричева).— *Автор.*

рея, 1 легкая батарея и 8 броневиков, из них 4 с орудием [1]. Для устройства революции в России и для возобновления войны с немцами этого было недостаточно. И тем не менее, восстание едва не удалось. Во всяком случае, тревога в Кремле была необычайная. Вацетис в тех же воспоминаниях пишет несколько загадочно: «История русской революции нам расскажет в будущем, что творилось в кругах советского правительства за время с 6 июля до полудня 7 июля...» Подвойский и Муралов в докладе Совету народных комиссаров, перечисляя «упущения», обнаружившиеся при подавлении восстания, сдержанно-почтительно упоминают среди этих упущений и «вполне объяснимую нервность из Кремля...»

Нервность проявлялась с обеих сторон этой странной баррикады. Среди левых эсеров были люди совершенно исключительного мужества, как Черепанов, впоследствии главный организатор взрыва в Леонтьевском переулке (надеюсь рассказать о нем). Ничего лучшего левые эсеры не оставляли желать и в смысле демагогии — или попросту вранья, в подобных делах необходимого и почти неизбежного. До нас дошли «бюллетени», выпускавшиеся в часы восстания его вождями. В этих бюллетенях они, например, утверждали, что «в распоряжение Мирбаха был прислан из Германии известный русский провокатор Азеф для организации шпионажа, опознанный нашими партийными товарищами в Петрограде и Москве» [2]. Левый эсер Карелин уверял рабочих, что Ленин и Троцкий вывезли в Германию на три миллиарда мануфактуры и уплатили ей за социализацию земли тридцать миллиардов [3]. Но в самом ведении восстания его руководители ни умения, ни энергии не проявили.

Дзержинского, по его словам, в германском посольстве после убийства графа Мирбаха встретили «с громким упреком»: «Что вы теперь скажете, господин Дзержинский?..» Ему показали написанные на бланке Чрезвычайной комиссии удостоверения, которыми убийцы воспользо-

[1] Вацетис. История латышских стрелков.— Отрывки из этой книги, вышедшей на латышском языке, появились в недолго выходившем в Берлине журнале левых эсеров «Знамя борьбы», № 4, 1924.— *Автор.*

[2] «Бюллетень № 1» — Азеф уже месяца три находился в могиле: он умер 24 апреля 1918 года (см. превосходную книгу Б. И. Николаевского «История одного предателя», стр. 372).— *Автор.*

[3] Показания Павла Одинокова.— *Автор.*

вались для получения свидания с послом. Как это ни невероятно, немцы, очевидно, считали подпись Дзержинского на бланке подлинной; иными словами, они подозревали, что граф Мирбах убит с благословения советского правительства! «Я увидел, что подписи наши скопированы, подложны. Мне все сразу стало ясно. Партию левых эсеров я не подозревал еще, думая, что Блюмкин обманул ее доверие. Я распорядился немедленно разыскать и арестовать его (кто такой Андреев, я не знал). Один из комиссаров, товарищ Беленький сообщил тогда мне, что недавно, уже после убийства, видел Блюмкина в отряде Попова...» — Дзержинский отправился в дом Морозова.

Случай явно благоприятствовал левым эсерам: к ним в руки таким образом попадал глава Чрезвычайной комиссии, тот самый человек, который должен был распоряжаться подавлением восстания. Можно с большой вероятностью предположить, что если б на месте левых эсеров были большевики, то столь счастливая случайность была бы немедленно использована как следует. Левые эсеры, однако, Дзержинского не убили. Из его рассказа ясно видно, что они и вообще не знали, как, собственно, обстоит дело: он ли их арестовывает или они его арестовывают? Пьяный Попов видел: Блюмкин болен, Блюмкин уехал на извозчике в больницу и т. д. «Я стал осматривать помещение с товарищами Трепаловым и Беленьким. Мне все открывали, одно помещение пришлось взломать... Тогда подходят ко мне Прошьян и Карелин и заявляют, чтобы я не искал Блюмкина, что граф Мирбах убит им по постановлению ЦК их партии, что всю ответственность берет на себя ЦК. Тогда я заявил им, что я их объявляю арестованными и что если Попов откажется их выдать мне, то я его убью как предателя. Прошьян и Карелин согласились тогда, что подчиняются, но вместо того, чтобы сесть в мой автомобиль, бросились в комнату штаба, а оттуда прошли в другую комнату...»

Может быть, Дзержинский и приукрашивает свою роль, оказавшуюся в этом деле не из самых выигрышных. Но в основном его рассказ подтверждается другими показаниями. В Трехсвятительском переулке был хаос: люди шли на вооруженное восстание — и до начала боя готовы были сдаться на милость человека, который явился в их гнездо без всякой воинской силы! Опомнился ли, протрезвился ли Попов или вмешались смелые люди из интеллигентского штаба — Черепанов, Спиридонова, Саблин — но Дзержинский был объявлен арестованным. Так он и просидел вза-

перти до окончания восстания; пойти дальше левым эсерам помешало этическое начало социальной революции.

В задачу настоящего очерка не входит, конечно, подробный рассказ о восстании левых эсеров — его история достаточно известна. Продолжалось оно не более суток. С утра 7 апреля латышская батарея, по словам Подвойского и Муралова, «с неподражаемой лихостью» подошла на 200 шагов к Трехсвятительскому переулку и разгромила гранатами штаб Попова. «Когда разгромленный штаб, спасаясь бегством от артиллерийского огня, был замечен окружающими солдатами Попова, то последние со словами: «Что ж, штаб бежит, а мы будем оставаться» частью обратились в бегство». Дальше все было как полагается: погоня, аресты, расстрелы.

Убийцы графа Мирбаха были скрыты вблизи штаба Попова. Блюмкин в своих показаниях на суде дал о том, как и где он скрывался, сведения неполные и частью неверные. Это, конечно, делает ему честь. Укрывал его один народный социалист, ныне давно покойный. Убийца германского посла начал свою бурную политическую карьеру в трудовой народно-социалистической партии. Впоследствии, к обоюдному удовольствию с ней расставшись, состоя на службе ЧК, он оказал видному члену этой партии огромную услугу: предупредил его о предстоящем аресте и тем, быть может, спас ему жизнь. Если не ошибаюсь, помогало также скрываться Блюмкину, по соображениям спортивным и германофобским, одно иностранное посольство.

Затем, вскоре после убийства Мирбаха, произошло событие, сыгравшее некоторую роль не в одной этой истории: маршал Фош перешел в наступление. Начался разгром Германии. Из всемогущих хозяев всей Восточной Европы немцы стали людьми бессильными. Скитавшийся в тяжких условиях Блюмкин сообразил, что теперь за «казнь германского империалиста» в Москве не казнят; напротив, можно даже стать героем. Он добровольно явился в Чрезвычайную комиссию. Расчет его оказался правильным: приговоренный к трем годам тюрьмы, он был оставлен на свободе и вышел в люди у большевиков. Погиб он много позднее как «троцкист» — подобный ему человек и не мог умереть естественной смертью. Какая участь постигла его товарища Николая Андреева, жив ли он, преуспел ли,— мне неизвестно.

ВЗРЫВ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

I

25 сентября 1919 года в Москве, в Леонтьевском переулке, в доме Московского комитета РКП, состоялось многолюдное большевистское совещание. В повестке значились два вопроса: Национальный центр и партийные школы. Второй из них был вполне нормальный. Известно, что большевики придают очень большое значение партийным школам. Какими людьми окажутся впоследствии воспитанники их школ — это, как говорится, «покажет будущее». Но едва ли подлежит сомнению, что за 18 лет владычества большевиков школы оказали им немалую услугу. Как бы то ни было, в заседании 25 сентября участвовали виднейшие партийные деятели. Их даже было что-то уж слишком много для вопроса о школах. Добавлю, что в этот день в московских газетах появилось сообщение, поименно приглашавшее виднейших большевиков прибыть на заседание: «явка обязательна». Ленин поименован не был, но в Леонтьевском переулке ждали и его,— что-то помешало ему приехать. Был на заседании и контроль явившихся. Как рассказывает один из участников, «пришла товарищ женщина и стала переписывать товарищей на память...»

Я склонен думать, что главное было не во втором, а в первом вопросе,— к сожалению, довольно таинственном. В августе 1919 года ЧК раскрыла «заговор Национального центра». По ее сведениям, в эту тайную организацию входил какой-то коммунист. По крайней мере, так утверждали докладчик и Бухарин, Преображенский и Покровский. Один из участников заседания, следователь МЧК Сазонов, сообщает, что после доклада Бухарина настроение было очень тяжелое. «Всех угнетала мысль, что в среде нас, коммунистов, есть предатели, участвовавшие в Национальном центре... Во время доклада тов. Покровского и Преображенского атмосфера еще более накалилась, чувствовалось большое напряжение. Товарищи подозрительно оглядывали друг друга (мое личное мнение). У каждого вертелся вопрос: кто-то из нас Иуда?»

О существовании «Иуды» в Национальном центре мне ничего не известно. По-видимому, ни к каким выводам не пришло и собрание,— да о подобных выводах и не говорят в присутствии 120—150 человек: кроме вождей, была на заседании и партийная демократия, обозначаемая в официальном документе как «представители районов, лектора, агитаторы и пр.». Затем перешли к вопросу о школах, начали выступать разные «и пр.». Собравшиеся стали понемногу расходиться. Вожди (или, по крайней мере, часть их) остались на заседании. В зале было человек восемьдесят. Другие гуляли в коридорах.

Леонтьевский переулок находится в одной из старых частей Москвы. Если не ошибаюсь, в этих местах при Иване Грозном находилось «особное хозяйство опричнины». Позднее это был квартал «аптек»,— так еще при Петре забавно назывались питейные дома, потом переименованные в «фартины». Где-то здесь же находилось в конце XVIII века одно из многочисленных учреждений Н. И. Новикова,— полукоммерческих, полупросветительных и масонских; расположенный поблизости Газетный переулок (прежде Вражский Успенский) назван так потому, что тут впервые, по инициативе Новикова, стали продаваться газеты.

Дом Московского большевистского комитета (№ 18 по Леонтьевскому переулку) принадлежал до революции графине Уваровой. Это был большой прекрасный барский особняк с садом, выходивший также на Большой Чернышевский переулок. В начале советской революции особняк был отдан партии левых эсеров, которая в нем разместила свой центральный и городской комитеты. После убийства графа Мирбаха и июльского восстания 1918 года, левые эсеры лишились всего, лишились и особняка, отошедшего к городскому комитету большевиков.

Заседание происходило во втором этаже дома в довольно большом зале с балконом. По-видимому, этот балкон тянулся вдоль всего зала или значительной его части. Он выходил в сад, идущий к Большому Чернышевскому переулку. У стены зала стоял рояль. Был, вероятно, стол для президиума. Другие участники заседания разместились, естественно, по чинам,— в этом отношении большевики не нарушают общего закона всевозможных собраний. Обстоятельство это оказалось весьма важным: без него, по всей вероятности, погибла бы вся так называемая верхушка большевистской партии.

Шел девятый час вечера; заседание началось в шесть. Говорил кто-то из «и пр.». Слушали его плохо. «В зале стоял гул, как в пчельнике»,— показывает Н. Сазонов. Один из прилежных участников заседания попросил даже председателя Мясникова «привести в порядок товарищей», что Мясников и сделал в довольно резкой форме.

В эту минуту произошло нечто весьма страшное. Боковое окно балкона (ближе к стене, противоположной президиуму) вдруг приотворилось, и раздался не то треск, не то удар [1],— свидетельские показания расходятся. За окном было уже темно, едва ли можно было увидеть в окне чью-то руку, удар был не очень силен,— и тем не менее все остолбенели. Один из очевидцев рассказывает: «Я тут же взглянул по направлению большой двери, она была с железной решеткой, но рядом во втором окне от стены зияло отверстие приблизительно в 2 четверти (?); зал весь замер, вдруг кто-то крикнул: «бомба!»,— другой: «бомбу бросили!..» И сразу мертвая тишина сменилась криками. До балконной двери было пять рядов стульев, сидели почти все женщины, очень мало мужчин, сразу товарищи бросились со стульев на пол, около бомбы получилось пустое место... Я смотрю налево, у меня перед глазами у рояля стоит, притаившись, тов. Кропотов и немножко правее тов. Сафонов. Вдруг бомба издала шипение. Я, как фронтовик, зная по опыту, что надо делать, инстинктивно обернулся, куда спастись: спереди рояль, сзади груда человеческих тел и стульев, я сообразил: моментально согнулся и юркнул под рояль, но, дурак, не лег к стене или к двери лицом, а лег лицом в зал, и меня это погубило. Шипение продолжалось еще секунды три, и раздался адский взрыв. Я почувствовал, что оглох. Дышится трудно. Чувствую мертвую тишину, открыл глаза — мрак. Вдруг слышу справа ужасный стон: «Помогите!..». Слева: «Воздуху!..». Я ощупал руками пространство: рояль стоит на двух передних ножках...»

Это был один из самых кровопролитных террористических актов истории. Убито было двенадцать человек, ранено пятьдесят пять. Так как снаряд упал у предпоследне-

[1] По-видимому, при падении снаряда на пол разбилось оконное стекло. Между моментом падения и взрывом прошло, по словам чекистского отчета, около 45 секунд (так и сказано: «около 45 секунд»). Как ни трудно измерить в подобных случаях время, на хронометр никто не смотрел,— расхождение в этом вопросе свидетельских показаний удивительное: Мясников говорит о «4—5 минутах»! — *Автор.*

го ряда, то ни один из сановников не погиб, если не считать сановником убитого наповал секретаря Московского комитета Загорского. Но среди раненых были Мясников, Бухарин, Стеклов, Сафаров, Ем. Ярославский. Пострадали почти все находившиеся в зале люди. Это немудрено: бомба, начиненная динамитом, весила более пуда. Дом графини Уваровой был разрушен взрывом. «От трехэтажного[1] здания,— рассказывает Мясников,— в доброй своей половине почти ничего не осталось».

Во многих отношениях замечательно это кровавое дело. По способу подготовки и выполнения оно принадлежит к тому, что можно было бы назвать кустарным террором. Судьбы террора таинственны. Я думаю, специалисты полицейского дела должны с некоторым недоумением читать в курсах римской истории главы, посвященные убийству Юлия Цезаря. Грозные записки, подбрасывавшиеся к подножью разных статуй, зловещие видения Кальпурнии, слухи о мартовских идах,— все это как будто свидетельствует и о кустарном характере заговора, и о кустарной организации римской полиции. Но тут все можно сваливать на фатализм диктатора,— Цезарь говорил ведь: «лучше умереть один раз, чем дрожать всю жизнь». Большевистские вожди отнюдь не разделяли этого мнения, а ЧК в сентябре 1919 года была уже далеко не столь беспомощной, как в первые месяцы своего существования. Тем не менее, дело в Леонтьевском переулке удалось.

На место покушения явились пожарные, врачи; Чрезвычайная комиссия принеслась чуть ли не в полном составе. Уцелевшие, легко раненные давали показания. Один из спасшихся, Борисов, картинно описывал свои чувства: «Может быть, это будет беллетристика и сентимент, но в эту тяжелую и кошмарную минуту я вспомнил «Враги» М. Горького, там есть место, где ради спасения лучшего товарища и борца молодой товарищ согласился жертвовать собой, и я готов был пожертвовать собой. Как же могло случиться,— я жив, а товарища Бухарина я не вижу. Но какова была моя радость...» — едва ли нужно пояснять причину радости: тов. Бухарин оказался жив. Однако, не все участники совещания вспомнили в минуту взрыва о «Врагах» Максима Горького и не все тогда думали о том, как бы отдать жизнь за Бухарина. Н. Сазонов бесхитростно говорит: «У всех на лице читаешь животную ра-

---

[1] На фотографиях дом двухэтажный. Фотографии, появившиеся после взрыва, очень жуткие.— *Автор.*

дость: «Я не убит...» Здесь он явно забыл сделать свою оговорку: «мое личное мнение...»

На следующий день в московских газетах появились статьи, в которых виновниками дела объявлялись «белогвардейцы» и «кадетские Иудушки» [1]. То же самое официально сообщили 26 сентября председатель комитета обороны Каменев и председатель совета Сопронов. Еще через два дня появилась совершенно безумная статья [2] о взрыве Бухарина; приведу из нее небольшой отрывок: «Читатели, вероятно, не забыли, что генерал Юденич является вождем «Лиги убийц», которая даже за границей действовала фомкой, ядом, кинжалом и мертвой петлей. У «Лиги убийц» были особые изысканные приемы удушения: зашить человека в холщевый мешок, предварительно задавив его и разрубив на куски, опустить этот мешок в воду...» Дальше следовал дикий бред о кадетских агентах, о кадетской интеллигенции и о главных злодеях, бар. Штромберге, кн. Андронникове, кн. Оболенском и кн. Долгоруком. Смысл статьи был такой, что взрыв организовали кадеты и, в частности, кадетские князья, не забывающие о своих имениях «и даже ночных (мягких) рубашках». Эти «ночные (мягкие) рубашки» как будто не оставляют сомнений в том, что контузия, полученная при взрыве, отразилась на умственных способностях Бухарина.

29 сентября, в воскресенье, хоронили погибших при взрыве людей. Все было по ритуалу: Колонный зал Дома Советов, могилы на Красной площади, венки,— приведу наудачу несколько надписей: «Да здравствует красный террор!»... «Ваша мученическая смерть — призыв к расправе с контрреволюцией»... «Бурлацкая душа скорбит о вашей смерти — Бурлацкая среда убийцам не простит»... Первую речь сказал Троцкий, давший полную волю своей бурлацкой душе. «Кто их убил,— сказал он,— это знают все. Имена белогвардейского центра у всех перед глазами; там князья, б. бароны, б. крупные сановники царизма, б. домовладельцы, кадеты, эксплуататоры разных рангов...»

Я не знаю, сколько лиц перечисленных Троцким категорий было расстреляно Чрезвычайной комиссией после этой погромной литературы. Не знаю также, действитель-

---

[1] Статьи Керженцева и Гойхбарга в «Известиях» 26 сентября 1919 года.— *Автор.*

[2] «Правда», 28 сентября 1919 г.— *Автор.*

но ли ошибались авторы последней или сознательно призывали к истреблению заведомо неповинных людей. Однако, ни «белогвардейцы», ни «кадетские Иудушки», ни князья, ни бароны, ни домовладельцы не имели к взрыву в Леонтьевском переулке никакого, ни малейшего, даже самого отдаленного отношения. Это впоследствии должны были признать сами большевики. Впрочем, они этого прямо не признали,— но через шесть недель в «Правде» появилась статья, в которой комитет обороны не без смущения сообщал, что взрыв в Леонтьевском переулке был делом «анархо-деникинцев»[1] (не берусь сказать, что, собственно, значило это слово). А еще немного позднее, в конце декабря, «Известия» поместили отчет о следствии[2], где больше не было и «анархо-деникинцев»,— пришлось, наконец, сказать правду: взорвали особняк гр. Уваровой левые эсеры и анархисты.

Состав группы заговорщиков, устроившей взрыв в Леонтьевском переулке, был странный, очень странный; я думаю, такого не было ни в каком другом террористическом акте истории. В деле участвовали люди идейные, сознательно шедшие на смерть, как левый эсер Черепанов; участвовали в нем и темные, невежественные люди, и уголовные преступники, которых трудно назвать иначе, как бандитами. Ни общей цели, ни общей идеи у участников дела не было; их объединяла только общая ненависть.

Должен тут сделать оговорку личного характера. Я пишу об этой трагедии со странным и тяжелым чувством. Ни один историк еще не касался дела о взрыве в Леонтьевском переулке. Мне приходится работать исключительно над сырыми материалами, да и их очень немного: «Красная книга ВЧК», показания свидетелей, статьи большевистских газет. Я не знал ни одного из участвовавших в деле людей. В предшествовавших очерках моих по истории октябрьской революции я говорил о том, что видел своими глазами, или, по крайней мере, переживал на месте. Но в сентябре 1919 года я был уже в эмиграции. Возможны важные ошибки если не в фактах, то в догадках и оценках. Понять это мрачное дело очень нелегко. Для романиста оно было бы кладом,— какой роман мог бы написать о нем Достоевский!

---

[1] «Правда», 6 ноября 1919 г.— *Автор.*
[2] «Известия», 28 декабря 1919 г. и 1 января 1920 г.— *Автор.*

II
ДАЧА В КРАСКОВЕ

В 25 верстах от Москвы, по Казанской железной дороге, находится поселок Красково. Я никогда о нем не слышал. Нет упоминания об этой железнодорожной станции в брокгаузовском словаре. Предполагаю, что станция была как станция; жили здесь поколениями мирные люди, трудились, пили водочку, играли в стуколку и в винт, сходили в могилу. Вокруг поселка расположен густой сосновый лес. Вблизи леса стояла дача Горина, ничем не отличавшаяся от тысяч других дач тихой чеховской России.

В конце лета 1919 года дачу эту сняли у владельца две девицы, Мина и Таня. С ними там поселились или постоянно туда приходили еще несколько человек, с именами в большинстве странными и упрощенными: Васька Азов, Яшка Глагзон, Федька Николаев, Митька Кривой, Митька Хорьков, Шура Ратникова, Хиля Цинципер, Андрей Португалец, Петька-просто, Фроська-просто, еще какой-то «дядя Ваня», он же Иван Приходько, он же Леонид Хлебныйский, по профессии «помощник начальника штаба 46-й дивизии»,— так, по крайней мере, он показывал на следствии. Официальных занятий большинство жильцов и гостей дачи не имело. Мина и Таня содержали кофейню в Москве, у памятника Гоголю; но это было не настоящее их ремесло; кофейня, видимо, была тоже конспиративная.

Судя по именам и кличкам этих людей, можно было бы сделать вывод, что все они были жуликами или бандитами. Однако, это неверно, или, во всяком случае, не вполне верно. Некоторые из жильцов дачи, несомненно, занимались, по выражению, принятому в XVII веке, «делами татебными, разбойными и убийственными». Но обыкновенными преступниками их считать нельзя. Уголовного кодекса они, конечно, не признавали, но имели свою мораль. Разбойничьи клички им, вероятно, нравились: в этом кругу, кроме своей морали, был и свой снобизм. Настроены эти люди были мрачно-иронически. Один из них впоследствии свои письменные показания чекистам начал словами: «Вы просите песен, их нет у меня»... В духе этого юмора надо, верно, понимать и клички вроде Митька Кривой или «дядя Ваня». Красковцы считали себя анархистами. Князь П. А. Кропоткин, оказавшийся на старости лет хорошим, очень культурным кадетом, мог с разными чувствами смотреть на этих людей. С разными чувствами могли относиться к нему и они,— если слышали об его существовании.

Жильцы и гости дачи в Краскове совершали экспроприации в большевистских учреждениях,— некоторое продолжение лозунга «грабь награбленное». Но деньги у большинства к карманам не прилипали. Были, впрочем, тут самые разные люди. Один из них, располагая огромными средствами, отказывал себе в тысяче рублей для покупки новых брюк: все должно идти на дело. Но другой, разыскивая при грабеже спрятанные деньги, пытал пленников огнем. Главное свое дело они сделали без малейшего расчета на личную выгоду и из-за него рисковали головой; все они и погибли. Во всяком случае, это были страшные люди. Как появились они в мирной чеховской России? Что они делали до революции? Как образовалось это неправдоподобное сообщество? Как могла создаться эта жуткая дача?

В одной из комнат в жару лежал больной сыпным тифом человек (Сашка Барановский — тот, что применял пытки). В другой — Васька Азов (и еще какой-то Захар,— если это не одно лицо) изготовлял динамитные бомбы. Вероятно, Васька Азов имел не очень глубокие познания в химии; но при помощи одной из его бомб был взорван особняк в Леонтьевском переулке. В третьей комнате помещалась типография. Здесь печатались газеты «Анархия» и анархические прокламации против большевиков. Я читал кое-что из литературы, издававшейся в Краскове. Большевики отзываются о ней с презрением. «Вот как толкуют наши робята»,— говорится в их официальном издании. «Наши робята» в действительности писали не хуже большинства советских публицистов. От мыслей же их, от их исполненной страсти диалектики, не отказались бы ни Бакунин, ни прежний Кропоткин. Поистине, странных людей рождала старая Россия,— но никак нельзя допустить, что писали это рядовые уголовные преступники из низов. И трудно, очень трудно понять, кто же все-таки были все эти Петьки, Федьки, Васьки и Яшки. Бланки, знавший толк в революционных делах, говорил, что в Париже всегда найдется пятьдесят тысяч человек, готовых пристать к любой, какой угодно, революции. В России таких людей оказалось гораздо больше. Однако, жильцы Красковской дачи составляли среди них особую группу.

Вожди организации не жили на даче, они, по-видимому, только наезжали. Бывал в Краскове Петр Соболев,— тот самый, который не решался тратить на свои личные нужды деньги, добытые им посредством экспроприаций. Я поч-

ти ничего не знаю об этом человеке и не берусь судить о нем. Могу лишь сказать, что он был фанатик, в настоящем смысле слова, фанатик, носившийся с замыслами грандиозными. Основная мечта его заключалась в том, чтобы взорвать Кремль. Он считал свою мечту осуществимой. У него было для ее осуществления приготовлено четыре пуда динамита; Соболев рассчитывал еще получить или изготовить в Краскове не то шестьдесят, не то сто двадцать пудов. Были у него какие-то связи в большевистском окружении. Наметил он и день: 25 октября 1919 года,— вторую годовщину октябрьской революции. В этот день должны были взлететь на воздух все виднейшие большевики, во главе с Лениным. По его расчетам (в химическом отношении весьма сомнительным), взлетел бы на воздух и весь Кремль. Это нисколько Соболева не останавливало: он обсуждал и возможность взрыва Красной площади в день октябрьского парада, со стотысячной толпой на площади. Никаких личных целей у него быть не могло. Только ли ненависть им руководила? Или же надежда, ценой неслыханных жертв, покончить со злом в мире: «исправи землю русскую от татей»? Как бы то ни было, для достижения своей цели он объединился с головорезами самых разных видов. Именно он собрал всех этих Яшек и Федек, он ими руководил, он с ними грабил советские банки, он каким-то непонятным образом подчинил их всех своему влиянию. Самое удивительное, пожалуй, то, что никто из них его не предал в первые же дни. Один из второстепенных членов организации в своих покаянных показаниях говорит, что Соболев был «наивное дитя». «Я знаю, что представлял из себя Соболев, человек безумной храбрости, способный сам индивидуально перевернуть многое. Вся работа его была направлена на торжество революции. Бескорыстная натура».

Будучи вождем организации, Соболев принимал на себя и роль исполнителя в наиболее опасных делах. Он собственноручно бросил и тот страшный снаряд в окно особняка в Леонтьевском переулке. Тогда, 25 сентября, ему удалось спастись. Чекисты выследили его лишь позднее, незадолго до второй годовщины переворота, к которой он им готовил сюрприз,— «взрыв октябрьских торжеств». Он оказал на улице отчаянное сопротивление, долго отстреливался из револьвера, бросил бомбу,— очевидно, всегда при себе носил бомбы,— и был убит. В одном из советских изданий помещена фотография мертвого тела Соболева. Лицо у него странное и необыкновенное.

Не знаю, бывал ли на даче в Краскове второй из трех организаторов взрыва в Леонтьевском переулке,— человек тоже во всяком случае незаурядный. Это был Донат Андреевич Черепанов.

Читатель, быть может, помнит: я говорил о нем в очерке «Убийство графа Мирбаха». Черепанов, один из вождей партии левых эсеров, принимал близкое участие в подготовке этого убийства и в устройстве июльского восстания. После катастрофического провала дела, как всегда в таких случаях бывает, начались нелады в ушедшей в подполье партии. Образовались три крыла; назывались они естественно правым, левым и центральным, но эти названия не вполне соответствовали тому, что обычно связывают с политическими понятиями левизны и правизны. Черепанов, оказавшийся вождем левого крыла, стоял за упорную, беспощадную террористическую борьбу с большевиками.

Мне и о нем известно очень мало, хоть я опрашивал всех, кого мог и кто должен был его знать. Это был образованный человек: он окончил юридический факультет и был оставлен при университете по кафедре уголовного права (или уголовного процесса). Февральская революция застала его молодым и, по-видимому, очень его увлекла. Он в 1917 году все левел: из эсеров стал левым эсером, потом, повторяю, главой левого крыла левых эсеров. Идеи у него были странные: он желал, чтобы Россией правили профессиональные союзы трудящихся, считал необходимой «революционную войну с Германией». «Лично я о захвате власти никогда не думал»,— показывал Черепанов в ЧК в день своего ареста. Говорят эту фразу все, но он, думаю, говорил это искренно или почти искренно.

По-видимому, им, со времени провала восстания левых эсеров, руководила преимущественно жажда мщения большевикам. Никаких надежд на захват власти больше не было. К тому же, он совершенно разочаровался в своих товарищах по партии,— по крайней мере, в руководителях ее главного крыла. Отзывы его о Штейнберге, о другом левом эсере, не так давно покончившем с собой, ужасны. Именно ему пришла мысль о взрыве в Леонтьевском переулке. Вероятно, в план Соболева, желавшего взорвать Кремль, он верил плохо; или, может быть, москвичу, человеку, который хотел стать профессором, было жаль — не большевиков, конечно, а архитектурных, исторических сокровищ Кремля. В устройстве взрыва он участвовал и непосредственно: ушел с места действия лишь за несколько минут до

того, как Соболев бросил бомбу. «Подготовка этого взрыва, выработка плана и руководство до самого последнего момента было возложено на меня,— показывал он в ЧК,— в самом же метании бомбы я, по постановлению штаба, участия не принимал. Не будь этого постановления, я бы охотно принял на себя метание бомбы». Кое-что в этих словах, по-моему, неверно; едва ли существовал и самый «штаб». Но в том, что Черепанов взял бы на себя и метание бомбы, сомневаться не приходится: это был человек совершенно исключительной храбрости.

Его арестовали лишь через несколько месяцев после дела: 17 февраля 1920 года. По-видимому, радость Чрезвычайной комиссии была необычайная: поймали очень опасного зверя. Для допроса Черепанова в тот же день, 17 февраля, собрались Дзержинский, Лацис, Ксенофонтов, Романовский и другие виднейшие чекисты. До нас дошли его показания; привожу из них отрывки,— подобных показаний не так много в истории русской революции. Черепанов выражал сожаление, что при взрыве в Леонтьевском переулке не погибли большевистские главари: ведь «на этом собрании предполагалось присутствие гражданина Ленина... Конечно, только нужно сожалеть о том, что жертвами взрыва были не более видные партийные работники, и никто из более крупных не пострадал... Об одном я сожалею: при аресте меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов...»

Лацис впоследствии уверял, что Черепанов был сослан в Сибирь и там умер от тифа. Я из весьма осведомленного источника слышал, что он был казнен. Утверждать тут, разумеется, ничего не могу. Но как могли в СССР не казнить человека, который был главным организатором взрыва в Леонтьевском переулке, да еще, вдобавок, давал показания в указанном выше роде?

Третий вождь организации, Казимир Ковалевич, был, пожалуй, самый таинственный из всех. Большевики приписывали ему очень важную роль. С этим согласуются и слова Черепанова: «Я совместно с Казимиром Ковалевичем сорганизовал Всероссийский штаб революционных партизан, который главнейшей целью своей наметил ряд террористических актов...» Ковалевич был литератор или, во всяком случае, ведал литературной группой заговорщиков. Едва ли кто у нас слышал о литераторе Ковалевиче,— была ли это его настоящая фамилия? Он погиб вместе

с Соболевым. «Главные вдохновители и организаторы контрреволюционеров разбираемого толка — Казимир Ковалевич и Петр Соболев — погибли при аресте. Оба они отстреливались из револьверов и бросили по бомбе»,— кратко говорит «Красная книга ВЧК». Большевики опубликовали в свое время и его фотографию; лицо у него чисто русское,— имя же как будто скорее польское.

На нем лежали денежные дела организации. Ее бюджет был темный. Боевая группа произвела экспроприации в двух отделениях Народного банка, на Б. Дмитровке и на Серпуховской площади; похищены были сотни тысяч рублей, но это, по тем временам, означало не очень большую сумму; Ковалевич платил рядовым членам организации по 15 тысяч в месяц жалованья. Вероятно, он получал деньги и из других источников. Как и некоторые другие члены организации, он часто отлучался из Москвы; ездил, преимущественно на юг. По-видимому, через него поддерживалась связь организации — с Нестором Махно.

III

НЕСТОР МАХНО

«Кто хоть раз видел батько Махно, тот запомнит его на всю жизнь,— говорит эмигрантский мемуарист, довольно близко его знавший...— Небольшие темнокарие глаза, с необыкновенным по упорству и остроте взглядом, не меняющие выражения ни при редкой улыбке, ни при отдаче самых жесточайших приказаний,— глаза, как бы все знающие и раз навсегда покончившие со всеми сомнениями,— вызывают безотчетное содрогание у каждого, кому приходилось с ним встречаться...»

Я именно один раз видел Нестора Махно — и не вынес от его наружности впечатления на всю жизнь. Правда, было это совершенно не в той обстановке, в которой его наблюдал автор приведенных выше строк. Несколько лет тому назад мне показали Махно на кладбище, в Париже, где «жесточайших приказаний» он отдавать никак не мог. Он шел за гробом старого политического деятеля, который с ним поддерживал добрые личные отношения. Я минут десять шел в двух шагах от него, не сводя с него глаз: ведь об этом человеке сложились легенды. Ничего замечательного в его наружности не было. У него был вид очень слабого физически, больного, чахоточного человека, вдобавок, живущего под вечной угрозой нападения. Здесь было бы уместно клише: «озирался, как зверь». На этих похоро-

нах он и в самом деле не мог себя чувствовать в дружеской или хотя бы только привычной обстановке (его присутствие вызывало у многих крайнее негодование). Махно быстрым подозрительным взором оглядывал всякого, кто к нему подходил. Этим он напомнил мне одного знаменитого русского террориста,— тот и в Париже, давно порвав с революцией, не любил ходить по тротуару; держался все мостовой, точно каждую минуту опасался, что на него из подворотни бросятся люди.

Со всем тем, внимание окружающих, смешанное с другими чувствами любопытство, которое он возбуждал, было, кажется, приятно Махно. Он не прочь был, по-видимому, и познакомиться. Глаза у него были злые; но выражения «все знающего», «раз навсегда покончившего со всеми сомнениями» и т. д. я в них не видел: самые слова эти тут совершенно не подходят. Нет, ничего демонического в наружности Махно не было: все это литература.

Литература давно его себе присвоила: описывали его и эмигрантские беллетристы, и советские, и иностранные. Для иностранных он был настоящим кладом. Батько[1] Махно, по стилю, был в высшей степени Batelier de Volga[2] — лучше просто и желать нельзя. Ни один Стенька Разин в литературе неприемлем и невозможен без «стрежня», без «простора речной волны» и без персидской княжны. Персидской княжной при Махно оказалась роковая еврейка,— было бы крайне странно, если б роковой еврейки не оказалось. Как сообщают мемуаристы, звали ее Соней и была она курсисткой и дочерью богача. Махно хотел было сжечь ее живьем («зажарить ее я хотел»),— но, разумеется, тотчас влюбился в нее без памяти. Соню крестили, она стала называться Нина Георгиевна, батько на ней женился в Гуляй-Поле,— «на тачанках, покрытых дорогими коврами, по ковровой дороге ехали в церковь Махно, его невеста и почетные гости...» П. Е. Щеголев, по старой привычке к исторической точности, нерешительно выражал сомнения относительно женитьбы этого странного героя эпоса. Можно было бы в самом деле написать целое

[1] «Батько» был его официальный титул. Он подписывал свои приказы «командующий революционной повстанческой армией Украины Батько-Махно». И фамилия его, и титул, и название его столицы «Гуляй-Поле»,— все как нарочно было в удалом, черноземно-шашлычном стиле. Для полноты художественного эффекта, Махно должен был бы оказаться незаконным сыном царского любимца, князя Ладислава Иримова.— *Автор*.

[2] Лодочник с Волги *(франц.)*.

исследование только на тему о том, как звали роковую подругу Махно. Сведения советских писателей не вполне согласуются со сведениями авторов эмигрантских. У г. Пильняка, например, подруга батьки именуется Марусей; у г. Яковлева она Федора. Анархист же Аршинов утверждает, что при Махно находилась лишь его законная жена Галина Андреевна Кузьменко.

Соня—Нина—Маруся—Федора тоже была без памяти влюблена в Махно. Но относительно ее роли при нем сведения несколько расходятся. Естественно было бы, по всем правилам словесности, предположить, что она была злым гением батьки. Однако, эмигрантский мемуарист пишет: «1918 год принес батько Махно не только кровавую славу, но и жгучую любовь странной девушки... У нее было прелестное, матово-розовое с правильными тонкими чертами лицо, ласковые темно-серые красивые глаза с длинными ресницами, стройная изящная фигура. Слабая улыбка освещала ее лицо и делала его детски-милым». Нет, она была не злым гением, а добрым ангелом Махно: «Соня быстро выпрыгнула вслед за ним и горячо, держа за руку Махно, стала просить пощадить пленных офицеров.— Прогнать... Отпустить их, и только,— бросил Махно конвоирам...»

Я потому останавливаюсь на вопросе, никакого значения не имеющем, что он чрезвычайно характерен для биографии Махно. В сущности, мы почти ничего о нем вообще не знаем. По одним сведениям, он сын малоземельного крестьянина, по другим,— сын мелкого торговца. Г. Герасименко утверждает, что Махно провел детство в мариупольской галантерейной лавке, где хозяин «обломал на его спине и голове совершенно без всякой пользы до сорока деревянных аршинов». Но, по сведениям г. Аршинова, Махно в детстве был пастухом. Принятая версия говорит, что он по профессии школьный учитель. Однако, в выпущенном Госиздатом труде о махновщине эта версия решительно отрицается: никогда учителем не был, а был маляром. Попал он на каторгу не то за убийство пристава Корачевского, не то за ограбление бердянского уездного казначейства, и т. д.

Не знаю, правда ли, что в детстве он развлекался, подливая в чайник домашних касторовое масло; правда ли, что пороли его чуть не каждый день; что на каторге его наказывали плетьми. Мемуаристы сообщают, что отбывал

он каторжные работы в Орловском централе, в Акатуе и в Горном Зерентуе. Люди старшего поколения помнят, что именно эти три места заключения пользовались при старом строе мрачной известностью. Поэтому a priori несколько подозрительно, что Махно отбывал заключение как раз в этих местах,— последовательно во всех трех. Репутацию мученика ему создавали усердно,— отчасти и с беллетристической целью.

Роковая еврейка поклонялась ему за выпавшие на его долю страдания: «она его за муки полюбила»,— традиция Дездемоны не умерла в беллетристике (классический русский перевод шекспировской фразы, впрочем, не верен).

Не подлежит сомнению, что и без художественного нагромождения ужасов, молодость Махно была очень тяжелой. Вполне допускаю, что он мог из нее вынести лютую ненависть к «привилегированным слоям населения». Вероятно, и по природе он был человек злой и жестокий; Махно несомненно обладал умом, большой силой воли, даром влияния на людей. Совокупность этих свойств может создать Стеньку Разина. Потенциальных Разиных и Пугачевых везде в мире сколько угодно. Но в последние века история очень редко создавала обстановку, в которой такие люди имеют возможность показать себя по-настоящему. Революция создала эту обстановку для Нестора Махно.

«В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому... Он отличался дерзостью своих речей, поносил начальство и подговаривал казаков бежать в области турецкого султана... Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник» (Пушкин). Не сомневаюсь, что Пушкин точно изобразил исторического Пугачева, разве только чуть преувеличив в иных местах «Капитанской дочки» благодушие самозванца. «Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого...» «Пугачев смотрел на меня пристально, прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец, он засмеялся, и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная, чему...» Тот же Пугачев, однако, сдирал с живых людей кожу.

Я знаю, поклонники Махно считают его человеком, оклеветанным большевиками и «белогвардейцами». Допу-

скаю большую долю преувеличения в рассказах о нем врагов и на эти рассказы ссылаться не буду: вполне достаточно того, что рассказывают о нем его поклонники. Анархист-теоретик Волин, человек образованный и даровитый, в предисловии к труду анархиста Аршинова признает, что «махновщина,— как и всякое дело рук человеческих,— имела свои тени, свои ошибки, свои уклоны...» Действительно. Для того, чтобы можно было лучше судить об этих «тенях» и «уклонах», приведу лишь несколько строк из воспоминаний Аршинова (ближайшего друга Махно): «В основу партизанских действий был положен принцип, по которому всякий помещик, преследовавший крестьян, всякий вартовой (милиционер), всякий офицер русской или немецкой службы, как злейшие враги крестьянства и его свободы, должны быть только (?!) убиваемы. Кроме того, по принципу партизанства, предавался смерти каждый, причастный к угнетению бедного крестьянства и рабочих, к попранию их прав или к ограблению их труда и имущества... Быстрые, как вихрь, не знающие страха и жалости к врагам, налетали они (Махно и его партизаны) на помещичью усадьбу, вырубали всех бывших на учете врагов крестьянства и быстро исчезали. А на другой день Махно делал налет уже в расстоянии ста с лишним верст от этой усадьбы на какое-либо большое село, вырубал там всю варту, офицеров, помещиков и исчезал».

Это нисколько не мешало Махно считать себя человеком идейным. В своих воспоминаниях (совершенно неинтересных) он неизменно себя называет учеником Кропоткина. По словам г. Аршинова, Кропоткин в июне 1919 года послал батьке привет: «Передайте от меня товарищу Махно, чтобы он берег себя, потому что таких людей, как он, в России немного». Этому, поистине, трудно поверить. Многие,— впрочем, далеко не все,— идейные анархисты считают Махно гениальным вождем, политиком, полководцем. «Гению Махно было предъявлено величайшее испытание»... «В военном отношении он, несомненно, огромный талант...» Я слышал, что сам Махно чрезвычайно гордился именно своим военным гением. Черта, тоже замеченная Пушкиным: «Да! — сказал он (Пугачев) с веселым видом.— Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мной потягаться?..» — «Сам как ты думаешь,— сказал я ему,— управился ли бы ты с Фридериком?» — «С Федором Федоровичем? А как же нет?

С вашими енаралами ведь я уже управляюсь, а они его бивали».

Вероятно, способности к военному делу у Махно и в самом деле были. Я слышал от военных, что передвигался он со своей «армией» на тачанках с быстротой совершенно изумительной. Человек он был храбрый,— об этом свидетельствуют и его многочисленные ранения. Учеником Кропоткина он называл себя по таким же приблизительно основаниям, по каким Пугачев себя называл великим государем Петром Федоровичем. Но это был настоящий атаман.

Махно довольно долго служил у большевиков. По-видимому, они ценили и его способности, и влияние, которым он пользовался. В новейшей советской литературе мне попалось указание, что и сейчас в красной армии есть «ряд талантливых командиров, прошедших боевую школу в армии батьки» (имена, к сожалению, не названы). По характеру, по решительности, по своей полной готовности на все, Махно был к большевикам очень близок. Но диаматом он не владел. «У Махно была недостаточная теоретическая подготовка, недостаточные исторические и политические знания»,— говорит г. Аршинов (стр. 219), сам, по словам г. Волина, «слесарь по профессии, упорным личным трудом добившийся известного образования». Да и Махно в воспоминаниях (стр. 3) замечает: «Одно меня угнетало: это отсутствие у меня надлежащего образования и конкретно-положительной подготовки в области социально-политических проблем анархизма». Отсутствие «конкретно-положительной подготовки», конечно, не помешало бы ему сделать у большевиков блестящую военную карьеру: он отлично мог стать маршалом, как унтер-офицер Буденный или как слесарь Ворошилов. Однако, замыслы его шли гораздо дальше. Думаю, что в пору высших своих успехов он подумывал и о ленинском престоле в Москве — или, по крайней мере, в Киеве.

Путь к этому престолу был трудный,— мечтали ведь о нем и люди, вполне диаматом владевшие. Но и честолюбия, и энергии, и смелости у Махно было достаточно. Допускаю, впрочем, что порвал он с большевиками не только из стремления к высшей власти. Верю в искренность его анархизма. Большевистское учение и тесно с ним связанная партийная дисциплина были неприемлемы для этого типичного представителя вольницы. Полагалось ему быть и интернационалистом. Однако, он и к «российской семье народов» (не говоря уже о всемирной) относился,

кажется, без особого восторга. Нестор Махно был украинец. Предисловие к своим воспоминаниям он заканчивает словами: «Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке».

Странно сложились, вдобавок, и обстоятельства. Та связь, которая установилась между Махно и некоторыми из организаторов взрыва в Леонтьевском переулке, была отчасти случайной.

IV

МОСКВА И ГУЛЯЙ-ПОЛЕ

Отношения Махно с большевиками оставались с внешней стороны дружественными приблизительно до начала лета 1919 года. Как справедливо указывает г. Аршинов, «имя Махно не сходило со столбцов советской прессы. Телеграммы его перепечатывались. Его величали подлинным стражем рабоче-крестьянской революции». 4 мая в Гуляй-Поле прибыл с визитом чрезвычайный уполномоченный Совета обороны республики Л. Каменев. Встреча ему была оказана очень торжественная.

Талантливый советский беллетрист г. Пильняк в историческом рассказе-очерке «Ледоход» описал быт штаба Махно. Главные действующие лица очерка: сам батько, его советник, известный анархист Волин, и, естественно, роковая подруга Махно, Маруся, «страшная женщина, красавица... Она пришла перед боем, попросила коня и была в строю первой, а потом расстреливала пленных спокойно, не спеша, деловито, как не каждый мужчина».

Быт, изображенный у г. Пильняка, весьма прост: «Вошел вестовой, сказал: «Поймали двух евреев из подозрительных. Что прикажешь?» Батько ответил: «Вешать надо жидов! — Помолчал.— Вешать надо эту нацию!.. Ты, братушка, налей нам по стаканчику,— спирт заводский... И еще надо вешать баб!..» Остальное в том же роде. Кончается очерк тем, что роковая женщина убивает Волина.— Это факт,— добавляет, на всякий случай, автор.

Несмотря на столь твердое заверение, должно, по справедливости, признать, что в историческом очерке г. Пильняка нет ни единого слова правды. И быт Гуляй-Поля был не такой, и Махно был не такой, и никогда он не говорил «вешать надо жидов, и еще надо вешать баб», и страшная женщина, красавица Маруся, никогда на свете не существовала, да если б и существовала, то никак не

могла убить г. Волина, хотя бы уже потому, что этот талантливый оратор жив по сей день и как раз на прошлой неделе прочел в Париже доклад о социальном строительстве. Вдобавок, по случайности, он никогда не был ни в Одессе, ни в Гуляй-Поле, где происходит действие очерка г. Пильняка.

В жизни Гуляй-Поля — достаточно темной и страшной — было немало и чисто комических явлений. Думаю, что визит Каменева составил в истории этого городка страницу в бытовом отношении весьма комическую. Уезжая, высокий советский гость «горячо распрощался с махновцами, высказал благодарность и всякие пожелания, расцеловался с Махно, уверяя, что с махновцами, как с подлинными революционерами, у большевиков всегда найдется общий язык» (Аршинов). Одним словом, все как у людей: обычный дипломатический визит с тостами о традиционной неразрывной дружбе двух великих народов.

На самом деле, вопреки высказанной Каменевым уверенности, общего языка не нашлось. Настолько не нашлось, что ровно через неделю после этого визита от того же Каменева пришла телеграмма в ином тоне:

«Гуляй-Поле, батько-Махно по нахождению. Изменник Григорьев предал фронт. Не исполняя боевого приказа, он повернул оружие. Подошел решительный момент — или вы пойдете с рабочими и крестьянами всей России, или на деле откроете фронт врагам. Колебаниям нет места. Немедленно сообщите расположение ваших войск и выпустите воззвание против Григорьева, сообщив мне копию в Харьков. Неполучение ответа буду считать объявлением войны. Верю в честь революционеров — вашу, Аршинова, Веретельникова и др. Каменев. № 277».

«Повернувший оружие» атаман Григорьев очень желал привлечь махновцев на свою сторону. Это был простой человек, и программа у него была простая. Очень упрощал он и дипломатические формулы, которые большевистскими де Фукьерами составлялись в торжественно-революционном стиле. Почти одновременно с каменевской телеграммой в Гуляй-Поле была получена телеграмма и от него: «Батько! Чего ты смотришь на коммунистов? Бей их. Атаман Григорьев».

Отношение Махно к обеим сторонам было приблизительно одинаковое: он желал бы повесить и Каменева, и Григорьева. Батько выпустил довольно путаное воззвание, содержавшее в себе слова весьма двусмысленные:

«Распри Григорьева с большевиками из-за власти не могут заставить нас ослабить фронт, где белогвардейцы стремятся прорваться и поработить народ... Мы останемся на своем фронте, борясь за свободу народа, но ни в каком случае не за власть, не за подлость политических шарлатанов». Расположения своих войск он большевикам не указал, но копию воззвания послал Каменеву, которому текст, вероятно, большого удовольствия не доставил: «подлость политических шарлатанов» как будто относилась не к Григорьеву. 4 июня Троцкий разослал приказ об аресте распространителей воззваний Махно. Батько ответил телеграммой на имя Ленина, Каменева, Троцкого и Ворошилова, заключавшей в себе прошение об отставке: «Предлагаю принять от меня отчеты и дела».

С внешней стороны все было опять-таки в высшей степени культурно: телеграммы за номерами, официальные титулы и чины, отставка, сдача отчетов и т. д. По существу же, дело обстояло не совсем так. Еще за месяц до каменевского поцелуя, в Гуляй-Поле, по приказу Махно, были казнены командир полка Падалка и еще несколько человек; обвиняли их в том, что они, по поручению большевиков, покушались в Бердянске на жизнь батько. Было ли у них такое поручение, или казнили людей ни в чем не повинных, этого я не знаю. Не подлежит, однако, сомнению, что Махно очень опасался своих московских соратников. Ближайший к нему человек рассказывает: «Неоднократно от товарищей, работавших в большевистских учреждениях, Махно получал предостережения — ни в каком случае не ехать по вызову ни в Екатеринослав, ни в Харьков, ибо каждый официальный вызов будет означать ловушку».

Есть достаточные основания думать, что батько, человек энергичный и мстительный, в долгу никак не оставался. Казнь Падалки была делом второстепенным. Предполагаю, что еще несколько раньше, скорее всего в апреле, у Махно возникла мысль о центральном ударе в Москве. С внешней стороны, однако, отношения между Москвой и Гуляй-Полем оставались корректными. Давление добровольцев на фронт усиливалось. 7 июня, то есть всего за два дня до «отставки» Махно, большевики прислали в его распоряжение бронепоезд.

На нем находились Ворошилов и Межлаук. Устроился на поезде и Махно со своими товарищами. Был образован общий штаб.

В этом поезде разыгралась одна из самых мрачных драм гражданской войны, историками пока не выясненная. По характеру, она, пожалуй, неслыханна в военной истории новейшего времени. Поезд предназначался для борьбы с добровольцами и действительно вел эту борьбу. Но главное его задание было иное: большевикам надо было схватить и расстрелять своего союзника и соратника, «комбрига» Махно!

Получил ли батько предупреждение из того же таинственного большевистского источника, или инстинкт предсказал ему недоброе,— Махно вовремя покинул поезд. Большевики захватили его ближайших помощников, начальника штаба армии махновцев Озерова, членов штаба Михалева-Павленко, Бурбыгу и еще несколько человек. «11 или 12 июня 1919 года, находясь на боевом поезде и не выходя ни на минуту из боев с наступавшими деникинцами, Михалев-Павленко был вместе с Бурбыгой изменнически схвачен Ворошиловым, командиром 14-ой армии, и казнен 17 июня 1919 года в г. Харькове». Так рассказывает анархист[1] Аршинов; рассказ его, по существу, подтверждается и большевиками. Кажется, г. Аршинов лишь преувеличивает личную роль Ворошилова в казни его товарищей по бронепоезду. Насколько я могу судить, это почетное дело все-таки не в характере нынешнего советского маршала. Во всяком случае, приписывал себе тут главную заслугу известный чекист Лацис. «Организация штаба Махно,— кратко замечает он,— была немного скопирована с штаба большевиков. Там были заведующие организационным отделом, были секретари командующие,— около 4-х человек, которые попали в руки нашей армии и были доставлены в штаб, руководимый лично мною. Все они были расстреляны».

«После расстрела штаба Махно,— показывал в Чрезвычайной комиссии один из членов организации, взорвавшей особняк в Леонтьевском переулке,— приехавшая публика, которая работала у Махно, возмутившись актом расстрела, решила отомстить за смерть махновцев смертью

---

[1] Правильнее, бывший анархист: г. Аршинов не так давно перешел к большевикам, вернулся в СССР и напечатал в советских газетах покаянное письмо установленного образца.— Я слышал, что оно произвело ужасное впечатление на умиравшего тогда в Париже Махно. Батько искренно ненавидел большевиков и до последнего часа твердо верил в свою идею «вольных советов».— *Автор.*

лиц, принимавших участие в вынесении приговора о расстреле: Пятакова, Раковского и др. Но страсти остыли, и решено было начать бить по центру, то есть Москве».

Под «приехавшей публикой» надо разуметь, по-видимому, значительную часть участников взрыва 25 сентября. У Махно служили Гречанинов, Глагзон, Барановский, Цинципер и, быть может, некоторые другие видные члены организации, группировавшейся вокруг дачи в Краскове. Некоторые из них занимали в Гуляй-Поле видные посты: двое, если верить большевистскому публицисту Кубанину, ведали махновской контрразведкой. Из приведенного выше показания можно сделать вывод, что мысль об ударе по московскому центру явилась у махновцев лишь после расстрела Михалева-Павленки, то есть в июне. Я склонен, однако, думать, что дело было задумано раньше.

Сам Махно в Москве в 1919 году не был. За год до взрыва в Леонтьевском переулке он совершил поездку по России, собирая анархические силы и проповедуя идею «вольных советов»,— впоследствии подхваченную совершенно иными течениями. Об этой поездке он подробно рассказывает во втором томе своих воспоминаний, до сих пор не напечатанном. Махно побывал у Кропоткина, у другого известного теоретика анархизма Борового (недавно скончавшегося в ссылке в СССР). Побывал он и у Ленина, которого идеей вольных советов не соблазнил. С той поры он в Москве не бывал. Связь его с членами московской организации поддерживалась, по-видимому, через эмиссаров.

В апреле 1919 года в Гуляй-Поле приехал некий Вжостек, фамилия которого не раз упоминается в показаниях людей, принимавших участие во взрыве. Вероятно, его настоящая фамилия была другая. Очень многие жильцы красковской дачи имели по несколько имен,— иные по шесть или семь. Может быть, это было нужно по конспиративным соображениям. Но, кажется, некоторую роль тут сыграли и своеобразный снобизм этих людей, и принятый обычай, и традиция, и скромность. Гремевший в Москве экспроприатор «дядя Ваня» (Приходько) в Харькове называл себя «Леонид Хлебныйский»,— вроде как принц Уэльский в Биаррице или в Канне записывается «граф Честерский». Кто был этот Вжостек, я не знаю, но из показаний Миши Тямина видно, что цель его поездки на Украину была: «найти средства и людей для работы». Какова была «работа» и почему средства надлежало искать именно на Украине (то есть в Гуляй-Поле?), об

этом Тямин ничего не говорит. Вжостек на юге застрял. За ним на поиски туда выехал Казимир Ковалевич, главный организатор взрыва в Леонтьевском переулке.

Лацис в речи, произнесенной в Москве 25 сентября 1924 года (пятилетняя годовщина взрыва), прямо говорит, что Ковалевич получил от Махно задание уничтожить в Москве «штаб большевиков». Такой вывод и в самом деле можно сделать из показаний некоторых участников дела, особенно Тямина и Барановского. Думаю, однако, что прямого и твердого задания не было. Махно, человек бешеный и отходчивый [1], неспособен был к далеко рассчитанным точным планам. Он ненавидел большевиков, знал, какая опасность грозит ему от них, и, думаю, неопределенно мечтал о верховной власти. Ему понадобилось иметь в Москве «своих людей»,— людей, готовых, по разным побуждениям, на все. Таким человеком был Казимир Ковалевич. Вероятно, батько оказал красковцам денежную поддержку. Могла быть и общая террористическая директива. Следовал ли ей Ковалевич, подчинялся ли он Махно или просто брал деньги и оружие там, где их можно было получить,— для суждения об этом у меня данных нет. Некоторые из заговорщиков, во всяком случае, ничего общего с Махно не имели.

Кого именно Ковалевич решил убить? В найденной у него записной книжке, если верить Лацису, на первом месте стояли Дзержинский и он, Лацис. Ленин занимал, будто бы, лишь четвертое место. Руководителям ЧК, конечно, было и приятно, и выгодно подчеркивать свое государственное значение. Может быть, Ковалевич и в самом деле хотел начать с Дзержинского. Но он был не один. «Высказывалось несколько мнений по этому поводу,— показывает Черепанов.— Предлагалось бросить бомбу в Чрезвычайную комиссию, но это предложение было отклонено по следующим соображениям: чрезвычайка и сам гражданин Феликс Эдмундович Дзержинский являются только орудием, слугами партии, и следовательно во всей политике ответственной является не чрезвычайка, а партия». Это мнение восторжествовало. Соболев готовил взрыв Кремля. 25 сентября было принято решение начать с дела в Леонтьевском переулке.

[1] Наряду с припадками дикого гнева у него бывали и совершенно иные минуты. В одну из таких минут он говорил г. Волину: «Какой я анархист! Ведь на мне кровь!..»— *Автор*.

V
«АНАРХИСТЫ ПОДПОЛЬЯ»

Главные участники дела в Леонтьевском переулке, за исключением Черепанова, арестованы не были: все они погибли. Но второстепенных членов организации большевикам удалось схватить. Допрашивал их председатель МЧК Манцев (в «Красной книге ВЧК» допросы деликатно называются «беседами»). Показания по степени откровенности были разные. Среди арестованных оказались предатели, как Розанов, который выдавал всех, кого только мог,— с ним у Манцева было семь «бесед».

Были и полупредатели, как Миша Тямин, человек довольно своеобразный. В «Красной книге» напечатана краткая его «характеристика», составленная неизвестно кем, по-видимому, по его данным (она очень напоминает по слогу собственные его показания). «Убеждения его,— сказано в характеристике,— чисто толстовского свойства, но индивидуального. За все время своего существования он ни разу не держал револьвера в руках и не знал, как с ним обращаться. Вообще у него осталось нечто отцовское, который был толстовцем и за все время своего 49-летнего существования ни разу не мог зарезать курицу, боялся крови и предоставлял это занятие матери. Этим, пожалуй, все сказано о нем, и чуткие люди, мне кажется, вполне удовлетворятся этой характеристикой и не будут копаться в его душе, и искать каких-либо дополнений всего характера или каких-либо отношений к организации, с которой он положительно ничего общего не имел. Копание в его душе ему доставит только страдания и неприятность, а человеку, решившемуся на это копание, ничего не даст».

Толстовец он был, действительно, очень «индивидуальный». В одной из поданных им покаянных записок он сообщает Манцеву, что «во время своих молодых безудержных порывов», участвуя в борьбе против добровольцев, «одно время работал с Антоновым в полевой контрразведке». Из этого позволительно сделать вывод, что, быть может, характеристика Тямина и не совсем точна: револьвер в руках иногда держал и курицу зарезать мог. Надо думать, что так смотрели на дело и «чуткие люди», то есть чекисты. От «копания в его душе» они упорно не хотели отказаться. По-видимому, несчастный Тямин был совершенно измучен допросами; его показания — документ, интересный во многих отношениях. «Тов.

Манцев,— пишет он,— обидно, когда приходится быть одураченным, когда на тебя смотрят, как на дойную корову, которую под каким-то страхом думают использовать, выдоить у тебя необходимые им сведения». Манцев («вы чуткий человек»,— говорит Тямин), действительно, выдоил из него многое, зато и заплатил ему честно. Одно из анонимных показаний в деле, почти наверное принадлежащее Тямину, заканчивается словами: «А мне дайте какую-либо работу при своем учреждении. Или кончайте, меньше агонии». Не знаю, получил ли столь индивидуальный толстовец работу при учреждении Манцева, но в списке расстрелянных по делу о взрыве его имени нет. Нет там и Розанова.

Их показания, другие «беседы» Чрезвычайной комиссии, воспоминания Лациса и статьи, помещенные 16 лет тому назад в «Известиях», дают возможность представить себе общую картину дела.

Летом 1919 года, частью при поддержке Махно, частью независимо от него, в Москве была создана террористическая группа, именовавшаяся «анархистами подполья». Руководили ею Петр Соболев и Казимир Ковалевич, причем действовали они сообща с группой левых эсеров, во главе которой стоял Донат Черепанов. Я говорил уже об этих людях. Плохо их понимаю и определять не решаюсь. Под сомнением остается «идейность» некоторых из них, вне сомнения — общая им храбрость. Цель их, очевидно, заключалась в прямом действии против большевиков,— по завету Петра: «не словами, а руками с злодеями поступати». Не так уж отличались от злодеев и они сами, но это были, во всяком случае, бескорыстные злодеи,— какая уж была выгода взрывать особняк в Леонтьевском переулке! Из-за них (из-за них — косвенно), как увидит читатель, погибли сотни ни в чем не повинных людей, в том числе люди, известные всей России. Но в этом вождей «анархистов подполья» винить трудно, погибли и они сами. За свою идею? Не знаю. У Соболева какая-то идея была, и верил он в нее твердо. Странностью же идеи, как равно и плоскостью ее, в наше время никого удивить нельзя,— верно говорит Куртелин: «Nous vivons à une epoque d'où le bon sens a cavalé au point que M. de la Palisse y passerait pour un énergumène» [1].

[1] «Мы живем в безумное время, когда г-н де ла Палис легко мог бы сойти за одержимого» (*франц.*).

Для дела нужны были деньги. По-видимому, часть их дал Махно. Другая часть была добыта посредством грабежа. В августе 1919 года «анархисты подполья», под общим руководством Петра Соболева, производят несколько удачных экспроприаций в большевистских учреждениях: 12-го числа похищается 52.501 р. в отделении Народного банка на Долгоруковской улице; 18-го — 803.197 р. в другом отделении того же банка на Большой Дмитровке; 29-го — 3.480.000 руб., на Патронном заводе в Туле[1]. У анархистов появляются немалые средства. Они обзаводятся «явками»: кофейней Тани и Мины у памятника Гоголю, конспиративной квартирой на Арбате (дом № 30, кв. № 58). На даче в Краскове у них оборудованы типография и лаборатория взрывчатых веществ. Есть в достаточном количестве фальшивые паспорта, бланки, печати и т. д.

Главная цель заключалась в том, чтобы взорвать Кремль. Она стала у Петра Соболева навязчивой идеей. Он «заводит знакомства(?) в Кремле, запасается туда пропусками и снаряжает ряд экспедиций за динамитом. Кроме этого, Петр Соболев собирает сведения о часах приема многих ответственных советских работников, записывает их в порядке в своей записной книжке, в ней же он записывает тщательно часы партийных и советских собраний, предполагая поставить целый ряд террористических покушений»,— говорит отчет МЧК, напечатанный в «Известиях» в 1919 году. Через пять лет Лацис в своих воспоминаниях добавил: «Ими намечается взрыв Кремля, а в случае неудачи, предполагается взрыв на Красной площади, во время Октябрьской годовщины. С этой целью Соболев осматривает Кремль, осматривает водосточные трубы, чтобы выяснить, нельзя ли пролезть по ним и взорвать Кремль». Энергия и конспиративная находчивость этого человека достойны удивления. Он точно распоряжается в Кремле, как у себя дома. Ни до него, ни после него, насколько мне известно, ничто подобное никому не удавалось. Большевистской верхушке в те дни грозила очень серьезная опасность.

Весь план был внезапно изменен 25 сентября. В этот день в московских газетах появилось сообщение, что вечером в Леонтьевском переулке состоится совещание виднейших членов большевистской партии. Если помнит читатель, особняк графини Уваровой до убийства графа

---

[1] «Известия», 1 января 1920 года.— *Автор.*

Мирбаха состоял в распоряжении левых эсеров. Черепанов отлично его знал. Ему было известно, что зал особняка сообщается с выходящим в сад балконом. Мгновенно у Черепанова создается новый план: дом в Леонтьевском переулке взорвать гораздо легче, чем Кремль, а результат может быть тот же. Соболев соглашается с Черепановым. Взрыв в Леонтьевском переулке был организован в несколько часов,— случай, кажется, небывалый в истории террора.

С красковской дачи на конспиративную квартиру немедленно доставили снаряд: «бомба была начинена динамитом и нитроглицерином, оболочка деревянная, не круглая, как бы футляр дамской шляпы, весила 1 пуд — 1 пуд 15 фунт.» [1]. Тотчас составляется боевой отряд: Соболев, Черепанов, Барановский, Глагзон, Гречанинов, Николаев. Взяв метательный снаряд, они отправились в Чернышевский переулок,— туда выходил сад особняка графини Уваровой. Заранее было решено, что в сад проникнут только двое: Соболев и Барановский. Остальные «гуляли» поблизости от дома. «Я перелез через ограду в Чернышевском переулке. Соболев передал мне бомбу на ограду. Я бомбу положил на землю внутри ограды, затем влез опять на ограду и помог Соболеву перелезть, в свою очередь. Затем мы вместе с ним подошли к дому; Петр попробовал, удобно ли влезть по лестнице на балкончик; влезая туда, осмотрел место, потом слез. Вместе с ним мы подошли к лежащей у ограды бомбе, он зажег шнуровую зажигалку, обыкновенно употребляемую для раскуривания, положил ее в карман, бомбу взял подмышку и влез опять на балкончик, зажег зажигалкой бикфордов шнур бомбы и бросил ее в окно» [2].

Остальное известно читателям настоящего очерка. Трудно понять, как все это могло пройти незамеченным в девятом часу вечера, в центре Москвы, у ограды дома, где находились важнейшие сановники большевистской партии. Под адский грохот взрыва прохожие, вероятно, разбегались. Террористы, как ни в чем не бывало, шли домой, в Дегтярный переулок. Вдруг Барановский почувствовал себя очень плохо,— но не от волнения: у него начинался сыпной тиф. «На Тверской улице я впал в полуобморочное состояние, и Петр под руку вел меня всю дорогу до дома...»

---

[1] Показания Розанова.— *Автор.*
[2] Показания Барановского.— *Автор.*

Как было раскрыто дело, выполненное с таким несбычайным хладнокровием этой странной кучкой страшных людей?

Помогла большевикам случайность. Анархисты во всем мире всегда делились и делятся на толки, имеющие, в сущности, очень мало общего между собой, но как-то все-таки связанные единством фирмы. 2 октября, около Брянска, в поезде была случайно задержана анархистка Софья Каплун, не имевшая к взрыву ни малейшего отношения. При ней нашли письмо другого анархиста, Барона, из группы «Набат». Группа «Набат» к группе «анархистов подполья» относилась насмешливо-отрицательно и дел с ней не вела. Но в порядке и в тоне партийной сплетни Барон сообщал Софье Каплун сенсационную московскую новость: взорвали особняк в Леонтьевском переулке: «Дело, кажется, подпольных анархистов, с которыми у меня нет ничего общего. У них миллионные суммы. Правит всем человечек, мнящий себя новым Наполеоном» [1].

Чрезвычайную комиссию так и осенило: думала, монархисты — оказалось, анархисты! Об анархистах у нее кое-какой материал был: имена, адреса, фотографии, вероятно, и сексоты. Все было пущено в ход. Скоро удалось напасть на след одной из конспиративных квартир. «Был произведен внезапный обыск, и оставлена в квартире засада, между которой и пришедшим на эту квартиру неизвестным произошла перестрелка, во время которой неизвестный был убит, а один из наших комиссаров был им ранен... Неизвестным также была брошена бомба, к счастью, не разорвавшаяся...» По фотографии чекистам удалось установить, что убитый — «неизвестный, некто Казимир Ковалевич».

По-видимому, при Ковалевиче было найдено немало адресов. Теперь ликвидация группы пошла быстро. «По этим данным были произведены аресты боевиков, причем, почти ни один из них не сдавался без сопротивления, имея при себе и бомбы, и по несколько револьверов. В это время был убит один из виднейших организаторов анархистов подполья, Петр Соболев, непосредственный участник взрыва Московского комитета РКП, тот, который бросил бомбу. Убит он был в перестрелке с двумя комиссарами МЧК, во время которой один комиссар был им ранен тре-

[1] «Известия», 28 декабря 1919 года.— Мы можем только догадываться, кто именно мнил себя Наполеоном. Едва ли Черепанов, да он и не был анархистом. Быть может, Ковалевич, но скорее Соболев.— *Автор*.

мя пулями в грудь. При убитом найдены три револьвера... Петром Соболевым во время перестрелки была брошена бомба, которая не взорвалась (бомба случайно попала в портфель товарища комиссара, который зажал ее там). Имевшимся у него в руке другим револьвером он застрелил Петра Соболева» [1].

VI

КОНЕЦ ДАЧИ

К сожалению, советская печать не сообщила, когда именно был убит Петр Соболев. По всей вероятности, это случилось в первых числах ноября 1919 года. Казимир Ковалевич погиб в конце октября; через несколько дней была раскрыта вторая конспиративная квартира «анархистов подполья», а за день до годовщины большевистского переворота, то есть около 6 ноября, Чрезвычайной комиссии стало известно о том, что у этой анархистской группы был главный штаб, с типографией и с лабораторией взрывчатых веществ, под Москвой,— на даче в Краскове.

Узнали об этом чекисты от «толстовца» Миши Тямина, который был арестован 3 ноября, в засаде на второй конспиративной квартире (Большая Александровская, 22). Выдавать он стал сразу, но наиболее существенные сведения сообщил Манцеву в дополнительном показании,— вероятно, дня через два после ареста:

«Дополнительно показываю: в 1 Троицком переулке, в доме № 5 во дворе, 1-ый этаж, живет Шурка-боевик. Кроме него, может еще быть Дядя-Ваня. Брать надо осторожно, ибо возможно вооруженное сопротивление. Затем в доме Бахрушина, на Тверской улице, ход с переулка, часто собираются анархисты подполья. Там живет боевик Сашка под фамилией Розанов. К нему могут зайти и Барановский, и Соболев [2]. Типография, а может быть и адские машины, находится на даче в Краскове по Казанской ж. д. Эту дачу дал подпольникам некто Педевич, служащий Продпути (у Ильинских ворот)».

Этих сведений чекистам было, конечно, вполне достаточно. Для захвата главного гнезда анархистов подполья была тотчас снаряжена экспедиция. Остальное передаю словами напечатанного в «Известиях» отчета:

---

[1] «Известия», 28 декабря 1919 года.— *Автор.*

[2] Отсюда как будто следует, что Соболев еще был жив около 5 ноября. Но возможно и то, что чекисты не сочли нужным сообщить Тямину об убийстве главы организации.— *Автор.*

«За день до годовщины (октябрьской революции— *М. А.*), МЧК установила, что анархистами подполья была месяц-полтора-два тому назад снята дача в дачном поселке Красково, верстах в 25-ти от Москвы. Немедленно туда был послан отряд в 30 человек, который рано утром оцепил дачу Горина. Бывшие в ней анархисты (шесть человек) встретили прибывших залпами из револьверов и ручными гранатами. Ими было брошено больше десяти бомб. Перестрелка продолжалась около $2^1/_2$ часов. Затем анархисты зажгли адскую машину и взорвали дачу. Сила взрыва была громадна, дача целиком была поднята на воздух, затем она загорелась, и почти во все время пожара (часа 4) происходили взрывы взрывчатых материалов, находившихся на даче, поэтому мер по тушению пожара принять было невозможно. На месте пожарища были обнаружены трупы, остатки типографского станка (вал, рама и пр.). две невзорвавшиеся адские машины (жестяные бидоны, наполненные пироксилином), оболочки бомб, револьверы и пр. Типография и лаборатория бомб анархистов подполья были здесь уничтожены. Московский пролетариат мог спокойно праздновать Октябрьскую годовщину» [1].

Дача взлетела на воздух. Ее жильцы умерли как должно. Конец анархистов подполья, среди которых были две женщины, безвестные девицы Таня и Мина, выигрывает от сравнения с неизменными бойнями в подвалах ГПУ. Быть может, где-либо в СССР — в тюрьме, в ссылке, на принудительных работах,— еще влачат существование люди, бывавшие на этой страшной даче. Очень мне жаль, что я никого из них не знал и не узнаю. Как слагался быт их непонятной жизни? Как проходил их день в этих стенах, окруженных густым сосновым лесом,— между динамитной лабораторией и спальной тифозного больного? Какие отношения складывались между ними? Среди этих бескорыстных грабителей и гуманно настроенных убийц были самые разные люди,— разные по образованию, по прошлому, по происхождению, по вере. Что могло их объединять, кроме общей ненависти к власти, да еще, вероятно, страстного желания жить не как другие, а по-своему,— согласно с девизом владельцев средневекового замка: «Qui veut peut» [2]. Все осложнялось книгами Кропоткина, необыч-

---

[1] «Известия», 28 декабря 1919 года.— *Автор.*
[2] «Кто хочет, может» *(франц.)*.

ным вариантом «славянской души», не знаю, чем еще. В другой обстановке из таких людей выходят Энверы или Равальяки. Для людей этого рода безработица еще не наступила в мире; избытка же их опасаться не приходится.

После взрыва в Леонтьевском переулке один из старых большевиков сказал М. Покровскому: «бомба это эсеровская, вся техника их,— это несомненно».— «Помилуйте,— ответил большевистский историк,— при чем здесь эсеры? Мы казнили белогвардейцев, и они нам мстят, и даже непонятно, почему только одно покушение было». Советская власть, действительно, в ту пору все приписывала «белогвардейцам» и, в частности, монархистам. В газетах сообщалось даже, что генерал Деникин выдвигает свою кандидатуру на престол [1].

Общий приказ по печати был в те дни: «Смотри весело». Мясников писал в «Известиях»: «Уже занимается заря новых побед красных чудо-богатырей на полях приветливого юга и под стенами красного Питера» [2]. Печати велено было утверждать, что западные страны находятся накануне социальной революции. Ленин уверял, что в Англии не сегодня-завтра установится советская власть. По мнению большевистских предсказателей, кончалась и «Лига убийц»,— так в московской печати неизменно тогда именовалась Лига Наций (не в обиду будь сказано члену совета Лиги Литвинову и помощнику генерального секретаря Розенбергу). В статье, озаглавленной «Распад Лиги убийц», А. Гойхбарг писал: «Лига Наций испустила дыхание еще до своего рождения» [3].

В действительности, настроение советской власти было в те дни менее радостным, чем ее тон. Заря побед красных чудо-богатырей отнюдь еще не занималась: дела на полях приветливого юга шли не слишком хорошо. Лига убийц тоже, как нарочно, не издыхала: напротив, она тогда переживала период бодрой, оптимистической юности. Но дело было не столько в самой Лиге, сколько в державах, ею

---

[1] Демьян Бедный написал об этом стишки: «Не гляди, король, героем,— Двойкой мы тебя покроем.— Наш удар-то наверной,— Бьем мы двойкой козырной.— Ленин с Троцким наша двойка,— Вот попробуй-ка, покрой-ка! — Где ж твоя, Деникин, прыть? — Нашей двойки нечем крыть».— *Автор.*

[2] «Известия», 19 октября 1919 г.— *Автор.*

[3] «Известия», 1 октября 1919 г.— *Автор.*

управлявших. Клемансо, кости которого теперь, после занятия немцами разоруженной области, верно, ворочаются в могиле, тогда полновластно распоряжался судьбами континентальной Европы. На него обычно все и взваливали в Москве, сжигая его чучело при каждом удобном случае.

Повторяю, я допускаю возможность, что советское правительство и в самом деле считало «белогвардейцев» виновниками взрыва в Леонтьевском переулке. Некоторые подозрения об анархистах подполья могли быть и, наверное, были уже на следующий день после взрыва, задолго до ареста Софии Каплун. Но эта версия была, вдобавок, так неудобна: кого же можно было убедить в том, что Шурка-боевик с «дядей-Ваней» — агенты Клемансо и Антанты! С белогвардейцами все выходило гораздо правдоподобнее и глаже; можно было сразу очистить все тюрьмы. Во всяком случае, дело немедленно, без малейшего расследования, было взвалено на белогвардейцев и кадет,— я цитировал в первой статье настоящего очерка речи и статьи Троцкого, Бухарина и других большевиков.

Тюрьмы в те дни были совершенно переполнены (в одной Бутырской тюрьме находилось свыше трех тысяч заключенных). Были тут министры старого строя, как Макаров и Самарин, и были члены социалистических партий; были Долгорукие, Нарышкины, Бобринские, и были крестьяне, рабочие, лавочники; были кадетские общественные деятели, считавшиеся украшением интеллигентской Москвы [1], и была целая камера «бандитов-венериков». В вышедшем в 1922 году в Берлине эсеровском сборнике «Че-ка» помещены воспоминания Надеждина: «Год в Бутырской тюрьме». Вот что рассказывает автор, лично это переживший, о дне взрыва в Леонтьевском переулке:

«Был тихий вечер, тюрьма жила, сосредоточенно притаившись, как всегда по вечерам. Раздался какой-то взрыв, большинство не придало этому значения, некоторые все же насторожились, чересчур необычно знаком был гул. Не прошло и получаса, как раздалась бешеная команда по коридорам: «запирай все двери, никого никуда не выпускай!» Щелканье затворов, полные коридоры вооруженных

---

[1] В конце августа 1919 года, по делу Национального центра, были арестованы Н. Н. Щепкин, Астровы, Алферовы, А. Волков, Штейнингер, Черносвитов, Огородниковы и др. Все они были расстреляны в сентябре; но дата их расстрела, 28-ое, вызывает у меня некоторые сомнения, на которых здесь не останавливаюсь.— *Автор.*

солдат, через окно видно, как во двор вытягивают пулеметы. Началась расправа, и расправа жестокая, в ту же ночь».

«По рассказу коменданта МЧК Захарова, прямо с места взрыва приехал в МЧК бледный, как полотно, взволнованный Дзержинский и отдал приказ: расстреливать по спискам всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях... Из Бутырок 26 сентября утром, часов в 12, была выведена первая партия и отвезена в Петровский парк, где и расстреляна; подвалы ЧК, где обыкновенно расстреливают, были, по-видимому, заняты своей «работой», и для бутырцев не хватало места. В эту первую партию попали Макаров, Долгорукий, Грессер и Татищев. Макаров до конца сохранил свою твердость. На роковые — «по городу с вещами» — спокойно ответил: «Я давно готов». Медленно, методично сложил свои вещи, отделил все получше для пересылки голодавшей в Петербурге семье, стал прощаться с буквально подавленной его мужеством камерой. Соседи уговорили его написать прощальное письмо домой. У многих стояли слезы на глазах, даже ожесточенные и грубые чекисты не торопили его, как обычно, и, молча потупившись, стояли у дверей. Макаров присел к столу, все так же сосредоточенный и ушедший вглубь себя. Заключительные строки его записки были следующие: «За мной пришли, вероятно, на расстрел, иду спокойно, мучительно думать о вас; да хранит вас Господь! Ваш несчастный папа». Видя подавленность и слезы кругом, он попробовал даже пошутить. Обратившись к случайно находившемуся в камере эсеру, предложил ему хоть перед смертью выкурить с ним трубку мира. Затем, завернувшись в одеяло (шубу отослал жене), с худшей трубкой в зубах (лучшую тоже отослал), тихо и чинно попрощавшись с соседями, прямой, суровый, спокойный, мерными шагами вышел в коридор...» [1].

Такое же мужество проявили многие (далеко не все) другие расстрелянные в тот день люди — как правые, так и левые. Некоторые из них и в той ужасной обстановке сохранили веру в себя, в свое прошлое, в свои идеи. Так и должно быть, но так не всегда бывает; так бывает даже

---

[1] Я слышал, что воспоминания эти принадлежат весьма видному социалисту-революционеру, члену центрального комитета партии. В тюрьме он очень сблизился с бывшим министром старого строя; А. А. Макаров перед смертью подарил ему книгу, которую читал в свой последний день.— *Автор.*

очень редко,— «C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière...» [1]. Массовые расстрелы происходили в ВЧК, занимавшей на Большой Лубянке №№ 2 и 11, и в МЧК, помещавшейся в № 14 по той же улице, в историческом доме графа Ростопчина, где происходит в «Войне и мире» знаменитая сцена убийства Верещагина. Всего, в результате взрыва в Леонтьевском переулке, было расстреляно несколько сот человек,— точно никто не считал.

Потом оказалось, что все это досадное недоразумение: особняк в Леонтьевском переулке взорвали не правые и не кадеты, а анархисты. Наиболее корректные из большевиков выражали даже некоторое сожаление: что ж делать, ошибка, погорячились...

---

[1] «Эта ночь, когда так хорошо верить в светлое...» *(франц.)*.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

«Самоубийство» — последнее произведение Алданова. Роман печатался в нью-йоркской газете «Новое русское слово» с 11 декабря 1956 г. по 2 мая 1957 г. Писатель не дождался конца этой публикации: 25 февраля 1957 г. он скоропостижно скончался.

Не случайно, думается, приведен в романе девиз португальского поэта Камоэнса: «Плыть по морям, по которым никто никогда не плавал». Впервые в литературе русского зарубежья Алданов поставил в центр повествования тему: Ленин и Октябрьская революция. К этой теме множество раз обращались в СССР, но книги, прежде всего написанные в годы сталинщины, были деформированы жесточайшей регламентацией, воспринимались как литературные иллюстрации к «Краткому курсу». Алданов полностью разрушает устойчивые стереотипы.

Роман был начат до XX съезда КПСС, набросок одного из фрагментов появился в газете «Новое русское слово» 1 января 1956 г. Но в широком смысле «Самоубийство», несомненно, связано с эпохой разоблачения «культа личности». Хрущевские разоблачения, при всей их бесспорной смелости и огромной важности для судеб страны, трактовали сталинщину как явление случайное, не характерное для гуманной в целом социалистической системы. Алданов же брал тему революции в широком историческом контексте, писал о всесилии тоталитарного мышления, о том, что в самом замысле перехода к утопическому справедливому обществу через насилие был нравственный изъян, зародыш будущей исторической трагедии.

Два десятилетия, изображенные в романе, от II съезда РСДРП до смерти Ленина, охватывают три революции и гражданскую войну в России и первую мировую войну. Но Алданов меньше всего стремился иллюстрировать общеизвестные исторические факты. Его тема — перелом эпох. Перед читателем проходят портреты кайзера Германии Вильгельма II и императора Австрии Франца-Иосифа, одного из крупнейших политиков предоктябрьской России — Витте, миллионера Саввы Морозова. При всем разнообразии у Алданова человеческих типов в них есть нечто общее. Он цитирует одного из придворных Вильгельма: «Я живу в доме умалишенных». Как умалишенные, сильные мира толкали Европу к войне, к самоубийству.

В романе идет речь о самоубийстве трех персонажей, одного реального, Саввы Морозова, и двух вымышленных, супругов Ласточкиных. Но центральная тема — самоубийство России в революции.

Главное действующее лицо романа — Ленин. О Ленине Алданов-публицист писал много раз начиная с 1918 г., с книги «Армагеддон». В «Самоубийстве» он впервые создает его художественный образ. Алданову превосходно удается передать специфические интонации ленинской речи, он рисует революционного вождя в различных ситуациях, в кругу сподвижников и в борьбе с политическими противниками. В очерке «Картины Октябрьской революции» Алданов писал, что Ленин проявил в Октябре «замечательную политическую проницательность (о силе воли и говорить не приходится)» [1]. Эти

[1] «Последние новости», Париж, 1935, 14 сентября.

же черты присущи и Ленину — герою романа. Однако уже на первых страницах звучит: «Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый».

Нетерпимость, по Алданову, роднит революционеров разных эпох, в ней источник их силы; люди одной страсти, мономаны, способны, как никто другой, подчинять себе ход событий. Но нетерпимость — разрушительная, а не созидательная сила, и ее пагубность рано или поздно обнаруживается. Писатель размышляет о герметизме революционного сознания: уметь не помнить о жертвах, о крови, не жалеть ни близких, ни дальних; насильственный ввод людей в царство предполагаемого социализма должен быть осуществлен любой ценой. Эпизод тифлисской экспроприации призван подтвердить авторскую мысль о безнравственности революционного насилия. В другом эпизоде революционер-кавказец, отошедший от революционной деятельности, вспоминает, как в молодости убил провокатора: «Это не «романтизм»! От меня, революционера, был только один шаг до гангстера». На заднем плане повествования проходят зловещие фигуры Сталина и Муссолини, их исторический час еще не пробил.

В «Самоубийстве» десятки вымышленных персонажей, в их судьбах отражается движение истории. Парное самоубийство супругов Ласточкиных, быть может, самых обаятельных алдановских героев,— кульминационная сцена романа, прообраз гибели русской интеллигенции в революции. Писатель утверждал нравственность самоубийства, когда жизнь становится невыносимой. Но за трагической этой темой звучала непривычная для скептика Алданова тема мажорная и возвышенная: оправдание бытия — в одухотворенной, связывающей на долгие годы любви; любовь сильнее смерти.

Заканчивает роман сильно написанная сцена смерти Ленина. Она разительно контрастирует со сценой добровольного ухода из жизни супругов Ласточкиных. В первой повести Алданова «Святая Елена, маленький остров» Наполеон, подводя итоги прожитого, задается вопросом: «Если Господь Бог специально занимался моей жизнью, то что же Ему угодно было сказать?» В последнем романе Алданов возвращается к этому извечному вопросу. Ответ писателя содержит и оценку содеянного его героем: преступно ради интересного социального опыта жертвовать миллионами жизней, человек живет на земле во имя красоты и добра.

Отдельным изданием роман вышел в Нью-Йорке после смерти писателя, в 1958 г., с предисловием Г. Адамовича. Критик писал, что роман полон живого дыхания, повествовательная манера Алданова никогда не бывала убедительнее и своеобразнее.

Некоторые зарубежные исследователи считают Алданова крупнейшим русским публицистом после Герцена. Он автор книг исторических и современных очерков «Огонь и дым» (1922), «Современники» (1928), «Портреты» (1931), «Земли, люди» (1932), «Юность Павла Строганова и другие характеристики» (1934), «Портреты», т. 2 (1936), но в эти книги включена лишь малая часть его громадного публицистического наследия, рассеянного по газетам и журналам эмиграции.

Исторические очерки Алданова преимущественно изображают людей эпохи 1812 г., они своеобразно дополняют тетралогию «Мыслитель» портретами большого числа русских и французов, людей необычной судьбы, полузабытых в наши дни, но сыгравших свою роль в событиях. Он писал, например, о генерале Пишегрю, покушавшемся на жизнь Наполеона, о дюке Ришелье, потомке знаменитого кардинала Ришелье — ему выпало стать строителем Одессы, в 1812 г. он звал

россиян к борьбе с Наполеоном, а через несколько лет сделался премьер-министром Франции.

Очерки о современниках писателя, большей частью посвященные знаменитостям 1920—30-х годов, создавались параллельно с трилогией «Ключ», «Бегство», «Пещера». Внимание Алданова привлекала закулисная сторона событий: заговоры, покушения, взлеты и падения карьер. Выбор тем, конечно, обрекал очерки на успех, но писателя прежде всего интересовал внутренний мир людей, пытавшихся изменить ход истории. Алданов с филигранным мастерством использовал документ, «сладкую» цитату, знал тайны лапидарной афористической характеристики.

В данный том включены очерки, тематически связанные с романом «Самоубийство». «Азеф» впервые опубликован в парижской газете «Последние новости» в феврале 1930 г., включен в книгу «Десятая симфония» (1931); «Убийство Урицкого» — в варшавской газете «За свободу» в августе 1923 г., в том же году появился в журнале «Современные записки», Париж, № 16, вошел в книгу «Современники» (1928). «Убийство графа Мирбаха» и «Взрыв в Леонтьевском переулке» напечатаны в газете «Последние новости» в январе — марте 1936 г.

Произведения М. А. Алданова в настоящем Собрании сочинений публикуются по следующим изданиям:

Том I

«Девятое термидора» — III изд., исправленное и дополненное. Париж, приложение к журн. «Иллюстрированная Россия», 1937.

«Чертов мост» — II изд., Париж, приложение к журн. «Иллюстрированная Россия», 1937.

Том II

«Заговор» — Берлин, «Слово», 1927.

«Святая Елена, маленький остров» — II изд., исправленное, Берлин, «Слово», 1926.

«Бельведерский торс» — кн.: «Бельведерский торс. Линия Брунгильды», Париж, «Русские записки», 1938.

«Пуншевая водка» — журн. «Русские записки», Париж, 1938, №№ 7 и 8/9.

«Астролог» — журн. «Новый журнал», Нью-Йорк, 1947, № 16

Том III

«Ключ» — II изд., Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1955.

«Бегство» — Берлин, «Слово», 1932.

Том IV

«Пещера» — т. I, Берлин, «Слово», 1934; т. II, Берлин, «Петрополис», 1936.

Том V

«Истоки» — Париж, YMCA-Press, 1950.

Том VI

«Самоубийство» — Нью-Йорк, изд. Литературного фонда, 1958.

«Азеф» — кн.: «Десятая симфония», II изд., Париж, приложение к журн. «Иллюстрированная Россия», 1936.

«Убийство Урицкого» — кн.: «Современники», изд. II, дополненное, Берлин, «Слово», 1932.

«Убийство графа Мирбаха» — газ. «Последние новости», Париж, 1936, 1, 7, 11, 19 января.

«Взрыв в Леонтьевском переулке» — газ. «Последние новости». Париж, 1936, 9, 16, 23 февраля, 1, 8, 15 марта.

Андрей Чернышев

СОДЕРЖАНИЕ

САМОУБИЙСТВО 5

ОЧЕРКИ

Азеф 449
Убийство Урицкого 486
Убийство графа Мирбаха 517
Взрыв в Леонтьевском переулке 539

Историко-литературная справка . . 573

Марк Александрович АЛДАНОВ

Собрание сочинений
в шести томах

Том VI

Редактор тома
Н. А. Крылова

Оформление художника
Ю. К. Бажанова

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 2471

Сдано в набор 12.04.91 Подписано к печати 08.08.91.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,66. Усл. кр.-отт. 31,50. Уч.-изд. л. 33,85.
Тираж 760 000 экз. Заказ № 411. Цена 4 р. 00 к.

Типография издательства «Правда».
125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 71201